

Акутагава • Новеллы



Акутагава
Новеллы





Акутагава
•
Новеллы
—
Эссе
Миниатюры



*Перевод
с японского*

•
*Иллюстрации
Д. Бисти*



Москва
«Художественная
литература»

1985

И (Яп)

А44

Составление и комментарии

В. Гривнина

Вступительная статья

А. Стругацкого

Оформление художника

Н. Крылова

А $\frac{4703000000-033}{028 (01)-85}$ 189-85

© Составление, переводы, отмеченные в содержании*, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

ТРИ ОТКРЫТИЯ РЮНОСКЭ АКУТАГАВЫ

I

Вот какой рассказ появился в октябре 1916 года в японском литературном ежемесячнике «Тюо корон».

Профессор Токийского императорского университета, специалист в области колониальной политики, сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Заметки о драматургии» знаменитого шведского писателя Стриндберга. Странно было подумать, что всего каких-нибудь пятьдесят лет назад обо всем этом и мечтать не приходилось — ни об Императорском университете в Токио, ни о колониальной политике, ни о проблемах европейской драматургии. Прогресс налицо. И особенно заметен прогресс в материальной области. Отгремели пушки отечественных броненосцев в Цусимском проливе; страна покрылась сетью железных дорог; распространяются превентивные средства из рыбьего пузыря... Но вот в области духовной намечается скорее упадок, а профессор лелеял мечту облегчить взаимопонимание между народами Запада и своим народом. Он даже знал, на какой основе должно строиться это взаимопонимание. Бусидо, «путь воина», это специфическое достояние Японии, прославленная система морали и поведения самурайства, сложившаяся шесть веков назад. Конечно, не все в ней годится для целей профессора, но основное — требование жесткой самодисциплины и добродетельной жизни — явно сближает дух бусидо с духом христианства.

Профессор листал Стриндберга и размышлял о судьбах японской культуры, когда ему доложили о приходе посетительницы. В приемной ему представилась почтенная, изящно одетая женщина — мать одного из студентов. Усадив посетительницу за стол и предложив ей чаю, профессор осведомился о здоровье ее сына. К его величайшему смущению, выяснилось, что юноша умер и что гостя пришла передать профессору его последнее «прости». Некоторое время они обменивались малозначительными репликами, причем профессор заметил одно странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении дамы смерть родного сына не отразилась. Глаза ее были сухие. Голос звучал совершенно обыденно. Иногда она даже улыбалась как будто. Профессор поразился, от холодно-

сти и спокойствия соотечественницы ему стало не по себе. И тут произошло вот что. Случайно уронив веер, профессор полез за ним под стол и увидел руки гостьи, сложенные у нее на коленях. Эти руки дрожали, и тонкие пальцы изо всех сил мяли и комкали носовой платок, словно стремясь изодрать его в клочья. Да, гостья улыбалась только лицом, всем же существом своим она рыдала.

Проводив гостью, профессор вновь уселся в кресло на веранде и взял Стриндберга. Но ему не читалось. Мысли его были полны героическим поведением этой дамы, и он растроганно и с гордостью думал о том, что дух бусидо, дух жестокой и благородной воинской самодисциплины, поистине вошел в плоть и кровь японского народа. В эту минуту рассеянный взгляд его упал на раскрытую страницу книги.

«В пору моей молодости, — писал Стриндберг, — много говорили о носовом платке госпожи Хайберг... Это был прием двойной игры, заключающийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Профессор растерялся и оскорбился. Оскорбился не за даму, а за свою взлелеянную простодушную схему, в которую так четко укладывалось это происшествие. И ему в голову не пришло, что героическое поведение гостьи могло объясниться причинами, к которым пресловутые понятия военно-феодальной чести не имеют никакого отношения...

Так примерно выглядит откомментированное содержание одного из ранних рассказов Рюноске Акутагавы «Носовой платок».

Невооруженному глазу заметна брезгливая усмешка автора по поводу мечтаний злополучного профессора сделаться идеологом японской культуры на основе бусидо, этой действительно специфической смеси клановых японских традиций с плохо переваренным конфуцианством. Еще в последние годы XIX века, сразу после окончания японо-китайской войны, заправили империи недвусмысленно потребовали от отечественной литературы создания так называемых «комэй-сесэцу» — «светозарных произведений», проникнутых казенным оптимизмом и прославляющих воинственность и великодушные средневекового и современного самурайства. Толпа бездарных полуграмотных писак бросилась заполнять книжные рынки страны бесконечными вариациями на тему о верности сюзерену и о кровавой мести, о вспоротых животах и о срубленных головах, о поединках на мечах и о лихих штыковых атаках, и в унисон им, только не так грубо и не так прямолинейно, заворковали о величии бусидо, о благотворности бусидо, о назревшей необходимости воскрешения бусидо идеологические дилетанты с профессорских кафедр. В далекой Европе гремели пушки и лились реки крови, каблучки японских патрулей стучали по кривым улоч-

кам взятого у немцев Циндао, империя готовилась к большим колониальным захватам. Не удивительно, что в эти дни думающий и широко эрудированный писатель (а Акутагава, как мы увидим, был именно таким) жестоко осмеял мечтательного либерала, усмотревшего духовное сходство между возрождающимся к жизни кодексом профессиональных убийц и плачевно дискредитировавшим себя христианством.

Но давайте проанализируем рассказ более тщательно. Итак, некий профессор, специалист по колониальной политике и приверженец бусидо, читает Стриндберга и предаётся размышлениям о способах преодоления духовного застоя в своей стране. Затем он беседует с женщиной, недавно потерявшей сына, и случайно обнаруживает, что ее внешнее спокойствие есть только маска, а на самом деле она мучается безутешным горем. Он приходит в восхищение — не столько от героизма гостьи, сколько от полного, как ему представляется, соответствия между ее поведением и бездарной умозрительной идеей. По нашему мнению, если бы речь в рассказе шла только об осмеянии идеологического дилетантизма, этого было бы вполне достаточно. Ну, а Стриндберг? Для чего автору понадобилось противопоставлять сценический прием госпожи Хайберг поведению гордой матери? Не зря же он так смело ввел в рассказ элемент случайного совпадения: профессор натывается на пресловутый абзац из Стриндберга чуть ли не сразу после случая с носовым платком. Видимо, дело обстоит не так просто, и у рассказа есть «второе дно», не столь очевидное, как первое, но наверняка не менее важное.

Действительно, концовка рассказа производит странное впечатление. Читатель далеко не сразу осознает, какая проблема всплывает вдруг из нее. Мономан-профессор смутно ощущает что-то неясное, что грозит разрушить безмятежную гармонию его мира. Пытаясь объяснить себе это ощущение, он готов заподозрить Стриндберга в попытке осмеять бусидо. Он даже готов оправдываться: «сценический прием... и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные». И все это мимо цели, но на то он и мономан. Если бы он дал себе труд отвлечься от любимой идеи, он сумел бы понять, что парадокс, с которым столкнул его случай, лежит совсем в другой плоскости понятий и представлений. Он сумел бы увидеть проблему такой, какой поставил ее перед читателем (и перед собой) автор. Проблему соотношения жизни и искусства.

В глазах знатоков театра сценический прием госпожи Хайберг давно уже стал банальностью. Но сотни тысяч, миллионы женщин и до и после госпожи Хайберг при разных обстоятельствах и по разным причинам стискивали зубы, комкали носовые платки,

впивались ногтями в ладони, чтобы не вскрикнуть, не разрыдаться, не показать своей боли, и никто никогда не называл это «дурным вкусом». И совершенно не важно, почему они это делали: по врожденной ли гордости или по твердости характера, пусть даже из приверженности кодексу бусидо. В данном случае не в этом дело. Дело в диковинной метаморфозе, которую претерпевает восприятие нами человеческого поведения, когда оно переносится из реальной жизни на сцену, на экран или на страницы книг. Какова психологическая природа этой метаморфозы? В чем секрет адекватного перевода с бесконечно разнообразного языка бесконечно разнообразной жизни на язык искусства?

Вот в этом, как нам кажется, и состоит глубинная суть, «второе дно» рассказа «Носовой платок». Это и есть главная его проблема, которую не то что решить — просто увидеть не дано профессорам — приверженцам бусидо, и эта проблема всю жизнь терзала странную и мудрую душу японского писателя Рюноскэ Акутагавы, покончившего самоубийством в 1927 году в возрасте тридцати шести лет.

II

Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года или, по старинному времяисчислению, в час Дракона дня Дракона месяца Дракона, и потому его нарекли Рюноскэ, ибо «смысловой» иероглиф этого имени «рю» означает «дракон».

Когда ему исполнилось девять месяцев, его мать сошла с ума, и младенца, по закону и по обычаю, передали на усыновление и воспитание в бездетную семью старшего брата матери, начальника строительного отдела Токийской префектуры Акутагавы Митиаки. Так маленький Рюноскэ утратил фамилию Нинхара и получил фамилию Акутагава, покинул вульгарные кварталы Кёбаси и дом невежественного нувориша из далекой западной провинции и поселился в старинном Ходзё, районе мрачноватых эдоских особняков, единственным сыном коренного столичного жителя, большого ценителя и знатока японской культуры.

В небольшом предисловии не место подробностям детских и юношеских лет писателя. Скажем только, что первоначальную — и весьма основательную — культурную закалку он получает в доме своего приемного отца; что учится он прекрасно и со школьных лет увлекается чтением японской и китайской классики; что в одиннадцать лет он редактирует и оформляет рукописный журнал, который «издает» совместно с одноклассниками, а с четырнадцати лет принимается читать Франса и Ибсена; и что в двадцать лет,

учась на литературном отделении так называемой высшей школы, без памяти и без разбора погружается в чтение европейских поэтов, прозаиков и философов, в том числе Бодлера, Стриндберга и Бергсона.

В 1913 году Акутагава поступил на отделение английской литературы Токийского императорского университета и вскоре взялся за первые опыты в беллетристике. Но прежде чем говорить об этом, следует хотя бы в самых общих чертах представить себе, как был организован литературный мир Японии того времени и в каком состоянии находилась тогда японская литература.

Как это ни странно, в молодой буржуазной Японии, где все, начиная со структуры правительственного аппарата и кончая формой головных уборов железнодорожных носильщиков, дотошно копировалось с европейских образцов, в Японии, напряженно стремившейся сравняться с Западом и в материальном и в духовном плане, организация литературного мира сложилась первоначально в чисто феодальном стиле. Первые мастера новой литературы совершенно уподобились мастерам-ремесленникам — они объединялись в подобие цехов или кланов, обзаводились подмастерьями и учениками, которых нещадно эксплуатировали, стояли друг за друга стеной и яростно отбивали все попытки посягнуть на их прерогативы. А прерогативы эти были немалые; в частности, все дороги в литературу, то есть в центральные литературные ежемесячники, были в их руках, и проскочить через эти заставы без задержки могли либо только одиночки, имевшие протекцию непосредственно в журналах или располагавшие достаточными средствами, либо студенты университетов, удостоившиеся чести быть принятыми в соответствующий цех сразу же после первого произведения. Всем остальным не оставалось ничего иного, кроме как «войти в ворота», то есть идти на выучку и в услужение к литературному шефу.

Но мы не хотим сказать, что такая система имела только отрицательные стороны. Непосредственное шефство маститого писателя над начинающим автором, если отвлечься от феодального антуража, приносило, несомненно, громадную пользу. Не надо забывать, что начинающий стремился «в ворота» того мастера, которого глубоко уважал, перед которым преклонялся. В стране, где не существовало (да и сейчас, кажется, не существует) издательской редактуры в нашем смысле этого слова, кисть шефа, смоченная красной тушью, могла сделать и делала много доброго в рукописи, принесенной за пазухой. К тому же такая организация литературы, как рабочая система, продержалась в чистом виде сравнительно недолго, и к тому времени, когда в литературу вошел Рюноске Акутагава, она приняла уже гораздо более цивилизованные формы.

И когда в 1915 году он, автор всего двух рассказов, с бешено бьющимся сердцем вступил в кабинет своего любимого писателя Сосэки Нацумэ, ему не пришлось, конечно, ни таскать воду, ни бегать в соседнюю лавочку за овощами для кухни.

Тут уместно задаться вопросом: для чего Акутагава пошел в ученики — хотя бы и к такому мастеру, как Сосэки Нацумэ? Да, десятилетие работы Нацумэ в литературе называют «годами Нацумэ». Да, рассказ «Ворота Расёмон» привлек внимание и удостоился похвалы Нацумэ. Но двери в литературу были и без того широко распахнуты перед Акутагавой. Он принадлежал к университетскому литературному клану и активно участвовал в его печатном органе «Синситё». Его рассказы «Маска хёттоко» и «Расёмон» были опубликованы в солидном ежемесячнике «Тэйкоку бунгаку». У него уже складывались, как мы увидим, свои оригинальные взгляды на роль и задачи литературы. И тем не менее он «входит в ворота» Сосэки Нацумэ.

В 1885 году литературовед-англист Сёе Цубоути опубликовал трактат «Сущность романа», во многом определивший характер новой японской литературы. Он призвал писателей отказаться от принципов традиционной японской поэтики с ее стремлением к дерзкой метафоре и острой фабуле, предложил пользоваться исключительно европейской «техникой описания» и сформулировал новый литературный метод «сядзицусюги» («отражать как есть»). Этот метод предполагал фотографическую точность изображения всего, что фиксирует взгляд писателя, причем в первую голову — изображения человеческих чувств. Казалось бы, Сёе предлагал новой японской литературе именно то, чего ей не хватало: верность действительности. Ведь недаром этот метод был подхвачен с таким восторгом, и недаром его автора почтительно-восторженно называли «колоколом на рассвете». На самом же деле этот трактат явился скорее спасательным кругом, брошенным японским беллетристам, которые буквально захлебывались в кипучей разноголосице разнообразных и зачастую противоречивых западных влияний. Все, чего западная литературная традиция достигла за столетия эволюционного развития, обрушилось на Японию буквально в одночасье: и романтизм, и сентиментализм, и реализм, и натурализм, и первые декадентские и модернистские ухищрения. Все это надлежало переварить как можно скорее и выбрать или скомпилировать то, что, во-первых, соответствовало бы и было необходимым тогдашнему обществу, а во-вторых, что оказалось бы «под силу» нуворишам от литературы.

Принцип «сядзицусюги» устраивал многих. Воспринят он был с неописуемым простодушием: описывай все, что перед глазами, и не надо заботиться ни о занимательности, ни о сюжете, ни о

стилистике, и, уж конечно, не имеет никакого смысла анализировать увиденное, искать его связи с политическим, экономическим, социальным состоянием страны. Отражай как есть.

Разумеется, лучшие писатели восприняли этот принцип не столь буквально. Роман «Плывущее облако» Фтабатэя «показал изнанку мэйдзийской цивилизации». Радовал за реализм, пронзанный идеалами, поэт конца века Тококу Китамура. Страшно писала о судьбе японской женщины Итиё Хигути. В первое десятилетие нового века, когда школьник Акутагава вздохнул зачитывался Франсом и Ибсеном, гневно гремели произведения Рока Токутоми, Тосона Симадзаки, Катай Таямы. Но основная тенденция была уже определена. Метод «сядзицусюги» оформился в японский натурализм, и вскоре тот же Катай Таяма выдвинул принципы «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». Смысл этих принципов сводился к декларации: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное; изгоняем все, что относится к мастерству; изгоняем все, что относится к идеалам». Принцип жестокой фотографичности логически привел к утверждению, что достоверно писатель может описать только себя самого. Писателям предложили публично раздеться. Так возникла эгобеллетристика, и на страницах журналов и книг предстали вывернутые наизнанку души и постели известных мастеров литературы.

Разумеется, имела место и оппозиция. В серую толщу унылых бессюжетных писаний, начисто лишенных настроений и здравого смысла, сверкающим лезвием вонзилась сатира Сосэки Нацумэ «Ваш покорный слуга кот». Весь богатейший арсенал японской и европейской поэтики, все известные в мировой литературе приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска бросил он против застойного болота «плоскостного изображения». И при всем том это был настоящий полновесный реализм, реализм в высшем смысле этого слова, изображение жизни в ее социальных и психологических противоречиях...

Но одна ласточка не делает весны. «Ваш покорный слуга кот» появился в 1905 году, за ним последовало еще несколько повестей и романов Нацумэ. И все. Японская «натуральная школа» продолжала свое победное шествие, брезгливо сторонясь и «светозарной литературы», и большой общественной проблематики. Молодой Рюносукэ Акутагава с тревогой и недоверием следил за ее развитием. Все это было совсем не то, что он любил в литературе и что хотел сделать в литературе. И он пошел к великому мастеру. Нам кажется, он сделал это потому, что испытывал потребность раз и навсегда перед собой и перед своими коллегами по университетскому клану отмежеваться от натурализма, от «плоскостного изображения», от эгобеллетристики. И еще, вероятно, он искал у

Нацумэ подтверждения своей правоты. Можно представить себе, как Сосэки Нацумэ, прочитав очередной его рассказ, говорит, одобрительно кивая: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноскэ. Ты прав».

III

В «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»), литературном памятнике конца XI века, есть короткий рассказ о провинциальном воре, который в надежде поживиться пробрался в блестящую столицу и с досады ограбил в короткой башне Расёмон старуху нищенку. В наше время благодаря Акутагаве (и успехам японской кинематографии) название Расёмон известно чуть ли не каждому культурному человеку в мире, а началось это, должно быть, с того, что двадцатичетырехлетний студент после долгих раздумий о своей теме в литературе, о своих литературных принципах и о своем собственном литературном методе пришел приблизительно к таким выводам. Моей темой должна быть бесконечная вселенная человеческого духа, человеческая психология; мои принципы сводятся к тому, что литература есть искусство, литература должна быть искусством, что бы там ни бубнили всеядные приверженцы простоты и безыскусности, убежденные противники мастерства; мой метод...

Вот тут Акутагава сделал свое первое открытие. Цубоути был, разумеется, прав, когда писал в своей «Сущности романа»: «Главное — описание чувства, потом уже нравов и обычаев... Чувство — это мозг произведения». Это правильно — объектом литературы должна быть психология человека. Правильно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но термин «описание» легко влечет за собой, что и показала практика, представление о бездумном, пассивном копировании. Писатель должен быть активен в отношении объекта своей работы. Не описанием чувств должна заниматься литература, утверждал Акутагава, а исследованием, анализом психологии. Но анализ предполагает инструмент. Что может быть инструментом литературного анализа психического мира? Только одно: событие. Подобно тому как крупинка катализатора, брошенная в однородный мертвый раствор, вызывает в этом растворе бурную химическую реакцию, так и событие приводит в движение спящую в обычном состоянии человеческую психику, провоцирует ее на самые разнообразные проявления в поступках, анатомирует ее, выворачивает наизнанку. Событием может быть и вселенская катастрофа — например, война; и личное несчастье — например, неразделенная любовь; и подлая мелочь

жизни — например, приобретение новой шинели. Выбор события — это дело автора, выбор зависит от задачи, которую ставит перед собой автор, от личности героя произведения, от множества других факторов и является в конечном счете актом литературного мастерства. Так или примерно так рассуждал Рюноске Акутагава и принялся претворять свое открытие в слово.

Он пишет рассказ о человеке, который питал такое отвращение к злу, что готов был скорее умереть с голоду, чем встать на путь преступления. При виде старой нищенки, совершавшей мерзость, его абстрактная ненависть к злу логически перевоплотилась в ненависть к преступнице, а ненависть к преступнице столь же логически вылилась в преступление против нее: он, так ненавидевший зло, ограбил старуху. Старинный анекдот о воре, ограбившем старуху нищенку в воротах Расёмон, явился той самой крупинкой катализатора, которая развернула плоское течение психики частного обывателя в яркий психологический этюд.

Характерно, что Акутагава сразу же демонстративно отказался от авторства в отношении событий. Сюжетные завязки его новелл, рисующих парадоксы и внезапные повороты человеческой психики, восходят к средневековым анекдотам и к эпизодам из военно-феодалного эпоса. Он стремился еще и еще раз подчеркнуть, что быт и нравы, время действия и обстановка не играют для его анализа никакой роли. Психология человека, рассуждал Акутагава, не изменилась за все эти века, и он вправе анатомировать ее на фоне сколько угодно гротескных обстоятельств, лишь бы они помогли делу.

Следует сразу сказать, что он переоценил своих литературных оппонентов. Простодушные коллеги ничего не поняли в его методе и принялись наперебой упрекать его в ретроградстве, в стремлении уйти от действительности в прошлое, в болезненном пристрастии к старине. Вначале он презрительно отмалчивался, но в конце концов его заставили объясниться.

«Я беру т е м у, — писал о н, — и решаю воплотить ее в рассказе. Чтобы дать этой теме наиболее сильную художественную выразительность, мне нужно какое-нибудь необычайное событие. Но мне не удастся рассказать об этом необычайном событии, — именно потому, что оно необычайное, — так, словно оно произошло в сегодняшней, в нашей Японии. Если же я все же пишу наперекор всему, не считаясь с тем, что мне это не удастся, я, как правило, вызываю у читателя чувство неестественности. Единственное средство избегнуть такого затруднения, это... отнести событие в прошлое, рассказать о нем, как о прошедшем давным-давно в старину... В моих рассказах, в которых материал взят из старинных хроник, действие разворачивается в далеком прошлом большей частью именно

под влиянием этой необходимости. Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как таковой у меня пристрастия нет». (Перевод Н. Фельдман.)

В том обстоятельстве, что Акутагава начал использовать свой метод на материале старинных хроник, можно усмотреть влияние квазиисторических рассказов Франса. Но были у него предшественники и в Японии. Акинари Уэда, выдающийся писатель второй половины XVIII века, писал в предисловии к циклу своих новелл «Луна в тумане»: «Когда читаешь их сочинения (произведения классиков светской литературы Японии и Китая. — А. С.), то видишь, что сочинения эти полны необыкновенных образов, и хоть смехотворны и бессвязны они, но похожи на правду, фраза за фразой текут плавно и увлекают читателя. Настоящее можно узреть в глубокой древности». Как бы то ни было, «необычайные события», описанные в старину, стали в произведениях Акутагавы надежным инструментом для исследования механизмов человеческой психологии.

Особенный интерес представляет в этом отношении рассказ «Бататовая каша». В основу его тоже взят древний анекдот о том, как бедный самурай всю жизнь мечтал «нажраться» бататовой каши и как он ею объелся, когда сильные мира сего потехи ради предоставили ему эту возможность. Но Акутагава построил на этом незамысловатом анекдоте откровенный парафраз «Шинели» Гоголя. Аналог Акакия Акакиевича, самурай в мелких чинах служит при дворе могущественного феодала. В полном соответствии с общественным положением Акакия Акакиевича он — маленький человек, нищий и до крайности забытый. Как и Акакий Акакиевич, вид он собой являет самый неприглядный, одежды носит самые заношенные и, разумеется, служит для всех окружающих объектом самых грубых насмешек и издевательств. Мало того, словно бы не удовлетворяясь этими общими чертами сходства между своим героем и Акакием Акакиевичем, Акутагава вводит в рассказ абзац, который уже совершенно недвусмысленно указывает читателю на первоисточник. У Гоголя мы читаем: «Только если уж слишком была невыносима шутка... он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек... который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде». Акутагава пишет: «Лишь когда издеательства переходили все пределы... тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха — и говорил: «Что уж вы, право, нельзя же так...» Те, кто видел

его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости... Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у которых оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди всех немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек... Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услышал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью...» Наконец, аналогию завершает масштаб сокровенных желаний героев: Акакий Акакиевич «питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели», а красноносый бедолага-самурай мечтал «нажраться» бататовой каши.

На этом сюжетная аналогия заканчивается и начинается эксперимент. Акакий Акакиевич гибнет, потому что невозможно оказалось перенести потерю шинели, вожденной цели и смысла бытия. Маленький человек вырастает в трагическую фигуру. Ведь не случись несчастья, он прожил бы отпущенные ему дни и во благо-время скончался бы тихо, словно его никогда и не было на свете. А что бы случилось с Акакием Акакиевичем, если бы не отняли у него шинель, а, напротив, подарили бы ему десяток шинелей, сотню шинелей, завалили бы его шинелями? Что стало бы с гои, грезившим о бататовой каше, если бы поставить перед ним котел этой каши, десять котлов, море? Что происходит в психике маленького человека, когда его маленькие мечты осуществляются с гомерическим избытком? Именно этот эксперимент поставил Акутагава в своем рассказе. Как увидит читатель, бедолага пришел в ужас от обилия вожденного лакомства. Он едва одолел маленький котелок. Он понял, что никогда в жизни больше в рот не возьмет бататовой каши. Мечта его при столкновении с перспективой полного удовлетворения перешла в панический страх, а страх — в безнадежное сожаление об утраченной мечте. Но в конце концов исчезло и сожаление. Маленькому человеку гораздо проще и легче жить без всяких желаний.

Квазиисторические новеллы о парадоксах психологии («Ворота Расёмон», «Нос», «Бататовая каша») скоро завоевали Акутагаве признание читателей и издателей и выдвинули Акутагаву в ряды лучших авторов того времени. Сосэки Нацумэ с радостной гордостью говорил о тонком вкусе и неподдельном юморе его произведений. Но сам Акутагава вскоре задумался. Инстинктом большого художника он почувствовал, что с его методом что-то не совсем в порядке — то ли с методом, то ли с применением этого метода. Литературно, слишком литературно. Слишком интеллектуально, слишком от головы. Стремясь разобраться в своих сомнениях,

он сделал попытку сформулировать фундаментальную проблему искусства и написал рассказ «Носовой платок». Что же все-таки такое искусство и как оно соотносится с жизнью?»

IV

В заметках «Об искусстве» Акутагава подчеркнул, что произведение искусства должно быть совершенным, как ничто другое, что совершенство состоит в полном воплощении художественного идеала, в противном же случае служить искусству просто не имеет смысла. Именно это занимало Акутагаву в 1919 году, в двадцать восемь лет. К этому времени уже вышли три сборника его рассказов, восторженно встреченных читателями. Он был уже женат и служил преподавателем в военно-морской механической школе. Он стал сотрудником крупной газеты «Осака майнити» (оклад пятьдесят иен в месяц, гонорары отдельно, право печататься в любом журнале).

А с северо-запада, из гигантской страны, тянули огненные сквозняки невиданных событий, разносящие семена революции; по всей Японии чернели пепелища на месте магазинов, складов и особняков крупных спекулянтов рисом, спаленных в бешеной вспышке «рисовых бунтов»; в Токио бастовали железнодорожники, печатники, рабочие военных арсеналов, учителя, почтовые служащие; банды фашиствующих молодчиков из «ронинкай» («общества ронинов») нападали на рабочие собрания и демонстрации, штрейкбрехерствовали, громили помещения профсоюзов; в Корее императорская военщина злобно затаптывала пламя всенародного восстания; в Приморье и в Восточной Сибири японские и американские солдаты с помощью белогвардейских палачей жестоко расправлялись с местным населением.

Акутагава был далек от всего этого. Войны, революции, стихийные бедствия казались ему чем-то преходящим, не заслуживающим внимания художника. В лучшем случае они могли служить событиями, приводящими в движение скрытые механизмы человеческой души. Единственная, неповторимая, значимая реальность жизни — это искусство, отражающее — нет, не отражающее, а исследующее эти механизмы. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера», — провозгласил он. Во всяком случае, жизнь, не связанная со служением искусству.

Во всей вселенной, считал он тогда, есть только одно дело, которое заполняет жизнь до краев, не оставляя места ни для сожалений, ни для разочарованна. Это дело — служение искусству. Искусство приносит художнику высшие радости, окупает любые

жертвы, оправдывает любые преступления. Художнику могут быть свойственны обыкновенные человеческие слабости, в своей обыденной жизни художник может пребывать в зависимости от сильных мира сего, невежественная чернь может смеяться над художником или страшиться его — все это не имеет к служению искусству никакого отношения; мнение черни, полагал он, ничего не значит, духом художник всегда неизмеримо выше самого своего могущественного властелина, и если человеческие слабости губят художника, так это не вина его, а беда.

В июле 1918 года в газете «Осака майнити» была закончена публикация одной из самых блестящих новелл Акутагавы — «Муки ада».

Ёсихидэ, придворный художник владетельного князя, единовластного господина над жизнью и смертью своих слуг и вилланов, на всем белом свете любил только искусство и свою юную дочку. Он был великим мастером, познавшим все тайны красоты и уродства и умевшим воплотить в красках какую угодно радость и какую угодно тоску, и еще он был отвратительным, желчным и неуживчивым старикашкой. Наконец, он имел недостаток, совершенно несвойственный большинству художников XX века: он не умел изображать того, чего никогда не видел хотя бы во сне. И вот однажды его светлость повелел Ёсихидэ расписать ширмы изображением мук ада. Вначале работа Ёсихидэ продвигалась успешно: адское пламя он видел во время большого пожара, корчащихся в муках грешников он наблюдал, истязая своих учеников, адские слуги в китайских одеждах и с бычьими и конскими харями неоднократно являлись ему в бреду. Но по его замыслу в центре картины должна была быть охваченная огнем карета с погибающей в ней молодой придворной дамой. Такого мастеру никогда еще приходилось видеть, и он почтительнейше поверг к стопам его светлости просьбу... Его светлость, пожелав проучить злобного старика, который ради своей картины готов был предать мучительной смерти безвинную женщину, повелел сжечь на глазах у Ёсихидэ карету с его единственной и любимой дочерью. Все было выполнено по повелению. Ёсихидэ не бросился в пламя, как ожидал того его светлость. Человек был ввергнут в огненную пучину ада, а погубивший его художник торжествовал. Закончив свой шедевр, Ёсихидэ удавился.

«Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Что стоят человеческие жизни в сравнении с шедевром! Трижды прав был Ёсихидэ, ибо только искусство приносит художнику высшую радость, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Целью жизни может быть только искусство, в конечном счете оно является и целью существования рода человеческого, а все осталь-

ное — борения страстей, социальные катаклизмы, тяжкий труд крестьянина, хитрости политика, технология, наука — имеет значение лишь в той мере, в какой может способствовать или препятствовать созданию шедевров.

Это было второе открытие Рюноскэ Акутагавы, но оно обрадовало его далеко не так сильно, как первое.

V

Рюноскэ Акутагава не стоял на бастионах осажденного города, как Лев Толстой; не поднимал голос в защиту справедливости, как Эмиль Золя; не сражался за революцию, как Ярослав Гашек. Он вел размеренную и довольно bestолковую жизнь японского литературного мэтра: по обусловленным дням принимал в своем кабинете «Тёкодо» («Храм чистой реки») литературную молодежь; посещал многочисленные банкеты; коллекционировал старинные картины и антиквариат; ссорился с издателями из-за гонораров; совершал лекционные поездки по стране; редактировал хрестоматийные сборники. В 1921 году он в первый и последний раз в жизни побывал за границей — по заданию редакции «Осака майнити» пропутешествовал по Китаю и по Корее. Великое землетрясение 1923 года, опустошившее пять префектур, в том числе и столичную, не произвело на него видимого впечатления: во всеуслышание он скорбел только о том, что в чудовищных пожарах погибло много бесценных произведений искусства...

Что еще? Как и многие другие литературные мэтры, он был неважным семьянином, хотя родил трех сыновей. Страдал от нервного истощения, от каких-то болезней желудочно-кишечного тракта, от ослабления сердечной деятельности и лечился на курорте Ютака.

И он непрерывно, бешено работал.

В первой половине 20-х годов «натуральная школа» Японии покатила под гору. В литературную жизнь страны ворвался свирепый ветер коммерции. Сэйдзи Нома, основатель и владелец издательского концерна «Коданся», «журнальный король Японии», как восторженно назвал его другой крупнейший издатель, должно быть, первым понял, как надо разговаривать с литературной публикой. Теперь уже не издатель униженно просил у маститого мастера «все равно что, по вашему усмотрению», а маститые литераторы толпились в прихожей издателя в трепетном ожидании приема. Издатель диктовал свою волю. Издатель определял, что нужно писать и чего писать не следует. Издатель платил. И начался разгром.

Началась расплата за десятилетнее господство серости и безыдейности. Вчерашние поборники и беззаветные защитники вечных и незыблемых принципов упали на колени перед золотым тельцом. Сочинители эгобеллетристики принялись спешно учиться писать детективы и приключенческие романы. Специалисты по публичному самораздеванию штудировали европейскую и американскую бульварную макулатуру. Крупнейшие писатели, в том числе старые друзья Акутагавы, организовывали по примеру Дюма-отца литературные фабрики, на которых нищие студенты за гроши сочиняли для них сюжеты и писали черновики. Покончил с собой один из самых талантливых современников Акутагавы, замечательный прозаик и драматург Такэо Арисима.

В этом хаосе дешевых соблазнов, трескучей пустопорожней болтовни, измен высоким идеалам Рюноскэ Акутагава работал как одержимый. Вероятно, из всех адептов «большой литературы» не склонил головы только он один. Впрочем, справедливости ради следует сказать: издатели отлично понимали, что помыкать им нет никакой выгоды, — громадный неиссякаемый талант все время держал его в фокусе читательского внимания. Но сам-то он не находил покоя. Поиск, поиск, поиск — вот что составляло суть его деятельности. Одно дело — открыть и усвоить некий принцип. Другое дело — претворить его в жизнь, в слово. И мысль писателя судорожно билась в недрах неповоротной груди фактов мировой культуры, стремясь нащупать в этом бесконечном разнообразии нечто главное, единственное, незаменяемое, некий философский камень, который чудесным образом раз и навсегда решит для него все мучившие его проблемы. Он понимал, что никакие теоретические построения не удовлетворят его, что один лишь опыт может привести его к правильному решению, и писал рассказ за рассказом, эссе за эссе, танку за танкой. Его коллеги ныли, публично жалуюсь, что писать больше не о чем, а он едва успевал переводить дух — мысли и чувства лились с кисти на бумагу, облекаясь в формы то простые и даже наивные, то странные и причудливые, порой фантастические. Пожалуй, ни один писатель не может похвастать такой жанровой и тематической мозаикой, какую являло собой творчество Акутагавы Рюноскэ.

Рассмотрим для примера литературную продукцию Акутагавы с декабря 1921 по август 1922 года.

«В чаще». Поразительное литературное произведение, совершенно уникальное в истории литературы, поднявшее откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня.

«Генерал». Простой и суровый рассказ, раскрывающий облик профессионального вояки-фанатика в четырех очень точно подо-

бранных аспектах: генерал и солдаты, генерал и враги, генерал и искусство, генерал и новое поколение.

«Усмешка богов». Рассказ, который сделал бы честь любой антологии современной научной фантастики.

«Вагонетка». Реалистическая новелла о детстве, лиричная и немного грустная, как и все произведения такого рода.

«Повесть об отплате за добро». Снова о парадоксах человеческой психологии, и снова на материале средневековья.

«Святой». Фантастическая притча.

«Сад». История гибели старинной семьи, пришедшей в упадок после переворота Мэйдзи. И в теме и в настроении явственно ощущается могучее влияние Чехова.

«Барышня Рокуномия». Рассказ, развивающий ту же тему. Вообще Акутагаву очень занимали картины угасания последних представителей погибших цивилизаций. Впоследствии он еще не раз обратится к этой теме.

«Чистота О-Томи». Типичный исторический рассказ без всякого подтекста, рисующий эпизод из гражданской войны во время переворота Мэйдзи.

«О-Гин». Мастерски написанная новелла о гонениях на христиан в Японии XVII века. По определению Н. Фельдман, «его «христианские» рассказы неизменно представляют собой соединенные иронии и восхищения — иронии, направленной на объективную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего».

«Три сокровища». Нарочито наивная и простодушная пьеса-притча, явно стилизованная под средневековый народный театр, да еще европейский...

К этому списку можно было бы добавить повесть «Ересь», еще несколько рассказов, сборник маленьких эссе-дзуйхицу, стихи, но достаточно и того, что помещено в настоящем сборнике. Фантастика и реализм, средневековье и современность, политика и история, проза и драматургия, откровенный смех и тихая грусть, литературная простота и изощренная стилизация... увлеченное следование Чехову, — и все это в течение одного года, в стремительном темпе, все это соседствует, переплетается, перекрывает одно другое. Акутагава был мастером-виртуозом, он с невероятной точностью находил или создавал сюжеты, наиболее подходящие для претворения в литературу его замыслов, облакал их в наиболее подходящую форму, не зная и не желая знать при этом никаких запретов и литературных табу.

Он писал много и разнообразно; он пользовался громадным успехом. Сборники его рассказов выходили один за другим и быстро раскупались. В апреле 1925 года его книгой открылась многотом-

ная серия «Собрания современных произведений». Разумеется, его критиковали, его поучали, на него клеветали — все это имело мало отношения к тому, что его мучило. Оказывается, найти и сформулировать принцип много легче, чем выяснить его пригодность на практике. Громадный литературный опыт самого Акутагава был совершенно безразличен к этому принципу, а в мировоззренческом плане идея примата искусства над жизнью оборачивалась какой-то странной и неприятной стороной, возбуждая в душе и сознании сотни тысяч мучительных «зачем» и «почему». Да, искусство есть, несомненно, процесс отражения действительности в образах, причем понятие «отражение» никак не может быть сведено к отражению в плоском зеркале, понятие «действительность» должно, в зависимости от целей, которые ставит перед собой художник, включать в себя и его внутренний мир, а понятие «образ» существенно зависит от специфики данного вида искусства. Это вытекало из опыта культуры всех времен и народов, это четко подтвердилось опытом Акутагава. Но этого, оказывается, было мало.

Акутагава был слишком большим художником, чтобы не быть диалектиком, хотя бы и интуитивным. «Принцип «искусство выше всего», — объявил наконец он, — по крайней мере, в литературном творчестве — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту». И дальше: «Истари особенно рьяно провозглашали «искусство выше всего» большей частью кастраты от искусства». Философский камень оказался не там, где его с такой бешеной энергией искал Акутагава. Не в сказочно прекрасном дворце человеческой культуры, а в грубом и монолитном фундаменте, на котором этот дворец был воздвигнут. Элементарная логика, азы диалектики. Искусство не может иметь бытия само по себе, как не может иметь бытия один сам по себе полюс магнита. Искусство существует лишь постольку, поскольку существует потребность искусства. Между искусством и его потребителем должна быть прочная функциональная связь, выходящая далеко за рамки отношений типа «писатель пописывает, читатель почитывает». Некая форма мощного взаимодействия. Если отбросить в общем-то банальную и снобистскую в самом дурном смысле этого слова мысль о том, что потребителями искусства являются окологкультурные недоучки и образованная, располагающая досугом элита, и принять, что потребителем искусства должен быть народ, то исчезают все «зачем» и «почему» и на месте хаоса возникает стройная система: народ из чрева своего порождает искусство, а искусство, в свою очередь, оплодотворяет лоно народа.

Так или примерно так рассуждал Рюноске Акутагава. Так он сделал свое третье открытие.

Но было уже поздно.

VI

На далеком, вдруг придвинувшемся вплотную северо-западе гигантская страна принялась за непомерную работу по преобразованию мира, выкорчевывая с корнем вековое невежество, изнемогая от разрухи, сквозь голод и холод, сквозь толщи предрассудков и заблуждений пробиваясь к фантастическому будущему. В Китае бушевала революция, возглавляемая Сунь Ятсеном, огромные народные массы поднимались против засилья иностранцев и собственных генералов-милитаристов, национально-революционные войска штурмовали города Северного Китая, занятые маньчжурским диктатором, ставленником японской военщины Чжан Цзолином. В Японии правительство, напуганное стремительным ростом социалистических настроений среди рабочих, издало закон «об опасных мыслях»; и одновременно — рост мощи и международного авторитета Советского государства вынудил правительство восстановить дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом и вывести войска с Северного Сахалина; и тут же — глава правительства генерал Танака всеподданнейше поверг к стопам императора секретный меморандум, из которого следовало, что для Японии существует необходимость «вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной Маньчжурии»...

Акутагава не дожид до продолжения. Все это было впереди — «мукденский инцидент» и Антикоминтерновский пакт, Пёрл-Харбор и битва на Волге, лагеря уничтожения, «отряды» генерала Исии и атомный гриб над Хиросимой. Но кровавые отблески грядущих потрясений уже дрожали на лице планеты, и он, утонченный, эрудированный и глубоко невежественный в политике художник, с тревогой вглядывался в них, пытаясь понять, что они предвещают. Громы исполинских классовых столкновений дошли наконец до его сознания, и каким же маленьким, каким ничтожным показался он себе со своими метаниями и поисками в горних высях чистого искусства! Он уже знал, что своим третьим и последним открытием вынес приговор самому себе прежнему, и мечтал только удержаться на ногах. Он писал: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр». Он заклинал себя: «Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах». Он утверждал, убеждая себя: «Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева —

частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне».

Он чувствовал себя все хуже и хуже. Сказывались годы напряженной работы, мучительные болезни, вечный ужас перед масштабом, неотвратимо, как ему казалось, унаследованным от матери. Но главным все-таки было другое. Страх перед одиночеством с необычайной силой охватил его. Он понял, что висит в пустоте. Недавние друзья, превратившиеся в благополучных литературных деляг, претили ему. Возможность для себя служить государству, с его империализмом и откровенной полицейской сущностью, он с ужасом отвергал. Всю свою жизнь он любил только искусство и поклонялся только искусству. Оставался народ, истинный источник и единственный потребитель искусства. Акутагава провозгласил: «Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Но это не было знанием, вошедшим в его плоть и кровь, это просто логически вытекало из его новых представлений. Он объявил: «Правота социализма не подлежит дискуссии. Социализм — просто неизбежность». Но он плохо разбирался в социализме, социализм лишь ассоциировался у него с Россией, перед гением которой он преклонялся, а вообще-то к социалистам он готов был причислить и Чаплина. Он сказал о себе: «Я... по характеру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим убеждениям — коммунист». И здесь он вряд ли отчетливо представлял себе то, о чем говорил.

Провозгласив неразрывную связь между народом и искусством, он парадоксально не верил, что его работа, работа мастера-виртуоза, представляет для народа какую-либо ценность. По существу, он просто не верил в народ. В лучшем случае он был способен умиляться. И он был убежден, что ему, эстету и индивидуалисту, дорога к народу закрыта. Ясно для него было одно: действительность являет собой ад, в котором хорошо себя может чувствовать лишь «избранное меньшинство» — другое название для идиотов и негодяев. Для него же, Рюноске Акутагавы, остается только ад одиночества.

Пора было разобрататься в этой душевной сумятице, свести счеты с самим собой и с тем, что он любил больше жизни. И он написал свои изумительные «Диалоги во тьме», своеобразнейшую самоисповедь, представленную в виде бесед-диспутов с Совестью, Искусством и Вдохновением.

Поединок с Совестью — ангелом, который на заре мира боролся с Иаковом, то есть поединок с богом — странным образом напоминает игру в поддавки. Акутагава кругом виноват, ему нечего противопоставить своей Совести, кроме изощренной казуистики и жалобно-растерянного «как все, так и я», и он отступает по

всей линии. Диспут кончается страшно: Совесть оставляет художника страдать в аду, который он сам для себя создал. Далее следует поистине гениальный поворот. В споре с Искусством Акутагава выступает с позиций своей утраченной совести. Искусство всеми мерами пытается вернуть ему душевное спокойствие, привести его к миру с самим собой, но тщетно. Оно пытается доказать ему, что с совестью у него все в порядке, ведь он так страдает. Но для страдания не обязательно иметь совесть. «У меня есть только нервы». Искусство убеждает его, что он во всех своих чувствах, мыслях, делах был всегда прав. «Ты поэт, художник, тебе все дозволено». — «Я поэт, — соглашается Акутагава. — Я художник. Но я и член общества...» В его глазах возлюбленное искусство становится демоном великого соблазна. «Ты пес, — говорит он. — Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту в облике пса». Утешить оно больше не может. И оно тоже оставляет его страдать.

Ушла совесть, перестало давать радость искусство. Но осталась еще могучая сила, которая, подобно рентгеновским лучам, проникает сквозь любые преграды, является непрошеной, завладевает художником без остатка. Эта сила — Вдохновение. Восставать против нее бесполезно. Она как дамоклов меч висит над головой Акутагавы и только и ждет момента, когда он возьмет в руку перо. Может быть, ему, утратившему совесть и радость творчества, возложившему на голые плечи бремя целой жизни, следует умереть? Рюноске Акутагава! Вцепись крепче корнями в землю! Стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради своих детей.

Но он уже чувствовал, что ему не устоять. Безобразные призраки обступали его со всех сторон, глумились, угрожали, мешали видеть. Давно умершая дочь сумасшедшего, которую он когда-то ласкал; обезображенный труп мужа сестры, этого незадачливого жулика, покончившего самоубийством; невнятные голоса по телефону и странные взгляды случайного прохожего. Он терял ориентировку — откуда, из каких щелей, из какой преисподней выползала на него эта мерзость? Из темной пропасти ошибок, каким представлялось ему теперь собственное прошлое? Из опустылевшей до омерзения суеты, в которой тянулись теперь его унылые дни? Из Африки его духа — большого, воспаленного, расстроенного воображения? Он еще лелеял мечту написать роман, героем которого должен был стать сам японский народ с мифических времен до его дней, но он не видел этого героя, его заслоняли свирепые полководцы в рогатых шлемах и с окровавленными мечами, тихие и мудрые философы, посылавшие в мир бессмертные поучения из тиши отшельнических убежищ, величавшие худож-

ники, чьи творения потрясали души людей много поколений спустя...

Но он продолжал работать. Впервые в жизни он взял объектом своего анализа не личность, а общество в целом. Не желая связывать себя конкретными деталями быта, он перенес действие своего нового произведения в фантастическую страну. «Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Более того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя». Так, в мартовской книжке ежесюжета «Кайдзо» в 1927 году появилась на свет сатирическая утопия «В стране водяных» («Каппа») — блестящий гротеск, разительная пародия на буржуазную Японию... и страшная карикатура на самого автора, плоть от плоти, кровь от крови этой Японии, ее порождение и ее жертва. Некуда было ему уйти ни от своего прошлого, ни от настоящего, ни от себя.

В предчувствии неминуемой и близкой гибели он попытался освободиться от бремени «целой жизни», перенес ее на бумагу. Возможно, он видел в этом последнюю соломинку, и решение приняться за такую работу было продиктовано полуосознанным стремлением «сублимироваться», навеянным причудливыми представлениями о методике фрейдовского психоанализа. Досконально, стараясь не упустить ни единой подробности, он описал свои действия и ощущения в течение нескольких дней во время одной из поездок в Токио, рассказал о страхе перед подступающим безумием, о своем отвращении к людям и о себе, о невыразимой муке повседневной жизни. «Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» — в отчаянии воскликнул он, заканчивая рассказ, и сейчас же начал новую и последнюю повесть, в которой изложил историю своей жизни — нет, не жизни даже, а своего внутреннего ада, своего поражения. Эти два произведения — «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота» — можно, пожалуй, назвать кульминацией творчества Рюносукэ Акутагавы. И кульминацией всей довоенной литературы Японии. В них сосредоточилось все богатство чувств и мысли замечательного писателя, все его огромное мастерство, и вместе с тем в них, как в капле тяжелой и жидкой ртути, отразилась безысходность и безнадежность положения, в которое загнала себя культура страны накануне самых страшных испытаний, какие когда-либо выпадали на ее долю.

Он подарил миру еще два шедевра. Но освободиться ему не удалось. Сын сумасшедшей и торговца из Ямагути, писатель Рюносукэ Акутагава, приняв смертельную дозу веронала, покончил жизнь самоубийством на рассвете 4 июля 1927 года в возрасте тридцати шести лет.

* * *

Может быть, он ушел из жизни потому, что изнемог в борьбе с безумием.

Может быть, он перестал жить потому, что его обнаженная совесть не в силах была больше терпеть постоянное соприкосновение с кровавой пошлостью буржуазной действительности.

А может быть, сыграло тут свою роль и то обстоятельство, что свои открытия Рюноскэ Акутагава сделал не в том порядке.

Творческий прием, открытый им, в соединении с громадным литературным даром принес ему мировую славу. Его читают на всех континентах, причем круг его читателей непрерывно увеличивается. Большим успехом пользуется он и у читателей в Советском Союзе. Литературоведы и критики тщательно исследуют его творчество, а в Японии ежегодно одна из высших литературных премий — премия Акутагавы присуждается молодому писателю.

А. Стругацкий

**ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ
ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК**

Я, разумеется, очень рад, что мои произведения переводятся на русский язык. Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и даже скорее на японские читательские слои такое же влияние, как русская. Даже молодежь, не знакомая с японской классикой, знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Этого достаточно, чтобы стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия... Тот факт, что современная японская литература испытала на себе огромное влияние современной русской литературы, объясняется, несомненно, тем, что современная мировая литература в целом испытала на себе огромное влияние современной русской литературы. Но еще более важная проблема заключается в том, что объяснение этому, как мне думается, следует искать в сходстве характеров русских и японцев. Мы, современные японцы, благодаря произведениям великих русских реалистов в общих чертах смогли понять Россию. Постарайтесь и вы, русские, понять нас, японцев. (Мы, японцы, чувствуем себя в мире совершенно одинокими в сфере искусств, включая изобразительное и прикладное.) Среди современных японских писателей я не самый крупный. Более того, я даже сомневаюсь, являюсь ли самой подходящей фигурой, с которой следовало бы познакомить Россию. Япония после 1880 года родила множество талантов. Эти таланты

либо, подобно Уолту Уитмену, восславляли человека, либо, подобно Флоберу, правдиво рисовали жизнь буржуазии, либо, наконец, воспевали традиционную японскую красоту, присущую одной лишь нашей стране. Если вслед за переводами моих произведений русские познакомятся и с произведениями этих талантов, радоваться буду не я один. Мое предисловие кратко. Но его написал японец, который считает ваших Наташу и Соню нашими сестрами. С этой мыслью и читайте написанное мной.

Р. Акутагава

Январь 1927 г.

НОВЕЛЛЫ



Эссе

МИНИАТЮРЫ





НОВЕЛЛЫ



ВОРОТА РАСЁМОН

Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Расёмон.

Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэгаса и момиэбоси. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.

Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трех лет на Киото одно за другим обрушивались бедствия — то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу па краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко.

Зато откуда-то собиралось несчетное множество ворон. Днем они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами алело зарей, птицы выделялись на нем четко, точно рассыпанные зерна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушенных каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая

трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной синей одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, вскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.

Автор написал выше: «Слуга переждал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга пережидая дождь», а «слуга, загнанный дождем под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на все рукой, прожить хоть завтрашний день, — другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, — не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судзаку.

Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо все ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжелые темные тучи.

Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно — умереть от голода под забором или на улице. И потом труп приносят сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться... мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остается одно — стать вором.

Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе уже куда-то скрылся.

Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надев поверх желтой натальной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он заметил широкую лестницу, тоже покрытую красным лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.

Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, какой-то человек, съежившись, как кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку. Ту самую, на которой среди короткой щетины алел гнойный прыщ. Слуга сначала пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две-три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажженным светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый желтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.

Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.

В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это — что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу, как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещенные тусклым светом, падавшим на выступающие части тела — плечи или груди, отчего тени во впадинах казались еще черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.

От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в

следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.

Только в тот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хиноки. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.

Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались ее усилиям.

По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нем понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нем с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь еще раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот, — умереть голодной смертью или сделаться вором, — он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нем так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.

Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором.

И вот, напряжив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.

Как только ее взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.

— Стой! Куда? — рывкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Руки ее были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.

— Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!

И оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нем злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:

— Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?

Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:

— Рвала волосы... рвала волосы... это на парики.

Слуга был разочарован тем, что ответ старухи, вопреки ожиданиям, оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:

— Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и

сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу... Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым зажила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого помру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина — она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, — она бы, наверно, меня не осудила.

Вот что рассказала старуха.

Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.

— Вот, значит, как? — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, отняв руку от чирей, схватил старуху за ворот и зарычал: — Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду.

Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.

Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот — только черная глубокая ночь.

Слуга с тех пор исчез бесследно.

Апрель 1915 г.

О носе монаха Дзэнти в Икэноо знал всякий. Этот нос был пяти-шести сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу.

Монаху было за пятьдесят, и всю жизнь, с давних времен пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана найдодзёгубу, он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле будды Амида. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждал ему его собственный нос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах.

Тяготился же своим носом монах по двум причинам. Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиной в два сяку. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелегким как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посредине трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы... И все же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвленного самолюбия.

Жители Икэноо говорили, будто монаху Дзэнти с его носом повезло, что он монах, а не мирянин, ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и постригся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь

смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами.

Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось, и он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к попитуру читать сутру «Каннон-кё».

Монаха всегда очень заботили носы других людей. Храм Икэноо был из тех храмов, где часто устраиваются церемонии посвящения, читаются проповеди и так далее. Вся внутренность храма была плотно застроена кельями, в храмовых банях каждый день грели воду. Посетителей — монахов и мирян — было необычайно много. Монах без усталости рассматривал лица этих людей. Он надеялся найти хоть одного человека с таким же носом, как у него, тогда ему стало бы легче. Поэтому глаза его не замечали ни синих курток, ни белых кимоно, а коричневые шляпы мирян и серые одежды священнослужителей настолько ему примелькались, что их для него все равно что не было. Монах не видел людей, он видел только носы... Но носы в лучшем случае были крючковатые, таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днем монах падал духом все более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснея, совершенно как ребенок, пойманный на шалости, каковое обстоятельство полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния.

Наконец, чтобы хоть как-нибудь утешиться, монах выискивал персонажи с такими же носами, как у него, в буддийских и светских книгах. Однако ни в одной из священных книг не говорилось, что у Мандгалаяна или у Шарипутры были длинные носы. Нагарджуна и Асвагхо-

ша тоже, конечно, оказались святыми с самыми обычными носами. Как-то в беседе о Китае монах услышал, будто у шуханьского князя Лю Сюаньдэ были длинные уши, и он подумал, насколько менее одиноким почувствовал бы он себя, если бы речь шла о носе.

Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти все, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы. Он пробовал втирать в нос мышиную мочу. Но что бы он ни предпринимал, нос его по-прежнему свисал на губы пятивершковой колбасой.

Но вот однажды осенью один из учеников монаха, ездивший по его поручению в столицу, узнал там у приятеля-врача способ укорачивать длинные носы. Врач этот в свое время побывал в Китае и по возвращении сделался священнослужителем при главной статуе будды в храме Тёраку.

Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен, и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомянутый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытать этот способ. И ученик отлично понял хитрость монаха. И сколь ни претила ученику эта хитрость, на него гораздо сильнее подействовали, возбуждая его сострадание, те чувства, которые вынудили монаха к ней прибегнуть. Как и ожидал монах, ученик принялся изо всех сил уговаривать его испытать этот способ. Как и ожидал ученик, монах в конце концов уступил его горячим уговорам.

Что касается способа, то он был чрезвычайно прост: нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами.

Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принес большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно, пар от кипятка причинил бы ожоги лицу. Поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал:

— Теперь он проварился достаточно.

Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи.

Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого еще поднимался пар, обеими ногами и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил:

— Вам не больно? Врач предупредил, чтобы топтать сильно. Больно вам?

Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно. Но на носу у него стояли ноги ученика, и голова не сдвинулась с места. Тогда он поднял глаза и, уставясь на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом:

— Нет, не больно.

И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения.

Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просяные зерна. Совершенно как бывает, когда жарят ошипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил про себя:

— Велено было извлечь эти штуки щипцами для волос.

Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то чтобы он не понимал добрых чувств ученика. Нет, он это понимал, но ему неприятно было, что с носом его обращаются, как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делает операцию недостойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сало из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев длиной примерно в четыре бу.

Когда наконец эта процедура была закончена, ученик с облегчением сказал:

— А теперь проварим еще разок.

Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал корот-

ким как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик.

Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съезжился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет... Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало.

Правда, монах боялся, что через день-другой нос снова делается длинным. При каждом удобном случае, читая ли вслух священные книги или во время трапезы, он то и дело поднимал руку и украдкой ощупывал кончик носа. Однако нос весьма благопристойно держался над губой и, по всей вероятности, не был особенно расположен спускаться ниже. Рано утром на следующий день, пробудившись от сна, монах прежде всего прошелся пальцами по носу. Нос по-прежнему был короткий. И тогда монах почувствовал огромное облегчение, словно завершил многолетний труд по переписке «Сутры священного лотоса».

Но не прошло и двух-трех дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм Икэноо для каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый, который некогда уронил его нос в рисовую кашу, проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди и поучения, сперва глядел вниз, видимо сиюсь побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз, отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимают хихикать.

Сначала монах отнес это на счет того, что у него переменялось лицо. Однако само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло... Конечно, монахи-работники и послушник смеялись как раз по этой причине. Однако, хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличается от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то.

— Никогда прежде они не смеялись столь нагло, — бормотал временами монах, отрываясь от чтения священной книги и склоняя набок лысую голову. При этом наш красавец, рассеянно уставясь на изображение Вишвабхадры, висящее рядом, вспоминал о том, какой длинный нос был у него несколько дней назад, и уныло думал: «Ныне подобен я впадшему в бедность человеку, скрывающему бывшее процветание...» К сожалению, монаху не хватало проницательности, чтобы понять в чем дело.

...В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызывает чувство, будто чего-то стало недоставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще разок ввергнуть этого ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а все же враждебность к этому ближнему... Монах не понимал в чем дело, но тем не менее испытывал известную скорбь — несомненно, потому, что смутно подозревал в отношении к себе мирян и монахов Икэноо этот эгоизм сторонних наблюдателей.

И настроение монаха портилось с каждым днем. Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело в конце концов дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалолая-послушника. Однажды, услышав за окном собачий визг, он вышел посмотреть в чем дело и увидел, что послушник, размахивая палкой длиною в два фута, гоняет по двору косматую топкую собачонку. И если бы он просто гонял! Нет, он гонял и при этом азартно вопил:

— А вот я тебя по носу! А вот я тебя по носу!

Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для подерживания носа.

Монах все больше жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос.

А потом настала одна ночь. Вскоре после захода солнца подул ветер, и звон колокольчиков под кровлей пагоды надоедливо лез в уши. Вдобавок изрядно похолодало, поэтому старый монах, хотя ему очень хотелось спать, никак не мог заснуть. Он лежал с раскрытыми глазами

и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами — нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим.

— Беднягу несправедливо укоротили, вот он и заболел, — пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как берут жертвенные цветы для возложения на алтарь перед буддой.

На следующее утро он пробудился, по обыкновению, рано. Выглянув в окно, он увидел, что гинкго и конские каштаны во дворе храма за ночь осыпались и двор сиял, словно выстланный золотом. Крыши покрылись инеем. В еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзэнти, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул.

И в эту минуту к нему вновь вернулось некое почти забытое ощущение.

Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос пяти-шести сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, какое он испытал, когда нос его сделался коротким.

— Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будет, — прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру.

Февраль 1916 г.

АД ОДИНОЧЕСТВА

Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда. Насколько рассказ достоверен, не знаю. Но судя по тому, каким человеком был прадед, я вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место.

Прадед был страстным поклонником искусства и литературы и имел обширные знакомства среди актеров и писателей последнего десятилетия правления Токугавы. Среди них были такие люди, как Каватакэ Мокуами, Рюка Тэйтанэкадзу, Дзэндзай Анэйки, Тозэй, Дандзюро-девятый, Удзи Сибун, Мияко Сэнгю, Кэнкон Борюсай и многие

другие. Мокуами, например, с прадеда писал Кинокунию Бундзаэмона в своей пьесе «Эдодзакура киёмидзу сэйгэн». Он умер лет пятьдесят назад, но потому, что еще при жизни ему дали прозвище Имакибун («Сегодняшний Кинокуния Бундзаэмон»), возможно, и сейчас есть люди, которые знают о нем хотя бы понаслышке. Фамилия прадеда была Сайки, имя — Тодзиро, литературный псевдоним, которым он подписывал свои трехстишья, — Кои, родовое имя Ямасирогасино Цуто.

И вот этот самый Цуто однажды в публичном доме Таманоя в Ёсиваре познакомился с одним монахом. Монах был настоятелем дзэнского храма неподалеку от Хонго, и звали его Дзэнтё. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошелся с самой известной там куртизанкой по имени Нисикидзё. Происходило это в то время, когда монахам было запрещено не только жениться, но и предаваться плотским наслаждениям, поэтому он одевался так, чтобы нельзя было в нем признать монаха. Он носил дорогое шелковое кимоно, желтое в бежевую полоску, с нашитыми на нем черными гербами, и все называли его доктором. С ним-то совершенно случайно и познакомился прадед матери.

Действительно, это произошло случайно: однажды поздно вечером в июле по лунному календарю, когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках Ёсивары вешивают фонари, Цуто шел по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг увидел облокотившегося о перила любующегося луной мужчину. Бритоголового, низкорослого, худого мужчину. При лунном свете Цуто показалось, что стоящий к нему спиной мужчина — Тикунай, завсегдатай этого дома, шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, Цуто слегка потрепал его за ухо. «Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернется», — подумал Цуто.

Но, увидев лицо обернувшегося к нему человека, сам испугался. За исключением бритой головы, он ничуть не был похож на Тикуная. Большой лоб, густые, почти сросшиеся брови. Лицо очень худое, и, видимо, поэтому глаза кажутся огромными. Даже в полутьме резко выделяется на левой щеке большая родинка. И наконец, тяжелый подбородок. Таким было лицо, которое увидел оторопевший Цуто.

— Что вам нужно? — спросил бритоголовый сердито. Казалось, он чуть-чуть навеселе.

Цуто был не один, я забыл об этом сказать, а с двумя приятелями — таких в то время называли гейшами. Они, конечно, не остались безучастными, видя оплошность Цуто. Один из них задержался, чтобы извиниться за Цуто перед незнакомцем. А Цуто со вторым приятелем поспешно вернулся в кабинет, где они принялись развлекаться. Как видите, страстный поклонник искусств — и тот может опростоволоситься. Бритоголовый же, узнав от приятеля Цуто, отчего произошла столь досадная ошибка, сразу пришел в хорошее расположение духа и весело рассмеялся. Нужно ли говорить, что бритоголовый был Дзэнтё?

После всего случившегося Цуто приказал отнести бритоголовому поднос со сладостями и еще раз попросить прощения. Тот, в свою очередь, сочувствуя Цуто, пришел поблагодарить его. Так завязалась их дружба. Хотя я и говорю, что завязалась дружба, но виделись они лишь на втором этаже этого заведения и нигде больше не встречались. Цуто не брал в рот спиртного, а Дзэнтё, наоборот, любил выпить. И одевался, не в пример Цуто, очень изысканно. И женщин любил гораздо больше, чем Цуто. Цуто говорил в шутку, что неизвестно, кто из них на самом деле монах. Полный, обрюзгший, внешне непривлекательный Цуто месяцами не стригся, на шее у него висел амулет в виде крохотного колокольчика на серебряной цепочке, кимоно он носил скромное, подпоясанное куском шелковой материи.

Однажды Цуто встретился с Дзэнтё, когда тот, набросив на плечи парчовую накидку, играл на сямисэне. Дзэнтё никогда не отличался хорошим цветом лица, но в тот день был особенно бледен. Глаза красные, воспаленные. Дряблая кожа в уголках рта время от времени конвульсивно сжималась. Цуто сразу же подумал, что друг его чем-то сильно встревожен. Он дал понять Дзэнтё, что охотно его выслушает, если тот сочтет его достойным собеседником, но Дзэнтё, видимо, никак не мог решиться на откровенность. Напротив, он еще больше замкнулся, а временами вообще терял нить разговора. Цуто подумал было, что Дзэнтё гложет тоска, такая обычная для посетителей публичного дома. Тот, кто от тоски предается разгулу, не может разгулом прогнать тоску. Цуто и Дзэнтё долго беседовали, и беседа их становилась все откровеннее. Вдруг Дзэнтё, будто вспомнив о чем-то, сказал:

— Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но в общем, ад можно разделить на

три круга: дальний ад, ближний ад и ад одиночества. Помните слова: «Под тем миром, где обитает все живое, на пятьсот ри простирается ад». Значит, еще издревле люди верили, что ад — преисподняя. И только один из кругов этого ада — ад одиночества — неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Несколько лет назад я попал в такой ад. Ничто не привлекает меня надолго. Вот почему я постоянно жажду перемен. Но все равно от ада мне не спастись. Если же не менять того, что меня окружает, будет еще горше. Так я и живу, пытаясь в бесконечных переменных забыть горечь следующих чередой дней. Если же и это окажется мне не под силу, останется одно — умереть. Раньше, хотя я и жил этой горестной жизнью, смерть мне была ненавистна. Теперь же...

Последних слов Цуто не расслышал. Дзэнтё произнес их тихим голосом, настраивая сямисэн... С тех пор Дзэнтё больше не бывал в том заведении. И никто не знал, что стало с этим погрязшим в пороке дзэнским монахом. В тот день Дзэнтё, уходя, забыл комментированное издание сутры «Кого». И когда Цуто в старости разорился и уехал в провинциальный городок Самукаву, среди книг, лежавших на столе в его кабинете, была и сутра. На обратной стороне обложки Цуто написал трехстишие собственного сочинения: «Сорок лет уж смотрю на росу на фиалках, устилающих поле». Книга не сохранилась. И теперь не осталось никого, кто бы помнил трехстишие прадеда матери.

Рассказанная история относится к четвертому году Ансэй. Мать запомнила ее, видимо привлеченная словом «ад».

Просиживая целые дни в своем кабинете, я живу в мире совершенно ином, не в том, в котором жили прадед матери и дзэнский монах. Что же до моих интересов, то меня ни капли не привлекают книги и гравюры эпохи Токугавы. Вместе с тем мое внутреннее состояние таково, что слова «ад одиночества» вызывают во мне сочувствие к людям той эпохи. Я не собираюсь этого отрицать. Почему это так? Потому что в некотором смысле я сам жертва ада одиночества.

Апрель 1916 г.

ОТЕЦ

История, которую я собираюсь рассказать, относится к тому времени, когда я учился в четвертом классе средней школы.

В тот год, осенью, проводилась школьная экскурсия — поход из Никко в Асио с тремя ночевками. «Сбор в шесть тридцать утра на вокзале Уэно, отправление в шесть пятьдесят...» — значилось в напечатанном на мимеографе извещении, полученном мной в школе.

Утром, наспех позавтракав, я выскочил из дома. До вокзала минут двадцать езды трамваем, и все же на сердце было тревожно. Стоя на остановке у красного столба, я ужасно волновался.

«Жаль, что небо в тучах. Неужели гудки бесчисленных заводов, сотрясая серую пелену, превратят ее в морозящий дождь?» — думал я. Под этим унылым небом по виадуку идет поезд. Едет подвода, направляющаяся на военный завод. Открываются двери лавок. На остановке уже собралось несколько человек. Они мрачно трут заspanные лица. Холодно. Наконец подходит первый утренний трамвай.

Когда в битком набитом вагоне мне удалось ухватиться за поручень, кто-то ударил меня по плечу. Я обернулся.

— Привет.

Это был Носэ Исоо. Как и на мне, на нем темно-синяя грубошерстная форма, через левое плечо перекинута шинель в скатке, на ногах — полотняные гетры, у пояса — коробка с едой и фляжка.

Мы вместе с Носэ окончили начальную школу и вместе поступили в среднюю. Никаких особо любимых предметов у него не было, не было и не любимых. Зато была у него удивительная способность: стоило ему хоть раз услышать модную песенку, и он сразу же запоминал мелодию. Вечером, в гостинице, где мы останавливались, во время школьной экскурсии, он уже самодовольно распевал ее. Он все умел: читать китайские стихи, старинные сказания, разыгрывать комические сценки, рассказывать всякие истории, подражать актерам Кабуки, делать фокусы. Он обладал, кроме того, удивительным даром смешить людей уморительными жестами и мимикой, поэтому пользовался большой популярностью среди соучеников, да и учителя к нему неплохо относились. Мы часто вместе

ездили в школу и из школы, хотя особой дружбы между нами не было.

— Что-то ты рано сегодня.

— Я всегда рано. — Говоря это, Носэ высоко вздернул нос.

— Недавно ты, кажется, опоздал.

— Опоздал?

— На урок японского языка.

— А-а, это когда меня ругал Умаба. — У Носэ была привычка называть учителей, опуская вежливое «сэнсэй». — Что ж, и у великого каллиграфа бывают ошибки.

— Он и меня ругал.

— За опоздание?

— Нет, книгу забыл.

— Ох, и зануда же этот Дзинтан! — Дзинтан — Красномордый — было прозвище, которым Носэ наградил учителя Умабу. Так, переговариваясь, мы доехали до вокзала Уэно. Мы с трудом выбрались из вагона, такого же переполненного, как и вначале, когда мы в него селись, и вошли в вокзал — было еще очень рано, и наших одноклассников собралось лишь несколько человек. «Привет», — поздоровались мы. Затем, толкаясь, сели на скамью в зале ожидания. И как обычно, стали без умолку болтать. Мы были еще в том возрасте, когда вместо «ребята», говорят «ребя». И вот из уст тех, кого именовали «ребя», полились оживленные рассуждения и споры о предстоящей экскурсии, мы подтрунивали над товарищами, злословили в адрес учителей.

— Ловчила этот Идзуми. Достал где-то «Чойс» для учителей и теперь дома никогда не готовит чтение.

— Хирано ловчила еще почище. Перед экзаменами выписывает на ногти исторические даты, все до одной.

— А все потому, что и учителя хорошие ловчили.

— Конечно, ловчили. Да тот же Хомма. Он и сам-то как следует не знает, что раньше идет в слове «receive» «е» или «i», а берет свой учебник для учителей и учит нас, будто сам все знает.

Единственной нашей темой были ловчили — ни о чем стоящем мы не говорили. Тут Носэ, бросив взгляд на ботинки сидевшего на соседней скамье с газетой в руках человека, с виду мастерового, вдруг заявил:

— «Кашкинли». — В те годы вошли в моду ботинки нового фасона, называвшиеся «Маккинли», а утратившие

блеск ботинки этого человека просили каши — подошва отставала от носка.

— «Кашкинли», — это здорово. — Мы все невольно рассмеялись.

Развеселившись, мы разбирали по косточкам всех входивших в зал ожидания. И на каждого выплескивали такой поток злословия, какой и не снился тому, кто не учился в токийской школе. Среди нас не было ни одного благовоспитанного ученика, который отставал бы в этом от своих товарищей. Но характеристики, которыми награждал входящих Носэ, были самыми злыми и в то же время самыми остроумными и смешными.

— Носэ, Носэ, посмотри вон на того верзилу.

— Ну и физиономия, будто в брюхе у него живая рыба.

— А этот носильщик в красной фуражке тоже на него похож. Правда, Носэ?

— Нет, он вылитый Карл Пятый — у того тоже красная шляпа.

В конце концов в роли насмешника остался один Носэ.

Вдруг кто-то из нас заметил странного человека, который стоял у расписания поездов и внимательно его изучал. На нем был порыжевший пиджак, ноги, тонкие, как палки для спортивных упражнений, обтянуты серыми полосатыми брюками. Судя по торчащим из-под черной старомодной шляпы с широкими полями волосам, уже изрядно поседевшим, он был не первой молодости. На морщинистой шее — цегольской платок в черную и белую клетку, под мышкой — тонкая бамбуковая палка.

И одеждой и позой — словом, всем своим обликом он напоминал карикатуру из «Панча», вырезанную и помещенную среди этой толчеи на железнодорожной станции. Тот, кто его заметил, видимо, обрадовался, что нашел новый объект для насмешек, и, трясаясь от хохота, схватил Носэ за руку:

— Посмотри вон на этого!

Мы все разом повернулись и увидели довольно странного вида мужчину. Слегка выпятив живот, он вынул из жилетного кармана большие никелированные часы на лиловом шнурке и стал сосредоточенно смотреть то на них, то на расписание. Мне виден был лишь его профиль, но я сразу же узнал отца Носэ.

Остальным это и в голову не могло прийти. Все с нетерпением уставились на Носэ, ожидая от него меткой

характеристики этого смешного человека, и в любую минуту готовы были прыснуть от смеха. Четвероклассники еще не способны были понять, что творится в душе Носэ. Я нерешительно произнес было: «Это же отец Носэ».

— Этот тип? Да это же лондонский нищий.

Нужно ли говорить, как дружно все фыркнули. А некоторые даже стали передразнивать отца Носэ — выпятив живот, делали вид, будто вынимают из кармана часы. Я невольно опустил голову, у меня не хватало храбрости взглянуть на Носэ.

— До чего же точно ты назвал этого типа.

— Посмотрите, посмотрите, что за шляпа.

— От старьевщика с Хикагэтё.

— Нет, такую и на Хикагэтё не найдешь.

— Значит, из музея.

Все снова весело рассмеялись.

В тот пасмурный день на вокзале было сумрачно, словно вечером. Сквозь этот сумрак я внимательно наблюдал за «лондонским нищим».

Но вдруг на какой-то миг выглянуло солнце, и в зал ожидания из слухового окна пролилась узкая струйка света. В нее как раз попал отец Носэ... Вокруг все двигалось. Двигалось и то, что попадало в поле зрения, и то, что не попадало в него. Это движение, в котором трудно было различить отдельные голоса и звуки, точно туманом обволокло огромное здание. Не двигался только отец Носэ. Этот старомодный старик в старомодной одежде, сдвинув на затылок такую же старомодную черную шляпу и держа на ладони карманные часы на лиловом шнурке, неподвижно, точно изваяние, застыл у расписания поездов в головокругительном людском водовороте...

Позже я узнал, что отец Носэ, решив по дороге в университетскую аптеку, где он служил, посмотреть, как отправляются на экскурсию школьники, среди которых был его сын, зашел на вокзал, не предупредив его об этом.

Носэ Исоо вскоре после окончания средней школы заболел туберкулезом и умер. На панихиде, которая была в школьной библиотеке, надгробную речь перед портретом Носэ в форменной фуражке читал я. В свою речь я не без умысла вставил фразу: «Помни о своем долге перед родителями».

БАТАТОВАЯ КАША

Было это в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом... И служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивары некий гои.

Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нем упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты Хэйанской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи... Одним словом, служил среди самураев регента Мотоцунэ Фудзивары некий гои, и он-то и является героем нашей повести.

Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста. Нос красный, внешние углы глаз опущены. Усы, разумеется, реденькие. Щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы... Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего гои был на редкость затрапезный.

Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцунэ. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени ежедневно и неутомимо отправляет одни и те же обязанности, всегда в одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. И вот результат: кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. (В описываемое время гои перевалило за сорок.) Всем казалось, будто сквозняки на перекрестках Судзюку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и, начиная от самого господина Мотоцунэ и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался.

О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные — а их, со

знанием и без знаний, было около двух десятков — относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчиненные, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоятельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком на счет его умственной недостаточности. В подобных случаях они неизменно оглядывали его сверху донизу, от верхушки измятой шапки эбоси до продранных соломенных дзори, затем оглядывали снизу доверху, а затем, презрительно фыркнув, поворачивались спиной. Впрочем, гои никогда не сердился. Оп был настолько лишен самолюбия и был так робок, что просто не ощущал несправедливость как несправедливость.

Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили застарелые остроты, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах все в тот же адрес. Прямо при гои они без устали обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Частенько предметом обсуждения становилась его сожительница, толстогубая дама, с которой он разошелся несколько лет назад, а также пьяница-бонза, по слухам бывший с ней в связи. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Перечислить их все просто не представляется возможным, но если мы упомянем здесь, как они выпивали из его фляги сакэ и затем мочились туда, читатель легко представит себе остальное.

Тем не менее гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Что бы ему ни говорили, у него не менялось даже выражение лица. Он только молча поглаживал свои знаменитые усы и продолжал заниматься своим делом. Лишь когда издевательства переходили все пределы,

например, когда к узлу волос на макушке ему прицепляли клочки бумаги или привязывали к ножнам его меча соломенные дзори, тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха — и говорил:

— Что уж вы, право, нельзя же так...

Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. (Это была жалость не к одному только красноносому гои, она относилась к кому-то, кого они совсем не знали, — ко многим людям, которые скрывались за его лицом и голосом и упрекали их за бессердечие.) Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе еще только-только начали пробиваться мягкие усики. Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услышал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже Человека, страдающего под гнетом общества. И всякий раз, когда он думал о том, ему представлялось, будто все в мире вдруг выставило напоказ свою изначальную подлость. И в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение...

Но так обстояло дело с одним-единственным человеком. За этим исключением гои окружало всеобщее презрение, и он жил поистине собачьей жизнью. Начать с того, что он не имел никакой приличной одежды. У него был один-единственный серо-голубой суйкан и одна-единственная пара штанов сасинуки того же цвета, однако вылиняло все это до такой степени, что определить первоначальный цвет было уже невозможно. Суйкан еще держался, у него только слегка обвисли плечи и странную расцветку приняли шнуры и вышивка, только и всего, но вот что касается штанов, то на коленях они были в беспримерно плачевном состоянии. Гои не носил нижних хакама, сквозь дыры проглядывали худые ноги, и вид его вызывал брезгливость не только у злых обитателей казармы: словно смотришь на тощего быка, влачащего телегу

с тощим дворянином. Меч он имел тоже до крайности подержанный: рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое.

Однажды, проходя по улице Сандзё в сторону парка Синсэн, гои заметил у обочины толпу ребятишек. Волчок запускают, что ли, подумал он и подошел посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собачонку, накиннули ей петлю на шею и истязают ее. Робкому гои не было чуждо сострадание, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на своем лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал:

— Отпустили бы вы ее, собаке ведь тоже больно...

Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, высокомерно оттопырив губу, сказал:

— Обойдемся без твоих советов. Проваливай, красноносый!

Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблен и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в свое дело и тем себя унизил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошел дальше по направлению к парку Синсэн. Мальчишки, вставши плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишенного самолюбия гои!

Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашу. В свое время

это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу, Следовательно, в рот человека такого звания, как гои, оно могло попасть разве что раз в год, на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои. Конечно, мечтой этой он пи с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеется над подобными причудами, — просто ничего не понимает в человеческой природе.

Как это ни странно, мечта гои «нажраться бататовой каши» осуществилась с неожиданной легкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть «Бататовая каша».

* * *

Как-то второго января в резиденции Мотоцунэ состоялся ежегодный прием. (Ежегодный прием — это большое пиршество, которое устраивает регент, первый советник императора, в тот же день, когда дается благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров.) Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве, однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, мальгу из Удзи, карпов из Оми, струганого окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся влать наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было

особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее вволю? — И со вздохом добавил: — Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят...

Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Тосихито Фудзивара, новый телохранитель Мотоцунэ, сын Токунаги, министра по делам подданных, мощный широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным сакэ. Был он уже изрядно пьян.

— А жаль, право, — продолжал он насмешливо и презрительно, увидев, что гои поднял голову. — Впрочем, если хочешь, Тосихито накормит тебя до отвала.

Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой — то ли плача, то ли смеха — гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску.

— Ну что, хочешь?

Гои молчал.

— Ну так что же?

Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности, но Тосихито произнес скачающим тоном:

— Если не хочешь, так и скажи.

И услышав это, гои взволнованно ответил:

— Да нет же... Покорнейше вас благодарю.

Все слушавшие этот разговор раздарились смехом. Кто-то передразнил ответ: «Да нет же, покорнейше вас благодарю». Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатам хохота, словно водны, над чашами и корзинками с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито.

— Ну, раз так, приглашаю тебя к себе, — проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что

рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой. — Ладно, так тому и быть...

— Покорнейше благодарю, — повторил гои, заикаясь и краснея.

И разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый — наливать сакэ, второй — хохотать.

К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чем тут дело. Скорее всего остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку сакэ и закусок осталось маловато, общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался сесть на коня, влезши второпях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Только гои, по-видимому, не слышал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами: бататовая каша. Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным сакэ, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался...

* * *

Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Аватагути вдоль роки Камогава неторопливо ехали два всадника. Один, при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой каригину и в того же цвета хакама. Другой, самурай лет сорока, с мокрым красным носом, был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл донельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы-трехлетки, один буланый, другой гнедой, хорошие скакуны, так что проходившие по дороге торговцы вразнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое — очевидно, оруженосец и

слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадники были Тосихито и гои.

Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебля пожухлой польни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив, и на дороге отчетливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над темной зеленью холмов Хигасиямы округло вздымались горы Хиэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, не прикасаясь к плеткам, и перламутровая инкрустация их седел блестела на солнце.

— Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся? — произнес гои, дергая повод неумелой рукой.

— Скоро приедем, — ответил Тосихито. — Это ближе, чем ты полагаешь.

— Значит, это Аватагути?

— Очень даже может быть...

Заманивая сегодня утром гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасиямы, потому что там-де есть горячий источник. Красноносый гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей да вдобавок еще помыться горячей водой — чего еще оставалось желать? Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути.

— Значить, это не в Аватагути?

— Потерпи еще немного, — отозвался Тосихито усмехаясь.

Он продолжал ехать как ни в чем не бывало и только обернулся, чтобы не видеть лица гои. Хижины по сторонам дороги попадались все реже, на просторных зимних полях виднелись только вороны, добывающие себе корм, и тусклой голубизной отливал вдаль снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное, острые верхушки желтинника вонзались в него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко.

— Значит, это где-нибудь неподалеку от Ямашины?

— Ямашина — вон она. Нет, это еще немного дальше.

Действительно, вот и Ямасину они проехали. Да что Ямасина. Незаметно оставили позади Сэкияму, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму Миидэра. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через совершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что в те времена повсюду рыскали шайки разбойников... Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился:

— Нам далеко еще?

Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа собираются морщины, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается.

— Говоря по правде, я вознамерился отвезти тебя к себе в Цуругу, — произнес наконец Тосихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми.

Гои растерялся.

— Вы изволили сказать — в Цуругу? Ту, что в провинции Этидзэн? Ту самую?

Он уже слышал сегодня, что Тосихито, ставши зятем цуругского Арихито Фудзивары, большею частью живет в Цуруге. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзэн, лежавшей за многими горами и реками, вот так — вдвоем, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да еще в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками?.. Гои умоляюще поглядел на Тосихито.

— Да как же это так? — проговорил он. — Я думал, что надо ехать до Хигасиямы, а оказалось, что едем до Ямашины. Доехали до Ямашины, а оказалось, что надо в Миндэру... И вот теперь вы говорите, что надо в Цуругу, в провинцию Этидзэн... Как же так... если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили в собой, как холопа какого-нибудь... В Цуругу, это же нелепо...

Гои едва не плакал. Если бы надежда «нажраться бататовой каши» не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и повернул обратно в Киото.

Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал:

— Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысяча человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге.

Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину, взял у него лук, блестящий черным лаком, и положил перед собой поперек седла, тронул коня и поехал вперед. Лишенному самолюбия гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полужабытую сутру «Каннон-кё», красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади.

Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями желтого мисканта. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной темно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания нестывшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников... Вдруг Тосихито, повернувшись к гои, живо сказал:

— А вот и подходящий посыльный нашелся! Сейчас я передам с ним поручение в Цуругу.

Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая теплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент, когда он ее заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать — это Тосихито, взмахнув плеткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всем, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням, наконец Тосихито остановился. Лисица была уже поймана. Он держал ее за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал ее до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гои, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему.

— Ну, лиса, слушай меня хорошенько! — нарочито напыщенным тоном произнес Тосихито, подняв лису перед своими глазами. — Нынче же ночью явишься ты в по-

месте цуругского Тосихито и скажешь там так: «Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи выслать ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригнать двух коней под седлами». Запомнила?

С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул ее далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед: «Пошла! Пошла!» Зверек, мелькая шкуркой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, все было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки.

— Отменный посланец, — проговорил гой.

Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисицу обводит вокруг пальца. О том, в чем состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчетливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки и его собственная воля тоже теперь заключена в них и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито... Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь даже отмечая в поведении красноного гой шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека.

Отброшенная лисица кубарем сбежала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло высохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие ее, все еще возвышались на своих конях на гребне далекого склона. Они казались маленькими, не больше чем в палец величиной. Особенно отчетливо были видны гнедой и буланый: облитые вечерним солнцем, они были нарисованы в морозном воздухе.

Лисица оглянулась снова и вихрем понеслась сквозь заросли сухой травы.

* * *

Как и предполагалось, на следующий день в час Змеи путники подъехали к Такасиму. Это была тихая деревушка у вод озера Бива, несколько соломенных крыш, разбро-

саных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволоченным тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к гои и сказал:

— Взгляни туда. Нас встречают мои люди.

Гои взглянул — действительно, между соснами с берега к ним спешили двадцать—тридцать человек верховых и пеших, с развевающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито.

— Я вижу, лиса выполнила ваше поручение.

— У этого животного натура оборотня, выполнить такое поручение для нее раз плюнуть.

Так, разговаривая, Тосихито и гои подъехали к ожидающей челяди.

— Стремянные! — произнес Тосихито.

Почтительно склонившиеся люди торопливо вскочили и взяли коней под уздцы. Все вдруг сразу возликовали.

Тосихито и гои сошли на землю. Едва они уселись на меховую подстилку, как перед лицом Тосихито встал седой слуга в коричневом суйкане и сказал:

— Странное дело приключилось вчера вечером.

— Что такое? — лениво осведомился Тосихито, передавая гои поднесенные слугами ящички вариго с закусками и бамбуковые фляги.

— Позвольте доложить. Вчера вечером в час Пса госпожа неожиданно потеряла сознание. В беспамятстве она сказала: «Я — лиса из Сакамото. Приблизьтесь и хорошенько слушайте, я передаю вам то, что сказал сегодня господин». Когда все собрались, госпожа соизволила сказать такие слова: «Господин вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи вышлите ему навстречу в Такасиму людей, да с ними пригоните двух коней под седлами».

— Это поистине странное дело, — согласился гои, чтобы доставить удовольствие господину и слуге, а сам перевел зоркий взгляд с одного на другого.

— Это еще не все, что соизволила сказать госпожа. После этого она устрашающе затряслась, закричала: «Не опоздайте, иначе господин изгонит меня из родового дома!» — а затем безутешно заплакала.

— Что же было дальше?

— Дальше она погрузилась в сон. Когда мы выезжали, она еще не изволила пробудиться.

— Каково? — с торжеством произнес Тосихито, обернувшись к гои, когда слуга замолчал. — Даже звери служат Тосихито!

— Остается только подивиться, — отозвался гои, склонивши голову и почесывая свой красный нос. Затем, изобразив на своем лице крайнее изумление, он застыл с раскрытым ртом. В усах его застряли капли сакэ.

* * *

Прошел день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонек светильника. В душе его одно за другим проплывали впечатления вечера накануне — Мацүяма, Огава, Карано, которые они проезжали на пути сюда, болтая и смеясь, запахи трав, древесной листвы, камней, дыма костров, на которых жгли прошлогоднюю ботву; и чувство огромного облегчения, когда они подъехали, наконец, к усадьбе и сквозь вечерний туман он увидел красное пламя углей в длинных ящиках. Сейчас, в постели, обо всем этом думалось как о чем-то далеком и давнем. Гои с наслаждением вытянул ноги под желтым теплым плащом и мысленным взором задумчиво обозрел свое нынешнее положение.

Под нарядным плащом на нем были два подбитых ватой кимоно из блестящего шелка, одолженные Тосихито. В одной этой одежде так тепло, что можно даже, пожалуй, вспотеть. А тут еще поддает жару сакэ, в изобилии вышитое за ужином. Там, прямо за ставней у изголовья, раскинулся широкий двор, весь блестящий от инея, но в таком вот блаженном состоянии это не страшно. Огромная разница по сравнению с теми временами, скажем, когда он был в Киото учеником самурая. И все же в душе нашего гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Впервые, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он чувствовал себя так, словно ему вовсе не хочется, чтобы рассвет — и час наслаждения бататовой кашей — наступил поскорее. И в столкновении этих противоречивых чувств возбуждение, овладевшее им из-за резкой перемены обстановки, улеглось, застыло, под стать сегодняшней погоде. Все это, вместе взятое, мешало ему

и отнимало надежду на то, что даже вождеденное тепло даст ему возможность заснуть.

И тут во дворе раздался громовой голос. Судя по всему, голос принадлежал тому самому седому слуге, который встречал их давеча на середине пути. Этот сухой голос, потому ли, что он звучал на морозе, был страшен, и гои казалось, будто каждое слово отдается у него в костях порывами ледяного ветра.

— Слушать меня, холопы! Во исполнение воли господина пусть каждый принесет сюда завтра утром к часу Зайца по мешку горных бататов в три сун толщиной и в пять сяку длиной! Не забудьте! К часу Зайца!

Он повторил это несколько раз, а затем замолк, и снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гои зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши... Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, Прислушиваясь к голосу во дворе. С еще большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение злоеуще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай «нажраться бататовой каши», что терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие, а когда не можешь, это препятствие исчезает, и теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого наконец дождался, прошла как-нибудь благополучно... Эти мысли, подобно волчку, неотвязно кружились в голове у гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мертвым сном.

Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал и час Зайца прошел уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это — невероятно громадные горные бататы толщиной в три сун и длиной в пять сяку.

Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по

пять-шесть больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к варке бататовой каши — одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешило так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, еще не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на поле боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И еще он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Цуругу, в далекую провинцию Этидзэн, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего гои к этому времени уже уменьшился наполовину.

Через час гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один-единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата, как из котлов поплыли, изгибаясь, в ясное утреннее небо столбы горячего пара, налитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел все это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и еще не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым... Он неловко вытер со лба пот.

— Тебе не приходилось поесть всласть бататовой каши, — произнес Арихито. — Приступай же без стеснения.

Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков. И все они до краев были наполнены бататовой кашей. Гои зажмурился, его красный нос покраснел еще сильнее,

и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:

— Отец же сказал тебе. Валяй не стесняйся.

Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось, он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, преодолевая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест еще хоть немного, то все поперет из глотки обратно, а если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли.

— Покорно благодарю, — пробормотал он в смятении. — Я уже наелся досыта... Но могу больше, покорно благодарю.

У него был жалкий вид, на его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота.

— Ты ел еще мало, — произнес Арихито и добавил, обращаясь к слугам: — Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?

Слуги по приказу Арихито взяли было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но гои, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться.

— Нет-нет, уже довольно, — бормотал он. — Очень извиняюсь, но мне уже достаточно...

Вероятно, Арихито продолжал бы действительно потчевать гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: «Ого, глядите-ка!» И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глянцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах Тосихито.

— Лиса тоже пожаловала отвесть бататовой каши, — сказал Тосихито. — Эй, кто там, дайте пожрать этой твари!

Приказ был немедленно выполнен. Лиса прыгнула с крыши и тут же во дворе приняла участие в угощении.

Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, гои с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносым. Это был он, одинокий человек в выцветшем суйкане и драных хакама,

кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый гои, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши... От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нем пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруге солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок.

Сентябрь 1916 г.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Заметки о драматургии» Стриндберга.

Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Заметки о драматургии», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как ученый, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»¹ и «Замыслы» Оскара Уайльда — книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.

Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в желтом холщовом переплете на ко-

¹ «Из глубины» (лат.).

лени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.

Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарем японской культуре. Профессор был убежден, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что, кроме бусидо — этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и, японским народом, что весьма ценно. И возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарем японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.

Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что, хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушенно покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце,

за который он только что принялся, было написано следующее:

«...Когда актер находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический прием...»

Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:

— Послушайте, кто такой этот Байко?

— Байко? Байко — актер театра Тэйкоку в Маруноути. Сейчас он играет роль Мисао в десятом акте пьесы «Тайкоки», — вежливо ответил студент в дешевеньких хакама.

Поэтому и о различных манерах игры, которые Стриндберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.

С потолка веранды свисает еще не зажженный фонарь-гифу. А в плетеном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Заметки о драматургии» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходит после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод — значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу... Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове — чистым наслаждением профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами...

Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисияма Токуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокояно опираясь на себе легкое кимоно из шелкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случилось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идет о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.

Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приемную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в легкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из черного шелкового газа, слегка прикрывавшее грудь, расходилось, виднелась нефритовая застежка на поясе в форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу «марумагэ» — это даже профессор, обычно не обращающий внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолицая, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости — интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что ее лицо он уже где-то видел.

— Хасэгава, — любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.

— Я мать Нисиямы Конъитиро, — ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.

Нисияму Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспали-

нием брюшины и лег в университетскую больницу; профессор два раза его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.

— А, Нисияма-кун... вот как! — Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: — Прошу.

Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив.

— У вас прекрасная квартира.

Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату.

— О нет, разве только просторная.

Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостю холодный чай, только что принесенный горничной, и сейчас же перевел разговор на сына гостя.

— Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?

— Н-нет...

Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла — произнесла все тем же спокойным, ровным тоном:

— Да я, собственно, и пришла из-за сына, с ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан.

Профессор, полагая, что гостя не пьет чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо, нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку черного чая. Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили профессора. Выпить чай или не выпить?.. Эта мысль на мгновение обеспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же чашку у рта до бесконечности! Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил:

— О, вот оно что!..

— ...и когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, я все же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность...

— Нет, что вы...

Профессор поставил чашку, взял синий вощенный веер и с прискорбием произнес:

— Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда все впереди... А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше... Когда же он скончался?

— Вчера был как раз седьмой день.

— В больнице?

— Да.

— Поистине неожиданно!

— Во всяком случае, все было сделано, все возможное, значит — остается только примириться с судьбой. И все же, когда это случилось, я нет-нет да и начинала роптать. Нехорошо.

Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор вдет о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным.

...Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своем любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом, с тросточкой под мышкой, он возвращался к себе в пансионат, и тут, едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко расплакались. Это были девочка лет двенадцати в коричневой кофточке и девятилетний мальчик в коротких синих штанишках. Не понимая в чем дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки и ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чем дело, что случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!»

Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца будсидо, постоянно поражала непривычная для его вос-

приятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанное чувство недоверия и симпатии, которое он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет.

Однако за первым открытием немедленно последовало второе.

Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нем. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряженным, чтобы его нельзя было на минуту прервать. Поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гостыи.

В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали ее руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это еще не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно сиюсь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвется. И наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шелкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом деле всем существом своим рыдала.

Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение: чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение, которое складывалось из чувства почтительного смущения оттого, что он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства.

— Даже я, не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело, — сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько напряженно запрокинув голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее.

— Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо.

Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой.

Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетеное кресло на веранде.

В летние сумерки долго еще держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью все никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря-гифу. Книга Стриндберга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочел ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора все еще были полны героическим поведением госпожи Нисиямы Токуко.

За ужином профессор подробно рассказал обо всем жене. Он похвалил поведение гостыи, назвав его бусидо японских женщин. Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашел в жене увлеченную слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже три представления — жена, дама-гостыя и фонарь-гифу.

Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. По вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать сегодняшний случай и сейчас же изложить и послать свои впечатления?.. При этой мысли профессор почесал голову.

В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл ее на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь-гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеяно, в сущности не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стриндберг писал:

«В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был прием двойной игры, заключающейся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Профессор опустил книгу на колени. Он оставил ее раскрытой, и на странице все еще лежала карточка Нисиямы Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой. И не женой, и не японской культурой. А чем-то еще неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический прием, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие изнеженного ванной профессора. Бусидо и этот прием...

Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх, на яркий свет разрисованного осенними травами фонаря-гифу.

Октябрь 1916 г.

ТАБАК И ДЬЯВОЛ

В былые времена в Японии о табаке и понятия не имели. Свидетельства хроник о том, когда он попал в нашу страну, крайне разноречивы. В одних говорится, что это произошло в годы Кэйтё, в других — что это произошло в годы Тэммон. Как бы то ни было, уже к десятому году Кэйтё табак в нашей стране выращивался, видимо, повсюду. Насколько курение табачных листьев вошло тогда в обычай, свидетельствует популярная песенка годов Бунроку.

Неслыханно!
На картишки — запрет,
На табак — запрет!
Лекаришка последний
Отныне «почтенный доктор».

Кто же привез табак в Японию? Чьих это рук дело? Историки в один голос говорят: или португальцы, или испанцы. Есть, однако, и другие ответы на этот вопрос. Один из них содержится в сохранившейся от тех времен легенде. Согласно этой легенде, табак в Японию привез дьявол. И дьявол этот проник в Японию, сопутствуя некоему католическому патеру (скорее всего святому Франциску).

Приверженцы христианской религии, пожалуй, обвинят меня в клевете на их патера. И все же осмелюсь сказать, что упомянутая легенда весьма похожа на правду.

Почему? Ну посудите сами, ведь если вместе с богом Южных Варваров в Японию является и дьявол Южных Варваров, естественно, что вместе с благом к нам обычно попадает и европейская скверна.

Разумеется, твердых доказательств того, что табак в Японию привез именно дьявол, у меня нет. Но с другой стороны, сумел же дьявол — тут я ссылаюсь на рассказ Анатолия Франса — соблазнить некоего деревенского кюре с помощью куста резеды. Поэтому не правы те, кто говорят, будто история о табаке и дьяволе — совершенная ложь. Впрочем, окажись она все же ложью, как ошибся бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хоть малой доли истины.

Поэтому-то я и решился рассказать историю о том, как попал табак в нашу страну.

* * *

В восемнадцатом году Тэммон дьявол, оборотившись миссионером, сопровождавшим Франциска Ксавье, благополучно одолел длинный морской путь и прибыл в Японию...

Миссионером он обернулся вот как. Однажды, когда черный корабль остановился то ли близ Амакавы, то ли еще где-то, один из миссионеров вздумал сойти на берег. Не зная об этом, корабельщики отправились далее без него. Тут-то наш дьявол, который висел вниз головой, уцепившись хвостом за рею, и вынюхивал все, что творилось на корабле, принял облик отставшего и стал усердно прислуживать святому Франциску. Для маэстро, который явился доктору Фаусту гусаром в багровом плаще, это был сущий пустяк...

Но приехав в нашу страну, он обнаружил, что увиденное никак не вяжется с тем, о чем в бытность свою в Европе прочел в «Записках» Марко Поло.

Так, например, в «Записках» говорилось, что в Японии полным-полно золота, но, сколь ни прилежно глядел дьявол кругом себя, золота он так и не приметил. А когда так, рассудил он, поскребу-ка я легонько святое распятие, и у меня будет золото — хоть этим соблазню будущую паству.

Далее в «Записках» утверждалось, будто японцы постигли тайну воскрешения из мертвых посредством силы жемчуга или еще чего-то в этом роде, Увы! И здесь Мар-

ко Поло, по всей видимости, наврал. А если и это ложь, то стоит плюнуть в каждый колодец, как начнется повальный мор и люди от ужасных страданий и думать забудут об этом самом парайсо.

Так думал про себя дьявол, следуя за святым Франциском, удовлетворенным взглядом окидывая местность и довольно улыбаясь.

Правда, был в его затее некий изъян. И с ним даже он, дьявол, совладать не мог. Дело в том, что Франциск Ксавье попросту не успел еще начать свои проповеди, — стало быть, не появились еще вновь обращенные, а значит, дьявол не имел пока достойного противника, иными словами, ему некого было соблазнять. Есть от чего прийти в уныние, будь ты хоть тысячу раз дьявол! И самое главное — он положительно не представлял себе, как ему провести первое, самое скучное время.

Он и так раскидывал, и этак и решил наконец, что займется полеводством. В ушах у него хранились семена самых разных растений, цветов; он приготовил их загодя, отправляясь из Европы; арендовать поблизости клочок земли не представляло труда. К тому же сам святой Франциск признал это занятие вполне достойным. Святой, конечно, не сомневался, что служка его намерен вырастить в Японии какое-нибудь целебное растение.

Дьявол сразу же занял у кого-то мотыгу и с превеликим усердием начал вскапывать придорожное поле.

Стояли первые весенние дни, густая дымка льнула к земле, и звуки дальнего колокола тянулись и наводили дрему. Колокола здесь звучали мелодично, мягко, не в пример тем, к которым привык дьявол на Западе и которые бухали в самое темя. Но если бы вы решили, что дьявол поддался покою здешних мест и умилился духом, вы бы, наверное, ошиблись.

Буддийский колокол заставил его поморщиться еще более недовольно, нежели в свое время звонница св. Павла, и он с удвоенным рвением продолжал рыхлить свое поле. Эти мирные звуки колокола, эти гармонично льющиеся с горних высот солнечные лучи странным образом размягчали сердце. Мало того что здесь пропадала всякая охота творить добро — исчезало малейшее желание чинить зло! Стоило ехать так далеко, чтобы соблазнять японцев!

Вот почему дьявол, который всегда презирал труд, так что даже сестра Ионна укоряла его, говоря, что не нажил он мозолей на ладонях своих, ныне столь усердно махал

мотыгой — он хотел прогнать от себя нравственную лень, апатию, ибо она грозила захватить все его существо.

Наконец он завершил рыхление поля и бросил в готовые борозды семена.

* * *

Прошло несколько месяцев, и семена, посеянные дьяволом, пустили ростки, вытянули стебли, а к исходу лета широкие листья укрыли все поле. Названия растения не знал никто. Даже когда сам святой Франциск вопрошал дьявола, тот только молча ухмылялся.

Меж тем на кончиках стеблей густо повисли цветы. Они имели форму воронки и были бледно-лилового цвета. Глядя, как распускаются бутоны, дьявол испытывал страшную радость. Ежедневно после утренней и вечерней служб он приходил на поле и старательно ухаживал за цветами.

И вот однажды (это случилось в отсутствие святого Франциска, уехавшего на проповеди) мимо поля, таща за собой пестрого бычка, проходил некий торговец скотом. За плетнем, там, где густо разрослись бледно-лиловые цветы, он увидел миссионера в черной рясе и широкополой шляпе; тот очищал листья растений от насекомых. Цветы сильно удивили торговца. Он невольно остановился, снял шляпу и вежливо обратился к миссионеру:

— Послушайте, достопочтенный святой! Что это за цветы, позвольте узнать?

Служка оглянулся. Короткий нос, глазки маленькие, вид у красноволосого был самый добродушный.

— Эти?

— Они самые, ваша милость.

Красноволосый подошел к плетню и отрицательно покачал головой. Затем на непривычном для него японском языке ответил:

— Весьма сожалею, но названия цветка открыть не могу.

— Эка незадача! Может, святой Франциск сказывал вашей милости, чтобы ваша милость не говорили об этом мне?

— Не-ет! Дело совсем в другом.

— Так скажите мне хоть одно словечко, ваша милость. Ведь и меня просветил святой Франциск и обратил к вашему богу.

Торговец с гордостью ткнул себя в грудь. В самом деле, с его шеи свисал, поблескивая на солнце, маленький латунный крестик. Вероятно, он блеснул слишком ярко, иначе отчего бы миссионер опустил вдруг голову. Но потом голосом, исполненным сугубого добродушия, миссионер то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

— Увы, ничего не выйдет, любезный. Этого не должен знать никто на свете — таков уж порядок, заведенный в моей стране. Разве вот что — попробуй-ка ты сам угадать! Ведь японцы мудры! Угадаешь — и все, что растет на поле, твое.

«Уж не смеется ли надо мной красноволосый?» — подумал торговец.

С улыбкой на загорелом лице он почтительно склонился перед миссионером.

— Что это за диковина — ума не приложу! Да и не могу я отгадать так быстро.

— Можно и не сегодня. Даю тебе три дня срока, подумай хорошенько. Можешь даже справиться у кого-нибудь, мне все равно. Только угадай — и все это будет твое. Да еще в придачу получишь красного вина. Или, ежели хочешь, я подарю тебе красивых картинок, где нарисован парайсо и все святые.

Торговец, видимо, оробел от такой настойчивости:

— Ну, а коли не угадаю?

— Коли не угадаешь... — Тут миссионер сдвинул шляпу на затылок, помахал ладошкой и рассмеялся. Рассмеялся так резко, будто закаркал ворон. Торговец даже подивился его смеху. — Что ж, коли не угадаешь, тогда и я с тебя что-нибудь возьму. Так как же? По душе тебе такая сделка? Угадаешь или не угадаешь? Угадаешь — все твое.

П в голосе его прозвучало прежнее добродушие.

— Ладно, ваша милость, пусть так. А уж я расстраюсь для вашей милости, все отдам, чего ни пожелаете.

— Неужто все? Даже бычка?

— Коли вашей милости этого довольно будет, так хоть сейчас берите! — Торговец ухмыльнулся и хлопнул бычка по лбу. Он был совершенно уверен, что добрый служака просто забавляется. — Зато, если выиграю я, то получу эту вашу цветущую траву.

— Ладно, ладно. Так по рукам?!

— По рукам, ваша милость. Клянусь в том именем господина нашего Эсу Курисуто.

Маленькие глаза миссионера сверкнули, он довольно пробормотал себе что-то под нос. Затем, упершись левой рукой в бок и слегка выпятив грудь, он правой рукою коснулся бледно-лиловых лепестков и сказал:

— Но если ты не угадаешь, получу я с тебя и душу твою, и тело.

С этими словами миссионер плавным движением руки снял шляпу. В густых волосах торчала пара рожек, совершенно козлиных. Торговец побледнел и выронил шляпу. Листья и цветы неведомого растения потускнели — быть может, оттого, что солнце в этот миг спряталось за тучу. Даже пестрый бычок, будто испугавшись чего-то, наклонил голову и глухо заревел; казалось, сама земля подала голос.

— Так вот, любезный! Раз ты обещал это мне, обещание есть обещание. Не так ли?! Ведь ты поручился именем, произнести которое мне не дано. Помни же о своей клятве. Сроку тебе — три дня. А теперь прощай.

Дьявол говорил учтивым тоном, но в самой учтивости его таилась надменная усмешка. Затем он отвесил торговцу подчеркнuto вежливый поклон.

* * *

Тут-то, к горести своей, понял торговец, что как последний простака дал дьяволу провести себя. Эдак не миновать ему лап нечистого и будет он жариться па «негасимом адском огне». Выходит, напрасно он отбилсЯ от прежней веры и принял крещение. И клятву нарушить никак нельзя — ведь он поклялся именем Эсу Курисуто! Конечно, будь здесь святой Франциск, уж как-нибудь бы все обошлось, но святой Франциск, вот горе-то, был далеко! Три ночи не смыкал торговец глаз. Он измышлял верный способ разрушить дьявольские ковы и не придумал ничего лучшего, как любую ценой добыть имя невиданного цветка. Но кто скажет ему имя, которого не знал и сам святой Франциск!

Поздним вечером урочного дня торговец, таща за собой неизменного пестрого бычка, явился потихоньку к дому миссионера. Дом стоял вблизи поля и окнами был обращен к дороге. Миссионер, наверное, уже спал, Ни единой полоски света не просачивалось из его дома. Светила луна, но было чуть пасмурно, и на тихом поле сквозь ночной полумрак там и сям виднелись унылые бледно-лиловые цветы. Служка имел некий план, не

слишком, правда, надежный, но при виде этого грустного места он почувствовал странную робость и решил было удрать, пока не поздно. Когда же он вообразил себе, что за теми дверьми спит господин с козлиными рожками и видит там свои адские сны, последние остатки храбрости, столь тщательно им хранимые, покинули его. Но не икать же от слабости душевной, когда душа и тело твое вот-вот угодят в лапы нечистого.

И тогда торговец, всецело положась на защиту Бирудзэн Марии, приступил к выполнению своего плана. А план был очень простой. Развязав веревку, на которой он держал пестрого бычка, торговец со всей силы пнул его ногой в зад.

Бычок подпрыгнул, разломал плетень и пошел топтаться по всему полю, не забыв при этом несколько раз хорошенько боднуть и стену дома. Топот и рев, колебля слабый ночной туман, разнеслись далеко вокруг. Одно из окон распахнулось... Лица в темноте видно не было, но наверняка там стоял сам дьявол в обличье миссионера. На голове его торчали рога. Впрочем, может быть, торговцу так только померещилось.

— Какая скотина топчет там мой табак?! — спросонья закричал дьявол, размахивая руками. Он был чрезвычайно разгневан — кто-то осмелился прервать его сон. Но торговцу, прятавшемуся на обочине поля, его хриплая ругань показалась божьим гласом. — Какая скотина топчет там мой табак!!!

* * *

Дальнейшие события развивались вполне счастливо, как и во всех подобного рода историях. Угадав название цветка, торговец оставил дьяволу в дураках. Весь табак, возросший на его поле, он забрал себе. Вот и все...

Но тут я задумался, не таит ли старинная эта легенда более глубокого смысла. Пусть дьяволу не удалось заполучить душу и тело торговца, но зато он распространил табак по всей нашей стране. То есть, я хочу сказать, не сопутствовал ли поражению дьявола успех, равно как спасению торговца падение. Дьявол, коли уж упадет, даром не встанет. И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение, неожиданно для себя оказывается его рабом?

Попутно, очень коротко, расскажу о дальнейшей судь-

бе дьявола. По возвращении своем святой Франциск силою священной пентаграммы изгнал дьявола из пределов страны. Но и после этого он появлялся то тут, то там в обличье миссионера. Согласно одной из хроник, он частенько навещался в Киото как раз тогда, когда там возводился храм Намбандзи. Существует версия, будто Касин Кодзи, тот самый который поднял на смех Мацунагу Дандзё, и был этим дьяволом. Впрочем, дабы не отнимать драгоценного времени, я отсылаю вас к трудам достопочтенного Лефкадио Хёрна. После того как Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру, кое-кто еще видел дьявола, но потом он исчез совершенно. На этом свидетельства хроник о нем обрываются. Жаль только, что мы ничего не знаем о деятельности дьявола, когда он появился в Японии вновь, после Мэйдзи...

21 октября 1916 г.

MENSURA ZOILI¹

Я сижу за столом посреди пароходного салона, напротив какого-то странного человека.

Погодите! Я говорю — пароходный салон, но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что может быть, это и обыкновенная комната. Нет, все же это пароходный салон! Иначе бы так не качало. Я не Киносита Мокутаро и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка, во всяком случае, есть. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то подымается, то опускается линия горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зеленая муть, но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающейся хордой перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди муть и , — это, вероятно, чайки.

Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется, где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным, косматым волосам его можно было бы принять его за писа-

¹ Мера Зоила (лат.).

теля или художника. Однако с этим предположением не выжется его коричневый пиджак.

Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно, заговорить с ним хотелось ужасно, но из-за его крайне нелюбезного вида я все не решался.

Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнес, как будто подавляя зевоту:

— Скучно! — Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встретался.

В салоне, кроме нас двоих, никого не было.

Немного погодя этот странный человек опять произнес:

— Ох, скучно! — На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал:

— Не выпьете ли рюмочку?

— Благодарю... — Не отвечая ни «да», ни «нет», он слегка поклонился. — Ну и скука! Пока доедешь, прямо помрешь.

Я согласился с ним.

— Пока мы ступим на землю Зоилии, пройдет больше недели. Мне пароход надоел до отвращения.

— Как? Зоилии?

— Ну да, республики Зоилии.

— Разве есть такая страна — Зоилия?

— Признаюсь — удивлен! Вы не знаете Зоилии? Не ожидал. Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Зоилии по обычному, старому маршруту.

Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж «Зоилия» — такого названия я никогда раньше не слышал.

— Вот как?..

— Ну разумеется! Зоилия — исстари знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один ученый именно из этой страны. До сих пор в столице Зоилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь.

Я был поражен эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду.

— Значит, это очень древнее государство?

— О да, очень древнее! Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Зоилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в летописях самое раннее упоминание о Зоилии связано с героем, отвергавшим Гомера.

— Значит, теперь это довольно культурная страна?

— Разумеется. Например, университет в столице Зоилии, где собран цвет ученых, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле, такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретенный тамошними профессорами, слывет новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов «Вестника Зоилии».

— Что это такое — «измеритель ценности»?

— Буквально: аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин.

— Какой ценности?

— Главным образом — художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Зоилии, в честь знаменитого предка, аппарат назвали *mensura Zoili*.

— Вы его видели?

— Нет. Только на иллюстрации в «Вестнике Зоилии»... По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплеты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что все в порядке.

— Удобная вещь!

— Очень удобная. Так сказать, орудие культуры! — Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. — С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им — крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Зоилии, немедленно установив этот аппарат на таможнях.

— Это почему же?

— Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате, и вещи, лишенные ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезенные из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России,

Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран, и, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь, на наш пристрастный взгляд, в Японии есть писатели и художники как будто сносные...

Во время этого разговора дверь отворилась, и в салон вошел негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный мальчик в легком темно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью.

Страхнув пепел с сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «Вестник Зоилии», испещренный строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт.

— По-прежнему только и пишут о *mensura Zoili*, — сказал он, пробегая глазами газету, — а, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц! И даже приложены отчеты инженеров-измерителей.

— Фамилии Кумэ встречается? — спросил я, обеспокоенный за товарища.

— Кумэ? Должно быть, рассказ «Серебряная монета»? Есть.

— Ну и как? Какова его ценность?

— Никуда не годится! Во-первых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этакий менторский тон всеведущего знатока.

Мне стало неприятно.

— Простите, весьма сожалею, — человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся, — но ваша «Трубка» тоже упомянута.

— Что же пишут?

— Почти то же самое. Что в ней нет ничего, кроме общих мест.

— Гм!..

— И еще вот что: «Этот молодой писатель чересчур плодовит...»

— Ой-ой!..

Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо.

— Да не только вы — любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго: никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам свое произведение ни расхваливал, измеритель отмечает под-

линную ценность, и все идет прахом. Разумеется, дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счетчика. Что ж, придется вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность!

— Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны?

— Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положат «Жизнь» Мопассана — стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность.

— И только?

— И только.

Я замолчал: мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос.

— Значит, вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?

— Это запрещено законом Зоилии.

— Почему?

— Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается: Зоилия исстари — республика. «Vox populi — vox dei»¹ — это у них соблюдается буквально. — Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. — Носятся слухи, что, когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой: либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений, а ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи.

В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых тарелок, грохот опрокинутых стульев, шум обрушившейся на пароход волны. Крушение! Это крушение! Или извержение подводного вулкана...

Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле-качалке; оказывается, читая пьесу St. John Ervine «The Critics»², я вздремнул. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому, что качалка слегка покачивалась.

¹ «Глас народа — глас божий» (лат.).

² Сент Джон Эрвин, «Критики» (англ.).

А человек с квадратным подбородком... иногда мне кажется, что это был Кумэ, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю.

Январь 1917 г.

СЧАСТЬЕ

Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем — редкое зрелище — проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.

Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:

— А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.

— Да! — ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого, что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момизэбоси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тобу.

— Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.

— Шутишь...

— Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах — дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля — только не с заказчиками, а с богами и буддами.

Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соло-

мой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под легким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшочков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год выют свои гнезда под кровлей этого дома...

Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:

— Дедушка, ты на своем веку много чего и видал и слышал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?

— Правда. В старину, слышал я, это часто бывало.

— Что бывало?

— Да коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать — вашему брату оно и не любопытно.

— Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра...

— Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?

Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, — глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.

— Помышлений богов — этого вам в ваши годы не понять.

— Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.

— Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают — счастье или злосчастье.

— Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?

— Вот этого-то вам как раз и не понять!

— А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.

Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таца за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно — подарок домашним.

— Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.

— Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!

Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипы-

вая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.

— Не расскажешь, а, дедушка? — сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.

— Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот...

С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свое повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.

— Дело было лет тридцать — сорок тому назад. Эта женщина, тогда еще девица, обратилась с молитвой к этой самой Каннон-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у нее как раз умерла мать, единственная ее опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.

Покойная ее мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор как разнесся слух, что она знает с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке — что там лиса, и мужчина бы...

— Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери...

— Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.

— Неужто она была так хороша?

— Да. Что нравом, что лицом — всем хороша. На мой взгляд, ее не стыдно было бы показать где угодно.

— Жаль, что давно это было! — сказал подмастерье, одергивая рукав своей полинялой синей куртки.

Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.

— Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на нее и подействовало, потому что, даже когда ее стало клонить ко сну, этот голос все еще неотвязно звучал у нее в ушах — точно под полом трещал свер-

чок... И вот этот звук вдруг перешел в человеческую речь, и она услышала: «Когда ты пойдешь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»

Ахнув, она проснулась — бонза все еще усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил, она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчетно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.

— Вот так так!

— Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзё, как в самом деле кто-то сзади схватил ее в объятия. Стоял теплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось — как раз в ночь окончания срока молений!

Она спросила его имя — имени он не назвал. Спросила, откуда он, — не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И крепко обняв, тащил ее за собой вниз по дороге, все дальше и дальше. Хоть плачь, хоть кричи — пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.

— Ну, а потом?

— Потом он втащил ее в пагоду храма Ясакадэра, и там она провела ночь. Ну, а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.

Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали еще длиннее. Легкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней.

— Да чего уж там! — сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку: — Что же, это все?

— Будь это все, не стоило бы и рассказывать. — Старик по-прежнему мял в руках горшок. — Когда рассвело, этот человек — должно быть, так уж судила ему судьба — сказал ей: «Будь моей женой!»

— Да ну?!

— Не будь у ней вещего сна — дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула. Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» — вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шелка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!

Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Словы больше не пели.

— Вскоре этот человек сказал ей: «Вернусь вечером!» — и торопливо куда-то ушел. Осталась она одна, и тоска одолела ее еще пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у нее, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды — чего только там не было! Что парча или шелка! Там стояли бесчисленные ящички со всякими сокровищами — драгоценными камнями, золотым носком. От всего этого даже у храброй девушки екнуло сердце.

«Всяко бывает, но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»

До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди?

Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась — ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит — какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду.

Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха

сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез.

Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.

Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.

Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказала разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услышала уже потом — ее труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы, осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу лицом вверх, точно она спала.

Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населенные места, зашла к знако-

мому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула.

— Да и я наконец успокоился!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ними и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой...

— Значит, на этом и делу конец?

— Однако, — старик покачал головой, — пока она сидела у знакомого на улице, вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в темное дело, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитывать с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.

— Да ну?

— Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окруженные зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.

Этот вор — уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзё? Когда она увидела его, ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился...

— Н-да...

— Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!

— Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности?

— Мало сказать «выбилась», она живет теперь в полном достатке. А все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Каннон-сама сдержала свое обещание!

— Так разве нехорошо, что с ней все это приключилось?

Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.

— Убить человека, стать женой вора... на это надо решиться...

Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.

— Как бы там ни было, а она счастливица.

— Куда уж!

— Разумеется! Да дедушка и сам так думает.

— Это я-то! Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.

— Вот как? А я бы с радостью взял.

— Ну так иди, поклонись Каннон-сама.

— Вот-вот. Завтра же засяду в храме!

Январь 1917 г.

БАРСУК

Согласно «Анналам Японии», в первый раз барсук обернулся человеком в деревне Митиноку, и случилось это во второй месяц весны тридцать пятого года правления государыни Суйко. Правда, в другой книге сказано не «обернулся человеком», а «стал похож на человека», но в обеих книгах после этого написано «пел», и, следовательно, можно считать вполне достоверным факт, что, независимо от того, обернулся ли он человеком или стал похож на человека, песни он пел, как настоящий человек.

Еще задолго до этого, как сказано в «Записках о годах правления императора Суйнин», в восемьдесят седьмом году собака, принадлежавшая юноше Макасо из провинции Тамба, загрызла барсука, у которого в брюхе оказалось множество нанизанных на нитку драгоценных камней — магатама. Об этой нитке драгоценных камней и о том, как появилась Яхобикуни мётин, написал в своем романе «Восемь псов» Бакин. Но барсук эпохи Суйнин просто прятал в своем брюхе драгоценные камни и не обладал свойствами оборотня, как барсук более поздних эпох. Таким образом, впервые барсук обернулся

человеком во второй месяц весны тридцать пятого года правления государыни Суйко.

Барсуки обитали в японских лесах еще в глубокой древности, со времен восточного похода императора Дзимму. А человеком барсук впервые обернулся лишь в 1288 году со дня основания империи.

На первый взгляд это может показаться случайностью. Но не исключено, что все началось вот с чего.

Девушка по имени Сиокуми из деревни Митиноку и юноша по имени Сиояки из той же деревни полюбили друг друга. Девушка жила с матерью, так что им приходилось встречаться тайком от нее, по ночам, поэтому об их встречах никто не знал.

Каждую ночь юноша, перевалив гору Исояма, располагался неподалеку от ее жилища. Девушка, рассчитав время, тайком покидала дом. Но она часто опаздывала, потому что ей приходилось ухаживать за матерью. Однажды она пришла, когда ночь уже была на исходе. В другой раз уже пропели первые петухи, а ее все не было.

Это случилось в одну из таких ночей. Юноша, присев на корточки у отвесной скалы, чтобы скрасить скуку ожидания, громко запел. Он боялся, что шум бьющих о берег волн заглушит песню, и поэтому изо всех сил напрыгал пересохшее от нетерпения горло.

Услыхав песню, мать спросила лежавшую рядом с вей дочь, кто поет песню. Девушка притворилась спящей, но когда мать спросила ее во второй, а потом в третий раз, растерялась и соврала, что это не человек поет.

Мать спросила: кто же тогда? Наверно, барсук, ответила девушка, проявив удивительную находчивость... С давних времен любовь учила женщин находчивости.

Утром мать рассказала жившей неподалеку старухе, плетельнице циновок, о том, что слышала пение барсука. Оказалось, что и старуха слышала. «Смотри-ка, — удивлялась она, — выходит, барсук поет песни», — и рассказала про это рубщику тростника.

История передавалась из уст в уста и дошла наконец до монаха, собиравшего подаяния в той деревне, и монах обстоятельно растолковал, почему барсук поет песни... Согласно буддийскому учению, жизнь совершает бесконечный круговорот. Поэтому не исключено, что душа барсука в прошлом была душой человека. Следовательно,

барсук может делать все, что делает человек. Что же удивительного, если в лунную ночь он поет песни...

С тех пор в деревне стало появляться все больше и больше людей, слышавших пение барсука. Нашелся даже человек, который утверждал, будто собственными глазами видел поющего барсука. Однажды он собирал яйца чаек и, возвращаясь ночью домой, шел берегом; вдруг в свете, отбрасываемом еще кое-где белевшим снегом, увидел барсука, который бродил у горы Исояма, тихо напевая песню.

Итак, один из жителей деревни собственными глазами увидел поющего барсука. Можно ли удивляться, что после этого почти вся деревня — старые и молодые, мужчины и женщины услышали песню барсука. Иногда она доносилась с гор. Иногда — с моря. А бывало даже, что и с крыш хибарок, разбросанных на берегу между горами и морем. Мало того. Кончилось все это тем, что даже девушку по имени Сиокуми однажды ночью напугал своим пением барсук.

Девушка, разумеется, была твердо уверена, что поет юноша. Прислушавшись к дыханию матери, она решила, что та уже крепко спит; тогда, тихонько встав с постели и приоткрыв дверь, она выглянула наружу. Но ничего не увидела, лишь серп луны в небе да набежавшие на берег волны, — юноши нигде не было. Девушка огляделась и вдруг замерла, прижав ладони к щекам, будто ее вдруг обдало порывом холодного ветра. На песке, у самой двери, она увидела следы барсука...

Эта история, преодолев горы и реки, дошла, наконец, и до столицы. И вот уже оборачивается человеком барсук в Ямасиро. Затем оборачивается человеком барсук в Оми. Потом стали оборачиваться человеком барсуки и в других районах. А в эпоху Токугавы появился барсук-оборотень, в которого настолько поверили, что даже нарекли его как человека — Дандзабуро из Садо.

Барсук, разумеется, никогда не оборачивался человеком. «Просто люди уверовали, что оборачивается», — возможно, скажете вы мне. Но разве такая уж большая разница между тем, что существует, и верой в то, что существует?

Относится это не только к барсуку. Разве все сущее не есть в конце концов лишь то, во что мы верим!

У Йитса в «Кельтских сумерках» есть рассказ о детях с озера Джиль, которые уверены, что девочка-про-

тестантка, одетая в голубое и белое, и есть богоматерь. И поскольку эта вера тоже живет в сознании людей, богоматерь с озера несколько не отличается от обитающего в горах барсука.

Мы должны верить в то, что живет в нас, как верили наши предки в барсука, оборачивающегося человеком. И разве не следует нам жить так, как предопределено этой верой?

Именно поэтому никогда не следует насмехаться над барсуком.

Апрель 1917 г.

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

(Этот рассказ я услышал от своего близкого университетского товарища, с которым встретился однажды летом в поезде Токио — Йокохама.)

История, которую я хочу рассказать, относится к тому времени, когда я по делам фирмы ездил в И. Однажды меня пригласили там на прием. В ресторане, где он был устроен, в нише кабинета, висела литография генерала Ноги — дело ведь происходило в И. — а перед ней стояла ваза с пионами. С вечера лил дождь, посетителей было мало, и я получил большее удовольствие, чем ожидал. На втором этаже тоже как будто шел прием, но, к счастью, не особенно шумный, как это бывает обычно. И вдруг, представь себе, среди гейш...

Ты, наверно, ее тоже знаешь. В числе официанток, куда в свое время мы частенько ходили выпить, была О-Току. Такая забавная девица с приплюснутым носом и низким лбом. И вот, представляешь, вдруг входит она. В костюме гейши, с бутылочкой саке в руках, подчеркнуто серьезная, как и остальные ее подруги. Я было подумал, что обознался, но когда она ко мне подошла, убедился, что это О-Току. Еще с тех времен у нее сохранилась привычка во время разговора вздергивать подбородок. Я остро ощутил, как быстротечна жизнь. Ты ведь помнишь — в нее в те годы был безнадежно влюблен Симура.

Теперь — генерал Симура, а в то время он покупал в баре Аокидо бутылочку мятного ликера и угощал

О-Току с величайшей серьезностью: «Выпей, очень сладко». И ликер был приторным, и сам Симура тоже.

И вот эта самая О-Току служит теперь в таком месте. «Каково было бы находящемуся в Чикаго Симуре узнать об этом», — подумал я и уже хотел было заговорить с ней, но постеснялся... Ведь это была О-Току. Значит, нужно было говорить о том времени, когда она служила на Нихонбаси.

Но неожиданно О-Току сама ко мне обратилась.

— Как давно я вас не встречала. В последний раз мы виделись, когда я служила в У. Вы совсем не изменились. — Она сказала мне что-то в этом роде. Ну и девица эта О-Току, день только начался, а она уже навеселе.

Хотя она и была навеселе, но мы так давно не виделись, да и тема была — Симура, и мы болтали без умолку. Но тут остальная компания подняла страшный шум, делая вид, будто ревнует меня, а устроитель приема заявил, что не даст мне уйти, пока я во всем не признаюсь, — в общем, все это было не очень приятно. Рассказывая им историю с мятным ликером Симуры, я сморозил ужасную глупость: «Мой близкий друг увидался за ней, а она его коленкой под зад». Устроитель приема был человек почтенного возраста, к тому же привел меня на прием родной дядя.

Правда, «коленкой под зад» вырвалось у меня как-то непроизвольно, и остальные гейши принялись дружно поддразнивать О-Току.

Но О-Току не признавала Счастливого дракона... Встретиться со Счастливым драконом, видимо, великое счастье. В комментарии к «Восьми псам» есть такое место: «Счастливым драконом называют счастье, ниспосланное человеку свыше». Странно только, что в большинстве случаев Счастливый дракон не приходит к человеку без стараний с его стороны. Впрочем, об этом можно было и умолчать... Но то, что О-Току не признавала Счастливого дракона, было, в общем-то, вполне логично. «Если Симура-сан, как вы говорите, был безнадежно влюблен в меня, это вовсе не значило, что и я должна была безнадежно влюбиться в него».

И еще она говорила: «Случись это так, я сама чувствовала бы себя гораздо счастливее в те годы».

Это называют грустью безответной любви. Наверно, поэтому О-Току и захотелось рассказать, что с ней про-

изошло. И она поведала мне историю своей странной любви. Ее я и хочу рассказать. Хотя, как всякая любовная история, она не так уж интересна.

Удивительно, правда? Нет более скучного занятия, чем выслушивать пересказы снов или любовных пождений.

(Я ответил на это: «Просто потому, что такая история не может быть интересна никому, кроме тех, кто замешан в ней». — «Верно, даже в романе и то трудно рассказать о снах или любовных похождениях». — «Скорее всего потому, что сон относится к области чувств. Среди снов, описанных в романах, нет ни одного, который был бы похож на настоящий». — «А любовных романов, которые можно было бы назвать выдающимися произведениями, сколько угодно, ты этого не можешь отрицать», — «Но среди них не менее легко вспомнить великое множество дурацких творений, которые не остаются в памяти людей».)

В общем, если ты представляешь себе, что за историю услышишь от меня, я могу спокойно продолжать. Из всех дурацких творений, какие только можно вообразить, она самое дурацкое. О-Току назвала бы ее «История моей безответной любви».

Слушая, что я рассказываю, имей это в виду.

Человек, в которого безнадежно влюбилась О-Току, был актером. О-Току пристрастилась к театру, еще когда жила с родителями на улице Таварамати, и все время бегала на представления в парк Асакуса, недалеко от дома. Ты, вероятно, думаешь, что это был какой-нибудь актриска на выходных ролях в театре «Миятодза» или «Токивадза». Ничего подобного. Прежде всего ты ошибаешься, если полагаешь, что он японец. Представляешь, европеец. На амплуа комических злодеев.

К этому еще нужно добавить, что О-Току не знала ни имени его, ни адреса. И уж, конечно, не знала, холост он или женат. Странно все это, правда? Безответная любовь всегда абсурдна. Посещая театр «Вакатакэ», мы могли не знать названия пьесы и имени актера, исполнившего главную роль, но уж то, что он японец, что его сценическое имя Сёгику — это-то уж нам доподлинно было известно. Я насмешливо сказал об этом О-Току, но она ответила вполне серьезно: «Понимаете, я очень хотела узнать. Но не удалось, ничего не поделаешь. Я встретила его только на полотне».

На полотне — странно. Если бы она сказала на простыне, я бы еще понял. Я стал ее расспрашивать и так и сяк и наконец выяснил, что человек, в которого она влюблена, комик, снимающийся в западном кино. Тут уж я окончательно был сбит с толку. Действительно на полотне.

Может быть, слова О-Току покажутся кому-нибудь плохим каламбуром. И кто-то, не исключено, даже скажет: «Да она просто насмешничает». Ведь из портового города, так что остра на язык. Но по-моему, О-Току говорила чистую правду. Во всяком случае, глаза у нее были абсолютно правдивыми.

«Я готова была хоть каждый день бегать в кино, но на это не хватило бы никаких денег. Поэтому ходила всего раз в неделю. Но это ладно, самое потрясающее дальше. Однажды я долго выпрашивала у мамы деньги, а когда наконец выпросила и прибежала в кино, там было уже полно народу и оставались только крайние места. Оттуда лицо его на экране казалось мне каким-то сплюсненным. И так грустно мне стало, так грустно». Она говорила и плакала, прикрыв лицо фартуком. Ей было грустно оттого, что лицо любимого человека на экране было искажено. Я искренне ей посочувствовал.

«Я видела его раз двенадцать—тринадцать в разных ролях. Длинное худое лицо, усики. Обычно он носил строгий черный костюм, вот как у вас». На мне была визитка. «И он был похож на меня?» — спросил я. «Гораздо лучше, — с вызовом ответила она, — гораздо лучше». Не слишком ли это было жестоко? «Ты говоришь, что встречалась с ним только на полотне. Я мог бы тебя понять, если бы ты видела его во плоти и крови, если бы он мог с тобой разговаривать, взглядом выражать свои чувства — а тут просто изображение. Да еще на экране». Она была бессильна отдалиться этому человеку, даже если бы и хотела. «Говорят: «желанный»... Но если нежеланный, ни за что не притворишься, что желанный. Возьмите хоть Симуру-сан — он часто угощал меня зеленым вином. Но я все равно не могла притворяться, будто он желанный. Судьба — от нее никуда не уйдешь». Она говорила вполне разумно. Ее слова поразили и в то же время тронули меня. «Потом, когда я стала гейшей, гости часто водили меня в кино, но, не знаю почему, этот человек совсем перестал появляться в фильмах. Сколько я ни ходила в кино, там показывали одну чепу-

ху вроде «Вожделенных денег», «Зигомара», даже смотреть не хотелось. В конце концов я совсем перестала ходить в кино — чего зря ходить. Понимаете...»

В этой компании О-Току не с кем было поговорить, и, понимая это, она буквально вцепилась в меня и говорила, говорила. Чуть не плача.

«Через много лет, уже после того, как я переехала сюда, я пошла однажды вечером в кино и вдруг снова увидела его на экране. В каком-то городе на Западе. Там была мощенная булыжником площадь, посреди площади какие-то деревья, похожие на китайские зонтики. А по обоим сторонам — гостиницы. Только, может быть, потому, что фильм был старый, все выглядело коричневатотусклым, точно дело происходило под вечер, дома и деревья странно подрагивали — грустная картина. И вдруг, представляете, с маленькой собачкой, дымя сигаретой, появляется он. В своем черном костюме, с тростью — ну насколько не изменился с тех пор, как я видела его в детстве...»

Через десять лет она снова встретила с любимым человеком. Тот не изменился, потому что это был старый фильм, а она, О-Току, поверила в Счастливого дракона. Мне было невыразимо жаль ее.

«Около деревьев он останавливается, поворачивается ко мне и, снимая шляпу, смеется. Скажите, разве нельзя было подумать, будто он здоровается со мной? Знай я его имя, обязательно окликнула бы...»

Попробовала бы окликнуть. Приняли бы за сумасшедшую. С тех пор как стоит город И., не было еще гейши, безнадежно влюбленной в кинофильмы. «Потом вдруг появляется маленькая женщина и набрасывается на него. Чтец сопроводитель пояснил, что это его любовница. Она уже немолодая, да еще на голове у нее огромная шляпа с перьями — до чего мерзко она выглядела».

О-Току ревновала. Опять-таки к изображению на экране.

(Поезд подошел к Синагава. Мне нужно было сходить на Симбаси. Мой товарищ знал это и, боясь, что ему не удастся закончить историю, торопливо продолжал, время от времени поглядывая в окно.)

В фильме происходило еще множество событий, и кончался он, кажется, тем, что мужчина попадает в полицию. О-Току подробно рассказала мне, за что его арестовали, но я, к сожалению, не помню.

«На него налетели, в момент скрутили. Нет, это было уже не на той улице. В каком-то баре. Там стояли в ряд бутылки вина, а в углу висела клетка с попугаем. Видимо, уже наступила ночь, все было в синей дымке. И в этой синеве, в этой синеве я увидела плачущее лицо того человека. Если бы вы увидели, вам тоже стало бы безумно жаль его. В глазах — слезы, рот приоткрыт...»

Потом раздался свисток — фильм окончился. Осталось только белое полотно. И тут О-Току произнесла замечательную фразу: «Все ушло. Ушло и превратилось в дым. И ничего не осталось».

В ее слезах не было притворства. Не исключено, что история ее безнадежной любви к изображению на экране — выдумка, а на самом деле она безответно любила кого-нибудь из нас.

(Наш поезд в это время, уже в сумерках, подошел к станции Симбаси.)

Октябрь 1917 г.

ОДЕРЖИМЫЙ ТВОРЧЕСТВОМ

1

Утро одного из дней девятого месяца второго года Тэмпо. В общественной бане «Мацуною» на улице Доботё в Кандё с самого утра, как всегда, многолюдно. «Общественная баня... Здесь все смешалось: песнопения в честь богов и молитвы буддам, любовь и непостоянство...» Эта картина, которую изобразил несколькими годами ранее Сикитэй Самба в одном из своих юмористических произведений, и по сию пору ничуть не переменялась.

Вот посетитель с модной прической «бабий пучок», погрузившись в воду, распевает утадзаймон. Другой, причесанный на манер «тёммагэ хонда», уже вылез из воды и отжимает полотенце. Третий, с прической «ооитё» и выбритым лбом, поливает горячей водой спину с татуировкой. Тот, что с прической «ёсибэй якко», давно уже с завидным упорством трет лицо. Подле чана с холодной водой сидит бритоголовый монах и знай поливает себе голову. Мальчуган с прической, похожей не то на летящую пчелу, не то на стрекозу, сосредоточенно играет бамбуковой бадейкой и глиняной миской... Все эти столь

несхожие между собой существа, поблескивая мокрыми, скользкими от воды телами, толпятся в тесной бане, обволакиваемые клубами густого пара и освещенные пробивающимися в окно лучами осеннего солнца.

Шум в бане совершенно особый. Прежде всего это — плеск воды и грохот переставляемых ушатов. Затем это — гомон переговаривающихся между собой или напевающих что-то людей. И наконец, это — удары колотушки, время от времени доносящиеся с места, где находится сторож. Одним словом, по обе стороны перегородки, разделяющей баню на фуру и площадку для мытья, стоит шум, точь-в-точь как на поле битвы. К тому же сюда нет-нет да и заходят торговцы. Или попрошайки. Ну, и конечно же, без конца снуют посетители. И вот среди всей этой сутолоки...

Среди всей этой сутолоки, скромно примостившись в углу, мылся старик. Судя по всему, ему было далеко за шестьдесят. Седина на висках приобрела неприятный желтый оттенок, глаза стали подслеповатыми. Он был худ, но сложения крепкого, пожалуй, даже могучего, и в руках и ногах его с отвислой кожей все еще таилась сила, противящаяся старости. То же можно было сказать о лице: мощный подбородок и крупный рот словно бы излучали яростное сверкание силы дикого зверя, как это было и прежде, когда старик находился в расцвете лет.

Старик тщательно вымыл верхнюю половину тела и продолжал мыться, не ополаскиваясь, из маленького деревянного ушата. Он с усердием тер себя куском черной шелковой ткани, но с его сухой морщинистой кожи не сходило ничего, что можно было бы назвать грязью. Это вдруг наполнило его ощущением осени и печали. Старик вымыл ногу, обер ее влажным полотенцем, и тут рука его остановилась, как будто силы внезапно его покинули. В ушате отражалось ослепительно яркое небо, а на его фоне атели плоды хурмы; возвышаясь над углом черепичной крыши, кое-где они как бы скрепляли между собой тонкие ветви дерева.

И старику вдруг почудилось, будто на него пала тень Смерти. Эта Смерть не таила в себе ничего зловещего, ничего такого, что прежде ужасало его. То было сознание тихого, желанного, безмятежного небытия, подобного небу, отражающемуся в ушате. Как был бы он рад, если б смог отрешиться от заблуждений и страданий суетного бытия и забыться сном под сенью этой Смерти,

тем самым сном без сновидений, который посещает лишь невинных детей. Он устал от жизни. Но еще больше устал он от мук творчества, неотступно преследовавших его уже много десятков лет...

Словно очнувшись, старик разочарованно поднял глаза от ушата. Вокруг по-прежнему раздавались оживленные, веселые голоса, в клубах пара с головокружительной быстротой сновали голые люди. К пению утадзаймон, доносящемуся из-за перегородки, присоединились звуки модных песенок «мэриясу» и «ёсиконо». Во всем этом, разумеется, не было и намека на ту Вечность, которая только что осенила его душу.

— О, сэнсэй, вот уж никак не ожидал встретить вас здесь! Мне и во сне не могло привидеться, что Кёкутэй-сэнсэй с самого утра пожелует в баню.

Обернувшись, старик увидел среднего роста мужчину, румяного, с прической «хосоитё». Тот стоял подле своего ушата с перекинутым через плечо полотенцем и весело улыбался. Похоже, он только что закончил купание и теперь собирался ополоснуться чистой водой.

— Рад, что вы, как обычно, в прекрасном расположении духа, — с едва заметной иронией произнес, улыбаясь, Бакин Сакити Такидзава.

2

— Ну что вы, право, стоит ли радоваться такой малости? Поистине отрадно то, что в свет выходят все новые главы «Восьми псов», что с каждым разом они все интереснее. — Собеседник Бакина бросил полотенце в ушат и еще громче затараторил:

— Подумать только! Фунамуси выдает себя за слепую уличную певицу и замышляет убить Кобунго. Но в последний момент, когда его хватают и начинают пытаться, на помощь ему приходит Соскэ. Здорово закручено! К тому же этот случай дает возможность Соскэ еще раз встретиться с Кобунго. Я, Омия Хэйкити, — всего лишь простой торговец галантерейными товарами, но все же смею считать себя в известной мере знатоком и ценителем «ёмихон». Так вот, поверите ли, даже мне трудно придрататься к чему-либо в ваших «Восьми псах»... О, простите великодушно, что беру на себя смелость судить о вещах, мне недоступных...

Бакин промолчал и принялся мыть вторую ногу. Что и говорить, он с давних пор благоволил к почитателям своего таланта. Однако это благоволение ни в коей мере не мешало ему судить о них здраво и беспристрастно. Для мудрого и проницательного Бакина это было более чем естественно. Но в то же время, как это ни парадоксально, способность трезво судить о людях, в свою очередь, тоже почти не влияла на его благорасположение к почитателям. Поэтому порой он испытывал к одному и тому же человеку и презрение и дружелюбие одновременно. Омия Хэйкити относился к разряду именно таких людей.

— Во всяком случае, чтобы писать так, как вы, требуются немалые усилия. Что ни говорите, а вы — наш японский Ло Гуаньчжун. Ой, простите, я, кажется, опять наболтал лишнего. — Хэйкити снова захохотал. Его громовой хохот привлек к себе внимание одного из мывшихся неподалеку — кривого на один глаз, плюгавого, смуглого человечка с прической «коитё». Обернувшись к Бакину и Хэйкити, он некоторое время переводил взгляд с одного на другого и затем со странным выражением лица сплюнул себе под ноги.

— А вы по-прежнему увлекаетесь сочинением хокку? — поинтересовался Бакин, ловко переводя разговор на другую тему, хотя это вовсе не означало, что он заметил злобную гримасу кривого. К счастью, даже при желании он не смог бы ее разглядеть, настолько слабым было у него зрение.

— Мне весьма лестно ваше внимание, но должен прямо сказать: я всего-навсего любитель, который без зазрения совести берется за то, чего не умеет. То и дело бегают в разные поэтические собрания, а стихи почему-то не получаются. Кстати, сэнсэй, вы, кажется, не питаете особого пристрастия к сложению танка и хокку?

— Просто я не умею этого как следует делать. Хотя одно время и сочинял стихи.

— Вы, разумеется, шутите!

— Нет. Но видно, занятие это не по мне. Слагая стихи, я до сих пор ощущаю себя слепцом, который тщится подглядеть в щель забора. — Бакин сделал ударение на словах «не по мне». Он отнюдь не считал себя неспособным сочинять танка, и если понимать его слова именно так, то в них не прозвучала неуверенность в собственных силах. Просто Бакин с давних пор испытывал своего

рода презрение к подобному искусству. Почему? Да потому, что и танка и хокку были слишком малы, чтобы вместить в себя его, Бакина. Содержание любого трехстишия или пятистишия, лирического или пейзажного, сколь искусно ни было бы оно сложено, оказывалось соизмеримым лишь с несколькими строчками его прозаического сочинения, не более. Такое искусство он считал искусством второго сорта.

3

В том, что Бакин сделал ударение на словах «не по мне», как раз и выразилось его презрение. Увы! Омия Хэйкити, видно, не понял этого.

— Ах, вот в чем дело, — произнес он извиняющимся тоном, докрасна растирая тело отжатым полотенцем. — А я-то, признаться, думал, что столь выдающийся человек, как вы, может с легкостью сделать все, за что ни возьмется. Верно говорят, что Небо не наделяет человека сразу двумя сокровищами.

Самолюбивый Бакин почувствовал неудовольствие от того, что слова его были поняты буквально. Не понравился ему и извиняющийся тон Хэйкити. Он бросил полотенце и тряпку для мытья на пол, разогнулся наполовину и, досадливо поморщившись, с горячностью в голосе произнес:

— Впрочем, я полагаю, что могу сочинять стихи не хуже нынешних маститых поэтов.

Сказав это, он невольно устыдился собственного ребячества. Только что, когда Хэйкити в самых выпренных выражениях хвалил его книгу, он не испытывал особой радости. Теперь же недоволен тем, что его сочли неспособным слагать стихи. Здесь явное противоречие. Мгновенно проанализировав собственную реакцию, Бакин принялся суетливо поливать себя водой из ушата, пытаясь таким образом скрыть неловкость.

— Конечно. Иначе вы вряд ли смогли бы создать шедевры, подобные «Восьми псам». Не считите это хвастовством, но я и впрямь проницательный человек!

Хэйкити снова захохотал. Но кривого поблизости уже не было, а его плевок унесла вода, которую выплеснул на себя Бакин. Слова Хэйкити повергли его в еще большее смущение.

— Однако же я слишком увлекся беседой с вами. Пожалуй, пойду окунусь в фуру.

Странное ощущение неловкости не покидало Бакина. Досадуя на себя, он медленно поднялся, вынужденный ретироваться перед этим добродушным человеком, его почитателем. Что же до Хэйкити, то ему, как видно, слова Бакина придали еще большую уверенность, которая так пристала истинному почитателю талантов.

— Ну что же, сэнсэй, прошу вас в ближайшее время непременно сочинить какое-нибудь стихотворение. Договорились? Так не забудьте же! А теперь позвольте откланяться. Я знаю, вы ужасно заняты, но все же, если случится проходить мимо, прошу пожаловать к нам. С вашего позволения и я как-нибудь к вам наведаюсь, — кричал Хэйкити вдогонку Бакину. Он еще раз выполоскал полотенце и, провожая глазами Бакина, направлявшегося к перегородке, принялся размышлять, каким именно тоном он расскажет жене о встрече с Кёкутэй-сэнсэем.

4

По ту сторону перегородки царил полумрак, будто в сумерки. От воды поднимался пар, еще более густой, нежели туман. Подслеповатый Бакин неуверенно протискивался между купающимися. Кое-как добрался до фуры, пристроился в углу и погрузил в воду свое морщинистое тело.

На сей раз вода была горячее обычного. Бакина обдало жаром до самых кончиков пальцев ног. Он глубоко вздохнул и принялся медленно обводить глазами фуру. В полумраке едва заметно вырисовывались головы купающихся, их было семь, а может быть, и восемь. Они пели, разговаривали, а между ними мерно и плавно покачивалась поверхность воды, вобравшей в себя жир человеческих тел. В воде отражался мутный свет, просачивающийся из-за перегородки. В нос бил тошнотворный «запах общественной бани».

Бакин с давних пор любил предаваться романтическим мечтам. Вот и сейчас, разомлев в горячей воде, он невольно вызвал в памяти картину из своей будущей книги.

...Палуба с плотным навесом от солнца. На море опускаются сумерки. Начинается ветер. Глухой плеск волн о борт корабля напоминает звук сбиваемого масла, к их ропоту присоединяется шум колышущегося на ветру навеса, напоминающий шорох крыльев гигантской летучей мыши. Почуввав неладное, один из моряков смотрит с опаской за борт. В небе над окутанным туманом морем мрачно и одиноко алеет лунный серп. И вот...

Тут картина, представившаяся мысленному взору Бакина, внезапно исчезла. Он услышал, как совсем рядом кто-то ругает его произведения, причем многословно и нарочито громко, так, чтобы Бакин слышал. Бакин решил было выйти из фуру, но потом передумал и весь обратился в слух.

— Бакина нынче пышно величают «мастером Кёкутэем», «жрецом храма литературы», а ведь его книги — переделки чужих произведений и только. «Восемь псов» — это не что иное, как на скорую руку перекроенные «Речные заводы». Если не принимать этого в расчет, то в «Восьми псах», конечно, можно найти кое-что занятное. Но китайское произведение написано значительно раньше. Так что заслуга Бакина в том лишь и состоит, что он удосужился прочесть оригинал. Да и то как сказать, ведь его книга — еще и перепев Кёдэна. Поневоле будешь возмущаться и негодовать!

Затуманенным взором Бакин взглянул в ту сторону, откуда доносилась хула. За густыми клубами пара трудно было рассмотреть говорящего, но скорее всего это был тот самый кривой с прической «коитё». Видно, он пришел в ярость, услышав, как Хэйкити только что превозносил «Восемь псов», и решил выместить злость на Бакине.

— Все, что пишет Бакин, — результат усердия, и только. У него ничего нет за душой, а если что и есть, то, пожалуй, только комментарии к Четверокнижию и Пятикнижию, которые куда более уместны в устах учителя приходской школы. Он ничего не смыслит в современной жизни — об этом свидетельствует хотя бы то, что он не написал ни одной книги, в которой бы речь не шла об отдаленных временах. Он не может написать просто и ясно: «Осомэ и Хисамацу», нет! — ему угодно писать так: «Семь осенних трав, или История любви Хисамацу и Осомэ». И подобных примеров, если выразиться

в духе «великого» Бакина, можно «узреть» великое множество.

Сознание собственного превосходства порой не дает нам в полной мере испытать ненависть. Вот и Бакин, при том, что слова хулителя больно ранили его, почему-то не почувствовал к нему ненависти. Ему только хотелось как-нибудь выразить обидчику свое презрение, но сделать это, вероятно, мешал возраст.

— Если на то пошло, то Икку и Самба — вот истинные писатели. В их книгах мы видим живых, настоящих людей. Это вам не поделки, где требуется лишь ловкость рук да кое-какие знания. И этим они здорово отличаются от таких, как Сарюкэн Индзя.

По опыту Бакин знал, что хула в адрес его книг не только неприятна, но и в значительной мере опасна. И дело было даже не в том, что он боялся пасть духом, приняв эту хулу. Наоборот: он понимал, что активное ее неприятие может привести к тому, что отныне всем его творческим побуждениям станет сопутствовать некое противодействие. И он страшился, что в результате появится уродливое произведение. Любой полный творческих сил писатель, кроме тех, кто стремится лишь угодить вкусам времени, невольно рискует оказаться перед лицом подобной опасности. Вот почему до сих пор Бакин старался ни при каких обстоятельствах не читать критических отзывов на свои произведения, хотя порой ему бывало весьма соблазнительно познакомиться с ними. И то, что сейчас он все-таки решил остаться в фуру и выслушать поношения человека с прической «коитё», отчасти объяснялось именно тем, что он поддался этому давнему искушению.

Поняв это, Бакин сразу же упрекнул себя в глупости, из-за которой все еще медлит и не выходит из воды, и, не обращая внимания на злобные выкрики кривого, решительно направился за перегородку. Там сквозь клубы пара виднелось голубое небо за окном, а на его фоне облитые теплыми лучами солнца плоды хурмы. Бакин подошел к чану и не спеша ополоснулся водой.

— Как бы то ни было, Бакин — ловкий обманщик. Ведь ухитрился же прослать японским Ло Гуаньчжуну! — продолжал свои яростные филиппики кривой, полагая, что Бакин все еще находится поблизости. Он и не заметил, как проклятый им Бакин удалился за перегородку.

Из бани Бакин вышел в подавленном настроении: в этом смысле брань кривого явно достигла цели. Идя по улицам Эдо, освещенным лучами осеннего солнца, Бакин пытался тщательно, критически обдумать все, что услышал в фуру. Он мог хоть сейчас доказать, что придирки кривого, с какой стороны ни взгляни, — нелепость, не заслуживающая ни малейшего внимания. И все же ему трудно было вернуть себе душевное спокойствие, столь внезапно нарушенное.

С мрачным видом рассматривал он дома горожан по обеим сторонам улицы. Живущим в них не было никакого дела до него, Бакина. Они были погружены в свои будничные заботы. Оранжевая вывеска «Лучшие табачки всех провинций», желтая табличка в виде гребня с надписью «Настоящий самшит», фонарь с начертанными на нем знаками «Паланкины», флажок с гадательными палочками и надписью «Гадание» — все это, выстроившись в какой-то бессмысленный ряд, пронеслось мимо его взора, не останавливая на себе внимания.

«Почему же эти поношения, которые я могу только презирать, не дают мне покоя? — спрашивал себя Бакин. — Ну, прежде всего мне неприятно уже то, что кривой питает ко мне злобу, какой бы ни была ее причина, и тут уж ничего не поделаешь...»

При этой мысли Бакин устыдился собственного малодушия. И правда, мало на свете людей, столь же высокомерных, сколь и легкоранимых, как он. Бакин давно заметил, что эти, казалось бы, исключаящие друг друга крайности в его отношении к происходящему, эти диаметрально противоположные следствия на самом деле восходят к одной и той же причине, объясняются одной и той же работой нервов.

«Однако существует еще одно обстоятельство, которое меня тяготит, — продолжал размышлять Бакин. — Дело в том, что мне следовало дать надлежащий отпор кривому. А я этого не люблю. По той же причине я не люблю азартных игр».

Здесь, однако, в его рассуждениях произошел неожиданный поворот. Об этом можно было догадаться хотя бы по тому, как вдруг разомкнулись его плотно сведенные челюсти.

«И наконец, вне всякого сомнения, меня огорчает то, что противником моим оказался именно этот кривой. Окажись им человек более достойный, я наверняка поборол бы в себе чувство обиды и охотно дал бы ему надлегающий отпор. Но с таким противником, как этот кривой, поневоле зайдешь в тупик».

Горько усмехнувшись, Бакин устремил взор в высокое небо. С неба вместе с солнечными лучами упал на землю, точно внезапный дождь, пронзительный крик коршуна. И старик почувствовал, что у него отлегло от сердца.

«Как бы ни хулил меня кривой, — думал Бакин, — самое большее, на что он способен, — это огорчить меня. Сколько бы ни кричал коршун, солнце не остановит свой бег. Я непременно завершу свои «Восемь псов». Тогда Япония получит роман, равного которому не было и не будет».

Оберегая вновь обретенную веру в себя, Бакин медленно зашагал к дому по извилистой тонкой тропе.

6

Войдя в дом, Бакин увидел в углу полутемной передней знакомые сандалии со спутанными шнурками и живо представил себе круглое, лепешкообразное лицо их владельца. И сразу же в голове пронеслась горестная мысль, что непрощенный гость попусту отнимет у него время.

«Вот и потеряно нынешнее утро», — сказал он себе и шагнул в прихожую, где его поспешила встретить служанка Суги. Она почтительно приветствовала хозяина и, не поднимаясь с коленей, заглянула ему в лицо:

— Господин Идзумия дожидается вашего возвращения.

Кивнув, Бакин отдал Суги мокрое полотенце. Идти в кабинет ему не хотелось, и он спросил:

— А что О-Хяку?

— Госпожа изволила пойти в храм.

— Вместе с О-Мити?

— Да, и малыша изволила взять с собой.

— А сын где?

— Он изволил отправиться к господину Ямамото.

Никого из близких дома не было. Бакин почувствовал вдруг что-то похожее на отчаяние. Но делать было

нечего, он раздвинул наконец фусума кабинета, находившегося здесь же, рядом с передней.

Посреди комнаты в церемонной позе сидел человек с чванливым выражением на белом доснящемся лице и покуривал тонкую серебряную трубку. В кабинете не было особых украшений, если не считать ширмы, оклеенной литографиями, да висящих в нише двух парных какэмоно с изображением пурпурных листьев осенних кленов и желтых хризантем. Вдоль стен громоздилось с полсотни старых, выдавших виды книжных полок с дверцами из павлонии. Бумагу на сёдзи, видно, не меняли с прошлой зимы. Она была порвана в нескольких местах, и на ее светлой поверхности раскачивалась огромная косая тень сломанного бананового дерева... Щегольской наряд гостя явно не вязался с убранством кабинета.

— О, вот и вы, сэнсэй, — почтительно склонив голову, ласково произнес гость, как только раздвинулись фусума. Это был книгоиздатель Итибэй Идзумия, готовивший к печати «Цзинь, Пин, Мэй» — одну из книг Бакина, которой суждено было завоевать почти такую же известность, какую завоевали «Восемь псов».

— Вы, верно, давно меня дожидаетесь. Нынче, вопреки обыкновению, я отправился в баню с утра, — сказал Бакин, невольно насупившись, но сел перед гостем, как того требовал этикет.

— О, в баню с утра! Вот оно что! — восторженно воскликнул Итибэй. Нечасто встречаются люди, способные, подобно ему, приходиться в восторг даже по самому, казалось бы, пустячному поводу. Или, точнее, люди, способные изображать восторг.

Бакин не спеша закурил и, как того следовало ожидать, перевел разговор в деловое русло. Ему очень не нравилась эта восторженность Идзумии.

— Что привело вас сегодня ко мне?

— Пришел просить вас написать новую книгу, — вкрадчиво, словно женщина, произнес Итибэй, вода пальцем по трубке. Любопытный был у этого человека характер: в большинстве случаев его поступки не только не соответствовали его внутренним побуждениям, но, скорее, шли вразрез с ними. Бывая настроенным решительно и непреклонно, он тем не менее говорил мягким, вкрадчивым голосом.

И этот голос заставил Бакина снова нахмуриться.

— Вы напрасно беспокоили себя приходом, коль скоро речь идет о новой книге.

— Вот как? У вас возникли какие-то особые обстоятельства?

— Дело не в этом. Просто в нынешнем году я хочу завершить уже начатые мною книги, так что до новой вряд ли дойдут руки.

— Конечно, конечно. Вы очень заняты, я знаю, — промолвил в ответ Итибэй, выбивая трубку. И вдруг, будто это действие послужило для него своеобразным сигналом, он сделал вид, что начисто забыл все, о чем они только что толковали, и тотчас же, как ни в чем не бывало, заговорил о Нэдзуми Кодзо Дзиродаю.

7

Нэдзуми Кодзо Дзиродаю был знаменитым разбойником, молва о котором распространилась далеко вокруг. В начале пятого месяца того самого года, о котором идет речь, его схватили, а уже в середине восьмого месяца голова разбойника была выставлена на всеобщее обозрение у ворот тюрьмы. Преступник грабил только князей, а отобранные у них деньги раздавал беднякам, за что снискал себе прозвище — «Благородный Разбойник», которое полностью заменило ему имя и которое люди произносили с благоговением.

— Сэнсэй, говорят, будто он разграбил семьдесят шесть княжеских поместий, что составило сумму в три тысячи сто восемьдесят три рё и два бу. Это просто невероятно. На то он и грабитель, конечно. Но обыкновенному человеку такое не по плечу.

Бакин не заметил, как увлекся разговором. В тоне Итибэя звучало нескрываемое самодовольство: дескать, он опять снабжает писателя материалом. Это, конечно, не могло не раздражать Бакина. И все же он явно увлекся разговором. Человека искусства, наделенного истинным талантом, такого, как Бакин, легко было увлечь, особенно подобного рода историями.

— Гм, и впрямь выдающаяся личность. Мне приходилось много о нем слышать, но ничего подобного я не подозревал.

— Ну, как разбойник он был настоящим мастером своего дела. Говорят, в свое время он служил при господине Арао, властителя провинции Тадзима, не то сопровождающим, не то еще кем-то, потому в княжеских поместьях ориентировался, как у себя дома. Его провозили по городу перед казнью, и те, кто видел его, рассказывают, что он был мужчина красивый и могучего сложения. В тот день на нем было легкое синее кимоно из бумажного крепа, а под ним еще одно, из белого шелка. Обо всем этом можно было бы написать, ну хотя бы в книге, над которой вы сейчас работаете...

Бакин что-то пробормотал в ответ и снова закурил. Но Итибэй был не из тех, кого способен остановить уклончивый ответ.

— Что вы на это скажете? Может быть, вставить эпизод о Дзиродаю в «Цзинь, Пин, Мэй»? Я понимаю, как вы заняты, и все же надеюсь получить от вас согласие.

Так разговор о Нэдзуми Кодзо постепенно вернул собеседников к исходной теме: Идзумия вновь принялся уговаривать Бакина взяться за новую вещь. Но Бакин хорошо знал Идзумию и не сдавался. У него лишь вконец испортилось настроение. Он досадовал на себя за то, что попался в расставленную Итибэем ловушку и позволил себя увлечь, и, лениво потягивая трубку, принялся обстоятельно излагать свои доводы:

— Ведь если я стану писать через силу, ничего путного не получится. А вам это тоже невыгодно, поскольку книгу надо продать. Послушайте меня, так будет лучше для нас обоих.

— Так-то оно так, но все же осмелюсь просить вас сделать еще одно, последнее усилие. Согласны?

Говоря это, Идзумия как бы «погладил» глазами лицо Бакина (словом «гладить» Бакин обозначал один из особых, свойственных лишь Идзумии, взглядов) и порывисто выпустил через нос табачный дым.

— Нет, не могу. При всем желании не могу — у меня сейчас нет для этого времени.

— Вы ставите меня в трудное положение, — ответил Идзумия и совершенно неожиданно заговорил о знакомых им обоим писателях. По-прежнему не вынимая из рта тонкой серебряной трубки.

— Говорят, скоро должна выйти новая книга Танэхико. Наверное, это будет, как всегда, нечто утонченное и грустное. Пожалуй, никому иному не под силу создавать подобные вещи.

Итибэй почему-то имел обыкновение называть писателей попросту, без какого бы то ни было выражения учтивости. Всякий раз, слыша это, Бакин представлял себе, как за глаза тот и его именуется просто «Бакином». В минуты раздражения он нередко приходил от этого в ярость и спрашивал себя: «Как можно иметь дело с таким лицемером, который смотрит на писателей как на собственных подмастерьев да еще смеет выказывать им такое неуважение?» Вот и теперь, услышав имя Танэхико, Бакин нахмурился еще больше. Но Итибэй, как видно, не обратил на это ни малейшего внимания.

— А мы сейчас подумываем, не издать ли нам Сюнсую. Вам он не нравится, но обывателям такие вещи по душе.

— Что ж, может быть... — В памяти Бакина вдруг, гротескно преувеличенное, всплыло лицо Сюнсую, с которым ему некогда довелось повстречаться. Когда-то давным-давно Бакин слышал, будто Сюнсуй так отозвался о своем творчестве: «Я вовсе не писатель. Я всего лишь поденщик, который сочиняет на потребу публики книжки про любовь». Вполне понятно, что в глубине души Бакин презирал этого писателя, который лишь зовется таковым. И все же, услышав, как фамильярно назвал его Итибэй, он не мог подавить в себе чувства неприязни.

— Но что ни говорите, — продолжал между тем Итибэй, — он искусен в сочинении своих любовных вещей. К тому же он прослыл весьма плодовитым писателем. — С этими словами он на мгновение взглянул Бакину в лицо и сразу же перевел взгляд на свою серебряную трубку. В этот миг на лице его появилось отвратительное выражение. Во всяком случае, так показалось Бакину.

— Впрочем, если все время писать об одном и том же, со второго или с третьего раза кисть начинает двигаться сама собой, и ее, вероятно, уже трудно оторвать от бумаги. Кстати, а вы, сэнсэй, быстро пишете?

Мало сказать, что Бакин почувствовал в этом вопросе нечто для себя оскорбительное — он уловил в нем еще

и угрозу. Честолюбивому Бакину была неприятна сама мысль о том, что его могут сравнивать с Сюнсuem или Танэхико. К тому же он писал медленно и нередко приходил в уныние, видя в этом свидетельство собственной творческой несостоятельности. С другой стороны, порой он, напротив, был склонен уважать в себе это качество, считая его мерилом своей писательской совести. Но как бы то ни было, вмешиваться в эти вопросы посторонним он ни при каких обстоятельствах не позволил бы. Переведя взгляд на пурпурные листья клена и желтые хризантемы в нише, он, словно выдохнув, произнес:

— По-разному. Бывает, что быстро, а бывает, что и медленно.

— Да, да, конечно. — Итибэй в третий раз за время их беседы пришел в совершенный восторг. Было ясно, однако, что и теперь одним восторгом он не ограничится. И действительно, Итибэй снова ринулся в наступление. — Так, может быть, вы все-таки согласитесь взяться за книгу, о которой я уже неоднократно упоминал? Будь Сюнсуй на вашем месте...

— Мы с господином Сюнсuem разные люди.

Когда Бакин сердился, его нижняя губа смещалась влево. Вот и сейчас она сместилась влево.

— Прощу меня извинить. Суги, Суги! Ты уже привела в порядок сандалии господина Идзумии?

9

Выпроводив Итибэя, Бакин прислонился к столбу веранды и попытался успокоиться, глядя на небольшой садик возле дома. Банановое дерево с лопнувшими листьями и начинающая опадать павлония, смешавшись с зеленью бамбука и пихты, образовали в глубине залитого солнцем сада теплый островок осени. Лотосы, растущие вблизи таза для умывания, уже почти отцвели, зато посаженная по ту сторону низкой изгороди душистая маслина все еще источала сладковатый аромат. С высокого голубого неба несколько раз донесся похожий на звуки флейты крик уже знакомого Бакину коршуна.

Бакин вдруг с особенной остротой ощутил несовершенство человеческого мира, столь не вяжущееся с этой картиной природы. Злосчастие живущего в этом мире человека состоит в том, что он, страдая от его несовершен-

ства, в то же время под его воздействием оказывается вынужденным произносить дурные слова и совершать постыдные поступки. Только что Бакин, по существу, выгнал Итибэя Идзумию. Что и говорить, этот поступок не отнесешь к числу благородных. Но на этот низкий поступок его толкнула низость собеседника. И он его совершил. А это означает, что, совершив его, он унизил себя до степени низости Итибэя. Иными словами, он был вынужден совершить нравственное падение.

В этом месте в размышления Бакина вклинилось воспоминание о похожем событии недавнего прошлого. Минувшей весной он получил от некоего Масабэя Нагасимы из безвестной деревушки Камисиндэн в провинции Сагами письмо, в котором тот выражал желание поступить к нему в ученики. Как явствовало из письма, в возрасте двадцати одного года этого человека поразила глухота, и он, желая во что бы то ни стало прославиться на этом свете, задумал посвятить себя литературе, главным образом сочинению «ёмихон», чем и занимался по сию пору, когда ему исполнилось двадцать четыре года. Само собой разумеется, что любимыми его книгами были «Восемь псов» и «Записки о путешествиях по островам». Далее в письме говорилось, что в деревенской глуши ему трудно совершенствовать свое литературное мастерство и поэтому он просит Бакина взять его нахлебником к себе в дом. Он уже, сообщалось далее, успел сочинить роман в шести частях, и если Бакин согласится пройтись по нему кистью мастера, с течением времени его можно было бы издать как полагается... Таким в общих чертах было содержание этого письма. Конечно же, все эти просьбы показались Бакину весьма дерзкими. Однако глухота этого человека не могла не вызвать сострадания в слепнувшем Бакине. И он ответил просителю письмом, где в самых учтивых выражениях, на какие только был способен, сообщил, что, как ему ни жаль, но исполнить его пожелания он затрудняется. Вскорости пришло второе письмо от Нагасимы, которое от начала и до конца состояло из гневных упреков в его адрес.

« Я , — говорилось в этом письме , — терпеливо прочел ваши бездарные и растянутые свыше всякой меры писания, а вы отказываетесь даже полистать мою книжку, в которой всего-навсего шесть небольших частей. Все это свидетельствует о вашей низости...» Так начиналось это письмо, а завершала его следующая фраза: «Ваш отказ

принять у себя в доме младшего собрата гнусен и постыден».

Разгневавшись, Бакин тотчас же отписал ему ответное письмо, в котором, между прочим, говорилось: «Я почитаю для себя величайшим оскорблением то, что среди читателей моих книг оказались Вы — коварный и двуличный юнец».

С тех пор Нагасима не подавал о себе никаких вестей. Наверное, он все еще пишет свой роман. И по-прежнему тешит себя надеждой, что когда-нибудь его книгу прочтут люди всей Японии...

Предаваясь этим воспоминаниям, Бакин испытывал двойную муку — от жестокости, которую, он проявил к Масабэю Нагасиме, и от жестокости, проявленной к нему самому. Его вдруг захлестнула невыразимая тоска.

А безучастное солнце растворяло в своих лучах аромат душистой маслины. Ни один лист не задрожал на банановом дереве и павлонии. Даже крик коршуна был по-прежнему до прозрачности чист. Жизнь природы и жизнь человеческая...

Неизвестно, как долго простоял бы еще Бакин вот так, прислонившись к столбу веранды, погруженный в думы, точно в сон, если бы через десять минут не появилась служанка Суги и не сообщила ему, что обед готов.

10

Покончив с одинокой трапезой, Бакин наконец пошел к себе в кабинет. Он все еще находился в удрученном состоянии и, чтобы развеяться, впервые за много дней открыл «Речные заводы». Открыл наугад, на том самом месте, где рассказывалось, как Линь Чун Барсоголовый, укрывшись вьюжной ночью в храме Горного духа, смотрит на горящий склад фуража. Чтение этого драматического эпизода, как всегда, увлекло его. Однако через несколько страниц он вдруг ощутил непонятную тревогу.

Домочадцы все еще не возвращались с богомолья. В доме царило безмолвие. Попытавшись согнать с лица унылое выражение, он без удовольствия закурил и, не выпуская из рук открытой книги, принялся размышлять над вопросом, который с давних пор не давал ему покоя.

То был вопрос о сложных, запутанных отношениях

между двумя живущими в нем людьми: высококрасивенным моралистом и человеком искусства, художником. Бакин никогда не сомневался в истинности «пути прежних правителей». И его произведения, как сам он заявлял, как раз и являлись выражением в искусстве этого самого «пути прежних правителей». Таким образом, здесь не было никакого противоречия. Однако вопрос состоял в том, что важнее для искусства: «путь прежних правителей» или же собственные чувства. Живущий в Бакине моралист считал, что важнее первое, тогда как художник, естественно, признавал куда более существенным второе. Разумеется, ничего не стоило разрешить это противоречие с помощью дешевого компромисса. И в самом деле, он нередко пытался скрыть свое двойственное отношение к искусству за туманными рассуждениями о гармонии.

Но если других еще можно обмануть, себя самого не обманешь. Он не считал литературу «гэсаку» высоким искусством, называя ее «орудием поощрения добродетели и порицания порока», однако в минуты одержимости творчеством начинал вдруг ощущать беспокойство и неуверенность. Этим и объяснялось совершенно неожиданное воздействие на его настроение «Речных заводов».

Вот и сейчас Бакина охватила непонятная робость. Он закурил и попытался заставить себя думать о домашних, которые все еще не возвращались. Но перед ним лежали «Речные заводы», источник его тревог, и ни о чем другом он не мог думать.

К счастью, вскоре к Бакину явился Ватанабэ Кадзан Нобору, с которым они давно не виделись. Одетый по всем правилам, в шаровары и накидку, он нес под мышкой что-то, завернутое в лиловый платок. Видимо, пришел вернуть Бакину книги. Писатель обрадовался дорогому другу и поспешил в переднюю встретить его.

— Я пришел повидать вас и заодно с благодарностью вернуть книги, — как и следовало ожидать, произнес Кадзан, проходя в кабинет. Помимо свертка, Бакин заметил у него в руке закатанный в бумагу свиток.

— Если вы сейчас свободны, взгляните, пожалуйста.

— О, показывайте скорее!

Стараясь скрыть за улыбкой охватившее его волнение, Кадзан вытащил из бумаги шелковый свиток и развернул перед Бакином. На картине было изображено несколько унылых голых деревьев и двое мужчин, непри-

нужденно беседующих между собой, взявшись за руки. Земля под деревьями устлана желтыми листьями. На ветках там и сям сидят вороны. От картины веяло осенним холодком.

При взгляде на этот выдержанный в строгих, неярких тонах свиток глаза Бакина увлажнились и засияли.

— Как всегда, превосходно! Мне вспоминаются стихи Ван Моцзе: «Вслед за трапезой звучит каменный гонг. // Из гнезд вылетают вороны. // Ступаю по пустому лесу. // Звук падающих листьев».

II

— Я только вчера закончил этот свиток. Он показался мне удачным, вот я и решил, с вашего позволения, вам его преподнести, — с довольным видом произнес Кадзан, поглаживая выбритый до синевы подбородок. — Разумеется, говоря, что он показался мне удачным, я имею в виду только то, что это лучшее из всего до сих пор мной написанного. Ведь мне еще ни разу не удавалось написать в точности так, как задумано.

— Спасибо большое. Только мне, право же, неловко — вы совсем меня задарили, — пробормотал Бакин, не отрывая глаз от свитка. В этот миг он почему-то вдруг вспомнил о все еще не завершенном своем труде. Но Кадзан есть Кадзан: он, казалось, целиком ушел в мысли о собственных картинах.

— Всякий раз, глядя на творения мастеров древности, я задаюсь вопросом: почему им удавалось так рисовать? Что ни возьми, все выглядит на их картинах подлинным, совершенным: и деревья, и камни, и люди. Более того, в них живет душа создавшего их художника. Это и есть настоящее искусство. В сравнении с древними мастерами я кажусь себе хуже неумелого ребенка.

— Недаром древние говорили: «Страшиться нужно грядущих поколений», — необычно для себя пошутил Бакин, с завистью поглядывая на Кадзана, целиком поглощенного своими картинами.

— Но и нам, этим грядущим, тоже страшно. Поэтому мы и не можем пошевелиться, зажатые между прошлым и будущим, и двигаемся вперед, лишь когда нас подтолкнут. Впрочем, не одни мы: так было и с древними, так, пожалуй, будет и с теми, кто придет после нас.

— И все же, если не идти вперед, можно упасть. Самое главное — стараться продвинуться хотя бы на шаг.

— Вы правы, это самое главное.

Хозяин и гость, взволнованные, некоторое время хранили молчание. Оба напряженно вслушивались в тишину осеннего дня.

Первым заговорил Кадзан, меняя тему разговора:

— А что ваша работа над «Восемью псами»? По-прежнему успешно продвигается?

— Где там! Совсем наоборот. Кажется, и мне в этом смысле далеко до древних.

— Что ж, огорчительно это слышать.

— Поверьте, меня это огорчает больше, чем кого бы то ни было. Но что поделаешь, все равно надо работать, куда хватит сил. Так что я решил встретить смерть в бою с «Восемью псами». — Бакин горько усмехнулся, будто стыдясь за самого себя. — Иной раз подумаешь: ведь назначение книги — развлечь читателя, и все же не можешь с собой согласиться.

— То же самое и с моими картинами. Но раз уж я избрал это ремесло, то хотел бы пройти весь путь, до конца.

— Итак, решено: мы вместе погибнем в бою.

Оба громко рассмеялись, но в смехе этом звучала лишь им двоим понятная горечь. В то же время эта горечь привела их в сильное волнение.

— И все же я завидую вам, художникам. Вы, по крайней мере, избавлены от гонений, а это уже великое благо. — На сей раз Бакин перевел разговор на другую тему.

12

— Это верно, но ведь и вам, насколько я понимаю, не приходится опасаться за свои произведения.

— Еще как приходится! — воскликнул Бакин и в качестве одного из примеров гнусности цензуры рассказал о том, как однажды его заставили переделать целый отрывок из его произведения только потому, что в нем говорилось о каком-то чиновнике-лихоимце. К этому Бакин присовокупил следующее замечание:

— Чем больше эти полицейские надзиратели придираются, тем явственней вырисовывается их истинный

облик. Любопытно, не правда ли? Поскольку они сами падки на подкуп, стоит писателю хотя бы вскользь упомянуть о взяточничестве, как они уже недовольны и велят ему переделать все заново. Или же, поскольку они сами подвержены грубым, низменным желаниям, стоит автору едва коснуться темы любви, как его произведение попадает в число «развратных». Они мнят себя куда более нравственными, нежели писатель. Со стороны это выглядит смешным и жалким — как обезьяна, созерцая в зеркале свое уродство, скалит зубы, так и они приходят в ярость, когда им приоткрывают глаза на собственную подлость.

Горячность, прозвучавшая в этих словах Бакина, невольно заставила Кадзана улыбнуться.

— Да, конечно, такое случается нередко. Однако, если даже вас заставляют все переделывать заново, для вас это не бесчестье. Что бы ни говорили полицейские надзиратели, безупречное произведение так и останется безупречным.

— Так-то оно так, но их произвол подчас переходит границы допустимого. Однажды я описал, как в тюрьму приносят одежду и еду. И что же? Все эти пять или шесть строк оказались изъятыми. — Сказав это, Бакин поглядел на Кадзана, и оба усмехнулись.

— Пройдет пятьдесят, ну сто лет, и полицейских надзирателей не будет, а ваш роман останется.

— Не знаю, как мой роман, а вот полицейские надзиратели, мне кажется, никогда не переведутся.

— И все же я так не думаю.

— Вернее, я хотел сказать, что если даже полицейские надзиратели и исчезнут, подобные им будут существовать во все века. Ошибочно думать, будто сожжение книг и казнь просвещенных людей — дела давно минувшие.

— Что-то, я смотрю, вы в последнее время настроены на грустный лад.

— Не я, а жизнь, в которой процветают полицейские надзиратели и им подобные.

— В таком случае нужно искать утешение в работе.

— Да, по-видимому, иного выбора и нет.

— Если не считать гибели в бою.

На сей раз ни один из них не засмеялся. Не просто не засмеялся: Бакин сурово взглянул на собеседника. Шутка в устах Кадзана прозвучала чересчур серьезно.

— Молодым более пристало думать о том, как выжить. Погибнуть всегда успеется, — произнес Бакин после паузы. Ему были хорошо известны политические взгляды Кадзана, и сейчас они внушали ему опасение. Кадзан же лишь улыбнулся в ответ, как видно не намереваясь возражать.

13

Проводив Кадзана, Бакин направился к письменному столу. Он чувствовал необходимость продолжить работу над рукописью; оставшееся после беседы с другом возбуждение должно было придать ему силы. У него с давних пор существовала привычка, прежде чем писать дальше, перечитать написанное накануне. Вот и теперь он не торопясь, внимательно прочел несколько страниц, на которых все пространство между узкими строчками было испещрено поправками.

Написанное не удовлетворило его. Ему показалось, будто в промежутках между знаками тайлось нечто постороннее, лишнее, и это разрушало гармонию целого. Поначалу он отнес это впечатление на счет собственной раздраженности. «Видимо, у меня сейчас просто не то настроение. Пожалуй, лучше не напишешь», — подумал Бакин и принялся вновь перечитывать весь отрывок, но и на сей раз чувство неудовлетворенности не исчезло. Напротив, Бакин вдруг пришел в смятение, столь не свойственное пожилым людям.

«Ну-ка, а что там было раньше?» Он пробежал глазами предыдущий кусок, — сплошная сумятица, неотделанные фразы, кое-как связанные между собой. Бакин взялся перечитывать написанное еще и еще раньше. По мере чтения перед его взором разворачивались лишь неумело сочлененные эпизоды и хаотично нагроможденные предложения. То были пейзажные зарисовки, не вызывающие никаких зрительных образов. То были восторги, не передающие истинного волнения. То были споры, не подчиненные логике рассуждения. Все, что он писал на протяжении стольких дней, теперь представилось ему никчемным празднословием. Сердце его охватила невыразимая мука.

«Все это нужно переделать!» — воскликнул он про себя и, с отвращением отодвинув рукопись, откинулся на

татами. Но взгляд его был по-прежнему прикован к столу. За этим столом он написал «Лунный серп» и «Сон о государстве Нанькэ», за этим же столом он теперь писал «Восемь псов». Расставленные на нем дорогая тушечница, пресс-папье в виде сидящего дракона, медный ковшик в форме жабы, настольная ширмочка из голубовато-зеленого фарфора с изображенными на ней львом и пионами, бамбуковая подставка для кистей с выгравированной на ней орхидеей — все эти предметы были давними свидетелями его творческих мук. Глядя сейчас на них, Бакин не мог избавиться от тяжелого чувства, будто это нынешнее его поражение бросало зловещую тень на труд всей его жизни, будто оно ставило под сомнение его творческие возможности.

«А я-то все время лелеял надежду создать великое произведение, не имеющее себе равных в нашей стране. На деле же мои надежды оказались проявлением самой что ни на есть заурядной самонадеянности». При этой мысли Бакина охватила безысходная, гнетущая тоска. Преклоняясь перед великими мастерами Японии и Китая, он всегда помнил, сколь скромно его дарование в сравнении с их могучим талантом. К своим же современникам — писателям, разменивающим себя на мелочи, он относился свысока, чувствуя свое превосходство над ними. О, как нелегко было ему признать, что в конечном счете он ничем не лучше их, как нелегко было поверить, что он оказался в плену постыдного самомнения, свойственного лишь людям ограниченным. И все же его властное «эго» было слишком переполнено страстями, чтобы искать убежище в «просветлении» и «забвении».

Так, глядя на несостоявшуюся свою рукопись тем самым взором, каким командир потерпевшего крушение корабля обводит погружающееся в воду вверенное ему судно, Бакин продолжал тихо бороться с захлестнувшим его отчаянием. Наверное, он так никогда и не вырвался бы из его пут, если бы в следующий миг за его спиной вдруг не раздвинулись с шумом фусума и вместе с возгласом: «Дедуся, а вот и я!» — нежные маленькие ручонки не обхватили бы его шею. Не успев вбежать в комнату, внук Таро со смелостью и простодушием, свойственными одним лишь детям, резво взобрался на колени к Бакину.

— Дедуся, а вот и я!

— А-а, как хорошо, что ты уже вернулся. — При этих словах на морщинистом лице автора «Восьми псов» сверкнула радость, преобразившая его.

14

Из столовой доносился раздраженный голос жены О-Хяку и застенчивый голос невестки О-Мити: женщины оживленно переговаривались между собой. Время от времени к ним присоединялся низкий мужской голос — значит, вместе с женщинами вернулся и сын Сохаку. Взобравшись на колени к деду, Таро вдруг посерьезнел и уставился в потолок с таким видом, будто прислушивался к разговору взрослых. От пребывания на свежем воздухе щеки его покраснелись, крылья крохотного носа подрагивали при каждом вдохе.

— Дедуся, а дедуся!.. — неожиданно произнес малыш, одетый в красновато-коричневое парадное кимоно. От усилия сосредоточиться и подавить в себе смех на его щеках то и дело появлялись и пропадали ямочки.

Глядя на внука, Бакин невольно улыбнулся.

— Дедуся, ты каждый день...

— Что каждый день?

— Должен работать.

Бакин громко рассмеялся и сквозь смех спросил:

— Ну, а что дальше?

— А дальше... ну, как это... тебе велено не выходить из терпения.

— Ах, вот оно что. И это все?

— Нет, еще не все. — Запрокинув голову со связанными наверху боковыми прядями, Таро звонко засмеялся.

Глядя на то, как он смеется, сощутив глаза, обнажив белые зубки, и как от смеха у него на щеках обозначаются ямочки, трудно было представить себе, что когда-нибудь, когда он вырастет, на его лице появится то же выражение печали, что и у всех людей на этом свете... Так размышлял Бакин, погружаясь в охватившее его ощущение счастья. И эта мысль еще больше развеселила его.

— Так что же еще мне велено?

— Много чего.

— Ну что же, говори скорее.

— Э-э... Ты, дедуся, станешь более великим, чем сейчас, и поэтому...

— Великим? И что поэтому?

— Поэтому тебе велено быть терпеливым.

— Я и так терпелив, — отозвался Бакин неожиданно серьезно.

— Еще, еще более терпеливым!

— А кто же все это мне велел?

— Это велел... — Тут Таро озорно заглянул деду в лицо и рассмеялся. — Сам догадайся, кто велел!

— Ну-у, вы сегодня ходили в храм, и, наверное, все это сказал господин священник.

— А вот и нет! — Таро решительно мотнул головой и, наполовину соскользнув с коленей деда, продолжал, слегка выпятив подбородок: — Сказать, кто велел?

— Конечно, сказать.

— Каннон-сама в храме Асакуса! — С этими словами мальчуган громко, на весь дом, рассмеялся и стремительно вырвался из рук Бакина, словно опасаясь, как бы тот его не поймал. Хлопая в ладоши оттого, что ему так ловко удалось провести деда, он вприпрыжку побежал в столовую.

В это мгновение в душе Бакина блеснуло что-то торжественное и величавое. На губах затрепетала счастливая улыбка. Глаза наполнились слезами. Его ничуть не интересовало, сам ли Таро придумал эту шутку или это мать его надоумила. То, что он услышал сейчас из уст внука, было настоящим чудом. «Богиня Каннон велела работать. Не выходить из себя. Быть еще более терпеливым».

Старый писатель смеялся сквозь слезы и кивал головой, точно ребенок.

15

Вечер того же дня.

При тусклом свете круглого бумажного фонаря Бакин принялся править рукопись. Когда он работал, в его комнату не входил никто, даже домашние. Потрескивание фитиля и стрекот сверчков вели ненужный в этой притихшей комнате рассказ о безмолвии долгой осенней ночи.

Как только Бакин взялся за кисть, в его мозгу зажглось нечто похожее на слабое мерцание. Но стоило кисти начертать десять, двадцать строк, как это мерцание сделалось мощнее, ярче. Хорошо знавший по опыту,

что это такое, Бакин с величайшей осторожностью водил кистью. Ведь вдохновение — тот же костер: если его немело разжечь, он сразу же погаснет...

— Не торопись. Повремени и поразмысли как следует, — шептал Бакин, стараясь удержать рвущуюся вперед кисть. Однако нечто в его мозгу, подобное свечению раздробленной на мелкие осколки звезды, уже несло стремительнее водного потока. Это нечто с каждым мигом набирало силу и против воли увлекало его за собой.

Он уже не слышал пения сверчков. Тусклый свет фонаря больше не раздражал его. Кисть в его руке, казалось, обрела собственное, отдельное бытие и безостановочно скользила по бумаге. Теперь он писал почти неистово. Поток, проносившийся в его голове с быстротой бегущего по небу Млечного Пути, становился все более полноводным. Эта поразительная стихия страшила его: он опасался, что его физические силы не устоят перед ее натиском. Крепко сжимая в пальцах кисть, он приказывал себе: «Пиши, покуда хватит сил! Если не напишешь сейчас, то уже никогда не напишешь».

Но поток, похожий на светящуюся дымку, и без того не сбавлял скорости. В головокружительном порыве сметающая все на своем пути, он с натиском обрушивался на Бакина. В конце концов писатель полностью покорился ему. Позабыв обо всем на свете, он позволил кисти ринуться за этим потоком.

В эти мгновения в его величественном взгляде выразилось то, что находится по ту сторону обретений и потерь, любви и ненависти. В нем не осталось и следа волнений — он забыл и про хулу, и про хвалу. В нем было лишь одно — непостижимая радость, точнее — патетический подъем. Человеку, не испытавшему ничего подобного, не понять того состояния разума, которое зовется одержимостью творчеством. Не понять строгого в своем величии духа художника. А между тем именно в такие мгновения взору писателя открывается Жизнь, очищенная от всего наносного и сверкающая, подобно только что родившемуся кристаллу...

* * *

Тем временем в столовой, расположившись друг против друга, при свете бумажного фонаря занимались шитьем свекровь О-Хяку и невестка О-Мити. Таро, по-

видимому, уже уложили спать. Примостившись чуть поодаль, тщедушный Сохаку скатывал лекарственные пилюли.

— Отец еще не ложился, — проворчала наконец О-Хяку, смазывая иголку маслом для волос.

— Да. Наверное, опять увлекся работой, — откликнулась О-Мити, не поднимая головы от шитья.

— Вот недотепа! Добро бы эта работа приносила семье приличный доход, а то... — С этими словами О-Хяку взглянула на сына и невестку. Сохаку сделал вид, будто не слышит, и ничего не сказал в ответ. Промолчала и О-Мити. И здесь, и в комнате Бакина слышно было, как разливается в ночи нескончаемый плач сверчков.

Ноябрь 1917 г.

КЭСА И МОРИТО

1

Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погруженный в думы.

Его разговор с самим собой.

«Вот и луна взошла. Обычно я жду не дождусь ее восхода, а сегодня боюсь света! При одной мысли о том, что я, такой, каким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах! Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, к которому ненавижи у меня нет.

По виду я его знаю давно. Его имя — Ватару Саэмонно дзё — я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса, я почувствовал ревность — это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моем сердце. И хотя Ватару — мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорее даже я ему сочувствую. Когда я услышал, сколько стараний положил Ватару, чтобы завоевать

Кэса в устье Коромогавы, я даже думал о нем с теплотой. Полный одним стремлением — сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже учиться писать танка? Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдерживать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюбленному, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю.

Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры: теперь и раньше. Еще до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я ее любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моем сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал еще женщин и просто желал овладеть ее телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение: перестав встречаться с Кэса, я все же три года действительно не мог ее забыть, но помнил бы я ее так, если бы тогда узнал ее тело? Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить: да, помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал ее тела. Снедаемый такими чувствами, я наконец вступил в связь, которой я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь? — снова спрашиваю я сам себя. — Действительно ли я люблю Кэса?»

Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после трехлетней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабэ, я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось не только добиться свидания, но и овладеть ее телом, как это мне только снилось. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю ее тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромогавы, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее: Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что три года назад. Кожа ее потеряла свой блеск, под глазами появились

темные круги. Прежняя пышная мягкость щек и подбородка исчезла, как выдумка. Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только все те же властные, смелые черные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после трехлетней разлуки, я был так потрясен, что невольно отвел глаза.

Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить ее. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. «Эту женщину связывает с мужем только одно чувство — тщеславие», — думал я. «А может быть, она просто сопротивляется, боится вызвать жалость?» — думал я также. И во мне все сильнее разгоралась жажда изобличить эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюбленность, я не смогу возражать. И все же я был убежден, что это ложь. И убежден до сих пор.

Но и желание покорить ее было не все, что мною тогда владело. Кроме того... стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине, это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подл, как я был тогда.

Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса. Или, вернее, опозорил Кэса. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала... Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая, — тогда она казалась мне бесстыдней, чем я, бесстыдный! Ее растрепанные волосы, ее потное лицо — все свидетельствовало о безобразии ее тела и ее души. Если раньше я ее и любил, то этот день был последним — любовь исчезла навек. Или если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть — можно сказать и так. И вот... О! Разве не готов

я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти?

В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» — прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума! Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать... Чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь ее унижить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели так, как слова, которые я произнес: «Убить Ватару?» — убить мужа, любовь к которому Кэса выставляла напоказ, вынудить у нее согласие па это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал «убить Ватару», было мало, то потом какая-то невидимая сила (наверное, сам дьявол) поработила мою волю и увлекла меня на путь зла — иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неотступно шептал на ухо Кэса одно и то же.

Тогда немного погода Кэса вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только легкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на ее лицо, в ее глазах таился странный блеск, какого я ни разу еще у нее не видел. Прелюбодейка! — вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к ее развратному, поблекшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил свое обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда — пусть я и играл этой женщиной — моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо ее вдруг изменилось и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, признаюсь прямо: я принужден был дать обещание убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся: если я не соглашусь, Кэса мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеется

надо мной, как над трусом, — пусть смеется! Это сделает только тот, кто не видел Кэса тогда. «Если я не убью его, то Кэса — пусть и не собственными руками — все равно убьет меня. Так пусть лучше я сам убью Ватару!» — с отчаянием думал я, глядя в ее глаза, плачущие без слез. Я дал клятву, и когда я увидел, как Кэса опустила глаза и засмеялась, так что на ее бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась?

О, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обещанную, дважды обещанную душу принять грех убийства! Если бы этой ночью я нарушил клятву... Нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся. И кроме того, я говорил, что боюсь мести. И это не ложь. Но есть и еще нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного? Не знаю. Не знаю, но иногда... Нет, не может быть! Я презираю эту женщину. Боюсь. Ненавижу. И все-таки... и все-таки... может быть, я все еще люблю ее...»

Продолжая ходить взад и вперед, Морито больше не произносит ни слова. Лунный свет. Слышно, как где-то поют песни имаё:

О душа, о сердце
человека!
Ты, как непроглядный мрак,
темно и глухо!
Ты горишь одним огнем —
страстей нечистых,
Угасаешь без следа —
и вот вся жизнь!

2

Ночь. Кэса, встав с постели и отвернувшись от света лампы, кусает рукав, погруженная в думы.

Ее разговор с самой собой.

«Придет ли он? Или не придет? Не может быть, чтобы не пришел. Однако луна уже склоняется к закату, шагов не слышно — может быть, он раздумал? Вдруг он не придет?.. О, тогда я опять должна буду смотреть на солнце со стыдом, как распутная девка! Как выдержу я такую мерзость, такую гнусность? Тогда я буду все равно что труп, валяющийся на дороге. Опозоренная, попираемая, в довершение всех зол обреченная нагло выставлять свой позор на свет, я все же должна буду мол-

чать, как немая. Если это случится, пусть я умру — даже смерть не облегчит моих мук! Нет, нет, он непременно придет! Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня. Ненавидит, презирает и все же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придет. Нет, я надеюсь на подлый страх, рожденный его себялюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадется сюда...

Я, неспособная больше надеяться на самое себя, — что я за жалкий человек! Три года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. Три года назад... может быть, ближе к правде будет сказать — до того дня. В тот день, когда я встретила с ним в одной комнате, в доме у тетки, я с первого же взгляда увидела в его сердце свое безобразие. Лицо его оставалось спокойным, он как ни в чем не бывало говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей свое безобразие! Я только терзалась. Боялась. Гревала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве, на руках у няньки, я смотрела на лунное затмение, — но насколько тогда было лучше, чем теперь! Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом расвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала свое все равно что мертвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу... Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела свое безобразие? И я хотела обмануть всех, когда, словно в порыве страсти, прижала голову к его груди! Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно. Стыдно! Стыдно! Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя!

Как ни хотела я сдерживать слезы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нарушенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня еще и унизили, что, ненавидя меня, как прокаженного пса, меня еще и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далекое воспоминание. Я только помню, как я рыдала, и вдруг его усы коснулись моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал:

«Убить Ватару?» Услыхав эти слова, я почувствовала еще мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь непохожа на свет солнца! И все же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа?

Ощущая это возвращение жизни, тоскливой, как лунный свет в эту ночь, я все еще плакала. А потом? Потом? Когда, как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю — в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своем тихом муже... нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверно, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Морито, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, которое я видела, лежа на руках у кормилицы. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет, нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех — то, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой! Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете! Но это еще можно было бы изменить. Я была еще подлей! Еще, еще безобразней! Под предлогом заменить собою мужа не хотела ли я отомстить этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой, отомстить за все? Вот подтверждение: когда я увидела его лицо, странное оживление, похужее на лунный свет, потухло во мне, и мое сердце вдруг оледенила печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи оттого, что изранили мое сердце, и из-за злобы оттого, что осквернили мое тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит! Ничего не стоит и моя смерть.

Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желанней, чем жизнь! Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и еще раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если он нарушит клятву. А если так — он должен прийти, дав клятву, он не может не прийти... Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит. Но эта любовь мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека. И этот единственный человек сегодня ночью придет меня убить. Даже при свете лампы мне слишком светло. Мне, измученной моим возлюбленным...»

Кэса гасит светильник. Вскоре в темноте — слабый звук отодвигаемой ставни. И сквозь щель падает бледный свет луны.

Апрель 1918 г.

ПАУТИНКА

1

Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда.

Весь пруд устилала лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание.

В раю тогда было утро.

Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, все, что творилось глубоко внизу, на дне Лotosового пруда.

Райский пруд доходил до самых недр преисподней.

Сквозь его кристальные воды Игольная гора и река Сандзу были видны так отчетливо, ясно, словно в глазок биоскопа.

Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды упал на одного грешника по имени Кандата.

Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний: убивал, грабил, поджигал, но все же и у него на счету нашлось одно доброе дело.

Как-то раз шел он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занес было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, он хоть и маленький, а, что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его».

И пощадил паучка.

Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку, и захотел он, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздаяние за одно лишь это доброе дело. Тут, по счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить к зеленому, как нефрит, листу лотоса.

Будда осторожно взял в руку тончайшую паутинку и опустил ее конец в воду между жемчужно-белыми лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдаленнейших глубин преисподней.

2

Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в Озере крови, то всплывая наверх, то погружаясь в пучину.

Повсюду, куда ни взгляни, царила крошечная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблескивали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников.

Преступные души, низверженные после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил стонать и плакать.

Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлебываясь кровью в Озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка.

Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над Озером крови. Из этой пустынной мглы, с далекого-далекого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы ее не заметили другие грешники.

Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, взбираясь все

выше и выше. Тогда уж, верное дело, ускользнешь из преисподней.

А если повезет, то, чего доброго, и в рай попадешь. И не погонят тебя больше на вершину Игольной горы, не бросят снова в Озеро крови.

Подбодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех сил карабкаться вверх.

Само собой, для опытного вора это было делом привычным.

Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было добраться до горних высот. Лез, лез Кандата вверх и наконец даже его, такого силача, одолела усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба.

Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороге, висит на паутинке, отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть.

Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что терпел лютые муки, скрылось в непроглядной тьме. А вершина страшной Игольной горы, смутно сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он в дальше будет так проворно карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней.

Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с хохотом крикнул:

— Спасен! Спасен!

Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счета облепили паутинку и, как шеренга муравьев, ползут вслед за ним все выше и выше.

При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по-дурацки широко разинув рот.

Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала, где же ей выдержать такое множество людей!

Если паутинка лопнет, тогда и он сам, — подумать только, он сам! — уже забравшийся так высоко, полетит вверх тормашками в ад. Прощай надежда на спасение!

А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин Озера крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, паутинке. Надо что-то скорей предпринять, или паутинка непременно порвется и он полетит в бездну.

И Кандата завопил во весь голос:

— Эй вы, грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте. Слезайте вниз!

Но что случилось в тот же миг!

Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кандата.

Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы.

И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, безлунном небе преисподней.

3

Стоя на берегу Лotosового пруда, Будда видел все, что случилось, с начала и до конца. И когда Кандата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно Озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку.

Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам: снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды!

Но лотосы в райском Лotosовом пруду оставались безучастны.

Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды.

И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъянимо сладкое благоухание.

В раю время близилось к полудню.

Июль 1918 г.

Второго такого человека, как его светлость Хорикава, раньше-то, уж конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы там ни было, он с самого рождения своего, говорят, непохож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случилось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Хорикава, такой, как это говорят, «величественный», что ли? Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Ши Хуан-ди и Ян-ди, да ведь это, пожалуй, все равно что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своем блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром — такое уж у него было великодушное сердце.

Вот почему, даже когда его светлость оказался во дворце Нидзё во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Кахараин, на Третьей Восточной улице, — в том дворце, что прославлен изображением видов Сиогама в Митиноку, — так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что не удивительно, что народ во всей столице — стар и млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нем, как о живом Будде. Прошел даже слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряженные в колесницу его светлости, и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошли быки его светлости.

Вот как все обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие

времена. Как он на пиру выставил в подарок гостям целых тридцать белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал «в сваи» своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке... Если перебирать все по отдельности — и конца не будет! Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались — об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы.

Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Ёсихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада.

2

Ёсихидэ... верно, и теперь еще есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашелся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под пятьдесят. Посмотришь на него — такой низенький, тощий, кожа да кости, угрюмый старик. Во дворец к его светлости он являлся в темно-желтом платье каригину, на голове — шапка момизбоси. Нрава был он прегадкого, и губы его, почему-то не по возрасту красные, придавали ему неприятное сходство с животным. Говорили, будто он лижет кисти и оттого к губам пристаёт красная краска, а что это было на самом деле — кто его знает? Злые языки говорили, что Ёсихидэ всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали: «Сарухидэ»¹.

Да, раз уж я сказала «Сарухидэ», то расскажу заодно вот еще о чем. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную пятнадцатилетнюю дочь Ёсихидэ, милую девушку, совсем непохожую на своего родного отца. К тому же, может оттого, что

¹ Сару — обезьяна.

она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому все другие дамы, начиная с дворцовой управительницы, любили ее.

Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тамба, и сын его светлости, большой проказник, назвал ее Ёсихидэ. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут еще такая кличка, вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Ну, если бы только смеялись, это еще ничего, но случилось, что, когда она взберется на сосну в саду или запачкает татами в покоех, люди забавы ради подымали крик: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!» — чем, конечно, сильно донимали ху-дожника.

Как-то раз, когда дочь Ёсихидэ, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Ёсихидэ — она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней — что бы вы думали? — гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича:

— Негодный воришка! Постой, постой!

Увидев это, дочь Ёсихидэ было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за ее подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так ее жалко — прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке она отвела пахнувший фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему:

— Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуйста, простите ее.

Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой.

— Чего заступаешься! Обезьяна украла мандарины.

— Ведь это животное... — повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила: — К тому же ее зовут Ёсихидэ. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это.

Тогда, конечно, молодой господин овладел собой.

— Вот как!.. Ну, раз просишь за отца, я, так и быть, уступлю и прощу, — сказал он неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался.

Дружба дочери Ёсихидэ с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею, на красивой красной ленте, золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Ёсихидэ, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле нее — может, это только казалось — с грустной мордочкой и все время кусала себе ногти.

С тех пор — странная вещь! — никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, малопомалу ее стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей персимоны или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался; и говорили, что вскоре за тем его светлость повелел дочери Ёсихидэ явиться к нему с обезьянкой на руках именно потому, что ему стало известно, как разгневался молодой господин. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку.

— Девчонка — хорошая дочь. Хвалю.

Так по воле его светлости девушка получила в награду алое акомэ. А когда и обезьянка почтительно взяла в руки акомэ, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил еще больше развеселиться. Да, вот как это было, и, значит, его светлость стал благоволить к дочери Ёсихидэ именно потому, что одобрил ее почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в ее любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь, как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей ее красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника.

Так вот, дочь Ёсихидэ удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор ее вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую госпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от нее.

Однако оставлю пока что девушку и расскажу еще об ее отце, Ёсихидэ. Да, обезьяну вскорости все полюбили, но самого-то Ёсихидэ по-прежнему терпеть не могли

и по-прежнему за спиной звали Сарухидэ. И так было не только во дворце. В самом деле, и отец настоятель из Ёкогавы, когда произносили при нем имя Ёсихидэ, менялся в лице, словно встретился с чертом, и вообще изволил его ненавидеть. Правда, поговаривали, будто причина в том, что Ёсихидэ изобразил отца настоятеля на шуточных картинках, но это болтали низшие слуги, и не могу сказать наверняка, так ли это. Во всяком случае, отзывались о нем дурно везде, кого ни спросишь. Если кто не говорил о нем плохо, то разве два-три приятеля-художника. Да еще люди, которые видели его картины, но не знали его самого.

Однако Ёсихидэ не только с виду был гадкий, у него был отвратительный нрав, и нельзя не сказать, что ему доставалось по заслугам.

4

А нрав у него был вот какой: он был скупой, бессовестный, ленивый, алчный, а пуще всего — спесивый, заносчивый человек. Что он первый художник в стране — это прямо-таки капало у него с кончика носа. Ладно бы дело шло только о живописи, но он и в другом не хотел никому уступать и высмеивал даже нравы и обычаи. Один старый ученик Ёсихидэ рассказывал мне, что, когда как-то раз в доме одной знатной особы в знаменитую жрицу Хигаки вселился дух и она начала вещать страшным голосом, Ёсихидэ и слушать ее не стал, а взял припасенную кисть и спокойно срисовал ужасное лицо жрицы. Должно быть, и нашествие духа было в его глазах просто детским надувательством.

Вот какой это был человек, и потому лицо будды Киссэтан он срисовал с простой потаскушки; а будду Фудо писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал, а когда его за это упрекали, он только по-свистывал. «Что же, боги и будды, которых Ёсихидэ нарисовал, его же за это накажут? Чудно!» Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете.

Нечего говорить о том, какой высоты Ёсихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по

рисунку и по краскам во многом отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Каванари, или Канаока, или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы: то будто на разрисованной створке двери в лунные ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображенные на ширме, играют на флейте... Когда же речь идет о картинах Ёсихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трех лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают. Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Ёсихидэ замешано колдовство.

Но поскольку Ёсихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим, и когда как-то раз его светлость изволил пошутить: «Ты, кажется, любишь уродство?» — то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости... Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку «Тираэйдзю», хуля его за то, что он зазнается. Вы, наверно, знаете: Тираэйдзю — так звали черта, который давно в старину прибыл к нам из Китая.

Но даже у Ёсихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство.

5

Ёсихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к

ней отнюдь не уступала ее чувству, и если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платья дочери или украшения для ее волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь.

Впрочем, любовь Ёсихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он ее лелеял, а найти ей хорошего мужа — этого у него и в мыслях не было. Какое там! Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтоб набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда по слову его светлости девушку произвели в камеристки, старик отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечен красотой девушки и держит ее во дворце, не считаясь с недовольством отца.

Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Ёсихидэ из любви к дочери постоянно просил, чтобы ее отпустили из дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца Мондзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать:

— В награду дам тебе что хочешь. Выскажи свое желание не стесняясь.

Тогда Ёсихидэ — что бы вы думали? — дерзко сказал:

— Пожалуйста, отпустите мою дочь!

В других дворцах — дело особое, но тех, кто служил его светлости Хорикава, так ласкали... Где же еще найдется человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердило, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Ёсихидэ, а потом изволил резко сказать: «Нельзя», — и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Ёсихидэ все холоднее. Да и девушка, должно быть, беспокоясь за отца, часто приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Ёсихидэ, еще усилились. Некоторые даже говорили, будто ширмы с муками ада появились-де из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости; но этого, разумеется, не могло быть.

Как я понимаю, его светлость не хотел отпустить дочь Ёсихидэ потому, что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что, чем оставлять ее у такого упрямого отца, лучше держать ее у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишенная всяких оснований.

Но как бы там ни было, только уже в то время, когда Ёсихидэ из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость — о чем он помыслил, не знаю — вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада.

6

Стоит только сказать: «Ширма с муками ада», — как эта страшная картина так и встает у меня перед глазами.

Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что: то, что нарисовал Ёсихидэ, не похоже на картины других художников прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы десять князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч-горы, поросшие нож-деревом. Только кое-где желтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, все сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись, как крест мандзи, бешено вьется черный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли.

Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне, — таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Ёсихидэ изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шелковых нарядах, буддийские монахи с четками, молодые слуги на высоких асида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями — перечислять их всех, так и конца не будет! В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычь-

ми и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно, жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть какой-нибудь наместник, с грудью, насквозь пронзенной мечом, висит вниз головой, как летучая мышь. Кого стегают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впились зубы ядовитого дракона — пыток, как и грешников, там столько, что не перечесть.

Но самое ужасное — это падающая сверху карета, соскользнувшая до середины нож-дерева, которое торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами ветра преисподней, женщина, так блистательно разряженная, что ее можно принять за фрейлину или статс-даму, с развевающимися в огне длинными черными волосами, бьется в муках, откинув назад белую шею, и взять ли эту женщину, взять ли пылающую карету — все, все так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что, когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздается страшный вопль.

Да, вот какая это вещь, и для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Ёсихидэ — как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опостылела. Можно сказать, этот ад на картине — тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Ёсихидэ, первому художнику своей страны.

Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну, теперь буду продолжать по порядку и перейду к Ёсихидэ в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину мук ада.

7

Месяцев пять-шесть Ёсихидэ совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе: «Ну, принимаюсь за

работу!» — как он, такой чадолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что, когда Ёсихидэ брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошел слух, будто Ёсихидэ составил себе имя в живописи потому, что дал обет богу счастья. В подтверждение некоторые говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Ёсихидэ работает, и тогда непременно увидишь, как вокруг него — и спереди, и сзади, и со всех сторон — вьются призраки-лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всем на свете, кроме своей картины. И днем и ночью сидел он, запершись, и редко выходил на дневной свет. А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый.

Мало того что у себя в комнате, где и днем были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или каригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже еще до того, как стал писать ширмы с муками ада, при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. Каким образом находил на него такой стих — это, пожалуй, не всякий поймет. Рассказывать подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило.

Однажды, когда один из учеников Ёсихидэ (тот самый, о котором я уже говорила) растирал краски, мастер вдруг подошел и сказал ему:

— Я хочу немного соснуть. Только в последнее время все вижу плохие сны.

В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил:

— Хорошо.

Однако Ёсихидэ — что бы вы думали! — с необычайно грустным видом смущенно попросил:

— Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать?

Ученику показалось странным, что мастер принимает так близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер опять встревоженно и как-то смущенно продолжал:

— Тогда ступай в заднюю комнату. А если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят.

Это была та комната, где он писал картины, и там при задвинутой, как ночью, двери в тусклом свете лампад стояла ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Ёсихидэ подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, как до слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны.

8

Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь — казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлебываясь в воде.

— Что ты говоришь: «Приходи ко мне?» Куда приходите? — «Приходи в ад. Приходи в огненный ад!» — Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? — «Как ты думаешь, кто?»

Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера: морщинистое лицо старика побледнело, на нем крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось быстро-быстро, словно дергали за нитку, — да, да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка.

— «Как ты думаешь, кто?» — Да, это ты. Я так и думал, что это ты. Ты пришел за мной? — «Говорю тебе, приходи. Приходи в ад!» — В аду... в аду ждет меня моя дочь.

Ученику стало жутко, ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие, причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Ёсихидэ и что было сил стал трясти его, чтобы разбудить, но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей.

— «Она ждет, садись в экипаж... садись в этот экипаж и приезжай в ад!...»

В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло, и Ёсихидэ, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необычайные видения сна еще витали под его веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и, наконец придя в себя, вдруг грубо приказал:

— Мне уже лучше, ступай!

Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно получишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты, и когда он опять попал па яркий солнечный свет, то облегченно вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна.

Но это еще ничего, а вот примерно через месяц Ёсихидэ позвал к себе в комнату другого ученика: художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампы и, резко обернувшись к вошедшему, сказал:

— Слушай, у меня к тебе просьба: разденься догола!

Так как и раньше случалось, что мастер давал такое приказание, ученик, быстро скинув одежду, разделся донага. Тогда Ёсихидэ как-то странно скривился.

— Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне ни жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу, — хладнокровно произнес он.

Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже, рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошел ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня». Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью все тело, потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол.

9

В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку сакэ. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нем остановилась, и не только на лице и на груди, но на всем теле

кожа у него стала багровой. Но Ёсихидэ все это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить.

Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью (а может быть, лучше сказать — к несчастью), из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю черного масла. Вначале оно двигалось вперед медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее и, поблескивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея, змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нем застыла, — и было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую вьелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Ёсихидэ. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвилась сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки.

— Из-за тебя пропал рисунок, — хрипло и злобно пробормотал он, бросил змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было все, он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с нее.

Пожалуй, довольно рассказать одно это, чтобы вы в общем представили себе его увлечение работой — неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет тринадцати — четырнадцати, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошел на зов. Смотрит — Ёсихидэ при свете лампы кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку. Да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза — все это тоже напоминало кошку.

Ёсихидэ обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала, и вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики; смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом все это деваает — никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает бог счастья, пошли отсюда.

Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобилась мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил:

— Что вам угодно?

Но Ёсихидэ, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу.

— Ну что, совсем ручная, а?

— Как она называется? Я такой никогда не видал! — сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку.

— Что, не видал? — усмехнулся Ёсихидэ. — По-городскому воспитан, вот беда... Эта птица называется филин, мне ее несколько дней назад подарил охотник из Курамы. Только ручные среди них, пожалуй, редко падаются.

С этими словами он медленно поднес руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил ее по спине, от хвоста вверх. И что ж? — в тот же миг птица издала пронзительный крик и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика! Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверно, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щелкая клювом, опять на него... Тут уж ученику было не до того, что здесь сам мастер: он принялся и стоя отбиваться, и сидя ее гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица все за ним — то повыше взлетит, то пониже опустится и так и метит все через какую-нибудь щелочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прельный дух перебродивших фрук-

тов, что обезьяны прячут в дуплах... Сказать «жутко» — мало. Сердце у него сжималось, и тусклый свет лампы казался ему лунным сиянием, а комната учителя — далеким горным ущельем, осажденным демонами.

Однако ученика испугало не только то, что на него накинута филин. Нет, волосы у него встали дыбом, когда мастер Ёсихидэ, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину — как женоподобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил несказанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его.

11

Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Ёсихидэ как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями еще сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумертвый от страха, невольно опустил рукава, поднял голову, смотрит — в комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников.

Наконец издали отозвался какой-то ученик и торопливо вошел со свечой в руке. При коптящем огоньке стало видно, что лампада опрокинута, пол и татами залиты маслом и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Ёсихидэ так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломленным видом бормочет что-то непонятное. И не удивительно: вокруг филина, захватив его голову и полтуловища, обвилась черная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел ее клюнуть — вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только подивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро

вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше — никто не знает.

Подобным историям не было числа. Я забыла сказать — ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики все время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться, вид у него сделался еще мрачнее, говорил он с раздражением. А картина на ширме как была набросана на три четверти, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца.

Но что именно у него не ладилось — никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать: наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза.

12

За это время не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Вот только... у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте; бывало, как останется один — плачет. Один ученик говорил мне — раз он зачем-то зашел в сад и видит: мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слез. Ученику стало как-то неловко, он молча повернулся и торопливо ушел. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для «Круговорота жизни и смерти» срисовывал трупы, валяющиеся по дорогам, плакал, как дитя, из-за того, что ему не удается, как хочется, написать картину.

Но пока Ёсихидэ работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь отчего-то становилась все печальней, и даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слезы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут еще и веки у нее отяжелели, глаза ввалились — совсем грустная стала. Сначала мы гадали — то ли об отце думает, то ли любовная тоска, ну а потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять ее к своим желаниям, и уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все о ней вдруг позабыли.

Как-то ночью, когда уже пробил стража, я одна проходила по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Ёсихидэ и ну дергать меня за подол юбки. Была теплая ночь, луна слабо светила, казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела, — что вы думаете? — обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе, досада меня взяла, что она дергает за новую юбку, и я было оттолкнула ее и хотела пройти дальше, но потом передумала: ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать в чем дело и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила.

Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за угол и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблескивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услышала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом все замерло в полной тишине, не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле — не поймешь — плескались рыбы. Поэтому, услышав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу!» — подумала я и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери.

13

Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав, — и в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в не освещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, как вдруг

упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное.

Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Ёсихидэ. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты. Щеки пылают румянцем. К тому же беспорядок в одежде придал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная, пугливая дочь Ёсихидэ? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озаренную луной, и, указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги, спросила глазами: кто?

Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у нее был расстроенный вид!

Тогда я нагнулась и, приблизив губы к ее уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на ее длинных ресницах повисли слезы, и она еще крепче сжала губы.

Я от природы глупа и, кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что еще сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьется ее сердце. Да и расспрашивать ее дальше мне почему-то казалось нехорошо...

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку, которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Ступай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и чувствуя себя неловко, — а перед кем, не знаю, — я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла и десяти шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. Как вы думаете, кто это был?

Смотрю — у моих ног стоит обезьянка Ёсихидэ и, сложив руки, как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется.

14

После происшествия этого вечера минуло дней двадцать. Однажды Ёсихидэ неожиданно пришел во дворец и попросил приема у его светлости: художник был чело-

век низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать свое согласие и сейчас же позвал его к себе. Ёсихидэ был в своем всегдашнем темно-желтом каригину и помятой момизэбоси; с видом еще более угрюмым, чем обычно, он почтительно простерся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил:

— Дело идет о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днем и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана.

— Прекрасно, я доволен.

Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления.

— Нет, ничего прекрасного нет! — Ёсихидэ с несколько рассерженным видом опустил глаза. — Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать.

— Что такое?! Не можешь нарисовать?

— Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, все равно что не могу.

Услыхав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся.

— Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?

— Да, ваша светлость изволят говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада. И пламя на картине «Ёдзирри-Фудо» я написал благодаря тому, что мне привелось видеть этот пожар. Ваша светлость изволите знать эту картину.

— А как же с грешниками? Да и адских слуг ты вряд ли видел?

Его светлость задавал один вопрос за другим с таким видом, как будто слова Ёсихидэ совершенно не доходили до его ушей.

— Я видел человека, закованного в цепи. Я полностью срисовал, как другого человека терзала хищная птица. Так что нельзя сказать, что я совсем не знаю мучений грешников. И адские слуги... — Ёсихидэ криво усмехнулся, — и адские слуги не раз являлись мне не то во сне, не то наяву. Черти с бычьими мордами, с конски-

ми головами или с тремя лицами и шестью руками, бесшумно хлопая в ладоши, беззвучно разевая рты, придут меня истязать, можно сказать, ежедневно и еженощно. Нет... что я хочу и не могу нарисовать — это не то.

Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Ёсихидэ, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил:

— Говори, чего же ты не можешь нарисовать?

15

— Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета.

Сказав это, Ёсихидэ в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах, он как будто делается сумасшедшим, и вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко.

— А в карете, — продолжал художник, — разметав охваченные пламенем черные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма, искривив брови, она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с нее дождем искр. Над нею, щелкая клювами, кружат и вьются десять, двадцать диковинных птиц... Вот эту даму в карете — ее-то мне и не удастся никак нарисовать!

— Ну и что же? — почему-то с довольным видом похотел художника его светлость.

А Ёсихидэ с трясущимися, точно от лихорадки, красными губами еще раз, как во сне, повторил:

— Ее-то мне и не удастся нарисовать... — И вдруг резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: — Прощу вашу светлость — сожгите у меня на глазах карету. И кроме того, если можно...

Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захохотал. И давась от смеха, изволил проговорить:

— Я сделаю все, как ты просишь. А можно или нельзя — об этом рассуждать ни к чему.

Когда я услышала эти слова, сердце у меня екнуло и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный — на губах пена,

в бровях гроза, можно было подумать, что его заразило безумие Ёсихидэ. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нем, и он опять, безостановочно, громко смеясь, сказал:

— Сожгу карету! И посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и черным дымом, умрет мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете! Хвалю. О, хвалю!

Услыхав слова его светлости, Ёсихидэ сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух, и вдруг, как будто все тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно, поблагодарил:

— Это великое счастье!

Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела.

16

Это случилось через два-три дня, ночью. Его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Ёсихидэ, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Хорикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ».

Этот «Дворец Юкигэ» был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости: например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит ее алое платье. Здесь и днем было мрачно, и выпши жутко носились при свете звезд, точно какие-то диковинные существа.

И тогда как раз была темная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье — желтой наоси и темно-лиловых хакама с гербами — сидит, скрестив ноги, у края наружной галереи на подушке, окаймленной белой парчой. Вокруг него почтительно расположились приближенные. Среди

них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что еще недавно, во время войны в Митиноку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, а человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и все это было похоже на сон и почему-то навредило страх.

А в саду сверкала золотыми украшениями, как звездами, карета, незапряженная, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом ее нависал густой мрак, и при взгляде на нее холод пробежал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с горящими сосновыми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относил к галерее.

Сам Ёсихидэ сидел на корточках поодаль, напротив галереи. В своем всегдашнем каригину и помятой шапке момизбоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звездного неба. Позади него в таком же костюме сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места под галереей нельзя было различить даже цвета их платья.

17

Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь свое дыхание, раздавался только легкий шелест ветерка; при каждом его дуновении доносился запах копоти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперед, резким голосом позвал:

— Ёсихидэ!

Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха донесся лишь невнятный стон.

— Ёсихидэ! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету.

Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближенных. В эту минуту они как будто много-

значительно переглянулись и улыгнулись, а может быть, мне это показалось. Ёсихидэ поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал.

— Смотри же хорошенько! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты ее, наверно, помнишь. Я хочу сейчас зажечь ее и воочию показать тебе огненный ад. — Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближенных. Потом вдруг жестко произнес: — Внутри, связанная, сидит преступница. И значит, когда карету зажгут, тело негодницы сгорит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура! Не упусти же, присмотришь, как запыляет белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как воспламенившись, искрами разлетятся черные волосы.

Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, — на этот раз неслышно, так, что только тряслись плечи, — произнес:

— Такого зрелища не увидишь до скончания века! Я тоже на него погляжу. Ну-ка, подымите занавески, покажите Ёсихидэ, кто сидит внутри!

Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошел к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела альем колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи... о, кто бы мог ошибиться! На роскошное, затканное цветами вишни шелковое платье изящно спускались блестящие черные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму ее было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико... Это была дочь Ёсихидэ! Я чуть не вскрикнула.

И тогда... силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Ёсихидэ. Испуганная, я увидела, что Ёсихидэ чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперед обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Ёсихидэ, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая в воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчет-

ливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости «зажечь!», слуги бросили факелы, и, подожженная ими, ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника.

18

Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны ее края, заколыхались, как от ветра, снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма, искры посыпались таким дождем, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разлетелись кругом... Страшнее этого ничего не могло быть! А пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес, — как его описать? Казалось, точно упало само солнце и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Ёсихидэ...

Лица Ёсихидэ я не могу забыть до сих пор. Он хотел было, не помня себя, броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперед руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое, безобразное лицо его было ясно видно все до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривленные губы, судорожно подергивающиеся щеки... весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Ёсихидэ, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с десятью грехами и пятью злодействами, представшего перед князьями преисподней, — вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо! И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость.

Но его светлость, кусая губы и только иногда злоеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там... что я увидела там — у меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо задыхающейся от дыма женщины, эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем, это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь... о, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым и в расступившемся пла-

мени, в алом, мерцающем золотой пылью зареве стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьется и извивается так, что чуть не лопаются цепи, — о, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада!

И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев... Так, верно, подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху, — как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалось к откинутым плечам девушки и испустило резкий, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик... еще раз... и еще раз... Мы все, не помня себя, вскрикнули: на фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Хорикава обезьянка с кличкой Ёсихидэ.

19

Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском польхала только горящая карета. Нет, может быть, верней будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо.

Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Но странная вещь: он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив па груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием — я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга — на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.

И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва,

каким он может присниться во сне. И даже бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они — а может быть, это только казалось — не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Ёсихидэ золотым сиянием.

Даже птицы. И тем более мы — все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание, дрожа всем телом, полные непонятной радости, смотрели не отрываясь на Ёсихидэ, как на новоявленного будду. Пламя пылающей кареты, гремящее по всему поднебесью, и очарованный им окаменевший Ёсихидэ... О, какое величие, какой восторг! И только один — его светлость наверху, на галерее, с неузнаваемо искаженным лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шелком, и, как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух...

20

О том, что в эту ночь его светлость во «Дворце Юкигэ» сжег карету, как-то само собой стало известно повсюду, и пошли всякие слухи: прежде всего, почему его светлость сжег дочь Ёсихидэ? Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому: он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека.

В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости.

А Ёсихидэ, у которого прямо на глазах сторела родная дочь, все же не оставил своего твердого, как камень, желания написать картину, напротив, это желание как-то даже окрепло в нем. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец настоятель из Ёкогавы тоже держался таких мыслей и, бывало, изволил говорить: «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своем, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду».

Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец окончена. Ёсихидэ сейчас же принес ее во дворец и

почтительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он, конечно, был поражен страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображенной на ширме. Раньше он все хмуρο косился на Ёсихидэ, но тут произнес: «Превосходно!» Я и теперь еще не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услышав эти слова.

С тех пор никто, по крайней мере во дворце, уже не говорил о Ёсихидэ ничего дурного. Может быть, потому, что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякий при взгляде на ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада.

Но в это время Ёсихидэ уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребенным в земле там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила.

Июль 1918 г.

УЧИТЕЛЬ МОРИ

Как-то в конце года я и мой приятель, критик, шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас в еще но угасшем полусвете сумерек какие-то люди, видимо такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодуяще обратился Симадзаки Тосон: «Держите голову выше!», понуро семеня по дороге. Понуро, вероятно потому, что знали всю безнадежность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не произнося почти ни слова, пока не миновали трамвайной остановки на Отэмати. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съжившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя пробормотал:

— Вспомнился Мори-сэнсэй.

— Мори-сэнсэй? Это кто такой?

— Учитель в школе, где я учился. Я тебе еще о нем не рассказывал?

Вместо того чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следуют воспоминания об учителе Мори, которые по дороге поведал мне приятель.

* * *

Это произошло лет десять назад, когда я был учеником третьего класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления легких — осложнения после инфлюэнцы — скончался молодой учитель Адати-сэнсэй, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно, не было времени подыскать подходящего преемника, и поэтому-то, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати-сэнсэя поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе.

Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем, и, едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало небывало тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного, холодного класса, дверь раскрылась и — ах, эта картина и сейчас как живая встает перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошел, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая; хотя на затылке еще сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была черной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Все это я помню с поразительной отчетливостью. Итак, едва учитель вошел в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чем не было ничего удивительного.

Однако учитель Мори, с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на своем добром, изжелта-бледном лице пронзительным голосом воскликнул:

— Господа!

За прошедшие три года никогда еще ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И услышав «господа» от учителя Мори, мы, естественно, широко раскрыли глаза от изумления. Вместе с тем мы, затаив дыхание, ждали, что за обращением «господа» последует большая речь о порученных ему занятиях или что-нибудь в таком роде.

Однако, сказав «господа», учитель Мори только обводил класс глазами и некоторое время больше не раскрывал рта. На его одутловатом лице блуждала спокойная улыбка, по углы рта нервно подергивались, а ясные глаза, в которых было что-то коровье, беспокойно поблескивали. И была, казалось, в этом молчании обращенная к нам немая мольба, только какая, учитель и сам не мог бы определить.

— Господа! — немного спустя повторил учитель Мори тем же тоном. На этот раз он сразу же, точно желая не дать отзвучать слову «господа», с величайшей поспешностью добавил: — Начиная с сегодняшнего дня я буду учить вас по хрестоматии.

Любопытство наше разгорелось, и, боясь произвести малейший шум, мы жадно уставились ему в лицо. Но учитель Мори окинул класс тем же умоляющим взглядом и вдруг, словно внутри у него лопнула какая-то пружина, сел. Положив рядом с уже развернутой хрестоматией классный журнал, он раскрыл его и стал просматривать. Незачем и говорить, как разочаровало нас такое внезапное окончание вступительной речи, вернее, разочаровало и рассмешило.

К счастью, учитель, предупреждая наш смех, оторвал свои коровьи глаза от журнала и сразу же вызвал одного из нас, прибавив к фамилии «сан». Разумеется, это был знак встать и начать переводить. Ученик поднялся и бойким тоном, свойственным токийским школьникам, стал переводить отрывок из какой-то английской книги, кажется из «Робинзона Крузо».

Учитель Мори, время от времени поднося руку к своему лиловому банту, стал вежливо поправлять ученика — не только ошибки в переводе, но даже малейшие неточности в произношении. Произношение учителя Мори было несколько искусственное, но в общем правильное, ясное, и похоже было, что он сам в глубине души особенно им гордится.

Однако, когда ученик сел на место и переводить начал учитель, в классе стали раздаваться смешки. Дело в том, что учитель, у которого и без того было неестественное произношение, обнаружил при переводе еще и непостижимое для японца незнание японских слов. Вероятно, знать он их знал, но не мог вспомнить в нужную минуту. Например, одну строку он переводил так: «Тогда Робинзон Крузо решил разводить. Кого же он решил разводить? Этих странных животных... их много в зоопарке... как их зовут... они любят кривляться... да вы их хорошо знаете! Такие с красной мордой... что, обезьяны? Да-да, обезьяны! Он решил разводить обезьян». Само собой разумеется, что раз так обстояло даже с обезьяной, то если дело касалось хоть сколько-нибудь затруднительного слова, он наткнулся на нужный перевод с трудом, только после долгих блужданий вокруг да около. Причем каждый раз учитель Мори ужасно терялся и, беспрестанно поднося руку к горлу и чуть не обрывая свой лиловый бант, подымал смущенное лицо и кидал на нас смятенные взгляды. И тут же, обхватив руками свою лысую голову, опять опускал лицо над столом и подавленно замолкал. Тогда и без того маленькое тело учителя беспомощно съеживалось, совсем как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и нам даже представлялось, что его свешивающиеся со стула ноги болтаются в пространстве. Учеников это забавляло, и они посмеивались. Пока учитель повторял перевод, смех постепенно становился более дерзким, и наконец на передней парте раздался открытый хохот. Как, вероятно, горек был наш смех для доброго учителя Мори — право, при одном воспоминании об этих жестоких звуках мне и теперь хочется заткнуть себе уши.

И все же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса, Мы разразились неудержимым хохотом,

зашумели, нарочно стуча крышками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя... Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя... надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?

* * *

Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок спрыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.

— Ну, как он, ваш новый учитель Мори? — осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев — мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью ответил:

— Да, уж очень... как бы это сказать, уж очень, как будто... не так уж хорошо знает.

Страхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.

— Хуже тебя, что ли?

— Нет, по сравнению со мной-то лучше.

— Ну так чего ж тут рассуждать!

Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно ступешался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:

— Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.

Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:

— Чего там, ведь дело идет об одном семестре, так у кого ни учись, все едино.

— Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?

Этот вопрос, видимо, и учителя Тамбу слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обеда нас взглядом, искусно переменял тему:

— Видите ли, Мори-сэнсэй — очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы... Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.

Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамбы-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление...

— И еще Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэта, хотя на нем европейский костюм.

— А у пояса у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок, и подумайте — это его завтрак!

— Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.

Окружив учителя Тамбу, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку:

— Да это что! Шляпа-то у него старая...

И в этот самый момент — кто бы мог подумать? — на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-

сэнсэй, видимо, был слишком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», — он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчетливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамбы скрыть свое смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамбу, ученики на спортивной площадке, на минуту было притихшие, громко загалдели и захолопали учителю Тамбе, совсем как болельщики на футболе.

Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамбу. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я наградил учителя Тамбу, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамбу-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамбы — «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествуяще оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассником. Его котелок и лиловый галстук... Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?

* * *

Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом и своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность, понемногу крепло во всем классе. Дело было как-то утром менее чем через неделю. С про-

шлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «A Psalm of Life», но никто, конечно, его серьезно не слушал. Мало того что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикавы Сюнро.

Так продолжалось минут двадцать — тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:

— Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого... Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня — двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э... чтоб отдать... плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого.

Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знаящим о жизни, жаловался, может быть и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смехок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший ря-

дом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал.

— Сэнсэй, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходить в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал.

С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как пораженный громом, он с полураскрытым ртом остолбенел у печки и в течение двух-трех минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову:

— Я виноват. Я виноват и глубоко извиняюсь. В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь. Понимаете? Глубоко извиняюсь.

При свете красного пламени, косо падавшем из раскрытой двери печки, еще более четко выступали потерянные места на плечах и боках его визитки. И лысая голова учителя, каждый раз, когда он ее наклонял, отливавшая красивым медным блеском, еще больше напоминала яйцо страуса.

Но и эта жалкая картина мне, каким я был тогда, только раскрывала низость Мори-сэнсэя как учителя. Он до того боится потерять место, что подлаживается к ученикам, Значит, он учительствует вовсе не потому, что интересуется преподаванием, а потому, что вынужден к этому жизнью. Предаваясь таким туманным рассуждениям и чувствуя презрение не только к его одежде и знаниям, но и к самой его личности, я, облокотившись на хрестоматию, снова и снова нагло смеялся над учителем, который перед пылающей печкой и духовно и физически сгорал на огне. Разумеется, так делал не я один. Когда учитель, изменившись в лице, стал извиняться, донявший его мастер дзюдо мельком взглянул в мою сторону и с лукавой улыбкой вернулся к изучению спрятанного под хрестоматией приключенческого романа. После этого до самого сигнала к перерыву учитель Мори, еще более раскатынный, чем обычно, с отчаянием переводил несчастно-

го Лонгфелло. «Life is real, life is earnest»¹, — повторял он, бледный, обливаясь потом, словно умолял о чем-то, и его пронзительный голос, как будто застревающий у него в горле, до сих пор звучит у меня в ушах. Но тогда такие же, как этот голос, трагические голоса миллионов других людей были слишком далеко, чтобы достичь нашего слуха. Поэтому весь этот час скука наслаивалась на скуку, и не я один без стеснения зевал во весь рот. А учитель Мори, вытянувшись перед печкой своим маленьким телом и не обращая никакого внимания на снег, бьющий в оконные стекла, размахивал хрестоматией и упорно, словно в голове у него развернулась какая-то пружина, с отчаянием восклицал: «Life is real, life is earnest!»

* * *

Так как дело шло таким порядком, то, когда окончился семестр, составлявший срок договора, и фигура учителя Мори опять исчезла у нас из вида, мы радовались, а отнюдь не сожалели. Вернее, мы настолько равнодушно отнеслись к его уходу, что даже не обрадовались по-настоящему. В особенности, когда я и другие в последующие семь-восемь лет переходили из средней школы в высшую нормальную, а из высшей нормальной школы в университет, никто из нас не чувствовал к нему никакой привязанности, так что мы совершенно позабыли о самом его существовании.

И вот осенью, в год окончания университета... Это случилось в первой декаде декабря, когда к концу дня часто бывает густой туман и с ив и платанов в аллеях летят желтые листья, в вечер после дождя. Порыскав по букинистическим лавкам в Канде, я раздобыл несколько немецких книг, которые со времени европейской войны, стали редкостью. Подняв воротник для защиты от промозглого воздуха поздней осени, я проходил мимо магазина Наканисия. Почему-то мысль об оживленных голосах и горячих напитках вдруг показалась мне привлекательной, и без всякой определенной цели я зашел в тамошнее кафе.

Оказалось, однако, что это кафе, хотя и маленькое, совершенно пусто, ни одного посетителя в нем не было. На стоящих рядами мраморных столиках в позолоте са-

¹ Жизнь реальна, жизнь сурова (англ.). — Перевод М. Зенкевича.

харниц холодно отражался электрический свет. С чувством грусти, как будто меня кто-то обманул, я сел за столик, стоявший перед вделанным в стену зеркалом. Подошедшему официанту я заказал кофе, вынул сигару и, перепортив кучу спичек, наконец зажег ее. Вскоре на моем столике появилась чашечка дымящегося кофе, но все же охватившее меня уныние, как и туман за окном, никак не рассеивалось. Книга по философии, которую я купил у букиниста, была с мелкой печатью, и в знаменитой статье, ради которой я ее купил, нельзя было прочесть ни страницы. Тогда я волей-неволей откинулся на спинку стула и, берясь то за бразильский кофе, то за гаванскую сигару, лениво устремил блуждающий взор на зеркало, висевшее прямо передо мной.

В зеркале ярко и холодно, словно часть сцены, отражалась лестница на второй этаж, видимая сбоку за ней противоположная стена, белая окрашенная дверь, висящая на стене афиша концерта. Кроме того, виден был мраморный столик. Виден был большой вазон с хвойным деревом. Видна была висячая электрическая лампа. Видна была большая фаянсовая газовая печь. Видны были фигуры трех-четырёх официантов, которые разговаривали о чем-то, сидя перед печкой. И наконец... так, по порядку разглядывая все, что было видно в зеркале, я добрался до официантов, сидевших перед печкой, и тут изумился. Вероятно, я сначала не обратил на него внимания, потому что, видя его среди официантов, бессознательно принял его за повара этого кафе или кого-то в том же роде. Но изумился я не только тому, что, вопреки моему первому впечатлению, здесь оказался еще один посетитель. Дело в том, что хотя фигура посетителя в зеркале была мне едва видна в профиль, однако по лысой голове, похожей на яйцо страуса, по визитке, вытертой до синевы, по цвету вечно лилового банта — я узнал с одного взгляда нашего учителя Мори.

Едва я увидел его, в моем уме отчетливо всплыли те семь-восемь лет, которые нас разделяли. Староста класса в средней школе, учившийся по английской хрестоматии, и я, который, сидя за столиком, спокойно выпускал через нос дым сигары... мне эти годы не могли показаться короткими. Но не оттого ли, что уносящий все «поток времени» с одним только учителем Мори, уже перешагнувшим за свой век, не смог поделаться ничего...

Учитель, который сейчас, в этот вечер, сидел в кафе за столиком с официантами, был тот самый человек, который давным-давно в классе, куда не заглядывало заходящее солнце, учил нас по английской хрестоматии. Его лысая голова не изменилась. Лиловый галстук был все тот же. И пронзительный голос... Да ведь, кажется, он своим пронзительным голосом озабоченно объясняет что-то официантам... Невольно улыбаясь и позабыв о своем унынии, я внимательно прислушался к голосу учителя.

— Этим существительным управляет вот это прилагательное. «Наполеон» — имя человека, поэтому оно называется существительным. Поняли? А за этим существительным, прямо за ним, — знаете вы, что стоит за ним? Ну, скажи ты.

— Относительно... относительное существительное, — заикаясь, ответил один из официантов.

— Что, относительное существительное? Относительных существительных не бывает. Относительные... относительные... местоимения? Ну да, относительное местоимение. Местоимение — оно замещает существительное «Наполеон». Поняли? Местоимение — это слово, употребляющееся вместо имени.

Судя по разговору, учитель Мори преподавал в этом кафе официантам английский язык. Я передвинулся вместе со стулом и посмотрел в зеркало с другой точки. Действительно, на столике лежала какая-то развернутая книга, похожая на хрестоматию. Учитель Мори тыкал пальцем в ее страницы и, по-видимому, никак не мог закончить свои объяснения. В этом он тоже был все такой же, как раньше. Только обступившие его официанты, в отличие от тогдашних школьников, тесно сбившись в кучу, с горящими глазами послушно внимали его сбивчивым объяснениям.

Пока я наблюдал в зеркало эту сцену, на поверхность моего сознания понемногу всплыло теплое чувство к учителю Мори. Что, если я подойду к нему и выражу сожаление, что так долго с ним не встречался? Но вряд ли учитель помнит меня, поскольку видел меня только в классе в течение всего одного семестра. А если даже и помнит... Вспомнив недоброжелательный смех, которым мы тогда награждали учителя Мори, я вдруг сообразил, что выкажу гораздо больше уважения к нему, если не назову себя. Поэтому, поскольку кофе как раз был выпит, я тихонько поднялся, оставив недокуренную сигару, Но

как я ни старался не производить ни малейшего шума, все же я, по-видимому, привлек внимание учителя. В тот миг, как я встал, изжелта-бледное круглое лицо, грязноватый воротник и лиловый галстук оказались обращенными в мою сторону. И на мгновение коровьи глаза учителя встретились в зеркале с моими глазами. Но, как я и ожидал, в его глазах не показалось такого выражения, какое говорило бы о том, что он увидел старого знакомого. Единственное, что в них мелькнуло, это, как бывало и раньше, жалкое выражение какой-то вечной мольбы.

Опустив глаза, я принял у официанта счет и, чтобы рассчитаться, молча подошел к конторке у входа в кафе. У конторки со скучающим видом сидел знакомый мне старший официант с ровным пробором в приглаженных волосах.

— Там у вас учатся английскому языку. Это их обучают по просьбе кафе? — спросил я, уплачивая.

И старший официант, не сводя глаз с прохожих за дверью, пренебрежительно ответил:

— Какое там, никто его не просил! Просто приходит каждый вечер и вот так учит. Что ж, говорят, он бывший учитель английского языка, теперь одряхлел, нигде его на работу не берут, вот он и таскается, чтобы убить время. За одной чашкой кофе просиживает целый вечер, так что и нам не такой уж интерес.

Слушая этот ответ, я так и видел перед собой глаза учителя Мори, молящие о чем-то неизвестном ему самому. Ах, учитель Мори! Мне показалось, что теперь я начинаю смутно представлять его себе — его благородную личность. Если существуют педагоги от рождения, то таким был он. Перестать учить английскому языку хоть на минуту было для него так же невозможно, как перестать дышать. Случись это, его жизненная сила, как лишенное влаги растение, сразу же увяла бы. Вот почему он каждый вечер приходит в это кафе выпить чашку кофе. Разумеется, он делает это не от скуки, не для того, чтобы убить время, как думает старший официант. Я вспоминал, как мы, сомневаясь в искренности учителя, надевались над ним, считая, что он преподает только ради заработка, и теперь это представилось мне заблуждением, из-за чего я мог лишь краснеть. Подумать только, как должен был страдать, наш учитель Мори от этих зlostных кривотолков — «чтобы убить время», «ради

заработка». И при таких страданиях он всегда сохраняет невозмутимость и, в неизменном котелке, с лиловым бантом, неустрашимо делает свои переводы, делает их храбрее, чем шел на подвиги Дон-Кихот. Только иногда все же в глазах его проскальзывает мольба, обращенная к ученикам, которых он учил, а может быть, и ко всем людям, с которыми он имел дело, — мучительная мольба о сочувствии.

Охваченный этими мгновенно промелькнувшими мыслями, подавленный каким-то непонятным волнением, я не знал, плакать мне или смеяться, и, спрятав лицо в поднятый воротник, поспешно вышел из кафе. А позади, под слишком ярким холодным электрическим светом, учитель Мори, пользуясь отсутствием посетителей, по-прежнему своим пронзительным голосом учил английскому языку жадно внимавших ему официантов:

— Так как это слово замещает имя, то его называют местоимением. Поняли? Местоимением... Ясно?

Январь 1919 г.

ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ

•Некоторое время тому назад в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько франтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонду, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдом характере виконта, поэтому я сразу же отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых сидящими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему.

Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блестела на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта...

— Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сэттльмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени.

Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость», на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул,

— Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросигэ, простирающая ветви над европейским домом, — чувствуется смешение японского и европейского как в выборе темы, так и в методе исполнения — то самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио.

Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сэттльмент Цукидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохе просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагерротипами, с которых взирают на нас нарядные гейши... Виконт с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси.

— Взгляните на этого Ёситоси, — сказал он. — Одетый в европейский костюм Кикугоро и Хансиро в парике стили итёгаэси разыгрывают под театральной луной трагедию. Смотришь на это, и перед глазами встает та далекая эпоха, когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио,

когда, если можно так выразиться, день и ночь еще не были отделены друг от друга.

Мне приходилось слышать, что Хонда лишь недавно стал таким нелюдимым, а в былые времена, когда виконт только возвратился из путешествия в Европу, он слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди обыкновенной публики. И здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр слова Хонды прозвучали как бесспорная истина. Однако именно эта бесспорность вызвала во мне какой-то внутренний протест, и я, выслушав его, попытался перевести разговор на тему о развитии жанра укиёэ вообще. Но виконт, указывая на гравюры Ёситоси, продолжал тихим, проникновенным голосом:

— Представьте, когда такие люди, как я, смотрят на эти гравюры, им начинает казаться, будто события тридцати-, сорокалетней давности произошли только вчера и стоит открыть свежий номер газеты, как сразу наткнешься на что-нибудь вроде заметки о бале-маскараде в клубе Рокумэйкан. Сказать по правде, с тех пор как я сюда вошел, я никак не могу отделаться от странного ощущения, будто люди тех времен ожили и, невидимые для наших глаз, бродят по этому залу. И будто иногда эти призраки останавливаются рядом и начинают нашептывать мне на ухо истории прошлых лет. Взгляните на тот портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего друга. Когда я стоял перед ним, меня настолько захватило ощущение его присутствия, что мне захотелось с ним поздороваться и выразить сожаление, что мы так давно не встречались. Если вы не против, я мог бы рассказать вам о нем.

В голосе Хонды слышалось беспокойство, и он отвел глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь его выслушать. Я вспомнил, что несколько дней тому назад, когда я впервые познакомился с Хондой, мой друг, взявший на себя труд представить меня, сказал виконту: «Он писатель, и если вы вспомните что-нибудь интересное, обязательно расскажите ему». Но я и без того готов был хоть сейчас нанять карету и вместе с Хондой отправиться на окутанную туманом прошлого нарядную улицу «кирпичных домов». настолько увлекли меня воспоминания виконта о давно минувших днях. Поэтому я с радостью согласился выслушать его рассказ,

— Пройдемте т у д а, — предложил Хонда,

Мы прошла к стоявшей в центре зала скамье. В зале никого не было. Нас окружали лишь стенды, за стеклом которых одиноко висели озаренные холодным светом пасмурного дня тронутые временем эстампы и гравюры укиёэ. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, виконт Хонда некоторое время внимательно оглядывал зал, словно сверялся с собственной памятью, затем обратил взгляд в мою сторону и тихим голосом начал:

— Моего друга звали Миура Наоки. Я случайно сблизился с ним на пароходе, возвращаясь на родину из Франции. Ему было двадцать пять лет. Столько же, сколько и мне тогда. Такое же, как на изображенном Ёситоси портрете Кикугоро, узкое белое лицо, обрамленное длинными, расчесанными на прямой пробор волосами. На всем его облике лежал отпечаток цивилизации, характерный для раннего Мэйдзи. Во время долгого путешествия у нас незаметно возникла взаимная симпатия, которая переросла в столь близкую дружбу, что по возвращении в Японию мы стали встречаться чуть ли не каждую неделю. По словам Миуры, его родители были крупными помещиками из Ситая и один за другим отошли в мир иной, когда он уехал во Францию. Миура был единственным сыном и после смерти родителей стал обладателем солидного состояния. В ту пору, когда я познакомился с Миурой, он жил в полном достатке, что давало ему возможность беззаботно развлекаться и лишь для проформы ходить на службу в один из банков. Вскоре по возвращении на родину Миура заново обставил в западном стиле кабинет в бывшем особняке родителей близ Рёгоку и зажил жизнью вполне обеспеченного человека.

Я рассказываю вам об этом, а перед моими глазами возникает обстановка кабинета Миуры столь же четко, как рисунок, изображенный на том эстампе. Выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресла и диван, обтянутые красной марокканской кожей, портрет Наполеона Первого на стене, резной книжный шкаф черного дерева, мраморный камин с зеркалом, карликовая сосна на камине, которую так любил покойный отец Миуры, — такова была характерная для той эпохи обстановка кабинета, вызывавшая странное ощущение какой-то старой новизны, угрюмой крикливости, обстановка, чем-то напоминавшая, если

позволительно использовать еще одно сравнение, звучание расстроенного инструмента. Окруженный этими вещами, Миура обычно надевал дорогое шелковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона Первого и читал что-нибудь вроде «Les Orientales»¹ Гюго. Эта обстановка вполне могла послужить сюжетом для любого из выставленных здесь эстампов. Помнится, я со странным чувством наблюдал, как плыли по реке лодки, то и дело закрывая от света большими белыми парусами французские окна его кабинета.

Хотя Миура жил в роскоши, он не посещал, подобно другим молодым людям его возраста, увеселительные заведения в Симбаси или Янагибаси. Каждый день он уединялся в своем заново обставленном кабинете и с увлечением читал. Короче говоря, он вел жизнь не столько банкира, сколько удалившегося от дел молодого отшельника. Виной тому, разумеется, было и хрупкое телосложение, не позволявшее Миуре совершать поступки, которые могли повредить его здоровью. Но была и другая причина. По своей натуре Миура, в противоположность тогдашним материалистическим веяниям, был чистейшим идеалистом. И поэтому предпочитал одиночество. Он являл собой образец джентльмена эпохи проникновения в Японию западной цивилизации, хотя своей идеалистически настроенной натурой скорее напоминал политических мечтателей, живших в еще более раннюю эпоху.

Доказательством тому может служить разговор, который произошел однажды между нами, когда мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн. Помню, после сцены, в которой Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством, Миура внезапно обернулся ко мне и с серьезным видом спросил:

— Ты мог бы им посочувствовать?

Поскольку в то время я только что вернулся из поездки в Европу и просто не переваривал все, что пахло стариной, я очень холодно ответил: «Нет, я нисколько им не сочувствую. Думаю, что для тех, кто поднимает бунт из-за указа о запрещении носить мечи, подобная смерть является вполне заслуженной». Миура отрицательно покачал головой.

— Возможно, их требования были ошибочными. Но думаю, что их стремление пожертвовать собой ради ис-

¹ «Восточные мотивы» (фр.).

полнения своих требований, заслуживает более чем сочувствия.

— В таком случае ты, подобно этим бунтовщикам, без сомнения, готов расстаться с единственной и неповторимой жизнью ради детской мечты вернуть нашу современную жизнь в эпоху Мэйдзи, и даже в древнюю эру богов, — возразила со смехом.

На что он все так же серьезно, словно на что-то решившись, ответил:

— Для меня достаточно, если человек готов отдать жизнь ради того, во что верит. Пусть это будут даже детские мечты.

Тогда мне показалось, что все это просто красивые слова, и я не придавал им особого значения. Теперь же, сопоставив все известное мне, я понял, что на эти слова наложила смутный, едва уловимый отпечаток постигшая его в последующие годы печальная судьба. Вы убедитесь в этом, выслушав всю историю до конца.

Миура во всем придерживался своих принципов. Поэтому, когда вопрос заходил о женитьбе, он без сожаления отвергал многочисленные блестящие партии, заявляя:

— Я женюсь только по любви.

К тому же его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, Миура всячески старался не доводить дело до женитьбы, говоря:

— В моих чувствах еще много несовершенного.

Смотреть со стороны на это становилось невыносимо, и я иногда вмешивался, предлагая свои услуги.

— Если по любому поводу столь досконально анализировать свои чувства, как делаешь это ты, то жизнь превратится в кошмар. Поэтому надо смириться с тем, что мир развивается не в соответствии с твоими идеалами, и довольствоваться более или менее приемлемой кандидатурой.

Однако Миура никак не поддавался на уговоры и, с жалостью глядя на меня, отвечал:

— Если бы я мог удовлетвориться тем, что ты предлагаешь, я давным-давно покончил бы с холостяцкой жизнью.

И если я, друг Миуры, молча выслушивал его сентенции, то родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился род Миура, предлагали ему обзавестись, на худой конец, наложницей. Однако не такой был Миура человек, чтобы внимать подобным

советам. Мало того, ему крайне претило само слово «наложница». Обычно он, горько улыбаясь, говорил мне:

— Мы как будто считаемся сейчас просвещенной страной, а наложницы у нас, в Японии, по-прежнему существуют совершенно открыто.

Вот почему, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трех лет упорно занимался чтением, сидя у себя в кабинете наедине с портретом Наполеона Первого, и мы — его друзья — вовсе потеряли надежду на то, что он когда-нибудь женится по любви.

Однажды по делам своего ведомства я предпринял поездку в Корею в город Кэйдзё. И представьте себе, не прошло и месяца, как вдруг я получаю от Миуры письмо, в котором он извещает меня о помолвке. Вообразите, как я был удивлен. Вместе с тем это известие не могло не вызвать у меня улыбку: наконец-то и у него появилась подруга жизни. Письмо было исключительно кратким. Он лишь сообщал, что помолвлен с Фудзии Кацуми — дочерью правительственного поставщика. Из последующих писем я узнал некоторые подробности. Однажды Миура забрел в храм Хагидэра на острове Янагисима и случайно встретился там с владельцем антикварной лавки, частым гостем в его особняке. Вместе с господином Фудзии и его дочерью он пришел в храм помолиться. И вот во время прогулки по окружавшему храм парку Миура и Кацуми влюбились друг в друга. Что и говорить, храм Хагидэра с его крытой соломой крышей и воротами со статуями бога Нио, с его обелиском среди кустов хаги, на котором выбита известная строфа Басё, отличался утонченной красотой и, несомненно, представлял собой идеальное место для «удивительной встречи талантливой юности с прекрасной девушкой». Однако для такого стопроцентного джентльмена эпохи Просвещения, как Миура, который выходил на улицу не иначе, как в костюме парижского покроя, любовь с первого взгляда возникла по чересчур стереотипной схеме, и если первое его сообщение о браке вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Не требовалось также большой догадливости, чтобы понять ту роль, которую сыграл в сватовстве владелец антикварной лавки. Все устроилось как нельзя лучше. Без задержки были посланы официальные сваты, и той же осенью сыграли свадьбу. Все говорило о том, что между новобрачными сложились безупречные отношения. Должен, правда, за-

метить, что одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть: даже по письмам, в которых Миура сообщал мне о подробностях своей супружеской жизни, можно было понять, что этот рассудительный и холодный, ученого склада, человек совершенно преобразился, стал веселым и общительным.

До сих пор у меня хранятся все его письма, и когда я перечитываю их теперь, перед глазами неизменно появляется его веселое, смеющееся лицо. С детской непосредственностью рассказывал Миура о подробностях своей повседневной жизни: о том, что в этом году никак не растет посаженный им вьюнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно, что из-за большой влажности его книги отсырели и покрылись плесенью, что нанятый им рикша заболел столбняком, что он смотрел фокусы какого-то европейского факира в театре Миякодза, что в Курамаэ был пожар, — можно было бы без конца перечислять все новости, о которых он мне сообщал. Но с особой радостью Миура сообщил мне вот о чем: он заказал художнику Годзэте Хобаю портрет жены. Наполеон Первый со стены был снят, и его место занял портрет жены. Там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер, черное платье вышито шерстью и золотом, в руках букет роз. Портрет этот я имел счастье лицезреть, но вот Миуру я с тех пор никогда больше не видал живым и веселым.

Виконт Хонда вздохнул и некоторое время молчал. Захваченный его рассказом, я слушал не шелохнувшись и, когда он остановился, с испугом взглянул на него, не будучи и силах сдержать беспокойство. Я почему-то решил, что Миуры уже не было в живых, когда виконт возвратился из Кэйдзё. Но виконт, видимо, догадался о причинах моего беспокойства и, покачав головой, спокойно продолжал:

— Нет, Миура в мое отсутствие не скончался. Но когда спустя год я вернулся на родину, он снова был холодно-спокоен и, кажется, чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы, после долгого перерыва, снова пожали друг другу руки на станции Симбаси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, я не столько почувствовал это, сколько был встревожен его холодным равнодушием. Взглянув на его лицо, я ощутил такое беспокойство, что воскликнул:

— Что с тобой? Ты не болен?

Он подозрительно посмотрел на меня и ответил, что не только он, но и его супруга находится в добром здравии. «Да, — подумал я, — так и должно быть. Характер у него все тот же. Он и не мог резко измениться за год «супружества по любви». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил:

— Пожалуй, освещение виновато. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица.

Чтобы понять те муки, которые он скрывал за маской равнодушия, и почувствовать, сколь неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако буду последователен в своем повествовании и скажу несколько слов о том, что из себя представляла его жена.

Впервые я встретился с ней вскоре по возвращении из Кэйдзё в особняке на Окавабате, куда Миура пригласил меня пообедать. Она была примерно одних лет с Миурой, но, может быть благодаря маленькому росту, казалась на два-три года моложе. На круглом лице со свежей кожей выделялись густые брови. В тот вечер она была в перехваченном чудесным шелковым поясом кимоно из старинной материи с узором из мотыльков и птиц. Употребляя модное в те годы выражение, она, можно сказать, производила впечатление дамы «высокого класса». Ее внешность в чем-то противоречила тому облику спутницы жизни Миуры, который я рисовал в своем воображении. Но только «в чем-то», а в чем — мне и самому было неясно. Некоторое подобие разочарования я не раз испытывал и потом. Но тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В общем, решил я, нет никаких оснований не радоваться женитьбе Миуры.

Наоборот, пока мы сидели за столом, освещенным керосинокальной лампой, я был просто покорен живой и одаренной натурой супруги Миуры. Ее тонкость в обращении, умение понимать с полуслова можно было, пожалуй, определить несколько вульгарным выражением: тронешь — и зазвучит. В конце концов я не выдержал и совершенно серьезно сказал:

— Госпожа, такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции.

— Вот-вот! Я все время твержу то же самое, — перебил Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне только показалось, что в этих его словах в какой-то момент прозвучали неприятные нотки. Одной ли только подозритель-

ности можно было приписать то, что мне почудилось, будто выражение глаз госпожи Кацуми, метнувшей полный ненависти взгляд в сторону Миуры, слишком уж не вязалось со всем ее откровенно кокетливым обликом. Во всяком случае, эта коротенькая сцена словно молнией осветила для меня всю их жизнь. Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что присутствовал при начале трагедии всей жизни Миуры. Тогда же беспокойство у меня скользнуло как тень, и только. Затем как ни в чем не бывало мы продолжали беседовать с Миурой, время от времени наполняя чашечки сакэ. Мы весело провели остаток вечера, и когда я, покинув их особняк, ехал на рикше, подставляя захмелевшую голову ветру, дувшему с реки, я не раз мысленно поздравлял Миуру с удачной «женильбой по любви».

С тех пор прошел месяц, в течение которого я не раз посещал супругов Миура и принимал их у себя. Однажды мой друг доктор пригласил меня в театр Синтомидза на пьесу «Одэн-но Кавабуми». Разглядывая зрителей в ложах на противоположной стороне, я заметил среди них супругу Миуры. В те годы я всегда брал с собой бинокль. И вот впервые в его окулярах я увидел госпожу Кацуми за барьером ложи, покрытым огненно-красной материей. В ее волосах красовалась, кажется, роза, белый подбородок покоился на накладном воротнике платья из материи спокойной расцветки. Словно почувствовав, что ее разглядывают, госпожа Кацуми одарила меня своим кокетливым взглядом и едва заметно мне подмигнула. Я опустил бинокль и, в свою очередь, приветствовал ее. Но тут вдруг заметил, что она опять взволнованно отвечает на приветствие. Причем куда почтительнее, чем в первый раз. Наконец-то я понял, что ее кокетливый взгляд и подмигивание предназначались не мне, а кому-то другому. И стал обводить взглядом ложи, надеясь отыскать этого другого. И обратил внимание на молодого человека в модном полосатом костюме, который, кажется, тоже искал того, кому предназначалось одно из приветствий. Посасывая дорогую сигару, он пристально смотрел в мою сторону. На миг наши взгляды скрестились. В его смуглом лице было что-то отталкивающее, и я быстро отвел глаза, поднял бинокль и снова направил его в сторону ложи госпожи Кацуми. Рядом с ней я увидел известную сторонницу эмансипации женщин Нараяма, о которой вы, возможно, слышали. Жена довольно популярного в те

времена адвоката Нараямы, она активно выступала за равноправие женщин, однако пользовалась весьма сомнительной репутацией. Госпожа Нараяма сидела, расправив плечи, в черном кимоно с гербами, всем своим видом напоминая ассистента на сцене. И то, что она сидела рядом с супругой Миуры, почему-то вызвало во мне недоброе предчувствие. Эта воительница за эмансипацию женщин все время поворачивала в нашу сторону — точнее, в сторону того самого полосатого пиджака — свое костлявое, слегка напудренное лицо и бросала ему многозначительные взгляды, с раздражением оттягивая воротник платья, словно он ей мешал. Без преувеличения скажу, что во время представления я смотрел не столько на сцену, где играли знаменитые Кикугоро и Садандзи, сколько следил за супругой Миуры, полосатым пиджаком и госпожой Нараяма. Находясь в мире веселой музыки и свисающих со сцены веток цветущей вишни, я безгранично страдал от зловещих предположений, не имеющих ничего общего с тем, что происходило на сцене. И когда вскоре после интермедии обе женщины покинули ложу, я вздохнул с облегчением, но в то же время ощутил такую слабость, словно все силы окончательно меня покинули. Женщины ушли, но полосатый пиджак из соседней ложи оставался на месте, нещадно дымил своей сигарой и время от времени поглядывал в мою сторону. Когда два главных действующих лица из трех исчезли, я почему-то почувствовал к этому человеку со смуглым лицом еще большую неприязнь. Может быть, причиной тому была моя излишняя подозрительность. Но так или иначе, с самого начала между нами возникла вражда. Поэтому я, как мне показалось, ощутил чувство, близкое к замешательству, словно столкнулся с неразрешимой загадкой, когда сам Миура в том самом своем кабинете, выходящем окнами на реку, познакомил меня с этим человеком. По словам Миуры, он был кузеном его супруги. Несмотря на молодость, он занимал солидное положение в одной из текстильных компаний. Должен сказать, что даже за тот короткий промежуток, пока мы вели легкую светскую беседу за чаем, я сразу понял, что этот ни на минуту не выпускавший изо рта сигару человек наделен недюжинными способностями. Но его одаренность не уменьшила антипатии, которую я к нему испытывал. Все же я неоднократно взывал к чувству здравого смысла, стараясь убедить себя в том, что ничего странного в обмене при-

ветствиями в театре между братом и сестрой нет и быть не может. Я даже попытался, насколько это было возможно, сблизиться с этим человеком. Но всякий раз, когда мне казалось, что мои старания вот-вот принесут плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай, либо бесцеремонно стряхивал на стол пепел сигары, либо громко смеялся над своими же шутками — короче, совершал очередную бестактность, и моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, объявив, что по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, движимый безотчетным желанием очистить атмосферу от миазмов вульгарности и невоспитанности, широко распахнул французские окна, впустив в кабинет струю свежего речного воздуха.

— До чего же ты ненавидишь его! — с упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацуми с букетом роз.

— Ничего не могу с собой поделать, — ответил я. — Уж очень он неприятен. Никак не свыкнусь с мыслью, что он кузен твоей супруги.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Слишком они не похожи друг на друга,

Миура некоторое время молча глядел на реку, осветившуюся на миг лучами заходящего солнца, и вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:

— А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?

Меня несказанно обрадовало, что тема разговора переменилась. Поэтому я сразу же с готовностью согласился.

— Прекрасно. В рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в дипломатии.

— Чем в дипломатии, говоришь? А я, н-да, пожалуй, в рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в амурных делах.

— Считаешь, значит, что можешь выудить добычу более драгоценную, чем твоя супруга?

— А почему бы и нет. Вот только ты станешь мне еще больше завидовать.

В словах Миуры мне послышалось нечто, больно кольнувшее мой слух. Но лицо его в вечернем сумраке по-прежнему хранило выражение равнодушия, и он продолжал упорно глядеть сквозь французские окна на освещенную лучами заходящего солнца реку.

— Итак, когда мы отправляемся на рыбную ловлю? — спросил я.

— В любое удобное для тебя время.

— В таком случае сообщу письмом, — заключил я, нехотя поднялся из обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миуре руку и вышел из таинственного сумрака кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не столкнулся с кем-то, явно подслушивавшим наш разговор. Фигура метнулась мне навстречу.

— Как, вы уже уходите? — услышал я кокетливый голос. Опешил на мгновение, но быстро оправился и, холодно глядя на госпожу Кацуми, у которой и сегодня прическа была украшена розами, молча поклонился и поспешил к выходу, где меня ждал рикша. В голове у меня все смешалось, смешалось настолько, что я перестал даже сознавать, что происходит. Помню только, что рикша уже проезжал мост Рёгоку, а я все продолжал шептать одно и то же имя: Далила.

Тогда-то мне и открылся секрет, который скрывал за своим сумрачным обликом Миура. Нужно ли объяснять, что этот секрет тотчас выжег в моей душе свое гнусное имя: прелюбодеяние. Но если совершенно явным было нарушение супружеской верности, почему такой идеалист, как Миура, решительно не потребовал развода. Или, может быть, не было доказательств, подтверждающих его подозрение в неверности жены? А если такие доказательства и были, Миура так любил госпожу Кацуми, что не решался расстаться с ней? Я настолько дал волю воображению, перебирая одну версию за другой, что начисто забыл о нашей договоренности поехать на рыбную ловлю. Так прошло примерно с полмесяца. Иногда я писал Миуре, но заходить в особняк на Окавабате, столь часто посещаемый мною прежде, перестал. Вскоре произошло еще одно событие, свидетелем которого мне случайно довелось быть. Оно вынудило меня решиться на откровенный разговор с Миурой. Тогда-то я и вспомнил о рыбной ловле и поспешил воспользоваться ею с тем, чтобы, оставшись с Миурой один на один, откровенно поделиться своими опасениями.

Однажды, возвращаясь все с тем же своим другом доктором из театра Накамурадза, мы встретились с одним из старейших репортеров газеты «Акэбоно». Точно помню, он подписывал свои статьи псевдонимом «Коро-

тышка». Начавшийся после захода солнца дождь лил не переставая, и мы решили зайти в харчевню Икуинэ близ Янагибаси, чтобы опрокинуть по стаканчику рисовой водки. Мы поднялись на второй этаж и, потягивая водку, прислушивались к доносившимся издали звукам сямисэна, который воскрешал, казалось, былую жизнь древнего Эдо. Тем временем наш Коротышка вошел в раж и, словно фельетонист эпохи западного просветительства, стал забавлять нас веселыми шутками и занимательными историями. Не обошел он вниманием и скандальную историю госпожи Нараяма, которая прежде была наложницей иностранца, а затем перешла на содержание к Саньютэю Энгё. В то время она была в зените своего расцвета, о чем свидетельствовали без малого шесть золотых колец, украшавших ее пальцы. Однажды Нараяма не смогла вовремя возвратить деньги, которые заняла для того, чтобы тут же пустить на ветер, и оказалась в безвыходном положении. Немало рассказал наш репортер и других пикантных подробностей из жизни госпожи Нараяма. Но мне особенно было неприятно узнать от него, что в последнее время госпожу Нараяма повсюду сопровождает некая молодая матрона. Причем, по его словам, ходили слухи, будто иногда они, в сопровождении мужчины, останавливались в гостинице близ Суйдзинского леса. Когда я услышал об этом, мое веселое настроение — а оно не могло быть иным, поскольку мы выпивали в хорошей компании, — мгновенно улетучилось. Надо было смеяться, а у меня словно комок застрял в горле, и перед глазами все время стояло задумчивое лицо Миуры. К счастью, доктор, видно, почувствовал мое угнетенное состояние и умело перевел болтовню репортера на тему, не имеющую ничего общего с похождениями госпожи Нараяма. Это дало мне возможность прийти в себя и принять участие в беседе хотя бы в той мере, в какой это необходимо было, чтобы окончательно не испортить нашу приятную встречу. Но в этот вечер моим испытаниям, видно, еще не суждено было кончиться. Когда я с начисто испорченным настроением вышел из харчевни Икуинэ и подозвал рикшу, ко входу лихо подкатила двухместная тележка с блестящим от дождя поднятым верхом. Пропитанный тунговым маслом верх откинулся, и на порог прыгнул один из седоков. Я узнал его в тот короткий миг, когда вскочил в тележку и рикша подхватил оглобли. Меня охватило необыкновенное возбуждение.

— Ведь это о н , — прошептал я.

Да, это был тот самый смуглолицый мужчина в поло-
сатом пиджаке, выдававший себя за кузена супруги Миу-
ры. Я ехал по сверкающей огнями Хирокодзи. Мое серд-
це, словно тисками, сжимало страшное беспокойство, ко-
гда я пытался представить себе, кто находился с этим че-
ловеком в тележке. Была это госпожа Нараяма или, мо-
жет быть, госпожа Кацуми с альми розами в волосах? Охваченный этими неразрешимыми сомнениями, я был в
то же время очень зол на себя за свою трусость. Ах, за-
чем я тогда так поспешно нырнул под спасительный
верх тележки! Должно быть, боялся, как бы мои сомне-
ния не рассеялись. До сих нор для меня остается загад-
кой, была ли в тележке супруга Миуры или воительница
за эмансипацию женщин.

Виконт Хонда выгацил откуда-то большой шелковый
носовой платок, вежливо высморкался, оглядел начав-
ший погружаться в сумерки выставочный зал и продол-
жал тихим голосом:

— Оставляя в стороне это происшествие, я решил,
что, как бы то ни было, рассказ репортера должен заин-
тересовать Миуру. Поэтому на следующий же день от-
правил ему письмо, в котором предложил встретиться,
порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миура незамедлитель-
но ответил согласием. Время встречи падало как раз на
шестнадцатую ночь, поэтому он предлагал отправиться,
как только за вечерет, с тем чтобы не столько порыба-
чить, сколько полюбоваться полной луной. Я не был та-
ким уж заядлым рыбаком и сразу же согласился. Мы
встретились на лодочной станции близ Янагibasи, сели
в длинную остроносую лодку и выгребли на середину
реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла.

В те времена вечерний пейзаж на реке Сумида еще
сохранял следы красоты, присущей гравюрам укиёэ. Ко-
гда, проплыв под рестораном Манбати, мы вышли на се-
редину реки, нашим глазам открылась удивительная кар-
тина: в осеннем небе над волнами реки, в которых отра-
жались блики бледного вечернего света, отчетливо вид-
нелись блики моста Рёгоку, казавшиеся черной, словно
одним взмахом проведенной тушью, изогнутой линией.
Тени карет, пронесившихся по мосту, расплывались в
поднимавшемся над рекой тумане, и чудилось, будто над
водой мчатся взад и вперед лишь крохотные точки их фо-
нарей, алые, словно вишенки.

Миура. Каков пейзаж, а?

Я. Да-а. В Европе, сколько ни ищи, такого, пожалуй, не увидишь.

Миура. Итак, когда дело касается пейзажа, ты не такой уж противник старины.

Я. Да, только когда дело касается пейзажа.

Миура. А вот я в последнее время просто возненавидел все, что связано с западным просветительством.

Я. Знаешь, однажды, обратив внимание на проходивших по бульвару японцев из Миссии доброй воли, некогда направленной феодальным правительством во Францию, известный острослов Мериме сказал стоявшему рядом с ним не то Дюма, не то кому-то еще: «Взгляни, кто это привязал японцев к таким непомерно длинным мечам?» Берегись, не то попадешь со своими взглядами на злой язык Мериме.

Миура. А я могу рассказать тебе о другом случае. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шучжан, прибыв в Японию, остановился в гостинице в Йокохаме. Увидав японский спальный халат, он умилился и сказал: «Это древнее спальное одеяние — свидетельство того, что в вашей стране свято соблюдают древние обычаи Ся и Чжоу». Вот тебе пример того, что нельзя без разбора охаивать все старое.

Увлечшись разговором, мы не заметили, как воды реки от начавшегося прилива внезапно потемнели. Мы огляделись и обнаружили, что мост Рёгоку остался далеко позади и наша лодка, подгоняемая частыми ударами весел, уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий», черным силуэтом выделявшейся на темном небе. Решив, что наступил подходящий момент для того, чтобы перевести разговор на госпожу Кацуми, я подхватил последнюю фразу Миуры и кинул пробный камень:

— Как и таком случае совместить твоё преклонение перед стариной с твоим отношением к столь просвещённой супруге?

Словно не услышав моего вопроса, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Отакэгурой, потом обратил свой взгляд на меня и тихим, но полным внутренней силы голосом сказал:

— Да никак. Неделю тому назад я развелся.

Я был так поражен столь неожиданным ответом, что растерялся и невольно ухватился за борт лодки.

— Значит, ты тоже знал? — тихо спросил я.

— А ты сам, все ли ты знал? — подчеркивая каждое слово, возразил Миура.

Я. Все или не все — не знаю. Слышал лишь о том, что твоя супруга подружилась с госпожой Нараяма.

Миура. А о связи между моей женой и ее кузеном?

Я. Догадывался.

Миура. В таком случае мне больше нечего тебе сообщить.

Я. А ты... когда ты узнал об этом?

Миура. О связи между женой и ее кузеном? Спустя три месяца после свадьбы. Как раз накануне того, как попросил Годзэту Хобаю написать известный тебе портрет жены.

Можете себе представить, сколь неожиданным мне показался и этот ответ Миуры.

Я. Как же ты мог до сих пор терпеть это?

Миура. Почему «терпеть»? Я это одобрял.

И снова я был настолько поражен ответом Миуры, что некоторое время лишь ошеломленно глядел на него.

— Конечно, — спокойно продолжал Миура, — это не означает, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет. Я относился с одобрением к тем сложившимся между ними отношениям, которые в то время рисовал у себя в воображении. Ты, должно быть, помнишь, что я был сторонником «женитьбы по любви». Но при этом, должен тебе сказать, я не преследовал какие-то эгоистические цели. Просто я ставил любовь превыше всего. И когда после женитьбы понял, что любовь между нами не настоящая, то пожалел о поспешности, с которой связал свою судьбу с этой женщиной. Вместе с тем меня не покидало чувство жалости к жене, которая была вынуждена делить со мной ложе и кров. Тебе ведь известно, что я с давних пор не мог похвалиться здоровьем. Кроме того, пусть я считал, что люблю ее, но она ведь могла и не любить меня. А может быть, моя любовь с самого начала была настолько слаба и несовершенна, что оказалась неспособной вызвать серьезное ответное чувство... И я решил пожертвовать собой ради друживших с детских лет жены и ее кузена, раз возникшее между ними чувство чище и искреннее, чем то, которое существовало между нами. Ибо если бы я поступил иначе, мой принцип ставить любовь превыше всего оказался бы на деле лишь красивой фразой. Поэтому-то я и решил на всякий случай заказать известный тебе портрет жены, с тем чтобы он за-

менил мне ее, как только станет ясно, что жена любит другого.

Миура умолк и снова вперил взгляд в небо, которое черным пологом висело над особняком Кимацуура. Пока не было и признака, что вот-вот засветятся облака и взойдет луна. Я закурил сигару и спросил:

— Что же было потом?

— Вскоре я убедился, что любовь между моей женой и ее кузеном не настоящая. Говоря откровенно, я узнал, что он находится в интимной связи не только с моей женой, но и с госпожой Нараяма. Как мне это удалось — думаю, что и тебе не будет особенно интересно услышать об этом, да и мне не хотелось бы сейчас распространяться на эту тему. Скажу только, что случайно мне лично довелось быть свидетелем их тайного свидания.

Страхивая пепел сигары за борт, я живо представил себе ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в харчевню Икуинэ.

— Для меня это было первым ударом, — спокойно продолжал Миура. — Половина основания, на котором зиждилось мое одобрение их связи, рухнула. Больше я не мог, как прежде, благосклонно смотреть на интимные отношения моей жены и ее кузена. Ты в это время как раз возвратился из своей поездки в Корею. И вот я стал думать над средством, с помощью которого можно было бы их разлучить. Тогда я верил, что, несмотря на обман кузена, любовь к нему со стороны моей жены была истинной. Поэтому, а также и ради счастья жены, я считал необходимым вмешаться. Жена и он не могли предположить, что я давно знал об их связи. Поэтому они — по крайней мере, жена, — по-видимому, решили, что мною движет ревность. С тех пор жена стала враждебно ко мне относиться и даже следить за мной. Да и на тебя она смотрела с опаской.

— Действительно, однажды она, стоя за дверью кабинета, подслушивала наш с тобой разговор.

— Вполне возможно. Такая женщина могла пойти и на это.

Некоторое время мы молча глядели на черную гладь реки. Наша лодка миновала мост Оумаябаси и, оставляя едва заметный след на воде, приблизилась к Комакате.

— Но я продолжал верить в честность жены, — продолжал Миура свой рассказ, — и еще сильнее страдал

из-за того, что она не хотела понять моего настроения. Не только не хотела, но даже возненавидела меня. И вот, с тех пор как я встретил тебя на вокзале в Симбаси, я всячески пытался подавить в себе мучившие меня мысли...

Неделю тому назад прислуга по ошибке принесла в мой кабинет письмо, предназначавшееся жене. Я сразу решил, что письмо от ее кузена, и... вскрыл его. К своему удивлению, я понял, что в моих руках оказалось любовное послание от неизвестного мужчины. Так я убедился, что те чувства, которые жена питала к кузену, тоже никак нельзя назвать чистой любовью. Я получил второй и значительно более жестокий удар, который начисто разбил мои идеалы. И в то же время на меня снизошло печальное успокоение, словно тяжесть ответственности, давившая мне все время на плечи, внезапно исчезла.

Миура умолк. В этот миг из-за складов Намигура выплыла кроваво-красная полная луна. Я и вспомнил эту историю с Миурой, глядя на одетого в европейский костюм Кикугоро с гравюры Ёситоси, именно потому, что театральная луна на гравюре была похожа на ту, которую мы увидали с лодки. В лунном свете четко выделялся продолговатый овал лица Миуры, обрамленного расчесанными па пробор длинными волосами. Глядя на луну, Миура вдруг тяжело вздохнул и с горьким смехом произнес:

— Помнишь, однажды ты осудил жертвовавших жизнью ради своего идеала повстанцев Симпурэн, назвав это детской мечтой. Значит, в твоих глазах моя супружеская жизнь...

— Да. Тоже, возможно, напоминала детскую мечту. Но ведь и просвещение, к которому мы теперь так стремимся, спустя столетие превратится всего лишь в детскую мечту. Не так ли?

В этот момент подошедший к нам сторож напомнил, что час уже поздний и выставку пора закрывать. Мы с виконтом медленно поднялись со скамьи, в последний раз окинули взглядом висевшие вокруг гравюры и эстампы и молча покинули начавший погружаться в сумерки зал. Казалось, мы сами были призраками прошлого, сошедшими с картин, висевших за стеклом стендов.

Январь 1919 г.

МАНДАРИНЫ

Стояли пасмурные зимние сумерки. Я сидел в углу вагона второго класса поезда Йокосука — Токио и рассеянно ждал свистка к отправлению. В вагоне давно уже зажгли электричество, но почему-то, кроме меня, не было ни одного пассажира. И снаружи, на полутемном перроне, тоже почему-то сегодня не было никого, даже провожающих, и только время от времени жалобно тявкала запертая в клетку собачонка. Все это удивительно гармонировало с моим тогдашним настроением. На моем сознании от невыразимой усталости и тоски лежала тусклая тень, совсем как от пасмурного снежного неба. Я сидел неподвижно, засунув руки в карманы пальто и но имея охоты даже достать из кармана и просмотреть вечернюю газету.

Наконец раздался свисток. С чувством слабого душевного облегчения я прислонился головой к оконной раме и стал ждать, когда станция перед моими глазами начнет медленно отодвигаться назад. Но тут со стороны турникета на перроне послышался громкий стук гэта, тотчас же за ним — негодующий возглас кондуктора; дверь моего вагона со стуком растворилась, и, запыхавшись, вошла девочка лет тринадцати — четырнадцати. В ту же секунду поезд, качнувшись, медленно тронулся. Столбы на перроне, один за другим отмечавшие отрезок поля зрения, тележка с баком для воды, как будто кем-то брошенная и забытая, носильщик, кланявшийся кому-то в поезде, — все это в клубах застилавшего окно пепельного дыма как-то неохотно покатилося назад. Наконец-то, вздохнув с облегчением, я закурил папиросу и только тогда поднял вялые веки и бросил взгляд на лицо девочки, усевшейся напротив меня.

Это была настоящая деревенская девочка: сухие волосы без признака масла были уложены в прическу итёгаэси, рябоватые потрескавшиеся щеки были так багрово обожжены, что даже производили неприятное впечатление. На ее коленях, куда небрежно свисал замызганный зеленый шерстяной шарф, лежал большой узел. В придерживавшей его от замороженной руке она бережно сжимала красный билет третьего класса. Мне не понравилось мужицкое лицо этой девочки. Кроме того, мне было неприятно, что она грязно одета. Наконец, меня

раздражала ее тупость, с которой она не могла понять даже разницу между вторым и третьим классами. Поэтому, закуривая папироску, я решил забыть о самом существовании этой девочки и от нечего делать развернул газету. Вдруг свет из окна, падавший на страницы, превратился в электрический свет, и неотчетливая печать газеты с неожиданной яркостью выступила перед моими глазами. Очевидно, поезд вошел в первый из многочисленных на линии Йокосука туннелей.

Однако, хотя я пробегал взглядом освещенные электричеством страницы, все, что случилось на свете, было слишком банально, чтобы расшеять мою тоску. Вопросы заключения мира, молодожены, опять молодожены, случаи взяточничества чиновников, объявления о смерти... Испытывая странную иллюзию, будто поезд, войдя в туннель, вдруг помчался в обратном направлении, я почти машинально переводил глаза с одной унылой заметки на другую. Но все это время я, разумеется, ни на минуту не мог отделаться от сознания, что передо мной сидит эта девочка, живое воплощение серой действительности в человеческом образе. Этот поезд в туннеле, эта деревенская девочка, да и эта газета, набитая банальными статьями, — что же это все, если не символ непонятной, низменной, скудной человеческой жизни? Все мне показалось бессмысленным, и, отшвырнув недочитанную газету, я опять прислонился головой к оконной раме, закрыл глаза, как мертвый, и начал дремать.

Прошло несколько минут. Внезапно, словно испуганный чем-то, я невольно оглянулся — оказалось, что девочка незаметно встала со своего места на противоположной скамейке и, остановившись рядом со мной, упорно старалась открыть окно. Но тяжелая рама никак не поддавалась. Потрескавшиеся щеки девочки еще больше покраснели, и я слышал, как, хлопоча у окна, она иногда шмыгала носом и прерывисто дышала. Конечно, ее усилия не могли не вызвать у меня известного сочувствия. Однако уже по одному тому, что склоны холмов, на которых светлела в сумерках засохшая трава, с обеих сторон надвигались на окна, легко можно было сообразить, что поезд опять подходит к туннелю. И все же девочка хотела спустить нарочно закрытое окно — зачем, мне было непонятно. Я мог считать это только капризом. Поэтому, с прежней суровостью в глубине души, я холодно смотрел, как обмороженные ручки бьются, пытаясь спустить стек-

ло. Я желал, чтобы эти усилия так и не увенчались успехом. Но вдруг поезд с ужасным грохотом ворвался в туннель, и в тот же миг рама, которую девочка старалась спустить, наконец со стуком упала. И в прямоугольное отверстие разом густо хлынул внутрь и разлился по вагону черный, точно пропитанный сажей, воздух, превратившийся в душливый дым. Я не успел даже закрыть платком лицо, как меня обдала целая волна дыма, и, давно уже страдая горлом, я закашлялся так, что чуть не задохнулся. А девочка, не обращая на меня ни малейшего внимания, высунулась в окно и, подставив волосы трепавшему их ветру, смотрела вперед по ходу поезда. Я глядел на нее, окутанную дымом и электрическим светом, и если бы только за окном вдруг не стало светлеть и оттуда освежающе не влился запах земли, сена, воды, то я, наконец-то перестав кашлять, несомненно, жестоко выругал бы эту незнакомую девочку и опять закрыл бы окно.

Но поезд уже плавно выскользнул из туннеля и проходил через переезд в бедном предместье, сдавленном с обеих сторон горами, покрытыми на склонах сухой травой. Вокруг повсюду грязно и тесно жались убогие соломенные и черепичные крыши, и — должно быть, это махал стрелочник — уныло развевался еще белевший в сумерках флажок. Как только поезд вышел из туннеля, я увидел, что за шлагбаумом пустынного переезда стоят рядышком три краснощеких мальчугана. Все трое, как на подбор, были коротышки, словно придавленные этим пасмурным небом. И одежда на них была такого же цвета, как все это угрюмое предместье. Не спуская глаз с проносившегося мимо поезда, они разом подняли руки и вдруг, не щадя своих детских глоток, изо всех сил грянули какое-то неразборчивое приветствие. И в тот же миг произошло вот что: девочка, по пояс высунувшаяся из окна, вытянула свои обмороженные ручки, взмахнула ими направо и налево, и вдруг на детей, провожавших взглядом поезд, посыпалось сверху несколько золотых мандаринов, окрашенных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце. Я невольно затаил дыхание. И мгновенно все понял. Она, эта девочка, уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее.

Утонувший в сумерках переезд, трое мальчуганов, заерецававших, как птицы, свежая яркость посыпавшихся

на них мандаринов — все это промелькнуло за окном почти мгновенно. Но в моей душе эта картина запечатлелась почти с мучительной яркостью. И я почувствовал, как меня заливает какое-то непонятное светлое чувство. Взволнованно подняв голову, я совсем другими глазами посмотрел на девочку. Вернувшись на свое место напротив меня, она по-прежнему прятала потрескавшиеся щеки в зеленый шерстяной шарф и, придерживая большой узел, крепко сжимала в руке билет третьего класса...

И только тогда мне удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни.

Апрель 1919 г.

ВЕДЬМА

Возможно, вы не поверите мне. И даже подумаете, что я лгу. Ведь то, о чем я расскажу вам сейчас, случилось не в давние времена, а в годы Тайсё. Более того, в том самом Токио, к которому мы так привыкли. Где по улице мчатся трамвай и автомобили, где в доме непрерывно звонит телефон, где в газетах пишут о забастовках и женском движении. И сколько бы я ни уверял вас, что событие это, достойное пера По или Гофмана, действительно произошло в одном из уголков этого большого города, вы ни за что мне не поверите, и пусть на улицах Токио горят миллионы фонарей, невозможно рассеять мрак, окутывающий город с заходом солнца, и вернуть день. Так же как невозможно нарисовать карту загадочного мира, таящегося в глубинах природы, сколько бы ни говорили, что радио и самолеты покорили ее. А раз так, почему в Токио, озаренном светом цивилизации, таинственные духи, которые наглеют обычно в то время, когда люди спят, не могли бы иногда случайно сотворить чудо, подобное, скажем, такому, которое произошло в погребке Ауэрбаха? И не только иногда и случайно. Если позволите, то скажу: вы, наверно, замечали, что рядом с нами расцветают, будто ночные цветы, сверхъестественные явления. Вам приходилось, например, видеть, как поздней зимней ночью на Гиндзе соберутся в кучку несколько бумажек и кружатся на ветру. Попробуйте, любопытства ради, сосчитайте, в скольких местах это происходит. От

Симбаси до Миякобаси — в трех местах справа и слева — в одном. И непременно вблизи перекрестков. Вряд ли это можно объяснить воздушными потоками или еще чем-нибудь в этом роде. Приглядитесь более внимательно, и в каждой кучке вы непременно заметите красную бумажку — это либо клочок кинорекламы, либо обрывок тиёгами, либо спичечная этикетка, — но обязательно красного цвета. Стоит налететь ветру, и этот красный клочок первым взвивается вверх, будто хочет увлечь за собой остальную мусор. Из легкой песчаной пыли как бы доносится тихий шепот, и клочки белой бумаги, разбросанные там и сям, мгновенно исчезают с асфальта. Нет, они не исчезают насовсем. Сначала они быстро кружатся, а потом плавно летят, будто плывут. И когда ветер стихает, происходит то же самое — красная бумажка, как я заметил, утихомиривается раньше других. Даже вам такое не может не показаться странным. Я-то, конечно, нахожу это удивительным и, по правде говоря, раза два-три останавливался на улице и пристально глядел на непрерывно кружащиеся в обильном свете ближайшей витрины обрывки бумаги. Я заметил: если так смотреть, можно различить, правда смутно и неясно, обычно невидимые человеческому глазу вещи, так же, как можно увидеть сливающихся с темнотой летучих мышей.

Однако странным в Токио кажется не только мусор, кружащийся на Гиндзе. Иногда с удивительными вещами, противоречащими здравому смыслу, можно столкнуться и в ночном трамвае. К чему, например, красный и синий трамвай, едущие по безлюдным улицам, останавливаются па остановках, где нет ни души? Если вы не верите мне, как и в случае с бумажным мусором, возьмите и проверьте, хоть сегодня ночью. Особенно часто это случается на линиях Досака и Сугамо, хотя трамваи там совершенно такие же, как везде. Да вот взять хотя бы недавний случай. Дней пять назад ночью красный трамвай, на котором я ехал, остановился как раз у Дангосаксите на линии Досака, хотя на остановке не было ни одного человека. Причем кондуктор, дергая за веревку звонка, наполовину высунулся из вагона и, как обычно, крикнул: «Есть кто-нибудь на посадку?» Я сидел неподалеку от него и сразу же выглянул в окно. И что же? Ни у столба на остановке, ни на широкой ночной улице, где все двери домов были закрыты, не оказалось ни души. Лишь луна тускло светила сквозь легкую дымку. «Странно!» — по-

думал я, кондуктор дернул за веревку, и трамвай поехал. Однако я продолжал глядеть в окно, и, по мере того как мы отъезжали, мне стало казаться, что в лунном свете маячат, все уменьшаясь, человеческие тени. Возможно, это игра моего больного воображения, но зачем же тогда кондуктор красного трамвая, мчавшегося вперед, остановил его там, где не было людей? И притом такое случилось не только со мной, но и с несколькими моими приятелями. Так что вряд ли можно сказать, что кондуктор трамвая в тот раз просто спросонья остановил трамвай. Один из знакомых рассказывал мне, что однажды он одернул кондуктора: «Не видишь, что ли? Никого нет!» Кондуктор же изумленно возразил: «А я думал, там полно народу».

Число этих чудес бесконечно: дым из трубы арсенала почему-то плывет не по ветру, а против него; глухой ночью загудит вдруг колокол на колокольне собора святого Николая, два трамвая с одинаковыми номерами проходят в сумерках друг за другом по Нихонбаси, а в совершенно пустом зале Кокугикан каждый вечер слышатся громкие аплодисменты — словом, и на улицах процветающего Токио непрерывно проявляется «иная сторона ночной природы», порхая с места на место, как прекрасный мотылек. Следовательно, и то, о чем я хочу теперь вам рассказать, вовсе не такое уж совершенно невысказанное, оторванное от реальности событие, как вы можете себе вообразить. Более того, теперь, когда вы узнали кое-какие тайны Токио, вы не станете зря потешаться над моим рассказом. И если, дослушав его до конца, вы все же почувствуете запах светильников времен Цуруи Намбоку, знайте, дело не в том, что само событие неправдоподобно, а в том, что я оказался неспособен передать вам все так же искусно, как По и Гофман. Когда двенадцать лет назад участник этого события, сидя летней ночью напротив меня, подробно рассказал мне о странных вещах, с которыми он столкнулся, мне показалось, что вокруг воцарился какой-то таинственный ужас, которого я до сих пор не могу забыть.

Участник события был молодым хозяином маленькой типографии в районе Нихонбаси. Он частенько заходил ко мне и обычно тотчас же удалялся, закончив деловой разговор, а тут засиделся — сначала, видно, потому, что на закате вдруг хлынул дождь и он решил переждать его, а потом просто так. Чинно присев на краю веранды,

освещенной бумажным фонарем, белолицый, худощавый, с нахмуренными бровями он говорил со мной о том о сем до позднего вечера. Тогда-то я и услышал от него рассказ о ведьме, который собираюсь вам поведать. «Очень хотел как-нибудь рассказать вам, сэнсэй!» — медленно вымолвил он, сильно волнуясь. И сейчас еще ясно стоит у меня в памяти этот молодой человек в дорогом летнем хаори цвета расплывшейся туши, тихим шепотом, словно боясь своих слов, начавший повествование. И еще я не могу забыть странно врезавшиеся мне в память громоздящиеся по всему небу последождевые черные тучи и на их фоне узор осенних трав на его мощном торсе, неясно вырисовывающийся от света бумажного фонаря над головой.

Началось с того, что Синдзо (назовем так этого молодого человека, дабы не навлечь на него иных неприятностей), встретивший свое двадцать третье лето, ходил советоваться по одному беспокоившему его делу к старой гадалке, проживавшей в то время в районе Хонсёхитоцумэ. А до этого в конце июня он повел своего друга по коммерческой школе, выпускавшей торговцев мануфактурой, в харчевню «Суси Ёхэ» и там за чаркой сакэ нечаянно проболтался о своем деле. Приятель его, по имени Тай, принял в нем участие и горячо воскликнул: «А что, если тебе сходить к старухе О-Сима?» Когда Синдзо спросил, кто такая эта старуха О-Сима, то оказалось, что она переехала в их район из Асакусы года два-три назад. Занималась она ворожбой и заклинаниями (поговаривали даже, что она и колдовать может). «Ты, верно, знаешь, что недавно утопилась любовница торговца рыбой, так вот тело ее никак не всплывало. Тогда старуха О-Сима дала бумажный ярлык, который бросили в воду с моста Итинобаси. И что же ты думаешь? В тот же день тело и всплыло. Да как раз у той самой сваи, где бросили ярлык. Был вечерний прилив, и, к счастью, тело заметил капитан камневоза. Поднялся шум: «Ба! Никак, гость пожаловал! Тосаэмон!» И труп утопленницы немедленно доставили к полицейскому посту у моста. Когда я проходил мимо, полицейский уже подошел к утопленнице. Я заглянул через головы — утопленница, только что выгашенная из воды, была покрыта соломенной циновкой, а на вздувшейся ноге, высунувшейся из-под циновки... что, ты думаешь, я увидел? Я увидел ярлык, плотно прилепившийся к икре.

У меня даже мороз по коже пробежал». Когда Синдзо слушал рассказ своего приятеля, у него тоже по спине пробежали мурашки, перед глазами сразу предстал вечерний прилив, свая моста, а под ней качающийся на воде труп любовницы торговца рыбой. Однако он, будучи слегка навеселе, храбро сказал: «Интересно! Непременно схожу к этой старухе». — «Я провожу тебя, — сказал приятель. — У меня с ней добрые отношения, с тех пор как я ходил к ней советоваться о денежных делах». — «Ну что ж, проводи», — сказал Синдзо. Они вышли из харчевни «Суси Ёхээ» в летних пальто, с зубочистками в зубах и, прикрываясь от заходящего солнца соломенными шляпами, не спеша направились к старой гадалке.

Теперь надо рассказать вам о том, что беспокоило Синдзо. В их доме была служанка по имени О-Тоси. Более года они любили друг друга, и вот однажды в конце прошлого года она пошла навестить больную матушку и бесследно исчезла. Этому исчезновению удивился не только Синдзо, но и его мать, которая заботилась о судьбе девушки. Ее долго искали поручитель и знакомые, однако так и не нашли. Разные были слухи — одни говорили, что она стала содержанкой, другие — сиделкой, но толком никто ничего не знал. Синдзо сначала тревожился, потом стал сердиться и, наконец, впал в уныние. Его удрученный вид, наверно, прибавил забот матери, которая догадывалась об их отношениях. Она пыталась развеять его тоску разными способами — посылала в театр, предлагала поехать на горячие источники, заставляла вместо отца посещать деловые банкеты. В тот день она велела ему походить по мелочным лавкам и положила в кошелек деньги на расходы, тем самым как бы позволяя развлечься. К счастью, в Хигасирёгоку у него был друг, детства, тот самый Тай, и он повел его в ближайшую харчевню, где подавали суси. Так что у подвыпившего Синдзо были серьезные причины, чтобы пойти к старухе О-Сима. Сразу же у моста Хитоцумэ они свернули налево, прошли примерно тѐ по безлюдной набережной реки Та-тэкавы в сторону моста Футацумэ и между домом штукатура и лавкой кухонной утвари увидели дом с бамбуковыми решетками на окнах и закопченными раздвижными дверями — это и было жилище старой гадалки. Синдзо охватило мрачное предчувствие, будто судьба О-Тоси и его собственная зависела от одного только слова этой странной старухи О-Сима, и весь хмель сразу же вылетел

из головы. Действительно, достаточно было взглянуть на ее дом, чтобы впасть в тоску. Одноэтажный, с низко нависшим карнизом, он производил удивительно мрачное впечатление — казалось, на заплесневелых от недавних дождей камнях вот-вот вырастут грибы. Вдобавок между домом старухи и соседним домом торговца кухонной утварью росла развесистая ива, и ветви ее, свешиваясь, закрывали окна старухино дома, бросая густую тень. Так что казалось, будто за тонкой бумажной перегородкой таится мрачный лес, хранящий зловещую тайну.

Однако Тай-сан, ничуть не смущаясь, небрежно остановился перед решетчатым окном и, оглянувшись на Синдзо, сказал пугающе: «Ну-ка, пойдём взглянем на ведьму. Но, чур, ничему не изумляйся!» — «Что я, дитя малое! — усмехнулся Синдзо. — Кого может напугать какая-то старуха!» Однако Тай-сан, мрачно глядя на приятеля, заметил: «Конечно, старуха вряд ли тебя удивит. Но там есть такая красавица, что тебе и не снилась. Поэтому я и предупреждаю. — И положив руку на решетку окна, Тай-сан крикнул: — Простите, можно войти?» — «Пожалуйста!» — раздался приглушенный голос, и миловидная девушка лет семнадцати — восемнадцати, стоя на коленях, тихо раздвинула сёдзи. Недаром Тай-сан предупредил Синдзо, чтобы тот не удивлялся. У девушки было белое тонкое лицо с высокой переносицей и красиво очерченным лбом, особенно поражали глаза — ясные, прозрачные, но в облике ее было что-то болезненное, какая-то изможденность. Казалось даже, что пояс оби из шерстяного муслина, с разбросанным по нему рисунком в виде пышных гвоздик, чересчур сильно стискивает ее грудь, обтянутую скромной темно-синей касури.

Взглянув на девушку, Тай-сан снял свою соломенную шляпу и спросил: «А матушка?» Девушка с заученным выражением лица тотчас ответила: «К сожалению, ее нет дома», — и покраснела, будто застыдившись чего-то. Потом, нечаянно бросив грустный взор на решетчатую дверь, она вдруг переменилась в лице и, тихонько вскрикнув, попыталась вскочить на ноги. Тай-сан, учитывая место, где они находились, подумал было: не злой ли дух пролетел между ними, и поспешно оглянулся — Синдзо, до сих пор отчетливо вырисовывавшийся в лучах заходящего солнца, куда-то исчез. Удивляться было некогда, потому что дочь старой гадалки, цепляясь за его подол, задыхающимся голосом быстро проговорила: «Передайте вашему

спутнику, чтобы он больше не появлялся здесь, иначе жизнь его может оказаться в опасности». Тай-сан стоял совершенно ошеломленный, ничего не понимая. Он сказал растерянно: «Хорошо, передам». И не надевая шляпы, выскочил на улицу и побежал вдогонку за Синдзо. Он пробежал примерно половину тѣ — на тоскливой набережной реки Татэкавы, где были лишь телеграфные столбы да закат над ними, неподвижно стоял Синдзо, уныло уставившись себе под ноги и сложив руки на груди. «Ну и напугал же ты меня! — выпалил Тай-сан, подбегая к нему. — Я ему: не пугайся, мол, а получилось наоборот. Ты что, знаешь эту красотку?» — «Конечно, знаю. Это О-Тоси», — отвечал Синдзо взволнованно, шагая в сторону моста Хитоцумэ. Тай-сан в третий раз удивился. Он и должен был удивиться. Как же было не удивиться, когда девушка, о которой они хотели спросить у старухи, оказалась не кем иным, как ее дочерью. Более того, он не мог не удивиться ее странной просьбе. Тай-сан нахлобучил шляпу и тут же передал приятелю предупреждение О-Тоси о том, чтобы тот не появлялся больше вблизи старухино дома. Синдзо молча выслушал его. Потом нахмурился и, недоуменно взглянув на Тай-сана, сказал сердито: «Что не появляться — это понятно, а вот что жизни моей угрожает опасность, если приду, — это странно. И не так странно, как нагло». Тай-сан выскочил из дома старухи, так и не расспросив девушку, а только выслушав ее просьбу, поэтому утешить Синдзо он не мог, как ни старался. И тогда Синдзо вовсе умолк, как посторонний, и пошел быстрее. Они вышли к тому месту, откуда уже была видна вывеска харчевни «Суси Ёхээ», Синдзо вдруг обернулся к Тай-сану и с грустью сказал: «Хорошо, что я повидался с О-Тоси». И тогда Тай-сан, как ни в чем не бывало, бросил как бы в шутку: «А что, давай еще раз сходим». Потом-то он понял, что подлил масла в огонь — душа Синдзо сгорала от страстного желания повидаться с О-Тоси. Затем Синдзо расстался с Тай-саном и сразу же завернул в харчевню «Боевой петух», которая перед храмом Икоин, и, поджидая, пока не стемнеет, осушил там две-три бутылочки сакэ. Когда же на землю опустилась тьма, он снова выскочил на улицу и, дыша винным перегаром, с развевающимися позади рукавами накинутаго на плечи летнего пальто, помчался к О-Тоси, к дому старой гадалки.

Ночь выдалась темная, без единой звезды. Погода

была обычная для сезона дождей — от земли шел тяжелый пар, изредка налетал холодный ветер. Синдзо, разумеется, был разъярен и полон решимости не уходить от девушки до тех пор, пока он не узнает всей правды. Не обращая внимания на мрачный вид низкого дома у высокой ивы со светящимся решетчатым окном на фоне черного, как тушь, неба, он с грохотом раздвинул дверь и, ввалившись в тесную прихожую, рявкнул: «Добрый вечер!» По одному голосу можно было сразу же понять, кто пришел. И наверно, нежный, тихий голос, ответивший ему тогда, дрожал. Тихо раздвинулись сёдзи, и в свете, проникавшем из другой комнаты, перед ним предстала печальная фигурка О-Тоси, склонившейся в глубоком поклоне, — казалось, она все еще плачет, однако сакэ делало свое дело, и, холодно взглянув на нее, с заломленной на затылок шляпой, он сказал с притворным равнодушием: «Ваша матушка дома? Я пришел посоветоваться по одному делу. Спросите, не может ли она меня принять». Как тяжело было О-Тоси слышать это! Все еще держась за порог, она сникла, убитая горем, и тихо ответила: «Слушаюсь!» И верно, проглотила слезы. Дохнув винным перегаром, который повис в прихожей, как радуга, Синдзо собирался было еще раз сказать: «Спросите!» — как вдруг из-за фусума раздался тихий, гнусавый старушечий голос — словно шептала жаба: «Кто там? Что за человек? Заходите без стеснения». — «Наглая! Спрятала О-Тоси. Сначала с ней разделаюсь». Синдзо с разъяренным видом сбросил пальто и, сунув соломенную шляпу в руки О-Тоси, невольно пытавшейся остановить его, бесцеремонно ввалился в комнату старухи. Бедная О-Тоси, не прибирая пальто и шляпу, бессильно припала к фусума, уставилась полными слез глазами в потолок и, сложив на груди ослабевшие руки, стала шептать слова молитвы.

Пройдя в комнату старухи, Синдзо рывком сунул под колени дзабутон и заносчиво огляделся: как он и представлял себе, комната размером в восемь татами была неприглядной и неряшливой, с закопченным потолком и столбами. Прямо перед собой он увидел невысокую нишу в шесть сяку, в ней висело какэмоно с иероглифами: «Великий дух Басара». Под ним зеркало, две фарфоровых бутылочки для сакэ, несколько маленьких веток с разноцветными молитвенными бумажками — налево, сразу же за верандой, видимо, протекала река Татэкава. И может быть, ему показалось, но только за задвинутыми

сёдни он даже услышал тихий плеск воды. Справа от ниши, перед комодом, где стояли рядами подношения посетителей: деревянная коробка со сладями, сидр, кулек сахара, корзинка с яйцами, — занимая всю циновку, громоздко восседала похожая на водяное чудище, бледная одутловатая старуха в одном черном кимоно с распахнутым воротом, с коротко остриженными волосами, приплюснутым носом и большим ртом. Глаза ее с редкими ресницами были закрыты, отекавшие пальцы рук сплетены. Я сказал, что голос ее напоминал шепот жабы, когда же Синдзо увидел ее, ему почудилось, будто перед ним и в самом деле жаба-оборотень в облике человека и что эта жаба вот-вот дохнет на него ядом. И на что уж Синдзо был отважным человеком, но даже и ему стало жутко, даже показалось, будто лампа над головой потускнела.

Но раз уж Синдзо решил прийти сюда, он твердо произнес: «Прошу вас предсказать мне судьбу. Речь идет о женитьбе». — «О чем? — переспросила старуха, разлепив наконец узкие глаза и приложив руку к уху. И таким же тусклым голосом глумливо хихикнула: — Женщину захотелось?» — «Да, захотелось! Потому и пришел погадать. Иначе кто же сюда...» — сказал он грубо и ухмыльнулся, так же как старуха. Старуха, взмахнув рукой, приложенной к уху, — будто летучая мышь крылом, — прервала Синдзо, чуть усмехнувшись: «Не гневайтесь! Дурная привычка — язвить». И уже другим тоном спросила: «Сколько лет?» — «Мужчине двадцать три, родился в год Курицы». — «А женщине?» — «Семнадцать». — «Год Зайца, стало быть». — «Месяц рождения...» — «Не надо. Достаточно и года», — сказала старуха и стала загибать пальцы рук, лежавших на коленях, видимо определяя звезду судьбы. Потом раскрыла глаза с тяжело нависшими веками и, уставившись на Синдзо, угрожающе вскричала: «Нельзя! Нельзя! Не судьба! Не судьба! — И тут же тихо пробормотала, словно разговаривая сама с собой: — Если заключить этот брак, кто-нибудь из двух, мужчина или женщина, распрощается с жизнью». Тут-то Синдзо и осенило: значит, О-Тоси намекала ему о смерти по наущению старухи! Он уже не мог больше сдерживаться. Раздраженно придвинувшись к старухе и дохнув на нее винным перегаром, он надменно бросил: «Пусть не судьба! Что для влюбленного смерть! Умереть — проще простого! Помните: во время бедствий — наводнений, битв и пожаров — любят еще сильнее». Старуха, сузив

глаза, насмешливо пробормотала толстыми губами: «Каково женщине, потерявшей мужчину! Но мужчина, лишившись женщины, воет и плачет». — «Попробуй только, гадюка, коснись О-Тоси хоть пальцем!» — подумал Синдзо и, злобно глядя на старуху, бросил ей в лицо: «У женщины есть мужчина». — «А у мужчины?» — ухмыльнулась старуха сальными губами, сложив на груди руки. Синдзо рассказывал потом, что он невольно вздрогнул при этих словах старухи. Ему стало жутко, потому что старуха, как видно, бросала ему вызов. Заметив, что Синдзо переменился в лице, старуха высунула голову из воротника черного кимоно и промяукала: «Сколько бы ты ни думал, ни гадал, у человеческих сил есть свой предел. Брось ерепениться!» И вдруг сверкнув широко открытыми глазами, зловеще прошептала, приставив обе ладони к ушам: «Вот и доказательство! Слышишь дыхание?» Синдзо невольно застыл и настороженно прислушался. Однако ничего не услышал, кроме дыхания О-Тоси, приникшей к фусума. «Значит, ты не слышишь дыхания такого же, как и ты, молодца на камнях Исигаси?» — спросила старуха, сверкая глазами, и придвинулась на коленях к нему, так что тень ее, вдруг увеличившись, легла на шкаф позади нее. Синдзо обдало кислым старушечьим духом, и все вокруг: и сёдзи, и фусума, и бутылочки с сакэ, и зеркало, и комок, и дзабутон — все приняло странный, зловещий вид. «Тот молодец, как и ты, ослепленный сладострастием, воспротивился Великому духу Басара, вселившемуся в меня, но его настигла божественная кара, и скоро он лишится жизни. Хороший урок для тебя. Слушай!» Шепот старухи лез в уши Синдзо со всех сторон, будто шорох крыльев целого сонма мух. И в этот миг ночную темноту за сёдзи прорезал тяжелый всплеск падающего в реку тела. Перепуганный до смерти Синдзо, не в силах более оставаться у старухи, позабыв даже проститься с плачущей О-Тоси, выскочил, шатаясь, из старухино дома.

На другое утро, развернув газету в своем доме на Нихонбаси, он прочел, что прошлой ночью в реку Татэкава бросился человек — это был сын бочара с улицы Камэдзава, причина самоубийства — несчастная любовь. Место происшествия — Исигаси — между Итинобаси и Нинобаси. То ли от нервного перенапряжения, то ли еще от чего, только у Синдзо вдруг сделался жар, и он трое суток пролежал в постели, но, само собой, тревога о любимой его не покидала. Теперь он понимал, что О-Тоси

не переменялась к нему и что ее внезапный уход из дома и запрещение приходить к ней — все это дело рук старухи О-Сима. Ему стало стыдно, что он усомнился в любви О-Тоси, и удивительно, отчего это старуха О-Сима, до сих пор не питавшая к нему никакой злобы, вдруг учинила такое. Жить в одном доме с ведьмой, которая заставляет человека топиться! Какой это ужас! Разве можно бросить О-Тоси одну, как увядшую сосновую иголку, чтобы она металась вокруг старого столба в доме, где властвует какой-то Великий дух Басара?! Синдзо заметил, что мысли об этом не дают ему спокойно спать. Поэтому на четвертый день он, как только встал с постели, тотчас же собрался пойти к своему приятелю Тай-сану посоветоваться, но тот сам позвонил ему, чтобы сообщить об О-Тоси. Оказалось, что накануне поздно вечером она пришла в дом Тай-сана. Сказала, что хотела бы увидеться с молодым хозяином и поведать ему обо всем, но позвонить в дом, где она служила, естественно, не может. Просила сообщить об этом молодому хозяину. Синдзо, разумеется, тоже хотел повидать О-Тоси, поэтому, судорожно сжимая трубку, взволнованно закричал: «Где я могу с ней встретиться?» Но обстоятельный Тай-сан начал издали: «Поверь мне, если уж такая застенчивая девушка приходит ко мне, человеку едва ей знакомому, значит, она не в силах справиться со своими чувствами. Мне стало как-то неловко, и я подумал было о чайном домике, но тут же услышал, что она пойдет в баню, чтобы старуха не заподозрила неладное. Правда, сказала она, идти за реку далековато, но другого подходящего места нет... Я предложил ей второй этаж моего дома, но О-Тоси наотрез отказалась — не хочет меня беспокоить. Я подумал, что она не зря стоит на своем, и спросил, нет ли у нее на примете какого-нибудь местечка, тогда она покраснела и тихо проговорила: «Может молодой хозяин прийти завтра на закате на набережную Исигаси? — И сдержав усмешку, добавила: — Свидание под открытым небом не вызовет сплетен». Однако Синдзо было не до смеха. «Значит, на набережной Исигаси?» — нетерпеливо перебил он. «Ничего не поделаешь, так она решила, — был ответ. — Велела прийти между шестью и семью вечера. Когда освободишься, загляни ко мне». Синдзо поблагодарил, сказав, что зайдет. Поспешно положил трубку и стал с нетерпением ждать заката. Считал на счетах, помогал составлять баланс, делал указания насчет подарков по

случаю праздника О-Бон. И все время раздраженно поглядывал на стрелки часов, стоявших на конторке.

Когда после тягостного ожидания он наконец улизнул из типографии, было около пяти часов и солнце еще не зашло. Всунув ноги в гэта, приготовленные для него мальчишкой на побегушках, он выбрался на покрытую асфальтом улицу, оставив позади запах свежей краски на плакатах с рекламой новых изданий, и тут случилось нечто странное. Не успел он ступить на асфальт, как прямо пред его носом, почти касаясь полей его соломенной шляпы, пролетели две бабочки. Кажется, их называют «Кавалер ксут». Черные крылья их отливали зловещим зеленоватым блеском. Не придав этому никакого значения, он проводил бабочек рассеянным взглядом, пока они не исчезли в вечернем небе, будто кто-то снизу подтолкнул их, и вскочил в подвернувшийся, к счастью, трамвай, направлявшийся в Уэно. На Суде он пересел на другой трамвай, сошел перед Кокугиканом. И снова, едва не касаясь полей его шляпы, мимо пролетели две черные бабочки. Вряд ли бабочки летели следом за ним от Нихонбаси до того места, где он сейчас находился; однако он и на этот раз не обратил на них внимания, и, поскольку до встречи оставалось еще время, он решил заглянуть в опрятную харчевню с бамбуковой чашей на вывеске, которую приметил на повороте к Хитоцумэ. В этот день он не выпил и капли сакэ и чувствовал странное стеснение в груди. Уписав тарелку холодной гречневой лапши, в сумерках он, словно беглец, скрывающийся от людских глаз, крадучись выскользнул из харчевни. Только он вышел на улицу, как, словно преследуя его по пятам, у самого его носа вспорхнули прямо вверх две черные бабочки, синезеленая пыльца как бы отпечаталась на черном бархате их крыльев. Видимо, из-за нервного напряжения ему показалось тогда, что бабочки, коснувшиеся крылышками его лба, вырисовывались в холодно-прозрачном вечернем воздухе, как большие птицы. И когда он невольно остановился в страхе, они уменьшились в размере и, порхая друг над другом, растаяли у него на глазах в темном небе. Синдзо сказал, что из-за этого странного порхания бабочек он стал сомневаться, идти ему или не идти к Исигаси, не появится ли у него желания кинуться в воду, когда он будет стоять на набережной. Но тревога за жизнь О-Тоси, которая этим вечером должна прийти на свидание, взяла верх. Он сразу же опомнился и поспешил

прямо к назначенному месту по улице мимо монастыря Докоин, где людские тени мелькали в сумерках, как летучие мыши. Однако, когда он примчался туда, с неба над набережной, там, где гранитные псы сторожили вход в храм, снова слетели, порхая друг над другом, две черные бабочки с сине-зеленым отливом на крыльях и, влекомые ветром, исчезли у подножья телеграфного столба, где еще было пятно света.

Поэтому, прохаживаясь в ожидании О-Тоси по набережной, он был сам не свой: то снимал шляпу, то снова ее надевал, то доставал из рукава часы и поглядывал на них, и этот час ожидания вызвал в нем раздражения больше, чем время, проведенное за конторкой в типографии. Однако О-Тоси не приходила, и он невольно пошел с набережной по направлению к дому старухи О-Сима и, пройдя с половину тѣ, увидел справа платную баню. На вывеске с намалеванным большим персиком красовались иероглифы: «Баня «Лепестки персика» — средство от всех хворей». «Уж не та ли это баня, о которой говорила О-Тоси?» — подумал он. И как раз в это время, откинув норэн, занавешивающий вход в женское отделение, в сумерки улицы вышла О-Тоси. На ней было то же самое кимоно из темно-синего дешевого касури в белый горошек, перетянутое оби из шерстяного муслина, с рисунком в виде пышных гвоздик. Только лицо ее мило покраснелось после бани и боковые локоны прически «бабочка» блестели — видимо, еще не высохли. Осторожно прижимая к себе ящичек с мокрым полотенцем и мылом, она с опаской оглядывалась по сторонам. Но видно, сразу заметив Синдзо, улыбнулась все еще с тревогой в глазах и, кокетливо приблизившись к нему, сказала: «Извините, что заставила вас ждать». — «Ну что ты, я несколько не ждал. Спасибо, что пришла», — ответил Синдзо, и они, не спеша, пошли обратно на набережную Исигаси. Спутница его все еще беспокойно оглядывалась, и он спросил, подтрунивая над ней: «Что это ты? Уж не гонится ли кто за тобой?» — «Ах, извините! Забыла поблагодарить вас за то, что пришли», — сказала О-Тоси, но в голосе ее по-прежнему чувствовалась тревога. Тогда и Синдзо забеспокоился и спросил, что же все-таки произошло. Но О-Тоси, болезненно улыбаясь, лишь твердила: «Вы и не знаете, какой страшной опасности вы подвергли не только меня, но и себя, когда пришли к старухе и попросили ее погадать!» Между тем они подошли к набережной Исигаси,

и, увидев гранитных сторожевых псов, О-Тоси вздохнула наконец с облегчением. Синдзо опасно вошел за нею на набережную и, усаживаясь небрежно на влажный от вечерней росы камень в тени сторожевых псов и радуясь, что они никому не попались на глаза, снова спросил: «Что же угрожает моей жизни? О какой опасности ты говоришь?» О-Тоси молча обвела взглядом темную воду реки Татэкавы, бьющей о каменный парапет, — будто молилась про себя, — потом радостно улыбнулась Синдзо и тихо прошептала: «Теперь уже ничего не случится. Раз мы дошли до этого места». Синдзо, словно заколдованный, молча уставился на О-Тоси. И когда О-Тоси, усевшись с ним рядом, сбивчиво обо всем рассказала, Синдзо наконец понял, какого страшного врага они себе нажили. И не мудрено, что О-Тоси боялась за их жизнь.

Люди думали, что старуха О-Сима — мать О-Тоси, на самом же деле она приходилась ей дальней теткой, и родители О-Тоси, когда были живы, даже не общались с ней. Отец О-Тоси, потомственный плотник, строитель храмов, бывало, говаривал: «Поверьте моему слову, эта самая Сима — не человек. Если я вру, взгляните на ее бока. Непременно увидите рыбы чешуйки». А когда встречал ее на улице, тут же высекал из огнива огонь и посыпал землю солью. Вот до чего доходило! Незадолго до смерти отца у старухи О-Сима появилась воспитанница, болезненная девочка-сирота, которая приходилась племянницей матери О-Тоси и с детства была подружкой О-Тоси, и, естественно, установились какие-то родственные связи между домом О-Тоси и домом старухи О-Сима. Но и это продолжалось всего год-два, потому что вскоре у О-Тоси умерла мать. Ни братьев, ни сестер, которые могли бы позаботиться о девочке, не было, и не прошло и ста дней, как О-Тоси определилась и услужение в дом Синдзо на Нихонбаси. Связь со старухой О-Сима, таким образом, оборвалась. Почему О-Тоси снова стала навещать старуху О-Сима, я расскажу потом.

О-Тоси ничего не знала о прошлом старухи О-Сима, хотя, конечно, могла спросить об этом у покойного отца, только слышала от матери или еще от кого-то, что О-Сима были раньше жрицей, обладавшей способностью сноситься с душами умерших, но к тому времени, когда с ней познакомилась О-Тоси, она занималась уже заклинаниями в гадала с помощью таинственной силы Великого духа

Басара. Происхождение этого Великого духа Басара было так же туманно, как и самой старухи О-Сима. Ходили разные слухи: кто говорил, что это Тэнгу, кто думал, что это Лисица. О-Тоси же считала, что дух этот непременно должен быть обитателем подводного царства. Недаром же старуха О-Сима всякую ночь, как пробьет два часа, спускается по лестнице с веранды с обратной стороны дома, погружается в воду реки Татэкавы по самую шею и сидит там более получаса. В такую хорошую погоду, как сейчас, это куда ни шло, но она ведь и в холодные дни, когда идет снег попеременно с дождем, в одной набедренной повязке, словно выдра с человеческим лицом, плюхается в воду. Однажды О-Тоси, забеспокоившись о ней, взяла фонарь и, открыв калитку, осторожно заглянула в реку. И что же она увидела? В темной воде, казавшейся еще чернее из-за того, что на крышах амбаров, выстроившихся в ряд на другом берегу, лежал белый снег, словно плавающее гнездо какой-нибудь птицы, торчала коротко остриженная голова старухи. Деяния же старухи — заклинания и гадания — имели свои последствия. За деньги она наслала смерть на родителей, мужей и братьев многих, да все, говорят, хороших людей. Ведь погубила же она без всякой жалости юношу в угоду одному богатому рисоторговцу, который влюбился в ту же гейшу с Янагидабаси, что и этот юноша. И может, какая в том есть тайная причина, неизвестно, только никакие ее заклинания не могут причинить вреда людям, которые находятся в том месте, где, как вот на этой набережной Исигаси, кто-нибудь да погиб по ее воле. Более того, даже она, ясновидящая, не может увидеть ничего, что творится в таком месте. Поэтому-то О-Тоси нарочно вызвала Синдзо на набережную Исигаси.

Отчего же старуха О-Сима так ожесточенно препятствовала любви О-Тоси и Синдзо? Дело в том, что один биржевой маклер, который с весны повадился ходить к старухе гадать о курсе акций, заметил красоту О-Тоси и, посулив старухе большие деньги, добился ее обещания отдать О-Тоси ему в жены. Если бы все обстояло только так, дело можно было бы уладить деньгами. Но была еще одна удивительная причина ее упорства — старуха О-Сима не смогла бы ни гадать, ни предсказывать, уйди от нее О-Тоси. Когда она приступала к ворожбе и заклинаниям, прежде всего она вселяла духа Басара в О-Тоси и получала его указания из уст О-Тоси. Казалось бы, чего

проще: разговаривай сама с духом. Так нет. Оказывается, тот, кто входит в состояние, когда не различают уже, где сон, где явь, и начинает общаться с неведомым людям миром, — очнувшись, совершенно не помнит, что с ним было и с кем он беседовал. Так что старуха поневоле должна была вселять духа Басара в О-Тоси и из ее уст получать его повеления. А раз так, посудите сами, могла ли старуха О-Сима расстаться с девушкой? Однако биржевой маклер метил дальше: по-видимому, он хотел и похоть ублажить, и набить карман. Когда О-Тоси станет его женой, рассуждал он, старуха непременно последует за ней. Тогда он заставит старуху бесплатно предсказывать ему биржевой курс, и он сможет стать королем биржи. А каково О-Тоси? Хотя она и делала все во сне, но старуха вершила свои злодеяния, все же следуя ее словам. О-Тоси чувствовала смутную тревогу, подозревая, что ее используют в злодейских целях. Этого не понять тому, кто не имеет совести. Воспитанницу свою, ту, о которой я говорил раньше, старуха О-Сима как взяла в дом, так все время терзала, вселяя в нее духа Басара, и девочка, без того уже слабая здоровьем, совсем зачахла. В конце концов, измученная угрызениями совести, она повесилась, когда старуха спала. И О-Тоси отпросилась уйти из дома Синдзо как раз тогда, когда умерла воспитанница старухи. Видно, старуха под предлогом, что должна передать ей предсмертное письмо, оставленное подружкой детства, хотела поскорее приспособить О-Тоси вместо умершей воспитанницы. Так она ловко заманила О-Тоси к себе в дом, а там стала угрожать, что убьет, но ни за что не отпустит. О-Тоси, которая была обручена с Синдзо, хотела в тот же вечер убежать от старухи, но старуха была настороже. О-Тоси часто поглядывала за решетчатую дверь, но всякий раз видела там огромную змею, свернувшуюся толстыми кольцами, и не осмеливалась сделать и шагу. И потом она пыталась улизнуть, уловив момент, однако все время наталкивалась на такую же странность и не могла осуществить свое намерение. Тогда она решила, что это не иначе как предопределение судьбы, и волей-неволей покорилась старухе.

Однако после прихода Синдзо, когда старуха узнала об их отношениях, и без того жестокая, она стала еще больше мучить О-Тоси. Она била ее и щипала, странным образом подвешивала ее глубокой ночью в пустоте за руки, обвивала ее шею змеями — словом, измывалась над

бедной девушкой так, что у Синдзо волосы дыбом встали от страха, когда он представил себе это. Но горше всего было слышать, что старуха в промежутках между попытками, ехидно ухмыляясь, злобно пугала О-Тоси, говоря, что, если та не перестанет думать о Синдзо, то, даже лишив его жизни, она не отпустит ее от себя. О-Тоси совсем отчаялась от всего этого и надумала было покончить с собой, но мысль о том, что с Синдзо может случиться непоправимое, привела ее в ужас, и она решила обо всем поведать Синдзо без утайки. Однако, подумав о том, что Синдзо, узнав о ней такие ужасные подробности, может проникнуться презрением и отвращением к ней, женщине, которая невольно совершает страшные злодеяния, она прибежала к Тай-сану. Из всего этого можно представить себе, в каком смятении была ее душа.

Окончив рассказ, О-Тоси подняла свое бледное лицо и, глядя в глаза Синдзо, сказала: «Как ни горько, как ни печально, но, раз уж такая у меня судьба, давай расстанемся, как будто между нами ничего и не было...» И не в силах сдержать охватившее ее отчаяние, она припала к коленям Синдзо и, закусив рукав, заплакала. Синдзо сильно огорчился. Глядя О-Тоси по плечу, он то увещевал ее, то подбадривал, но, к сожалению, не мог придумать способа избавиться от старухи О-Сима и спасти их любовь. Однако показывать слабость перед О-Тоси было бы некстати, и поэтому он сказал уклончиво и нарочито бодрым голосом: «Ну зачем же так беспокоиться? У нас еще есть время, что-нибудь придумаем». О-Тоси перестала плакать, подняла голову с колен Синдзо и с тоскою в голове неуверенно сказала: «Время-то есть, но вряд ли что-нибудь можно сделать, старуха сказала, что послезавтра ночью снова вселит в меня духа Басара, и если я тогда нечаянно проговорюсь...» Тут Синдзо вздрогнул и совершенно пал духом. Раз это произойдет послезавтра, надо срочно найти какой-нибудь выход. Иначе на него самого и на О-Тоси обрушится непоправимое несчастье. Но как за это короткое время обуздать зловеющую старуху?! Обратиться в полицию? Однако преступления, совершаемые в потустороннем мире, не подлежат наказанию по закону. Воззвать к общественному мнению, рассказав всем о злодеяниях старухи О-Сима? Оставят без внимания, как смехотворное суеверие. И Синдзо ничего не оставалось, как молча стоять, сложив на груди руки. Некоторое время тянулось это тягостное молчание. Потом О-Тоси подняла

полные слез глаза и, глядя на темное небо с тусклыми звездами, прошептала: «Лучше бы мне умереть!» И вдруг, словно испугавшись чего-то, боязливо огляделась вокруг и сказала, как человек, совершенно измученный душой и телом: «Пойду я. А то старуха снова будет мучить меня, если поздно вернусь». И точно, прошло, пожалуй, уже полчаса, как они пришли туда. Их окружала сумеречная мгла, напоенная запахом прилива, гора дров на другом берегу реки и томобунэ, привязанные у этой горы, слились в один безбрежно-синий цвет, и только вода реки Татэкавы волнисто белела, как брюхо большой рыбы. Синдзо обнял О-Тоси за плечи и, нежно целуя, ободрил как мог: «Приходи сюда завтра вечером. А я до тех пор раскину умом, да что-нибудь и придумаю». Вытирая слезы на щеках влажным полотенцем, О-Тоси молча кивнула с печальным видом. Затем, грустно поднявшись с каменного парапета, она хотела было направиться с Синдзо, тоже очень огорченным, к пустынной улице, мимо сторожевых псов у храма, но слезы снова вдруг хлынули из ее глаз, и, опустив уныло голову, отчего, даже в темноте, стал виден ее красиво очерченный затылок, она снова грустно прошептала: «Ах, лучше бы мне умереть». И тут у того самого столба, где недавно исчезли две черные бабочки, смутно выплыл из темноты большой человеческий глаз. Величиной в три сяку, без ресниц, мутный, подернутый синеватой пленкой, глаз глядел из темноты, не прикрепленный ни к чему. Он появился вдруг, как пузырь пены на воде, потом немного отплыл в сторону над землей и застыл. И вдруг его грязноватый, цвета копоти с желтизной, зрачок скошил в уголок глаза. И странно: несмотря на то, что глаз этот смутно вырисовывался в полной темноте улицы, он излучал какой-то зловещий блеск. Синдзо, сжав кулаки и заслонив собой О-Тоси, с ужасом вперил взгляд в этот чудовищный призрак. Спина его вдруг похолодела, словно по ней пробежал ледяной ветер, и дыхание остановилось. Он хотел было закричать, но не издал и звука. К счастью, Синдзо, по-видимому, уставился в глаз со всей злобой и ненавистью, на которую был способен, и глаз постепенно потускнел, захлопнул свое большое, как ракушка, веко, и странное видение у столба исчезло. Только, показалось ему, что-то похожее на черную бабочку вспорхнуло и улетело. Возможно, это была летучая мышь, коснувшаяся крылом земли. Синдзо и О-Тоси, словно очнувшись от дурного сна, перегляну-

лись, совершенно бледные, и, прочитав в глазах друг у друга отчаянную решимость, невольно крепко схватились за руки и задрожали как осиновые листья.

Некоторое время спустя Синдзо, все еще с дикими глазами, сидел в прохладной задней гостиной у Тай-сана и рассказывал тихим шепотом о чудесах, с которыми он столкнулся этим вечером. И черные бабочки, и тайна старухи О-Сима, и огромный глаз в темноте — все это покажется современным молодым людям совершенным вздором. Однако Тай-сан, ожидавший услышать рассказ о таинственной силе старухиных заклинаний, нисколько не удивился; затаив дыхание, он внимал гостю, угощая его мороженым. А тот продолжал: «Когда таинственный глаз исчез, О-Тоси, побледнев как полотно, сказала: «Что же делать? Старухе уже известно, что мы встретились». Тогда я твердо заявил: «Раз уж так все получилось, считай, что между нами и старухой началась война. Так что узнала она или нет — не все ли равно». Хуже всего то, что завтра я назначил О-Тоси свидание на той самой набережной Исигаси. Но если старуха заметила сегодняшнее ее отсутствие, вряд ли она отпустит ее завтра. И пусть даже мы придумаем план спасения О-Тоси из когтей старухи за эти два дня — если не удастся мне завтра вечером увидеть О-Тоси, план этот так и не будет осуществлен. Мне кажется, что я забыл и богами и буддой. Как я шел к тебе, расставшись с О-Тоси, уж и не знаю!» И Синдзо, окончив рассказ, словно опомнившись, стал обмахивать себя веером, с тревогой глядя в лицо Тай-сана. А Тай-сан, нисколько не удивляясь, смотрел, как тихо кружится на ветру папоротник, свисающий с козырька крыши, и наконец, обратив взор на Синдзо, сказал, сдвинув брови: «Значит, чтобы достигнуть цели, ты должен выполнить три задачи: во-первых, благополучно, — да, благополучно, — вырвать О-Тоси из рук старухи О-Сима; во-вторых, сделать это непременно до послезавтра, для чего завтра нужно увидеться с О-Тоси. Если будут осуществлены первая и вторая задачи, третья сама собой отпадет». — «Как это?» — уныло спросил Синдзо. Тогда Тай-сан сказал с поразительным хладнокровием: «Не беспокойся. Ты не встретишься, я...» Но тут же осторожно огляделся вокруг и, обратив все в беспечную шутку, сказал: «Давай-ка лучше подержим это в секрете. Похоже, старуха расставила вокруг тебя крепкие сети. Лучше держать язык за зубами. Думаю, что и с первой и со второй

задачей мы справимся. Во всяком случае, поручи это дело мне. А сегодня пей пиво да набирайся мужества». Синдзо слушал его с раздражением и нетерпением, но когда стал пить пиво, случилось нечто, отчего можно было подумать, что предосторожность Тай-сана была не лишней. Когда они начали разговаривать о том о сем, Тай-сан заметил, что на подносе Синдзо вместе с тарелочкой копченой кеты стоял стакан, до краев наполненный пивом, и пена уже осела. Он поднял бутылку с каплями влаги на дне и сказал весело: «Давай-ка осушим по стаканчику». Синдзо, ничего не подозревая, поднял стакан и собирался было выпить его залпом — в блестящей поверхности пива в стакане отразилась электрическая лампочка, висевшая на потолке, и ё с и д о , — тут он увидел, что на какое-то мгновение там же появилось странное человеческое лицо. И не просто странное человеческое лицо, непонятно было, человек это или животное; не то птица, не то зверь, а может быть, змея или лягушка. И даже не все лицо, а только верхняя его часть, и эта часть с глазами и носом, словно пытаясь заглянуть через плечо Синдзо в его стакан, загородила свет лампочки, бросив отчетливую тень на стену. Все это длилось какие-то секунды, хотя рассказываю я долго. Глаза непонятого существа из стакана с темным пивом быстро взглянули в глаза Синдзо. И тут же исчезли. Синдзо поставил стакан с пивом, которое собирался выпить, обратно на столик и с опаской оглянулся. Лампочка светила как и прежде, колыхались на ветру пучки папоротника, свисавшие с козырька крыши, никакого загадочного существа в этой прохладной комнате не было. «Что случилось? Муха попала?» — спросил Тай-сан, и Синдзо, вытерев пот с лица, нехотя ответил: «Знаешь, какое-то странное лицо отразилось в стакане». — «Странное лицо?» — переспросил Тай-сан и заглянул в стакан Синдзо. Разумеется, он ничего не увидел теперь, кроме своего собственного лица. «Может быть, тебе почудилось? Какой бы ни была старуха ясновидицей, но до моего дома ей не дотянуться!» — «Да ты сам только что сказал, что она раскинула плотную сеть вокруг меня!» — «Что верно, то верно, и все же... и все же она вряд ли стала бы отхлебывать из твоего стакана. Поэтому пей спокойно». Так Тай-сан пытался всячески подбодрить впавшего в уныние приятеля. Однако Синдзо становился все мрачнее и мрачнее и наконец, даже не пригубив стакан, стал собираться домой. Тогда Тай-сан, делать нечего, распрощался с ним ласко-

во, наказав не падать духом и ехать на такси, а не на трамвае, потому что так надежнее.

В ту ночь Синдзо хоть и спал, но все время его мучили кошмары — ему снились какие-то странные сны. И как только настало утро, он тотчас же позвонил Тай-сану, чтобы поблагодарить за заботу. Грубку поднял приказчик из лавки Тай-сана и сказал: «Хозяин рано утром куда-то уехал». Синдзо подумал, что Тай-сан уехал, вероятно, к старухе О-Сима, но спросить об этом прямо не смог, да если бы и спросил, вряд ли приказчик мог что-нибудь знать, и, хорошенько наказав приказчику передать хозяину, чтоб позвонил ему, когда вернется, повесил трубку. Перед полуднем Тай-сан позвонил Синдзо — оказалось, он, как и задумал, ходил утром к старухе О-Сима справиться о расположении своего дома. «К счастью, я видел О-Тоси и тихонько передал ей записочку со своим планом. Ответ должен быть завтра. Во всяком случае, О-Тоси, видимо, согласится, потому что дело не терпит отлагательств», — сказал Тай-сан. Синдзо, чувствуя, что все как будто налаживается, захотел узнать о намерениях Тай-сана. «Что же ты задумал?» — спросил он, но Тай-сан, как и прошлым вечером, усмехнувшись, сказал: «Подожди денька два-три. Мы же имеем дело со старухой, так что надо быть начеку. Давай-ка я тебе сам позвоню. До свидания!» Переговорив по телефону, Синдзо, как обычно, сел за конторку. Думая, что в эти два дня решится судьба его и О-Тоси, он не ощущал ни уныния, ни нетерпения, ни радости, а только странное возбуждение. Ему не хотелось брать в руки ни тетради, ни счетов. И под предлогом, что у него все еще держится жар, он ушел после полудня на второй этаж и лег спать. Но его все время беспокоила мысль, что кто-то неотступно следит за каждым его шагом. Эта мысль неотвязно преследовала его, спал ли он или бодрствовал. Часов около трех пополудни ему показалось, что у лестницы наверху кто-то сидит на корточках и смотрит на него сквозь решетчатую дверь. Он вскочил и пошел взглянуть, кто бы это мог быть. Но там никого не оказалось. На блестящем, хорошо отполированном полу неясно отражалось лишь небо за окном.

На следующее утро Синдзо не находил себе места, ожидая телефонного звонка Тай-сана. Его позвали к телефону в то же самое время, что и вчера. Еще более бодрым, чем накануне, голосом Тай-сан торжественно повел речь: «Ну вот, у меня уже есть ответ О-Тоси. Все идет по

моему плану. Как я получил ответ? Да сам явился к старухе якобы по делу. О-Тоси сразу же вышла, как я просил в записке, и незаметно сунула мне ответ. Славно так написано хираганой: «Согласна». Так Тай-сан разглагольствовал, но на этот раз почему-то в их разговор вклинился еще какой-то голос. Слов было не разобрать, но, в отличие от ясного голоса Тай-сана, это был гнусавый, слабый, задыхающийся тягучий шепот. Он влез в разговор, будто мрак в солнечную погоду, и тягуче лился из телефонной трубки. Сначала Синдзо подумал было, что это на линии помехи, и, не обращая на них внимания, торопил Тай-сана, весь поглощенный вестью о любимой. «А потом, что же потом?» — подгонял он Тай-сана. Между тем этот странный голос услышал, по-видимому, и Тай-сан. «Что это за шум? У тебя?» — спросил он. «Да нет. У меня тихо. Помехи, наверно», — ответил Синдзо. Тай-сан шелкнул с досады языком: «Положи трубку, я перезвоню». Он звонил раза три, коротко переговорил с телефонисткой, соединился снова как положено, но брющающий голос, похожий на жабий шепот, не исчез. Наконец Тай-сан пришел в себя и продолжил рассказ: «Ничего не поделишь. Видно, где-то повреждение. Вернемся к предмету разговора. Раз О-Тоси согласилась, думаю, все успешно закончится, как и задумано. Жди спокойно вестей». Синдзо, тревожась о том, что там придумал Тай-сан, спросил его снова, как и вчера: «Что же ты собираешься делать?», но Тай-сан отделался шуточкой: «Подожди еще денек. Думаю, завтра в это же время непременно тебе сообщу. И не спеш. Представь себе, что ты плывешь на большом корабле. Ведь есть же поговорка: «Хороших вестей жди лежа». И не успел затихнуть его голос, как до слуха Синдзо вдруг донесся тусклый шепот: «Брось ерепениться!» Голос явно насмеялся над ним. «Что это? Этот голос?!» — невольно воскликнули разом Синдзо и Тай-сан, но в трубке все смолкло, гнусавый шепот прекратился. «Плохо дело. Это же старуха! Может статься, что наш план... Ну, ладно. Завтра поглядим. На этом разреши откланяться». В голосе Тай-сана звучало явное смятение. Раз уж старуха О-Сима стала совать нос в их телефонные разговоры, она, несомненно, заметила и тайную переписку между Тай-саном и О-Тоси. Значит, беспокойство Тай-сана не напрасно. Если старуха узнала о плане Тай-сана, все пропало. И то, что он даже не знает этого плана, ничего не изменит. Положив трубку, Синдзо в расстроенных

чувствах рассеянно поднялся на второй этаж и до заката солнца смотрел оцепенело на голубое небо за окном. А в небе — может, это ему и казалось, оттого что он был не в себе, — кружили стаи мрачных черных бабочек, словно плели какой-то зловещий цветной узор. Однако Синдзо был так измучен и душой и телом, что даже не почувствовал всей странности этого явления.

В ту ночь он снова маялся кошмарами и не смог хорошенько выспаться. Однако на рассвете у него отлегло от сердца, и, съев наспех завтрак, показавшийся ему безвкусным, словно песок, он тут же позвонил Тай-сану. «Ты что так рано! Не слыхом ли жестоко будить меня в такую рань? Ведь ты знаешь, я люблю поспать утром!» — недовольно сказал Тай-сан сонным голосом. Но Синдзо, не отвечая ему, твердил, будто капризный ребенок: «Вчерашний телефонный разговор лишил меня покоя, и я не могу сидеть дома. Сейчас еду к тебе. Наш разговор тревожит меня. Ты меня понял? Я немедленно еду к тебе». Услышав возбужденный голос Синдзо, Тай-сан нехотя сказал: «Ну, приезжай. Жду». Едва окончив говорить, Синдзо с озабоченным лицом бросился вон из типографии, не сказав встревоженной матери, куда он идет.

На небе клубились темные тучи, а на востоке, в разрывах между ними, полыхали медным цветом облака. Сильно парило, и было душно. Разумеется, Синдзо было не до того, чтобы обратить на это внимание, он тотчас же вскочил в трамвай, к счастью пустой, и уселся в середине вагона. Может, вновь сказаласть усталость, которая отпустила его на время, или еще отчего-нибудь, — только Синдзо опять помрачнел, а голова заболела так сильно, что даже соломенная шляпа, казалось, сжимает ее, будто клещи. Пытаясь как-то отвлечься, он поднял глаза, до того, устремленные лишь на кончики гэта, и огляделся. И что же? Трамвай тоже был каким-то странным: кожаные ремешки, свешивавшиеся с потолка по обеим сторонам вагона, качались, словно маятники, от движения трамвая, и только те ремешки, что висели над головой Синдзо, собрались в кучку и висели неподвижно. «Странно как-то», — подумал Синдзо, но не придал этому особого значения. Мало-помалу им вновь стало овладевать противное ощущение, что кто-то следит за ним. Он решил пересесть, чтобы уйти от этих неподвижных ремней, и занял свободное место в углу на другой стороне. Однако, взглянув случайно наверх, увидел, что качавшиеся ремни внезапно

остановились, словно их перевесили, а те, что висели неподвижно, будто радуясь свободе, принялись сильно раскачиваться. Синдзо охватил невыразимый страх. Он даже забыл о боли и, невольно ища спасения, обвел глазами лица пассажиров, и тут старушка, сидевшая напротив и наискосок от него, высунула голову из воротника своего черного хифу и пристально взглянула на него сквозь очки в зеленой оправе. Конечно, она не имела никакого отношения к старухе-прорицательнице, но Синдзо, поймав на себе ее взгляд, вспомнил бледное одутловатое лицо старухи О-Сима и не мог усидеть на месте. Сунув билет кондуктору, он быстрее карманного воришки, пойманного за руку, спрыгнул с трамвая. Трамвай мчался с большой скоростью, и поэтому, когда ноги его коснулись земли, с головы слетела шляпа. Ремешки гэта лопнули. Он упал ничком на землю. Ободрал коленку. И если бы в ту же секунду не вскочил на ноги, его переехала бы машина, вывернувшаяся неизвестно откуда в облаке пыли. Весь в грязи, окутанный гарью бензина, на желтом заднем борту проскочившей мимо машины он увидел черную бабочку — торговый знак фирмы, и тут понял, что бог спас его от смерти.

Случилось это происшествие неподалеку от остановки Куракакэбаси. К счастью, ему попался свободный рикша. Он кое-как вполз в тележку и, все еще не в себе, поспешил к Хигасирёгоку. Сердце его учащенно билось, содранные колени болели, и вдобавок, напуганный происшествием, он все время опасался, как бы не перевернулась тележка, в которой он сидел, так что был ни жив ни мертв. К тому же, когда рикша подвез его к Рёгокубаси, оп, увидев, что в небе над Кокутиканом черные облака, подернутые серебристо-мутной дымкой, а па водной глади широкой роки голубоватые, как крылья бабочек сидзими, паруса, впал в мрачное уныние, полагая, что близок час его смертной разлуки с О-Тоси, и невольно слезы наполнили его глаза. Поэтому, когда рикша перебежал через мост и опустил наконец свои оглобли у ворот дома Тай-сан, душа его словно окаменела: он уже не знал, то ли радоваться ему, то ли печалиться. Всунув в руки ошеломленного рикши непомерно большую горсть монет, он тут же нырнул в лавку Тай-сана.

Увидев лицо Синдзо, Тай-сан чуть ли не за руку потащил его в заднюю гостиную и, заметив ссадины на руках и ногах приятеля и порванное хаори, изумленно спросил: «Что с тобой?! Ты в таком виде?!» — «С трамвая у п а л , —

ответил Синдзо. — Выпрыгнул у Куракакэбаси и встал на четвереньки». — «Должен же быть предел глупости! Ты ведь не из деревни. А для чего тебе понадобилось там выпрыгивать?» — спросил Тай-сан. Тут Синдзо поведал Тай-сану о чудесах, которые произошли с ним в трамвае. Тот выслушал все от начала до конца, непривычно для него нахмурился и пробормотал себе под нос: «Да, плохи наши дела. Уж не попалась ли О-Тоси?» Услышав имя О-Тоси, Синдзо вдруг заволновался и строго спросил: «Что значит попалась? Какое дело ты поручил ей?» Но Тай-сан, не отвечая, продолжал смущенно бормотать: «Возможно, это моя вина. Если бы я не проговорился тебе по телефону, что передал ей записку, старуха не пронюхала бы о моем плане». И Тай-сан даже вздохнул от огорчения. Терпение Синдзо лопнуло, и он закричал сердито, дрожащим голосом: «Будет очень жестоко с твоей стороны, если ты сейчас же не расскажешь о своем плане. Из-за тебя я страдаю вдвойне». — «Конечно, вдвойне страдаешь, — сказал Тай-сан, успокаивая его жестом. — Вдвойне. И я хорошо понимаю тебя. Но знай, это неизбежно. Ведь у нас такой враг, как старуха. Я и вправду думаю: промолчи я о записке, которую передал О-Тоси, дела наши, возможно, шли бы теперь лучше. Потому что старуха следит за каждым твоим шагом, а после того разговора по телефону и с меня глаз не спускает. Но со мной таких чудес, как с тобой, еще не бывало, так что я буду держать все у себя в голове, сколько бы ты ни сердился, пока не узнаю совершенно точно, что мой план не удался». Тай-сан убеждал и утешал Синдзо, тот же, все еще беспокоясь об О-Тоси, сердито сдвинув брови, напал на Тай-сана: «Не случилось ли все же какого-нибудь несчастья с О-Тоси?» На что Тай-сан лишь промгчал неопределенно: «Гм!» — и задумался. Потом спохватился и, быстро взглянув на настенные часы, сказал: «Что-то мне тревожно. Давай-ка, не заходя в дом к старухе, походим там около, поглядим». Синдзо, конечно, тотчас же согласился. Потому что тоже не мог больше сидеть сложа руки, не находил себе места. Через каких-нибудь пять минут оба они в хаори поспешно вышли из дома Тай-сана.

Но не прошли они и полквартила, как услышали за спиной топот. Оба сразу обернулись, однако подозрительного никого не обнаружили — мальчик из лавки Тай-сана бежал за хозяином, таща на плече зонтик «змеиный глаз». «Зонтик, что ли, принес?» — «Ага, приказчик велел

взять — похоже, дождь будет». — «Мог бы и для гостя захватить!» — натянуто улыбнувшись, сказал Тай-сан. Мальчик растерянно почесал в затылке и, неуклюже поклонившись, со всех ног помчался обратно в лавку. И действительно, над головой громоздились черные ливневые облака, а небо, просвечивающее кое-где сквозь них, было зловеще-холодного, как блестящая сталь, цвета. Синдзо, шагая рядом с Тай-саном, заметив цвет неба, опять подумал о мрачном предзнаменовании и молча ускорил шаг в темноте, не поддерживая беседы со спутником. Тай-сан мелко трусил за ним, озабоченно вытирая пот, но потом это ему надоело, и он не спеша пошел следом под зонтиком, поглядывая иногда с жалостью на спину друга. У Итинобаси они свернули влево, и, когда пришли к набережной Исигаси, где Синдзо и О-Тоси видели в сумерках огромный глаз, сзади их нагнал рикша. Он промчался мимо Тай-сана, и, когда Тай-сан увидел человека, сидящего в коляске, он вдруг нахмурился и громко окликнул Синдзо: «Эй, остановись!» Синдзо поневоле остановился, неохотно оглянулся на друга и спросил недовольно: «Ну что там?» Тай-сан поспешно догнал его и задал ему странный вопрос: «Ты видел лицо человека, который только что проехал на рикше?» — «Видел. Худощавый мужчина в темных очках», — с подозрением ответил Синдзо и снова зашагал вперед. Тай-сан, не отступая, сказал вдруг многозначительно: «Знаешь, это мой постоянный клиент, биржевой игрок по прозванию Кагисо. Я думаю, уж не он ли имеет виды на О-Тоси? Не то чтобы я был очень уверен, однако мне почему-то так показалось». — «Показалось, наверно», — бросил Синдзо уныло, шагая мимо той самой бани «Лепестки персика», не глядя на вывеску. Но Тай-сан, указывая зонтиком, куда идти, сказал: «Нет, не показалось. Взгляни! Рикша остановился у дома старухи». И он торжествующе посмотрел на Синдзо. И действительно, тот самый рикша, что пробежал мимо них, сидел теперь между оглоблями своей коляски, задом к ним, с золотым гербом на спине, под низко свесившимися ветвями ивы, ожидавшей дождя.

При виде рикши унылое лицо Синдзо немного оживилось, но он все так же монотонно и скучно ответил: «Ведь у старухи не только Кагисо бывает, другие биржевые маклеры тоже заходят погадать». Тем временем они уже поравнялись с лавкой штукатура, соседней с домом старухи О-Сима. Не настаивая на своей версии, Тай-сан

не спускал глаз с окрестностей и, словно прикрывая собой Синдзо, пошел рядом с ним. Прижавшись друг к другу плечами, они прошли мимо дома старухи О-Сима. Не поворачивая головы, искоса взглянули на дом, пытаясь заметить что-нибудь необычное, но не увидели ничего, кроме коляски рикши, на которой приехал жених. Теперь они видели ее вблизи: рикша с окурком сигареты «Батт» за ухом читал газету, сидя посреди глубокой колеи, оставленной резиновыми шинами как раз напротив отверстия для стока воды из дома штукатура. Все остальное: и бамбуковое решетчатое окно, и замызганная решетчатая входная дверь, и камышовая дверь были совершенно такими, как прежде, не изменился и цвет старых сёдзи, и в доме было тихо, как в дремучем лесу, точно так же, как и на днях. Хоть бы мелькнул случайно рукав скромного темно-синего кимоно О-Тоси! Они прошли мимо дома старухи О-Сима к соседней с ней лавке хозяйственных товаров. Их душевное напряжение нисколько не уменьшилось, наоборот, они были сильно удручены оттого, что надежды их рухнули.

Однако, когда они приблизились к хозяйственной лавке, заваленной свертками туалетной бумаги «Асакуса», мочалками в виде черепахи, порошками для мытья головы и завешанной большими красными фонарями с надписью «Ароматические палочки от москитов», они увидели... О-Тоси, которая стояла в лавке и разговаривала с дочерью хозяина. Они переглянулись и не долго думая бодро бросились с развевающимися подолами хаори прямо в лавку. Почувствовав, что кто-то вошел, О-Тоси обернулась, и бледные щеки ее слегка порозовели, но она постаралась скрыть свое волнение от дочери хозяина лавки. Стоя под ветвями ивы, спускавшимися прямо ей на плечи, она, с трудом сдерживая радость, лишь воскликнула удивленно: «Ах, это вы?» И тогда Тай-сан, стараясь быть спокойным, слегка прикоснулся к своей соломенной шляпе и как ни в чем не бывало спросил: «Ваша матушка дома?» — «Да», — ответила О-Тоси. «А вы почему тут?» — «Я вышла купить писчей бумаги, гость попросил...» — промолвила О-Тоси и еще не успела договорить, как в лавке, затененной ветвями ивы, стало вдруг еще темнее и по красным фонарям с рекламой ароматных палочек от москитов вдруг резко хлестнули косые холодные нити дождя. Листья ивы затрепетали, и тут же громыхнул гром. Воспользовавшись этим, Тай-сан, выскакивая из

лавки, весело засмеялся, глядя на О-Тоси и дочь хозяина лавки, и сказал: «Не могли бы вы передать матушке, что я пришел к ней погадать, спросил ее у ворот, но никто не откликнулся, — видно, важный гость у нее заболтался». Разумеется, ничего не зная дочь хозяина лавки не должна была заметить, как ловко разыграл он спектакль. «Тогда иди скорее, О-Тоси!» — поторопила она девушку, а сама, подгоняемая дождем, стала убирать красные фонари с рекламой ароматических палочек от москитов. «Пока, тетушка!» — сказала О-Тоси и вышла из хозяйственной лавки вместе с Тайсаном и Синдзо. Не останавливаясь у дома старухи О-Сима, они поспешили к Хитоцумэ, загораясь от крупных капель дождя зонтом. По правде говоря, несколько минут не только влюбленные, но и обычно не унывающий Тайсан думал, что наступил самый решительный момент, когда жребий брошен и надо ждать, что выпадет: чет или нечет. До набережной Исигаси они, словно сговорившись, шли молча, опустив глаза, не обращая внимания на усилившийся ливень.

Между тем они подошли к сторожевым псам, и Тайсан, подняв голову, обернулся к влюбленным: «Это, говорят, самое безопасное место, так что переждем тут дождь». Укрывшись зонтом, они прошли между нагромождениями камней к навесу в углу набережной, покрытому циновкой. Дождь усилился и висел сплошной белой пеленой, так что не было видно противоположного берега реки Татэкавы, и одна циновка, конечно, не спасла бы их. Кроме того, капли дождя, смешанные с запахом влажной земли, проникая под навес, обволакивали их как туман. Поэтому, не закрывая зонта, они уселись рядышком на полуобтесанный камень, напоминающий столб ворот, и Синдзо тут же заговорил: «О-Тоси, а я думал, что больше уже не увижу тебя». Тут сквозь пелену дождя снова зигзагом сверкнула бледная молния и, словно разверзая облака, грянул гром. О-Тоси невольно опустила голову с прической «бабочка» на колени и некоторое время сидела, не двигаясь. Потом, подняв мертвенно-бледное лицо и устремив безжизненные глаза на струи дождя за циновкой, тихо сказала: «Я уже совсем решила». «Самобийство!» — будто фосфором выжгло эти слова в мозг у Синдзо. Тайсан, сидя между ними с большим зонтом, озираясь по сторонам, добрым голосом воскликнул: «Выше голову! И ты, О-Тоси, не унывай. Смотрите! В такое время бог смерти любит шастать по углам. И к тому же

гость, который сидит у старухи, — биржевой маклер Кагисо. Я слышал краем уха, что это тот самый маклер, который хочет взять тебя в жены, О-Тоси. Не так ли?» Тем самым Тай-сан повернул разговор в нужную сторону. И О-Тоси, словно очнувшись ото сна, взглянула ясными глазами на Тай-сана и с досадой ответила: «Да, это он». — «Гляди-ка! Как я и предполагал», — сказал Тай-сан и торжествующе поглядел на Синдзо. Но тут же с серьезным видом обернулся к О-Тоси и, утешая ее, сказал твердо, по-мужски, что придало уверенности и Синдзо: «В такой дождь даже Кагисо пробудет в доме старухи еще минут двадцать — тридцать. Тем временем расскажи мне, удался ли мой план. Если не удался, мужчины должны идти на риск. Я отправлюсь в дом старухи и попробую поговорить с ней». Тут опять грянул гром, и, несмотря на то что был день, огромные молнии непрерывно хлестали по дождю, низвергающемуся с неба как водопад. Однако О-Тоси стояла на своем, позабыв даже о печали. Лицо ее было не просто красиво, а как-то необыкновенно. Дрожащими губами — они были, как всегда, яркими — она прошептала чуть слышно: «Старуха все узнала...» И горько вздыхая и то и дело прерывая свой рассказ, она поведала им под циновкой в эту страшную грозу все, что с ней произошло. Услышав ее рассказ, они поняли, что план Тай-сана, о котором не знал Синдзо, накануне ночью провалился.

Когда Тай-сан услышал от Синдзо о том, что старуха О-Сима, вселив в О-Тоси духа Басара, узнает у нее его веления, его сразу осенила такая мысль: а что, если О-Тоси притворится, будто она уже впала в беспамятство, и от имени духа Басара одурачит старуху. Это самый простой выход из положения, и, как я уже поведал вам ранее, когда Тай-сан ходил гадать по поводу местоположения своего дома, он потихоньку сунул ей записку, в которой изложил этот план. О-Тоси подумала: чтобы осуществить задуманное, нужно перейти довольно шаткий мостик, но так как другого, более искусного плана избежать нависшее над ними несчастье не оказалось, то на следующее утро она, решившись, передала Тай-сану записку со словами: «Согласна». В двенадцать часов ночи старуха, как обычно, погрузилась в воду реки Татэкавы и затем приступила к вселению духа Басара в О-Тоси. И тут она столкнулась с непредвиденным препятствием. Но прежде чем рассказать вам подробности, нужно

поведать о странном способе старухи вселять духа, немислимом в этом мире. Когда старуха начинала свои манипуляции, она раздевала О-Тоси до набедренной повязки, связывала ей руки высоко за спиной, распускала волосы и сажала в середине темной комнаты лицом к северу. Затем сама раздевалась догола, брала в левую руку свечу без подсвечника, в правую зеркало и становилась перед О-Тоси, ожидая услышать из ее уст тайное повеление. Она приближала зеркало к О-Тоси и истово молилась — только от одного этого обычная женщина, несомненно, потеряла бы сознание. Голос старухи становился все громче и громче. Поставив зеркало вертикально, она постепенно надвигалась на девушку и непрерывно мучила ее до тех пор, пока та, быть может в ужасе перед зеркалом, не падала навзничь с завязанными руками на циновку. Тогда старуха подползала, словно пресмыкающееся, пожирающее трупы, к упавшей девушке и, тяжело нависнув над ней, заставляла глядеть снизу вверх в зловещее зеркало, освещенное свечой. И тогда этот самый дух Басара, как болотный газ, поднимающийся со дна старого омота, бесшумно появлялся в темноте и незаметно проникал в тело О-Тоси. Вперив в старуху глаза, трепеща всем телом, она, не дыша, давала тайные ответы на злые вопросы старухи. В ту ночь старуха опять собиралась вселить духа Басара в О-Тоси. О-Тоси же, как обещала Тайсану, намеревалась притвориться бесчувственной, а сама, улучив момент, внушить старухе волю духа Басара, чтобы она не смела препятствовать двум влюбленным. Все старухины вопросы она решила оставить без ответа, делая вид, что дух ничего не сказал ей. Однако, глядя в маленькое, но ослепительно сверкающее зеркало, она почувствовала, что незаметно для себя может потерять сознание. Старуха все время была начеку, непрерывно вопрошала ее о велении духа, пристально глядела в лицо О-Тоси, так что невозможно было улучшить момент и отвести глаза от зеркала. Испуская таинственный свет, зеркало страшнее рока нависало над девушкой, ловя ее взгляд. Монотонный голос опухшей старухи, нашептывающей вопросы, незаметно стал охватывать душу О-Тоси со всех сторон, будто невидимый глазу паук, и она постепенно впала в состояние на грани бодрствования и сна. Сколько времени это продолжалось, О-Тоси и сама не могла потом вспомнить, даже приблизительно. Ей показалось, что мучения ее длились всю долгую ночь напролет; сколько

она ни старалась, в конце концов она все же попала в таинственную западню, которую изготовила ей старуха. В мерцающем свете свечи бесконечно кружились черные бабочки, большие и маленькие, поднимались к потолку, зеркало куда-то исчезло, и она погрузилась, как всегда, в тяжелый сон.

О-Тоси рассказала все это под шум дождя и раскаты грома с какой-то странной решимостью. Тай-сан и Синдзо, все время внимательно ее слушавшие, вздохнули, словно сговорившись, и переглянулись. Они были готовы к тому, что план провалится, и все же, услышав подробности, еще острее ощутили всю силу ее отчаяния. Некоторое время они, словно глухонемые, стояли молча и рассеянно слушали шум ливня, низвергавшегося с неба. Потом Тай-сан, видимо, воспрянул духом и, обращаясь к О-Тоси, мрачневшей у них на глазах, — пожалуй, это была реакция на сильное возбуждение, охватившее ее, — спросил, как бы подбадривая: «И ты совершенно не помнишь, что с тобой тогда было?» — «Совершенно», — ответила она. Потом, боязливо, с мольбой подняв на Тай-сана глаза, горько добавила: «Когда я наконец пришла в себя, уже рассвело». И закрыв лицо рукавом, тихонько заплакала. Между тем на небе не только не было видно никакого просвета, наоборот, над их головами так грохотало, что казалось, того и гляди, на них обрушится гром, а молния, то и дело заглядывавшая под циновку, казалось, выжжет глаза. Синдзо, сидевший неподвижно, вдруг стремительно вскочил и, сильно изменившись в лице, собрался выскочить из-под навеса прямо в разгулявшуюся грозу. В руке у него вдруг оказалось долото, видимо оставленное каменотесом. Увидев это, Тай-сан отбросил зонтик, в мгновение ока догнал Синдзо и ухватил его за плечи. «Ты что, рехнулся?» — крикнул он, силой пытаясь увести его обратно. Синдзо не своим, каким-то высоким голосом завопил в беспамятстве: «Отпусти! Я умру или убью эту старуху. Другого пути нет». — «Не говори глупостей! Ты же знаешь, там сейчас сидит этот Кагисо. Я сам туда схожу». — «Как же! Станет он слушать твои мольбы, когда хочет жениться на О-Тоси. Лучше отпусти меня. Ведь ты же мне друг». — «Ты забыл о своей О-Тоси! Что с ней будет, если ты поступишь столь безрассудно?!» Так они препирались, и тут Синдзо почувствовал, как две ласковые дрожащие руки крепко обвили его шею, и увидел устремленные на него печальные, полные слез глаза,

излучавшие грустный свет. И сквозь шум дождя до него донесся едва слышный шепот: «Позвольте мне умереть вместе с вами». Тут раздался оглушительный треск, будто разверзлось небо, — видно, где-то совсем рядом грянула молния, — и вместе с громом перед их глазами вспыхнули лиловые искры. Синдзо упал без сознания на руки друга и любимой.

Прошло несколько дней. Синдзо очнулся наконец от долгого забытья, похожего на дурной сон. Он лежал на втором этаже своего дома в Нихонбаси с пузырьком льда на лбу. У изголовья стояла бутылка с лекарством, лежал градусник и стоял маленький горшочек со свежими лиловыми вьюнками. По всей вероятности, было еще утро. Ливень, раскаты грома, старуха О-Сима, О-Тоси — все это смутно пронеслось в его памяти, он невольно повел глазами в сторону — там у камышовой двери с обеспокоенным лицом сидела все еще бледная О-Тоси в прическе «бабочка». Увидев, что Синдзо очнулся, она слегка покраснела и почтительно спросила: «Молодой хозяин пришел в себя?» — «О-Тоси!» — прошептал Синдзо имя любимой с таким чувством, будто он все еще видит сон. И тут у изголовья неожиданно раздался бодрый голос Тай-сана: «Ну вот, наконец-то! Лежи! Лежи! Тебе надо лежать как можно спокойнее». — «И ты здесь?!» — «И я здесь, и матушка твоя здесь. Врач только что ушел». Синдзо оторвал глаза от О-Тоси и стал смотреть в другую сторону, словно разглядывая что-то далекое; у изголовья действительно сидели матушка и Тай-сан, которые с облегчением переглянулись. Синдзо, только что пришедший в себя, никак не мог понять, как после той страшной грозы он очутился в своем доме на Нихонбаси, и поэтому он только смотрел ошеломленно на троих людей, сидящих рядом. «Ну вот, теперь все в порядке, теперь ты должен хорошенько есть, чтобы поскорее поправиться», — заботливо сказала матушка. «Успокойся. Ваши с О-Тоси мольбы дошли до бога. Старуху О-Сима убило молнией, когда она разговаривала с Кагисо», — сказал еще более бодрым, чем всегда, голосом Тай-сан. По щеке Синдзо, охваченного странным чувством, не то радостью, не то печалью, невольно потекли слезы, и он закрыл глаза. Троиц, которые были рядом, показались, наверно, что он снова потерял сознание. Они засуетились, и Синдзо снова открыл глаза. «Ты что нас пугаешь! — сказал Тай-сан и нарочно громко прищелкнул языком. — Успо-

койся. Пташка только что плакала, а теперь смеется», — сказал он, оглядываясь на женщин. И Синдзо, подумав о том, что в этом мире больше не существует таинственной старухи, почувствовал, как губы его расплылись в улыбке. И, насладившись этой счастливой улыбкой, он взглянул на Тай-сана и спросил: «А Касиго?» — «Он только в обморок у п а л», — смеясь, ответил Тай-сан, вдруг замялся, но потом, видимо, решил. «Я вчера навестил его и слышал от него самого, будто О-Тоси, когда в нее вселился дух Басара, все время твердила старухе, что та поплатится жизнью, если будет мешать вашей любви. Старуха же подумала, что О-Тоси нарочно разыгрывает перед ней спектакль, и на другой день, когда к ней пришел Кагисо, была взбешена и все время будто твердила, что разлучит вас, даже если для этого ей придется пойти на убийство. Стало быть, мой план как будто бы и провалился, но в то же время все случилось примерно так, как было задумано. Не правда ли? Старуха подумала, что О-Тоси притворяется, поэтому и погубила себя. Как бы то ни было, все это так неожиданно. Я теперь уж и не знаю, злой этот дух Басара или добрый», — сказал он с недоумением. Слушая его рассказ, Синдзо не переставал удивляться той потусторонней силе, которая все эти дни держала его в своих лапах. Потом он подумал о том, что же с ним было с тех пор, как они попали в грозу, и он спросил: «А я? Что со мной случилось?» Теперь уже О-Тоси вместо Тай-сана поведала ему проникновенно о происшедшем: «А вас сразу с набережной Исигаси отвезли на рикше к ближайшему доктору. Оттого ли, что вы промокли под ливнем, или еще почему-нибудь, только у вас сделался страшный жар, и вас привезли домой к закату солнца совсем без памяти». Тай-сан с довольным видом придвинулся к нему и сказал: «Благодаря твоей матушке и О-Тоси жар наконец спал. Целых три дня они не смыкали глаз у твоей постели, пока ты бредил в беспамятстве. Все заботы о заупокойной службе по старухе О-Сима взял на себя я. Нет человека, о котором бы твоя матушка не позаботилась», — продолжал Тай-сан, все еще стараясь подобрить друга. «Спасибо, матушка!» — сказал Синдзо. «Ну что ты! Лучше поблагодари Тай-сана», — ответила матушка. У сына, у матери, да и у О-Тоси и Тай-сана навернулись на глаза слезы. Однако Тай-сан, как и подобает мужчине, тотчас же заговорил бодрым голосом: «Как! Уже три часа? Тогда я покидаю вас».

И он приподнялся с колен. «Три часа? Разве еще не утро?» — сдвинув недоверчиво брови, спросил как-то странно Синдзо. Ошеломленный Тай-сан воскликнул: «Ты что, шутишь? — И вынув из-за пояса часы, открыл крышку и собирался показать часы Синдзо, но, заметив, что Синдзо смотрит на цветы, стоящие у его изголовья, усмехнулся весело и сказал: — Этот цветок был самым любимым у О-Тоси в доме старухи. Он зацвел в тот дождливый день лиловыми цветами, и, представь себе, цветы до сих пор не завяли. О-Тоси часто нам говорила: раз цветы цветут, ты непременно поправишься. Вот ты и очнулся. Тоже чудо, но какое радостное, не правда ли?»

Сентябрь — октябрь 1919 г.

ЧУДЕСА МАГИИ

Был дождливый осенний вечер. Рикша, который вез меня, бежал то вверх, то вниз по крутым холмам предместья Омори. Наконец он остановился и опустил оглобли перед маленьким домиком европейского типа, спрятавшимся посреди бамбуковой рощи.

В тесном подъезде, где серая краска давно облупилась и висела как лохмотья, я прочел надпись, сделанную японскими знаками на новой фарфоровой дощечке; «Индиец Матирам Мисра».

Теперь, должно быть, многие из вас знают о Матираме Мисре. Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты, был горячим поборником независимости Индии. В то же время он был великим мастером искусства магии, изучив ее тайны под руководством знаменитого брахмана Хасан-хана.

За месяц до этого один мой приятель познакомил меня с Мисрой-куном. Мы с ним много спорили по разным политическим вопросам, но мне еще не довелось видеть, как он совершает свои удивительные магические опыты. И потому, послав ему заранее письмо с просьбой показать мне нынче вечером чудеса магии, я взял рикшу и поехал в унылое предместье Омори, где проживал тогда Мисра-кун.

Стоя под проливным дождем, я при тусклом свете фонаря отыскал под фамильной дощечкой звонок и нажал кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей высунулась

низкорослая старушка-японка, бывшая в услужении у Мисры-куна.

— Господин Мисра дома?

— Как же, как же, пожалуйста! Он давно вас поджидает.

С этими радушными словами старушка прямо из прихожей провела меня в комнату Мисры-куна.

— Добрый вечер! Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали в такой дождь!

Смутлолицый и большеглазый, с мягкими усами, Мисра-кун оживленно приветствовал меня, припуская фитиль в стоявшей на столе керосиновой лампе.

— Нет, право, ради того чтобы посмотреть чудеса вашего искусства, я готов приехать в любую погоду. Стоит ли говорить о дожде!

Я опустился на стул и оглядел слабо освещенную керосиновой лампой мрачную комнату.

Бедная обстановка в европейском стиле. Посередине большой стол, возле стены удобный книжный шкаф, столик перед окном... Да еще два стула для нас, вот и все. И стулья и столы — старые, обшарпанные. Даже нарядная скатерть с вытканными по краю красными цветами истрепалась до того, что кое-где плешинами обнаружилась основа.

Но вот обмен приветствиями закончился. Некоторое время я безотчетно слушал, как шумит дождь в бамбуковой роще. Вскоре опять появилась старая служанка и подала нам по чашке зеленого чая.

Мисра-кун открыл коробку с сигарами:

— Прошу вас, возьмите сигару!

— Благодарю!

Я без дальнейших церемоний выбрал сигару и, зажигая ее, сказал:

— Наверно, подвластный вам дух называется джинном. А скажите, это при его помощи будут совершены чудеса магии, которые я сейчас увижу?

Мисра-кун тоже закурил сигару и, лукаво посмеиваясь, выпустил струйку ароматного дыма.

— В джиннов верили много столетий назад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи и одной ночи». Магия, которой я обучался у Хассан-хана, — не волшебство. И вы могли бы делать то же, если б захотели. Это всего лишь гипноз, согласно последнему слову науки. Взгляните! Достаточно сделать рукою вот так...

Мисра-кун поднял руку и два-три раза начертил в воздухе перед моими глазами какое-то подобие треугольника, потом поднес руку к столу и сорвал красный цветок, вытканый на краю скатерти. Изумившись, я невольно придвинул свой стул поближе и начал внимательно разглядывать цветок. Сомнения не было: только сейчас он составлял часть узора. Но когда Мисра-кун поднес этот цветок к моему носу, на меня повеяло густым ароматом, напоминавшим запах мускуса.

Я так был поражен, что не мог сдержать возгласа удивления. Мисра-кун, продолжая улыбаться, будто случайно уронил цветок на стол. И не успел цветок коснуться скатерти, как снова слился с узором. Сорвать этот цветок? Да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков!

— Ну, что скажете? Невероятно, правда? А теперь взгляните-ка на эту лампу.

С этими словами Мисра-кун слегка передвинул стоящую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем Мисра-кун с самым беззаботным видом попивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я стал не отрывая глаз смотреть, как лампа вертится все скорее и скорее.

Это в самом деле было красивое, поразительное зрелище! Абажур в своем стремительном круженье поднял ветер, а желтый огонек хотя бы раз мигнул!

Лампа, наконец, начала вертеться с такой быстротой, что мне показалось, будто она стоит на месте. Мгновение — и я понял: она, как прежде, неподвижно стоит посреди стола. Ламповое стекло даже не накренилось. — Вы изумлены? А ведь это фокусы для детей! Но если хотите, я покажу вам еще кое-что.

Мисра-кун обернулся и поглядел на книжный шкаф. Потом протянул к нему руку и словно кого-то поманил пальцем. Вдруг книги, тесным строем стоявшие в шкафу, зашевелились и одна за другой стали перелетать на стол. На лету они широко распахивали створки переплета и легко реяли в воздухе, как летучие мыши летним вечером. Я как был с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожиданности. Книги свободно кружились в тусклом свете над лампой, а затем друг за дружкой, в строгом порядке,

стали ложиться на стол, пока перед нами не выросла целая пирамида. И в том же строгом порядке стали по очереди, от первой до последней, перелетать в шкаф.

И вот что было любопытней всего! Одна из книг в тонкой бумажной обложке вдруг раскрылась так, словно у нее распустились крылья, и взмыла к самому потолку. Некоторое время она описывала круги над столом — и вдруг, шурша страницами, стремительно упала мне на колени. «В чем тут дело?» — подумал я и бросил взгляд на обложку. Это был новый французский роман, который неделю назад я дал почитать Мисре-куну.

— Позвольте вернуть вам с благодарностью, — все еще улыбаясь, любезно сказал мне Мисра-кун.

Все книги уже успели перелететь обратно в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуту не мог вымолвить ни слова. Вдруг мне припомнилось, что сказал Мисра-кун: «И вы могли бы делать то же, если б захотели».

— Да, я слышал о вас много удивительного. И все же, должен сознаться, ваше искусство превзошло мои ожидания. Но вы сказали, что и я могу научиться этому искусству. Вы, вероятно, пошутили?

— Уверяю вас, нет! Каждый может обучиться магии без особого труда. Но только...

Пристально глядя мне в лицо, Мисра-кун вдруг перешел на серьезный тон.

— Только не человек, одержимый корыстью! Если вы правда хотите научиться искусству Хассан-хана, вам нужно сначала победить в себе корыстолюбие. В вашей ли это власти?

— Надеюсь, что так, — ответил я. Но, почувствовав в душе некоторую неуверенность, поспешил добавить: — Лишь бы вы согласились стать моим наставником!

Лицо Мисры-куна продолжало выражать сомнение. Но, видно, он подумал, что упорствовать дальше было бы неучтиво, и наконец великодушно согласился.

— Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, но так сразу она не дается, нужно время. Оставайтесь сегодня ночевать у меня.

— О, я бесконечно вам признателен!

Вне себя от радости, что буду учиться искусству магии, я рассыпался в благодарности. Но Мисра-кун, словно ничего не слыша, спокойно поднялся со стула и позвал:

— Бабушка! Бабушка! Гость сегодня ночует у нас. Приготовьте ему постель.

Сердце у меня сильно забилося. Позабыв стряхнуть пепел с сигары, я невольно поднял глаза и поглядел в упор на Мисру-куна, на его приветливое лицо, озаренное светом лампы.

* * *

Прошел месяц с тех пор, как я начал учиться магии у Мисры-куна. В точно такой же дождливый вечер я вел легкий разговор с несколькими друзьями, сидя возле пылающего камина в комнате одного из клубов на улице Гиндза.

Как-никак это было в центре Токио, и потому шум дождя, лившегося потоком на крыши бесчисленных автомобилей и экипажей, не казался столь печальным, как тогда в бамбуковой чаще Омори.

Да и клубная комната выглядела такой веселой: яркий электрический свет, большие кресла, обтянутые кожей, гладкий сверкающий паркет — все это было так непохоже на мрачную комнату Мисры-куна, где, казалось, вот-вот появятся привидения...

Мы беседовали в облаках сигарного дыма о скачках и охоте. Один из приятелей небрежно бросил окурочек сигары в камин и повернулся ко мне.

— Говорят, последнее время вы занимаетесь магическими опытами. Не покажете ли нам что-нибудь?

— Что ж, пожалуй, — ответил я, запрокинув голову на спинку кресла, таким самоуверенным тоном, словно был уже великим магом.

— Тогда покажите что угодно — по вашему выбору. Но пусть это будет чудо, недоступное обыкновенному фокуснику.

Все поддержали его и придвинули стулья поближе, словно приглашая меня приступить к делу.

Я медленно поднялся с места.

— Смотрите внимательно. Искусство магии не требует никаких уловок и ухищрений!

Говоря это, я завернул манжеты рубашки и спокойно сгреб в ладони несколько раскаленных угольков из каминна. Но даже и эта безделица насмерть перепугала зрителей. Они невольно подались назад из страха, что обожгутся.

Я же, сохраняя полное спокойствие, некоторое время показывал, как пылают на моих ладонях угли, а потом

разбросал их по паркету. И вдруг, заглушая шум дождя за окнами, по всему полу словно забарабанили тяжелые капли... Огненные угольки, вылетая из моих рук, превращались в бесчисленные сверкающие червонцы и золотым дождем сыпались на пол. Приятелям моим казалось, будто они видят сон. Они забыли даже аплодировать.

— Ну вот вам — сущий пустячок!

И я, улыбаясь с видом победителя, спокойно сел в свое кресло.

— Послушайте, неужели это настоящие червонцы? — спросил минут через пять один из моих пораженных изумлением друзей.

— Самые настоящие червонцы. Если не верите, попробуйте возьмите их в руки.

— Ну уж нет! Кому охота обжечься?

И все же один из зрителей боязливо поднял с пола червонец и воскликнул :

— В самом деле — чистое золото, без обмана! Эй, официант, принеси метелку и совок и подбери все монеты с пола.

Официант, как ему было приказано, собрал в совок золотые и высыпал их горкой на стол. Мои приятели сгрудились тесной толпой.

— Ого, здесь, пожалуй, наберется тысяч на двести иен!

— Нет, нет, больше. Хорошо, что попался крепкий стол, а то не выдержал бы, подломился.

— Нечего и говорить, вы научились замечательному волшебству. Подумать только, в один миг превращать угли в золотые монеты!

— Да этак и недели не пройдет, как вы станете архимиллионером, под стать самому Ивасаки или Мицуи.

Зрители наперебой восхищались моим искусством, а я, откинувшись на спинку кресла, дымил сигарой.

— О нет, используй я хоть однажды искусство магии ради низкой корысти, во второй раз ничего бы не получилось. Вот и эти червонцы... если вы уж довольно нагляделись на них, я сейчас же брошу обратно, в камин.

Услышав эти слова, приятели дружно запротестовали, словно сговорились.

— Такое огромное богатство снова превратить в уголья, да ведь это неслыханная глупость! — повторяли они.

Но я упрямо стоял на своем: непременно брошу червонцы обратно в камин, как обещал Мисре-куну. Но

вдруг один из приятелей, как говорили, самый хитрый из всех, сказал, ехидно посмеиваясь себе под нос:

— Вы хотите превратить эти червонцы снова в угли. А мы не хотим. Этак мы никогда не кончим спорить. Вот что я придумал: сыграйте-ка с нами в карты! Пусть эти червонцы будут вашей ставкой. Останетесь в выигрыше — что ж, распоряжайтесь ими, как вам будет угодно, превращайте их снова в угли. Ну, а если выиграем мы, отдайте нам все золотые в полной сохранности. И спор наш, и любом случае, закончится к обоюдному согласию!

Но я отрицательно потряс головой. Нелегко было меня уговорить. Тут приятель мой стал смеяться еще более ядовито, хитро поглядывая то на меня, то на груды червонцев.

— Вы отказываетесь сыграть в карты, чтобы не отдать нам эти червонцы. А еще говорите: победили корысть, чтобы совершать чудеса! Ваша благородная решимость что-то теперь кажется сомнительной, не так ли?

— Поверьте, я превращу эти золотые в угли совсем не потому, что пожалел отдать их вам...

Мы без конца повторяли свои аргументы, и наконец меня, что называется, к стенке приперли. Пришлось согласиться поставить червонцы на карту, как требовал приятель. Само собой, все страшно обрадовались. Где-то раздобыли колоду карт и, тесным кольцом обступив картежный столик, стоявший в углу, стали наседать на меня:

— Ну же! Ну, скорее!

Вначале я вел игру нехотя, без увлечения. Обычно мне не везет в карты. Но в этот вечер мне почему-то фантастически везло. Играя, я постепенно увлекся. Не прошло и десяти минут, как, позабыв обо всем на свете, я по-настоящему вошел в азарт.

Партнеры мои, конечно, затеяли этот карточный поединок с целью завладеть моим золотом. Но по мере того как рос их проигрыш, они словно обезумели и с побелевшими лицами повели против меня самую отчаянную игру. Все их усилия были напрасны! Я ни разу не проиграл. Напротив! Я выиграл почти столько же золотых, сколько у меня было сперва. Тогда тот же самый недобрый приятель, подбивший меня на игру, крикнул, безумным жестом разметав передо мной карты:

— Вот. Вытащите карту! Я ставлю все свое состояние — земли, дом, лошадей, автомобиль, все, все без

остатка! А вы поставьте все ваши червонцы и весь ваш выигрыш. Тяните же!

В этот миг во мне загорелась жадность. Если я сейчас, на свою беду, проиграю, то, значит, должен буду отдать ему мою гору червонцев, да еще весь мой выигрыш в придачу? Но зато уж если выиграю, все богатство моего приятеля сразу перейдет ко мне в руки! Стоило, в самом деле, учиться магии, если не прибегнуть к ней в такую минуту!

При этой мысли я уже не в силах был владеть собой и, тайно пустив в ход магические чары, сделал вид, что наконец решился:

— Ну, хорошо! Тяните карту вы первый.

— Девятка.

— Король! — торжественно воскликнул я и показал свою карту смертельно побледневшему противнику.

Но в то же мгновение — о чудо! — карточный король словно ожил, поднял свою увенчанную короной голову и высунулся по пояс из карты. Церемонно держа меч в руках, он зловеще усмехнулся.

— Бабушка! Бабушка! Гость собирается вернуться домой. Не надо готовить ему постели, — прозвучал хорошо знакомый голос.

И тотчас же, неизвестно отчего, дождь за окном так уныло зашумел, словно он падал тяжелыми, дробными каплями там, в бамбуковых зарослях Омори.

Я вдруг опомнился. Поглядел вокруг. По-прежнему я сидел против Мисры-куна, а он, в неярком свете керосиновой лампы, улыбался, как тот карточный король.

Еще и пепел не упал с сигары, зажатой у меня между пальцами. Мне казалось, что прошел целый месяц, а на самом деле я видел сон, и этот сон длился всего две-три минуты. Но за этот короткий срок мы оба ясно поняли, что я не тот человек, кому можно открыть тайны магии Хассан-хана.

Низко опустив голову от смущения, я не проронил ни слова.

— Прежде чем учиться у меня искусству магии, надо победить в себе корыстолюбие. Но даже этот один-единственный искус оказался вам не под силу, — мягко, с видом сожаления, упрекнул меня Мисра-кун, положив локти на стол, покрытый скатертью с каймой из красных цветов.

Ноябрь 1919 г.

КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ

Бисэй стоял внизу под мостом и ждал ее.

Наверху, над ним, за высокими каменными перилами, наполовину обвитыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колышущиеся на ветру... А она все не шла.

Бисэй с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка.

Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где круглились густые кучи ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо вилась среди тростников... А она все не шла.

Бисэй отошел от воды и, шагая взад и вперед по неширокой отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине.

На мосту движение уже затихло. Ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжанья тележек — оттуда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника, плеск воды... потом где-то пронзительно закричала цапля. Бисэй остановился: видимо, начался прилив, вода, набегающая на илистую отмель, сверкала ближе, чем раньше... А она все не шла.

Сердито нахмурившись, Бисэй стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом затопляла отмель. И его кожи коснулась прохлада тины и свежесть воды. Он под--л глаза — на мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух, и на бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил... А она все не шла.

Бисэй наконец остановился.

Вода, уже лизнув его ноги, сверкая блеском холодной, чем блеск стали, медленно разливалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как безжалостный прилив зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше, и вот уже его колени скрылись под волнами реки... А она все не шла.

Бисэй с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу, на мост.

Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже сгустилась вечерняя синева, и сквозь призрачный туман доносился печальный шелест листвы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бисэя за нос, сверкнула белым брюшком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще редкие звезды. И даже силуэт обвитых плющом перил растаял в быстро надвигавшейся темноте... А она все не шла.

* * *

В полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок, тихонько перешептываясь, бережно понесли тело Бисэя из-под моста в море. Но дух Бисэя устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть потому, что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светящееся небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки запах тины, свежесть воды...

А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком; какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному: и днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисэй в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет.

Сентябрь 1919 г.

ДУ ЦЗЫЧУНЬ

1

Это случилось весенним вечером.

Возле Западных ворот в столице Танского государства Лояне стоял юноша и безучастным взглядом смотрел на небо.

Звали этого юношу Ду Цзычунь. Он был сыном богача, но промотал отцовское состояние и дошел до такой нищеты, что хоть с голоду помирай.

В те времена Лоян был цветущим городом, он не знал себе равных во всей Поднебесной. По улицам его пестрой чередой двигались люди и повозки. В лучах закатного солнца, жидким маслом заливавшего городские ворота, пронеслись мимо шапочки из тончайшего шелкового газа на головах стариков, золотые турецкие серьги в ушах женщин, многоцветные поводья на белых конях... Словно смотришь на прекрасную картину.

Но Ду Цзычунь, прислонившись спиной к воротам, по-прежнему смотрел безучастным взглядом на небо. Весенняя дымка расстилалась ровной пеленой, но сквозь нее уже был виден узкий полумесяц, похожий на белый шрам от звериного когтя.

«Смеркается, а у меня в животе пусто, и негде мне приклонить голову... Проклятая жизнь! Лучше броситься в реку и умереть», — вот какие мысли нестройным роем пронеслись в голове Ду Цзычуна.

И вдруг перед ним появился, словно из-под земли вырос, какой-то старик, на один глаз кривой, на другой глаз косой! Облитый лучами заходящего солнца, он отбрасывал огромную тень на ворота. Пристально поглядев в лицо Ду Цзычуна, старик властным голосом спросил:

— О чем ты сейчас думаешь?

— Я-то? Я думаю о том, как мне быть. Ведь у меня даже нет угла, где бы переночевать.

Старик спросил его так неожиданно, что Ду Цзычунь, потупив глаза в землю, неожиданно для себя дал правдивый ответ.

— Вот как! Жаль мне тебя.

Старик немного задумался и указал пальцем на лучи вечернего солнца, озарившие улицу.

— Послушай, я дам тебе добрый совет. Стань сейчас так, чтобы солнце было позади тебя, а тень твоя упала на землю. Заприметь место, где у этой тени голова, и копай там ночью. Выкопаешь целую телегу чистого золота.

— Неужели правда?

Ду Цзычунь в изумлении поднял глаза. Что за чудо! Старик куда-то бесследно исчез, словно сквозь землю про-алился.

А месяц в небе еще больше побелел, и над бесконечным людским потоком уже реяли в вышине две-три нетерпеливые летучие мыши.

Ду Цзычунь сразу в один день разбогател так, что даже в столичном городе Лояне не находилось ему равных.

Следуя совету старика, он начал копать в том самом месте, где приплась голова его тени, и вырыл гору золота — на самой большой повозке не увезешь.

Ду Цзычунь стал неслыханным богачом. Он купил великолепный дом и мог бы соперничать в роскоши с самим императором Сюаньцзуном. Он пил ланьлинское вино, приказывал доставить к своему столу мякоть плодов «драконий глаз» из Гуйчжоу, посадил в саду пионы, которые четыре раза в день меняют цвет, завел у себя белых павлинов, собирал драгоценные камни, наряжался в парчовые одежды, разъезжал в экипажах из ароматного дерева, заказывал мастерам кресла из слоновой кости... Словом, если перечислять все его прихоти, то рассказу и конца не будет.

Бывало, старые приятели Ду Цзычуна, встретив его по дороге, и здороваться-то с ним не хотели. Но когда толки о его новом богатстве пошли по городу, все прежние дружки наведались к нему и стали с утра до вечера веселиться в его доме. Число их с каждым днем прибывало. Прошло всего полгода, а уж в столичном городе Лояне не осталось ни одного прославленного своими талантами человека, ни одной известной красавицы, которые не побывали бы в доме Ду Цзычуна.

Юноша что ни день задавал роскошные пиры. Словами не описать все великолепие этих праздников! Скажу лишь, что на них подавались привезенные с Запада виноградные вина, а индийские факиры забавляли гостей, глотая ножи. Хозяина окружало двадцать красавиц. У десяти девушек волосы были украшены лотосами из светлой яшмы, а у других десяти — пионами из драгоценного агата, и все они чудесно играли на флейтах и цитрах. О, это было прекрасное зрелище!

Но и у самого большого богача деньгам приходит конец, если сорить ими направо и налево.

Чему же удивляться, что при такой любви к роскоши Ду Цзычунь через год-два начал беднеть. Воистину у людей бесчувственные сердца! Давно ли от приятелей отбою не было, а теперь самые закадычные друзья проходили мимо его ворот, как чужие. Хоть бы из вежливости кто заглянул!

Наступила третья весна — и Ду Цзычунь опять распротился с последним своим грошом, и во всем огромном городе Лояне не нашлось ни одного дома, где бы дали ему приют. Да что там! Ни один человек не подал ему и чашки воды.

И вот однажды вечером Ду Цзычунь снова пошел к Западным воротам Лояна. Безучастно глядя на небо, стоял он возле дороги, погруженный в печальные думы.

Вдруг откуда ни возьмись опять появился перед ним старик, кривой па один глаз и косой на другой глаз, и вновь задал ему тот же самый вопрос:

— О чем ты думаешь?

Увидев старика, Ду Цзычунь от стыда потупил глаза в землю и не сразу ответил. Но старик заговорил с ним так же ласково, как и прежде, и потому юноша смиренно сказал:

— Мне сегодня опять негде приклонить голову. Я думаю, что мне делать.

— Вот как! Жаль мне тебя. Я даю тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай там, где обозначится г р у д ь , — выраешь целую телегу чистого золота.

Не успел старик это сказать, как уже скрылся в толпе, словно бесследно растаял.

На другой день Ду Цзычунь вдруг снова сделался первым в Поднебесной богачом. И опять он дал волю своим прихотям. Многоцветные пионы в саду, лениво дремлющие среди них белые павлины, индийские факиры, глотающие н о ж и , — словом, все как прежде!

Не мудрено, что огромная гора золота, которая и в телеге-то еле поместилась, вся бесследно растаяла за каких-то три года.

3

— О чем ты думаешь?

В третий раз появился перед Ду Цзычуном старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и задал ему все тот же знакомый вопрос. Юноша, как можно догадаться, опять стоял под Западными воротами Лояна, печально глядя на трехдневный месяц, тускло светивший сквозь весеннюю дымку.

— Я-то? Негде мне сегодня голову приклонить. Я думаю, что мне делать.

— Вот как! Жаль мне тебя. Но я подам тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай ночью там, где обозначится у нее поясница. Выкопаешь целую телегу...

Не успел старик договорить, как Ду Цзычунь вдруг поднял руку и прервал его:

— Нет, не нужно мне золота.

— Тебе не нужно золота? Ха-ха-ха, выходит, надоело тебе купаться в роскоши.

Старик с сомнением пристально поглядел на Ду Цзычуня.

— Нет, не роскошь мне опротивела. Хуже того! Я потерял любовь к лю д я м, — резко сказал Ду Цзычунь с помрачневшим лицом.

— Вот это любопытно! Отчего ж ты потерял любовь к людям?

— Все люди на свете, сколько их есть, не знают сострадания. Когда я был богачом, мне льстили, заискивали передо мной, а когда я обеднел, взгляните-ка! Даже доброго взгляда не кинут в мою сторону. Как подумаю об этом, не хочу больше быть богачом.

Услышав эти слова Ду Цзычуня, старик вдруг лукаво улыбнулся:

— Вот оно как! Ты не похож на других молодых людей, все прекрасно понимаешь. Так значит, ты теперь хочешь жить бедняком, да зато спокойно?

Ду Цзычунь немного поколебался. Но потом, видно решившись, с мольбой взглянул на старика и сказал:

— Нет, такая доля не по мне! Я хотел бы стать вашим учеником и постигнуть тайну бессмертия! Не таитесь от меня! Ведь вы маг-отшельник, наделенный высшей мудростью. Разве иначе могли бы вы за одну только ночь сделать меня первым богачом в Поднебесной? Прощу вас, будьте моим наставником и научите меня искусству магии.

Старик немного помолчал, сдвинул брови, словно размышляя о чем-то, а потом с улыбкой охотно согласился.

— Да, верно, я даос-отшельник по имени Те Гуанцзы, живу в горах Эмэй-шань. Когда я тебя впервые увидел, то мне показалось, что ты способен понять истинную суть вещей. Вот почему я дважды сделал тебя богачом, а теперь, если уж ты так сильно хочешь стать магом-отшельником, я приму тебя в ученики.

Нечего и говорить о том, как обрадовался Ду Цзы-

чунь. Не успел старик Те Гуанцзы закончить своих слов, как он уже начал отбивать перед ним земные поклоны.

— Нет, не благодари меня так усердно. Станешь ли ты великим магом-отшельником или нет, зависит только от тебя самого. Если ты не создан для этого, вся моя наука не поможет. Ну, будь что будет, а мы сейчас вдвоем с тобой отправимся в самую глубь гор Эмэй-шань. В единый миг перелетим туда по небу.

Те Гуанцзы поднял с земли свежесрезанную бамбуковую палочку и, тихо бормоча какое-то заклинание, сел вместе с Ду Цычунем верхом на нее, как на коня. И вдруг — разве это не чудо? — бамбуковая палочка со страшной быстротой взмыла в самое небо, подобно дракону, и понеслась по ясному вечернему небу.

Ду Цычунь, замирая от страха, робко поглядел вниз. Но там, в самой глубине закатного зарева, виднелись только зеленые горы.

Напрасно искал он взглядом Западные ворота столицы (верно, они утонули в тумане). Седые пряди волос старика Те Гуанцзы разметались по ветру. Он громко запел песню:

Утром тешусь в Северном море,
А вечером — на юге в Цаньу.
В глубине рукава — дракон зеленый.
Как отважен я и велик!

Трижды, никем из людей не замечен,
Всходил я на башню Юсян.
Распевая стихи во весь мой голос,
Лечу я над озером Дунтон.

4

Бамбуковая палочка с двумя сидевшими на ней всадниками плавно опустилась на гору Эмэй-шань, там, где широкая скала нависла над глубокой расщелиной. Видно, было это на большой высоте, потому что светила Семизвездия, сиявшие посреди неба, стали величиной с чайную чашку. Само собой, людей там от века не бывало, и тишина, нарушенная лишь на миг, сейчас же воцарилась снова.

Только и слышно было, как на горной вершине, где-то над самой головой, глухо шумит от ночного ветра одинокая, согнутая непогодой сосна.

Когда оба они опустились на скалу, старик посадил Ду Цзычуня спиной к отвесной стене.

— Сейчас я подымусь на небо, навещу там Сиванму, — молвил Те Гуанцзы, — а ты тем временем сиди здесь и дожидайся меня. Быть может, в мое отсутствие появятся перед тобой злые духи и начнут морочить тебя, но ты смотри не подавай голоса. Что бы ни случилось с тобой, не подавай голоса. Если ты скажешь хоть слово, не быть тебе никогда магом-отшельником. Будь готов ко всему! Слышал? Храни молчание, хотя бы небо и земля раскололись на мелкие части.

— Верьте мне, я не издам ни звука. Буду молчать, хотя бы мне это жизни стоило.

— Право? Ну, тогда я за тебя спокоен. Отлучусь ненадолго.

Старик простился с Ду Цзычуном, снова сел верхом на палочку, взлетел прямо в небо между горными вершинами и исчез в ночной мгле, словно растаял.

Ду Цзычунь, сидя в одиночестве на скале, спокойно любовался звездами. Так прошло, верно, около часа. Ночной ветер из глубины гор стал ледяной струйкой пробиваться сквозь его тонкую одежду.

Вдруг в небе прозвучал грозный голос:

— Эй, кто здесь, отвечай!

Но Ду Цзычунь, соблюдая приказ старика, ничего не ответил.

Прошло немного времени, и тот же громовой голос пригрозил ему:

— Если ты сейчас же не дашь ответ, то готовься к смерти!

Ду Цзычунь продолжал упорно молчать.

И тут откуда ни возьмись на скалу одним прыжком вскочил тигр и, вперив в Ду Цзычуня свои страшно сверкающие глаза, оглушительно заревел. Мало того, в тот же самый миг ветки сосны над головой юноши громко зашумели, и с крутой вершины пополз к нему, высунув огненный язык, белый змей толщиной в большую бочку. Все ближе и ближе...

Но Ду Цзычунь и бровью не пошевелил. Он продолжал сидеть все так же спокойно.

Тигр и змей злобно уставились друг на друга, словно караулили, кому из них достанется добыча, а потом оба сразу бросились на Ду Цзычуня. Вот-вот вонзятся в него клыки тигра, вот-вот вопьется жало змея... Ду Цзычунь

уже думал, что тут ему и конец, но тигр и змей, подобно туману, улетели с ночным ветром. Только ветки сосны на вершине все еще протяжно шумели. Ду Цзычунь с облегчением перевел дыхание и стал поджидать, что же случится дальше.

И вот набежал сильный порыв ветра, туча цвета густой черной туши закрыла все кругом, бледно-лиловая молния расколола мглу, загрохотал гром. И сразу же водопадом обрушился бушующий ливень. Ду Цзычунь беспрепятственно сидел, не двигаясь с места, под натиском этой ужасной бури. Рев вихря, струи ливня, непрерывные вспышки молний — казалось, еще немного, и рухнет гора Эмэй-шань. Послышался такой удар грома, от которого в пору оглохнуть, и из черной тучи, клубившейся в небе, прямо на голову Ду Цзычуна упал огненный столб.

Ду Цзычунь невольно зажал уши и упал ничком на скалу. Но вот он открыл глаза и видит: небо над ним по-прежнему безмятежно ясно. Над вершинами гор опять, как и раньше, ярко сверкают светила Семизвездия величиной с чайную чашку. Так значит, и страшная буря, и тигр, и белый змей — все это лишь морок, напущенный бесами в отсутствие Те Гуанцзы. Ду Цзычунь по-прежнему успокоился, отер холодный пот со лба и снова спокойно уселся на скале.

Но не успел он еще отдышаться, как прямо перед ним появился одетый в золотые доспехи величественный небесный полководец, ростом, верно, в целых три дзэ. Небесный полководец держал в руке трезубец. Гневно сверкая глазами, он направил трезубец прямо в грудь Ду Цзычуна и начал грозить ему:

— Эй, ты кто такой, говори! Гора Эмэй-шань — мое обиталище с самых тех пор, как возникли небо и земля. Но ты, не убоясь этого, один посмел вторгнуться сюда! Уж наверно, ты — не простой человек. Отвечай, если жизнь тебе дорога!

Но Ду Цзычунь, как повелел ему старик, упорно не раскрывал рта.

— Не отвечаешь? Молчишь! Хорошо же! Молчи сколько хочешь. За это мои родичи искрошат тебя на куски.

Небесный полководец высоко поднял трезубец и помянул кого-то с небосклона над соседними горами. И в тот же миг мгла разорвалась и бесчисленные воины тучами понеслись по небу. В руках у них сверкали мечи и копья, вот-вот всей громадой пойдут на приступ.

При этом зрелище Ду Цзычунь едва не вскрикнул, но вовремя припомнил слова старика Те Гуанцзы и, подавив в себе крик, промолчал. Небесный полководец увидел, что юношу испугать не удалось, и разгневался страшным гневом.

— Ах ты, упрямец! Ну, раз не хочешь отвечать, я исполню свою угрозу. Прощайся с жизнью! — завопил небесный полководец и, взмахнув сверкающим трезубцем, вонзил все его острия в грудь Ду Цзычуня. А потом, потрясая гору Эмэй-шань громовыми раскатами смеха, бесследно исчез во мраке. Но еще раньше, чем это случилось, исчезли, как сновидение, вместе с шумным порывом ночного ветра все бесчисленные воины.

Светила Семизвездия снова проливали на скалу свое холодное сиянье. Ветки сосны по-прежнему глухо шумели на вершине горы. Но Ду Цзычунь лежал на спине бездыханный.

5

Мертвое тело Ду Цзычуня осталось лежать на скале, но душа его, тихо вылетев из смертной оболочки, устремилась в недра преисподней.

Из нашего мира в преисподнюю ведет дорога, которую именуют «Путь мрака». Там круглый год в черном небе уныло свищет ледяной ветер. Ду Цзычунь, подхваченный вихрем, кружился в небе, подобно опавшему листку. Вдруг он очутился перед великолепным дворцом, на котором висела надпись: «Дворец бесчисленных душ».

Едва лишь черти, толпой стоявшие перед дворцом, увидели Ду Цзычуня, как они со всех сторон окружили его и потащили к лестнице. На вершине лестницы стоял их повелитель в черной одежде и золотой короне и метал вокруг гневные взгляды. Уж наверно, это был сам владыка преисподней царь Яньло. Ду Цзычунь много слышал о нем и теперь в страхе преклонил колена, ожидая решения своей участи.

— Эй ты, почему сидел на вершине Эмэй-шань? — донесся громовым раскатом с вершины лестницы голос царя Яньло. Ду Цзычунь хотел было сразу же ответить, но вдруг вспомнил строгий наказ старика Те Гуанцзы: «Молчи, не говори ни слова!» И он молчал, как немой, низко опустив голову. Тогда царь Яньло взмахнул же-

лезной булавой, которую он держал в руке, и яростно завопил в таком гневе, что усы и борода у него встали дыбом.

— Да знаешь ли ты, где находишься, несчастный? Сейчас же отвечай, не то я, ни минуты не медля, заставлю испытать тебя все муки ада.

Но Ду Цзычунь и губ не разжал. Увидев это, царь Яньло повернулся к чертям и что-то сурово им приказал. Черти немедленно повиновались и, ухватив Ду Цзычуня, подняли его высоко в черное небо над дворцом.

А в преисподней, как всякий знает, помимо Игольной горы и Озера крови, таятся во мгле неподалеку друг от друга Огненная долина, которую зовут пылающим адом, и море льда, именуемое Преисподней лютого холода. Черти начали бросать Ду Цзычуня в каждую область ада поочередно. В его грудь безжалостно вонзались ножи, огонь опалял ему лицо, у него вырывали язык, сдирали с него кожу, толкли его железным пестом в ступе, поджаривали па сковороде в шипящем масле, ядовитые змеи высасывали у него мозг, орел-стервятник выклевывал ему глаза — словом, его подвергли все пыткам ада. Если начнешь их перечислять, конца не будет. Но Ду Цзычунь все выдержал. Крепко сжав зубы, он не проронил ни единого слова, ни единого звука.

Наконец, и чертям надоело терзать его. Они вновь понесли Ду Цзычуня по черному небу назад, к «Дворцу бесчисленных душ», и, бросив его у подножия лестницы, хором доложили царю Яньло:

— У этого грешника ничем слова не вырвешь.

Царь Яньло, нахмутив брови, погрузился в размышление и, как видно надумав что-то, приказал одному из чертей:

— Отец и мать этого человека были ввергнуты в преисподнюю скотов. Живо тащи их сюда!

Черт помчался верхом на ветре и в один миг исчез в небе преисподней. Но вдруг, подобно падучей звезде, опустился вновь перед «Дворцом бесчисленных душ», гоня перед собой двух скотов. Поглядел на них Ду Цзычунь — и кто может описать его испуг и изумление?

У этих двух жалких изможденных кляч были навеки незабвенные лица его покойных отца и матери.

— Ну, так зачем ты сидел на вершине горы Эмэйшань? Сознавайся сейчас же, не то плохо придется твоим родителям.

И все же, несмотря на эту страшную угрозу, Ду Цзычунь снова не дал ответа.

— Ах ты неблагодарный сын! Так, по-твоему, пускай мучают твоих родителей, лишь бы тебе самому было хорошо!

Царь Яньло завопил таким ужасным зыком, что «Дворец бесчисленных душ» поколебался до основания.

— Бейте их! Эй вы, черти! Бейте их, сдерите с этих клячи все мясо, перешибите им все кости.

Черти дружно ответили: «Мы повинемся!» — схватили железные бичи и начали хлестать двух старых лошадей без всякой пощады и милосердия. Удары сыпались дождем со всех сторон. Бичи со свистом разрезали ветер, сдирая шкуры, ломая кости. А эти старые клячи — его отец и мать, превращенные в скотов, — дергаясь всем телом от боли, с глазами, полными кровавых слез, испускали ржание, похожее на стоны. Не было сил глядеть на это...

— Ну что! Все еще не сознаешься?

Царь Яньло велел чертям на минуту опустить железные бичи и вновь потребовал ответа от Ду Цзычуна. А в это время обе старые лошади, с перешибленными костями, с ободранными боками, свалились перед лестницей и лежали там при последнем издыхании.

Ду Цзычунь был вне себя от горя, но, вспомнив наказ старика, крепко зажмурил глаза. И вдруг до его ушей почти беззвучно донесся тихий голос:

— Не тревожься о нас. Что бы с нами ни случилось, лишь бы ты был счастлив. Это для нас высшая радость. Пусть грозится владыка преисподней, не отвечай ему, если так надо...

О, это был хорошо знакомый нежный голос его матери! Ду Цзычунь невольно открыл глаза. Одна из лошадей, бессильно лежавших на земле, грустно и пристально глядела ему в лицо. Его мать посреди нестерпимых мук была полна сочувствия к сыну и совсем не сердилась за то, что из-за него черти хлещут ее железными бичами. Низкие люди, бывало, лъстили ему, когда он был богачом, и отворачивались от него, когда он становился нищим. А здесь — какая прекрасная доброта! Какая чудесная стойкость! Ду Цзычунь забыл все предостережения старика. Бегом, чуть не падая с ног, бросился он к полуметровой лошади, обеими руками обнял ее за шею и, ручьем проливая слезы, громко закричал: «Матушка!»

При звуке собственного голоса Ду Цзычунь вдруг очнулся. Он по-прежнему стоял у Западных ворот Лояна, залитых сиянием вечернего солнца. Подернутое весенней дымкой небо, тонкий трехдневный месяц, непрерывный поток людей и повозок — все было таким же, как тогда, когда он не полетел еще на гору Эмэй-шань.

— Ну что? Разве ты годишься мне в ученики? Разве можешь быть даосом-отшельником, — сказал с усмешкой старик, на один глаз кривой, на другой глаз косою.

— Не могу. Не могу. И очень рад, что не могу.

Ду Цзычунь, с лицом, еще мокрым от слез, крепко сжал руку старику.

— Да пусть бы даже я стал магом-отшельником! Разве можно молчать, когда перед «Дворцом бесчисленных душ» хлещут бичами твоих отца и мать?

— Если б ты промолчал, знай, я бы убил тебя на месте! Даосом-отшельником тебе не бывать, это ты понял. Богачом быть тебе опротивело. Кем же теперь ты хочешь стать?

— Кем угодно, лишь бы жить честно, по-человечески.

Голос Ду Цзычуна звучал, как никогда раньше, светло и радостно.

— Не забывай же своих слов. Прощай, мы с тобой больше не встретимся.

Те Гуанцзы пошел было прочь е этими словами, но вдруг остановился и повернулся к Ду Цзычуню.

— О-о, к счастью, вспомнил! Есть у меня маленький домик на южном склоне горы Тайшань. Дарю тебе этот домик вместе с полем. Ступай туда и поселись там. Как раз теперь персики и полном цвету, — весело добавил он.

Январь 1920 г.

БАЛ

1

Вечер 3 ноября 1886-го. Акико, семнадцатилетняя девушка, поднимается вместе со своим отцом по широкой лестнице в клубе «Рокумэйкан», где должен состояться бал. Освещенная яркими газовыми фонарями лестница

по обеим сторонам обсажена тремя рядами крупных хризантем, похожих на искусственные. В третьем ряду — красные хризантемы, во втором — ярко-желтые, в первом — белоснежные. Их лепестки свисают бахромой. Из танцевального зала, выходящего на верхнюю площадку лестницы, где ряды хризантем кончаются, безудержно льются исполненные ликования бравурные звуки оркестра. Акико с детства учили французскому языку и танцам. Но в ее жизни это был первый настоящий бал. Поэтому по дороге сюда, сидя в коляске, она рассеянно отвечала изредка заговаривавшему с ней отцу. Так глубоко в сердце девушки пустило корни беспокойство, которое скорее можно было назвать радостной тревогой. Пока коляска не остановилась у клуба «Рокумэйкан», Акико нетерпеливо поглядывала на проплывавшие мимо редкие фонари, тускло освещавшие токийские улицы.

Но как только она вошла в клуб, произошел случай, заставивший ее сразу же забыть о тревоге. Примерно на середине лестницы они с отцом поравнялись с поднимавшимся перед ними китайским дипломатом. Довольно полный, он посторонился, пропуская их, и устремил на Акико восхищенный взгляд. Бледно-розовое бальное платье, изящная голубая бархотка вокруг шеи, душистая роза в густых волосах — действительно, в тот вечер Акико, потрясшая своим обликом китайского дипломата с длинной косой, как бы олицетворяла собой прелесть японской девушки, приобщившейся к цивилизации. А тут еще сбегавший с лестницы молодой японец во фраке невольно остановился и, чуть повернув голову, тоже стал с восхищением смотреть вслед Акико. Потом, спохватившись, поправил белый галстук и снова заспешил вниз, в вестибюль.

Акико с отцом поднялись на второй этаж, где у входа в зал гостей с достоинством приветствовали хозяева — граф с поседевшими бакенбардами и увешанной орденами грудью и его жена, которая была старше своего мужа, в тщательно продуманном туалете в стиле эпохи Людовика XV. От Акико не укрылось восхищение, появившееся на бесстрастном лице графа, когда он ее увидел. Отец Акико, человек добродушный, радостно улыбаясь, представил дочь графу и его супруге. Акико то робела, то ликовала. Но обуревавшие девушку чувства не помешали ей уловить в лице высокомерной графини что-то вульгарное.

Танцевальный зал тоже был весь украшен буйно цве-

тущими хризантемами. Повсюду в аромате духов бесшумно плыли волны кружев, цветы, веера из слоновой кости, которыми в ожидании кавалеров обмахивались женщины. Акико сразу же оставила отца и присоединилась к одной из этих блестящих групп. Она состояла из девушек, с виду ровесниц, в почти одинаковых голубых и розовых платьях. Они встретили Акико веселым щебетаньем, наперебой восхищаясь ее красотой, тем, как чудесно она сегодня выглядит.

Не успела Акико присоединиться к подругам, как к ней неожиданно подошел морской офицер — француз и, вытянув руки по швам, вежливо поклонился на японский манер. Акико почувствовала, что ее щеки зарделись. Она сразу поняла, что означает этот поклон, и, повернувшись к стоявшей рядом с ней девушке в голубом платье, попросила ее поддержать веер. В ту же минуту офицер, вежливо улыбнувшись, неожиданно обратился к Акико по-японски, хотя с акцентом.

— Разрешите пригласить вас на танец?

И Акико закружилась с офицером в вальсе «Голубой Дунай». У него было загорелое лицо с правильными чертами, густые усы. Акико едва доставала рукой в длинной перчатке до плеча своего кавалера, но, искушенный в танцах, он без труда вел Акико в толпе вальсирующих, шепча ей на ухо комплименты на певучем французском языке. Девушка отвечала офицеру застенчивой улыбкой и время от времени поглядывала по сторонам, осматривая зал. Под ниспадавшей широкими складками драпировкой из шелкового лилового крепа с вышитыми на ней горбами императорского дома и под китайскими государственными флагами, на которых, выпустив когти, извилились голубые драконы, стояли вазы с хризантемами, весело поблескивая серебром или мрачно отливая золотом в потоке танцующих. И этот поток, вздохлестываемый вскипающим, как шампанское вихрем звуков великолепного немецкого оркестра, ни на миг не прекращал своего головокружительного движения. Встретившись взглядом с танцующей подругой, Акико радостно ответила ей на кивок. В это мгновение к Акико мотыльком разлетелся еще один кавалер: он словно бы заблудился.

Акико знала, что глаза французского офицера неотрывно следят за каждым ее движением. Видимо, в этом

еще не свыкшемся с Японией иностранце вызывала интерес легкость, с которой Акико танцевала. Неужели эта прелестная девушка живет, точно кукла, в домике из бумаги и бамбука? Неужели из разрисованной зелеными цветами мисочки величиной с ладонь она ест рис, захватывая его тонкими палочками? Эти вопросы, казалось, мелькали в его приветливой улыбке, во взгляде. Для Акико это все было ново и в то же время лестно. Наверно, поэтому всякий раз, когда удивленный взгляд кавалера устремлялся к ногам Акико в изящных розовых туфельках, они с еще большей легкостью начинали скользить по зеркальному полу.

Наконец офицер заметил, что его похожая на маленького котенка партнерша устала, и участливо заглянул ей в лицо:

— Будем еще танцевать?

— Нон, мерси, — твердо ответила запыхавшаяся Акико.

Тогда офицер, продолжая вальсировать, повел Акико, ловко лавируя, сквозь колышущиеся волны кружев и цветов к вазам с хризантемами. Сделав последний тур, он усадил девушку на стоявший там стул и, выпятив грудь, снова склонился в почтительном, на японский манер, поклоне.

Станцевав еще польку и мазурку, Акико под руку с французским офицером спустилась по лестнице, по обеим сторонам обсаженной тремя рядами хризантем, белых, желтых и красных, в огромный зал.

Там среди исчезающих и вновь появлявшихся фраков и обнаженных плеч виднелось множество столов, сервированных серебром и хрусталем, — на одних лежали горы мяса и трюфелей, на других высились башни из сэндвичей и мороженого, на третьих были воздвигнуты пирамиды из гранатов и инжира. У стены, где были высажены хризантемы, стояла изящная золотая решетка, увитая искусно сделанными виноградными лозами. Среди листьев висели похожие на осиные гнезда лиловые гроздья винограда. У решетки стоял отец Акико с каким-то господином одного с ним возраста и курил сигару. Увидев Акико, отец, очень довольный, кивнул ей и тут же повернулся к своему знакомому, снова задымив сигарой.

Офицер с Акико направились к одному из столов и взяли мороженое. От Акико не ускользнуло, что ее кавалер не может оторвать глаз от ее рук, волос, шеи, охваченной голубой бархоткой. Это, разумеется, льстило девушке. Но в какой-то миг в ней не могла не шевельнуться свойственная женщинам подозрительность. И когда мимо них прошла молодая женщина, с виду немка, в черном бархатной платье с приколотой к груди красной камелией, Акико, побуждаемая этой подозрительностью, сказала:

— Как прекрасны европейские женщины!

С неожиданной серьезностью офицер покачал головой.

— Японские женщины не менее прекрасны. Особенно вы...

— Вы не правы.

— Не подумайте, что это комплимент. Вы можете смело показаться на любом парижском балу. И очаруете всех. Вы похожи на девушку с картины Ватто.

Акико не знала Ватто. Поэтому воскрешенная словами офицера прекрасная картина прошлого — фонтаны среди деревьев, увядающие розы — мгновенно исчезла, не оставив в ее воображении никакого следа. Но Акико была гораздо сообразительнее многих своих подруг и, продолжая есть мороженое, ухватилась за спасительную тему.

— Я была бы счастлива побывать на парижском балу.

— Ничего интересного, в Париже балы такие же, как и здесь.

Говоря это, морской офицер обвел взглядом толпившихся у стола людей, хризантемы, и глаза его весело блеснули. Он перестал есть мороженое и добавил, будто обращаясь к самому себе:

— И не только в Париже. Балы везде одинаковы.

Через час Акико под руку с офицером вместе с другими гостями — японцами и иностранцами — вышла на балкон полюбоваться лунной ночью. Обнесенный балюстрадой балкон выходил в огромный парк, где росли, переплетаясь ветвями, сосны с красными фонариками на верхушках. Разлитый в холодном воздухе запах мха и палых листьев напоминал о приближающейся осени. А в танцевальном зале, на фоне драпировки из шелкового лилового крепа, на которой были вышиты шестнадца-

тилепестковые хризантемы, все так же без устали колыхались волны кружев и цветов. И все так же подхлестывал вихрь звуков оркестра этот людской поток.

Оживленный разговор и смех на балконе нарушали ночную тишину. А когда в темном небе над соснами вспыхнул фейерверк, у всех вырвались громкие возгласы восхищения. Акико весело переговаривалась с подругами. Вдруг она заметила, что офицер, придерживавший ее за локоть, задумчиво любуется спустившейся над парком лунной ночью. Акико подумала, что он страдает от ностальгии, и, заглянув ему в лицо, спросила не без кокетства:

— Вы, наверно, думаете сейчас о своей родине?

Офицер, в глазах которого по-прежнему таилась улыбка, медленно повернулся к ней. И вместо того чтобы сказать «нон», погладил ее, как ребенка, по голове.

— О чем же вы тогда думаете?

— Попробуйте отгадать.

Стоявшие на балконе вдруг снова зашумели — будто налетел порыв ветра. Офицер и Акико, словно сговорившись, умолкли, устремив взгляд в нависшее над соснами ночное небо. Там медленно гасли красные и зеленые огни фейерверка, яркими всполохами разгонявшие тьму. Фейерверк показался Акико настолько прекрасным, что ей даже стало грустно.

— Я думал о фейерверке. О том, что жизнь наша подобна фейерверку, — ответил офицер поучительным тоном, глядя сверху вниз в лицо Акико.

2

Осень 1918 года. Акико, ехавшая в свой загородный дом в Камакуре, случайно оказалась в одном вагоне со знакомым молодым писателем. Молодой человек положил на багажную полку букет хризантем, которые он вез своей камакурской знакомой. Вдруг Акико теперь пожилая замужняя дама Н. — сказала, что всякий раз, когда она видит хризантемы, ей вспоминается одна история, и подробно рассказала про бал в клубе «Рокумэйкан». Молодого человека не могли не заинтересовать эти воспомина-ния, услышанные из первых уст.

Когда рассказ был окончен, молодой человек без всякого умысла спросил:

— Вам неизвестно имя этого французского офицера?
Ответ был совершенно неожиданным.

— Разумеется, известно. Он назвался Жюльеном Вио.

— Значит, это был Loti. Тот самый Пьер Лоти, который написал «Госпожу Хризантему».

Молодой человек пришел в радостное возбуждение. Но госпожа Н., с удивлением глядя на него, тихим голосом несколько раз повторила:

— Нет, Лоти он не назвался. Жюльеном Лоти он не назвался.

Январь 1920 г.

МАДОННА В ЧЕРНОМ

...Из глубины юдоли слез, из глубины юдоли скорби с мольбой к тебе зываем... О милосердная и всеблагая, о несказанно кроткая владычица наша святая Дева Мария!

Молитва «Аве Мария»

— Ну-с, что вы об этом скажете? — с этими словами Тасиро-кун поставил на стол статуэтку Марии-Каннон.

«Мария-Каннон»... Так принято называть изображение (обычно — из белого фаянса) богини Каннон, которым нередко поклонялись христиане в те времена, когда католическая религия была под запретом. Но статуэтка, которую показывал сейчас Тасиро-кун, отличалась от тех, что хранятся в музеях или у многочисленных частных коллекционеров. Во-первых, фигурка эта, сантиметров тридцати вышиной, вся, за исключением лица, была вырезана из цельного куска дорогого черного дерева. Мало того, традиционное ожерелье на шее — орнамент из крестов, — сделанное тоже чрезвычайно искусно, было инкрустировано перламутром и золотом. И наконец, лицо — великолепная резьба по слоновой кости, а на губах — алая точка, очевидно, коралл...

Скрестив руки на груди, я некоторое время молча вглядывался в прекрасный лик «Мадонны в черном». И пока смотрел, мне все явственнее чудилось какое-то странное выражение, будто смутно витавшее в чертах этого вырезанного из кости лица. Впрочем, нет, сказать

«странное», пожалуй, слишком слабо. Мне показалось, будто все ее лицо дышит иронической, даже какой-то злобной усмешкой.

— Ну-с, что скажете? — повторил Тасиро-кун, горделиво улыбаясь, как все коллекционеры-любители, и поглядывая то на «Марию-Каннон», то на меня.

— Редкостная вещица! Но не кажется ли вам, что лицо у нее какое-то злое?

— Да, уж кротким и нежным это лицо не назовешь. И в самом деле, с этой Марией-Каннон связана удивительная легенда.

— Удивительная легенда?.. — Я невольно перевел взгляд с «Марии-Каннон» на Тасиро-куна. Неожиданно став серьезным, Тасиро-кун хотел было убрать статуэтку, но тут же поставил ее на прежнее место.

— Да, поговаривают, будто эта Мадонна приносит несчастье... Когда ее просят отвести беду, она насыплет еще худшую...

— Не может быть!

— Тем не менее с хозяйкой этой фигурки действительно случилось, как мне рассказывали, нечто подобное. — Тасиро-кун сел и с серьезным, чуть ли не с удрученным видом жестом пригласил меня занять место напротив.

— Неужели это правда? — опускаясь на стул, с невольным удивлением воскликнул я. Тасиро-кун — мой товарищ, окончивший университет двумя годами раньше меня, известный, талантливый адвокат. К тому же — человек образованный, современный, отнюдь не склонный к суевериям. И если уж такой человек, как он, решается затронуть подобную тему, значит, можно не опасаться, что «удивительная легенда» окажется на поверку пошловатым рассказом о «сверхъестественном».

— Судите сами... Но так или иначе — прошлое у этой «Марии-Каннон» зловещее. Если не соскучитесь, извольте, я расскажу...

До меня фигурка эта принадлежала богатой семье Инами, уроженцам одного из городов префектуры Ниигата. Фигурку берегли не как раритет, а как божество, охраняющее благополучие дома.

Сам Инами, глава семьи, — мы вместе учились на юридическом факультете, — занимается и коммерцией, и банковскими операциями, одним словом, человек он весьма деловой. А потому и мне пришлось несколько раз оказы-

вать ему кое-какие услуги. Возможно, он хотел меня отблагодарить... Но как бы то ни было, в один из своих очередных приездов в Токио он преподнес мне эту «Марию-Каннон», свою старинную фамильную драгоценность.

Тогда-то я и услышал от него удивительную легенду, о которой только что упомянул, хотя сам Инами, разумеется, не верил в какие-то чары или тому подобную мистику. Просто он рассказал мне вкратце предание, связанное с этой Мадонной, так, как слышал его от своей матери.

Случилось это осенью, матери Инами — ее звали О-Эй — исполнилось тогда не то десять, не то одиннадцать лет... По времени это, очевидно, последние годы Каэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урага. Той осенью брат О-Эй, восьмилетний Мосаку, захворал корью в очень тяжелой форме. После смерти родителей, погибших несколько лет назад, О-Эй вместе с братом осталась на попечении бабушки, которой было уже за семьдесят. Нетрудно понять, как встревожилась эта старая дама, прабабка нашего Инами. Несмотря на все старания врачей, состояние Мосаку ухудшалось и ухудшалось, и не прошло и недели, как над ребенком нависла угроза смерти.

И вот однажды ночью в комнату крепко спавшей О-Эй неожиданно вошла бабушка; силой разбудив и подняв с постели девочку, она поспешно, без помощи служанок, заставила ее тщательно одеться. О-Эй не успела еще хорошенько проснуться, как бабушка схватила ее за руку и, освещая путь тусклым бумажным фонарем, потащила сонную девочку по безлюдной галерее к каменному амбара, куда и днем-то почти никогда не заглядывала.

В глубине амбара с давних пор стояла белая деревянная божница в честь богини Инари, охраняющей от пожаров. Бабушка вытащила из-за пояса ключ, открыла дворцы божницы — там, за парчовыми складками занавески, стояла тускло освещенная фонарем эта самая «Мария-Каннон». Как только О-Эй увидела статуэтку, ей вдруг почему-то стало страшно; прильнув к бабушке и спрятав голову ей в колени, она горько расплакалась. Однако бабушка, обычно такая ласковая, на сей раз не обратила никакого внимания на слезы девочки, уселась перед божницей и, благоговейно перекрестившись, начала бормотать какие-то молитвы, непонятные О-Эй.

Так прошло минут десять; потом бабушка обняла О-Эй, тихонько заставила ее приподняться и, всячески успокаивая перепуганную девочку, усадила ее рядом с собой. И снова стала молиться, обращаясь к вырезанной из черного дерева фигурке со словами, на этот раз понятными О-Эй:

— Святая Дева Мария, на всем белом свете только и есть у меня, что мой внук Мосаку, которому нынче исполнилось восемь, и вот эта его сестричка О-Эй, — я ее тоже привела к тебе. Ты видишь, она еще слишком мала, чтобы взять ей в дом мужа. И если какая-либо беда стряется теперь с Мосаку, дом Инами с той же минуты лишится продолжателя рода. Не допусти же свершиться такой напасти, охрани и защити жизнь Мосаку! Если же я прошу слишком многого, если я недостойна, чтобы ты вняла моей просьбе, то сохрани жизнь Мосаку хотя бы до тех пор, пока я еще живу на этом свете... Я уже стара и навряд ли протяну долго; скоро я вручу свою аниму нашему эсусу... Но до тех пор и внучка моя О-Эй, даст бог, подрастет... Пролей же на нас милость, отврати от Мосаку меч, занесенный ангелом смерти, хотя бы до тех пор, пока я не закрою глаза навеки... — Так с жаром молилась бабушка, склонившись стриженной головой.

И вот, по словам О-Эй, когда молитва окончилась и девочка робко приподняла голову, она вдруг увидела — возможно, ей померещилось, — что «Мария-Каннон» улыбнулась. О-Эй опять тихонько вскрикнула от испуга и снова уткнулась в колени бабушки. Но та, напротив, с довольным видом поглаживая по спине внучку, повторила несколько раз:

— Полно, полно, теперь мы уже можем уйти... Госпожа Мария снизошла к бабушкиной молитве!

Ну, а наутро и в самом деле, словно молитва бабушки и вправду была услышана, жар у Мосаку спал, и если еще вчера он был в полном беспомоществе, то теперь к нему постепенно возвратилось сознание. Трудно описать радость бабушки. Мать Инами рассказывала, что до сих пор не может забыть, как от радости бабушка и плакала и смеялась одновременно... Убедившись, что больной внучек спокойно спит, бабушка между тем и сама решила немного передохнуть после нескольких ночей бдения у постели больного. Она велела приготовить себе постель в соседней комнате и легла, хотя обычно спала у себя в спальне.

О-Эй сидела у изголовья бабушкиной постели, играя в блошки. По ее словам, старая женщина, очевидно измученная усталостью, тотчас же уснула, словно убитая. Так прошло примерно около часа, как вдруг пожилая служанка, ходившая за Мосаку, осторожно приоткрыла раздвижную дверь, отделявшую соседнее помещение, и испуганно позвала:

— Барышня, разбудите-ка поскорей старую госпожу!

Малютка О-Эй тотчас же подошла к бабушке и дернула ее несколько раз за рукав спального кимоно:

— Бабушка, бабушка!

Но странное дело — бабушка, всегда спавшая очень чутко, на этот раз не отвечала, сколько ее ни звали. Тем временем служанка в недоумении приблизилась, но, едва бросив взгляд на спящую, точно безумная схватила ее за кимоно с плачем и отчаянным криком: «Госпожа! Госпожа!» Однако бабушка даже не шевельнулась, только под глазами у нее легли легкие лиловатые тени. Вскоре и другая служанка поспешно распахнула дверь и, вся красная от волнения, дрожащим голосом позвала:

— Госпожа!.. Молодой барин... Госпожа!..

Само собой, в словах этой служанки звучал такой испуг, что даже маленькая О-Эй догадалась, — Мосаку неожиданно стало хуже... Но бабушка по-прежнему лежала, крепко закрыв глаза, словно не слыша служанок, с плачем припавших к изголовью ее постели...

Мосаку тоже скончался — минут десять спустя. «Мария-Каннон» выполнила просьбу бабушки — при ее жизни не убивать Мосаку.

Рассказав эту историю, Тасиро-кун остановил на мне долгий задумчивый взгляд.

— Ну что? Разве вам не верится, что все это правда?

— Мм... Да, но... Трудно сказать...

Некоторое время Тасиро-кун молчал. Затем, поднеся спичку к погасшей трубке, проговорил:

— А мне думается, все так и было. Вот только неизвестно, повинна ли в том Мадонна, хранившаяся в доме Инами, или нечто совсем иное... Впрочем, вы, кажется, еще не прочли надпись на подставке этой фигурки. Взгляните... Видите латинские буквы, вырезанные вот здесь? *Desine fata deum flecti sperare precando...*¹

¹ Не надейся, что молитвой изменишь предначертание богов... (лат.).

Я с невольным страхом взглянул на «Марию-Канон» — само олицетворение судьбы. На прекрасном лице Мадонны, облаченной в черное дерево, навечно запечатлелась таинственная усмешка, в которой сквозила нескрываемая враждебность.

Май 1920 г.

ТЕНЬ

Йокохама.

Хозяин японо-китайской торговой компании Чэнь Цай, облокотившись о стол, с погасшей сигарой во рту, торопливо пробегал глазами обычную в конце дня стопку торговых документов.

В комнате с ситцевыми занавесками на окнах царило привычное уныние последних теплых дней уходящего лета — от него даже дышать было тяжело. Уныние нарушалось лишь стуком пищащей машинки, едва долетавшим сюда из-за двери, пахнувшей лаком.

Завершив дела, Чэнь, вдруг вспомнив что-то, снял телефонную трубку.

— Мне нужно поговорить с женой, соедините меня. — Чэнь говорил властно, на прекрасном японском языке.

— Кто это?.. Бабушка?.. Позови жену... Фусако?.. Хочу предупредить тебя, что вечером мне придется поехать в Токио... Да, там и заночую... Удастся ли вернуться?.. Нет, вряд ли я успею на поезд... Ну, будь умницей... Что? Врача приглашала?.. У тебя все это от нервного переутомления. Хорошо. До свидания.

Опустив трубку на рычаг, Чэнь почему-то нахмурился, взял толстыми пальцами спичку, чиркнул ею о коробок и зажег зажатую в зубах сигару.

...Табачный дым, запах цветов, стук ножей и вилок, доносящийся из угла зала, фальшивые звуки оркестра, исполняющего увертюру к опере «Кармен», — среди этого невообразимого шума и толчеи, облокотившись о стол, в одиночестве сидит Чэнь, перед ним кружка пива. Вокруг все непрерывно движется — и посетители, и официанты, и вентиляторы. Лишь его взгляд давно уже прикован к лицу женщины у конторки.

Женщине на вид не больше двадцати. Она сидит спиной к вделанному в стену зеркалу, карандаш в ее руке

стремительно бегаёт по бумаге — женщина выписывает счета. Ниспадающая на лоб челка, легкий румянец на щеках, выглядывающий из-под кимоно зеленовато-синий воротничок из скромной материи.

Допив пиво, Чэнь медленно поднимает свое грузное тело и подходит к конторке.

— Чэнь-сан! Когда же вы купите мне кольцо?

Говоря это, женщина не отрываясь продолжает писать.

— Когда не будет этого кольца.

Чэнь, шаря в кармане, чтобы найти мелочь, кивает на палец женщины. На нем — золотое обручальное колечко.

— Согласна, только сегодня же купите другое.

Женщина срывает с пальца кольцо и кладет его перед Чэнем вместе со счетом.

— Это кольцо помогает мне спастись от мужчин.

За стенами кафе по асфальту течет летний ветер, несущий ночную прохладу. Смешавшись с пешеходами, Чэнь идет, поглядывая на звезды в небе. И эти звезды тоже только сегодня вечером...

Стук в дверь вернул Чэнь Цая к действительности, оторвав от воспоминаний годичной давности.

— Войдите.

Только он это сказал, как пахнувшая лаком дверь отворилась и в комнату зловеще тихо вошел мертвенно-бледный секретарь Иманиси.

— Пришло письмо.

На лице молча кивнувшего Чэня отразилось неудовольствие, он не дал сказать Иманиси больше ни слова. Холодно поклонившись, Иманиси оставил конверт и так же тихо удалился к себе.

После того как дверь за Иманиси закрылась, Чэнь бросил сигару в пепельницу и взял со стола конверт. Письмо ничем не отличалось от обычных деловых писем — адрес на белом европейском конверте напечатан на машинке. Но стоило Чэню взять в руки письмо, как на лице его появилось отвращение.

— Опять?

Нахмутив густые брови, Чэнь досадливо щелкнул языком. Но тем не менее положил на стол ноги и, откинувшись на спинку вертящегося кресла, вскрыл конверт, даже не пользуясь ножом для разрезания бумаги.

«Почтительно приветствую Вас.

Уже который раз ставлю Вас в известность, что Ваша супруга не верна Вам... И то, что Вы до сегодняшнего дня не предприняли каких-либо решительных мер... Постоянно Ваша супруга со своим давним любовником... Ваша супруга Фусако, японка, к тому же в прошлом — официантка в кафе... Я не могу не сочувствовать Вам, китайцу... Если Вы не расторгнете с ней брак, все будут смеяться над Вами... Я не имел никаких дурных намерений... С уважением, Ваш преданный друг».

Письмо выпало из бессильно повисшей руки Чэня.

...Подойдя к столу, Чэнь при вечернем свете, проникавшем снаружи сквозь тюлевые шторы, рассматривает дамские золотые часики. На их крышке выгравированы инициалы, но это не инициалы Фусако.

— Откуда они?

Фусако, совсем недавно вышедшая замуж за Чэня, продолжает стоять у комода, с улыбкой глядя на мужа.

— Танака-сан подарил. Разве я вам не говорила? Владелец складов...

На столе лежат еще два футляра с кольцами. Чэнь открывает бархатные крышки — в одном кольцо с жемчугом, в другом — с бирюзой.

— Это от Кумэ-сана и Номуры-сана.

Появляются коралловые украшения для волос.

— Старинные. От Куботы-сана.

Чэнь, с таким видом, будто ему совершенно безразличны все эти вещи, пристально глядя на жену, задумчиво говорит:

— Это твои трофеи. Береги их.

Фусако в вечерних сумерках снова награждает его очаровательной улыбкой.

— Значит, и твои тоже.

В то время он радовался вместе с ней. Но теперь...

Чэнь вздрогнул и снял ноги со стола. Его испугал неожиданно раздавшийся телефонный звонок.

— Слушаю... Хорошо... Соедини...

Не отрывая взгляда от телефона, он нервно отер пот со лба.

— Кто говорит?.. Сыскную контору Сатоми я знаю.

Я спрашиваю, кто именно?.. Ёсии-кун?.. Так. А донесение? Что произошло? Врач?.. Что же потом?.. Возможно... Хорошо, встречайте меня на станции... Нет, приеду последним поездом обязательно... Так что встречайте. До свидания.

Чэнь Цай положил трубку, на какое-то время внимание его рассеялось. Но случайно посмотрел на настольные часы и почти машинально нажал кнопку звонка.

Появился секретарь Иманиси, наполовину протиснув в приоткрытую дверь свое тощее тело.

— Иманиси-кун, передайте Тэй-куну, что я прошу его поехать сегодня в Токио вместо меня.

Голос Чэня утратил свою обычную властность. Иманиси как всегда холодно поклонился и тут же скрылся за дверью.

Проникающие сквозь ситцевые занавески лучи заходящего солнца, скрытого редкими облаками, окрасили комнату в тусклые красные тона. Откуда-то залетевшая огромная муха, как бы рисуя причудливые фигуры, с глухим жужжанием летала вокруг Чэня, сидевшего, задумчиво подперев щеку.

Камакура.

В доме Чэнь Цая, в гостиной с тюлевыми шторами на окнах, царил вечерний полумрак уходящего лета. Все еще цветущие олеандры, пышно разросшиеся за окнами и крадущие солнечные лучи, окрашивали полумрак этой унылой комнаты в приятные тона.

У стены в плетеном кресле сидела Фусако и, поглаживая полосатую кошку, устроившуюся у нее на коленях, грустно смотрела на олеандры за окном.

— Господин и сегодня не придет?

Это сказала старая служанка, убиравшая со стола посуду.

— Да, он очень занят.

— Если бы вы не были больны, он мог бы оставаться спокойным, но ведь...

— Да что у меня за болезнь, обычное нервное переутомление. Яманоути-сэнсэй сегодня снова это повторил. Достаточно хорошенько поспать несколько ночей... Ой!

Старуха испуганно посмотрела на хозяйку. Она впервые видела на детском личике Фусако такой страх.

— Что случилось, госпожа?

— Нет, нет, ничего. Ничего, но все же... — Фусако через силу улыбнулась. — Кто-то только что через окно...

Старуха выглянула в окно — в саду не было ни души, между шелестящими на легком ветерке олеандрами по-прежнему расстилался нетронутый ковер травы.

— Ох, и напугали же вы меня. Наверно, мальчишка из соседнего дома балуется.

— Нет, это не соседский мальчишка. Мне кажется, я его уже видела... да-да, это тот самый молодой мужчина в охотничьей шляпе, который все шел за нами, когда мы с тобой ездили в Хасэ. А может, мне это почудилось.

Последние слова Фусако произнесла неуверенно.

— Что же нам делать, если это и вправду тот самый человек? И господин сегодня не придет... Может, послать деда в полицию? Пусть он там все расскажет.

— Ну, и трусиха же ты. Тот ли человек, другой ли — я нисколько не боюсь. Но если... если это мои нервы...

Старуха недоуменно хлопала глазами.

— Если мне это почудилось, то, может быть, я просто схожу с ума.

— Вы, наверно, смеетесь надо мной.

Успокоившаяся старуха, улыбаясь, опять стала убирать со стола.

— Нет, ты ничего не знаешь. В последнее время, когда я остаюсь одна, мне начинает казаться, будто кто-то стоит у меня за спиной. Стоит и пристально на меня смотрит...

Говоря это, Фусако, видимо удрученная собственными словами, задумалась...

...В спальне на втором этаже погашен свет, и в ней царит полумрак, напоенный легким ароматом духов. Светлым пятном в комнате выделяется лишь окно с незадернутыми шторами — разумеется, потому что взойшла луна. Залитая ее светом, Фусако стоит у окна и смотрит на растущие в саду сосны.

Муж так и не приехал. Прислуга уже улеглась. Ночь лунная и безветренная. Издалека доносится монотонный гул — наверно, все еще шумит море.

Фусако долго стоит у окна. Постепенно ее охватывает странное ощущение, будто на нее устремлен все тот же взгляд.

Но кроме нее в спальне никого быть не может. А вдруг кто-то есть... Нет, перед сном она тщательно заперла дверь. Почему же тогда ей это кажется? Да. Несомненно, из-за нервного переутомления. Глядя на смутно виднеющиеся сосны, она все время старается убедить себя в этом. Но сколько ни гонит от себя ощущение, что кто-то наблюдает за ней, оно только усиливается.

Наконец Фусако робко оборачивается. В спальне нет никого, даже ее полосатой кошки. Значит, ей просто кажется, будто за ней наблюдают, потому что расшалились нервы... Но в следующий миг эта мысль исчезает. Фусако делает несколько шагов — ей снова чудится, что в полумраке комнаты притаился невидимый незнакомец. Еще невыносимее чувство, что теперь глаза незнакомца испепеляют лицо Фусако, стоящей спиной к окну.

Борясь с охватившей ее дрожью, Фусако протягивает руку и поворачивает выключатель. В тот же миг комната освобождается от смешанного с лунным светом сумрака и возвращается к надежной действительности. Кровать, полог, умывальник — при ярком свете они видны так отчетливо, что ей становится даже радостно. К тому же в комнате ничего не изменилось — все, как и год назад, когда она вышла замуж за Чэня. В этом радостном мире никакой, самый ужасный призрак... Нет, этот отвратительный незнакомец, не боясь яркого света, ни на секунду не отрываясь, продолжает пристально смотреть в лицо Фусако. Она закрывает лицо ладонями и, не помня себя от страха, пытается позвать на помощь. Из рта почему-то не вырывается ни звука. И тогда ужас, какого она никогда не испытывала, овладевает...

Вздохнув, Фусако освободилась от своего воспоминания недельной давности. В тот же миг спрыгнула на пол кошка, сидевшая у нее на коленях, и, вытянув свою красивую полосатую спину, сладко зевнула.

— Такое кому угодно может привидеться. Дед рассказывал, что однажды, только он стал подрезать сосну в вашем саду, ему показалось, что в полуденном небе хочется целая ватага мальчишек. Да нет, он не свихнулся, просто все время бормочет какую-то ерунду.

Это сказала, будто утешая ребенка, вошедшая с чайным подносом старуха. Услышав ее слова, Фусако впервые за весь вечер слабо улыбнулась.

— Конечно, это проделки соседских мальчишек. А раз дед испугался, услышав крики мальчишек, значит, он трус... Смотри, пока мы с тобой болтали, зашло солнце. Но ничего страшного, раз муж не вернется сегодня... Ванна готова?

— Да, уже согрелась.

— Хорошо. Я прямо сейчас и приму ванну.

Фусако с легким сердцем поднялась со стоявшего у стены плетеного кресла.

— Наверно, и сегодня соседские мальчишки будут пускать фейерверк.

Старуха тихо вышла вслед за Фусако, и в полутемной гостиной, где за окном уже не видны были олеандры, никого не осталось. Но полосатая кошка, о которой забыли, вдруг бросилась к двери, будто учуяла что-то. И будто стала тереться о чьи-то ноги. Но в наполнявшем комнату сумраке никого не было, только зловеще поблескивали кошачьи глаза.

Йокохама.

В помещении дежурного японо-китайской торговой компании лежал на диване секретарь Иманиси и при свете тусклой электрической лампочки читал свежий номер журнала. Но вскоре он небрежно бросил журнал под стоявший рядом стол и вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию. Когда он смотрел на нее, с его мертвенно-бледного лица не сходила счастливая улыбка.

Это была девическая фотография Фусако, жены Чэнь Цая, на которой она была изображена по пояс с волосами, расчесанными на прямой пробор...

Камакура.

В звездное безоблачное небо взвился гудок отправления последнего поезда из Токио, и Чэнь Цай, со сложенным вдвое портфелем под мышкой, пройдя турникет, остался в одиночестве и принялся осматривать унылую привокзальную площадь. Сидевший на скамье у вокзала под тусклой электрической лампочкой высокий широкоплечий мужчина встал и, небрежно волоча толстую тростниковую палку, не спеша направился к Чэню. Вежливо

сняв охотничью шляпу, он тихим голосом обратился к нему:

— Вы Чэнь-сан? Я Ёсии.

Чэнь почти равнодушно мельком взглянул на него.

— На сегодня достаточно, благодарю вас.

— Я недавно звонил вам...

— После этого ничего не произошло?

В тоне Чэня чувствовалась пружинящая сила, точно отбрасывающая слова собеседника.

— Ничего. После ухода врача ваша жена допоздна о чем-то говорила со служанкой. Потом приняла ванну, поела и примерно до десяти часов слушала граммофон.

— В гости к ней никто не приходил?

— Никто.

— Когда вы прекратили наблюдение?

— В одиннадцать часов двадцать минут.

Ёсии тоже отвечал четко.

— За это время другие поезда, кроме последнего, на котором я приехал, не проходили?

— Не проходили. Ни в Токио, ни из Токио.

— Что ж, благодарю вас. Передайте привет Сатоми-куну.

Чэнь небрежно коснулся полей соломенной шляпы и, не обращая внимания на Ёсии, который застыл в выжидательной позе, со шляпой в руке размашисто зашагал по усыпанной гравием дорожке. Потому ли, что Чэнь держался слишком уж высокомерно, Ёсии, глянув ему вслед, слегка пожал плечами. Но тут же беззаботно присвистнул — мне, мол, на все наплевать — и, по-прежнему волоча палку, пошел в привокзальную гостиницу.

Камакура.

Через час Чэнь, будто со стороны, увидел себя воровски прикившим ухом к двери их общей с женой спальни, чтобы узнать, что там происходит. Внешнюю галерею, куда выходила дверь спальни, заволочла перехватывающая дыханье тьма. Лишь в одном месте виднелась светлая точка — это сквозь замочную скважину проникал электрический свет.

Сдерживая готовое разорваться от бешеных ударов сердце, Чэнь плотно прижал ухо к двери и весь превратился в слух. Но из спальни не доносилось ни звука. Безмолвие было для Чэня еще непереносимее, еще

мучительнее. Ему казалось, что в расстилающейся перед его глазами тьме он снова ясно видит то немислимое, что обнаружил у дома, когда шел со станции.

...Под соснами с переплетающимися ветвями тянется покрытая росой узкая песчаная дорога. И сверкающие в небе бесчисленные звезды лишь кое-где просвечивают сквозь сосновые ветви. О близости моря говорит лишь соленый ветер, колышущий редкие кусты травы. Некоторое время Чэнь в полном одиночестве осторожно продвигался в этой унылой тьме, вдыхая усилившийся к ночи запах сосны.

Вдруг он остановился, с недоумением всматриваясь в дорогу. И не только потому, что в нескольких шагах от него возникла кирпичная ограда его дома, — он вдруг услышал крадущиеся шаги, доносившиеся с того места, где виднелась эта увитая плющом старинная ограда. Но сколько он ни всматривался в темноту, которую делали еще непрогляднее сосны и трава, рассмотреть никого не удавалось. Единственное, что он сразу же установил, что шаги удаляются.

«Чепуха, разве я один имею право ходить по этой дороге», — упрекнул себя Чэнь за подозрение, вдруг родившееся в его душе. Но тем не менее эта дорога вела к задним воротам именно его дома, и никуда больше. В таком случае... Не успел он это осмыслить, как до него вместе с налетевшим порывом соленого ветра донесся скрип открываемой калитки.

«Странно, еще утром я обратил внимание, что калитка заперта».

С этой мыслью Чэнь Цай, точно собака, почуявшая дичь, озираясь по сторонам, подкрался к калитке. Калитка, видимо, была заперта. Прислонившись к ограде, Чэнь некоторое время стоял неподвижно по колено в траве. Потом изо всех сил толкнул калитку — калитка не поддавалась. Значит, действительно заперта.

«Померещилось, наверно. Калитку не открывали».

Шагов уже не слышно. На фоне светлого, залитого лунной небой над увитой плющом оградой возвышается его дом, все окна темные. Душу Чэня вдруг наполняет печаль. Почему? Он и сам не знает. Он стоит, прислонившись к ограде, слушая писк насекомых, и по щекам его текут холодные слезы.

— Фусако, — со стоном произносит Чэнь имя любимой.

И в то же мгновение в окне второго этажа загорается ослепительно яркий свет.

— В том окне... Это...

Стараясь не дышать, Чэнь, уцепившись за ветви сосны, встает на цыпочки и заглядывает в окно второго этажа. Окно... Окно спальни на втором этаже — шторы не задернуты, и видна ярко освещенная комната. Свет из нее льется на мохнатые верхушки сосен, и от этого они будто плавают в темном небе.

Но не это самое удивительное. В окне виден силуэт человека, смотрящего в сад. Кто это — определить невозможно, потому что человек освещен со спины. Но можно утверждать с полной уверенностью, что это не женщина. Чтобы не упасть, Чэнь хватается за обвивший ограду плющ и, еле удержавшись на ногах, шепчет слабым, прерывающимся голосом:

— Письмо... Невозможно... Только не Фусако...

В следующее мгновение Чэнь Цай перемахивает через ограду и, осторожно пробираясь между соснами, подходит к окну гостиной, расположенному под окном спальни. Цветы и листья олеандр — мокрые от обильной росы...

Прокравшись на совершенно темную внешнюю галерею, Чэнь плотно сжал пересохшие губы и, снедаемый еще большей ревностью, стал прислушиваться. Как раз в это время за дверью послышались, как ему показалось, уже знакомые осторожные шаги.

Шаги сразу стихли. Нервы Чэня напряжены до предела — хлопнуло окно. Потом опять... тишина.

Под тяжестью этой гнетущей тишины, будто выдавленные, появляются на побледневших щеках Чэня капли холодного липкого пота. Дрожащими пальцами он нащупывает ручку двери. Нажимает на нее, но дверь заперта.

В то же мгновение за дверью падает не то гребень, не то шпилька. Но сколько Чэнь ни напрягает слух, он почему-то не слышит, чтобы упавшую вещь подобрали.

Все эти звуки ранят сердце Чэня. Дрожа и весь обратившись в слух, он приникает к двери. Возбуждение доходит до предела — это видно по безумному выражению его глаз.

Проходит несколько тягостных секунд — за дверью слышатся вздохи. Потом кто-то тихо ложится в постель.

Если бы это продолжалось еще хоть минуту, Чэнь, пожалуй, лишился бы чувств. Но тут, словно ему было ниспослано свыше прозрение, он увидел тонкий, как паутина, луч света, просочившийся из-за двери. Чэнь встал на колени и сквозь замочную скважину заглянул в комнату.

Глазам его открылась картина, проклятая во веки веков.

Йокохама.

Спрятав во внутренний карман пиджака фотографию Фусако, секретарь Иманиси тихо поднялся с дивана. И привычно, не издав ни звука, прошел в приемную, погруженную во тьму.

Щелкнул выключатель. Настольная лампа осветила сидящего за пишущей машинкой Иманиси — как ему удалось устроиться здесь так незаметно?

Пальцы Иманиси быстро забегали по клавишам. И одновременно машинка, выстукивая непрерывную дробь, начала поглощать бумагу, заполняя ее строками иероглифов.

«Почтительно приветствую Вас.

Вряд ли есть необходимость снова ставить Вас в известность о том, что супруга не хранит Вам верность. Но из-за слишком большой любви к ней Вы...»

В эти минуты лицо Иманиси превратилось в маску ненависти.

Камакура.

Дверь в спальню Чэня рухнула. Все в ней осталось как было — и кровать, и полог, и умывальник, и заливавший ее свет электрической лампы, только дверь рухнула.

Застыв в углу комнаты, Чэнь Цай смотрел на распластавшихся у кровати двух человек. Одним из них была Фусако... Или, лучше сказать «ничто», еще недавно бывшее Фусако, это «ничто» с распухшим, посиневшим лицом и вывалившимся изо рта языком, прищурившись, смотрело в потолок. Другим был Чэнь Цай. Точная копия Чэнь Цая, стоявшего в углу комнаты. Навалившись на Фусако, он погрузил в ее горло пальцы так глубоко, что даже ногтей не было видно. А его голова, мертвая или живая, — не разобрать, — лежала на ее обнаженной груди.

После длившегося некоторое время безмолвия Чэнь Цай, тот, что лежал на полу, тяжело дыша, медленно поднял с пола свое грузное тело. Но тут же упал на стоявший рядом стул.

Тогда Чэнь Цай, тот, что притаился в углу, тихо отошел от стены и подошел к тому «нечто», которым прежде была Фусако. С беспредельной тоской смотрел он на распухшее, посиневшее лицо жены.

Как только Чэнь Цай, сидевший на стуле, заметил, что, кроме него, в комнате находится еще кто-то, он как безумный вскочил. В его лице... в его налитых кровью глазах сверкнула жажда убийства. Но одного взгляда на стоявшего перед ним человека оказалось достаточно, чтобы жажда убийства мгновенно сменилась невыразимым ужасом.

— Ты кто? — спросил он, задыхаясь, замерев у своего стула.

— Тот, кто недавно шел по сосновой роще... тот, кто пробрался сюда через заднюю калитку... тот, кто стоял у окна, глядя в сад... тот, кто мою жену... мою Фусако... — Неожиданно он осекся и закричал хриплым голосом: — Ты, именно ты! А ты кто?

Другой Чэнь Цай ничего не ответил. Он лишь поднял глаза и с тоской смотрел на стоявшего перед ним Чэнь Цая. И вдруг, будто пронзенный его взглядом, зло тараща глаза, стал медленно отходить к стене. А его губы продолжали беззвучно шептать: «Ты кто?»

И этот другой Чэнь Цай, став на колени перед «нечто», которым раньше была Фусако, принялся нежно гладить ее тонкую шею. Потом прикоснулся губами к видневшимся на шее следам безжалостных пальцев.

В залитой ярким электрическим светом комнате, где было, казалось, тише, чем в могиле, вдруг послышались тихие прерывистые рыдания. И оба Чэнь Цая, и тот, что стоял у стены, и тот, что стоял на коленях, погрузив лицо в ладони...

Токио.

Кинофильм «Тень» окончился. Рядом со мной в ложе сидела женщина.

— Фильм уже окончился?

Женщина грустно на меня посмотрела. И я вспомнил глаза Фусако из «Тени».

— Какой фильм?

— Который мы только что видели. «Тень».

Женщина молча протянула мне программу, лежавшую у нее на коленях. Но сколько я ни искал, фильм «Тень» в ней не значился.

— Неужели я видел сон? Все равно странно — я не помню, что спал. Да и «Тень» очень странный фильм...

Я коротко рассказал его содержание.

— Подобный фильм я уже однажды видела, — еле слышно ответила женщина, и в глазах ее мелькнула грустная улыбка.

— Не будем эту «Тень» принимать близко к сердцу.

Сентябрь 1920 г.

КОНЧИНА ПРАВЕДНИКА

(Свиток картин)

Ребенок. Смотрите, сюда идет какой-то чудной монах! Смотрите все, смотрите все!

Уличная торговка суси. В самом деле, какой странный монах! Так неистово ударяет в гонг и при этом вопит...

Старик, торговец хворостом. Никак не пойму, чего он хочет, — на ухо туговат. Скажи, что он там кричит, а?

Жестящик. Он кричит: «О будда Амида, отзовись! О будда Амида, отзовись!»

Старик. Да ну?.. Значит, он не в себе.

Жестящик. Похоже на то.

Торговка овощами. Ах, нет, это, наверно, блаженный праведник. Помолюсь-ка ему на всякий случай.

Торговка суси. Но какое противное у него лицо! Разве у праведников бывают такие?

Торговка овощами. Грешно так говорить! Бог накажет...

Ребенок. Дю-дю, дурачок! Дю-дю, дурачок!

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Собака. Гав!.. Гав-гав!..

Дама идущая на богомолье. Взгляни, какой забавный монах!

Ее спутница. Эти блаженные, чуть только увидят женщину, того и гляди, привяжутся с какой-нибудь непристойностью. Хорошо, что он еще далеко, свернем скорее в сторону.

Литейщик. Э, да, никак, это вельможа из Тадо!..

Странствующий торговец ртутью. Слышал я, что супруга его и дети день-деньской льют о нем слезы...

Литейщик. И все же вступить на путь Будды, покинув ради этого даже жену с детьми, — что ни говорите, а по нынешним временам это замечательно!

Торговка сушеной рыбой. Что же тут хорошего? Поставь-ка себя на место брошенной жены и детей — поневоле зло возьмет, пусть даже не женщина разлучила, а сам Будда!

Молодой самурай. А ты права. В этом есть свой резон! (*Хохочет.*)

Собака. Гав-гав!.. Гав-гав!..

Монах-вельможа. Отзовись, будда Амида!.. Отзовись! Отзовись!..

Самурай-всадник. Эй, коня напугал, отче!.. Стой, стой!..

Слуга, несущий за ним поклажу. На блаженного и рука не поднимется...

Старая монахиня. Всем ведомо, что монах этот был прежде злодеем, любившим пуще всего убийство... Поистине благо, что он обратился на путь истины.

Молодая монахиня. Да, верно, страшный был человек... Не только убивал все живое, охотясь в лесах и на реках, но, бывало, не раз стрелял в простолудинов, в нищих...

Нищий с сандалиями в руках. Вовремя же я его повстречал. Случись это на недельку раньше, стрела, возможно, пробуравила бы мне дырку в брюхе.

Торговец каштанами. С чего бы это такой душегуб вздумал постриться?

Старая монахиня. Да, чудеса... Наверное, была на то воля Будды.

Торговец маслом. А я думаю, не иначе как в него вселился тэнгу или другая нечистая сила.

Торговец орехами. Нет, по-моему, не тэнгу, а лисица.

Торговец маслом. Но говорят, что именно тэнгу в любую минуту может оборотиться Буддой...

Торговец орехами. Сказал тоже... Не только тэнгу... И лиса на это мастерица.

Нищий. Выберу-ка я минутку, стащу горсточку каштанов да суну в мешок для подаяний...

Молодая монахиня. Ой, смотрите, куры все забрались на крышу — верно, гонга испугались...

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Рыбак. Вот еще нелегкая принесла! Сколько шума наделал!

Его приятель. Что это там? Какой-то нищий бежит сюда?

Дама-путешественница с длинной вуалью и под зонтиком. Ах, как ноги у меня устали! Этому нищему и то позавидуешь!

Ее слуга. Осталось только перейти мостик, и за ним сразу город.

Рыбак. Заглянуть бы разок под эту вуаль...

Его товарищи. Смотри, пока мы по сторонам зевали, наживку-то оборвало...

Монах-вельможа. О будда Амида! Отзовись! Отзовись!..

Ворона. Карр!.. Карр!

Женщина, сажающая рассаду в поле. «О кукушка! Словно в насмешку поешь ты, когда я гну спину в поле...»

Ее подруга. Какой смешной монах, правда?

Ворона. Карр!.. Карр!..

Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!

На некоторое время воцаряется тишина.

Только ветер шелестит в соснах.

О будда Амида! Отзовись! Отзовись!

Меж сосен снова проносится порыв ветра.

Старый монах. Святой отец, а святой отец!..

Монах-вельможа. Ты звал меня?

Старый монах. Воистину. Куда путь держите, святой отец?

Монах-вельможа. Иду на запад.

Старый монах. На западе — море.

Монах-вельможа. Что ж, море мне не помеха. Буду идти на запад до тех пор, пока не сподоблюсь лицезреть будду Амиду.

Старый монах. Что за удивительные речи слышу я! Неужто вы полагаете, будто смертный может лицезреть будду Амиду и поклониться ему?

Монах-вельможа. Иначе зачем бы я стал призывать его так громогласно? Для этого я и от мира ушел.

Старый монах. Были к тому, наверно, немало-важные причины?

Монах-вельможа. Нет, особых причин никаких не было. Только, возвращаясь третьего дня с охоты, услышал я по дороге поучения одного проповедника. Вник в его слова и тут понял — грешник, даже самый великий, преступивший все священные заповеди, если только обратит свои помыслы к Будде и станет служить ему всем сердцем своим, сможет обрести вечную жизнь в чистой обители рая. И от этих слов в то же мгновение меня охватила такая любовь к будде Амиде, что вся кровь забурлила в жилах...

Старый монах. И как же тогда поступил святой отец?

Монах-вельможа. Я схватил этого проповедника, повалил и прижал к земле...

Старый монах. Что?! Повалил и прижал к земле?..

Монах-вельможа. Потом выхватил меч из ножен, приставил к груди проповедника и потребовал, чтобы он назвал место, где обитает будда Амиды.

Старый монах. Странная, однако, манера задавать вопросы!..

Монах-вельможа. Жалобно на меня глядя, он пробормотал: «Запад... запад...» Но я тут мешкаю, а между тем смеркается. Нельзя терять ни минуты пути, это грех перед буддой Амидой... О будда Амиды, отзовись!.. Отзовись!..

Старый монах. Поистине мне повстречался странный безумец... Пойду-ка и я своим путем...

В третий раз прошумел ветер в соснах.
Слышно, как глухо рокочут волны.

Монах-вельможа. О будда Амиды, отзовись!.. Отзовись!..

Рокот волн. Время от времени слышно, как щебечут у берега чайки,

О будда Амида, отзовись! Отзовись!.. Какой пустынный берег, нет даже лодок. Одни лишь волны. А за волнами, возможно, лежит страна, где родился будда Амида... Будь я птицей-бакланом, мигом перелетел бы туда, но увы... А ведь проповедник сказал, что милосердие и доброта Будды беспредельны. Значит, не может он не отозваться, если со всем усердием призывать его громким голосом... Стану же звать его, сколько достанет сил, звать, пока не умру. А вот, на счастье, и сухая сосна с раздвоенной вершиной протянула во все стороны ветви... Заберусь-ка на эту вершину... О будда Амида, отзовись! Отзовись!

Снова рокот волн, тяжкий, глухой.

Старый монах. Вот уже седьмой день пошел с тех пор, как повстречался мне тот безумец. Он говорил, что хочет еще при жизни лицезреть очами будду Амиду... Куда он потом скрылся? О-о, там, на верхушке сухой сосны — человек... Конечно же, это он, тот монах. Святой отец, а святой отец!.. Молчит. Оно и понятно. Он мертв. Бедняга умер голодной смертью, ведь при нем не было даже сумы для подаяния.

В третий раз слышится рокот волн, тяжкий, глухой.

Нельзя оставлять его на дереве — он станет добычей воронов... Все заранее предопределено в нашем мире. Похороню же его... О-о, что это? В устах мертвеца вырос белоснежный цветок лотоса! В самом деле, я давно уже ощутил дивный аромат... Значит, тот, кого я счел безумцем, оказался блаженным праведником? А я, того не ведая, обращался с ним непочтительно — сколь же велико мое упущение!.. Да славится имя твое, будда Амида! Да славится имя твое, будда Амида!.. Да славится имя твое, будда Амида!

Март 1921 г.

О-РИЦУ И ЕЕ ДЕТИ

1

Дождливый день. Ёйти, окончивший в этом году среднюю школу, сидит, низко склонившись над столом, в своей комнате на втором этаже и сочиняет стихотворение в

стиле Китахары Хакусю. Вдруг до него доносится оклик отца. Ёйти поспешно оборачивается, не забывая при этом спрятать стихотворение под лежащий рядом словарь. К счастью, отец, Кэндзо, как был, в летнем пальто, оставившись на темной лестнице, и Ёйти видна лишь верхняя часть его тела.

— Состояние у О-Рицу довольно тяжелое, так что пошли телеграмму Синтаро.

— Неужели она так плоха? — Ёйти произнес неожиданно громко.

— Да нет, она еще достаточно крепка, и надеюсь, ничего непредвиденного не случится, но Синтаро — ему все же надо бы...

Ёйти перебил отца:

— А что говорит Тодзава-сан?

— Язва двенадцатиперстной кишки. Беспокоиться, говорит, особенно нечего, но все же...

Кэндзо старается не смотреть Ёйти в глаза.

— Но все же я пригласил на завтра профессора Тамимуру. Тодзава-сан порекомендовал... В общем, прошу тебя дать телеграмму Синтаро. Ты ведь знаешь его адрес.

— Да, знаю... Ты уходишь?

— Мне надо в банк... О-о, кажется, тетушка Асакава пожаловала.

Отец ушел. Ёйти показалось, что шум дождя за окном усилился. Мешкать нельзя — это он отчетливо сознавал. Встав из-за стола, он быстро сбежал по лестнице, держась рукой за медные перила.

По обеим сторонам лестницы тянулись полки, забитые картонными коробками с образцами трикотажа, — это был большой оптовый магазин. У выхода Кэндзо в соломенной шляпе уже всовывал ноги в гэта, стоявшие у порога.

— Господин, звонят с фабрики. Просят узнать, будете ли вы сегодня у них... — обратился к Кэндзо говоривший по телефону приказчик в тот момент, когда в магазин спустился Ёйти. Остальные приказчики, человек пять, кто у сейфа, кто у алтаря, с почтением провожая хозяина, не могли дожидаться, когда наконец он уйдет, — нетерпение было написано на их лицах.

— Сегодня не смогу. Скажи, что буду завтра.

И Кэндзо, будто только и ждал конца разговора, раскрыл зонт и быстро вышел на улицу. Некоторое время

еще было видно, как он шагает, отражаясь в лужах на асфальте.

— Камияма-сан здесь?

Сидевший за конторкой Ёйти взглянул на одного из приказчиков.

— Нет, недавно ушел по делам. Рё-сан, не знаешь куда?

— Камияма-сан? I don't know ¹.

Ответивший это приказчик, который уютно устроился на пороге, стал насвистывать.

Ёйти начал быстро строчить пером по лежавшему на конторке бланку. И вдруг перед ним всплыло лицо старшего брата, прошлой осенью поступившего в один из провинциальных колледжей, — более темное и более полное, чем у него, Ёйти. «Мама плоха, приезжай немедленно», — написал он, но тут же порвал бланк, взял новый и написал: «Мама больна, приезжай немедленно». Но слово «плоха», которое он написал сначала, точно дурное предзнаменование сверлило мозг.

— Сходи отправь.

Протянув написанную наконец телеграмму одному из приказчиков, Ёйти скомкал испорченный бланк, бросил его на кухню, помещавшуюся за магазином, а сам пошел в полутемную столовую. Там, на балке над жаровней, висел большой календарь, выпущенный в качестве торговой рекламы. У жаровни сидела коротко остриженная, всеми позабытая тетушка Асакава и ковыряла в ухе. Услышав шаги Ёйти, она, не отнимая руки от уха, подняла на него воспаленные глаза.

— Здравствуй. Отец ушел?

— Да, только что. Сколько беспокойства у вас из-за мамы.

— Беспокойства действительно много. У нее болезнь, которая даже названия не имеет.

Ёйти опустил на колени у жаровни. За фусума лежала больная мать. При мысли об этом сидевшая напротив старомодная старуха вызвала в нем раздражение, большее чем обычно. Помолчав, тетушка глянула на Ёйти исподлобья, потом сказала:

— Скоро придет О-Кину-тян.

— Разве она уже выздоровела?

¹ Я не знаю (англ.).

— Говорит, что чувствует себя хорошо. У нее ведь был просто насморк.

В словах тетушки, чуть презрительных, сквозила теплота.

О-Кину нравилась тетушка больше обоих братьев, видимо потому, что меньше всех доставляла хлопот О-Рицу. Кроме того, покойная жена Кэндзо, мать О-Кину, была в большой дружбе с тетушкой, Ёити вспомнил, что от кого-то слышал об этом, и сейчас без особой охоты говорил о болезненной сестре, в позапрошлом году вышедшей замуж за торговца мануфактурой.

— Как дела у Син-тяна? Отец перед уходом сказал, что надо бы ему сообщить о болезни О-Рицу.

Тетушка вспомнила об этом, вдоволь наговорившись об О-Кину.

— Я только что велел отправить телеграмму. Придет сегодня же, уверен.

— Пожалуй. Ведь от Киото до Осаки совсем близко...

Тетушка произнесла это нерешительно, ибо не была сильна в географии. Это почему-то пробудило таившееся в сердце Ёити беспокойство. Приедет ли брат? И он подумал, что следовало отправить более тревожную телеграмму. Мать хочет увидеться с сыном. Тот все не едет, а мать умирает. Сестра же и тетушка Асакава осуждают брата как непочтительного сына. Эта картина пронеслась перед мысленным взором Ёити.

— Если телеграмма придет сегодня, он завтра же будет здесь.

Ёити сказал это, чтобы успокоить не столько тетушку, сколько самого себя.

Пока они разговаривали, вошел, стараясь ступать бесшумно, приказчик Камияма, на лбу у него блестели капельки пота. Он куда-то ходил — рукава его полосатого хаори были мокрыми от дождя.

— Здравствуйте. Простите, что заставил вас так долго ждать.

Поздоровавшись с тетушкой Асакавой, Камияма вытащил из-за пазухи конверт.

— Теперь с больной все будет в порядке, — сказал он. — В этом письме подробно изложено, что надо делать.

Прежде чем вскрыть конверт, тетушка надела очки. В конверте, вместе с письмом, лежал сложенный вчетверо листок бумаги, на котором была написана единица.

— Камияма-сан, а где это Дайкёдо?

Ёйти удивленно заглянул в письмо, которое читала тетушка.

— Знаете европейский ресторан на углу? Нужно свернуть — и сразу налево.

— Кажется, где-то там живет твой учитель Киёмото?

— Совершенно верно.

Весело улыбаясь, Камияма теребил агатовую перчатку, висевшую на цепочке от часов.

— Значит, там и живет гадатель, да? Больную нужно положить головой к югу, написано в письме. А как лежит мама?

Тетушка сквозь очки с укоризной взглянула на Ёйти.

— Видимо, к востоку. Юг, по-моему, здесь.

Ёйти, у которого немного отлегло от сердца, по-прежнему заглядывая через плечо тетушки в письмо, шарил в глубоком рукаве кимоно, пытаясь найти пачку сигарет.

— Смотри, а дальше говорится, что можно и головой к востоку. Камияма-сан, хочешь сигаретку? Бросаю тебе пачку. Надеюсь, ты меня простишь?

— Благодарю вас. О-о, «ЕСК». Возьму одну. Я вам больше не нужен? Если потребуюсь, не стесняйтесь.

Сунув сигарету с золотым мундштуком за ухо, Камияма направился было в магазин. Но тут сѣдзи раздвинулись, и прямо в пальто вошла О-Кину с забинтованным горлом, неся в руках корзину с фруктами. О-Кину была причесана, как обычно причесываются замужние женщины.

— Заходи, заходи.

— Такой дождь, а вы все же пришли, — в один голос произнесли тетушка и Камияма. Поклонившись им, О-Кину быстро сняла пальто и устало опустила на циновку. Камияма, оставив в комнате корзину с фруктами, которую он взял у О-Кину, поспешно вышел из столовой. В корзине были красиво уложены красные яблоки и бананы.

— Как мама? Поезд был битком набит. Простите.

О-Кину ловко сняла перепачканные белые носки. Ёйти смотрел на эти носки, и ему казалось, что он ощущает брызги дождя, пляшущие вокруг сестры.

— У нее все еще боли. Еще бы, ведь температура почти тридцать девять.

Тетушка, не выпуская из рук листка бумаги, получен-

ного от гадателя, занялась приготовлением чая вместе со служанкой Мицу, которая появилась после того, как ушел Камияма.

— Но по телефону как будто сказали, что сегодня ей гораздо лучше? Правда, раньше я все равно не могла бы прийти, так как не выходила из дому. Кто же это звонил? Ты, Ёити?

— Нет, не я. Может, быть, Камияма-сан?

— Совершенно верно.

Это сказала Мицу, подавая чай.

— Камияма-сан?

О-Кину с недовольным видом села поближе к жаровне.

— Что случилось? Почему у тебя такое лицо? Дома все здорово?

— Да, благодарю. А у вас, тетушка, тоже все благополучно?

Ёити слушал этот разговор, зажав сигарету в зубах и разглядывая отрывной календарь. С тех пор как Ёити окончил школу, числа он еще помнил, но дни недели всегда забывал. Это его огорчало. А тут еще через месяц вступительные экзамены, держать которые у него нет ни малейшего желания. Если же он провалится...

— Как похорошела Мицу.

Слова сестры Ёити воспринял как предостережение. Но промолчал, только сделал глубокую затяжку. Правда, в это время Мицу уже была на кухне.

— Нет, что ни говори, такие лица нравятся мужчинам...

Убирая письмо и очки, тетушка укоризненно улыбнулась. О-Кину удивленно на нее посмотрела.

— Что случилось, тетушка?

— Камияма-сан только что принес письмо от гадателя. Зайди, Ё-тян, к маме. Недавно она, правда, спала, но, может быть, уже проснулась.

Ёити очень не хотелось идти, но он примял в пепельнице окурки и, избегая взглядов тетушки и сестры, поднялся. Изобразив на лице улыбку, он вошел в соседнюю комнату.

Там, за раздвижными стеклянными сёдзи, виднелся крохотный внутренний дворик, где одиноко рос толстый падул и стоял умывальный таз. О-Рицу в холщовом ночном кимоно тихо лежала спиной к Ёити с пузырьком льда на голове. Подле нее устроилась сиделка, которая, близо-

руко склонившись над историей болезни, лежавшей у нее на коленях, что-то писала вечным пером.

Увидев Ёйти, она чуть кокетливо поздоровалась с ним одними глазами. Ёйти ответил неприветливо, хотя не оставался равнодушным к ее привлекательности. Потом обошел вокруг матраса и сел так, чтобы видеть лицо матери.

О-Рицу лежала с закрытыми глазами. Ее худое лицо казалось сегодня совсем изможденным. Но когда она открыла затуманенные жаром глаза и посмотрела на Ёйти, в них промелькнула ее обычная улыбка. Ёйти стало стыдно, что он так долго разговаривал с тетушкой и сестрой. После некоторого молчания О-Рицу с трудом сказала:

— Послушай...

Ёйти кивнул. Ему было неприятно горячее дыхание матери. О-Рицу не продолжала. Ёйти начал испытывать беспокойство. Ему даже казалось, что это ее последнее слово.

— Тетушка Асакава еще не ушла? — произнесла наконец мать.

— И тетушка здесь, и сестра только что пришла.

— Тетушка...

— У тебя к ней дело?

— Нет, тетушке я хочу подарить умэгавского угря.

На этот раз Ёйти улыбнулся.

— Передай это Мицу. Ладно? Вот и все.

Произнеся это, О-Рицу попыталась повернуть голову. В тот же миг пузырь со льдом упал. Ёйти сам положил его на лоб матери, не дав сделать это сиделке. Неожиданно он почувствовал, что веки его стали горячими. «Плакать не следует», — подумал он. Но было поздно. У ноздрей уже застыли стекавшие ручейком слезы.

— Глупенький.

Прошептав это, мать устало прикрыла глаза.

Ёйти покраснел и, стыдясь взгляда сиделки, с тяжелым сердцем вернулся в столовую. Тетушка Асакава обернулась и посмотрела ему в глаза.

— Ну, как мама? — спросила она.

— Лежит с закрытыми глазами.

— С закрытыми? Плохо.

Тетушка и О-Кину, сидевшие друг против друга у жаровни, переглянулись. Сестра, которая, хмурясь, чесала шпилькой голову, опустив наконец руку, спросила:

— Ты не сказал ей, что Камияма-сан вернулся?

— Не сказал. Лучше, если это сделаешь ты.

Ёйти стоял у фусума и старался потуже затянуть пояс. Стоял и думал: нет, ни в коем случае нельзя укорачивать матери путь к могиле, нельзя. Ни в коем случае.

2

Утром Ёйти завтракал в столовой с отцом. На столе стояла чашка с рисом и для тетушки, заночевавшей у них. Но сама она еще не пришла, так как находилась возле матери вместо сиделки, которая обычно очень долго занималась своим туалетом.

Работая палочками для еды, отец и сын изредка перекидывались словами.

Последнюю неделю они вот так вдвоем сидели за своей грустной трапезой. Но сегодня им было тяжелее, чем в предыдущие дни, разговаривать друг с другом. Прислуживавшая Мицу безмолвно подавала еду.

— Как ты думаешь, придет сегодня Синтаро?

Кэндзо выжидательно посмотрел на Ёйти. Но Ёйти молчал. Приедет ли брат сегодня — не это его мучило, его мучило другое — что брат вообще не придет.

— Может быть, завтра?

На этот раз Ёйти не смог промолчать.

— Но ведь у него сейчас, кажется, экзамены.

— Ты полагаешь?

Кэндзо умолк, о чем-то задумавшись. Потом, протягивая Мицу чашку, чтобы та налила чай, обратился к Ёйти:

— Тебе тоже нужно учиться. Не забывай, что осенью Синтаро станет студентом университета.

Ёйти отодвинул еду и ничего не ответил. Он злился на отца, который заставлял его учиться, запрещая заниматься любимой литературой. Кроме того, что общего между студенчеством старшего брата и учебой младшего?

Ёйти хотелось посмеяться над нелогичностью отца.

— О-Кину сегодня придет?

Кэндзо решил переменить тему разговора.

— Вероятно. Она ведь просила ей позвонить, когда придет Тодзава-сан.

— У О-Кину дома тоже неблагополучно. Они близки к разорению.

— Да, убытки у них огромные.

Ёйти слушал, продолжая пить чай. Четыре месяца назад разразился невиданный кризис. В результате банкротства одного осакского промышленника, с которым их фирма заключила крупные сделки, Кэндзо пришлось прибегнуть к займу. В общем, его убытки составляли самое малое тридцать тысяч иен. Ёйти слышал об этом краем уха,

— Хоть бы все оставалось как есть. Ведь при нынешнем положении в любое время может произойти непредвиденное.

Говоря об этих невеселых делах в несколько шутовском тоне, Кэндзо встал из-за стола. Потом раздвинул фусума и вошел в соседнюю комнату, где лежала больная.

— И суп съела, и молоко выпила? О-о, это — настоящее событие. Нужно, чтобы она как следует ела.

— Если бы она еще могла принимать лекарство, а то примет — и ее тут же вырвет.

Такой разговор услышал Ёйти. Он до завтрака заходил к матери — жар у нее был значительно меньше, чем накануне и третьего дня. Говорила она не с таким трудом, двигалась гораздо свободнее. «Боли еще не прошли, но самочувствие значительно лучше», — это сказала сама мать. А теперь и аппетит появился — как знать, быть может, все тревоги уже позади и она пойдет на поправку. Так тешил себя надеждой Ёйти, заглядывая в соседнюю комнату. Но в то же время он испытывал суеверный страх, что матери может стать хуже, если он раньше времени успокоится.

— Господин, вас к телефону.

Продолжая держаться за фусума, Ёйти обернулся. Мицу, подобрав рукава, вытирала стол. А к телефону Ёйти позвала служанка по имени Мацу, которая была старше Мицу. С мокрыми руками она стояла в дверях кухни, через которые виднелась всякая утварь.

— Кто просит?

— Даже и не знаю кто...

— Ну ладно, вечно ты со своим «даже и не знаю кто».

Ворча, Ёйти быстро вышел из столовой. Ему почему-то было приятно отругать непонятливую Мацу при Мицу, которая ему нравилась.

Он подошел к телефону — звонил сын аптекаря Тамура, с которым они вместе окончили школу.

— Здравствуй. Давай сходим в «Мэйдзидза». Там сегодня играет Иноуэ. На Иноуэ ты, конечно, пойдешь.

— Не могу. Мать больна.

— А я и не знал. Прости. Жаль. Вчера мы кое-где были...

Закончив разговор, Ёйти поднялся на второй этаж, в свою комнату. Сел к столу, но желания готовиться к экзаменам у него не появилось, даже читать не хотелось. Ёйти постоял у решетчатого окна, из которого было видно, как перед оптовой фирмой игрушек мужчина в хантэне накачивает шины велосипеда, и ему почему-то стало не по себе. Спускаться вниз тоже не хотелось. И Ёйти улегся на циновку, подложив под голову объемистый китайско-японский словарь.

Он стал вспоминать своего брата, с которым не виделся с весны. У брата был другой отец — но Ёйти ни разу даже в голову не пришло, что они сводные, а не родные братья. Да и о том, что его мать вышла второй раз замуж, имея ребенка, которым и был его брат, он узнал сравнительно недавно. В памяти запечатлелось лишь то, что у брата другой отец.

Это случилось в то время, когда они с братом еще учились в начальной школе. Однажды Ёйти, играя с Синтаро в карты, поспорил с ним. Синтаро, всегда сдержанный, как ни злился на Ёйти, даже голоса не повысил. Только стыдил брата, осуждающе глядя ему в глаза. Ёйти пришел в бешенство, схватил карты и швырнул Синтаро в лицо. Карты рассыпались по полу. Брат влепил ему оплеуху.

— Не нахальничай.

Не успел брат сделать это, как Ёйти зубами впился ему в руку. Синтаро был крупнее Ёйти. Зато Ёйти был отчаяннее. Они вцепились друг в друга, как звери, и начали драться.

На шум прибежала мать.

— Что вы делаете?

Только мать это произнесла, как Ёйти тут же расплакался. А брат застыл на месте, опустив голову.

— Синтаро, ты старший. Зачем же обижаешь младшего?

Получив выговор от матери, Синтаро дрожащим голосом возразил:

— Это Ёйти во всем виноват. Он швырнул мне карты в лицо.

— Врешь. Ты первый ударил меня. — И Ёйти еще сильнее расплакался. — Зачем обманываешь маму?

— Что?

Возмущенный брат двинулся на Ёйти.

— Опять ты на него нападаешь? Я же сказала — ты старший, значит, должен просить прощения.

Мать оттащила Синтаро от Ёйти. Глаза брата загорелись недобрым огоньком.

— Хорошо же.

Он точно безумный замахнулся на мать. Но тут же расплакался еще сильнее, чем Ёйти.

Какое лицо было в этот момент у матери? Этого Ёйти не запомнил. Но налитые злостью глаза брата до сих пор отчетливо видит перед собой. Возможно, брат вспылал оттого, что мать несправедливо его отругала. Но это было всего лишь предположение. После отъезда брата в провинцию стоило Ёйти вспомнить выражение глаз Синтаро, как он начинал думать, что мать смотрела тогда на брата совсем не так, как на него, Ёйти. В этой мысли его укрепляло еще одно воспоминание.

Это было три года назад. В сентябре, за день до отъезда брата в провинцию, в колледж, Ёйти отправился с ним за покупками, и они вышли на Гиндзу.

— И с этими часами я расстаюсь навсегда.

Когда они дошли до улицы Охари, Ёйти, будто разговаривая сам с собой, сказал:

— Тогда бы лучше тебе поступить в первый колледж.

— А я не желаю туда поступать.

— Просто не хочешь признавать себя побежденным. Что хорошего в деревне? Ни мороженого нет. Ни кинематографа... — Ёйти продолжал шутливо: — И если кто-нибудь из нас заболит, ты не сможешь сразу приехать...

— Разумеется...

— А если мама умрет?

Брат, шагавший по краю тротуара, сорвал с ивы листок и лишь тогда ответил:

— Если даже мама умрет, мне ни капельки не будет ее жаль!

— Брось в а т ь , — возмутился Ё и т и . — Как можно так говорить!

— Я не в р у . — Голос брата неожиданно дрогнул от волнения. — Ты много читаешь. Поэтому должен знать, что есть на свете люди, подобные мне. Они действительно странные.

Ёйти был потрясен. И тут в памяти его отчетливо всплыло то выражение глаз, которое было у брата, когда он замахнулся на мать. Он взглянул на Синтаро — тот невозмутимо шагал, глядя прямо перед собой...

От этих воспоминаний Ёйти стало не по себе: придет брат или не придет? Пусть из-за экзаменов задержится на день, другой — лишь бы не пренебрег сыновним долгом. Пусть опоздает — лишь бы приехал... Тут Ёйти услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Он стремительно вскочил на ноги.

Появилась сгорбленная фигура тетушки Асакавы, щурившей свои слабые глаза.

— Ты что, решил вздремнуть после еды?

Уловив в словах тетушки насмешку, Ёйти подвинул ей дзабутон, на котором только что сидел. Но она села прямо на циновку и, прислонившись спиной к столу, заговорила шепотом, с таким видом, будто произошло что-то ужасное.

— Мне нужно с тобой посоветоваться.

У Ёйти сжалось сердце.

— Что-нибудь случилось с мамой?

— Нет, я не о маме собираюсь с тобой говорить. Речь идет о сиделке. Теперь, правда, трудно что-нибудь сделать...

И тетушка начала говорить, медленно и нерешительно.

Вчера, когда пришел Годзава-сан, сиделка позвала его в столовую и спросила: «Сэнсэй, сколько еще протянет больная? Если долго, я бы хотела хоть на несколько дней взять отпуск». Сиделка, разумеется, была уверена, что никого поблизости нет. Но находившаяся в кухне Мацу все слышала. И разозлившись на сиделку, рассказала тетушке. Та стала присматриваться к сиделке и убедилась, что она плохо ухаживает за больной. Утром, не обращая внимания на больную, больше часа красилась и пудрилась...

— Конечно, она привыкла к страданиям больных, такая у нее профессия, но не слишком ли много она себе позволяет? По-моему, следует нанять другую сиделку.

— Да, пожалуй, так и надо сделать. Скажем папе...

То, что сиделка считала дни до смерти матери, не раздражало Ёйти, скорее подавляло.

— Видишь ли, отец уже уехал на фабрику. А я забыла с ним поговорить.

Тетушка смотрела на Ёйти широко раскрытыми воспаленными глазами.

— Но раз мы решили сменить сиделку, то чем быстрее мы это сделаем, тем лучше.

— Тогда нужно попросить Камияму-сана прямо сейчас позвонить в общество сиделок... А папе расскажем обо всем, как только он вернется...

— Правильно, так и сделаем.

Ёйти быстро сбежал по лестнице.

— Камияма-сан, позвони, пожалуйста, в общество сиделок.

Приказчики удивленно посмотрели на Ёйти из-за груды разложенных товаров. И тут же вскочил сидевший за конторкой Камияма, у которого на ярком фартуке горкой лежали обрывки шерстяной пряжи.

— Какой там номер телефона?

— Я думал, ты знаешь.

Стоявший у лестницы Ёйти, листая вместе с Камиямой телефонную книгу, не мог не испытывать неприязни к царившей в магазине атмосфере будничности, безразличия к тому, что волновало его и тетушку.

3

Под вечер Ёйти зашел в столовую — там у жаровни сидел в летнем хаори только что вернувшийся отец. Перед ним, опершись локтями о жаровню, сидела О-Кину с красиво подобранными на затылке волосами. Горло у нее сегодня уже не было забинтовано.

— Да, чуть не забыла.

— В чем дело?

О-Кину подняла лицо, которое было еще бледнее, чем вчера, и ответила на приветствие Ёйти. Потом со смущенной улыбкой, будто стесняясь его, продолжала прерванный разговор:

— Что будет дальше, не знаю. Акции упали...

— Ладно, ладно, я все понял.

Отец сказал это шутливым топом, но выражение лица у него было недовольное. В прошлом году, когда сестра выходила замуж, отец обещал подарить ей какие-то вещи, но пока обещание так и осталось обещанием. Ёйти, которому это было хорошо известно, устроился на некотором расстоянии от жаровни и, молча развернув газету, стал

просматривать рекламу театра «Мэйдзидза», куда его приглашал утром Тамура.

— Я огорчена, что ты так поступаешь.

— Тебе огорчаться нечего, это я должен огорчаться твоим поведением. Мать тяжело больна, а ты только и знаешь, что ныть...

После этих слов отца Ёйти невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в комнате больной. Время от времени оттуда доносились стоны, но не такие, как в предыдущие дни.

— Маме сегодня совсем плохо.

Слова Ёйти лишь на короткий миг прервали разговор отца с дочерью. О-Кину выпрямилась и, осуждающе глядя на отца, осыпала его упреками:

— Маме плохо! А ведь я давно предлагала пригласить другого врача, и все было бы хорошо. Ты же без конца колебался, ни на что решиться не можешь...

— Именно поэтому, только поэтому я и пригласил профессора Танимуру, — досадливо поморщившись, сказал Кэндзо.

Ёйти был на стороне сестры и с неприязнью слушал весь этот разговор.

— В котором часу придет Танимура-сан?

— Обещал часа в три. Я, когда был на фабрике, просил еще раз позвонить ему.

Обняв колени, Ёйти поднял глаза к большим настенным часам.

— Может быть, сказать, чтобы снова позвонили?

— Тетушка говорила, что недавно уже просила позвонить.

— Недавно?

— Вскоре после того, как ушел Тодзава-сан.

Пока продолжался этот разговор, О-Кину с мрачным лицом неожиданно поднялась и быстро вышла в соседнюю комнату.

— Освободились наконец от твоей сестрицы.

Горько усмехнувшись, Кэндзо вынул портсигар. Но Ёйти, не отрывая глаз от часов, ничего не ответил.

Из соседней комнаты по-прежнему доносились стоны О-Рицу. Может быть, ему так казалось, но теперь они были громче, чем прежде. Почему не идет профессор Танимура? Впрочем, мать не единственная его пациентка, как раз сейчас обход больных. Нет, вот-вот пробьет

четыре, так поздно он никогда не задерживается в больнице. Не исключено, что он уже у входа в магазин...

— Ну как?

Голос отца избавил Ёйти от мрачных мыслей. В светлом промежутке между фусума появилось обеспокоенное лицо тетушки.

— Она ужасно страдает... А врача все еще нет.

Прежде чем ответить, Кэндзо выпустил изо рта дым.

— Что же делать? Сказать, чтобы еще раз позвонили?

— Пожалуй. Чем ей мучиться так еще час или больше, лучше пригласить Тодзаву-сана.

— Я позвоню.

Ёйти быстро вскочил.

— Позвони. Узнай, вышел ли уже профессор. Его телефон Коисикава, номер ***. В общем...

Не успел Кэндзо договорить, как Ёйти выскочил из столовой и вбежал на кухню. Там Мацу с закатанными рукавами резала сушеного тунца. Когда Ёйти проходил мимо нее, на него чуть не налетела Мицу. Они едва не столкнулись.

— Простите.

Смущенно извинившись, Мицу с аккуратно причесанными благоухающими волосами побежала в столовую.

Сконфуженный Ёйти поднес к уху телефонную трубку. Не успела телефонистка ответить, как раздался голос сидевшего у конторки Камиямы.

— Ёйти-сан, вы звоните в больницу Танимуре?

— Да, в больницу Танимуре.

Не кладя трубки, Ёйти повернулся к Камияме. Тот, не глядя в его сторону, ставил на место, на зарешеченный стеллаж, большую бухгалтерскую книгу.

— Оттуда только что звонили. О-Мицу-сан как раз побежала сказать об этом.

— Что сказали?

— Что профессор только что вышел. Только что, да, Рё-сан?

Приказчик, к которому обратился Камияма, сидел на лестнице, доставая с высокой полки ящик с товарами.

— Нет, сказали, что он еще в больнице.

— Вот как? Так и надо было сказать Мицу.

Ёйти положил трубку и направился было в столовую. Но случайно взглянул на висевшие в магазине часы и в недоумении остановился.

— В чем дело, на них уже двадцать минут пятого!

— Они спешат на десять минут. Так что сейчас десять минут пятого.

Камияма посмотрел на свои золотые часы.

— Совершенно верно, десять минут.

— А часы в столовой отстают. Так что Танимура-сан задерживается еще больше, чем мы предполагали.

Постояв немного в нерешительности, Ёйти быстро вышел из магазина и стал смотреть на затихшую улицу, над которой уже сгустились сумерки.

— Все не идет. А вдруг он не может нас найти, хотя вряд ли... Камияма-сан, я, пожалуй, пройдусь немного, — бросил он через плечо Камияме и, надев гэта, оставленные у порога кем-то из приказчиков, почти бегом направился к большой оживленной улице, забитой автомобилями и трамваями.

Эта улица находилась в полуквартале от магазина. Стоявшее там на углу здание было разделено на две половины: в одной небольшое почтовое отделение, в другой — магазин импортных товаров. В витрине между оригинально расположенными соломенными шляпами и тростями были выставлены на манекенах яркие купальные костюмы.

Повернувшись спиной к витрине, Ёйти принялся нетерпеливо рассматривать прохожих и автомобили. Так он простоял некоторое время, но не заметил, чтобы в переулок, где в ряд стояли оптовые магазины, завернул хоть один рикша или хоть одна машина, если не считать забрызганного грязью такси с табличкой «свободен».

Неожиданно появился мчащийся на велосипеде приказчик лет пятнадцати из их магазина. Увидев Ёйти, он ловко затормозил и оперся рукой о телефонный столб. Не снимая ног с педалей, сказал:

— Только что звонил Тимура-сан.

— Какое у него ко мне дело?

Разговаривая, Ёйти внимательно осматривал улицу.

— Да никакого.

— И ты приехал, чтобы сообщить мне об этом?

— Нет, я еду на фабрику. Да, хозяин просил передать, что вы ему нужны.

— Отец?

Сказав это, Ёйти вдруг бросился бежать, забыв о приказчике. В переулок сворачивал рикша. Поравнявшись с ним, Ёйти поднял в приветствии обе руки и закричал сидевшему в коляске юноше:

— Брат!

Рикша, откинувшись назад, остановил коляску. В ней сидел Синтаро в летней форменной тужурке, в фуражке с белым кантом, обняв обеими руками лежавший на коленях чемодан.

— Привет. — Синтаро без всякого выражения посмотрел на Ёити. — Как мама?

Глядя снизу вверх на брата, Ёити почувствовал, как забурлила в жилах кровь, как запылала щеки.

— В последние дни ей хуже. Говорят, язва двенадцатиперстной кишки.

— Вот как? Да...

Синтаро ограничился этим холодным замечанием. Но в его глазах, унаследованных от матери, промелькнуло выражение, которого Ёити так ждал, но на которое не смел надеяться. Ёити уловил в глазах брата раскаяние и продолжал быстро и беспорядочно:

— Сегодня ей особенно плохо... Молодец, что приехал... Поезжай быстрее...

Он сделал знак рикше, и тот снова пустился бежать. Синтаро вспомнил, как садился утром в вагон третьего класса, словно это был не он, а кто-то другой. Чувствуя у своего плеча плечо розовощекой деревенской девушки, устроившейся рядом с ним, он думал, что ему будет не так тяжело следовать за мертвой матерью, как встретиться взглядом с умирающей. А глаза его в это время были устремлены на сборник стихов Гете в издании «Реклам»...

— Синтаро, экзамены еще не начались?

Синтаро бросил удивленный взгляд на говорившего. Ёити, стуча гэта, бежал рядом с коляской.

— Завтра начинаются. Что ты здесь делаешь?

— Мы ждем профессора Танимуру. Но он что-то опаздывает, и я вышел его встретить...

Ёити ответил, учащенно дыша. Синтаро хотелось поочувствовать брату. Но это сочувствие вылилось в самые обыденные слова:

— И давно ты ждешь?

— Да нет, минут десять.

— С тобой был, кажется, кто-то из приказчиков? Приехали.

Рикша пробежал еще несколько шагов и остановил коляску у магазина. Магазина с массивной застекленной дверью, такого близкого и родного Синтаро.

Через час на втором этаже магазина вокруг профессора Танимуры собрались с мрачными лицами Кэндзо, Синтаро и муж О-Кину. Они пригласили профессора сюда, чтобы узнать, каков результат осмотра О-Рицу. Профессор Танимура, человек крепкого сложения, выпил поданный ему чай, повертел в толстых пальцах золотую пепочку, свешивавшуюся из жилетного кармана, и наконец, внимательно глядя в освещенные электричеством лица мужчин, сказал:

— Надо бы вызвать ее лечащего врача. Вы, кажется, назвали Тодзаву-сана...

— Ему только что звонили. Должен скоро прийти.

Точно ища подтверждения своих слов, Кэндзо повернулся к Синтаро. Так и не переодев форменной тужурки, он сидел, хмурый, между профессором и отцом.

— Да, с минуту на минуту должен явиться.

— Тогда дождемся его, а потом все обсудим. Какая неустойчивая сегодня погода.

Говоря это, профессор вынул портсигар из марокканской кожи.

— Сезон дождей в этом году так затянулся!

— Погода действительно ужасная, под стать финансовым делам, тоску нагоняет... — добавил муж О-Кину.

Пришедший навестить больную молодой хозяйин мануфактурного магазина, с короткими усиками и в очках без оправы, был одет скорее как адвокат или служащий фирмы.

Синтаро, которого раздражала вся эта болтовня, угрюмо молчал.

Вскоре появился домашний врач Тодзава. В черном шелковом хаори, чуть подвыпивший, он учтиво поклонился профессору Танимуре и обратился к сидевшему наискосок от него Кэндзо:

— Вы уже осведомлялись относительно диагноза? — У него был сильный тохокусский акцент.

— Нет, решил спросить об этом после вашего прихода.

Профессор Танимура с зажатой между пальцами короткой сигаретой ответил вслед за Кэндзо:

— Прежде всего нужно было выслушать вас...

Тодзава подробно рассказал о состоянии больной за последнюю неделю и об избранном им методе лечения.

Внимание Синтаро привлекли редкие брови профессора, которые беспрерывно двигались, пока он слушал Тодзаву.

Когда тот умолк, профессор Танимура несколько раз важно кивнул головой.

— Ну что ж, все понятно. Язва двенадцатиперстной кишки. Правда, сейчас осмотр показал, что у нее, видимо, начался перитонит. Об этом свидетельствуют пульсирующие боли в нижней части живота...

— Пульсирующие боли в нижней части живота? — Тодзава, торжественно упершись локтями в ляжки, обтянутые саржевыми хакама, повернулся к профессору.

Некоторое время все сидели, затаив дыхание, не решаясь заговорить.

— Но сегодня температура значительно ниже, чем вчера... — прервал наконец молчание Кэндзо.

Однако профессор, бросив в пепельницу сигарету, бесцеремонно прервал его:

— Это ничего не значит. Температура все время будет понижаться, а пульс учащаться. Такова особенность этой болезни.

— Ах, вот оно что! Это нужно знать и нам, людям молодым.

Муж О-Кину, скрестив на груди руки, время от времени пощипывал усы. Синтаро уловил в словах шурина безразличие совершенно чужого человека.

— Я при осмотре больной как будто не обнаружил симптомов перитонита...

Профессор Танимура ответил со свойственной ему профессиональной любезностью:

— Возможно. Не исключено, что перитонит начался позднее. К тому же он, видимо, еще не прогрессирует... И все же я не сомневаюсь, что перитонит начался.

— Может быть, следует немедленно положить ее в больницу?

Это заговорил наконец Синтаро, сохраняя на лице суровое выражение. Профессор из-под тяжелых век внимательно посмотрел на Синтаро, словно для него было неожиданностью, что тот заговорил.

— Перевозка больной сейчас исключена. Ей надо согреть живот. Если боль усилится, пусть Тодзава-сан сделает укол... Ночью, я полагаю, ей станет хуже. Уколы, разумеется, не панацея, но при этой болезни они необходимы, чтобы облегчить страдания.

Профессор Танимура говорил, не глядя на собеседни-

ка, и вдруг, будто спохватившись, вынул из жилетного кармана часы и поднялся:

— Простите, мне пора.

Синтаро вместе с отцом и шурином поблагодарил профессора за визит. Лицо его выражало отчаяние.

— Не смогли бы вы, профессор, в ближайшие дни еще раз навестить больную?.. — спросил, прощаясь, Тодзава.

— Разумеется, я прибуду в любое время...

Больше профессор ничего не сказал. Спускаясь последним по темной лестнице, Синтаро понял, что это конец...

6

После ухода Тодзавы и мужа О-Кину переодевшийся в кимоно Синтаро, тетушка Асакава и Ёити собрались в столовой у жаровни. Из-за фусума по-прежнему доносились стоны О-Рицу. И все, вяло перебрасываясь словами под свисавшей над самой жаровней лампой, точно стоворившись, внимательно прислушивались к этим стонам.

— Просто невысказанно. Такие ужасные страдания.

Крепко сжимая щипцы для угля, тетушка смотрела в одну точку.

— Ведь Тодзава-сан говорил, что все хорошо?

Не отвечая тетушке, Ёити обратился к брату, сидевшему с сигаретой в зубах.

— Он просил профессора прийти в ближайшие дни.

— Странно. Почему он об этом просил?

На этот раз Синтаро ничего не ответил, лишь стряхнул пепел.

— Син-тян, что сказала мама, когда увидела тебя?

— Ничего не сказала.

— Но я слышал, как она смеялась.

Ёити сбоку внимательно посмотрел на брата.

— Верно... Скажи лучше, почему мамина постель благоухает дорогими духами?

Тетушка с улыбкой повернулась к Ёити, но, не дождавшись от него ответа, сказала:

— Это О-Кину-тян побрызгала мамину постель духами. Ты знаешь, Ё-тян, что это за духи?

— Что за духи?.. Наверно, специально для постели.

Неожиданно из-за фусума показалось измученное лицо О-Кину.

— Где отец?

— Он в магазине. Что-нибудь нужно?

— Да, мама хотела...

Не дав ей договорить, Ёйти вскочил.

Когда он выбежал из столовой, туда на цыпочках вошла, забко охватив себя руками, О-Кину с болеутоляющими пластырями на висках и села на место, с которого только что вскочил Ёйти.

— Что случилось?

— Никак не может принять лекарства... Новая сиделка хоть и пожилая, но действует спокойно и уверенно.

— Как температура?

Синтаро, продолжая молчать, поморщился и выдохнул дым.

— Только что измеряли, тридцать семь и две...

О-Кину, пряча подбородок в ворот кимоно, задумчиво посмотрела на Синтаро.

— После ухода Тодзавы-сана снизилась еще на одну десятую.

Снова наступило молчание. Его нарушил громкий звук шагов вошедшего Кэндзо, вслед за которым появился и Ёйти.

— Тебе только что звонили из дому. Муж просит чуть попозже позвонить. — С этими словами Кэндзо обратился к О-Кину, после чего направился в соседнюю комнату.

— Ну что ты будешь делать. Две служанки в доме, а толку от них никакого.

О-Кину, досадливо прицелкнув языком, переглянулась с тетушкой.

— Такие теперь служанки пошли... Моя, так та наоборот, во все сует нос.

Пока женщины переговаривались, Синтаро, не выпуская сигареты изо рта, заговорил с печально сидевшим Ёйти.

— К вступительным экзаменам готовишься?

— Готовлюсь... Но в этом году держать не буду.

— По-прежнему пишешь стихи?

Ёйти, морщась, прикурил сигарету.

— У меня нет такой склонности к учению, как у тебя. А математику я просто ненавижу.

— Хоть и ненавидишь, но если не заниматься...

Синтаро прервала сидевшая напротив него тетушка, тихим голосом переговаривавшаяся с подошедшей к открытым фусума сиделкой:

— Син-тян, мама зовет.

Погасив окурок, он встал. И не взглянув на сиделку, прошел в соседнюю комнату.

— Проходи сюда. Мама сказала, что хочет тебя видеть, — кивнул ему головой отец, сидевший у изголовья больной. Синтаро послушно примостился рядом с ним.

— Ты меня звала?

Мать повернула к нему голову. В свете лампы, завешенной куском материи, лицо ее выглядело еще более осунувшимся.

— Понимаешь, Ёйти не желает заниматься... Хоть бы ты ему сказал... Он прислушивается к твоему мнению...

— Хорошо, обязательно скажу. Кстати, только что мы уже с ним говорили об этом.

Синтаро ответил чересчур громко.

— Да? Смотри, не забудь... Я думала, что вчерашнего дня не переживу, а вот видишь...

Превозмогая боль, мать широко улыбнулась.

— Может быть, помог амулет Тайсяку-сана — вот и жар спал; глядишь, еще и поправлюсь... Мицу говорила, что у ее дяди тоже была язва двенадцатиперстной кишки, а он через полмесяца поправился. Видно, не такая это страшная болезнь...

Синтаро до боли стало жаль мать, которая все еще надеялась на выздоровление.

— Конечно, поправишься. Непременно поправишься, лекарства обязательно помогут.

Мать кивнула.

— Давайте еще раз попробуем выпить.

Подошедшая сиделка ловко поднесла ко рту О-Рицу мензурку. Мать, зажмурившись, в два глотка выпила содержимое. На какой то миг у Синтаро отлегло от сердца.

— Вкусно.

— Смогла все же принять наконец.

Сиделка и Синтаро радостно переглянулись.

— Раз стала принимать лекарства, все в порядке. В общем, залежалась ты, пора подниматься. И устроим праздничный обед, будем есть рис с красной фасолью.

Шутка Кэндзо вызвала у стоявшего на коленях Синтаро желание уйти. В это время мать неожиданно подозрительно глянула на него.

— Лекция? Где сегодня вечером лекция? — спросила она.

Испуганный Синтаро, ища спасения, посмотрел на отца.

— Никакой лекции нет. Нигде ее не будет. Так что можешь лежать спокойно.

Успокаивая О-Рицу, Кэндзо одновременно делал глазами знаки Синтаро. Тот поспешно поднялся и вернулся в ярко освещенную столовую.

Там по-прежнему сестра и Ёйти тихо разговаривали с тетушкой. Когда он вошел, все трое повернулись, вопросительно глядя на Синтаро. Однако Синтаро молча, с каменным лицом, сел на свое место.

— Зачем тебя звали?

Молчание нарушила О-Кину, все еще зябко пряча подбородок в ворот кимоно.

— Ничего особенного.

— Значит, мама просто хотела посмотреть на тебя?

В тоне сестры Синтаро уловил раздражение. Но ничего не ответил, лишь горько усмехнулся.

— Ё-тян, не побудешь ночью с больной? — после непродолжительного молчания, зевнув, обратилась к Ёйти тетушка.

— Хорошо... Сестра тоже обещала побыть этой ночью с матерью...

— А ты, Син-тян?

О-Кину из-под припухших век посмотрела на Синтаро.

— Мне все равно, не знаю.

— Син-тян, как всегда, колеблется. Я думала, поступление в колледж прибавит ему решительности...

— Наверно, он просто устал, — с укором ответила О-Кину тетушка.

— Тогда пусть сейчас ложится спать. Тем более что дежурить придется, наверно, не одну ночь...

— Ну что ж, пойду спать, ладно?

Синтаро поднес спичку к сигарете брата. Только что он видел умирающую мать и поэтому ненавидел себя за эту услужливость...

6

Синтаро поднялся на второй этаж и около двенадцати лег. Он действительно очень устал, тетушка не зря сказала. Но, погасив свет, долго еще ворочался с боку на бок.

Рядом тихо посапывал Кэндзо. Впервые за последние

несколько лет он спал в одной комнате с отцом. Неужели раньше он не храпел, недоумевал Синтаро, глядя на спящего отца.

Перед Синтаро неотступно стоял образ матери — воспоминания о ней его преследовали. Воспоминания были самые разные, и приятные, и неприятные. Но все одинаково печальны. «Все прошло. И хорошее и плохое», — думал Синтаро, стараясь поудобнее пристроить на подушке голову с коротко остриженными волосами.

...Однажды, когда Синтаро еще учился в начальной школе, отец купил ему новую фуражку. С большим козырьком и высокой тульей, о такой Синтаро давно мечтал. Увидев ее, сестра О-Кину сказала отцу, что в будущем месяце будет репетиция хора и ей нужно сшить кимоно. Отец расхохотался и пропустил ее слова мимо ушей. Сестра разозлилась. Отвернувшись от отца, она стала ворчать:

— Ты любишь одного Син-тяна.

Отец все еще продолжал улыбаться.

— Одно дело фуражку, другое — кимоно.

— А мама на что? Она недавно сама сшила хаори.

Сестра снова повернулась к отцу и зло глянула на него.

— Но я ведь не так давно купил тебе шпильку и гребень.

— Да, купил. Ну и что, ты и должен был купить.

Сестра выгащила из волос шпильку, украшенную искусственными белыми хризантемами, и швырнула на пол.

— Возьми свою шпильку.

Отец поморщился.

— Не делай глупостей.

— Что же ждать от меня, глупой? Я глупая, не то что Син-тян. И моя мама была глупой...

Побледневший Синтаро оказался свидетелем этой сцены. Когда сестра расплакалась, он молча подобрал с пола шпильку и стал нервно обрывать лепестки с цветка.

— Что ты делаешь, Син-тян?

Сестра как безумная схватила его за руку.

— Ты же сама сказала, что шпилька тебе не нужна. А раз не нужна, не все ли равно, что я с ней сделаю? Женщины любят ссориться, ну и ссорься пожалуйста...

Синтаро поднял рев, и они с сестрой стали драться, вырывая друг у друга шпильку, пока на цветке не

осталось ни одного лепестка... Сейчас Синтаро удивительно отчетливо представил себе душевное состояние сестры, лишившейся матери...

Синтаро стал прислушиваться. Кто-то, стараясь неслышно ступать, поднимался по темной лестнице... Вдруг раздался голос Мицу:

— Господин.

Кэндзо, который, казалось, спал, сразу же поднял голову с подушки.

— Что случилось?

— Вас зовет госпожа.

— Хорошо. Иду.

После ухода отца Синтаро неподвижно застыл на постели с широко открытыми глазами, прислушиваясь к тому, что делается в доме. И почему-то в его памяти вдруг всплыло далекое светлое воспоминание, никак не связанное с трагичностью этой минуты.

...Это тоже случилось в то время, когда он учился в начальной школе; мать взяла его с собой на кладбище на могилу отца. Был солнечный воскресный полдень — среди сосен и живой изгороди ярко белели цветы магнолий. Мать подошла к небольшой могилке и сказала, что это могилка отца. Синтаро остановился и слегка склонил голову.

— Надеюсь, больше ничего от меня не требуется?

Поливая могилу, мать с улыбкой на него посмотрела.

— Ничего.

К отцу, которого он не знал, Синтаро относился с теплотой. Но этот жалкий каменный столбик не вызывал в нем никаких чувств.

Мать постояла еще некоторое время, сложив руки. Вдруг раздался выстрел духового ружья. Синтаро, стоявший за спиной матери, пошел в ту сторону, откуда донесся выстрел. Обойдя живую изгородь, он очутился на узкой тропинке — там мальчик с виду старше Синтаро, державший духовое ружье, и двое его младших братьев с жалостью смотрели на вершину какого-то дерева, которую, точно дымом, обволокло начавшими распускаться почками...

В это время послышались шаги на лестнице. Синтаро о тревогой приподнялся на постели.

— Кто это?

— Ты не спишь?

Это был голос Кэндзо.

— Что случилось?

— Я ходил вниз, меня мама звала.

Отец произнес это с унылым видом и снова лег в постель.

— Зачем она тебя звала, ей хуже?

— Нет, просто хотела сказать мне, чтобы я завтра, если пойду на фабрику, надел летнее кимоно, которое лежит в верхнем ящичке комода.

Синтаро жалел мать. Хоть она и была женой совершенно чужого ему человека.

— Как все это тяжело! Она так страдает.

— Может быть, попросить Тодзаву-сана сделать ей еще укол?

— Нет, пожалуй, нельзя так часто делать уколы.

— Ну что ж, нельзя так нельзя, но все равно как-то надо облегчить ей страдания.

Синтаро казалось, что Кэндзо пристально смотрит на него.

— Твоя мать святая женщина... за что же на ее долю выпали такие муки?

Оба помолчали.

— Наверно, никто еще не ложился?

Синтаро стало невыносимо вот так молчать, глядя друг на друга.

— Тетушка уже легла. Не знаю только, уснула или нет...

Сказав это, отец вдруг приподнял голову и стал прислушиваться.

— Папа, мама что-то...

Теперь это был тихий голос О-Кину, поднявшейся до середины лестницы.

— Иду.

— Я тоже встану.

Синтаро накинул на плечи ночное кимоно.

— Можешь лежать. Если понадобится, я сразу же тебя позову.

Отец стал быстро спускаться по лестнице вслед за О-Кину.

Какое-то время Синтаро сидел на постели, потом встал и зажег свет. Снова сел и стал осматривать освещенную тусклой лампой комнату. Возможно, мать позвала отца просто так, хочет, чтобы он побыл с ней... Это вполне вероятно.

Неожиданно взгляд Синтаро упал на валявшийся под столом исписанный листок бумаги. Он поднял листок.

— Посвящаю М... ко...

Дальше шло стихотворение Ёйти.

Бросив листок, Синтаро лег, закинув руки за голову. Перед ним отчетливо всплыло миловидное лицо Мицу...

7

Когда Синтаро проснулся, в комнате, куда сквозь щели в ставнях проникал слабый свет, сестра и отец о чем-то тихо разговаривали. Синтаро вскочил, будто от толчка.

— Тебе надо немного поспать, — сказал Кэндзи О-Кину и поспешно сбежал с лестницы.

За окном слышался шум, будто на черепичную крышу низвергался водопад. Ливень... Думая об этом, Синтаро стал быстро одеваться. О-Кину, с распущенным оби, ехидно сказала ему:

— Син-тян, доброе утро.

— Доброе утро. Как мама?

— Ночь была очень тяжелой...

— Не спала?

— Сказала, что хорошо поспала, но я видела, что она и пяти минут не вздремнула. И говорила такие странные вещи... Мне всю ночь было не по себе.

Одевшись, Синтаро вышел на лестницу, но вниз не стал спускаться. В той части кухни, которая была видна сверху, Мицу, подвернув подол, протирала пол тряпкой... Услыхав голос Синтаро и О-Кину, она поспешно одернула кимоно. Синтаро взялся за медные перила, но все не решался спуститься вниз, точно ему что-то мешало.

— Какие же странные вещи говорила мама?

— Полдюжины. Разве полдюжины не все равно, что шесть штук?

— Это у нее с головой неладно... А как сейчас?

— Пришел Тодзава-сан.

— Так рано?

Мицу вышла из кухни, и Синтаро стал медленно спускаться по лестнице.

Через несколько минут он уже был в комнате больной,

Тодзава сам только что сделал ей укол дигитамина. Мать, которую сиделка укрывала после укола, металась по подушке — отец говорил об этом вчера вечером.

— Пришел Синтаро.

Это громким голосом сказал матери Кэндзо, сидевший рядом с Тодзавой, и сделал Синтаро знак глазами.

Синтаро сел напротив отца и, скрестив руки на груди, стал смотреть на мать.

— Возьми ее руку.

Синтаро послушно спрятал в своих ладонях руку матери. Она была холодной и неприятно влажной.

Увидев сына, мать чуть кивнула ему и сразу же перевела взгляд на Тодзаву.

— Доктор, плохи, наверно, мои дела. Вот и руки стали неметь.

— Это ничего. Потерпите еще день-другой. — Тодзава мыл руки. — Скоро вам станет лучше... О-о, сколько здесь всего!

На подносе, стоявшем у постели матери, лежали талисманы Удзиками из синтоистского храма Дайдзингу, талисманы Тайсяку из буддийского храма в Сибамата... Взглянув искоса на поднос, мать ответила прерывающимся голосом, будто задыхаясь:

— Ночью мне было очень плохо... А сейчас боли почти утихли...

Отец чуть слышно сказал сиделке:

— По-моему, у нее стал заплетаться язык.

— Видимо, во рту пересохло... Дайте ей водички.

Синтаро взял у сиделки смоченную в воде кисточку и несколько раз провел ею во рту у матери. Мать прижала языком кисточку и проглотила капельку воды.

— Я еще зайду. Никаких оснований для беспокойства нет. — Тодзава громко сказал это, повернувшись к больной, и, закрывая свой чемоданчик, обратился к сиделке: — В десять часов сделайте укол.

Сиделка поморщилась и что-то пробурчала.

Синтаро с отцом пошли провожать Тодзаву. В соседней комнате, как и вчера, уныло сидела тетушка. Проходя мимо, Тодзава непринужденно ответил на ее приветствие и заговорил с Синтаро:

— Как идет подготовка к экзаменам? — Тут же сообразив, что он ошибся, доктор весело улыбнулся. — Простите. Я имел в виду вашего младшего брата.

Синтаро горько усмехнулся.

— В последнее время, встречаясь с вашим братом, я говорю с ним только об этом. Наверно, потому, что мой сын тоже готовится к экзаменам...

Когда Тодзава шел через кухню, он все еще весело улыбался.

После ухода доктора, скрывшегося за сплошной пеленой дождя, Синтаро, оставив отца в магазине, поспешно вернулся в столовую. Теперь рядом с тетушкой там сидел с сигаретой в зубах Ёйти.

— Хочешь спать?

Синтаро присел к жаровне.

— Сестра уже спит. Ты тоже ложись.

— Ладно... Всю ночь курил, даже язык щиплет.

Морщась, Ёйти с унылым видом бросил в жаровню недокуренную сигарету.

— Как хорошо, что мама перестала стонать.

— Ей, кажется, лучше.

Тетушка зажгла сухой спирт в грелке.

— До четырех часов ей было плохо.

Из кухни выглянула Мицу, причесанная на прямой пробор.

— Простите. Господин просит вас зайти в магазин.

— Хорошо, хорошо, сейчас иду.

Тетушка протянула Синтаро грелку.

— Син-тян, зайди к маме.

Сказав это, она вышла, вслед за ней, подавляя зевок, поднялся и Ёйти.

— Пойду посплю немного.

Оставшись один, Синтаро положил грелку на колени и задумался. О чем — он и сам не знал. Шум ливня, низвергавшегося на невидимую крышу с невидимого небеса, — единственное, что его сейчас заполняло.

Неожиданно вбежала сиделка.

— Идите кто-нибудь. Хоть кто-нибудь...

Синтаро вскочил и в тот же миг влетел в комнату больной. Он обнял О-Рицу, прижал к себе.

— Мама, мама.

Лежа в его объятиях, мать дернулась несколько раз. В уголках губ выступила пена.

— Мама.

В те секунды наедине с матерью Синтаро громко звал ее, жадно всматривался в лицо умершей.

Октябрь — ноябрь 1920 г.

СТРАННАЯ ВСТРЕЧА

1

О-Рэн стала содержанкой и в начале зимы 1895 года поселилась на улице Ёкоами в районе Хондзё.

Снятый для нее крохотный одноэтажный домик стоял на берегу реки у моста Окураба. Когда она смотрела из сада на реку, на умиротворенный, спокойный пейзаж, совсем не похожий на городской, он не казался ей унылым: там, где сейчас станция Рёгоку, тянулись, заслоня пасмурное, готовое пролиться дождем небо, густые заросли кустов и деревьев. Но по ночам, если с О-Рэн не было господина, ей становилось порой невыразимо тоскливо.

— Бабушка, кто это кричит?

— Это? Кваква.

Так О-Рэн, когда ей было не по себе, переговаривалась со служанкой, поддерживая в лампе огонь.

Примерно раз в три дня появлялась плотная фигура ее господина — Макино в интендантской форме, который заглядывал к ней еще засветло прямо со службы. Случалось, что он приходил и после захода солнца, уже из дому — он жил напротив моста Умаябаси. У Макино была семья — жена и двое детей, мальчик и девочка.

О-Рэн, которая с недавних пор стала причесываться как замужняя женщина, собирая волосы в пучок, вечерами сидела у жаровни напротив Макино, по-семейному, и пила с ним сакэ. На разделявшем их чайном столике стояли тарелочки и мисочки с закуской — сухой соленой икрой, солеными потрохами трепанга...

В такие минуты пород О-Рэн нередко проносилась в памяти вся ее прошлая жизнь. Вспоминая многочисленную семью, подруг, она еще острее ощущала свою полную незащищенность в этой чужой, далекой стране. Иногда ее вдруг охватывала жгучая ненависть к разжиревшему Макино.

А Макино в это время с истинным удовольствием маленькими глотками, смакуя, пил сакэ. Он то и дело отпускал шуточки, заглядывал при этом в лицо О-Рэн и громко хохотал — такая у него была привычка, когда выпьет.

— Ну, что ты за человек, О-Рэн, даже Токио тебе не по душе.

В ответ О-Рэн лишь улыбалась, следя за тем, чтобы все было в порядке, чтобы сакэ не остывало.

Ревностный служака, Макино редко оставался ночевать. Как только стрелки часов, лежавших у изголовья, подходили к двенадцати, он сразу же начинал совать свои толстые руки в рукава шерстяной рубахи. О-Рэн в неловкой позе, стоя на коленях, тоскливо наблюдала за судорожными сборами Макино.

— Захвати х а о р и, — раздавался иногда в дверях нетерпеливый голос Макино, на его лоснящееся лицо падал тусклый свет фонаря.

Каждый раз, проводив Макино, О-Рэн чувствовала, что нервы ее напряжены до предела. И в то же время ей бывало грустно оставаться одной.

Когда шел дождь и дул ветер, кусты и деревья уныло шумели. О-Рэн, спрятав лицо в рукава ночного кимоно, пропахшего сакэ, настороженно прислушивалась к этому шуму. В такие минуты глаза ее часто наполнялись слезами. Но вскоре она забывалась тяжелым сном, сном, похожим на кошмар.

2

— Что случилось? Откуда у вас эта царапина?

Был тихий дождливый вечер, и О-Рэн, наливая Макино сакэ, вдруг бросила взгляд на его правую щеку. И увидела на этой выбритой до синевы щеке багровую царапину.

— Эта? Жена оцарапала.

Он произнес это как ни в чем не бывало, ни лицо, ни голос у него не дрогнули — можно было даже подумать, что он шутит.

— Фу, какая противная у вас супруга! С чего это она опять за старое принялась?

— С чего, с чего. Обычная ревность. Она ведь знает, что у меня есть ты, так что лучше не попадайся ей, а то несдобровать. Глотку перегрызет. Без всяких разговоров, как дикая собака.

О-Рэн захихикала.

— Нечего смеяться. Стоит ей узнать, что я здесь, мигом примчится, ни на что не посмотрит.

Слова Макино прозвучали неожиданно серьезно.

— Когда это случится, тогда и буду думать, что делать.

— Ну и отчаянная же ты!

— Совсем не отчаянная. Просто люди моей страны... — О-Рэн задумчиво посмотрела на тлеющие в жаровне угли. — Люди моей страны безропотно мирятся с судьбой.

— Ты хочешь сказать, что они не ревнивы? — В глазах Макино промелькнула хитринка.

— Ревнивы. Все до единого ревнивы. Особенно я...

Тут из кухни пришла служанка и принесла рыбу на вертеле, которую они просили зажарить.

Ту ночь Макино провел у любовницы, чего давно уже не бывало.

Они легли в постель и вдруг услышали, что пошел мокрый снег. Макино уже давно уснул, а О-Рэн никак не могла уснуть и лежала с широко раскрытыми глазами, стараясь представить себе жену Макино, которую не видела ни разу в жизни. О-Рэн несколько не жалела ее, что было совершенно естественно, и в то же время не испытывала к ней ни ненависти, ни ревности.

Жена Макино вызывала в ней только любопытство. Интересно бы узнать, как происходила эта семейная ссора? О-Рэн самым серьезным образом думала об этом и поежилась от шуршания мокрого снега, падавшего на кусты и деревья.

Так пролежала она часа два, а потом заснула...

О-Рэн едет в битком набитой пассажирами полутемной каюте. В иллюминатор видны вздыбленные черные волны, а за ними причудливо светящийся красный шар — не то луна, не то солнце — не разберешь. Все пассажиры, непонятно почему, сидят в тени и все молчат. О-Рэн малопомалу охватывает страх от этого молчания. Вдруг сзади к ней подходит один из пассажиров. Она невольно оборачивается и видит, что, печально улыбаясь, на нее пристально смотрит мужчина, с которым она рассталась...

— Кин-сан.

О-Рэн разбудил на рассвете ее собственный голос. Рядом все еще посапывал Макино, но она не знала, спит он или нет, потому что он лежал к ней спиной.

3

Должно быть, Макино знал, что у О-Рэн был мужчина. Но делал вид, что это его несколько не интересует. К тому же фактически мужчина исчез, как только появился Макино, поэтому Макино, само собой, не ревновал...

Зато у О-Рэн этот мужчина не шел из головы. Она питала к нему даже не любовь, а какое-то всепоглощающее чувство. Почему вдруг он перестал к ней приходить? Она никак не могла этого понять. О-Рэн говорила себе, что все дело в непостоянстве мужчин. Но стоило ей вспомнить, что происходило в то время, и она понимала, что причина совсем в другом. Но пусть даже и возникли обстоятельства, вынудившие его к разрыву, все равно они были слишком близки друг другу, чтобы уйти просто так, не сказав ни слова. А может быть, с ним стряслась беда? Думать так было для О-Рэн и страшно, и заманчиво...

Возвращаясь из бани через несколько дней после того, как она видела во сне мужчину, О-Рэн вдруг заметила на доме с решетчатой раздвижной дверью полотно, на котором было написано: «Предсказываю судьбу». Полотно выглядело довольно странно — вместо гадательных принадлежностей на нем был изображен красный круг с дырой посередине, напоминавший продырявленную монету. Проходя мимо, О-Рэн вдруг решила узнать, что случилось с тем мужчиной.

Ее провели в светлую комнату. Возможно, утонченность самого хозяина, и книжная полка китайской работы, и горшок с орхидеей, и изящные принадлежности для чайной церемонии создавали атмосферу уюта.

Предсказатель оказался статным стариком с бритой головой. Золотые зубы, сигарета во рту — в общем, в его облике не было ничего от предсказателя. О-Рэн сказала старику, что в прошлом году пропал без вести ее родственник и она хотела бы узнать, где он находится.

Предсказатель быстро принес из угла комнаты столик сандалового дерева и поставил его между собой и О-Рэн. Потом осторожно разместил на нем зеленовато-голубую фарфоровую курильницу и мешочек из золотой парчи.

— Сколько лет вашему уважаемому родственнику?

О-Рэн назвала возраст мужчины.

— О, совсем еще молодой. В молодости человек часто совершает ошибки. Став же стариком, как, например, я...

Предсказатель пристально посмотрел на О-Рэн и захихикал.

— Когда он родился, вы тоже знаете? Впрочем, не надо, мне и так ясно — он родился под первой белой звездой года Зайца.

Старик вынул из парчового мешочка три монеты с дырками посредине. Каждая из них была завернута в розовый шелковый лоскутик.

— Мое гадание называется «Подбрасывание монеты». Впервые вместо гадания на бамбуковых палочках его применил в Древнем Китае Цзин Фан. Вам, возможно, известно, что при гадании на бамбуковых палочках одно сочетание может иметь три последовательности, а одна триграмма — восемнадцать вариантов, поэтому предсказать судьбу чрезвычайно трудно. В этом и состоит преимущество гадания на монетах...

С этими словами предсказатель зажег курительные палочки, и светлая комната стала наполняться желтым дымом, поднимавшимся из курильницы.

4

Предсказатель развернул розовые лоскутики и в дыму, поднимавшемся из курильницы, окурил каждую монету в отдельности, после чего благоговейно склонил голову перед свитком, висевшим в нише. На нем были изображены четыре великих святых: Фу-си, Вэнь-ван, Чжоу-гун и Кун-цзы. Свиток, видимо, был написан художником, принадлежавшим к школе Кано.

— О всемогущие боги, о святые Вселенной, уловите этот драгоценный аромат и, молю вас, снизойдите ко мне... Разрешите побеспокоить вопросом ваш божественный дух. Нависла большая беда, молю вас о предсказанье.

Закончив обращение к богам, старик бросил на столик сандалового дерева три монеты. На одной выпала решка, на двух — орел. Предсказатель схватил кисть и написал на полоске бумаги порядок, в каком легли монеты.

Подбрасывая монеты, он определял благо и зло — он проделал это шесть раз. О-Рэн с беспокойством наблюдала за тем, в каком порядке ложатся монеты.

— Ну вот и все...

Закончив гадание, старик, повернувшись к свитку, погружился в размышления.

— Выпавшая триграмма именуется истолкованием грома и водной стихии. А это значит, что желания ваши не сбудутся.

О-Рэн робко перевела взгляд с монет на старика.

— Вряд ли вы встретитесь снова с тем молодым человеком, вашим родственником.

И предсказатель стал завертывать монеты в розовые шелковые доскутки.

— Неужели его нет в живых?

Голос у О-Рэн дрогнул. В нем слышался безотчетный страх: «Неужели это правда?» — и в то же время надежда: «Нет, этого не может быть».

— Жив он или умер, установить трудно, но... на встречу не надейтесь.

— Почему?

На упитанном лице предсказателя, завязывавшего парчовый мешочек, появилась ехидная улыбка.

— В жизни всякое бывает, случается и невероятное. Если бы Токио вдруг превратился в лес, — может быть, вам и удалось бы встретиться... Но гадание... гадание предсказывает точно.

О-Рэн заплатила гадателю изрядную сумму денег и, совсем пав духом, вернулась домой.

В тот вечер она задумчиво сидела у жаровни, подперев рукой щеку и слушая, как в чайнике булькает вода. Предсказание гадателя ничем ей не помогло. Наоборот, оно разбило вдребезги хрупкую веру, тайную надежду, которую О-Рэн лелеяла в глубине души... Почти несбыточную, но все же надежду. Неужели его и в самом деле нет в живых? Что-то в этом роде сказал старик. Ведь улица, на которой она в то время жила, была очень беспокойной. Кто знает, может быть, идя к ней, он нарвался на скандал. А может быть, просто забыл о ней и потому перестал приходить. О-Рэн словно увидела себя со стороны, как она сидит, ощущая на своей напудренной щеке тепло, идущее от жаровни, и поигрывая щипцами для углей.

«Кин, Кин, Кин...» — писала она на золе и снова стирала.

5

— Кин, Кин, Кин.

О-Рэн все писала и писала, когда вдруг служанка тихо окликнула ее из кухни. Это, собственно, была не кухня, а служившая кухней комната с дощатым полом, расположенная сразу же за сёдзи.

— Что, бабушка?

— Госпожа! Идите сюда, посмотрите. Откуда она взялась, не пойму...

О-Рэн пошла на кухню.

В кухне, наполовину занятой очагом, свет лампы, проливающийся сквозь сёдзи, создавал спокойный полумрак. Когда туда вошла О-Рэн, служанка поднимала с пола какого-то маленького белого зверька.

— Кошка?

— Нет, собачонка.

Прижав к груди руки, О-Рэн внимательно рассматривала собаку. Собака, которую держала на руках служанка, поводила светлыми глазами и тихо посапывала.

— Это та самая собака, которая все утро скулила у помойки... Как она забралась в дом, не пойму.

— А ты и не заметила?

— Нет, хоть и была все время здесь, чайную посуду мыла... И правду говорят — человеческие глаза ничего не видят.

Служанка приоткрыла сёдзи и уже собралась выбросить собаку в уличную тьму.

— Постой, я тоже хочу поддержать ее на руках...

— Не нужно. Она вас всю выпачкает.

О-Рэн, не слушая служанку, взяла собаку и прижала к себе. Собака дрожала всем телом. Это напомнило О-Рэн о ее прошлом. Когда О-Рэн еще жила в веселом доме, она взяла к себе белую собачонку, с которой спала, когда ночью не было гостя.

— Бедненькая... Может, возьмем ее?

Служанка удивленно хлопала глазами.

— А, бабушка? Давай возьмем. Особых хлопот она тебе не доставит.

О-Рэн спустила собаку на пол и, широко улыбаясь, полезла в кухонный шкаф за съестным, чтобы накормить ее.

На следующий день собака с красным ошейником уже лежала на циновке.

Служанка, любившая порядок, разумеется, не одобряла этого. Особенно злило ее, когда собака выскакивала во двор, и потом следила грязными лапами. Но О-Рэн, скучавшая от безделья, полюбила собаку, как ребенка. Во время еды собака всегда сидела у обеденного столика. А ночью она неизменно спала, свернувшись клубочком, на рукаве ночного кимоно О-Рэн.

— С тех пор я все время думала, не к добру это, не к добру. Разве же это дело: горит ночник, а эта белая собака сидит и не отрываясь смотрит в лицо спящей госпожи...

Так примерно через год рассказывала служанка моему приятелю, врачу К.

6

Невзлюбила собачонку не только служанка. Нахмурил свои густые брови и Макино, увидев лежавшую на циновке собаку.

— Это еще что такое? Пошла вон!

Макино, одетый, как обычно, в свою интендантскую форму, грубо пнул собаку ногой. Когда он пошел в гостиную, белая шерсть на спине собаки встала дыбом и она злобно зарычала.

— Меня просто бесит твоя любовь к собакам.

И подсев к столику, чтобы выпить свою вечернюю чашечку сакэ, Макино, досадливо морщась, все еще внимательно рассматривал собаку.

— Ты, по-моему, и раньше держала такую же?

— Да, та была тоже белая.

— Ты говорила, что ни за что не расстанешься с ней, а потом но знала, как от нее избавиться.

О-Рэн, поглаживая лежавшую у нее на коленях собачонку, улыбнулась. Она и сама прекрасно понимала тогда, что путешествовать на пароходе или на поезде с собакой хлопотно. Но теперь, когда она еще и с мужчиной рассталась, ей становилось невыразимо грустно при мысли, что она уехала в чужую, незнакомую страну, оставив белую собачонку. Поэтому вчера вечером, взяв на руки собаку и прижимаясь к ее носу щекой, О-Рэн без конца всхлипывала...

— Та собака хоть была умная, а эта совсем глупая. Во-первых, лицо... То есть морда... Морда совсем обыкновенная.

Макино, уже захмелевший, кажется, забыл о своем недовольстве и бросил собаке ломтик сырой рыбы.

— По-моему, она очень похожа на ту собаку, правда? Только нос другого цвета.

— Только нос? Нет, не только.

— У этой нос черный. А у той был коричневый.

Подливая Макино сакэ, О-Рэн вдруг увидела со всей

отчетливостью мордочку своей прежней собаки. У той она была вся в бурых подпалинах, всегда мокрая от слюны.

— Хм, может быть, коричневый нос считается у собак признаком красавицы.

— Красавца, если вы имеете в виду эту собаку. А у этого пса нос черный, значит, он урод.

— Выходит, эта собака тоже мужского рода? А я-то думал, что в этом доме единственный мужчина — я. Какая наглость!

Тронув О-Рэн за руку, Макино самодовольно рассмехался.

Но надолго сохранить благодушное настроение ему не удалось. Когда они легли в постель, собака за фусума стала жалобно скулить. И не только скулить, кончилось тем, что она заскребла когтями по фусума. Макино, обреченно улыбнувшись, в конце концов сказал О-Рэн:

— Впусти ее.

Как только О-Рэн раздвинула фусума, собака смиренно примостилась у их изголовья. И успокоившись, замерла, как белая тень, не сводя с них глаз.

О-Рэн казалось, что на нее смотрит не собака, а человек.

7

Через несколько дней, вечером Макино зашел за О-Рэн, и они отправились в расположенное поблизости варьете. Варьете, где показывали фокусы, танцевали с мечами и читали стихи, демонстрировали картинки с помощью волшебного фонаря, разыгрывали пантомимы, было до отказа набито людьми. Сесть им удалось лишь через некоторое время, когда они уже порядком устали. И далеко от эстрады. Как только они успокоились на своих местах, сидевшие рядом, точно сговорившись, стали удивленно разглядывать О-Рэн, причесанную как замужние женщины. Эта прическа придавала ей почему-то торжественный и в то же время грустный вид.

На сцене, при свете ярких ламп, размахивал обнаженным мечом мужчина, у которого голова была повязана скрученным в жгут платком. А из-за кулис слышался голос, читающий стихи: «Забыты давно тысячи гор и холмов исхоженных». И танец с мечами, и чтение стихов на О-Рэн навевали скуку. Макино же, затягиваясь сигаретой, смотрел на сцену с огромным интересом.

После представления принесли волшебный фонарь и стали показывать картинки. На полотне, натянутом на сцене, то появлялись, то исчезали эпизоды японо-китайской войны. Можно было увидеть, например, как тонет, подняв огромный столб воды, китайский броненосец «Диньюань». Или как капитан Хигути с вражеским ребенком на руках ведет солдат в атаку. И всякий раз, как появлялся флаг с красным солнцем посередине, зрители начинали бешено аплодировать. А некоторые даже вопили истошным голосом: «Да здравствует империя!» Однако Макино, видевший войну собственными глазами, держался подчеркнуто сдержанно и лишь саркастически улыбался.

— Если бы на войне и в самом деле было так...

Это он сказал О-Рэн, когда показывали жестокий бой за Нючжуан, но достаточно громко, чтобы и сидевшие рядом слышали. Но О-Рэн, не отрывая глаз от экрана, лишь слегка кивнула. Любые картинки, которые показывают с помощью волшебного фонаря, обычно вызывают интерес у женщин. Но была особая причина, заставлявшая О-Рэн волноваться всякий раз, когда перед ее глазами возникали покрытые снегом крыши Чэнъина, привязанный к сухой иве осел, китайские солдаты с длинными косами.

В десять часов все закончилось. О-Рэн с Макино шли по безлюдной улице, где стояли только жилые дома. Над улицей висела ущербная луна, заливая холодным светом покрытые росой крыши. Время от времени пуская в этот холодный свет дым от сигареты, Макино, видимо все еще вспоминая танец с мечами, тянул гнусавым голосом стихи, от которых веяло стариной:

— «Свист хлыстов, тихая ночная переправа».

Когда они свернули в переулок, О-Рэн, будто испугавшись чего-то, схватила Макино за рукав.

— В чем дело? Ты испугалась?

Продолжая идти, Макино повернулся к О-Рэн.

— Мне показалось, что кто-то кричит.

О-Рэн еще теснее прижалась к Макино и испуганно заглянула ему в лицо.

— Кричит?

Макино остановился и прислушался. Но на унылой улице не слышно было ничего, даже собачьего лая.

— Померещилось. Кому здесь кричать?

— Померещилось, наверно.

— Может, из-за волшебного фонаря?

На следующее утро О-Рэн с зубной щеткой во рту пошла на галерею умываться. Там, как обычно, около уборной стоял наполненный горячей водой таз с двумя ручками.

Мертвый зимний сад выглядел уныло. Пейзаж за садом и река, в которой отражалось пасмурное небо, тоже нагоняли тоску. Но стоило О-Рэн увидеть этот пейзаж, как она, полоща рот, сразу же вспомнила вчерашний сон, о котором уже успела забыть.

Ей снилось, будто она совершенно одна идет среди темных кустов и деревьев по узкой тропинке, идет и думает: «Наконец-то мое желание сбылось. Токио, сколько хватает глаз, превратился в безлюдный лес. И теперь я смогу наконец встретиться с Кин-саном». Она проходит еще немного, и тут вдруг откуда-то доносится грохот пушек и винтовочные выстрелы. В тот же миг небо в просветах между деревьями становится багровым, будто от пожара. «Война. Война...» О-Рэн бежит что есть сил. Но не может сдвинуться с места...

Ополоснув лицо, О-Рэн, стоя на коленях, спустила с плеч кимоно, чтобы вымыться до пояса. В это время что-то холодное коснулось ее спины.

— Ой!

Она не очень-то испугалась и искоса посмотрела через плечо. Там, виляя хвостом, старательно облизывала свой черный нос собачонка.

Через несколько дней Макино пришел к О-Рэн раньше, чем обычно, и привел с собой Тамия. Тамия, служивший приказчиком в магазине, принадлежавшем известному поставщику двора, оказывал Макино разные услуги, когда тот решил взять О-Рэн в содержанки.

— Как странно, правда? Стоило О-Рэн сделать себе такую прическу, и в ней ничего не осталось от прежней.

Макино протянул сидевшему против него Тамии чашечку сакэ, на его лицо, слегка изрытое оспой, падал яркий свет лампы.

— Послушай, Макино-сан. Причешься она как гейша или куртизанка, эта перемена не бросалась бы так резко в глаза, правда? Ведь что было, то было, никуда не денешься...

— Эй, эй, потише, служанка хоть и подслеповата, но вовсе не глухая.

Сделав такое предупреждение, Макино сам весело захихикал.

— Не важно. Она все равно ничего не поймет, даже если и услышит... Правда, О-Рэн-сан? Да и прошлое сейчас кажется дурным сном.

О-Рэн, не поднимая глаз, забавлялась с собакой, лежавшей у нее на коленях.

— Меня взял к себе Макино-сан, и раз уж я согласилась на это, плохо мне было бы, если бы все сорвалось, поэтому я так волновалась, пока мы не добрались до Кобэ.

— Да, по шаткому мостку пустилась ты в путь.

— Не надо так шутить. Тайком привезти человека можно лишь раз.

Тамия выпил залпом сакэ и поморщился.

— Но все, что есть сейчас у О-Рэн, все это только благодаря тебе.

Макино своей пухлой рукой протянул Тамии еще чашечку сакэ.

— Тронут твоими словами, тогда мне действительно трудно пришлось. Вдобавок наш корабль попал в жестокий шторм... Помнишь, О-Рэн-сан?

— Да, я думала, что все мы пойдем ко дну.

О-Рэн, наливая Тамии сакэ, с трудом подлаживалась под общий тон разговора. Возможно, было бы лучше, если бы корабль утонул... Ей даже такое пришло на ум.

— Ваше счастье, что все у вас так хорошо... Но, Макино-сан, не может ли так случиться, что сейчас, когда оказалось, что теперешняя прическа очень к лицу О-Рэн-сан, она возьмет да и снова изменит ее на старую.

— Захочет изменить, пусть меняет, ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь, это верно... И все же разве она не взяла с собой ни одного старого кимоно?

— Не только кимоно, даже гребни и шпильки — все взяла с собой как приданое. Сколько ни просил ее, б р о с ь, — нет, все взяла...

Макино пристально посмотрел в глаза О-Рэн, сидевшей у жаровни, напротив; О-Рэн, точно не слыша его слов, делала вид, будто беспокоится, как бы не остыл чайник.

— Это великолепный шанс... Как ты считаешь, О-Рэн-сан? Давай выпьем за то, чтобы как можно скорее ты стала прежней.

— Неужели и ты вспоминаешь свои прежние привязанности?

— Видишь ли, коль скоро речь зашла о прежних привязанностях, то почему бы не вспомнить таких красавиц, как, например, О-Рэн-сан...

На покрытой редкими оспинами лице Тамии, который старательно цеплял палочками картошку, появилась двусмысленная улыбка.

Когда Тамия ушел, Макино рассказал еще ничего не знавшей О-Рэн, что скоро он уволится из армии и станет торговцем. Как только придет разрешение оставить службу, поставщик двора, у которого сейчас служил Тамия, возьмет его к себе на солидное жалованье... Во всяком случае, разговор об этом был.

— Тогда лучше переехать отсюда в дом попросторнее, правда?

Макино, сморившись, улегся прямо у жаровни и курия манильскую сигару, которую принес в подарок Тамия.

— Зачем, и этот дом чересчур велик. Нас ведь всего двое — я и бабушка.

О-Рэн старалась побыстрее скормить прожорливой собаке остатки еды.

— Веда тогда я тоже буду с вами.

— Но у вас же есть супруга.

— Жена? С женой я собираюсь развестись в самое ближайшее время.

И по тону, каким Макино сказал это, и по выражению его лица можно было заключить, что он не шутит, общая эту неожиданную весть.

— Лучше не делать зла.

— Тебя это не касается. Захочу — уйду, захочу вернуться, это мне решать. И если поступлю плохо, то разве не я один за это в ответе?

Метнув в О-Рэн суровый взгляд, Макино отчаянно задымил сигарой. О-Рэн сидела с грустным лицом, ничего не отвечая.

— И вот белая собака заболела... да, точно, как раз на следующий день после того, как хозяин приводил господина Тамию.

Так начала рассказывать о тогдашних событиях служанка О-Рэн моему приятелю, врачу К.

— Наверно, она чем-то сильно отравилась или еще что-то в этом роде. Сначала она целыми днями, не поднимаясь, лежала у жаровни и время от времени пачкала циновку. Госпожа, как ребенка, любила собаку и очень заботилась о ней: поила молоком, давала лекарство. Чего тут удивляться. И хоть удивляться нечего, все равно неприятно, верно? А когда собаке стало совсем худо, госпожа подолгу разговаривала с ней.

Хотя я и сказала: «разговаривала с ней», — на самом деле говорила, конечно, одна госпожа, и до глубокой ночи слышался ее голос, представляете? Потом стало чудиться, будто собака отвечает ей человеческим голосом, так страшно было! А однажды вот что случилось: в тот день дул сильный северо-западный ветер, меня посылали по делам, и когда я вернулась домой, — кстати, посылали меня к гадалке, который жил поблизости, чтобы он посмотрел больную собаку, — так вот, меня посылали по делам, и когда я вернулась домой, в гостиной — сёдзи ужас как дребезжали — слышался голос госпожи. Я подумала, что пришел господин, и заглянула в щелку между сёдзи, а там ни души — одна госпожа. Вдобавок тучи, которые гнал ветер, скрыли солнце, госпожа с собакой на коленях становилась то светлой, то темной. Представляете? Сколько лет живу на свете, а такого страха еще не доводилось переживать.

Когда собака подохла, госпожа так убивалась, а у меня, по правде говоря, камень с души свалился. И не только я обрадовалась, хотя мне одной приходилось каждый день убирать за собакой. Господин тоже, когда услышал, что собака подохла, ухмыльнулся: избавились наконец от обузы. Как подохла собака? Пока мы с госпожой еще спали, она доползла до туалетного столика, ее вырвало чем-то зеленым, тут она и подохла. С полмесяца пролежала неподвижно у жаровни вроде бы в беспмятстве и вот пожалуйста...

Как раз в тот день, когда О-Рэн должна была идти на рынок Ягэмбори, она увидела у туалетного столика

бездыханную собаку. Собака, как и рассказывала служанка, лежала в зеленой рвоте. О-Рэн давно уже была готова к ее смерти. С прежней собакой она с живой рассталась навсегда, с этой рассталась навсегда с мертвой. Возможно, ей не суждено было иметь собаку... Эта мысль вселила в сердце О-Рэн тихое отчаяние.

О-Рэн присела у туалетного столика и без всякого выражения взглянула на мертвую собаку. Потом подняла глаза и посмотрела в холодное зеркало. В зеркале вместе с ней отражалась и лежавшая на циновке собака. Пристально всмотревшись в ее отражение, О-Рэн, будто у нее закружилась голова, вдруг прикрыла лицо руками. И тихо вскрикнула.

Нос у собаки из черного стал вдруг коричневым.

11

Новый год в доме содержанки был грустным. Хотя к воротам и был прикреплен бамбук, а в гостиной стоял столик с разложенными на нем символами счастья и долголетия, О-Рэн в одиночестве сидела у жаровни, рассеянно глядя, как бледнеет разлитый на сёдзи солнечный свет.

С тех пор как не стало собаки, на нее по вечерам часто нападала тоска. В такие минуты О-Рэн с грустью думала не только о собаке, но и о том, жив или нет тот мужчина, а также о том, каково сейчас жене Макино, которую она ни разу в жизни не видела. С тех пор, видимо, она и начала страдать галлюцинациями, причем очень странными...

Однажды, когда она стала наконец засыпать, подол ее ночного кимоно показался ей необычно тяжелым, будто на нем кто-то лежал. Когда собачонка еще была жива, она часто забиралась на одеяло... Такую же приятную тяжесть испытывала О-Рэн и сейчас. Она стремительно поднялась с подушки. Но в свете лампы, кроме клетчатого узора на ночном кимоно, ничего не увидела...

Как-то раз О-Рэн причесывалась у туалетного столика, и вдруг за ее отражением в зеркале пробежало какое-то белое существо. Не обращая внимания, она продолжала расчесывать свои густые волосы. Белое существо пробежало снова, теперь в противоположном направлении. Не выпуская гребня из рук, О-Рэн быстро обернулась.

Но в светлой гостиной никого не было. Наверно, опять показалось, — она повернулась к зеркалу, но вскоре белое существо в третий раз пробежало за ее спиной.

В другой раз О-Рэн сидела в одиночестве у жаровни, и вдруг ей послышалось, будто где-то далеко на улице ее кто-то зовет. Голос, смешанный с шуршанием листьев бамбука у ворот, послышался всего раз. Он, несомненно, принадлежал тому мужчине, который всегда, даже теперь, когда она переехала в Токио, владел ее сердцем. Затаив дыхание, вся напрягшись, О-Рэн стала прислушиваться. Теперь милый ей голос слышался ближе, чем раньше. И вдруг он перешел в лай, который принес сюда ветер...

Однажды, неожиданно проснувшись, О-Рэн увидела в постели рядом с собой мужчину, который здесь никак не мог оказаться. Выпуклый лоб, длинные ресницы, — при свете ночника видно было, что он ни капельки не изменился. У левого глаза родинка — проверила даже это; действительно, рядом с ней лежал тот самый мужчина. О-Рэн нисколько не удивилась, сердце ее забило от радости, и она, точно желая раствориться в мужчине, крепко обняла его за шею. Но голос разбуженного мужчины, недовольно пробормотавшего что-то, несомненно, принадлежал, хоть это и было совсем неожиданно, Макино. И в этот миг О-Рэн увидела себя обнявшей за шею Макино, от которого разило водочным перегаром.

Но не только галлюцинации, реальность тоже преподнесла О-Рэн нечто такое, что привело ее в смятение. Сразу же после Нового года, когда еще не были убраны сосновые ветки, украшавшие вход, неожиданно явилась жена Макино, до которой дошли слухи о связи ее мужа с О-Рэн.

12

Когда пришла жена Макино, служанки, к несчастью, не было дома: она ушла за покупками. О-Рэн, напуганная голосом, попросившим разрешения войти, обессилив от страха, покорно поднялась и направилась в прихожую. Обращенная к северу решетчатая дверь проглядывала сквозь украшавшие вход сосновые ветки — за ней неподвижно стояла, потупившись, ни кровинки в лице, женщина в очках, кутавшаяся в поношенную шаль.

— Кто вы?

Спрашивая об этом, О-Рэн интуитивно чувствовала, кто эта посетительница. Потом пристально посмотрела на жалкое лицо женщины с растрепавшимся пучком, смиренно сложившей руки под хаори из ткани в мелкий рисунок, какую носят обычно замужние женщины.

— Я...

Немного помедлив, женщина, не поднимая головы, продолжала:

— Я жена Макино. Меня зовут Таки.

— Вот как? Я . . . — запинаясь, проговорила О-Рэн.

— Не продолжайте, я все знаю. Вы так хорошо заботитесь о Макино, примите самую искреннюю мою благодарность.

Женщина говорила миролюбиво. В ее тоне, как ни странно, не было и намека на издевку. Это-то и поставило О-Рэн в тупик, она не знала, что сказать.

— Сегодня первый день Нового года, и, воспользовавшись этим, я решила обратиться к вам с просьбой.

— Какой именно? Если только это в моих силах...

О-Рэн, державшейся настороженно, казалось, что она догадывается, о чем пойдет речь. Но если догадки ее подтвердятся, отвечать придется долго и подробно. Когда же она услышала первые слова, тихо произнесенные все еще стоявшей потупившись женой Макино, стало ясно, что она ошиблась в своих предположениях.

— Ну что вы, хоть я и сказала «просьба», но имела в виду сущую безделицу... Мне кажется, что в скором времени Токио превратится в лес — разрешите же и мне поселиться в вашем доме, как это сделал Макино. Вот в чем, собственно, и состоит моя просьба.

Она говорила тихо и размеренно. По ее виду совсем не было заметно, что говорит душевнобольная. О-Рэн потрясла ее слова, и некоторое время она беспомощно смотрела на поникшую фигуру женщины, освещенную со спины.

— Ну так как? Разрешите мне поселиться?

О-Рэн, точно у нее отнялся язык, была не в силах ответить. В какой-то момент женщина, подняв голову, широко раскрыла свои прищуренные холодные глаза и через очки пристально посмотрела на нее, — О-Рэн почувствовала себя так, словно все происходящее привиделось ей в дурном сне.

— Что случится со мной, в конце концов не имеет никакого значения, детей жаль, если меня выгонят из

дому. Я понимаю, что доставлю вам немало хлопот, но все же прошу — разрешите поселиться у вас.

Сказав это, жена Макино спрятала лицо в свою старую шаль и вдруг заплакала навзрыд. Молчавшей О-Рэн стало невыразимо грустно. Значит, наступит время, когда она сможет встретиться с Кин-саном. Как это прекрасно. Как прекрасно. Отдавшись этой мечте, О-Рэн будто со стороны увидела себя, проливающую слезы на свое новогоднее платье.

Прошло совсем немного времени, и О-Рэн вдруг обнаружила, что в выходящей на север полутемной прихожей она стоит одна, — неужели она не заметила, как женщина ушла?

13

Когда седьмого января, в праздник «семи трав», Макино явился в дом содержанки, О-Рэн поспешила рассказать, что к ней приходила его жена. Но Макино, дымя манильской сигарой, слушал ее, как ни странно, совершенно спокойно.

— С вашей женой, по-моему, не все в порядке. — Взволнованная О-Рэн, нахмурившись, решительно продолжала: — Вы должны что-то немедленно предпринять, иначе может случиться непоправимое.

— Когда случится, тогда и буду думать. — Макино сквозь сигарный дым, прищурившись, смотрел на О-Рэн. — Чем беспокоиться за мою жену, побеспокоилась бы лучше о своем здоровье. В последнее время ты постоянно хандрить.

— Что будет со мной — все равно...

— Совсем не все равно.

Лицо О-Рэн затуманилось, и она замолчала. Но вдруг, подняв полные слез глаза, сказала:

— Я вас прошу, ради всего святого, не бросайте жену.

Пораженный Макино ничего не ответил.

— Ради всего святого, прошу вас... — Стараясь скрыть слезы, она уткнулась подбородком в атласный воротник кимоно. — В целом свете нет человека, который был бы вашей жене дорог, как вы. Не помнить об этом — так бессердечно. И в моей стране женщина тоже...

— Хватит. Хватит. Все это я и сам прекрасно понимаю, так что незачем зря волноваться,

Макино, даже забыв о сигаре, уговаривал О-Рэн, как раскапризничавшегося ребенка.

— Этот дом такой мрачный... Да к тому же здесь недавно сдохла собака. От этого у тебя и хандра. Если удастся найти что-нибудь подходящее, давай сразу же переедем, согласна? Жить в таком мрачном доме... Ведь еще каких-нибудь десять дней, и я оставлю военную службу...

— Вам нужно прежде всего побеспокоиться о жене...

Когда впоследствии К. подробно расспросил служанку, она так рассказала ему о том, что тогда произошло.

— Теперешняя ее болезнь появилась еще в то время, и господину не оставалось ничего другого, как махнуть на это рукой. Однажды супруга господина пришла к нам на Ёкоами, — я только что вернулась, меня посылали за покупками, — смотрю, моя госпожа молча сидит в прихожей... А прежняя госпожа зло так смотрит через очки, в дом не входит и только знай себе ругается и ругается.

Уж так мне неловко было слушать, хоть и тайком, как поносят моего господина. Но выходить к ним, подумала я, совсем ни к чему. Я ведь лет пять назад служила у прежней госпожи, и если бы она увидела меня, наверно, рассердилась бы еще больше. Случись такое, было бы еще хуже, и я решила не высовывать носа из-за фусума, пока старая госпожа не наругается всласть и не уйдет.

А потом, когда та ушла, госпожа говорит мне: «Бабушка, только что сюда приходила супруга господина Макино. Пришла и слова плохого мне не сказала, какой же она хороший человек». А потом со смехом говорит: «Жаль, с головой у нее неладно. Она сказала, что скоро весь Токио превратится в лес».

14

Тоска О-Рэн несколько не рассеялась и после того, как вскоре, в начале февраля, она переселилась в просторный дом на улице Мацуи в том же районе Хондзэ. Целые дни она проводила в одиночестве, в столовой, слушая, как булькает в чайнике вода, и даже со служанкой не разговаривала.

Не прошло и недели после переезда в новый дом, как однажды вечером нагрянул Тамия, где-то уже изрядно выпивший. Только что севший за стол Макино, увидев

собутельника, тут же протянул ему стоявшую рядом чашечку сакэ. Прежде чем взять ее, Тамия вынул из-за пазухи, откуда выглядывала рубаша, банку консервов. Когда О-Рэн наполняла сакэ его чашечку, он сказал:

— Это подарок. Госпожа О-Рэн, это тебе подарок.

— Какие же это консервы?

Макино, пока О-Рэн благодарила Тамию, взяв банку, стал ее рассматривать.

— Взгляни на этикетку. Морской котик. Консервы из морского котика... Я слышал, что у тебя меланхолия, поэтому-то и преподнес эти консервы. Они очень помогают до родов, после родов, от женских болезней... Это я слышал от одного моего приятеля. Он-то и начал их выпускать.

Облизывая губы, Тамия переводил взгляд с О-Рэн на Макино.

— Постой, разве морского котика едят?

Слова Макино вызвали у О-Рэн вымученную улыбку, чуть тронувшую уголки рта. Но Тамия, размахивая руками, стал с жаром говорить:

— Едят. Разумеется, едят... Правда, О-Рэн? Морские котики интересные звери — стоит появиться самцу, и около него сразу же скапливается до сотни самок. Среди людей такое тоже встречается — возьмем, к примеру, Макино-сана. Он и лицом похож на котика. В этом все дело. Так что давайте выпьем за Макино-сана... бедного Макино-сана.

— Ну что ты болтаешь!

Макино невольно улыбнулся, правда не очень весело.

— Стоит появиться самцу... Послушай, Макино-сан, действительно котики на тебя здорово похожи.

Тамия — на его слегка изрытом оспой лице появилась широкая улыбка — продолжал как ни в чем не бывало:

— Как раз сегодня я услышал от своего приятеля... от того, который выпускает эти консервы, что когда самцы этих самых морских котиков дерутся за самок... Ну хватит об этом, чем говорить о морских котиках, я лучше попрошу О-Рэн, чтобы она сегодня предстала перед нами в своем прежнем виде. Согласна? О-Рэн-сан. Сейчас мы называем ее О-Рэн-сан, но ведь это имя было придумано, чтобы укрыться от жизни. А теперь пусть она примет свое настоящее имя. Ведь О-Рэн-сан...

— Постой, постой, так как же это они дерутся за самок? Ты сначала об этом расскажи.

Макино, забеспокоившись, постарался уйти от опас-

ной темы. Но результат против его ожидания получился обратный.

— Как дерутся за самок? Дерутся жестоко. Но зато честно и открыто. По крайней мере, не получишь удара из-за угла, на который ты способен. Прости меня за откровенность. Я все болтаю, все болтаю, а пора бы замолчать... О-Рэн-сан, прощу тебя, выпей чашечку.

Под злобным взглядом побледневшего Макино Тамия, чтобы выйти из затруднительного положения, протянул чашечку с сакэ О-Рэн. Но возмущенная О-Рэн, присталь-но глядя на Тамию, не взяла ее.

15

В ту ночь О-Рэн встала с постели в четвертом часу. Выйдя из спальни на втором этаже и спустившись по лестнице, она ощупью добралась до туалетного столика. И вынула из ящика футляра с бритвой.

— Макино. Сволочь Макино.

Шепча это, О-Рэн вынула бритву из футляра. Едва ощутило запахло бритвой, остро наточенной бритвой.

Сердце ее вдруг всколыхнула бешеная злоба. Злоба, вспыхнувшая в О-Рэн еще в то время, когда бессердечная мачеха опустила до такой низости, что заставила О-Рэн себя продавать. Злоба, скрытая жизнью последних л е т , — так скрывают морщины под белилами.

— Макино. Черт. Лучше не видеть больше белого света...

О-Рэн обернула бритву рукавом своего яркого нижнего кимоно и встала у туалетного столика.

Вдруг она услышала тихий голос:

— Не делай этого. Не делай.

Она невольно затаила дыханье. Видимо, приняв за голос тиканье часов, отсчитывавших в темноте секунды.

— Не делай этого. Не делай. Не делай.

Когда она взбегала по лестнице, голос догнал её. Остановившись, она стала всматриваться во тьму столовой.

— Кто здесь?

— Я. Я. Я.

Голос, несомненно, принадлежал кому-то из ее добрых друзей.

— Исси-сан?

— Да, это я.

— Мы давно не виделись. Где же ты?

О-Рэн, точно все это происходило днем, села у жаровни.

— Не делай этого. Не делай.

Голос, не отвечая на ее вопрос, без конца повторял одно и то же.

— Даже ты удерживаешь меня? Но разве не лучше умереть?

— Не делай этого. Он жив. Жив.

— Кто?

Последовало долгое молчание. Нарушаемое лишь неумолимым тиканьем часов.

— Кто жив?

Безмолвие продолжалось еще некоторое время, но вот наконец голос произнес дорогое ей имя:

— Кин... Кин-сан... Кин-сан.

— Правда? Если бы только это оказалось правдой...

Подперев щеку рукой, О-Рэн глубоко задумалась.

— Но если Кин-сан жив и не приходит, значит, он не хочет встречаться со мной?

— Придет. Обязательно придет.

— Придет? Когда?

— Завтра. Придет к Мирокудзи, чтобы встретиться с тобой. К Мирокудзи. Завтра вечером.

— К мосту Мирокудзи, да?

— К мосту Мирокудзи. Придет вечером. Обязательно придет.

Больше голос ничего не сказал. О-Рэн в одном нижнем кимоно, не чувствуя предутреннего холода, долго еще сидела неподвижно.

16

На следующий день О-Рэн вышла из своей спальни на втором этаже лишь к вечеру. Она встала с постели в четыре часа и тщательнее, чем обычно, занялась косметикой. Потом, точно собираясь в театр, стала надевать свои лучшие кимоно — и верхнее и нижнее.

— Слушай, что это ты так наряжаешься?

Это обратился к ней Макино, который в тот день не пошел на службу и бездельничал в доме содержанки, читая иллюстрированный журнал «Жанровые картинки».

— Мне надо кое-куда сходить... — холодно бросила О-Рэн, стоя перед туалетным столиком и завязывая ленту в белый горошек, поддерживающую бант оби.

— Куда?

— Мне нужно к мосту Мирокудзи.

— К мосту Мирокудзи?

Макино овладело скорее беспокойство, чем подозрение. Это наполнило сердце О-Рэн бешеной радостью.

— Какие у тебя могут быть дела у моста Мирокудзи?

— Какие дела?..

Презрительно глядя в лицо Макино, она неторопливо застегивала пряжку шнура, которым повязывают оби.

— Не волнуйтесь. Топиться я не собираюсь...

— Не болтай глупостей.

Макино швырнул на циновку журнал и досадливо щелкнул языком.

Было около семи часов вечера...

Мой приятель врач К., рассказав обо всем, что случилось до этого, продолжал не спеша:

— Макино пытался удержать О-Рэн, но она, не слушая его, ушла. Служанка тоже беспокоилась и хотела пойти вместе с ней, но О-Рэн капризничала, словно ребенок: если не отпустите — умру. Ну что тут было делать. Одну ее, разумеется, нельзя было отпускать, и Макино решил тайком пойти вслед за ней.

Как раз в тот вечер неподалеку от моста Мирокудзи был храмовой праздник в честь бодисатвы Якуси. Улицу, ведущую к мосту, несмотря на холодное время, запрудили толпы людей. Это, конечно, было на руку Макино; он мог незаметно идти за О-Рэн и следить за ней.

По обеим сторонам улицы бойко шла праздничная торговля. В свете масляных жестяных ламп искрились причудливые спирали вывесок торговцев сладостями, красные зонты торговцев бобами. Но О-Рэн, казалось, ничего не видела. Опустив голову, она упорно пробиралась сквозь толпу. Макино с трудом поспевал за ней, и она ушла далеко вперед.

Подойдя к мосту Мирокудзи, О-Рэн наконец остановилась и стала оглядываться по сторонам. Там, где дорога поворачивала к реке, стояли почти сплошь лавки садовников, торговавших карликовыми деревьями. Поскольку деревца растили к храмовому празднику, особо интересных экземпляров не было, если не считать крохотных сосен и кипарисов, раскинувших свои густые ветви на этой малолюдной улице.

«Хорошо, она пришла сюда, но ради чего?» — терпеливо спрашивал себя Макино, который наблюдал за

любовницей, укрывшись за телеграфным столбом у моста. А О-Рэн все стояла там, задумчиво рассматривая выставленные в ряд карликовые деревья. Тогда Макино тихо подошел к ней сзади. И вдруг услышал, как О-Рэн шепотом радостно повторяет: «И правда, превратился в лес. Наконец-то Токио превратился в лес...»

17

— Если бы все на том и кончилось, было бы хорошо...

К. продолжал:

— Тут вдруг, продираясь сквозь толпу, подбежала белая, как снег, собачонка, и О-Рэн, протянув к ней руки, подняла ее и прижала к груди. Потом, точно во сне, начала шептать что-то непонятное: «Ты тоже ко мне пришла? Ты прибежала, наверно, издалека. На твоём пути были горы, были безбрежные моря. С тех пор как мы расстались, не было дня, чтобы я не плакала. Собачка, которую я взяла вместо тебя, недавно умерла». Собачонка была, видимо, совсем домашняя — она не лаяла и не кусалась. Лишь тихонько скулила и лизала руки и лицо О-Рэн.

Не в силах смотреть на это, Макино позвал О-Рэн. Но она сказала, что ни за что не вернется домой до тех пор, пока сюда не придет Кин-сан. Поскольку был праздник, вокруг них сразу же собралась толпа. Некоторые громко говорили: «Такая красавица — и безумная». Для О-Рэн, очень любившей собак, эта новая собака была огромным утешением. После долгих препирательств О-Рэн наконец согласилась идти домой. Но отделаться от зевак было не так-то просто. Да и сама О-Рэн все время порывалась вернуться к мосту.

Поэтому, когда Макино, успокаивая и уговаривая О-Рэн, привел ее наконец домой, на улицу Мацуи, он весь взмок...

Дома О-Рэн, прижимая к груди белую собачку, поднялась на второй этаж, в спальню. В темной комнате она спустила с рук это жалкое существо. Виляя коротким хвостиком, собака стала носиться по комнате. Она все делала, как первая собачонка О-Рэн, так же вскочила на кровать, с кровати на тумбочку.

— Ой...

Вспомнив, что в комнате темно, О-Рэн стала удивлен-

но озираться. Прямо над ее головой с потолка свисала китайская лампа под стеклянным абажуром — неизвестно, когда ее зажгли.

— Как красиво. Кажется, я вернулась в прошлое.

Некоторое время она любовалась приятным светом, исходящим от лампы. Но взглянув на себя в зеркало, покачала головой.

— Я теперь не прежняя Хэйлянь. Я — японка О-Рэн, и Кин-сану нечего ко мне приходить. Но если бы только Кин-сан пришел...

Вдруг О-Рэн подняла голову и снова вскрикнула. Там, где раньше была собачонка, теперь лежал китаец — опершись локтем о подушку, он курил опиум! Крутой лоб, длинная коса, наконец, родинка у левого глаза — все несомненно указывало на то, что это Кин-сан. Увидев О-Рэн, китаец, не выпуская трубки изо рта, чуть улыбнулся, как прежде, своими ясными глазами.

— Смотри. Токио, как и предсказывали, куда ни помотри — один лес.

Действительно, за балюстрадой галереи второго этажа на густых ветвях деревьев беззаботно щебетали стаи птиц, напоминающих рисунок для вышивки, — глядя на этот пейзаж, О-Рэн с восторгом просидела всю ночь рядом со своим любимым Кином...

— Через день или два после этого О-Рэн, или, как ее по-настоящему звали, Мэн Хэйлянь, стала одной из пациенток психиатрической лечебницы. Во время японо-китайской войны она развлекала гостей в одном увеселительном заведении в городе Вэйхавэе... Что? Какая это женщина? Подожди. У меня есть фотография.

На старой фотографии, которую показал К., была снята печальная женщина в китайском платье с белой собачкой на руках.

— Когда она поступила в больницу, никто не смог заставить ее снять китайское платье. А если рядом с ней нет собаки, она поднимает крик: «Кин-сан, Кин-сан!» Макино тоже жаль. Взять в любовницы Хэйлянь — представляешь, что это значит: офицер императорской армии после войны привозит на родину женщину из вражеской страны — какие невероятные трудности пришлось ему, бедняге, преодолеть... Что случилось с Кином? Глупо об этом спрашивать. Я даже не знаю, почему подохла та собаки — может, от болезни, а может, еще от чего.

Январь 1921 г.

В зеркале, стоящем в углу, отражается убранство номера на втором этаже обычной шанхайской гостиницы — стены, на европейский манер, выкрашены, а пол, на японский манер, устлан циновками. Стена небесно-голубого цвета, новехонькие циновки и, наконец, спина женщины, причесанной по-европейски, — все это с беспощадной отчетливостью отражается в холодном зеркале. Женщина, видимо, давно уже занята шитьем.

Она сидит спиной к зеркалу в скромном шелковом кимоно, из-под рассыпавшихся по плечам волос чуть виден бледный профиль. Видно прозрачное нежное ухо. Между длинными прядями волос.

В этой комнате с зеркалом ничто не нарушает мертвой тишины — только плач ребенка за стеной. Да еще шум непрекращающегося дождя, от которого царящая здесь тишина кажется гнетущей.

— Послушай, — вдруг робко окликает кого-то женщина, продолжая работать.

«Кто-то» — это мужчина, который в дальнем углу лежит ничком на циновке, укрывшись ватным кимоно, и читает английскую газету. Будто не слыша оклика, он, не отрывая глаз от газеты, стряхивает пепел в стоящую рядом пепельницу.

— Послушай, — снова окликает его женщина.

Ее глаза прикованы к игле.

— Что тебе?

Мужчина досадливо поднимает голову — у него энергичное лицо, круглое, полноватое, с коротко подстриженными усами.

— Этот номер... сменить бы его, а?

— Сменить? Но ведь лишь вчера вечером мы в него переехали.

На лице мужчины недоумение.

— Ну и что, что лишь вчера переехали? Наш старый номер, наверно, еще не занят.

На какой-то миг в его памяти всплыла полутемная комната третьего этажа, нагонявшая целых две недели, пока они в ней жили, тоску... Облупленные стены, на окне длинные, до самого полу, выцветшие ситцевые за-

навески. На подоконнике — пыльная герань с редкими цветами — неизвестно, когда в последний раз ее поливали. За окном — грязный переулочек и китайские рикши в соломенных шляпах, которые слоняются без дела.

— Ведь ты сама без конца твердила, что тебе невыносима эта комната.

— Да. Стоило мне зайти в эту комнату, как и она сразу стала невыносимой.

Женщина подняла от шитья грустное лицо. Выразительное лицо со сросшимися бровями и удлинненным разрезом глаз. Под глазами темные круги — свидетельство того, что на нее обрушилось горе. Она выглядела болезненно еще и потому, что за ухом у нее билась жилка.

— Ведь это можно, наверно... Или никак нельзя?

— Но эта комната больше, чем та, и гораздо лучше — так что она не может тебе не нравиться. Возможно, она еще из-за чего-нибудь тебе неприятна?

— Да нет, не из-за чего...

Женщина заколебалась на миг, но ничего больше не сказала. И опять с настойчивостью спросила:

— Нельзя, никак нельзя?

На этот раз мужчина промолчал, лишь выпустил над газетой дым.

В комнате снова воцарилась тишина. Только снаружи по-прежнему доносился неумолкаемый шум дождя.

— Весенний дождь... — будто вслух размышляя, сказал через некоторое время мужчина, перевернувшись на спину. — Поселимся мы в Уху, может, я начну там трехстишья сочинять, а?

Женщина, не отвечая, продолжала шить.

— Уху не такое уж плохое место. Во-первых, фирма предоставляет там большой дом и сад, тоже огромный, — хочешь разводить цветы — пожалуйста. Не зря его раньше называли Юньцзяхуаюань — сад цветов Юнцзя...

Мужчина умолк. В комнате, где до этого тишину нарушал лишь его голос, неожиданно раздалась чуть слышные рыдания.

— Что случилось?

Снопа воцарилась тишина. И тут же плач — тихий, прерывистый.

— Что случилось, Тосико?

Мужчина с растерянным видом приподнялся на локте.

— Мы же с тобой договорились. Договорились, что не будешь хныкать. Постарайся не плакать. Постарайся-

с я . . . — Мужчина широко раскрыл глаза. Может быть, еще что-нибудь произошло, что тебя печалит? Ты хочешь вернуться в Японию, не хочешь ехать в китайскую глушь?

— Нет, нет. Ничего подобного. — Продолжая плакать, Тосико решительно замотала головой. — С тобой я готова ехать куда угодно. И все же...

Тосико опустила глаза и прикусила нижнюю губу, чтобы не плакать. Казалось, под мертвенно-бледными щеками пылает невидимое взору пламя. Вздрагивающие плечи, влажные ресницы — глядя на жену, мужчина невольно ощутил, насколько она очаровательна.

— И все же... мне эта комната невыносима.

— Ты и в прежней это твердила. Почему же теперешняя комната тебе невыносима? Ты хоть объясни — и...

Сказав это, мужчина почувствовал, что Тосико пристально на него смотрит. В ее глазах, в глубине ее наполненных слезами глаз мелькнула печаль, смешанная с враждебностью. Почему эта комната стала ей невыносима? Она и сама безмолвно обращалась к мужу с этим вопросом. Встретившись взглядом с женой, муж заколебался: продолжать или не продолжать?

Но молчание длилось лишь несколько секунд. По выражению его лица видно было, что он начинает понимать в чем дело.

— Это? — спросил мужчина сухо, чтобы скрыть волнение. — Мне это тоже действует на нервы.

У Тосико снова полились слезы, капая ей на колени.

За окном заходящее солнце постепенно затягивало розовой дымкой пелену дождя. А за небесно-голубой стеной, спора с шумом дождя, все плакал и плакал ребенок.

2

В окно комнаты на втором этаже падают яркие лучи утреннего солнца. Напротив, освещенный отраженным светом, стоит трехэтажный дом из красного, чуть замшелого кирпича. Если смотреть из полутемного коридора, окно на фоне этого дома кажется огромной картиной. А прочные дубовые переплеты окна можно принять за раму. В центре картины виден профиль женщины, которая вяжет детские носки.

Женщина с виду моложе Тосико. Омываемые дождем лучи утреннего солнца щедро заливают ее полные плечи, об-

тянутые дорогим шелковым кимоно, ее розовое, опущенное вниз личико, нежный пушок над пухлой губкой.

Время между десятью и одиннадцатью утра в гостинице — самое тихое. В это время постояльцы — и те, кто приехал по торговым делам, и туристы — обычно покидают гостиницу. Живущие в гостинице служащие тоже возвращаются только к вечеру. И в бесконечно длинных гостиничных коридорах лишь изредка раздаются шаги горничных в мягких комнатных туфлях.

Как раз в этот час в конце коридора, куда выходила открытая дверь комнаты, послышались шаги и тенью промелькнула горничная лет сорока, неся поднос с чайной посудой. Если бы ее не позвали, она, возможно, прошла бы, не заметив сидевшей у окна женщины. Но женщина, увидев горничную, приветливо ее окликнула:

— О-Киё-сан!

Поклонившись, горничная подошла к окну.

— О, вы настоящая труженица... Как мальчуган?

— Как мой молодой господин? Молодой господин сейчас спит.

Перестав вязать, женщина по-детски улыбнулась.

— Кстати, О-Киё-сан.

— Что-нибудь случилось? У вас такой озабоченный вид.

Горничная в накрахмаленном фартуке, сверкавшем в лучах солнца, улыбнулась своими темными глазами.

— Наш сосед Номура-сан... кажется, Номура-сан, а его жена?

— Номура Тосико.

— Тосико-сан? Значит, ее зовут так же, как меня. Они уже съехали?

— Нет, проживут еще дней пять-шесть. А потом уедут в Уху или еще куда...

— Странно, я недавно проходила мимо их комнаты — там никто не живет.

— Совершенно верно, вчера они неожиданно переехали на третий этаж.

— А-а.

Женщина задумчиво опустила свое круглое личико.

— Это, кажется, у них... Сразу же после приезда, в тот же день умер ребенок, да?

— Да. К великому сожалению. Как только он заболел, они отвезли его и больницу, но...

— Значит, он умер в больнице? Вот почему я ничего не знала.

На лбу, прикрытом прядью волос, пролегли горестные морщинки. Но тут же лицо ее снова озарилось радостной улыбкой и взгляд стал беспечным.

— Что ж, мир праху его. А ты зашла бы к ним как-нибудь.

— Ну, вот еще!

Горничная рассмеялась.

— Если будете так говорить, я расскажу господину, когда он позвонит из дома, увитого плющом.

— Ну и хорошо. Иди быстрее. А то чай остынет.

Когда горничная исчезла, женщина, тихо напевая, снова принялась за вязанье.

Время между десятью и одиннадцатью утра в гостинице — самое тихое. Именно в этот час горничные выбрасывают из ваз, стоящих в каждом номере, увядшие цветы. А бой начищает медные перила лестницы. Воцарившуюся в гостинице тишину нарушает лишь шум уличного движения, врывающийся через открытые окна вместе с солнечными лучами.

С колен женщины соскользнул клубок шерсти. Оставляя за собой красную полоску, он, упруго подсакивая, выкатился и коридор, но кто-то, как раз проходивший там, поднял его.

— Большое спасибо.

Женщина встала со стула и застенчиво поклонилась. Подняв глаза, она увидела худощавую женщину из соседнего номера, о которой только что говорила с горничной.

— Пожалуйста.

Клубок перешел из тонких пальцев в белоснежные пальцы, держащие спицы.

— Какая здесь жара!

Войдя в комнату, Тосико прищурилась от слепящего света.

— Да, даже когда я вяжу, и то приходится прикрывать глаза.

Глядя друг на друга, женщины безмятежно улыбались.

— Какие миленькие носочки!

Голос Тосико звучал спокойно. Но, услышав эти слова, женщина невольно отвела глаза.

— Целых два года не вязала и вот снова взялась за спицы. Некуда девать свободное время.

— А я, даже когда у меня есть свободное время, все равно ленюсь, ничего не делаю.

Женщина бросила вязанье на стул и понимающе улыбнулась. Слова Тосико, на первый взгляд такие невинные, причинили ей боль.

— Ваш мальчик... я не ошиблась, мальчик? Сколько ему?

Проводя рукой по волосам, Тосико пристально смотрела на женщину. Плач ребенка, доносившийся из соседней комнаты, еще вчера невыносимый для Тосико, не вызывал в ней сейчас ничего, кроме любопытства. При этом она отчетливо сознавала, что, удовлетворив любопытство, снова начнет страдать. Может быть, она была загипнотизирована своим страданием, как зверек, замирающий перед коброй? Или это больная психика вынудила ее упиваться своим страданием, как упивается подчас болью раненый, когда бередят его рану.

— Только в мае родился.

Ответив, женщина умолкла. Но тут же подняла глаза и продолжала с участием:

— Я слышала, у вас большое горе?

Глаза Тосико повлажнели, она попыталась улыбнуться.

— Да, он заболел пневмонией — все это было, как во сне.

— Действительно, ужасное несчастье. Даже не знаю, как вас утешить. — В глазах женщины блеснули слезы. — Если бы у меня случилось такое, просто не представляю, что бы со мной было.

— Сначала я убивалась, а потом немного успокоилась, что поделаешь?

Обе матери грустно смотрели на солнечные лучи.

— Ветры здесь страшные.

Женщина задумчиво продолжала прерванный разговор.

— А как хорошо на родине. Такой неустойчивой погоды, как здесь, никогда не бывает.

— Я приехала совсем недавно и еще ничего не знаю, но, говорят, дожди здесь проливные.

— В этом году их особенно много... Ой, кажется, плачет.

Женщина прислушалась и отчужденно улыбнулась.

— Простите, я вас оставлю на минутку.

Не успела она это сказать, как, громко шаркая комнатными туфлями, появилась с плачущим ребенком на

руках горничная, которая недавно была здесь. Тосико пристально посмотрела на ребенка, высунувшего сморщенное в плаче личико из красивого шерстяного капора, — ребенка с упитанным, здоровым личиком.

— Я пошла мыть окно, а он тут же проснулся.

— Очень вам благодарна.

Женщина неловко прижала к груди ребенка.

Склонившись над ним, Тосико почувствовала острый запах молока.

— Ой, ой, какой толстенький.

С раскрасневшегося лица женщины не сходила счастливая улыбка. Это, разумеется, не означало, что она не сочувствует Тосико. Просто она не в силах была удерживать рвущуюся наружу материнскую гордость.

3

Смоковницы и ивы в Юньцзяхуаюане, шелестя на легком послеполуденном ветерке, рассыпают в саду по траве и по земле блики света. Нет, не только по траве и земле. Рассыпают их и по натянутому между смоковницами голубому гамаку, так не гармонирующему с этим садом. И по телу полного мужчины в летних брюках и безрукавке, лежащему в гамаке.

Мужчина держит в руке зажженную сигарету и смотрит на китайскую клетку, висящую на ветке смоковницы. В ней сидит не то рисовка, не то какая-то другая птичка. В бликах света она прыгает с жердочки на жердочку, изредка удивленно поглядывая на мужчину. Мужчина то улыбается и берет сигарету в зубы, то, будто обращаясь к человеку, говорит пичужке: «ну?» или «что тебе?».

Вместе с шелестом листвы до него доносится пряный запах травы. Один-единственный раз высоко в небо унесет гудок парохода, и теперь не слышно ни звука. Пароход, видимо, уже уплыл. Уплыл, быть может, на восток по красновато-мутной Янцзы, оставляя блестящий след за кормой. На молу сидит человек, почти голый, и грызет арбузную корку, наверно, нищий. Там же, наверно, дерутся между собой поросята, стараясь протиснуться к соскам растянувшейся на земле свиньи. Все эти мысли одолели уставшего наблюдать за птичкой мужчину, и он задремал.

— Послушай.

Мужчина открыл глаза. Возле гамака стояла Тосико,

выглядевшая куда лучше, чем в то время, когда они жили в шанхайской гостинице. Стояла Тосико без малейших следов косметики на лице, на ее волосах и на легком узорчатом кимоно тоже играли блики. Глядя на жену, мужчина, не церемонясь, сладко зевнул и сел в гамаке.

— Посмотри почту.

Смеясь одними глазами, Тосико протянула мужчине несколько писем. Затем вынула из-за пазухи маленький розовый конверт и показала мужчине.

— И мне пришло письмо.

Сидя в гамаке, мужчина прикусил зубами теперь уже короткую сигарету и стал небрежно просматривать письма. Тосико продолжала стоять, опустив глаза на листок бумаги, такой же розовый, как и конверт. Смоковницы и ивы в Юньцзяхуаюане, шелестя на легком послеполуденном ветерке, рассыпали блики света на этих двух пребывающих в мире людей. Лишь изредка доносился щебет рисовки. Мужчине на плечо села стрекочущая букашка, но тут же улетела...

После недолгого молчания Тосико, не поднимая глаз, неожиданно вскрикнула:

— Послушай, мне пишут, что соседский малыш тоже умер.

— Соседский? — Мужчина насторожился. — Что значит соседский?

— Говорю же, соседский. Помнишь, в шанхайской гостинице?

— А-а, тот самый ребенок? Какая жалость.

— Таким здоровеньким выглядел...

— Чем же он заболел?

— Также простудился, пишут. Сначала думали, обычная простуда.

Тосико в возбуждении продолжала быстро читать письмо.

— «Когда мы поместили его в больницу, оказалось, что уже поздно...» Совсем как у нас, правда?.. «И уколы делали, и кислород давали, чего только не предпринимали...» Читать дальше?.. «А он только плакал и плакал. Плач его становился все тише, и ночью, в одиннадцать часов пять минут, он перестал дышать. Можете представить себе мое отчаяние...»

— Какая жалость.

Мужчина снова стал укладываться в качающийся гамак. Он словно видел перед собой умершего ребенка,

слышал его последний, чуть слышный вздох. Когда-нибудь этот вздох снова превратится в плач. Плач здорового ребенка, заглушающий шум дождя. Захваченный этим видением, мужчина слушал жену, которая читала письмо.

— «...мое отчаяние... Я вспомнила о нашей встрече, о том, что когда-то и вы пережили такое же... Не могу, не могу. Как ужасна жизнь».

Тосико оторвала от письма грустные глаза и нервно сдвинула густые брови. Но после секундного молчания, увидев рисунок в клетке, радостно захлопала в ладоши.

— О-о, мне пришла в голову прекрасная мысль! Давай выпустим ее на волю.

— Выпустить на волю? Птичку, которую ты так любишь?

— Да, да, не важно, что люблю. Это мы сделаем в память о том мальчике. В память о нем я сейчас же выпущу. Как обрадуется птичка... Только мне, наверно, не достать клетку. Сними, пожалуйста.

Подойдя к смоковнице, Тосико встала на цыпочки и, как могла, вытянула руку. Но не дотянулась до клетки. Рисовка неистово захлопала крыльями. Из кормушки посыпалось просо. Но мужчина лишь с интересом смотрел на Тосико. На ее напрягшуюся шею и грудь, на стоявшие на носках ноги, с трудом сдерживающие тяжесть тела.

— Не достать. Нет, не достать.

Тосико, продолжая стоять на носках, повернулась к мужу.

— Сними, пожалуйста. Слышишь?

— Я, наверно, тоже не достану. Надо на что-нибудь встать. Потом выпустим, не обязательно сию же минуту.

— Нет, я хочу сейчас. Сними, пожалуйста. Все равно не дам тебе лежать. Этого ты добиваешься? Возьму и отвяжу гамак.

Тосико серdito посмотрела на мужчину. Но не могла сдержать улыбки, мелькнувшей в глазах и на губах. Счастливой улыбки возбужденного человека. В этой улыбке мужчине почудилась чуть ли не жестокость. За подернутыми солнечной дымкой растениями словно бы притаилась злая сила, неустанно наблюдавшая за людьми.

— Не делай глупостей, — стал выговаривать жене мужчина, отбросив сигарету. — Как тебе не стыдно! У женщины умер ребенок, а ты смеешься, суетишься...

Услышав это, Тосико побледнела... Как обиженный ребенок, она опустила глаза с длинными ресницами и, не сказав больше ни слова, разорвала розовое письмо. Мужчина поморщился. Но чтобы смягчить свой упрек, оживленно заговорил.

— Хорошо, что все это уже позади. Вспомни, что с тобой творилось тогда, в Шанхае. Положили ребенка в больницу только для собственного успокоения, не положить — было страшно...

Муж вдруг умолк. Тосико потупилась, на щеках ее блестели слезы. Муж молчал, задумчиво теребя короткие усы.

— Послушай.

Когда в гнетущей тишине раздался голос Тосико, она все еще стояла перед мужем, опустив бледное лицо.

— Что?

— Я... я поступила дурно? Ребенок умер, а я... — Тосико посмотрела на мужа горящими глазами. — Ребенок умер, а я радуюсь. Нет, мне его очень жаль, но... я все равно радуюсь. Это, наверно, плохо, что я радуюсь? Плохо?

В голосе Тосико слышалась несвойственная ей жестокость. Муж, теперь весь залитый солнцем, лежал неподвижно, не в силах ответить. Будто перед ним возникла преграда, преодолеть которую человек не в силах.

Сентябрь 1921 г.

В ЧАЩЕ

**Что сказал на допросе
судейского чиновника дровосек**

Да. Это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел подальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в четырех-пяти тё от проезжей дороги на Ямасину. Это безлюдное место, где растет бамбук попеременно с молоденькими криптомериями.

На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице; он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на тело была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья

вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла. Рана, видно, уже запеклась. Да вот еще что: на ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод.

Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще... да, да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела, — только эти две вещи. А трава и опавшая листва кругом были сильно истоптаны — видно, убитый не дешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога — она подалее, за рощей.

**Что сказал на допросе
судейского чиновника странствующий монах**

С убитым я встретился вчера. Вчера... кажется, в полдень. Где? На дороге от Сэкиямы в Ямасину. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сэкияму. На женщине была широкополая шляпа с покрытием, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост? Что-то около четырех сун, выше обычного... Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины... да, у него был и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук двадцать стрел.

Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине, человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох, ох, словами не сказать, как все это прискорбно.

**Что сказал на допросе
судейского чиновника стражник**

Человек, которого я поймал? Это — знаменитый разбойник Тадзёмару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стаяя, на каменном мосту, что у Авадагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у

него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадзёмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребиными перьями — все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, а за ней волочились длинные поводья.

Этот самый Тадзёмару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников? Так вот, говорили, что это дело его рук. Вот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади, — если он убил мужчину, то куда девалась она, что с ней случилось? Неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать.

**Что сказала на допросе
судейского чиновника старуха**

Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самурай из Кокуфу и Вакасы. Зовут его Канадзава Такэхиро, лет ему двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы — у него был очень мягкий характер.

Моя дочь? Ее зовут Масаго, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюбленного до Такэхиро. Она смуглая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое.

Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Вакасу. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье! Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего снятого — общите все леса и луга, только найдите мою дочь! Какой злодей этот разбойник Тадзёмару или как его там! Но только зятя, но и мою дочь... *(Плачет, не в силах сказать ни слова.)*

Признание Тадэмару

Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого и я тоже не знаю. Пойдите! Сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не смогу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать.

Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг — мелькнуло и сразу же снова скрылось — и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину.

Вам кажется это страшно? Пустяки, убить мужчину — обыкновенная вещь! Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убиваете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек — и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей — ваша или моя, — кто знает?! *(Ироническая усмешка.)*

Но это не значит, что я недоволен, если удастся завладеть женщиной, не убивая мужчины. А на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих в глубь рощи.

Это оказалось нетрудно. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у горы, чтобы никто не видел, и что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот — что бы вы думали! Страшная вещь алчность! Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе.

Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность, и он, конечно, не стал возражать. Но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как

по маслу, и я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну.

На окраине заросли рос только бамбук. Но когда мы прошли около полтё, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попался все реже, уже вокруг стояли криптомерии — и тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом — ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтоб он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего.

Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало. Но ведь недаром я Тадзёмару — мне в конце концов удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделывать. И вот я наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину.

Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж... кто-нибудь из вас двоих должен умереть... Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти... Один из вас должен умереть... а я пойду к тому, кто останется в живых». И вот тогда мне захотелось убить мужчину. (*Мрачное возбуждение.*)

Теперь, когда я вам это сказал, наверно, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой — только эта мысль и была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обагрить мой меч своею кровью. Но в то мгновение, когда я в сумраке чащи взгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду отсюда, пока его не убью.

Однако хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал: будем биться на мечах. Веревка, что нашли у корней дерева, это и была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе — прошу вас, не забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. *(Веселая улыбка.)*

Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но — представьте себе, ее нигде не было! Я стал искать среди деревьев. Но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипенье в горле у мужчины.

Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рожи, чтобы позвать на помощь? Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после, — значит напрасно тратить слова. Только вот что: перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подвергните меня самой жестокой казни — я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на верхушке столба. *(Вызывающий вид.)*

Что рассказала женщина на исповеди в храме Киёмидзу

Овладев мною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и насмешливо захохотал. Как тяжело, наверно, было мужу! Но как он ни извивался, опутывавшая его веревка только глубже врезалась в тело. Я невольно вся подалась к нему — нет, я только хотела податься. Но тот мужчина мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неописуемый блеск. Неописуемый... даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова, муж в это мгновение излил всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев, не страдание — в них сверкало холодное презрение ко мне, вот что они выражали! Не от пинка того мужчины, а от ужаса перед этим взглядом я, не помня себя, вскрикнула и лишилась чувств.

Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в лицо. Но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала... и стыд, и печаль, и гнев... Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу.

«Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но... но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых». Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник — не только меча, но даже и лука и стрел нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу: «Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами».

Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но когда я посмотрела на его губы, то сразу же поняла, что он сказал. Все с тем же презрением ко мне муж прогово-

рил одно слово: «Убивай». Почти в беспамятстве я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суйканом.

Кажется, тут я опять потеряла сознание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежнему связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерии, сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на трупе. И потом... что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кинжал к горлу, я пыталась утопиться в озере у подножья горы, я пробовала... Но вот не умерла, осталась живой, и этим мне не приходится гордиться. (*Грустная улыбка.*) Может быть, милосердная, сострадательная богиня Каннон отвернулась от такого никчемного существа, как я. Но что же мне делать, мне, убившей своего мужа, обещенной разбойником, что мне делать? Что мне... мне... (*Внезапные отчаянные рыдания.*)

Что сказал устами прорицательницы дух убитого

Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерева. Но я все время делал жене знаки глазами: «Не верь ему! Все, что он говорит, — ложь». Вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я извивался от ревности. А разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему понравилась... Вот до чего он дерзко договорился.

Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще я не видел ее такой красивой! Но что же ответила моя красавица жена разбойнику, когда я был, связанный, рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена: «Ну, так ведите меня, куда хотите». (*Долгое молчание.*)

Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверно, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло: жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!..» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» — эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь... *(Внезапный взрыв язвительного хохота.)* Услышав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни «да», ни «нет» и вдруг пинком швырнул ее на опавшие листья. *(Снова взрыв язвительного хохота.)* Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. «Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой». Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. *(Снова долгое молчание.)*

Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать в глубь чащи. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду.

Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал на мне веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи: «Теперь надо подумать и о себе».

Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду — рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. *(Третий раз долгое молчание.)*

Наконец, я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блеснул кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерий и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца... Но и они понемногу меркли. Уже не видно

стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина.

И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом застлал сумрак. И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия.

Январь 1922 г.

ГЕНЕРАЛ

1. Отряд «Белые нашивки»

Дело было на рассвете двадцать шестого декабря тридцать седьмого года Мэйдзи. Отряд «Белые нашивки» N-ского полка N-ской дивизии выступил с северного склона высоты 93 для штурма дополнительного форта на горе Суншущань.

Так как дорога тянулась под прикрытием горы, отряд в этот день шел в особом порядке, колонной по четыре. Безусловно, когда ряды солдат с винтовками стали двигаться вперед по полутемной голой дороге и только белели в сумраке нашивки да раздавался тихий стук шагов, — это была трагическая картина. И действительно, заняв свое место во главе колонны, командир, капитан М., с этой минуты сделался необычно молчаливым, и лицо его приняло задумчивое выражение. Но солдаты, сверх ожидания, не потеряли своей обычной бодрости. Этому способствовали, во-первых, сила японского духа — «яматодамасий» и, во-вторых, сила водки.

Через некоторое время отряд вышел в каменистую речную долину, где с гор дул сильный ветер.

— Эй, погляди-ка назад! — обратился рядовой первого разряда Тагути, бывший торговец бумагой, к рядовому первого разряда Хорио той же роты, бывшему плотнику. — Смотри, все отдают нам честь!

Рядовой Хорио оглянулся. В самом деле, на гребне высившегося за ними черного холма, на фоне заалевшего неба, офицеры во главе с командиром полка на прощанье козыряли бойцам, идущим на смерть.

— Ну что? Здорово? Попасть в отряд «Белые нашивки» — большая честь!

— Какая там честь! — с горечью сказал рядовой Хорио, поправляя на плече винтовку. — Все мы идем на смерть. Вот они и говорят, что за знак чести купим и уьем. Дешево это стоит!

— Так нельзя. Так говорить — нехорошо перед императором.

— Ну тебя к черту! Хорошо, нехорошо — чего там! За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут.

Рядовой Тагути промолчал; он привык к повадкам приятеля, которому стоило подвыпить, чтобы сразу же начать свои циничные шуточки. Но рядовой Хорио упрямо продолжал:

— Нет, за козырянье ничего не купишь. Вот они и напевают на все лады, дескать ради государства, ради императора. Только все это враки. Что, брат, разве не верно?

Тот, к кому обратился рядовой Хорио, был тихий ефрейтор Эги из той же роты, бывший учитель начальной школы. Однако на этот раз тихий ефрейтор почему-то сразу вспылил и, казалось, готов был полезть в драку. Он злобно бросил прямо в лицо подвыпившему Хорио:

— Дурак! Идти на смерть — наш долг!

В это время отряд «Белые нашивки» уже подымался по противоположному склону речной долины. Там безмолвно встречали зарю шесть-семь фанз, обмазанных за-сохшей грязью, а над их крышами громоздилась холодная темно-бурая гора Сунщунань с будто выписанными на ней зеленоватыми складками. Пройдя деревню, колонна рассыпалась. Солдаты в полном снаряжении стали карабкаться по тропинкам и ползком медленно приближались к позициям противника.

Разумеется, вместе с другими ползком продвигался вперед и ефрейтор Эги. «За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут» — эти слова рядового Хорио не шли у него из головы. Однако по натуре неразговорчивый, он держал свои мысли при себе. Но с тем большой силой эти слова раздражали его и в то же время вызывали боль, точно бередили старую рану. Продвигаясь ползком, как зверь, по подмерзшей тропинке, он думал о войне, думал о смерти. Однако в этих мыслях не было ни луча света. Даже если смерть ради императора... все равно

она проклятое чудовище. Война... он почти не считал войну преступлением. Преступление, поскольку источник его, в отличие от войны, в страстях отдельных личностей, в известной мере можно понять. Но война — служба императору, и больше ничего. А он — да не только он, две с лишним тысячи человек из разных дивизий, сведенные в отряд «Белые нашивки», волей-неволей должны умереть на этой великой службе.

— Пришли! Пришли! Ты из какого полка?

Ефрейтор Эги огляделся по сторонам. Отряд добрался до сборного пункта у подножья Суншушань. Здесь уже толпились солдаты из разных дивизий в мундирах цвета хаки, украшенных старомодными нашивками.

Его окликнул один из них — тот, что сидел на камне под бледным солнцем и выдавливал угорь на щеке.

— N-ского полка.

— Тепленькое местечко!

Ефрейтор Эги не ответил на шутку, лицо его было мрачно.

Несколько часов спустя над позициями пехоты со страшным ревом пронеслись снаряды — и свои и вражеские. На склоне горы Суншушань, высившейся прямо перед глазами, наша морская артиллерия из Лядзятунь тоже взрывала тучи желтой пыли. Каждый раз, когда вздымалась такая туча пыли, в воздухе сверкала лиловая вспышка, и при дневном свете это было особенно страшно. Однако, выжидая удобный момент, двухтысячный отряд «Белые нашивки» не терял обычной бодрости. В самом деле, чтобы не быть раздавленными страхом, им только и оставалось держаться как можно веселей.

— Чертовски палят!

Рядовой Хорио взглянул на небо. В эту секунду протяжный вой вновь разорвал воздух прямо над его головой. Хорио невольно втянул голову в плечи и обратился к рядовому Тагути, который прикрыл нос платком, чтобы защититься от тучи пыли и песка.

— Это крупнокалиберный.

Рядовой Тагути изобразил улыбку. И тихонько, чтобы не заметил Хорио, спрятал платок в карман. Это был вышитый по краям платочек, подаренный ему приятельницей-гейшей, когда он уезжал на фронт.

— У него другой звук, у крупнокалиберного, — сказал Тагути и вдруг растерянно выпрямился. В то же время и другие солдаты один за другим, как будто по неслыш-

ной команде, стали вытягиваться в струнку: в сопровождении нескольких штаб-офицеров к ним величественно подходил командующий армией генерал Н.

— Тише! Тише!

Окидывая взглядом позиции, генерал заговорил хорошо поставленным голосом:

— Здесь тесно, можете не выстраиваться. Из какого вы полка, отряд «Белые нашивки»?

Рядовой Тагути почувствовал, что взгляд генерала устремлен прямо на его лицо. Этого было достаточно, чтобы он смутился, словно девушка.

— N-ский пехотный полк.

— Вот как? Ну, действуй смело! — Генерал пожал ему руку. Потом перевел взгляд на рядового Хорио и опять, протягивая правую руку, повторил то же самое: — И ты действуй смело!

Когда генерал обратился к нему, рядовой Хорио вытянулся и замер, как будто все мускулы у него окаменели. Широкие плечи, большие руки, обветренное лицо с выступающими скулами — все эти его черты, по крайней мере в глазах старого генерала, складывались в облик образцового воина империи. Остановившись перед ним, генерал с жаром продолжал:

— Вон там форт, и из этого форта сейчас стреляют. Сегодня ночью вы его возьмете. А резервы за вами вслед приберут к рукам все остальные форты в окрестности. Значит, вы должны быть готовы броситься на этот форт... — В голосе генерала зазвучал несколько театральный пафос. — Поняли? Конечно, по пути ни в коем случае не останавливаться, не стрелять. Налететь стремглав, как будто ваши тела — снаряды. Прошу вас, действуйте решительно!

Генерал пожал руку рядовому Хорио, как будто в этом пожатии хотел передать всю значимость слова «решительно». И пошел дальше.

— Веселого мало...

Проводив взглядом генерала, рядовой Хорио хитро подмигнул рядовому Тагути:

— Такой дед руку пожал!

Рядовой Тагути криво усмехнулся. При виде этой улыбки у рядового Хорио почему-то появилось ощущение какой-то неловкости. И в то же время эта кривая улыбка показалась ему отвратительной. Тут в разговор вмешался ефрейтор Эги:

— Ну как, за рукопожатие купить удалось?
На этот раз криво усмехнулся рядовой Хорио.
— Нехорошо, нехорошо. Нечего передразнивать.
— Как подумаешь, что тебя купили, зло берет! Я и сам готов отдать свою жизнь.

В ответ на слова ефрейтора Эги заговорил Тагути:

— Да, все мы готовы отдать жизнь за родину.

— За что, не знаю, знаю только, что готов отдать. Подумай, если на тебя направит револьвер разбойник, все готов отдать.

Брови ефрейтора Эги угрюмо сдвинулись.

— Именно так я и думаю. Если разбойники отберут у тебя деньги, вряд ли они скажут, что и жизни лишат. А для нас одна дорога — смерть... Но если все равно умирать, так не лучше ли умереть достойно?

Пока Тагути говорил, в глазах еще не совсем протрезвевшего рядового Хорио появилось выражение презрения к своему добродушному товарищу. «Отдать жизнь — только и всего?» — размышлял он, задумчиво глядя в небо. И решил в отплату за рукопожатие генерала этой ночью стать, как и все, живым снарядом...

Вечером, после восьми часов, ефрейтор Эги, в которого попала ручная граната, уже лежал дочерна обугленный на склоне горы Суншушань. Пробравшись через колючую проволоку, к нему, что-то отрывисто выкрикивая, подбежал солдат из отряда «Белые нашивки». Увидев труп товарища, солдат поставил ему на грудь ногу и вдруг громко захохотал. Этот хохот в свирепом треске ружейного огня прозвучал жутко.

— Банзай! Да здравствует Япония! Черти сдаются! Противник разбит! Да здравствует N-ский полк! Банзай! Банзай!

Он кричал и кричал, потрясая винтовкой, и не обратил внимания даже на взрыв ручной гранаты, расколовший мрак перед его глазами. При свете взрыва обнаружилось, что это рядовой Хорио, который в разгар атаки, раненный в голову, видимо, сошел с ума.

2. Спектакль в лагере

Четвертого мая тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе армии, расположенном в Ацзинюбао, после утреннего богослужения в память павших воинов решено было

устроить спектакль. Под зал заняли обычный в китайских до ровнях деревенский театр под открытым небом, перед наскоро сколоченной сценой повесили занавес, тем дело и ограничилось. А на циновках задолго до назначенного часа уселись солдаты. Эти солдаты в грязноватых мундирах цвета хаки, со штыками, болтающимися у пояса, были жалкими зрителями, настолько жалкими, что даже называть их зрителями казалось насмешкой. Но оттого радостные улыбки, сиявшие на их лицах, казались еще трогательнее.

Офицеры штаба армии во главе с генералом, этапная инспекция и прикомандированные к армии иностранные офицеры сидели в ряд на стульях позади, на возвышении. Хотя бы из-за одних штабных погонов и адъютантских аксельбантов этот ряд выглядел куда более блестящим, чем солдатские ряды. Больше, чем сам командующий армией, способствовал бы этому блеску любой иностранный офицер, будь он хоть последним дураком.

Генерал и в этот день был в превосходном настроении. Беседуя с одним из адъютантов, он время от времени заглядывал в программу, и в глазах его все время, как солнечный свет, теплилась приветливая улыбка.

Наконец наступил назначенный час. За искусно раскрашенным занавесом, на котором были изображены цветущие вишни и восходящее солнце, несколько раз глухо ударили в колотушки. И сейчас же рука поручика-распорядителя отдернула занавес.

Сцена изображала комнату в японском доме. Сложенные в углу мешки с рисом давали понять, что это рисовая лавка. В комнату вошел хозяин лавки в переднике, хлопнул и ладоши, крикнул: «Эй, О-Набэ! Эй, О-Набэ!» — и на зов явилась служанка, ростом выше, чем он сам, в прическе «итёгаэси». Потом — потом сразу же началось действие пьесы, содержание которой не стоит и рассказывать.

Каждый раз, когда кто-нибудь из актеров отпускал грубую шутку, в рядах зрителей, сидевших на циновках, подымался хохот. Даже офицеры, сидевшие позади, и те почти все улыбались. Исполнители, видимо подзадориваемые хохотом, громоздили одну комическую выходку на другую. В конце концов хозяин в фундоси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка.

Хохот усилился. Один капитан из этапной инспекции чуть не зааплодировал при виде этой сцены. И вот в эту самую минуту вдруг громкий гневный голос разнесся над заливавшимися хохотом людьми, как свист бича.

— Безобразия! Дать занавес! Занавес!

Голос принадлежал генералу. Положив руки в перчатках на толстую рукоятку сабли, он грозно смотрел на сцену.

Поручик-распорядитель, согласно приказу, поспешно задернул занавес перед носом ошеломленных актеров. Зрители на циночках замерли; не считая легкого шороха, все стихло.

Иностранным чинам и сидевшему рядом с ними подполковнику Ходзуми было жаль, что веселье прекратилось. Представление, конечно, не вызвало у подполковника даже улыбки. Однако он был человек с широкими взглядами и мог сочувствовать зрителям. И кроме того, пробыв несколько лет в Европе, он слишком хорошо знал иностранцев, чтобы задумываться над тем, можно ли показывать иностранным чинам голых борцов.

— Что случилось? — удивленно обратился к подполковнику Ходзуми французский офицер.

— Генерал приказал прекратить.

— Почему?

— Вульгарно... Генерал не любит вульгарности.

Тем временем на сцене снова раздался стук колотушек. Затихшие солдаты оживились, кое-где послышались аплодисменты. Подполковник Ходзуми облегченно вздохнул и огляделся кругом. Офицеры, сидевшие рядом с ним, видимо, чувствовали себя неловко, некоторые то смотрели на сцену, то отворачивались, и только один, по-прежнему положив руки на шашку, не отрывал пристального взгляда от сцены, где уже поднимали занавес.

Следующая пьеса, в противоположность предыдущей, была старинная сентиментальная драма. На сцене, кроме ширм, стоял только зажженный фонарь. Молодая женщина с широкими скулами и горожанин с кривой шеей шли сакэ. Женщина время от времени пронзительным голосом обращалась к горожанину, называя его «молодой барин». Затем... подполковник Ходзуми, не глядя на сцену, погружился в воспоминания. В театре «Рюсэйдза», облокотясь на барьер балкона, стоит мальчик лет двенадцати. На сцене свесившиеся ветви цветущей вишни. Декорация освещенного города. Посреди них, с плетеной шляпой в

руке, красуется знаменитый Бандзаэмон в роли японского пирата. Мальчик, затаив дыхание, впивается взглядом в сцену. И у него была такая пора...

— Дрянь спектакль! Когда ж дадут занавес! Занавес! Занавес!

Голос генерала, как взрыв бомбы, прервал воспоминания подполковника. Подполковник опять взглянул на сцену. По ней уже бежал растерявшийся поручик, на бегу задергивая занавес. Подполковник успел заметить, что на ширме висят пояса мужчины и женщины.

Губы подполковника невольно искривились горькой улыбкой. «Распорядитель чересчур несообразителен! Уж если генерал запретил борьбу между женщиной и мужчиной, так неужели он станет спокойно смотреть на любовную сцену?» С этой мыслью подполковник покосился туда, откуда слышался громкий негодующий голос: генерал все еще раздраженно говорил с устройтелем.

В эту минуту подполковник вдруг услышал, как злой на язык американский офицер заметил сидевшему рядом французскому офицеру:

— Генералу Н. нелегко: он и командующий армией, он и цензор.

Третья пьеса началась минут через десять. На этот раз, даже когда застучали колотушки, солдаты уже не хлопали. «Жаль! Даже спектакль смотрят под надзором!» Подполковник Ходзуми сочувственно глядел на толпу в хаки, не смеящую даже разговаривать в полный голос.

В третьей пьесе на сцене на фоне черного занавеса стояли две-три ивы. Это были настоящие живые зеленые ивы, где-то недавно срубленные. Бородатый мужчина, видимо пристав, распекал молодого полицейского. Подполковник Ходзуми в недоумении взглянул на программу. Там значилось: «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, сцена поимки на берегу реки».

Когда пристав ушел, молодой полицейский воздел очи горе и прочел длинный жалобный монолог. В общем, смысл его слов, при всей их пространности, сводился к тому, что он долгое время преследовал «разбойника с пистолетом», но поймать не мог. Затем он как будто увидел его и, чтобы остаться незамеченным, решил спрятаться в реке, для чего заполз головой вперед за черный занавес. На самый снисходительный взгляд было больше похоже, что он залезает под москитную сетку, чем ныряет в воду.

Некоторое время сцена оставалась пустой, только раздавался стук барабана, видимо изображавший шум волн. Вдруг сбоку на сцену вышел слепой. Тыкая перед собой палкой, он хотел было идти дальше, как неожиданно из-за черного занавеса выскочил полицейский. «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, дело есть!» — крикнул он и подскочил к слепому. Тот мгновенно приготовился к драке. И широко раскрыл глаза.

«Глаза-то у него, к сожалению, слишком маленькие!» — по-детски улыбаясь, заметил про себя подполковник.

На сцене началась схватка. У разбойника с пистолетом, в соответствии с прозвищем, действительно, имелся наготове пистолет. Два выстрела... три выстрела... Пистолет стрелял раз за разом подряд. Но полицейский в конце концов храбро связал мнимого слепого.

Солдаты, как и следовало ожидать, зашевелились. Однако из их рядов по-прежнему не послышалось ни слова.

Подполковник покосился на генерала. Генерал на этот раз внимательно смотрел на сцену. Но выражение его лица было куда мягче, чем раньше.

Тут на сцену выбежали начальник полиции и его подчиненные. Но полицейский, раненный пулей в борьбе с мнимым слепым, упал замертво. Начальник полиции сейчас же принялся приводить его в чувство, а тем временем подчиненные приготовились увести связанного разбойника с пистолетом. Потом между начальником полиции и полицейским началась трогательная сцена в духе старых трагедий. Начальник, словно какой-нибудь знаменитый правитель старых времен, спросил, не хочет ли раненый сказать что-нибудь перед смертью. Полицейский сказал, что на родине у него есть мать. Начальник полиции сказал, что о матери ему тревожиться нечего. Не осталось ли у него перед кончиной еще чего-нибудь на сердце? Полицейский ответил, что нет, сказать ему нечего, он поймал разбойника с пистолетом и ничего больше не желает.

В этот миг в затихшем зрительном зале в третий раз прозвучал голос генерала. Но теперь это было не ругательство, а глубоко взволнованное восклицание:

— Молодчина! Настоящий японский молодец?

Подполковник Ходзуми еще раз украдкой взглянул на генерала. На его загорелых щеках блестели следы слез.

«Генерал — хороший человек!» — с легким презрением и в то же время доброжелательно подумал подполковник.

В это время занавес медленно закрылся под гром аплодисментов. Воспользовавшись этим, подполковник Ходзуми встал и вышел из зала.

Полчаса спустя подполковник, покуривая папиросу, гулял с одним из своих сослуживцев, майором Накамурой, по пустырю на окраине деревни.

— Спектакль имел большой успех. Его превосходительство Н. очень доволен, — сказал майор Накамура, покручивая кончики своих «кайзеровских» усов.

— Спектакль? А, «Разбойник с пистолетом»?

— Не только «Разбойник с пистолетом». Его превосходительство вызвал распорядителя и приказал экстренно сыграть еще одну пьесу. Вернее, отрывок из пьесы об Акагаки Гэндзо. Как она называется, эта сцена? «Токуруино вакарэ»?

Подполковник Ходзуми, улыбаясь глазами, смотрел на широкие поля. Над уже зазеленевшей землей расстилась легкая дымка.

— Она тоже имела большой успех, — продолжал майор Накамура. — Говорят, его превосходительство поручил распорядителю спектакля сегодня в семь часов устроить что-нибудь вроде эстрадного вечера.

— Эстрадный вечер? С рассказчиком смешных историй, что ли?

— Нет, какое там! Будут рассказывать сказания. Кажется, «Как князь Мито ходил по стране».

Подполковник Ходзуми криво усмехнулся. Но собеседник, не обратив ни это внимания, веселым тоном продолжил:

— Его превосходительство, говорят, любит князя Мито. Он сказал: «Я, как верноподданный, больше всего чту князя Мито и Като Киёмасу».

Подполковник Ходзуми, не отвечая, посмотрел наверх. В небе, между ветвями ив, плыли тонкие слюдяные облачка. Подполковник глубоко вздохнул.

— Весна, хоть и в Маньчжурии!

— А в Японии уже ходят в летнем.

Майор Накамура подумал о Токио. О жене, умеющей вкусно готовить. О детях, посещающих начальную школу. И... чуть-чуть затосковал.

— Вон цветут абрикосы!

Подполковник Ходзуми радостно показал на кучу розовых цветов далеко за насыпью. «Ecoute moi, Madeleine»¹ — неожиданно пришли ему на память стихи Гюго.

3. Отец и сын

Однажды поздно вечером в октябре седьмого года Тайсё генерал-майор Накамура, в свое время штабной офицер майор Накамура, в своей обставленной по-европейски гостиной задумчиво сидел в кресле с дымящейся сигарой в зубах.

Двадцать с лишним лет праздности превратили его в милого старичка. А в этот вечер, может быть, благодаря японскому костюму, в его облысевшем лбу, в припухлых очертаниях рта чувствовалось что-то особенно добродушное. Откинувшись на спинку кресла, он медленно обвел взглядом комнату и вдруг вздохнул.

Стены были увешаны фотографиями, по-видимому, репродукциями европейских картин. На одной из них была изображена грустная девушка, прильнувшая к окну. На другой — пейзаж: кипарисы, сквозь которые виднелось солнце. В электрическом свете фотографии придавали старомодной гостиной несколько холодный, чопорный вид, однако генерал-майору все это, кажется, не нравилось.

Некоторое время царила тишина, затем генерал-майор вдруг услышал легкий стук в дверь.

— Войдите!

В ответ на эти слова в гостиную вошел высокий юноша в студенческой форме. Остановившись перед генерал-майором, он протянул руку к стулу и грубовато спросил:

— Что-нибудь нужно, отец?

— Да. Садись!

Юноша послушно сел.

— В чем дело?

Генерал-майор вопросительно взглянул на золотые пуговицы сына.

— А сегодня?..

— Сегодня было собрание в память Каваи — отец, вероятно, не знает, это студент филологического факультета, как и я. Так вот, я только что оттуда вернулся.

¹ Послушай меня, Мадлен (фр.).

Генерал-майор кивнул и выдохнул густой дым «Гаваны». Затем он несколько торжественно приступил к сути разговора:

— Вот картины на стенах, это ты их переменял?

— Да, я не успел сказать, я переменял их сегодня утром. А разве плохо?

— Не то что плохо. Не плохо, но мне хотелось бы, чтобы ты оставил хоть фотографию его превосходительства Н.

— Рядом с этими?

Юноша невольно улыбнулся.

— А разве рядом с этими не повесить нельзя?

— Не то что нельзя, но это будет смешно.

— Ведь здесь есть портреты! — Генерал-майор указал на стену над камином. Со стены из рамы на генерал-майора спокойно взирал пятидесятилетний Рембрандт.

— Это дело другое. Это нельзя повесить рядом с генералом Н.

— Вот как! Ну, значит, ничего не поделаешь.

Генерал-майор легко уступил сыну. Однако, опять выдохнув сигарный дым, тихо продолжал:

— Что ты... или, вернее, твои сверстники, что вы думаете о его превосходительстве?

— Да ничего не думаем. Вероятно, был замечательный солдат.

В старческих глазах отца юноша заметил легкое опьянение от вечерней рюмки саке.

— Конечно, замечательный солдат, а кроме того, он был поистине отечески добросердечный человек.

И генерал-майор начал сентиментально рассказывать случай из жизни генерала. Это было после японо-русской войны, когда он навестил генерала в его вилле на равнине Насу. Когда он приехал туда, сторож сказал ему, что генерал с женой только что пошли гулять в горы. Генерал-майор знал дорогу и сейчас же отправился вслед за ними. Пройдя два-три тё, он увидел генерала в простом кимоно; генерал стоял с женой. Генерал-майор немного постоял, поговорил со стариками. Генерал все никак не трогался с места. Когда генерал-майор спросил: «У вас тут какое-нибудь дело?» — генерал рассмеялся. «Видите ли, жена сказала, что ей хочется в уборную, так вот школьники, гулившие с нами, побежали искать ей место, а мы их тут ждем...» В то время у дороги, помню, еще валялись каштаны... — Генерал-майор сощурил глаза и

весело улыбнулся. Тут из пожелтевшего леса выбежали веселые школьники. Не обращая внимания на генерал-майора, они окружили генерала с женой и наперебой стали рассказывать о местах, которые они для нее нашли. Началось невинное соперничество — каждый хотел, чтобы она пошла с ним. «Ну, бросим жребий!» — сказал генерал и опять обратился к генерал-майору свое смеющееся лицо...

Юноша тоже не мог не засмеяться...

— Рассказ невинный. Но не для слуха европейцев!

— Вот какой тон был заведен! И поэтому стоило в разговоре с двенадцатилетним школьником сказать: «Его превосходительство Н.», как оказывалось, что мальчик относится к нему с любовью, как к родному дяде. Нет, его превосходительство вовсе не был просто солдат, как вы думаете.

Окончив приятный разговор, генерал-майор опять взглянул на Рембрандта над камином.

— Это тоже замечательный человек?

— Да, великий художник.

— А его превосходительство Н.?

Лицо юноши выразило замешательство.

— Мне трудно выразить... Этот человек мне ближе по духу, чем генерал Н.

— А его превосходительство для вас далек?

— Как бы это сказать? Например, такая вещь. Вот Каваи, в память которого было сегодняшнее собрание. Он тоже покончил с собой. Но перед самоубийством... — юноша серьезно посмотрел на отца, — ему было не до того, чтобы сниматься.

На этот раз замешательство мелькнуло в добродушных глазах генерал-майора.

— А не лучше ли было бы сняться? На память о себе?

— На память кому?

— Не кому-нибудь, а... Да разве хотя бы нам не хочется иметь возможность видеть лицо его превосходительства Н. в его последние минуты?

— Мне кажется, что об этом, по крайней мере, сам генерал Н. не должен был бы думать. С какими чувствами генерал совершил самоубийство, это я, кажется, до известной степени могу понять. Но что он снялся — этого я не понимаю. Вряд ли для того, чтобы после его смерти фотографии украшали витрины...

Генерал-майор гневно перебил юношу:

— Это возмутительно! Его превосходительство не обыватель. Он до глубины души искренний человек.

Но и лицо и голос юноши были по-прежнему спокойны.

— Разумеется, он не обыватель. Я могу представить и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не вполне понятна. И я не могу поверить, чтобы она была понятна людям, которые будут жить после нас.

Между отцом и сыном на некоторое время водворилось тягостное молчание.

— Времена другие! — проговорил наконец генерал.

— Да-а... — только и сказал юноша. Глаза его приняли такое выражение, словно он прислушивается к тому, что делается за окном.

— Дождь идет, отец.

— Дождь?

Генерал-майор вытянул ноги и с радостью переменял тему.

— Как бы айва опять не осыпалась!

Январь 1922 г.

ВАГОНЕТКА

Работы по проведению узкоколейки Одавара — Атами начались, когда Рёхэю было восемь лет. Рёхэй ежедневно ходил на окраину деревни глядеть на работы. Вернее, не на работы, а на то, как перевозят землю в вагонетках, вот на что он засматривался.

На вагонетку, груженную землю, сзади становились двое землекопов. Поскольку вагонетка шла под уклон, она катилась сама, без помощи людской силы. Кузов раскачивался, как от ветра, полы курток землекопов развевались; тянулась, изгибаясь, узкая колея... Рёхэй глядел на все это, и ему хотелось стать землекопом. Или, по крайней мере, хоть раз прокатиться с рабочими на вагонетке. Скатившись на равнину за окраиной деревни, вагонетка оставалась. В тот же миг землекопы ловко спрыгивали и вываливали землю из вагонеток на конечный пункт ко---. Потом, на этот раз уже подталкивая вагонетку, пу-скались в обратный путь вверх по склону. И тогда Рёхэй думал, что раз уж нельзя прокатиться на вагонетке, то хорошо бы ее хоть потолкать!

И вот однажды под вечер — была первая декада февраля — Рёхэй с братишкой, который был на два года моложе его, и соседским мальчиком, одноплетком брата, пошел на окраину деревни к вагонеткам. Смеркалось, вагонетки, не очищенные от грязи, стояли в ряд. Куда ни глянь, никого из землекопов не было видно. Тогда дети с опаской подтолкнули крайнюю вагонетку. Под действием толчка колеса вагонетки пришли в движение... От их стука Рёхэй похолодел. Но когда стук повторился, он не испугался. Тук-тук, тук-тук... Под эти звуки подталкиваемая тремя парами рук вагонетка двинулась вверх по колее.

Между тем через десяток кэн колея круче пошла в гору. Сколько они ни толкали, вагонетка не поддавалась и не трогалась с места. Иногда же вместе с вагонеткой они сами откатывались назад. Рёхэй решил, что толкать больше не надо, и сделал знак младшим мальчикам.

— Ну, поехали!

Они все вместе отняли руки и мигом взобрались на вагонетку. Вагонетка сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покатила по колее. В эту минуту окружающий вид вдруг словно распахнулся и во всю ширь развернулся перед их глазами. Ветер, в сумерках бьющий в лицо, под ногами подрагиванье вагонетки — Рёхэй был просто на седьмом небе.

Но через две-три минуты вагонетка остановилась в тупике на прежнем месте.

— Ну, подтолкнем еще разок!

Мальчики опять принялись было толкать вагонетку. Но прежде чем завертели колеса, за спиной у них слышались чьи-то шаги. Мало того, едва мальчики услышали их, как вслед за шумом шагов раздался крик:

— Ах, мерзавцы. Кто вам позволил трогать вагонетку?

За ними стоял высокий землекоп в поношенной рабочей куртке и не по сезону легкой соломенной шляпе.

Мальчики оглянулись на него, только успев отбежать на пять-шесть кэн. И с той поры, даже когда Рёхэй, возвращаясь откуда-нибудь домой, видел, что на строительной площадке нет ни души, он все равно не решался прокатиться на вагонетке. Фигура того землекопа надолго ему запомнилась. Желтевшая в сумерках маленькая соломенная шляпа... Но даже это воспоминание с годами стало бледнеть.

Дней через десять после этого случая Рёхэй опять, на этот раз один, после полудня, стоял на строительной площадке и глядел на спускающиеся вагонетки. И вот рядом с вагонетками, груженными землей, по широкой колее, которая, вероятно, была главной, стала подниматься вагонетка, груженная шпалами. Эту вагонетку толкали двое молодых парней. Увидев их, Рёхэй решил, что у них добродушные лица.

«Эти-то меня не выругают», — подумал он и подбежал к вагонетке.

— Дяденьки! Давайте я помогу потолкать.

Один из них — тот, что был в полосатой рубашке, — не подымая склоненной головы и не отрывая рук от вагонетки, ответил, как мальчик и ожидал, ласково:

— Ну что ж, помоги.

Рёхэй встал между парнями и принялся толкать изо всей силы.

— А ты, видать, здорово силен! — похвалил Рёхэя другой парень, у которого за ухом была заткнута папироса.

Между том уклон колеи становился все более отлогим. В глубине души Рёхэй стал опасаться, как бы ему не сказали: «Можешь больше не толкать». Но молодые рабочие продолжали молча, только немного выпрямившись, толкать вагонетку. Не в силах больше терпеть, Рёхэй робко спросил:

— Мне можно толкать, сколько захочу?

— М о ж н о , — ответили оба одновременно.

Рёхэй подумал: «Добрые люди».

Через пять-шесть тё колея опять пошла круто вверх. Там по обе стороны в мандариновых садах золотились под солнцем бесчисленные плоды.

«Дорога вверх лучше, ведь дают толкать сколько хочешь», — думал Рёхэй, изо всех сил толкая вагонетку.

Когда подъем среди мандариновых садов закончился, колея вдруг пошла под уклон. Парень в полосатой рубашке сказала Рёхэю:

— Ну, садись!

Рёхэй мигом взобрался на вагонетку. Как только все трое на нее сели, вагонетка плавно заскользила по рельсам среди аромата мандариновых садов. «Катиться куда лучше, чем толкать!» — продолжал размышлять Рёхэй; его хаори раздувалось от ветра. «Если туда долго толкаешь, то и обратно долго катишься».

Докатившись до бамбуковой рощи, вагонетка потихоньку замедлила ход и остановилась. Все трое вновь принялись толкать тяжелую вагонетку. Бамбуковая роща сменилась смешанным лесом. На подъеме попадались такие места, где под грудями опавших листьев почти не видно было ржавых рельсов. Когда поднялись вверх по дороге, то за высоким обрывом открылось широко простертое холодное море. И тут Рёхэй почувствовал, что ушел слишком далеко от дома.

Они опять сели в вагонетку. Вагонетка катилась под деревьями в лесу вдоль расстилавшегося справа моря. Но у Рёхэя было уже не так хорошо на душе, как раньше.

— Может, вернемся, — стал было он просить. Но что ни вагонетка, ни, рабочие не могут вернуться, пока не доберутся до места, это он и сам прекрасно понимал.

Потом вагонетка остановилась перед чайной с соломенной крышей, стоявшей у выемки горы. Рабочие вошли в чайную и стали неторопливо пить чай вместе с хозяйкой, у которой за спиной был грудной ребенок. Рёхэй, оставшись один, обеспокоенно бродил вокруг вагонетки. К толстым доскам кузова присохли брызги грязи.

Немного спустя из чайной вышел парень с папиросой за ухом (впрочем, теперь у него уже не было за ухом папиросы) и дал стоявшему возле вагонетки Рёхэю газетный кулек с деревенским печеньем. Рёхэй холодно сказал «спасибо». Но сейчас же сообразил, что, поблагодарив так холодно, поступил невежливо. Чтобы загладить свою вину, он положил одно печенье в рот. Печенье пахло кесоном, которым, по-видимому, была запачкана газета.

Подталкивая вагонетку, они втроем стали подниматься по пологому склону. Хотя руки Рёхэя по-прежнему упирались в вагонетку, думал он теперь совсем о другом.

Когда они спустились по другую сторону склона, там оказалась еще одна чайная. Рабочие зашли туда, а Рёхэй, сидя на вагонетке, думал только о возвращении домой. Перед чайным домиком на цветущей сливе угасали лучи заходящего солнца. Вот уже смеркается, — при этой мысли Рёхэй не в силах был спокойно усидеть на месте. Он то пытался ногой повернуть колесо, то, зная, что один не в состоянии сдвинуть вагонетку, все же пытался это сделать, — только бы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей.

А рабочие, выйдя из чайной и начав сгружать шпалы с вагонетки, как ни в чем не бывало сказали ему:

— Ты теперь ступай домой. Мы сегодня заночуем здесь.

— Если вернешься слишком поздно, у тебя дома, верно, будут беспокоиться.

Рёхэй на миг опешил. Ведь скоро стемнеет. В конце прошлого года они с матерью ходили до Ивамуры, но сегодня он прошел в три-четыре раза дальше... И сейчас ему придется возвращаться пешком, совсем одному... Все это мигом пронеслось у него в голове. Он чуть не заплакал. Но подумал, что слезами горю не поможешь. Не такой случай, чтобы плакать. С трудом заставив себя поклониться двум молодым рабочим, он пустился бежать вдоль колеи.

Рёхэй бежал и бежал вдоль колеи, не помня себя. Во время бега он заметил, что сверток с печеньем, засунутый за пазуху, мешает ему, и выбросил его на обочину, а заодно снял и швырнул вслед за печеньем свои деревянные дзори. Теперь через тонкие носки в подошвы впивались камешки, но зато ногам стало гораздо легче. Чувствуя слева от себя дыхание моря, он бегом поднялся по крутому склону. Время от времени к горлу подступали слезы, и тогда лицо у него непроизвольно кривилось. Он с трудом сдерживался и только непрерывно шмыгал носом.

Когда он бежал мимо бамбуковой рощи, на закатном небе над горой Хиганэ уже угасала вечерняя заря. Волнение Рёхэя росло. Все кругом казалось ему другим, может быть оттого, что путь туда и путь обратно — вещи разные, и это внушало ему тревогу. Теперь ему мешало и то, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Продолжая бежать из последних сил, он стянул с себя и бросил на обочину хаори.

К тому времени, как он добрался до мандариновых садов, уже совсем стемнело. «Только бы остаться живым...» — думал Рёхэй и, скользя и спотыкаясь, мчался дальше.

Наконец в полной темноте показалась строительная площадка на окраине деревни, и Рёхэй готов был тут же на месте расплакаться. Но и на этот раз он сдержался.

Когда он прибежал в деревню, из домов по обе стороны улицы падал электрический свет. В этом свете Рёхэй сам отчетливо видел, как над его головой поднимаются испарения пота. Женщины, бравшие воду из колодца, мужчины, возвращавшиеся с полей, увидев запыхавшегося

Рёхэя, окликали его: «Эй, что случилось?» Но он, не отвечая, пронесся мимо освещенных домов, мимо мелочной давки, мимо парикмахерской.

Влетев в ворота своего дома, Рёхэй уже не мог больше удержаться и громко, во весь голос, заплакал. Услышав его плач, вмиг подбежали к нему отец и мать. Мать что-то говорила, порывалась его обнять. Но Рёхэй, ломая руки и топоча ногами, всхлипывал навзрыд. Должно быть оттого, что он слишком громко плакал, три-четыре соседки подошли и стали в темноте у ворот. Все, в том числе отец и мать, наперебой спрашивали, отчего он плачет. Но что Рёхэю ни говорили, он только плакал. Плакал, вспоминая свою беспомощность и страх, пережитый им, пока он бежал весь этот далекий путь, и чувствовал, что никак не наплачется.

В возрасте двадцати шести лет Рёхэй с женой и ребенком уехал в Токио. Теперь он сидит на втором этаже в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что, хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с роццами, с подъемами и спусками, полутемная дорога.

Февраль 1922 г.

САД

Начало

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции.

Лет десять после революции сад кое-как сохранял свой прежний вид. И пруд в форме тыквы-горлянки оставался прозрачным, и ветви сосен свешивались с искусственных горок. Целы были и беседки — «Хижина залетной цапли», «Павильон омовения сердца»; с уступов гор, ограждавших пруд с задней его стороны, по-прежнему белея, сверкая, низвергались водопады. И в зарослях желтого шиповника, разраставшихся год от года, все еще стоял каменный фонарь, которому, как говорили, название было пожаловано по случаю высочайшего проезда принцессы Кадзу. И все-таки не скрыть было каких-то примет запу-

стения. Особенно ранней весной, в те дни, когда и в саду, и вокруг него на деревьях набухали почки, еще более явственно ощущалось, как из-за этого созданного человеческими руками живописного вида надвигается неведомая, тревожная, дикая сила.

Ушедший на покой глава семьи Накамура, грубый с виду старин инкё, тихо проводил свои дни с женой, страдавшей паршой, у очага в главном доме, обращенном к саду, играя в го или цветочные карты. Время от времени случалось, что старуха жена раз пять-шесть подряд обгрывала его, и тогда он вскипал и сердился. Старший сын, к которому перешло главенство в семье, с молодой женой — своей двоюродной сестрой — жил в тесном флигеле, сообщавшемся с главным домом посредством галереи. Сын, принявший для писания хайку псевдоним Бунсицу, был вспыльчивый, несдержанный человек. Не только больная жена и младшие братья, это уж само собой, — его побаивался даже старик инкё. Иногда приходил к нему в гости нищенствующий поэт Сэйгэцу, живший тогда на этой станции. Старший сын почему-то с ним одним обращался приветливо, угощал сакэ, усаживал писать стихи. Сохранились от того времени такие строфы: «На горах еще // Аромат цветов и трав // И кукушки зов» (Сэйгэцу). «Гам и сям средь груды скал // Водопадов светлый блеск» (Бунсицу). Было еще два сына: средний ушел зятем в семью родственника-рисоторговца, младший служил у крупного водочного заводчика в городе, расположенном в пяти-шести ри от станции, где они жили. Оба, точно сговорившись, редко показывались в родном доме. Младший сын и жил далеко, и, помимо того, издавна был не в ладах с главой семьи; средний сын вел разгульную жизнь и даже в семье жены почти не появлялся.

А сад через два-три года запустел еще больше. На поверхности пруда стали покачиваться водоросли. Среди зеленых насаждений появились сухие деревья. Тем временем в жаркое, засушливое лето старик отец умер от удара. Дней за пять до этого, когда он пил свою настойку в «Павильоне омовения сердца», по ту сторону пруда то и дело появлялся какой-то кугэ, весь в белом, — так, по крайней мере, ему померещилось среди дня. На следующий год поздней весной средний сын, захватив деньги своих приемных родителей, бежал с прислужницей из чайного дома. А осенью его жена родила недоношенного мальчика.

После смерти отца старший сын поселился с матерью в главном доме. Освободившийся флигель снял директор местной школы. Директор был приверженцем утилитаризма, теории Фукудзавы Юкити, и поэтому постоянно уговаривал старшего сына насадить в саду фруктовые деревья. С тех пор весной в саду среди привычных ив и сосен пестрели цветы финиковых слив, персиков, абрикосов. Прогуливаясь по новому фруктовому саду, директор школы иногда обращался к старшему сыну: «Смотрите, здесь можно отлично любоваться цветами... Одним выстрелом двух зайцев...» Но искусственные холмы, пруд, беседки из-за этого приняли еще более жалкий вид. К естественному разрушению присоединилось еще и разрушение, произведенное, как говорится, руками человеческими.

Осенью на горах за прудом вспыхнул давно уже не случавшийся пожар. С тех пор низвергавшиеся в пруд водопады совершенно пересохли, и сразу вслед за этой бедой заболел с первым снегом сам глава семьи. Как сказал врач, у него открылась по-старому — чахотка, по-нынешнему — туберкулез. Больной то лежал, то вставал и становился все более раздражительным. Дошло до того, что, жестоко поспорив с младшим братом, который пришел поздравить его с Новым годом, он швырнул в него грелкой для рук. С тех пор младший брат больше домой не приходил и даже, когда старший брат умер, не показался. Старший брат прожил еще около года и, окруженный неуспешной заботой жены, скончался под навешенной над постелью сеткой от комаров. «Лягушки кричат... Что с Сэйгэцу?» — были последние его слова. Но Сэйгэцу уже давным-давно, словно ему наскучили виды этой местности, не приходил даже за подаванием.

После того как отметили годовщину смерти старшего сына, младший женился на дочери своего хозяина. И воспользовавшись тем, что директора начальной школы, снимавшего флигель, перевели в другое место, он с молодой женой перебрался туда. Во флигеле появились черные лаковые комоды, комната украсилась свертками розовой и белой ваты... Но в это время в главном доме заболела жена покойного старшего сына. Болезнь ее была та же, что и у мужа. Лишившийся отца, единственный ребенок Рэнъити, с тех пор как мать стала харкать кровью, всегда спал у бабушки. Бабушка перед сном непременно повязывала голову полотенцем. Тем не менее на запах парши поздней ночью к ней подбирались крысы. Случа-

лось, что она забывала о полотенце, и тогда, конечно, крысы кусали ей голову. К концу года жена покойного старшего брата скончалась тихо, как гаснет лампада. А на другой день после похорон от сильного снегопада рухнула стоявшая у горы «Хижина залетной цапли».

И когда опять наступила весна, весь сад превратился в зеленеющие почками заросли, где только и виднелась у мутного пруда тростниковая кровля «Павильона омовения сердца».

Продолжение

Однажды, в сумерки пасмурного дня, на десятый год после своего бегства, средний сын вернулся в отчий дом. Отчий дом, хотя он и назывался так, на самом деле был все равно что дом младшего сына. Младший брат встретил блудного брата как ни в чем не бывало — без особого неудовольствия, но и без особой радости.

С тех пор средний брат в «комнате будд» в главном доме, вытянув на полу свое зараженное дурной болезнью тело, молчаливо и неподвижно следил за огнем очага. В этой комнате в божнице стояли таблички с именами покойных отца и старшего брата. Он задвигал дверцы перед божницей, чтобы не видеть этих табличек. И уж, разумеется, ни с матерью, ни с младшим братом и его женой он, если не считать того, что они три раза в день встречались за общим столом, почти совсем не видался. Лишь сирота Рэнъити иногда заходил к нему в комнату поиграть. Он рисовал мальчику на грифельной доске горы, корабли. И иногда неверной рукой набрасывал смутные обрывки старинной песенки: «Расцвели на Мукодзимо вишни. Выйди, нэйсан, из чайного дома...»

И опять наступила весна. В саду среди разросшихся кустов и деревьев скудно цвели персики и абрикосы. В тускло поблескивающем пруду отражался «Павильон омовения сердца». Но средний брат по-прежнему сидел один взаперти у себя в комнате и даже днем большей частью дремал. И вот однажды до его слуха донесся слабый звук сямисэна. И в то же время запел чей-то прерывистый голос: «Тогда случилось так... // В битве при Сува // Манумото родич, князь // Ёсиэ-сама // У орудий в крепости // Соизволил быть...» Он, все так же лежа, при-

поднял голову: и пение и сямисэн — это, несомненно, его мать поет в столовой. «Пышен был его наряд. В этот ясный день // Величавой поступью // Вышел на врага // Славный воин и герой. // По всему видать...» Мать все пела, вероятно, внуку шуточные песни с лубочных картинок Оцу. А это была песенка, которая считалась модной лет двадцать — тридцать назад и которой ее покойный муж, этот грубый с виду старик, выучился у какой-то ойран. «Вражья пуля просвистит, // Грудь его пробьет, // Ах, не миновать того — // Жизнь брэнная его // У моста Тоё, // Как росинка на траве, // Хоть и пропадет, // До скончания веков // Имя будет жить...» На давно не бритом лице сына удивленно блеснули глаза.

Через два-три дня младший брат обнаружил, что средний брат копает землю у заросшей подбелом искусственной горки. Он, задыхаясь, неумело взмахивал киркой. В его усилиях, на первый взгляд смешных, чувствовалось упорство. «Братец, что вы делаете?» — окликнул его младший брат, подходя сзади с папиросой в зубах. «Я? — Средний брат в замешательстве поднял глаза на младшего. — Хочу провести здесь проток». — «Провести проток — это зачем же?» — «Хочу сделать сад, чтобы он был как раньше». Младший брат усмехнулся и больше ничего не спросил.

Средний брат каждый день, с киркой в руках, усердно работал над протоком. Но для него, истощенного болезнью, это было делом нелегким. Он быстро уставал. От непривычной работы у него появились мозоли, ломались ногти, все тело ныло. Иногда он бросал кирку и как мертвый валялся наземь. А вокруг него, среди окутывавших сад испарений, дышали влагой цветы и молодые побеги. Отдохнув несколько минут, он вставал и опять, пошатываясь, упрямо брался за работу.

Но дни шли за днями, а в саду не видно было значительных перемен. В пруду по-прежнему густо зеленели водоросли, среди деревьев и кустов торчали засохшие ветки. Особенно после того, как отцвели фруктовые деревья, сад казался, пожалуй, еще более заглохшим, чем раньше. К тому же в доме ни стар ни млад не сочувствовали затее среднего брата. Младший брат, одержимый духом спекуляции, был поглощен мыслями о ценах на рис и на шелковичные коконы. Его жена питала чисто женское отвращение к болезни деверя. Мать... мать боялась, как бы это копанье в земле не повредило его здоровью.

И все-таки средний брат, вопреки людям и природе, упорно мало-помалу переделывал сад.

Однажды утром, выйдя после дождя, он увидел, что Рэнъити весело смотрел на него. «Давайте я вам буду помогать!» — «Что ж, помогай!» Средний брат улыбнулся ему в ответ светлой улыбкой, как давно уже не улыбался. С тех пор Рэнъити неотлучно и горячо помогал дяде. А тот, усевшись перевести дух в тени деревьев, чтобы развлечь племянника, рассказывал ему о разных удивительных вещах — о море, о Токио, о железной дороге. Рэнъити грыз зеленые сливы и слушал его как замороженный.

В этом году в «сезон дождей» дождей выпадало мало. Они — старый инвалид и ребенок, не поддаваясь ни палящим лучам солнца, ни испарениям от зелени, копали пруд, рубили деревья и все расширяли границы своей работы. Однако, хотя внешние препятствия они кое-как преодолевали, с внутренними им было не совладать. Средний брат мог представить себе старый сад лишь смутно, как сквозь сон. Как были посажены деревья, как были проложены дорожки — стоило ему начать припоминать, и все расплывалось. Иногда в разгаре работ он вдруг опирался на кирку и рассеянно озирался по сторонам. Рэнъити сейчас же подымал на него встревоженные глаза. «В чем дело?» — «Что тут было раньше? — растерянно бормотал про себя вспотевший дядя. — Мне кажется, что этого клена здесь не было». Рэнъити грязными ручонками давил муравьев, и только.

Внутренние препятствия этим не ограничивались. По мере того как лето подходило к концу, у среднего брата, вероятно от непрерывной непосильной работы, стало мутиться в голове. Часть пруда, которую он сам же выкопал, он засыпал землей; на то самое место, откуда вырывал сосну, он сажал другую — все это с ним теперь случалось не раз. Особенно рассердило Рэнъити, что на колья для пруда он срубил ивы, росшие у самой воды. «Ведь эти ивы вы сами только недавно посадили!» Рэнъити с досадой глядел на дядю. «Правда? Я стал совсем беспамятным!» И дядя угрюмо смотрел на залитый солнцем пруд.

И все-таки, когда настала осень, заросли подстриженных кустов и трав придали саду очертания, смутно напоминавшие прежние. Конечно, не приходилось сравнивать его с прежним: и «Хижины залетной цапли» больше было не видать, и водопады уже не низвергались с гор. Да

и вообще весь созданный знаменитым садоводом дух старинного изящества исчез почти бесследно. Но сад все-таки существовал. В прозрачной воде пруда еще раз отразились искусственные горки. И сосны еще раз величественно распростерли свои ветви перед «Павильоном омоения сердца». Но в то самое время, когда сад был восстановлен, средний сын слег. Жар держался день за днем, все суставы ломило. «Зря усердствовал!» — снова и снова причитала мать, сидевшая у его изголовья. Но он был счастлив. Конечно, в саду оставались места, которые ему еще хотелось подправить. Однако с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он потрудился не даром. И он чувствовал себя удовлетворенным. Десятилетний труд научил его покорности судьбе, покорность судьбе спасла его.

В конце осени средний брат незаметно для всех испустил последний вздох. Обнаружил это Рэнъити. Он с громким криком побежал по галерее к флигелю. Сейчас же к покойнику с испуганными лицами собралась вся семья. «Посмотри, братец как будто улыбается!» — обернулся младший брат к матери. «О, сегодня дверца божницы открыта!» — заметила его жена, не глядя на покойника.

После похорон дяди Рэнъити часто сиживал один у «Павильона омоения сердца». Всегда, словно в недоумении, глядя на осенние деревья и воды...

Конец

То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Не прошло и десяти лет с тех пор, как был восстановлен его прежний вид, — сад погиб опять, на этот раз вместе со всей семьей. На месте погибшего сада выстроили железнодорожную станцию, перед станцией открылся маленький ресторан.

Из семьи Накамура к этому времени здесь никого не осталось. Мать, конечно, уже давным-давно присоединилась к отошедшим. Младший брат, разорившись, уехал куда-то в Осака.

Поезда каждый день приходили и уходили. На станции за большим столом сидел молодой начальник. На необременительной службе в свободные от дела часы он смот-

рел на голубые горы, разговаривал с местными служащими. В этих разговорах о семье Накамура никогда не упоминалось. А что на том самом месте, где они сейчас стоят, когда-то были беседки и искусственные горки, — об этом тем более никто и не думал.

А в это время Рэнъити сидел за мольбертом в студии европейской живописи в Акасаке, в Токио. Свет, падавший через стеклянный потолок, запах масляных красок, натурщица в причёске «момоварэ» — вся обстановка студии но имела ничего общего с родным домом его детства. Но иногда, когда он водил кистью по холсту, в его душе всплывало грустное стариковское лицо. И это лицо, улыбаясь, говорило ему, усталому от непрерывной работы: «Ты еще ребенком помогал мне. Давай теперь я помогу тебе!»

Рэнъити и теперь, в бедности, по-прежнему пишет картины. О младшем брате никто ничего не слышал.

Июнь 1922 г.

ЧИСТОТА О-ТОМИ

Это было в послеполуденные часы четырнадцатого мая первого года Мэйдзи, в те послеполуденные часы, когда вышел приказ: «Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тозайдан. Всем проживающим в районе Уэно предлагается незамедлительно выселиться куда угодно». В галантерейной лавке во втором квартале улицы Ситая после ухода хозяина Когая Масабэя оставался один только большой трехцветный кот: он тихонько лежал, свернувшись клубком, в углу кухни, в раковине аваби.

В доме с наглухо закрытыми дверьми, разумеется, было совершенно темно даже днем. Не слышно было ни шагов, ни голосов. До слуха доносился только шум дождя, лившего уже несколько дней подряд. Дождь время от времени вдруг потоками проливался на невидимые крыши и опять удалялся в пространство. Всякий раз, когда дождь усиливался, кот округлял свои янтарные глаза. Тогда в кухне, где нельзя было разглядеть даже очага, на миг появлялись два зловещих фосфорических огонька. Но, почувствовав, что кругом ничего не меняется, кот, так и не пошевелившись, снова сощуривал глаза в узкие щелки.

Так повторялось много раз, и наконец кот, уже, видимо, засыпая, больше не открывал глаз. Но дождь по-прежнему то вдруг усиливался, то стихал. Время шло, и под шум дождя день понемногу клонился к вечеру.

И вот уже близко к семи часам кот, чем-то обеспокоенный, неожиданно широко раскрыл глаза. И в то же время как будто насторожил уши. Дождь уже не лил так сильно. Раздались голоса носильщиков паланкина, пробежавших по улице. Больше ничего не было слышно. Но после нескольких секунд тишины в темной кухне вдруг стало как-то светлеть. Дощатый настил возле очага, блеск воды в кувшине без крышки, сосенка бога кухонного очага, шнур от окошка в потолке — все это одно за другим вырисовывалось из мрака. С беспокойством поглядывая на водосток, кот медленно поднялся во весь свой рост.

В это время дверцу водостока открыл — нет, не только дверцу, в конце концов и сёдзи отодвинул — какой-то до костей промокший бродяга. Просунув в кухню голову, повязанную старым полотенцем, он некоторое время настороженно прислушивался к тишине, царящей в доме. Удостоверившись, что никого не слышно, он потихоньку вошел в кухню в своем рогожном плаще, на котором темнели мокрые пятна. Кот, прижав уши, слегка попятился. Но бродяга, не обращая на него внимания, задвинул за собой сёдзи и медленно снял с головы полотенце. На лице, заросшем волосами и сплошь покрытом грязью, в нескольких местах были наклеены пластыри. Однако сами черты были вполне обыкновенными.

Выжимая воду из волос и отирая капли с лица, бродяга тихим голосом позвал кота:

— Микэ, Микэ!

Кот, оттого что голос был ему знаком, снова поднял прижатые было уши. Однако с места не трогался и время от времени с опаской поглядывал на пришедшего. Бродяга тем временем снял свой рогожный плащ и уселся перед котом на пол, скрестив босые ноги, настолько грязные, что из-за грязи не видно было кожи.

— Ну что, Микэшка? Я вижу, никого тут нет, выходит, одного тебя не выселили.

Бродяга засмеялся и своей большой рукой погладил кота по голове. Кот весь напрягся, словно приготовился бежать. Но — только и всего: он не отскочил, а наоборот, опять сел, как прежде, и понемногу даже стал щурить

глаза. Погладив кота, бродяга, отогнув кверху полу своего старого кимоно, вытащил из-за пазухи масляно блестящий пистолет и при тусклом свете стал осматривать курок. Какой-то бродяга с пистолетом в кухне всеми покинутого дома, в котором царила атмосфера войны, — это была, несомненно, картина необычная, какая бывает в романах... Но кот, сощуря глаза и по-прежнему выгибая спину, сидел спокойно, словно знал все тайны.

— А завтра, Микэшка, тут всюду дождем будут падать пули. Попадет в тебя — тут тебе и крышка. Так что завтра спрячься под пол и сиди там весь день, что бы ни происходило...

Осматривая свой пистолет, бродяга время от времени заговаривал с котом.

— Мы с тобой старые знакомые. Но сегодня мы распрощаемся. Завтра и для тебя злой день, и я, может быть, завтра умру. А если не умру и останусь жив, все же по-прежнему рыгаться с тобой в помойках я не намерен. Ты, вероятно, будешь очень доволен?

В это время шум дождя снова усилился. Тучи нависли низко-низко над самой крышей, окутывая мглой черепицу. Тусклый свет, разлитый по кухне, стал еще слабее. Однако бродяга, не поднимая головы, закончил осмотр пистолета и тщательно зарядил его.

— И все же тебе жаль будет со мной расстаться? Впрочем, коты, как говорят, не помнят добра. Поэтому ждать от тебя нечего. Ну да это все равно. Только вот когда тут меня не будет...

Бродяга вдруг замолчал: ему показалось, что снаружи кто-то подошел к водостоку.

Спрятать пистолет и обернуться — для бродяги это было делом одного мгновения. Но и сѣдзи у водостока со стуком раздвинулись в то же мгновение. Моментально приняв оборонительную позу, бродяга взглянул прямо в глаза прищельцу.

Но этот кто-то, раздвинувший сѣдзи, увидев бродягу, слегка вскрикнул, как бы, в свою очередь, пораженный неожиданностью. Это была еще совсем молодая женщина, босая, с большим зонтом в руках. В безотчетном страхе она чуть не выскочила обратно под дождь. Но испуг прошел, к ней вернулось мужество, и она стала всматриваться в лицо бродяги, пронизывая взглядом полутьму кухни.

Бродяга, тоже, видно, ошеломленный, сидел неподвижно, приподняв одно колено и не спуская с нее глаз. Выражение у него было уже не такое настороженное, как раньше. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Что такое? Это ты, Синко? — будто несколько успокоенная, обратилась женщина к бродяге. Бродяга, улыбаясь, закивал головой.

— Извини, пожалуйста. Так льет сегодня, вот я и забрался сюда в отсутствие хозяев. Только ты не подумай, что я променял свою веру на занятие домушника.

— Напугал! В самом деле... Хотя ты и говоришь, что забрался сюда не как вор, но всякому нахальству есть предел. — Страхивая с зонта капли, женщина сердито добавила: — Ну, а теперь уходи. Я хочу войти.

— Ладно, уйду, не гони, сам уйду. А ты что, еще не выселилась?

— Выселилась. Выселилась, да только... Ну, не все ли тебе равно?

— Забыла что-нибудь? Да проходи же сюда, ведь на тебя дождь льет.

Не отвечая на эти слова бродяги, женщина, все еще раздосадованная, опустилась на дощатый настил водостока. Затем протянула к водостоку грязные ноги и принялась мыть их, поливая водой из черпака. Бродяга, спокойно сидевший со скрещенными ногами, пристально глядел на нее, почесывая щетинистый подбородок. Женщина эта была молодая, со смуглым лицом, с веснушками у носа, на вид — простая деревенская девушка. И одета она была, как служанка, в одно только легкое, бумажное кимоно с дешевым поясом. Но в живых чертах и во всей ее плотной фигуре была какая-то красота, вызывавшая в представлении свежий персик или грушу.

— Когда среди такой сумятицы возвращаются, значит, забыто что-то очень важное. Что же ты тут забыла, а, О-Томи-сан? — продолжал свои расспросы Синко.

— Не все ли тебе равно что. Лучше ступай отсюда. — О-Томи ответила раздраженно. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, повернулась к Синко и серьезно спросила: — Синко, ты не видел нашего Микэ?

— Микэ? Микэ только что тут был. Куда ж он девался?

Бродяга огляделся кругом. Оказалось, что кот забрался на полку и свернулся там клубком между ступкой и

сковородкой. Его одновременно с Синко вдруг увидела и О-Томи. Она бросила черпак и, словно забыв о самом существовании бродяги, поднялась с настила. Светло улыбаясь, она стала звать лежавшего на полке кота.

Синко изумленно перевел глаза с кота, лежавшего в полутьме, на О-Томи.

— Кошка? Так ты забыла кошку?

— Хоть и кошку! Что ж тут плохого? Микэ, Микэ, поди сюда!

Синко вдруг расхохотался. В шуме дождя его смех прозвучал почти зловеще. О-Томи, покраснев от гнева, опять накинута на Синко:

— Что тут смешного? Забыли кота, а хозяйка совсем с ума сходит. Все время заливается слезами: что, если кота убьют? Мне самой стало жалко, вот я и вернулась сюда в этот дождь...

— Ладно, не буду. — Синко прервал ее, все еще смеясь. — Больше не смеюсь. Но все-таки подумай сама. Завтра начнется сражение. А тут всего-навсего кошка, одна там или две — все равно, ведь это смешно. Хоть не мне говорить тебе об этом, но такой безголовой нюни, как твоя хозяйка, я не видывал. Из-за этого Микэшки...

— Замолчи! Не желаю слушать, как поносят мою хозяйку!

О-Томи чуть не топнула ногой. Однако бродяга сверх ожидания не испугался ее гневного вида. Более того, он, не стесняясь, разглядывал фигуру женщины. И правда, в этот момент она была полна какой-то дикой красоты. Мокрые от дождя кимоно и набедренная повязка плотно прилипли к коже и явственно обрисовывали ее тело, молодое нетронутое девичье тело. Не сводя глаз с О-Томи, Синко продолжал со смехом:

— Я понимаю, тебя послали за Микэшкой. Разве не так? А ведь сейчас во всем Уэно нет ни одного дома, из которого жители не выселились бы. Выходит, что хоть тут дома и стоят, а все равно что безлюдная пустыня. Положим, волки сюда не забредут, но попасть в беду всегда можно. Вот что я хотел тебе сказать.

— Как-нибудь обойдусь без твоих забот! Лучше бы снял с полки кота. От этого и сражение не начнется, беды никакой не случится.

— Брось шутки! Когда женщине опасно ходить одной, если не в такое время? Скажу тебе коротко: нас тут толь-

ко двое — ты да я. А вдруг мне что-нибудь взбредет в голову, что ты станешь делать?

Тон у Синко был какой-то непонятный — не то шуточный, не то серьезный. Однако в ясных глазах О-Томи не мелькнуло и тени страха, только щеки запылали еще сильнее.

— Что такое? Уж не собираешься ли ты угрожать мне?

О-Томи сама с грозным видом шагнула к Синко.

— Угрожать? Если только это, тогда еще ничего. В наше время дурных людей много даже среди тех, кто нацепил на плечи парчовые нашивки. Что же говорить о таком, как я, бродяге? Угрозы угрозами, а вдруг мне и вправду что-нибудь на ум взбредет?

Синко не договорил — на его голову обрушился удар. О-Томи стояла перед ним с поднятым зонтом.

— Я тебе покажу, как дерзить!

Она опять изо всей силы ударила зонтом, целясь в голову Синко. Синко хотел отстраниться, но зонт все же угодил ему в плечо, прикрытое старым кимоно. Перепуганный шумом кот, сбив сковородку, прыгнул на полочку бога кухонного очага. На Синко свалились и сосенка, и масляный светильник. Прежде чем он успел вскочить на ноги, ему пришлось не раз почувствовать на себе зонт О-Томи.

— Ах ты скотина, скотина!

О-Томи продолжала взмахивать зонтом. Однако Синко, осыпаясь ударами, все же в конце концов вырвал у нее зонт. Отшвырнув зонт в сторону, он яростно бросился на О-Томи. Некоторое время они боролись на узком дощатом настиле. В самый разгар этой борьбы дождь снова забарабанил по крыше кухни. По мере того как шум дождя усиливался, сумрак в кухне сгущался. Синко, осыпаясь ударами, исцарапанный, старался повалить О-Томи. Но после нескольких неудачных попыток он, думая, что наконец-то удалось схватить ее, вдруг, наоборот, словно отброшенный пружиной, сам отлетел к водостоку.

— Чертовка!

Упираясь спиной в сёдзи, Синко смотрел на О-Томи. О-Томи с растрепанными волосами сидела на настиле и сжимала в руке бритву, которая, видимо, была спрятана у нее за поясом. Она была полна дикой ярости и в то же время удивительной прелести. Чем-то она напоминала сейчас кота, стоявшего с выгнутой спиной на полочке бога кухонного очага. Оба в полном молчании следили глазами

друг за другом. Но через мгновение Синко с нарочито холодной усмешкой вынул из-за пазухи пистолет.

— Ну, попробуй теперь повернуться.

Дуло пистолета медленно обратилось в сторону О-Томи. Однако она только раздраженно глядела на Синко и не раскрыла рта. Увидев, что она не испугалась, Синко под влиянием какой-то мысли повернул пистолет дулом вверх. Там в темноте сверкали янтарные глаза кота.

— Ну как, а, О-Томи-сан? — Как бы дразня ее, Синко проговорил это тоном, в котором слышался смех. — Грохнет этот пистолет, и твой кот кувырком слетит оттуда. И с тобой будет то же. Как тебе это понравится?

Курок уже готов был спуститься.

— Синко! — вдруг заговорила О-Томи. — Не надо, не стреляй!

Синко перевел взгляд на О-Томи. Однако дуло пистолета было по-прежнему направлено на кота.

— Известно, что не надо!

— Жалко его убивать! Пощади хоть Микэ.

У О-Томи было теперь совсем другое лицо — обеспокоенное, дрожащие губы ее слегка приоткрылись, показывая ряд мелких зубов. Глядя на нее полунасмешливо, полуподозрительно, Синко наконец опустил пистолет. В тот же миг на лице О-Томи отразилось облегчение.

— Кота я пощажу. Но взамен... — Синко произнес с ударением: — Взамен я возьму тебя.

О-Томи чуть отвела взор. Казалось, в ее душе на мгновение вспыхнули одновременно и злоба, и гнев, и отвращение, и печаль, и многие другие чувства. Не переставая внимательно следить за этими переменами в девушке, Синко зашел сбоку ей за спину и раздвинул сёдзи в комнату за кухней. Там, разумеется, было еще темнее, чем в кухне. Но в ней можно было разглядеть шкафчик и большое хибати, брошенные при выселении. Синко перевел взгляд на ворот кимоно О-Томи, влажный от пота. Видимо, О-Томи почувствовала этот взгляд и, вся сжавшись, оглянулась на стоявшего позади Синко. На ее щеках уже снова появился прежний румянец. Но Синко как-то странно мигнул, словно заколебавшись, и вдруг снова прицелился в кота.

— Не надо! Не надо, говорят тебе!

О-Томи удержала его и в этот момент выронила бритву.

По лицу Синко пробежала легкая усмешка.

— А не надо, так иди туда.

— Противно! — с отвращением пробормотала О-Томи. Но внезапно она встала и, будто на все махнув рукой, прошла в комнату за кухней. Синко, казалось, был несколько удивлен тем, как легко она примирилась со своей участью. Дождь в это время притих. Сквозь облака, видимо, пробивались лучи вечернего солнца, отчего в кухне понемногу становилось светлее. Стоя в кухне, Синко прислушивался к тому, что делается в комнате рядом. Вот она развязывает пояс. Вот ложится на циновку. Затем все стихло.

Поколебавшись, Синко шагнул в полутемную комнату. Там посередине, закрыв лицо руками, лежала на спине О-Томи... Синко, едва взглянув на нее, тут же, словно убегая от чего-то, вернулся в кухню. На его лице было какое-то странное, непередаваемое выражение: не то злость, не то стыд. Он снова вышел на дощатый настил и все так же, стоя спиной к той комнате, вдруг горько рассмеялся.

— Я пошутил, слышишь, О-Томи-сан? Пошутил. Иди сюда.

...Через несколько минут О-Томи с котом за пазухой и с зонтом в руках о чем-то беззаботно разговаривала с Синко, который стелил на полу свою рваную циновку.

— Послушай, я хотел бы спросить тебя об одной вещи.

Все еще чувствуя некоторую неловкость, Синко старался не смотреть на О-Томи.

— О чем?

— Ни о чем особенно... Ведь отдаться мужчине для женщины важная вещь в жизни. А ты была готова на это, чтобы спасти жизнь какой-то кошки... Не слишком ли это много? — Синко замолчал. Но О-Томи только улыбнулась и погладила kota у себя за пазухой. — Ты так любишь этого kota?

— Люблю и Микэ. — О-Томи ответила уклончиво.

— Ты слывешь очень преданной своим хозяевам. Может быть, ты боялась остаться виноватой перед хозяйкой, если Микэ убьют?

— Ну да, я и Микэ люблю, и хозяйки боюсь. Но только...

О-Томи, склонив голову набок, как бы всматривалась куда-то вдаль.

— Как бы это сказать? Поступи я сейчас иначе, у меня сердце было бы не на месте...

Еще через несколько минут Синко, оставшись один,

сидел в кухне, обхватив руками колени, покрытые старым кимоно. Вечерние тени под шорох редкого дождя все больше и больше заполняли комнату. Шнур от окна в потолке, кувшин с водой у водостока — все одно за другим исчезало во мраке. И вот в дождевых тучах прокатились один за другим тяжелые удары храмового колокола в Уэно. Синко, как будто пробужденный этими звуками, окинул взглядом затихшую комнату. Затем, нащупав черпак, набрал воды.

— Мураками Синдзабуро... Минамото-но Сигэмицу! Сегодня ты проиграл!

* * *

Двадцать шестого марта двадцать третьего года Мэйдзи О-Томи с мужем и тремя детьми проходила через площадь Уэно.

В этот день на Такэнодай открывалась Третья всеяпонская выставка, вдобавок у ворот Курамон уже зацвели вишни, поэтому площадь кишела народом. Сюда же со стороны Уэно бесперывной вереницей двигались экипажи и коляски рикш. Маэда Масада, Тагучи Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзо, Гэдзё Масао... В этих экипажах и колясках сидели и такие люди.

Муж с пятилетним мальшом на руках и со старшим сынишкой, уцепившимся за его рукав, сторонясь толпы, то и дело с беспокойством оглядывался на О-Томи с дочерью, шедших позади. О-Томи всякий раз отвечала ему своей светлой улыбкой. Разумеется, двадцать лет принесли ей старость. Однако ясное сияние ее глаз не совсем померкло. В четвертом или пятом году Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника Когая Масабэя. Муж ее тогда имел маленькую часовую мастерскую в Йокохаме, теперь — на Гиндзэ.

Вдруг О-Томи подняла глаза. В пароконном экипаже, проезжавшем мимо нее как раз в эту минуту, покоилась фигура Синко. Да, Синко. Правда, теперешний Синко был весь покрыт знаками отличия — тут были и плюмаж из страусовых перьев, и внушительные нашивки из золотого позумента, и несколько больших и малых орденов. Но обращенное в сторону О-Томи красноватое лицо с седеющими усами и бородой было, несомненно, лицом бродяги минувших времен. О-Томи невольно замедлила шаг. Однако, как ни странно, она не удивилась. Синко не был простым

бродягой. Почему-то она это знала. По лицу ли, по его речи или по пистолету, который у него имелся? Так или иначе, она это знала. О-Томи, не шевельнув и бровью, пристально смотрела на Синко. И Синко, намеренно ли или случайно, тоже смотрел на нее. Воспоминание о дождливом дне двадцать лет назад в это мгновение с необычайной ясностью всплыло в душе О-Томи. В тот день она была готова без колебания отдаться Синко, чтобы спасти кошку. Что тогда руководило ею? Этого она не знала. И Синко тогда не захотел пальцем коснуться тела, которое она ему отдавала. Что тогда руководило им? И этого она не знала. Но хоть она ничего и не знала, все равно то, что произошло, было для О-Томи более чем естественно. Отступая, чтобы дать дорогу экипажу, она почувствовала, что на сердце у нее стало как-то легче.

Когда экипаж Синко проехал, муж снова обернулся из толпы к О-Томи. Встретившись с ним глазами, О-Томи как ни в чем не бывало улыбнулась ему. Ясно, радостно.

Август 1922 г.

О-ГИН

То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

В те времена стоило принявшим святое учение господя обнаружить свою веру, как их ждал костер или распятие. Но казалось, что чем яростней гонения, тем милостивей «господь всеведущий» простирает на верующих округи свою благую защиту. Случалось, что вместе с сиянием вечерней зари деревни вокруг Нагасаки навещали ангелы и святые. И шла молва, что даже сам Сан-Дзэан Батиста явился однажды верующему Мигэру¹-Яхэю на его водяной мельнице в Ураками. А в то же время, чтобы помешать спасению верующих, и дьявол не раз появлялся в тех деревнях то в облике невиданного арапа, то в виде иноземного зелья или повозки с плетеньем адзиро. И даже мыши, донимавшие Мигэру-Яхэя в подземной темнице, где не отличить дня от ночи, были на самом деле, как говорят, лишь оборотнями злых духов. Осенью

¹ Искаженное Miguel (*португ.*).

восьмого года Гэнна Яхэя вместе с одиннадцатью другими верующими сожгли на костре. То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.

В той же горной деревне Ураками жила девушка по имени О-Гин. Родители О-Гин перебрались в Нагасаки издалека, из Осака. Но раньше чем успели они обжиться на новом месте, оба скончались, оставив О-Гин одну. Конечно, они, жители другой округи, знать святое учение не могли. Верой их был буддизм, учение Сакья-Муни. По словам некоего французского иезуита, Сакья-Муни, от природы преисполненный коварства, обошел все области Китая, проповедуя учение будды Амиды. А потом перебрался за тем же в Японию. По учению Сакья-Муни, наша анима, в зависимости от того, тяжки или легки, велики или малы наши грехи, воплощается либо в быка, либо в дерево. Мало того, Сакья-Муни при рождении убил свою мать. Что учение Сакья-Муни нелепо — это само собой понятно, но что оно, кроме того, дурно, тоже очевидно. Однако мать и отец О-Гин, как уже упоминалось, знать этого не могли. Даже после того, как от них отлетело дыхание, они продолжали верить в учение Сакья-Муни, И в тени сосен печального кладбища, не ведая, что их ждет инфэруно, грезили об эфемерном рае.

Но юную О-Гин, к счастью, не запятнало невежество родителей. Сострадательный Дзёан-Магосити, крестьянин, проживавший в той же горной деревушке, давно уже, окропив чело святой водой, нарек ее Мария. О-Гин не верила в то, что Сакья-Муни при рождении, указуя перстом на небо и землю, возгласил гласом великим: «На небе вверху, под небом внизу — я один свят». Зато она верила, что «преблагостная, великосердная, сладчайшая дева Санта Мария-сама» зачала без греха. Верила, что «умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу», похороненный глубоко под землею Дзэсусу через три дня воскрес. Верила, что, когда протрубит труба Страшного суда, «господь в великой славе, в великой силе снизойдет с небес, воссоединит ставшее прахом тело людей с прежней их анима, вернув им душу, воскресит их, и праведники познают небесное блаженство, а грешники с бесами низринутся в ад». Особенно верила она в высокое сагурамэнтэ, когда «силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь господни». Душа О-Гин не была, подобно душе ее родителей,

бесплодной пустыней, над которой проносятся жаркие ветры. Она была плодоносной нивой, взращивающей и злаки, и чистые полевые розы. Потеряв родителей, О-Гин сделалась приемной дочерью Дзэан-Магосити. Жена Магосити, Дзэанна-О-Суми, тоже была женщиной доброго сердца; О-Гин вместе с приемными родителями ходила за скотом, жала ячмень и проводила дни в мире. Но при таком существовании не забывали они, так, чтобы это не бросалось в глаза односельчанам, блюсти посты и читать молитвы. В тени смоковницы у колодца, глядя ввысь на молодой месяц, О-Гин часто жарко молилась. Молитва этой девушки с распущенными волосами была проста: «Благодарю тебя, милосердная мать! Изгнанное дитя прама-тери Эвы взывает к тебе! Склони милосердный взор твой на жалкую обитель слез. Аминь».

И вот однажды в ночь натара дьявол вместе со стражами внезапно вошел в дом Магосити. В доме Магосити в большом очаге пылал «колыбельный огонь». И на закопченной стене на одну эту ночь был повешен крест. В довершение всего, когда стражи пошли в хлев позади дома, то обнаружили в кормушке воду для омовения новорожденного Дзэсусу-сама. Стражи, кивнув друг другу, набросили веревку на Магосити и его жену. О-Гин тоже связали. Но все трое не выказывали признаков страха. Для спасения своей анима они готовы были на любые муки. Господь, конечно, дарует им свою защиту. И разве то, что их схватили в ночь натара, не есть вернейшее доказательство небесной благодати? Так, точно сговорившись, твердо верили все они. Связанных, стражи повели их во дворец наместника. Но и по дороге, под ночным ветром, они не переставая твердили рождественские молитвы: «О Вакагими-сама, родившийся в стране Бэрэн, где ты ныне? Славься!»

Дьявол, видя, что они схвачены, захолопал в ладоши и радостно засмеялся. Но их мужество немало сердило его. Оставшись один, дьявол плюнул и тут же превратился в большую каменную ступку. И с грохотом покотившись во тьму, исчез.

Дзэана-Магосити, Дзэанну-О-Суми и Марию-О-Гин бросили в подземную темницу и подвергли всяческим пыткам, чтобы заставить отречься от святого учения. Но ни под пыткой водой, ни под пыткой огнем решимость их не поколебалась. Пусть горят кожа и мясо, еще вздох, и они попадут в парайсо.

Стоило подумать о милости господней, как мрачная темница преисполнялась великолепия парайсо! Вдобавок не то во сне, не то наяву светлые ангелы и святые не раз слетали утешать их. Особенно достаивалась этого счастья О-Гин. Случалось, что она видела, как архангел Габуриэру, сложив свои белые крылья, предлагает ей воду в красивой золотой чаше.

Так как наместник, конечно, не знал святого учения, не знал и учения Будды, он никак не мог уразуметь, почему заключенные так упорствуют. Он даже подумывал, не сошли ли все трое с ума. Когда же он понял, что они не сумасшедшие, они стали казаться ему не то исполинскими удавами, не то единорогами, во всяком случае — зверями, не имеющими ничего общего с человеческим родом. Оставить таких зверей живыми не только противоречило бы законам, но грозило бы спокойствию всей страны. Протомив заключенных в темнице месяц, он наконец решил сжечь их. (По правде говоря, наместник, как и все обыкновенные люди, почти не думал о том, грозит ли их существование спокойствию страны: во-первых, имелись законы, во-вторых, имелась мораль народа, поэтому не стоило над этим особо задумываться.)

Даже по пути к месту казни на краю деревни трое верующих, во главе с Дзэаном-Магосити, не обнаруживали никаких признаков страха. Местом казни был избран каменный пустырь рядом с кладбищем. Их привели туда, прочитали им, в чем состоят их преступления, и привязали к толстым четырехугольным столбам. Затем столбы укрепили в середине пустыря, поставив справа Дзэанну-О-Суми, в середине Дзэана-Магосити и слева Марию-О-Гин. О-Суми от продолжительных пыток казалась постаревшей. И у Магосити на заросших щеках не было ни кровинки. А О-Гин? О-Гин по сравнению с ними обоими не так уж сильно изменилась. Но у всех троих, стоявших на хворосте, лица были спокойны.

Вокруг места казни давно уже собралась толпа зевак. А там, позади зрителей, несколько кладбищенских сосен распростерли в небе свои ветви, похожие на священные балдахины.

Когда все приготовления были окончены, один из стражей торжественно выступил вперед, стал перед приговоренными и сказал, что им дается время одуматься и отречься от святого учения.

— Подумайте хорошенько, если отречетесь от святого учения, веревки сейчас же развяжут.

Но приговоренные не отвечали. Они смотрели в высокое небо, и на губах у них даже блуждала улыбка.

И наступила небывалая тишина. Не только стражи, но даже зрители затихли в эти минуты. Глаза всех, не мигая, устремились на лица приговоренных. Но не от волнения все затаили дыхание. Зрители ждали, что вот-вот загорится огонь, а стражам так наскучило ждать казни, что даже не хотелось разговаривать.

И вдруг все присутствующие отчетливо услышали:

— Я отрекаюсь от святого учения.

Голос принадлежал О-Гин.

Зрители зашумели. Но гул голосов сразу же опять сменился тишиной. Магосити, обернувшись к О-Гин, горестно произнес угасающим голосом:

— О-Гин! Тебя завлек дьявол! Если ты еще каплю потерпишь, ты узришь лик господа.

Не успел он договорить, как, собрав последние силы, словно издалека, подала голос О-Суми:

— О-Гин! О-Гин! В тебя вселился дьявол! Молись!

Но О-Гин не отвечала. Только глаза ее смотрели туда, где позади толпы кладбищенские сосны распростерли свои ветви, похожие на священные балдахины. Тем временем другой страж приказал развязать О-Гин.

Увидев это, Дзёан-Магосити закрыл глаза, словно покоряясь судьбе.

— Всемогущий господь, да будет воля твоя!

Освобожденная от веревок, О-Гин некоторое время стояла, растерянно глядя перед собой. Но, взглянув на Магосити и О-Суми, она вдруг упала перед ними на колени и, ни слова не говоря, залилась слезами. Магосити не открывал глаз. О-Суми отвернулась, даже не взглянув на О-Гин.

— О отец, о мать, прошу вас, простите меня! — заговорила наконец О-Гин. — Я отреклась от святого учения. Это оттого, что я вдруг заметила вон там ветви сосен, похожие на священные балдахины. Мои родители, покоящиеся под сенью этих кладбищенских сосен, не знали святого господнего учения и, наверно, низвергнуты в инфэрну. И если бы теперь я одна вошла во врата парайсо, не было бы мне родительского прощения. Я последую за родителями в ад. О отец, о мать, идите к Дзэсусу-сама и Ма-

рия-сама. А я, отрекшаяся от святого учения, не могу больше жить...

Проговорив все это прерывающимся голосом, О-Гин зарыдала. Тогда и из глаз Дзэанн-О-Суми прямо на грудь хвороста под ее ногами покатались слезы. Разумеется, готовясь войти в райсо, бесплодно вздыхать — это верующим никак не пристало. Дзэан-Магосити, с горестью обернувшись к привязанной рядом жене, гневно крикнул пронзительным голосом:

— И тебя увлек дьявол? Если хочешь отречься от святого учения, сделай милость, отрекайся сколько угодно. Я один сгорю у вас на глазах.

— Нет, я умру с тобой! Но это... — глотая слезы, выкрикнула О-Суми, — но это не потому, что я хочу попасть в райсо. Я только хочу с тобой... всегда быть с тобой.

Магосити долго молчал. Лицо его то бледнело, то снова разливалась по нему кровь. На лбу каплями выступил пот. Магосити духовным взором видел сейчас свою анима. Видел ангела и дьявола, борющихся за его душу. Если бы в эту минуту О-Гин, рыдавшая у его ног, не подняла голову... Но нет, лицо О-Гин уже было обращено к нему. И со странным блеском в глазах, полных слез, она пристально посмотрела на Магосити. В ее зоре сияла не только невинная девичья душа. В нем сияла душа человека — душа «изгнанной дочери Эвы».

— Отец! Пойдем в ад! И мать, и меня, и того отца, и ту мать — всех нас унесет дьявол.

И Магосити пал.

Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителей веры этот рассказ дошел до нас как пример самого постыдного падения. Да, когда они все трое отреклись от святой веры, даже зрители — старые и молодые, мужчины и женщины — все их осудили. Может быть, от досады, что не удалось увидеть сожжение на костре, ради которого они собрались. И как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается.

Август 1922 г.

ТРИ СОКРОВИЦА

1

Лес. Трое разбойников, ссорясь, делят награбленные сокровища: сапоги-скороходы, плащ-невидимку и меч, разрубающий сталь. Правда, с первого взгляда видно, что это никуда не годное старье.

Первый разбойник. Плащ давайте сюда.

Второй разбойник. Хватит болтать. Меч давайте мне. Ух ты, сапоги у меня стащили.

Третий разбойник. Да это же мои сапоги! Ты их у меня стащил.

Первый разбойник. Ну, ладно, ладно. Плащ все равно мой будет.

Второй разбойник. Такие сапоги — такому скоту!

Первый разбойник. Ну хватит, хватит! Вы что, меч мой тоже стащили?

Третий разбойник. У, воруяга, отдавай плащ!

Завязалась драка. А в это время по лесной дороге верхом на коне ехал принц.

Принц. Эй, эй, что вы делаете? *(Слезает с коня.)*

Первый разбойник. Да он вот во всем виноват. Меч у меня стащил и плащ еще требует.

Третий разбойник. Сам и виноват. Плащ-то ведь он у меня стащил.

Второй разбойник. Уж эти двое что хочешь украдут. Ведь все это мое.

Первый разбойник. Ври!

Второй разбойник. Сам ты врун и есть!

Снова готовы затеять драку.

Принц. Пойдите, пойдите. Ну из-за чего вы ссоритесь? Не все ли равно, кому достанется старый плащ, а кому — дырявые сапоги?

Второй разбойник. Нет, так не пойдет. Плащ этот не простой. Стоит надеть его, как сразу станешь невидимым.

Первый разбойник. А меч может разрубить какой угодно стальной шлем.

Третий разбойник. А наденешь эти сапоги — и враз пролетишь тысячу ри.

Принц. Да, за такие сокровища стоит поспорить. Но разве нельзя поделить их, не жадничая, каждому по одной вещи?

Второй разбойник. Попробуй подели. Не успеешь оглянуться, как тебе этим мечом голову отхватят.

Первый разбойник. Это бы еще ничего. Хуже другое. Кто наденет плащ — тот и кради что хочешь.

Второй разбойник. Да что там! Надевай сапоги, хватай, что понравилось, — только тебя и видели.

Принц. Да, вполне резонно. Но, может быть, чтобы не спорить, вы все три вещи мне продадите?

Первый разбойник. Ну как, продадим этому господину?

Третий разбойник. Может, и правда это самое лучшее?

Второй разбойник. А за сколько?

Принц. За сколько... Давайте сделаем так. Вместо вашего плаща я отдам свой красный плащ. Он даже отделан шитьем. Вместо сапог — свои сапоги, украшенные драгоценными камнями. А если вы получите этот оправленный золотом меч, то ничуть не прогадаете, отдав за него свой. Ну как, подходит вам такая цена?

Второй разбойник. Я, пожалуй, вместо этого плаща его плащ возьму.

Первый разбойник и третий разбойник. Мы тоже согласны.

Принц. Ну что ж. Тогда давайте меняться.

Принц выменивает плащ, меч и сапоги, снова садится на коня и собирается ехать дальше по лесной дороге.

Там впереди нет постоянного двора?

Первый разбойник. Как только выедете из лесу, сразу же будет постоянный двор «Золотой рожок». Ну, счастливого пути.

Принц. Понятно. Прощайте. *(Уезжает.)*

Третий разбойник. Выгодное дельце мы провернули. Вот уж не думал, что за ту рвань получу такие сапоги. Смотрите. В пряжки вставлены бриллианты.

Второй разбойник. А чем плох его плащ? Наденешь его — и сразу станешь похожим на господина.

Первый разбойник. Да и меч этот — стоящая вещь. И эфес и ножны золотые. И надули мы его так легко потому, что принц, видно, порядочный дурак. Верно?

Второй разбойник. Тсс! Даже у стен есть уши, даже бутылка из-под водки может заговорить. Ну что ж, пошли куда-нибудь выпьем.

И три разбойника, перебрасываясь шутками, уходят, во не в ту сторону, куда уехал принц.

2

Постоялый двор «Золотой рожок». Харчевня. В углу сидит принц и жует хлеб. Кроме него, в харчевне семь-восемь человек — все по виду крестьяне.

Хозяин постоялого двора. Скоро, говорят, свадьба принцессы.

Первый крестьянин. Да, говорят. А жених-то как будто черный король?

Второй крестьянин. И ходят слухи, что принцесса ненавидит этого короля.

Первый крестьянин. Если ненавидит, то пусть лучше откажется от свадьбы.

Хозяин. Но этот черный король обладает тремя сокровищами. Первое — сапоги-скороходы, второе — меч, разрубающий сталь, третье — плащ-невидимка. И все это он собирается преподнести в дар отцу невесты. Потому-то наш жадный король пообещал отдать за него принцессу.

Второй крестьянин. Кого жаль, так это принцессу.

Первый крестьянин. Но неужели никто не пробовал спасти ее?

Хозяин. Почему же. Среди принцев из разных стран, наверное, есть такие, кто хотел бы спасти ее, но черного короля никому не одолеть. Вот и сидят, помалкивают.

Второй крестьянин. Да вдобавок, говорят, жадный король, чтобы не украли принцессу, поставил дракона стеречь ее.

Хозяин. Нет, говорят, не дракона, а солдат.

Первый крестьянин. Если бы я знал заклинания, то первым поспешил бы на помощь принцессе.

Хозяин. Ну, ясно. Знай я эти заклинания, не стал бы вас дожидаться.

Все смеются.

Принц *(неожиданно вмешивается в разговор)*. Не горюйте. Я спасу принцессу.

Все *(с изумлением)*. Вы?!

Принц. Да, да. Подходи кто хочешь, хоть черный король, хоть еще кто. (*Скрестив руки на груди, смотрит на компанию.*) Всех подряд уложу.

Хозяин. Но у короля есть, говорят, три сокровища. Первое — сапоги-скороходы, второе...

Принц. Меч, разрубающий сталь? У меня он тоже есть. Посмотрите на эти сапоги. Посмотрите на этот меч. Посмотрите на этот старый плащ. Все эти сокровища ничуть не отличаются от тех, что у черного короля.

Все (*снова с изумлением*). Эти сапоги?! Этот меч?! Этот плащ?!

Хозяин (*с сомнением*). Но ведь сапоги-то ваши дырявые.

Принц. Да, они дырявые. Но хоть они и дырявые — шагнешь в них раз — и пролетишь тысячу ри.

Хозяин. Правда?

Принц (*с сожалением*). Ты думаешь, наверное, что я лгу. Ну что ж, покажу тебе, как я сейчас полечу. Открой двери. Понял? Не успею взлететь, как сразу же исчезну.

Хозяин. Но сначала, может быть, господин заплатит по счету?

Принц. Пустяки, я тут же вернусь. Какие тебе принести подарки? Итальянский гранат? Испанскую дыню? Или, может быть, фиги из далеких арабских стран?

Хозяин. Если подарок, то все равно какой. Ну, покажите, как вы летаєте.

Принц. Лечу. Раз, два, три!

Принц прыгает изо всех сил, но, не достигнув и порога, падает навзничь.

Все смеются.

Хозяин. Я так и думал.

Первый крестьянин. Вот тебе и тысяча ри — два-три кэна и то не пролетел.

Второй крестьянин. Нет, он пролетел тысячу ри. За один раз пролетел тысячу ри туда, за другой — тысячу ри обратно, и вот сейчас он вернулся на старое место.

Первый крестьянин. Брось шутить. Глупая это история.

Компания хохочет. Принц с трудом поднимается и уныло бредет к выходу.

Хозяин. Пойдите, заплатите по счету.

Принц молча бросает ему деньги.

Второй крестьянин. А подарки?

Принц (*кладет руку на эфес меча*). Что?!

Второй крестьянин (*пяťся*). Нет, нет. Я ничего не говорю. (*Как будто про себя*.) А меч-то, наверно, голову отсечь может?..

Хозяин (*миролюбиво*). Господин еще слишком молод, и поэтому ему лучше возвратиться в королевство своего отца. Сколько бы он ни старался, черного короля ему все равно не одолеть. Человек прежде всего должен быть рассудительным и соразмерять свои силы.

Все. Послушайтесь, послушайтесь, он добра вам желает.

Принц. Я думал, что все, все смогу. (*Плачет*.) Мне стыдно перед вами. (*Прячет лицо*.) Я готов провалиться сквозь землю.

Первый крестьянин. Пусть господин попробует надеть этот плащ. Может, тогда и исчезнет.

Принц. Скотина! (*Топает ногами*.) Ладно, издевайтесь сколько хотите. Во что бы то ни стало я спасу любимую принцессу от черного короля! Пусть в сапогах я не могу пролететь тысячу ри, но у меня есть меч. И плащ. (*С жаром*.) Нет! Я спасу ее даже голыми руками. Смотрите, как бы вам не раскаяться тогда! (*Как безумный, выскакивает из харчевни*.)

Хозяин. Ну что ты будешь делать. Хорошо бы, не убил его этот черный король.

3

Парк королевского дворца. Среди роз бьет фонтан. Вначале нет никого. Через некоторое время появляется принц в плаще.

Принц. Стоило мне надеть этот плащ, и я, похоже, стал невидимым. Когда я входил в ворота замка, то мне повстречались и стража и фрейлины. Но никто из них не остановил меня. Значит, в этом плаще я, подобно ветерку, благоухающему розами, смогу, наверное, проникнуть в покои принцессы. Ой, кто это идет сюда? Не принцесса ли, о которой мне рассказывали? Надо бы пока

спрягаться. Да что там. Даже если я здесь и останусь, принцесса не сможет меня увидеть.

Принцесса подходит к фонтану и печально вздыхает.

Принцесса. Как я несчастна. Не пройдет и недели, как этот ужасный черный король увезет меня в Африку. В Африку, где львы и крокодилы. *(Садится на траву.)* Я хочу всегда жить в этом замке. Хочу слушать шум этого фонтана среди роз...

Принц. Как прекрасна принцесса. Даже если это будет стоить мне жизни, я спасу ее.

Принцесса *(испуганно глядя на принца)*. Кто вы?

Принц *(как будто про себя)*. О горе! Напрасно я заговорил.

Принцесса. Напрасно заговорил? Что с вами? Такое милое лицо, и вот...

Принц. Лицо? Вы видите мое лицо?

Принцесса. Вижу, конечно. А что в этом удивительного?

Принц. И этот плащ видите?

Принцесса. Да, ужасно старый плащ, не правда ли?

Принц *(огорченно)*. Но вы не должны были меня видеть.

Принцесса *(удивленно)*. Почему?

Принц. Это плащ, надев который становишься невидимым.

Принцесса. Такой плащ только у черного короля.

Принц. Нет, этот тоже такой.

Принцесса. Но разве вы стали невидимым?

Принц. Когда мне повстречались стража и фрейлины, я на самом деле был невидимым. Доказательством служит хотя бы то, что, с кем бы я ни встречался, никто меня не остановил.

Принцесса *(смеется)*. Так и должно было случиться. В этом старом плаще вас просто приняли за слугу.

Принц. Слуга! *(Огорченно садится.)* Случилось тоже самое, что и с этими сапогами.

Принцесса. А что с сапогами?

Принц. Это сапоги-скороходы.

Принцесса. Такие же, как сапоги черного короля?

Принц. Да. Только недавно я попробовал было шаг-

нуть в них, но не пролетел даже каких-нибудь два-три кэна. У меня есть еще меч. Он должен разрубать даже сталь...

Принцесса. А вы пробовали рубить им что-нибудь?

Принц. Нет, я не должен ничего рубить им, пока не отрублю голову черному королю.

Принцесса. Ах, так! Вы приехали, чтобы сразиться с черным королем?

Принц. Нет, я приехал не для того, чтобы сражаться. Я приехал, чтобы спасти вас.

Принцесса. Правда?

Принц. Правда.

Принцесса. О, какое счастье!

Неожиданно появляется черный король. Принц и принцесса испуганы.

Черный король. Здравствуйте. Я только что одним прыжком прилетел из Африки. Видите, на что способны мои сапоги?

Принцесса (*холодно*). А теперь можете снова отправляться в Африку.

Король. Нет, сегодня я хочу спокойно поговорить с вами. (*Замечает принца.*) Откуда этот слуга?

Принц. Слуга? (*Встает возмущенный.*) Я принц. Я приехал, чтобы спасти принцессу. И пока я здесь, не позволю даже пальцем ее коснуться.

Король (*нарочито вежливо*). Я обладаю тремя сокровищами. Вам известно это?

Принц. Меч, сапоги и плащ? Верно, в моих сапогах не пролетишь и одного тё. Но если со мной будет принцесса, то даже в этих сапогах меня не испугают ни тысяча, ни две тысячи ри. А теперь посмотрите на этот плащ. Ведь только благодаря ему меня приняли за слугу и мне удалось предстать перед принцессой. Значит, он смог сделать невидимым принца. Не так ли?

Король (*насмешливо*). Дерзкий! Посмотрите лучше, на что способен мой плащ. (*Надевает плащ. В тот же миг исчезает.*)

Принцесса (*хлопает в ладоши*). А-а, исчез. Как только исчез этот человек, я стала по-настоящему счастлива.

Принц. А этот плащ короля удобен. Он сделан специально для нас.

Король (*внезапно снова появляется. Говорит со злобой в голосе*). Совершенно верно. Он сделан специально для вас. Мне от него нет никакой пользы. (*Отбрасывает плащ.*) Но у меня есть меч. (*Бросает на принца злобный взгляд.*) Вы посягаете на мое счастье. Вызываю вас на честный бой. Мой меч может разрубить даже сталь. Ваша голова для него ничто. (*Вытаскивает меч.*)

Принцесса (*быстро встает и загоразживается принца*). Если ваш меч разрубает сталь, то сможет пронзить и мою грудь. Ну, попробуйте, пронзите одним ударом.

Король (*отступая*). Нет, вас он не может пронзить.

Принцесса (*насмешливо*). Неужели он не может пронзить мою грудь? Ведь вы говорили, что им можно разрубить даже сталь.

Принц. Подождите. (*Отстраняет принцессу.*) Король правильно говорит. Я его противник и должен вести с ним честный бой. (*Королю.*) Ну, что же, начнем поединок. (*Обнажает меч.*)

Король. Хоть вы и молоды, но настоящий мужчина. Готовы? Дотронетесь до меча — расстанетесь с жизнью. Смотрите!

Мечи короля и принца скрещиваются. И вдруг король, словно тростинку, рассекает меч принца.

Ну как?

Принц. Меч мой действительно разрублен. Но я все равно смеюсь над вами.

Король. Так продолжим поединок?

Принц. Конечно. Ну, подходите.

Король. Нет, поединок можно не продолжать. (*Внезапно отбрасывает меч.*) Вы победили. Меч мой ничего не стоит.

Принц (*с удивлением смотрит на короля*). Почему?

Король. Почему? Если я убью вас, то принцесса меня еще больше возненавидит. Разве вы этого не понимаете?

Принц. Нет, я понимаю. Но я сомневаюсь, что вы это понимаете.

Король (*задумчиво*). Я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу получить и принцессу. Но, как видно, ошибся.

Принц (*положив руку на плечо короля*). А я думал, что, обладая тремя сокровищами, смогу спасти принцессу. Но, видимо, тоже ошибся.

Король. Да, мы оба ошибались. *(Берет руку принца.)* Давайте помиримся. Примите мои извинения.

Принц. Простите и вы меня. Сейчас и не поймешь — кто из нас победил.

Король. Нет, вы победили меня. Я сам победил себя. *(Принцессе.)* Я возвращаюсь в Африку. Так что успокойтесь, пожалуйста. Меч принца, вместо того чтобы разрубить сталь, пронзил мое сердце, еще более твердое, чем сталь. На свадьбу я дарю вам три сокровища: меч, сапоги и плащ. И если у вас будут эти три сокровища, то, я думаю, на свете не найдется злодея, который мог бы причинить вам горе. Ну, а если все-таки появится какой-нибудь негодяй, дайте знать об этом в мое королевство. Я в любую минуту вместе с миллионом черных всадников выступлю, чтобы покарать ваших врагов. *(Грустно.)* Ожидая вас, в самом центре своей африканской столицы я выстроил мраморный дворец. Вокруг дворца цветут лотосы. *(Принцу.)* А вы иногда надевайте эти сапоги и прилетайте ко мне в гости.

Принц. Обязательно!

Принцесса *(прикрепляет к груди черного короля розу)*. Я очень виновата перед вами. Мне даже и во сне не могло присниться, что вы такой добрый. Будьтенисходительны ко мне. Я действительно очень виновата. *(Припав к груди короля, плачет, как ребенок.)*

Король *(гладит волосы принцессы)*. Спасибо. Мне очень приятно слышать это. Я ведь тоже не какой-нибудь злой дух. Черный король, похожий на злого духа, бывает только в сказках. *(Принцу.)* Не правда ли?

Принц. Совершенно верно. *(Обращаясь к зрительному залу.)* Друзья! Мы трое прозрели. И черный король, похожий на злого духа, и принц, обладающий тремя сокровищами, бывают только в сказках. Но так как мы уже прозрели, то нам незачем более оставаться в стране сказки. Перед нами сквозь туман проглядывает необъятный мир. И мы все вместе уходим из мира роз и фонтанов в этот мир. В необъятный мир! Он безобразен, он прекрасен, этот мир — огромный сказочный мир! Мы не знаем, что ждет нас в этом мире, — горе или радость. Мы знаем одно — нужно идти в этот мир смело, как храбрые солдаты.

Декабрь 1922 г.

ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ

Гав

Однажды в зимний день, под вечер, Ясукити сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто (горячие) сэндвичи». (Один из его приятелей прочел: «облегченные¹ (горячие) сэндвичи» — и всерьез удивился.) Слева от столика — лестница, которая вела вниз, справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки.

Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть, и, поскольку он приезжий, ему лишь оставалось торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении Токи Дзэнмаро (если ошибаюсь, прошу меня простить) говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый — люблю тебя, жена, люблю». Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, то поглядывая в окно на лавку старьевщика, то на «хотто (горячие) сэндвичи», жевал пропахшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ.

Вдруг Ясукити обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукити. Они были мало знакомы, и Ясукити не знал его имени. Да и не только имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалованье. Требуя все новые порции нива, они не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудоволь-

¹ Непереводимая игра слов: «хотто» — «горячий» (от *англ.* «hot» — «горячий»). Есть японское слово «хотто» — «испытывать чувство облегчения».

ствия, со стаканами в руках сновала по лестнице вверх и вниз. Потому-то она и не несла несчастную чашку чая, заказанную Ясукиги. Так случалось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города.

Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукиги, разумеется, не прислушивался к их разговору. Но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай». Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гете и Стриндберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держат. И ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Ясукиги предположил, что пес под окном. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Гавкни. Ну, гавкни». Ясукиги, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, — еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой сакэ «Масамунэ». Потом — поднятая штора. Потом — носки, сушившиеся на краю кадки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом — лужа на дороге. Потом — ну что ты скажешь, собаки нигде не было видно. Вместо нее он заметил нищего лет двенадцати — тринадцати, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа.

— Гавкни! Ну, гавкни же! — опять закричал интендант.

В этих словах была какая-то магическая сила, притягивавшая нищего. Точно сомнамбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал два-три шага и подошел под самое окно. Тут-то Ясукиги и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка. И если нет, то, значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить: как низко может пасть человек, принося в жертву собственное достоинство ради того, чтобы набить брюхо. Ясукиги считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исав продал брату право первородства за чечевичную похлебку. Сам Ясукиги ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, *de gustibus non est disputan-*

dum¹, только сегодня он говорил это своим ученикам. Кому что нравится. Хочешь экспериментировать — экспериментируй. Думая так, Ясукити продолжал смотреть на нищего под окном.

Интендант замолчал. А нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, — это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать.

— Погавкай. Погавкаешь, получишь вот это.

Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясукити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка-нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно «вроде». Ясукити действительно испытывал не столько жалость, сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом.

— Не будешь? Ну, гавкни же.

Нищий сморщился.

— Гав.

Голос у него был очень тихий.

— Громче.

— Гав, гав.

Нищий громко пролаял два раза. И тут же из окна полетел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий, конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется.

Не прошло и недели, как Ясукити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалованье. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясукити, он спросил односложно: «Жалованье?» — «Да», — в тон ему ответил Ясукити. Интендант, может быть, был занят и все не выдавал жалованья. В конце концов он просто повернул к Ясукити спину, обтянутую военным мундиром, и начал нескончаемое перебрасывание костяшек на счетах.

— Интендант.

¹ О вкусах не спорят (*лат.*).

Это умоляюще сказал Ясукити, подождав немного. Интендант повернулся к нему. С его губ уже совсем готово было сорваться «сейчас». Но Ясукити опередил его и закончил свою мысль.

— Интендант. Может быть, мне гавкнуть? А, интендант?

Ясукити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был нежнее, чем у ангела.

Иностранцы

В этой школе было два иностранца, они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один — англичанин Таундсенд, другой — американец Столлет.

Таундсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повелось, что преподаватели-иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о Гете. Но, к счастью, Таундсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи — вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?»

Ясукити жил с Таундсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога отнимала минут двадцать. И они оба, с глазгоскими трубками в зубах, болтали о табаке, о школе, о призраках. Таундсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор заходил об occult sciences¹, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей».

Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зимой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таундсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему: «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Луис Стивенсон и О'Генри!

¹ Окультные науки (англ.).

Столлет жил не на одной с Ясукити даче, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукити почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукити говорил, зевая: «До чего же тосклива профессия педагога!» А привлекательный Столлет, в очках без оправы, сделав удивленное лицо, сказал: «Педагог — не профессия. Это скорее дар божий. You know, Socrates and Platon are two great teachers... etc.»¹.

Роберт Луис Стивенсон, называй он его янки или кем-либо еще, — это в конце концов не важно. Но он говорил, что Сократ и Платон педагоги, — и с тех пор Ясукити проникся к нему симпатией.

Дневной, отдых
(Фантазия)

Ясукити вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукити же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему, точно кузнечик, перепрыгивая через три ступеньки, взбегал унтер-офицер. Увидев Ясукити, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукити. Ясукити слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы.

Во дворе, между подокарпов и торрей цвели магнолии. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида росшей здесь магнолии цветы были обращены к югу. Ясукити, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек — рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение.

— Сюда! Сюда! Не туда. Сюда! Сюда!

Следуя призывам трясогузки, Ясукити шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка — что ей почудилось? — вдруг снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий моторист. Ясукити показалось, что ему откуда-то знакомо его лицо. Моторист отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукити,

¹ Ведь Сократ и Платон — два великих учителя... и т. д. (англ.).

дымья сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов — на десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелит ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

В конце концов Ясукиги вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу — звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают. Он присел под пушкой. Потом закурил вторую сигарету. На гравии в круглом садике блестяла ящерица. Если у человека оторвать ногу — конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы оторвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукиги думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий.

Ясукиги с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе над кортом то и дело что-то взрывается. И одновременно то вправо, то влево от сетки мелькает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. И шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубахах. Вознося хвалу богам, Ясукиги повернул на задний двор.

Задний двор был весь в розовых кустах. Но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на склоненной почти до земли ветке гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукиги тихонько остановился и решил послушать.

Первая гусеница. Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших пра-пра-пра-прадедов он только и делает, что ползает по земле.

Вторая гусеница. Может быть, люди и не превращаются в бабочек.

Первая гусеница. Нет, вроде бы превращаются. Посмотри, кто-то летает.

Вторая гусеница. Ну конечно же, кто-то летает.

Но как это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены даже чувства прекрасного.

Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукиги стал смотреть на самолет, пролетающий над его головой.

Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в прошлые времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукиги:

— Вечерком встретимся?

В ухмылке дьявола Ясукиги отчетливо послышались строчки из «Фауста»: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо»¹.

Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге, заглядывая в каждый, Ясукиги увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, подумал, конечно, что его сотрут. И вдруг, то растягиваясь, то сжимаясь, произнес:

— На следующем уроке еще понадобится.

Ясукиги поднялся по той же лестнице, по которой спускался, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В преподавательской был только лысый Таундсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукиги лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, он, к ужасу своему, обнаружил, что Таундсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукиги стал согбенным седоголовым старцем.

Стыд

Перед тем как идти в класс, Ясукиги обязательно просматривал учебник. И не только из чувства долга: раз получаешь зарплату, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение *cat's paw* может означать «кошачья лапа» и в то же время «бриз».

¹ Перевод В. Пастернака.

Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывалось о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер и в люки врывались волны, читатель этого не ощущал. Заставляя учеников читать и переводить, он сам скучал. Не было более неподходящего времени, чтобы вызвать у учеников интерес к идейным проблемам или хотя бы проблемам повседневной жизни. Преподаватель ведь, в сущности, хочет обучить и тому, что выходит за рамки его предмета. Мораль, приверженность, мировоззрение — можно назвать это как угодно. В общем, он хочет научить тому, что ближе его сердцу, чем учебник или грифельная доска. Но, к сожалению, ученики не хотят знать ничего, кроме учебника. Нет, не то чтобы не хотят. Они просто ненавидят учение. Ясукити был в этом убежден, поэтому и на сей раз ему не оставалось ничего другого, как, преодолевая скуку, следить за чтением и переводом.

Но даже в те минуты, когда Ясукити не бывало скучно, когда он, внимательно прислушавшись к тому, как читает и переводит ученик, обстоятельно поправлял ошибку, даже в эти минуты все ему было достаточно противно. Не прошло и половины урока, который длится час, как он прекратил чтение и перевод. Вместо этого он стал сам читать и переводить абзац за абзацем. Морское путешествие в учебнике по-прежнему было невыразимо скучным. Но и его метод обучения ни капли не уступал ему в невыразимой скуке. Подобно паруснику, попавшему в полоху штителя, он неуверенно, то и дело замирая на месте, продвигался вперед, либо путая время глагола, либо смешивая относительные местоимения.

И вдруг Ясукити заметил, что до конца того куска, который он подготовил, осталось всего пять-шесть строк. Если он перевалит через них, то попадет в коварное, бушующее море, полное рифов, морской терминологии. Краешком глаза он посмотрел на часы. До трубы, возвещавшей перерыв, оставалось еще целых двадцать минут. Со всей возможной тщательностью он перевел подготовленные им последние пять-шесть строк. Но вот перевод уже закончен, а стрелка часов за это время передвинулась всего на три минуты.

Ясукити некуда было деваться. Единственный выход, единственное, что могло спасти его, — вопросы учеников. А если и после этого останется время, тогда только один

выход — закончить урок раньше. Откладывая учебник в сторону, он открыл было рот, чтобы сказать: «Вопросы?» И вдруг густо покраснел. Почему же он покраснел? Этого он и сам не смог бы объяснить. Обмануть учеников было для него пустяковым делом, и на этот раз он почему-то покраснел. Ученики, ничего, конечно, не подозревая, внимательно смотрели на него. Он снова посмотрел на часы. Потом... Едва взяв в руки учебник, начал как попало читать дальше.

Может быть, и потом морское путешествие в учебнике было скучным. Но в метод, каким он обучал, Ясукиги верит и поныне. Ясукиги был преисполнен отваги больше, чем парусник, борющийся с тайфуном.

Доблестный часовой

Конец осени или начало зимы — точно не помню. Во всяком случае, это было время, когда в школу ходили в пальто. Все сели за обеденный стол, и один молодой преподаватель-офицер рассказал сидевшему рядом с ним Ясукиги о недавнем происшествии.

— Глубокой ночью два-три дня назад несколько вооруженных бандитов пристали на лодке к берегу позади училища. Заметивший их часовой, который нес ночную вахту, попытался в одиночку задержать их. Но после ожесточенной схватки бандитам удалось уплыть обратно в море. Часовой же, промокнув до нитки, кое-как выбрался на берег. А лодка с бандитами в это время скрылась во мраке. Часового зовут Оура. Остался в дураках.

Офицер грустно улыбался, набивая рот хлебом.

Ясукиги тоже знал Оуру. Часовые, их несколько, сменяясь, сидят в караульной около ворот. И каждый раз, когда входит или выходит преподаватель, независимо от того, военный он или штатский, они отдают честь. Ясукиги не любил, чтобы его приветствовали, и сам не любил приветствовать. Поэтому, проходя через караульную, изо всех сил ускорял шаг, чтобы не оставить времени для приветствия. Ему не удавалось усыпить бдительность лишь одного Оуры. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривает расстояние в пять-шесть кэннов перед воротами. Поэтому, как только появляется фигура Ясукиги, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивается в приветствии. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов Ясукиги примирился с этим. Нет, не толь-

ко примирился. Стоило ему увидеть Оуру, как он, чувствуя себя, точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу.

И вот сейчас Ясукити услышал, что из-за бандитов Оуре пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки.

Через пять-шесть дней в зале ожиданий на вокзале Ясукити столкнулся с Оурой. Увидев его, Оура, хотя место было совсем не подходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукити даже померещился за ним вход в караульную.

— Ты недавно... — начал после непродолжительного молчания Ясукити.

— Да, не удалось бандитов задержать...

— Трудно пришлось?

— Счастье еще, что не ранили... — С горькой улыбкой, точно насмехаясь над собой, Оура продолжал: — Да что там, если бы я очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал. Ну, хорошо, задержал, а дальше что?

— Как это что дальше?

— Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких случаях.

— Даже если погибнешь на посту?

— Все равно, даже если и погибнешь.

Ясукити взглянул на Оуру. По его собственным словам выходило, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукити, вынимая сигарету, сочувственно кивнул:

— Действительно, дурацкое положение. Рисковать задаром нет никакого резона.

Оура понимающе хмыкнул. Выглядел он необычайно мрачным.

— Вот если бы давали награду...

Ясукити спросил угрюмо:

— Ну, а если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь.

На этот раз Оура промолчал. Ясукити взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукити. Ясукити, приближая сигарету к красному кольцу-щемусю огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ.

— Благодарю.

— Ну что вы, пожалуйста.

Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ею для богов, которых он призывал в свидетели его верности бусидо.

Апрель 1923 г.

ПОКЛОН

Ясукити совсем недавно исполнилось тридцать лет. Как и всякий литературный поденщик, он ведет жизнь, суматошную до головокружения, у него едва хватает времени подумать о завтрашнем дне, а о вчерашнем он почти никогда не вспоминает. Но один случай из прошлого отчетливо встает в памяти — идет ли Ясукити по улице, сидит ли за работой, едет ли в электричке. Ясукити знает по опыту, что это результат ассоциации, вызванной знаковыми запахами, точнее говоря — зловонием, этим бедствием городской жизни. Вряд ли кому-нибудь нравится вдыхать, например, паровозную копоть. Но стоило Ясукити ощутить ее запах, как в нем вспыхивало, подобно искрам, вылетающим из трубы, воспоминание об одной встрече, происшедшей лет пять-шесть назад.

Впервые он увидел эту девушку на одной дачной станции, где он жил в то время, вернее, на перроне этой станции. В любую погоду, будь то дождь или ветер, он уезжал утром восьмичасовым поездом, который шел из Токио, а вечером, в четыре двадцать, возвращался домой. Зачем он это делал — в конце концов, не важно. Но если каждый день в одно и то же время ждешь электричку, то, конечно, появляется по крайней мере с дюжину знакомых лиц. Одно из этих лиц принадлежало той самой девушке. Он, однако, хорошо помнил, что ни разу не видел ее в предвечерние часы, по крайней мере, с новогодних праздников и примерно до двадцатых чисел марта, а утренним поездом на Токио, которым ездила девушка, Ясукити не пользовался.

Девушке было лет шестнадцать — семнадцать. На ней всегда был неизменный серебристо-серый костюм, точно

такая же шляпка, серебристо-серые чулки и туфли на высоком каблучке. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны были ноги, изящные, как у лани. Ее нельзя было назвать красавицей. Но ведь даже среди героинь современных романов, будь то западных или восточных, Ясукиги ни разу не встречал безупречных красавиц. В описании женщин каждый писатель почему-то считал своим долгом оговориться: «Она не была красивой. Однако...» — будто признание красоты могло повредить престижу современного человека. Поэтому не удивительно, что и Ясукиги, думая о девушке, мысленно делал такую оговорку. И так, ее нельзя было назвать красавицей. Она была просто мила, круглолица, с чуть вздернутым носиком.

Девушка то стояла с рассеянным видом в шумной толпе, то, сидя на скамейке, читала что-нибудь, то медленно прогуливалась по платформе. При виде девушки Ясукиги не испытывал ни сердцебиения, ни какого-либо особого волнения, как это бывает в любовных романах. Просто он мысленно отмечал: «А вот и она», — как делал это, заметив командующего военно-морским округом или кошку в лавчонке. Короче говоря, девушка была для него просто знакомым лицом, к которому он питал дружеское расположение. И если случалось, что ее не было на платформе, он ощущал нечто похожее на разочарование, словно ему чего-то не хватало. Примерно такое же чувство он испытал однажды, когда исчезла на несколько дней кошка из лавки. Пожалуй, еще меньше взволновало бы Ясукиги известие о смерти командующего военно-морским округом или о другой постигшей его беде.

Это случилось в один из теплых сырых пасмурных дней конца марта. Ясукиги, как всегда, ехал с работы в поезде токийского направления, приходившем на станцию в четыре двадцать. Видимо, он сильно устал, потому что в вагоне не читал, как обычно, а сидел, прислонившись к окну, и смотрел на весенние горы и поля. Вдруг он вспомнил, что в одном из европейских романов шум поезда, бегущего по равнине, был передан так: «Тратата, тратата», а стук колес по железнодорожному мосту — «Трарарах-трарарах». Если слушать не очень внимательно, может показаться, что это и в самом деле так. Да, все это Ясукиги помнил.

Прошло тридцать томительных минут, и Ясукиги на-

конец сошел с поезда на уже известной читателю дачной платформе. Там стоял поезд из Токио, пришедший немного раньше. Ясукити смешался с толпой и вдруг среди выходящих из этого поезда увидел девушку. Никогда раньше он не встречал ее здесь в это время дня. И вот сейчас она совсем неожиданно появилась перед ним, серебристо-серая, как облако, пронизанное солнечным светом, как ветка серебристой ивы. Ясукити опешил. Кажется, девушка в этот момент тоже взглянула на него. Он даже был в этом уверен. И тут Ясукити, сам того не ожидая, поклонился ей.

Девушка растерялась. К сожалению, он не помнил, какое у нее было тогда выражение лица, да и не до того ему было. «Что я наделал!» — мелькнуло у него в голове, и он тотчас почувствовал, как горят у него уши. Но он хорошо помнил, что девушка ответила на поклон.

Наконец он вышел со станции, продолжая злиться на себя за свою глупость. Что это он вдруг поклонился? Это получилось произвольно. Так человек моргает, когда неожиданно сверкнет молния. А за поступок, совершенный помимо воли, никто не несет ответственности. Но все же что она подумала о нем? Да, ведь она ему кивнула. Быть может, тоже произвольно? Быть может, она считает Ясукити скверным мальчишкой? Надо было сразу же извиниться перед ней за дерзость. И то, что ему даже не пришло это в голову...

Не заходя домой, Ясукити пошел на взморье, там было тихо и пустынно. Когда ему становилась постылой его комната, которую он снимал за пять иен в месяц, пятидесятиэновые завтраки и вообще весь мир, он приходил на этот песчаный берег подышать своей трубкой из Глазго. Это случалось с ним довольно часто. Вот и сегодня, глядя на пасмурное море, он прежде всего поднес спичку к трубке. Сделанного не поправишь. Но ведь завтра он снова увидит эту девушку. Как она поведет себя? Быть может, не удостоит даже взглядом? Или снова ответит па поклон, если не считает его скверным мальчишкой? На его поклон? Неужели он — Ясукити Хорикава — намерен как ни в чем не бывало еще раз поклониться этой девушке? Нет, он не сделает этого. Но ведь сегодня он это сделал, и, возможно, при случае он и девушка снова обменяются приветствиями. Допустим, что это так... Ясукити вдруг вспомнил, какие красивые у нее брови...

С тех пор прошло лет семь или восемь, но Ясукиги удивительно отчетливо помнит, как спокойно было тогда море. Он долго стоял на берегу, рассеянно глядя на его неподвижную поверхность, трубка давно погасла. Сначала он размышлял о девушке, потом мысли его перешли на задуманный им новый роман. Героем его будет учитель английского языка, проникнутый революционным духом. У него твердый характер, он никогда ни перед кем не склоняет головы... Но вот однажды он нечаянно поклонился одной девушке, которую знал в лицо. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны ноги в серебристо-серых чулках и туфельках на высоком каблуке. Видимо, девушка не выходила из головы Ясукиги.

На следующее утро, без пяти восемь, Ясукиги ходил по перрону, заполненному людьми, и в смятии ждал появления девушки. Он был бы рад избежать встречи и в то же время желал ее. Так чувствует себя боксер накануне матча с сильным противником. Ясукиги одолевало какое-то странное беспокойство, он боялся, что совершит опрометчивый поступок. Ведь поцеловал же когда-то при всех Жан Ришпен Сару Бернар. Ясукиги — японец и на такую дерзость не отважится. Но показать язык или соорудить гримасу — на это он способен. Ощущая в сердце холодок страха, он исподтишка посматривал на людей. И наконец увидел девушку — она неторопливо шла прямо к нему. Ясукиги тоже продолжал идти, будто навстречу самой судьбе. Они быстро приближались друг к другу. Десять шагов, пять шагов, три шага — вот они поравнялись. Ясукиги посмотрел ей в глаза. Девушка спокойно, даже бесстрастно ответила на его взгляд. Они уже готовы были разминуться, как совершенно незнакомые друг другу люди.

Но в это мгновение Ясукиги уловил какое-то движение в глазах девушки, и ему неудержимо захотелось поклониться. Все это произошло буквально в один миг. Похожая на серебристое облако, пронизанное солнцем, на ветку серебристой ивы, девушка медленно прошла мимо, а он, мысленно ахнув, остался на месте...

Минут двадцать спустя Ясукиги, с английской трубкой в зубах, трясся в поезде. У девушки были красивы не только брови, но и глаза, черные и ясные... И чуть вздернутый нос... Неужели это любовь? Он не помнит, как ответил тогда сам себе на этот вопрос. Помнит лишь ощу-

щение охватившей его смутной тоски. Следя за стружкой дыма, поднимавшейся из трубки, он с грустью неотрывно думал о девушке. А поезд неся и неся по ущелью в горах, освещенных утренним солнцем.

«Тратата, тратата, тратата, трарарах».

Сентябрь 1923 г.

А-БА-БА-БА-БА

Ясукиги знал хозяина этой лавки очень давно.

Очень давно — кажется, с того самого дня, когда его перевели сюда в морской корпус. Он случайно зашел купить коробку спичек. В лавке была маленькая витрина; за стеклом, вокруг модели крейсера «Микаса» с адмиральским вымпелом, стояли бутылки кюрасо, банки какао и коробки с изюмом. Но над входом висела вывеска с красной надписью «Табак», значит, конечно, должны быть в продаже и спички. Ясукиги заглянул в лавку и сказал: «Дайте коробку спичек». Неподалеку от входа за высокой конторкой стоял со скучающим видом косоглазый молодой человек. При виде посетителя он, не отодвигая счетов, не улыбувшись, ответил:

— Возьмите вот это. Спички, к сожалению, все вышли.

«Вот это» было крошечной коробочкой, какие дают в приложение к папиросам.

— Мне, право, неудобно... Тогда дайте пачку «Асахи».

— Ничего. Берите.

— Нет уж, дайте пачку «Асахи».

— Берите же, если она вам годится. Незачем покупать то, что не нужно.

Слова косоглазого были, несомненно, вполне любезны. Но его тон и лицо выражали удивительную неприветливость. И попросту ужасно не хотелось у него что-либо брать. А повернуться и уйти было как-то неловко. Ясукиги волей-неволей положил на конторку медную монетку в один сэн.

— Ну, так дайте две таких коробочки.

— Пожалуйста, хоть две, хоть три. Только платить не надо.

К счастью, в эту минуту из-за рекламы «Кинсэн-сай-

да», висевшей у двери, показался приказчик — прыщеватый малый с неопределенным выражением лица.

— Спички здесь, хозяин.

Внутренне торжествуя, Ясукити купил коробку спичек нормального размера. Стоили они, разумеется, один сэн. Но никогда еще спички не казались ему такими красивыми. А торговая марка — парусник на треугольных волнах — была так хороша, что хоть вставляй в рамку. Бережно опустив спички в карман брюк, Ясукити с чувством одержанной победы вышел из лавки.

С тех пор в течение полугода Ясукити по пути в корпус и обратно часто заходил в эту лавку. И теперь еще, закрыв глаза, он мог отчетливо ее себе представить. С потолочной балки свешивается камакурская ветчина. Через окно в мелком переплете падает на оштукатуренную стену зеленоватый солнечный свет. Бумажки, валяющиеся на дощатом полу, — это рекламы сгущенного молока. На столбе прямо напротив входа висит под часами большой календарь. И остальное — крейсер «Микаса» на витрине, реклама «Кинсэн-сайда», стул, телефон, велосипед, шотландское виски, американский изюм, манильские сигары, египетские папиросы, копченая сельдь, жаренная в сое говядина — почти все сохранилось в памяти. Особенно выставлявшаяся из-за высокой конторки надутая физиономия хозяина, на которого он насмотрелся до отвращения. Не только насмотрелся. Он знал до мелочей все его привычки и повадки: как он кашляет, как отдает распоряжения приказчику, как уговаривает покупателя, зашедшего за банкой какао. «Возьмите лучше не «Фрай», а это. Это голландское «Дрост». Знать все это было неплохо. Но, уж конечно, очень скучно. И иногда, когда Ясукити заходил в эту лавку, ему начинало казаться, что он служит учителем уже давным-давно. На самом же деле он не прослужил еще и года.

Но всемогущие перемены не обошли и этой лавки. Както утром в начале лета Ясукити зашел купить папирос. В лавке все было как обычно, все так же на обрызганном полу валялись рекламы сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за конторкой сидела женщина, причесанная по-европейски. Лет ей было, вероятно, девятнадцать. Еп фасе она походила на кошечку. На белую кошечку, которая щурится на солнце. Изумляясь, Ясукити подошел к конторке.

— Две пачки «Асахи».

— Сейчас.

Женщина ответила смущенно. Вдобавок подала она ему не «Асахи»: обе пачки были «Микаса» с изображением восходящего солнца на оборотной стороне. Ясуцити невольно перевел взгляд с пачек на личико женщины. И сейчас же представил себе, что у нее под носиком торчат длинные кошачьи усы.

— Я просил «Асахи», а это «Микаса».

— Ох, в самом деле! Извините, пожалуйста.

Кошечка — нет, женщина — покраснела. Это ее душевное движение было чисто девическим. И не таким, как у современной барышни. Это была девушка во вкусе «Кэньюся», каких нет уже лет пять-шесть. Шаря в кармане в поисках мелочи, Ясуцити вспомнил «Сверстников», свертки в двухцветных фуросики, ирисы, квартал Рёгоку, Кабураги Киёкату и многое другое. Тем временем женщина старательно искала под конторкой «Асахи».

Тут из внутренней двери показался прежний косоглазый хозяин. Увидев «Микаса», он с первого взгляда уяснил себе положение. С обычным своим кислым выражением лица он опустил руку под конторку и протянул Ясуцити две пачки «Асахи». Но в глазах у него, хоть и едва заметно, теплилось что-то похожее на улыбку.

— Спичек?

Глаза женщины томно сощурились, точно у кошечки, готовой замурлыкать. Хозяин, не отвечая, только слегка кивнул, женщина моментально положила на конторку маленькую коробочку спичек. Потом еще раз смущенно засмеялась.

— Извините, пожалуйста...

Извинялась она не только за то, что дала «Микаса» вместо «Асахи». Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясуцити почувствовал, что улыбается сам.

С тех пор, когда бы он ни пришел, женщина сидела за конторкой. Впрочем, она уже не была причесана по-европейски, как в первый раз. Теперь волосы у нее были уложены в большой узел «марумагэ» с аккуратно проде-той красной лентой. Но с покупателями она обращалась все так же неумело. Мешкала с ответом. Путала товары. Вдобавок по временам краснела. Она совсем не была похожа на хозяйку. Ясуцити понемногу начинал питать к ней симпатию. Это не значило, что он влюбился. Просто ему правилась ее застенчивость.

Как-то в томительный зной, под вечер, Ясукити по пути из корпуса зашел в лавку за банкой какао. Женщина и на этот раз сидела за конторкой, читая журнал «Кодан-курабу». Ясукити спросил прыщеватого приказчика, нет ли какао марки «Ван Гутен».

— Сейчас есть только такое.

Приказчик протянул ему банку «Фрай». Ясукити окинул взглядом лавку. Среди фруктовых консервов оказалась банка с маркой, изображающей европейскую монахиню.

— А вон там, кажется, есть «Дрост»?

Приказчик оглянулся на указанную полку, и лицо его выразило растерянность.

— Да, это тоже какао.

— Значит, есть не только такое?

— Нет, только такое... Хозяйка, какао у нас только «Фрай»?

Ясукити оглянулся на женщину. Лицо женщины, слегка сощурившей глаза, было красивого зеленого оттенка. В этом не было ничего удивительного — лучи вечернего солнца падали в лавку через цветные стекла окна в мелком переплете. Не снимая локтя с журнала, женщина, как обычно, с запинкой ответила:

— Я думала, что осталось только такое, но...

— Видите ли, в какао «Фрай» иногда попадают черви, — серьезным тоном заговорил Ясукити. На самом деле ему ни разу не случалось видеть какао с червями: просто он был уверен, что сказать так — верный способ убедить, имеется ли какао «Ван Гутен». — И попадают довольно крупные. С мизинец...

Женщина чуть-чуть испуганно перегнулась за конторку.

— А вон там не осталось ли? На задней полке?

— Только красные банки. Здесь других нет.

— Ну, а тут?

Постукивая своими гэта, женщина вышла из-за конторки и принялась с беспокойством искать по лавке. Растерянному приказчику тоже волей-неволей пришлось посмотреть среди консервов. Ясукити, закурив папиросу, с расстановкой говорил для ободрения:

— А если таким червивым какао напоить детей, то у них разболится живот. (Он снимал на даче комнату совершенно один.) Да что там дети — жена тоже раз по-

страдала. (Никакой жены у него, разумеется, не было.) Так что не подумайте, что я чересчур осторожен...

Ясукити вдруг замолчал. Женщина, вытирая руки передником, в замешательстве смотрела на него.

— Право, не могу найти...

В глазах ее была робость. Губы силились улыбнуться. Особенно забавно было, что на носу у нее выступили капельки пота. Встретившись с ней глазами, Ясукити вдруг почувствовал, что в него вселился злой бес. Эта женщина была точь-в-точь как мимоза. На каждое раздражение она реагировала именно так, как он ожидал. И раздражение это могло быть совсем простым. Достаточно было пристально посмотреть ей в лицо или тронуть ее кончиком пальца. Одного этого было бы довольно, чтобы она поняла, чего хочет Ясукити. Как бы она поступила, поняв, чего он хочет, это, разумеется, оставалось неизвестным. А вдруг она не даст отпора?.. Нет, кошку можно у себя держать. Но ради женщины, похожей на кошечку, отдавать душу во власть злого беса не очень-то разумно. Ясукити выбросил недокуренную папиросу и вышвырнул вселившегося в него беса. Бес от неожиданности перекувырнулся и попал в нос приказчику — и приказчик, не успев вернуться, несколько раз подряд громко чихнул.

— Ничего не поделаешь. Дайте банку «Дрост».

Ясукити с кривой улыбкой стал шарить в кармане, ища мелочь.

После этого у Ясукити с ней не раз повторялся тот же разговор. К счастью, сколько он помнил, это был единственный раз, когда в него вселился бес. Более того, как-то раз Ясукити даже почувствовал, что на него слетел ангел.

Однажды поздней осенью Ясукити, зайдя под вечер за папиросами, решил заодно воспользоваться в лавке телефоном. Перед лавкой на самом солнце хозяин возился с велосипедом, накачивая шину. Приказчик, по-видимому, ушел по поручениям. Женщина, сидя, как обычно, за конторкой, приводила в порядок какие-то счета. Во всей этой неизменной обстановке лавки не было ничего неприятного. Все здесь дышало мирным счастьем, как жанровая картина голландской школы. Стоя позади женщины с телефонной трубкой у уха, Ясукити вспомнил свою любимую репродукцию Де Хуга.

Однако, сколько он ни звонил, он никак не мог добиться соединения с нужным номером. Мало того, телефонист-

ка, переспросив раза два: «Номер?» — вдруг совсем замолкла. Ясуцити звонил снова и снова. Но в трубке только потрескивало. Тут уж ему стало не до того, чтобы вспоминать Де Хуга, Ясуцити вытащил из кармана «Руководство по социализму» Спарго. К счастью, возле телефонного аппарата был ящичек, служивший чем-то вроде подставки для книг. Ясуцити положил на него книгу и, пока глаза бегали по строкам, рука его, как только можно было медленно, упорно крутила ручку телефона. Это был его метод войны с упрямой телефонисткой. Как-то, подойдя к телефону-автомату на Гиндзе-Овари-тё, он, прежде чем дозвониться, успел прочесть всего «Сабаси Дзингоро». И на этот раз он намеревался не отнимать руки от звонка, пока не добьется ответа телефонистки.

Пока он, основательно разругавшись с телефонисткой, наконец поговорил по телефону, прошло минут двадцать. Желая поблагодарить, Ясуцити оглянулся на прилавок. Но за прилавком никого не было. Женщина стояла у дверей и разговаривала с мужем. Хозяин, видимо, все еще возился со своим велосипедом на осеннем солнце. Ясуцити направился к выходу, он невольно замедлил шаги. Женщина, стоя спиной к нему, спрашивала мужа:

— Давеча один покупатель хотел купить подменный кофе — что такое подменный кофе?

— Подменный кофе? — Хозяин разговаривал с женой тем же неприветливым тоном, что и с покупателями. — Ты, наверно, ослышалась: ячменный кофе.

— Ячменный кофе? А, кофе из ячменя! То-то я думала — смешно: подменного кофе в бакалее не бывает.

Ясуцити стоял в лавке и смотрел на эту сцену. Тут-то он и почувствовал, как слетел ангел. Ангел пролетел под потолком, с которого свешивался окорок, и осенил благословием этих двух ничего не подозревавших людей. Правда, от запаха копченых селедок он слегка поморщился... Ясуцити вдруг сообразил, что забыл купить копченых селедок. Их жалкие тушки грудой высились перед самым его носом.

— Послушайте, дайте мне этих селедок.

Женщина сразу же обернулась. Это было как раз в ту минуту, когда она уразумела, что подменного кофе в бакалее не бывает. Несомненно, она догадалась, что ее разговор был услышан. Не успела она поднять глаз, как ее лицо, похожее на кошачью мордочку, залилось краской смущения. Ясуцити, как уже упоминалось, и раньше не

раз замечал, что она краснеет. Но такой пунцовой, как сейчас, он еще не видел ее никогда.

— Селедок? — тихо переспросила женщина.

— Да, селедок, — на этот раз особенно почтительным тоном ответил Ясукиги.

После этого случая прошло месяца два, был январь следующего года. Женщина вдруг куда-то исчезла. Исчезла не на несколько дней. Когда бы Ясукиги ни заходил, в лавке у старой печки со скучающим видом сидел в одиночестве косоглазый хозяин. Ясукиги чувствовал, что ему чего-то не хватает, и строил разные догадки о причинах исчезновения хозяйки. Но обратиться к намеренно нелюбезному хозяину с вопросом: «Ваша супруга?..» — он не решался. В самом деле, он не только никогда ни о чем не говорил с хозяином, но даже к этой застенчивой женщине обращался только со словами: «Дайте то-то или то-то».

Тем временем замерзшие дороги начинало то день, то два подряд пригревать солнце. Но женщина все не показывалась. В лавке вокруг хозяина витал дух запустения. Понемногу Ясукиги перестал замечать отсутствие хозяйки...

Как-то вечером в конце февраля, только что закончив урок английского языка, Ясукиги, обвеваемый теплым южным ветром, случайно проходил мимо лавки. За витриной, сверкая в электрическом свете, рядами стояли бутылки с европейскими винами и банки с консервами. В этом, разумеется, не было ничего необычного. Но вдруг он заметил, что перед лавкой стоит женщина с младенцем на руках и лепечет какой-то вздор. Из лавки на улицу падала широкая полоса света, и Ясукиги сразу узнал, кто эта молодая мать.

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Она прохаживалась перед лавкой и забавляла младенца. Покачивая его, она вдруг встретилась глазами с Ясукиги. Ясукиги мгновенно представил себе, как в ее глазах появится робость и как, заметно даже в темноте, покраснеет ее лицо. Однако женщина оставалась безмятежной. Глаза ее тихо улыбались, на лице не было и тени смущения. Мало того, в следующее мгновение она опустила глаза на младенца и, не стесняясь чужих глаз, повторила:

— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...

Миновав женщину, Ясукиги, сам того не замечая, горько засмеялся. Это уже была не «та женщина». Это была просто обыкновенная добрая мать. Страшная мать, одна

из тех матерей, которые, когда дело идет об их ребенке, во все века готовы были на любое злодейство. Разумеется, пусть ей эта перемена принесет всяческое счастье. Но вместо девушки-жены обнаружить наглуго мать... Шагая дальше, Ясукиги рассеянно смотрел в небо над крышами. На небе, под которым веял южный ветер, слабо серебрилась круглая весенняя луна.

Ноябрь 1923 г.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ

Я лежу в тростниковом шезлонге. По-видимому, на палубе. Перед глазами перила, а за ними в серых волнах что-то поблескивает, кажется, летающие рыбы. Но зачем я сел на пароход? Этого, как ни странно, я не помню. Еду ли я один или с кем-нибудь — и об этом у меня самое туманное представление.

Туман... Морская даль в тумане, она как бы подернута дымкой. Мне лень шевелиться, но я хочу рассмотреть, что там за этой дымкой. И тут, будто вызванные усилием моей воли, впереди возникают очертания острова. В центре, придавая острову конусообразную форму, сгрудились горы. Довольный результатом, я еще раз напрягаю волю. Но напрасно, я по-прежнему вижу только нечеткие контуры острова. На этот раз воля не помогла.

Тут я услышал справа от себя чей-то смех.

— Ха-ха-ха, не получилось? Воля не подействовала, да? Ха-ха-ха!

Рядом со мной в тростниковом кресле сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, хотя и в морщинах, все еще красиво. Старик одет по моде восемнадцатого века, и кажется, будто сошел с картины Хогарта. На нем шляпа с серебряными полями, так называемая *socked hat*¹, расшитая рубашка и панталоны чуть ниже колен. Волосы ниспадают на плечи, но это не его волосы. Он в парике цвета конопля, присыпанном какой-то мукой. Я был так поражен, что даже ничего не ответил.

— Возьмите мою подзорную трубу. Через нее хорошо видно.

И старик с недоброй усмешкой протянул мне старую

¹ Треуголка (англ.).

подзорную трубу. Похоже, что раньше она была в каком-то музее.

— О-о, тэнкс.

Я непроизвольно перешел на английский. Но старик продолжал говорить на безупречном японском языке, указывая в сторону острова рукой в манжете, из-под которого виднелись похожие на пену кружева.

— Этот остров называется Суссанрап. Как пишется? Извольте: Sussanrap. Его стоит посмотреть. Наш пароход простоит здесь дней пять-шесть, непременно совершите поездку по острову. Там есть и университет и храм. Особенно великолепен остров в базарные дни, когда туда съезжаются многочисленные жители с соседних островов.

Пока старик говорил, я смотрел в подзорную трубу. В поле зрения попал город, расположенный на берегу острова. Видны ряды чистых домиков. Ветер качает верхушки деревьев. Высится храм. Дымка исчезла. Все отчетливо видно. Восхищенный увиденным, я поднял подзорную трубу немного выше... И чуть не вскрикнул от удивления.

В безоблачное небо уходит похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного. Но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами: капустой, помидорами, луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имбирем. Самыми различными овощами. Покры... Да нет. Она сложена из них. Удивительная овощная пирамида!

— Это... Это что такое?

Не выпуская из рук подзорной трубы, я оборачиваюсь к старику. Но его уже нет. Только газета лежит на тростниковом кресле... Неожиданно я почувствовал, что кровь отливает от головы, и опять впал в какое-то тяжелое забытье.

* * *

— Ну как, осмотрели остров?

И старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной.

Мы в гостинице. В необычно просторном зале, обставленном в стиле secession.

Я сижу на диване в углу зала и курю первосортную «гавану».

Сверху свисают побеги тыквы, растущей в горшке. Среди закрывающих горшок широких листьев видны распустившиеся желтые цветы.

— Да, осмотрел. Сигару?

Но старик покачал головой, как ребенок, и достал старинную табакерку слоновой кости. Я видел такую где-то в музее. Да, стариков, как этот, нет теперь на Западе, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомить с ним Сато Харуо! Вот бы удивился!

— Как только выходишь за город, начинаются огороды, — продолжал я.

— Большинство населения Суссанрапа выращивает овощи. Этим занимаются и мужчины и женщины.

— Наверное, на овощи большой спрос?

— Они продают их жителям близлежащих островов. Но, конечно, продается не все. Остатки сваливаются в кучу. Вы, наверное, видели гору тысяч в двадцать футов вышиной?

— Неужели все это непроданные остатки, эта овощная пирамида?

Я мог только, глядя на старика, хлопать от удивления глазами. А старик не переставал загадочно улыбаться.

— Да, это все остатки. Причем скопившиеся только за последние три года. А если бы собрать и за прежние годы, овощами можно было бы засыпать Тихий океан. Но жители Суссанрапа продолжают выращивать овощи. Они не знают покоя ни днем ни ночью. Ха-ха-ха! Вот и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они трудятся не покладая рук. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Невесело посмеиваясь, старик достал пахнущий жасмином носовой платок. Это был не простой смех. Он напоминал смех сатаны, издевающегося над людской глупостью. Я нахмурился и перевел разговор на другую тему.

— Скажите, когда здесь бывает базар?

— В начале каждого месяца. Но это обычные базары. А три раза в год, — в январе, апреле и сентябре — устраиваются еще большие базары. Самый большой — в январе.

— Наверное, перед большими базарами на острове царит оживление?

— Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. Используются фосфатные удобрения и жмыхи, овощи помещают в теплицы, подключают электрический ток... Всего не расскажешь. Бывает и так, что, стремясь как можно скорее вырастить овощи, люди губят их.

— Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал мужчина с обезумевшим лицом и кричал: «Не успею, не успею».

— Вполне возможно. Ведь скоро новогодний базар. Городские торговцы тоже сбились с ног.

— Городские торговцы?

— Да, те, кто занимается торговлей овощами. Торговцы покупают овощи, которые выращивают деревенские жители на своих огородах, а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у этих торговцев. Таков здешний порядок.

— Наверное, это и был торговец. Толстый мужчина с черным портфелем в руках. Все приговаривал: «Плохо дело, плохо дело». А какие овощи здесь самые ходкие?

— На то воля божья. Точно сказать трудно. Каждый год положение меняется, а почему — неизвестно.

— Но, видимо, те, что лучше качеством, лучше и расходятся?

— Да как вам сказать. Здесь ведь качество обычно определяют калеки.

— Почему же калеки?

— Очень просто. Калеки в огородах не работают, стало быть, овощей не выращивают и потому при определении их качества могут быть беспристрастными. Как в японской пословице: кто смотрит с холма, видит в восемь глаз.

— Значит, то был один из таких калек. Я слышал, какой-то бородатый слепец, поглаживая не очищенный от земли клубень ямса, говорил: «Цвет этого овоща неопикуемо красив. В нем совмещаются цвета розы и ясного неба».

— Да, наверно. Слепой — это, конечно, неплохо. Но идеальным считается полный калека — человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук, ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится *arbiter elegantiarum*¹. Нынешний фаворит вполне удовлетворяет этим требованиям, у него сохранилось только обоняние. Говорят, что недавно ему залили ноздри жидким каучуком, но он все же немного различает запахи.

¹ Знаток всего изящного (*лат.*). — Так в Древнем Риме называли Петрония. Употребляется в значении «законодатель хорошего вкуса».

— Ну, а что же происходит потом, когда калеки определяют, какие овощи хорошие и какие нет?

— Ничего. Сколько бы калеки ни ругали какой-нибудь овощ, его как покупали, так и покупают.

— Стало быть, все зависит от вкуса торговцев?

— Торговцы покупают только овощи, на которые, они предполагают, будет спрос. Но пользуются ли спросом именно хорошие овощи...

— Подождите. Если так, то тогда ведь нельзя полагаться на мнение калек?

— Так, в сущности, и поступают те, кто выращивает овощи. Но и у них нет единого мнения о качестве овощей. Одни, например, считают, что качество овощей определяется их питательностью. По мнению других, качество зависит только от вкуса. Но и это не все.

— Как, дело обстоит еще сложнее?!

— Да, разногласия заходят еще дальше. Считают, например, что овощи без витаминов не питательны или что питательны только те, что содержат масла, что вкус моркови не годится или что приемлем только вкус редьки, и так далее.

— Значит, есть два критерия, и в каждом из них имеются различные вариации. Не так ли?

— Совсем не так. Вот вам пример. По мнению некоторых, существует цветовой критерий. Это деление цветов на теплые и холодные, о чем говорится во введениях в эстетику. Сторонники этого критерия требуют признания овощей теплых цветов — красных и желтых. А на овощи холодного зеленого цвета они смотреть не хотят. Их лозунг — умрем или заменим все овощи помидорами.

— В самом деле, я слышал это от героического вида мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей.

— Вот-вот. Эти овощи теплых цветов называют пролетарскими.

— Но в куче перед ним были навалены одни огурцы и дыни...

— Стало быть, он дальтоник. Они только ему кажутся красными.

— А как же овощи холодных цветов?

— Некоторые жители считают, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, эти люди лишь насмеваются, речей они не произносят. Но в душе все они ненавидят овощи теплых цветов.

— Им мешает малодушие?

— Нет, они не столько не хотят, сколько не могут проносить речей. От пьянства или сифилиса у них прогнили языки.

— Да-да, недалеко от героя в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, насмешливо повторял; «Опять эти речи».

— Собирая зеленые тыквы, не так ли? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными.

— Что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи...

— По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на овощи, которые выращивает он сам, хорошо, а что не похоже — плохо. Во всяком случае, в этом они твердо уверены.

— Но есть ведь университет? Говорят, что профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих не так уж трудно.

— Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о суссанрапских овощах, не могут отличить гороха от диких бобов. Впрочем, сведения о местных овощах до первого века все же проникают в лекции.

— Какие же овощи им известны?

— Английские, французские, итальянские, русские... Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непременно сходите разок в университет. Когда я в прошлый раз приезжал сюда, я был на такой лекции. Профессор в пенсне, показывая заспиртованный в банке старый русский огурец, изливал поток красноречия: «Взгляните на суссанрапские огурцы. Все они зеленые. А вот огурцы великой России не имеют этого примитивного цвета. Их цвет совершенен, он подобен цвету жизни. О-о, огурцы великой России...» От избытка впечатлений я полмесяца пролежал в постели.

— Стало быть... Стало быть, как вы и говорите, вывод может быть один: есть ли спрос на тот или иной овощ — на то воля божья.

— Да, иного вывода быть не может. Но должен вам сказать, население этого острова поклоняется Бабрабаде.

— Что это такое, Баббураббу или как его там?

— Бабрабада. Пишется: Babrabbada. Разве вы не видели? Там, в храме...

— А-а, изображение ящерицы с головой свиньи?

— Это не ящерица. Это правящий вселенной Хамелеон. Сегодня тоже у его изображения многие люди отвешивали поклоны. Молящиеся просили, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь судя по газетам, все универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после получения пророчества Хамелеона. Можно даже сказать, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к Хамелеону.

— В храме перед алтарем были навалены овощи...

— Это все жертвоприношения. Суссанрапскому Хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году.

— Но в Японии...

— Извините, вас зовут.

Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, последнее время страдающего полипами. Я неохотно поднялся и протянул старику руку:

— Позвольте мне откланяться.

— Ну что же. Буду рад побеседовать с вами еще. Вот моя визитная карточка.

Пожав мою руку, старик спокойно протянул мне визитную карточку. Посредине карточки четкими буквами было напечатано: Лэмуэль Гулливер. С открытым от удивления ртом я уставился на старика. Его лицо с правильными чертами, обрамленное локонами цвета конопли, улыбалось вечной иронической улыбкой. Но это длилось какое-то мгновение. На месте лица старика возникло лицо моего пятнадцатилетнего сорванца-племянника.

— Просят рукопись. Вставай. Пришли за рукописью.

Племянник будил меня. Я проспал минут тридцать, пригревшись у котачу. А на котачу лежала книга «Gulliver's Travel»¹, которую я начал было читать.

— Пришли за рукописью? За какой рукописью?

— За очерком.

— Очерком? — И я непроизвольно сказал вслух: — Похоже, что на овощном базаре Суссанрапа будет продаваться и сорная трава.

Декабрь 1923 г.

¹ «Путешествие Гулливера» (англ.).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА

Это случилось на четвертом году Бунсэй, в декабре. Вассал князя Харунаги, властителя Каги, охранник Хосон Санэмон, получавший на княжеской службе шестьсот коку риса в год, убил юного Кадзуму, младшего сына Кинугасы Тахэя, такого же охранника, как и сам Санэмон. При чем убил не в честном поединке — однажды, когда Санэмон, возвращаясь с поэтического собрания, проходил в начале часа Пса мимо конского ристалища, Кадзума набросился на него с мечом, однако сам же и пал от его руки.

Весть о происшествии дошла до князя, и Харунага приказал Санэмону явиться пред княжеские очи. Подобное приказание никого не удивило.

Во-первых, князь Харунага известен был как человек мудрый. А следовательно, все важные решения принимал сам, не допуская к тому своих вассалов. Пока не вникнет в суть дела, пока сам как следует не рассудит, до тех пор не успокоится... Вот, к примеру, история двух его сокольников: одного князь наградил, другого покарал. Из истории этой отчасти видно, что за человек был Харунага, а потому будет нелишним вкратце изложить ее здесь.

Как-то раз один из сокольников, в обязанность коему вменялось следить за перелетными птицами для княжеской соколиной охоты, доставил известие, что на рисовые поля деревни Итикава в уезде Исикава опустилась стая красноклювых журавлей, о чем и было через старшего самурая незамедлительно доложено князю. Его светлость чрезвычайно обрадовался сему известию. Назавтра же все приготовления были закончены, и княжеская охота ни свет ни заря отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола Фудзи-Цукасу, пожалованного князю самим сёгуном, и вдобавок еще двух больших соколов и двух малых. Сокольников при Фудзи-Цукасе состоял самурай Аимото Кидзаэмон, однако в тот день его светлость пожелал собственноручно нести сокола. На беду, тропинка между заливными полями была скользкой после недавнего ливня, его светлость ненароком оступился, сокол сорвался с руки князя, взмыл вверх, и красноклювые журавли в тот же миг снялись с места всей стаей и скрылись в небе. При виде сего Кидзаэмон, не помня себя от бешенства, разорился бранью:

— Что натворил, болван!..

Однако тотчас опаматовался, уразумел, что перед ним — его светлость, и упал на колени, обливаясь холодным потом, в ожидании удара княжеского меча. Его светлость, однако, изволил весело рассмеяться и молвил:

— Моя вина! Я виноват, прости!

По возвращении же в замок, тронутый верной службой и прямодушием Кидзаэмона, пожаловал ему вновь распаханной целины на сто коку риса и сверх того произвел в ловчие, поставив над всеми своими сокольничими.

С той поры ухаживать за Фудзи-Цукасой назначили самурая Янасу Сэйхати, и вот случись однажды, что на сокола напала какая-то хворь. Как-то раз его светлость вызвал Сэйхати и осведомился:

— Ну, как Фудзи-Цукаса?

К этому времени сокол стал уже поправляться, а посему Сэйхати отвечал:

— Совершенно здоров! Настолько здоров, что и человека закогтить не оплошает!

Видимо, его светлости не по душе пришлось подобное хвастовство, потому что князь соизволил молвить:

— Отлично! В таком случае, покажешь нам, как он справится с человеком!

Делать нечего, с того дня стал Сэйхати класть на голову сыну своему Сэйтаро куски рыбы или дичи и другую приманку и целыми днями обучал Фудзи-Цукасу, так что сокол постепенно привык садиться на голову человеку. Тогда Сэйхати, не долго думая, доложил через старшего ловчего, что готов показать соколиную охоту на человека, на что его светлость изволил молвить:

— Любопытно! Завтра же все вместе отправимся на Южное ристалище, и пусть сокол поймает старшего самурая, ведающего чайной церемонией, Обу Дзюгэна!

Наутро, в ранний час, его светлость прибыл на Южное ристалище, приказал поставить Обу Дзюгэна посреди поля и повелел:

— Пускай сокола, Сэйхати!

— Слушаюсь, ваша светлость! — тотчас же отозвался Сэйхати, выпустил сокола, и птица, прочертив линию, ровную, как иероглиф «единица», камнем упала прямо на голову Обы Дзюгэна.

— Есть! — торжествуя закричал Сэйхати, выхватил мальй меч, коим охотники вырезают птичью печеньку, и

подскочил к Обе Дзюгэну, готовый поразить его насмерть, но в это мгновение его светлость вскричал:

— Что ты делаешь, Сэйхати!..

Однако Сэйхати не образумился и все пытался поразить мечом Обу Дзюгэна, приговаривая:

— Коли сокол схватил добычу, значит, надо вырезать печень!

В этот миг его светлость, внезапно вспыхнув великим гневом, приказал:

— Подать сюда ружье! — и тут же наповал уложил Сэйхати выстрелом из ружья, в стрельбе из коего был весьма и весьма искусен...

Во-вторых же, Харунага давно уже внимательно приглядывался к Санэмону. Случилось как-то раз, что при усмирении бунтовщиков Санэмон и еще один самурай оказались ранены в голову. У самурая рана пришлась прямо над переносицей, а у Санэмона вздулся лиловый кровоподтек на левом виске. Харунага призвал обоих и подивился:

— Чудеса, да и только! — после чего спросил: — Что, поди, больно? — На что самурай отвечал:

— Удивительное везение! Рана, по счастью, вовсе не причиняет боли!

Санэмон же хмуро пробормотал:

— Еще бы не больно! Такая рана только у мертвого не болит.

С тех пор Харунага уверился, что Санэмон — человек честный и прямодушный. Уж он-то не станет лгать и обманывать. «На кого-кого, а на этого человека я могу положиться!» — думал князь.

Таков был Харунага. Вот и на сей раз он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства неожиданного убийства — самолично и подробно расспросить Санэмона.

Получив приказание явиться, Санэмон в трепете душевном предстал перед князем. Однако он отнюдь не выглядел виноватым или раскаивающимся. Худощавое, нервное лицо его, словно застывшее от волнения, выражало скорее даже какую-то внутреннюю решимость.

— Санэмон, говорят, будто Кадзума неожиданно напал на тебя из-за угла, — без обиняков начал Харунага. — Очевидно, он питал к тебе вражду. За что?

— Никакой определенной причины для вражды я не знаю.

Харунага, немного помедлив, спросил еще раз, как бы стараясь, чтобы Санэмон хорошенько уразумел смысл вопроса:

— Значит, никакой вины ты за собой не помнишь?

— Пожалуй, нет... Есть, правда, одно предположение... Возможно, он гневался на меня из-за этого...

— Из-за чего же?

— Дело было четыре дня назад. В школе фехтования состоялись ежегодные турниры. Вместо господина Ямамото Кадзаэмона, учителя вашей светлости, на этот раз судьей был я. Правда, я судил поединки только тех самураев, которые еще не закончили обучение воинскому искусству. Поединок Кадзумы тоже судил я.

— А кто был его партнером?

— Самурай по имени Тамон, сын и наследник вассала вашей светлости господина Хираты Кидаю.

— И Кадзума потерпел поражение?

— Да, ваша светлость. Тамон дважды коснулся запястья Кадзумы и один раз — головы. А Кадзума не сделал ни одного укола. Иными словами, во всех трех турах он потерпел полное поражение. И возможно, затаил в душе обиду на судью, то есть на меня.

— Значит, ты полагаешь, будто Кадзума вообразил, что ты судил небеспристрастно?

— Да, ваша светлость. Но со мною этого не бывает. Да и нет у меня оснований отдавать кому-либо предпочтение. И все же мне почему-то кажется, что Кадзума заподозрил меня в несправедливости.

— Ну, а раньше вы не ссорились? Не случилось ли у вас споров? Постарайся припомнить.

— Нет, мы не спорили. Разве что... — Санэмон запнулся. Но вовсе не потому, что колебался, сказать или умолчать; казалось, он подбирает в уме наиболее точные выражения, чтобы лучше изложить свою мысль. — Разве что однажды... Накануне состязания Кадзума вдруг ни с того ни с сего попросил у меня прощения за какую-то недавнюю грубость. Я, однако, ничего подобного не помнил и потому спросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь смущенно улыбнулся вместо ответа. Тогда я сказал, что никакой вины за ним не знаю и, следовательно, прощать его мне и подавно не за что. Очевидно, Кадзума наконец мне поверил, потому что проговорил, на сей раз уже совсем спокойно: «Значит, мне показалось... Прошу вас, выбросьте из головы этот разговор...» И помнится мне,

что при этих словах он опять усмехнулся, только уже не смущенно, а скорее злорадно...

— Что же он имел в виду?

— Это мне и самому непонятно. Но похоже, что речь шла о каких-нибудь сущих пустяках... Вот и все, а других столкновений между нами никогда не было...

Снова наступило молчание.

— Ну, а каков был нрав у этого Кадзумы? Не замечал ли ты, что он недоверчив, подозрителен?

— Нет, этого я за ним не замечал... Нрав у него был скорее юношески открытый... Он не стыдился откровенно проявлять все свои чувства. Вместе с тем, пожалуй, был вспыльчив... — Санэмон смолк, потом не столько проговорил, сколько тяжело выдохнул: — Но главное — этот поединок с Тамоном был для него крайне важен.

— Крайне важен?.. Почему?

— Кадзума уже выдержал предварительные испытания. Победы он на этот раз, его обучение считалось бы законченным. Правда, это относилось и к Тамону. Оба они — и Тамон и Кадзума — выделялись среди ваших молодых самураев как самые способные фехтовальщики.

Харунага погрузился в молчание, как будто что-то обдумывал. Внезапно, точно сделав новое умозаключение, он перешел к расспросам о событиях той ночи, когда совершилось убийство.

— Кадзума и впрямь подстерегал тебя у ристалища?

— Похоже, что так. В тот холодный вечер я шел один мимо ристалища; на мне не было даже плаща, пришлось открыть зонтик. Внезапно ветер усилился, снег полетел вкось, и я опустил зонтик к левому плечу. Кадзума напал на меня как раз в то мгновение, и потому его меч, не задев меня, разрубил только зонтик.

— Ударил, даже не окликнув тебя?

— Похоже, что так.

— Узнал ты его? Что ты подумал?

— Думать было некогда. Я тотчас отпрыгнул влево. В этот миг последовал второй удар: он рассек рукав моего хаори на добрых пять сун... Я снова отпрыгнул в сторону и, выхватив меч, нанес ответный удар. Очевидно, тут-то я и рассек ему грудь. Он что-то крикнул...

— Что именно?

— Не помню. Просто выкрикнул что-то в пылу схватки... И вдруг я отчетливо понял — это Кадзума!

— Ты хочешь сказать, что узнал его голос?

— Нет, не поэтому.

— Как же ты догадался, что это Кадзума? — Харунага в упор посмотрел на Санэмона.

Санэмон молчал, не отвечая на вопрос князя. Харунага повторил вопрос более настойчиво. Но Санэмон по-прежнему молчал, опустив взор и упорно разглядывая свои хакама, словно и не собиравшись заговорить.

— Итак, Санэмон? — Князя будто подменили, таким стал он величавым и грозным. Подобные мгновенные превращения были частым и излюбленным приемом Харунаги. Все так же потупясь, Санэмон разжал наконец плотно сомкнутые уста. Но вырвавшиеся у него слова не были прямым ответом на вопрос князя. К удивлению Харунаги, то было смиренное признание своей вины.

— Да, я повинен в тяжком проступке — я понапрасну загубил самурая, состоявшего на драгоценной службе у вашей светлости!

Харунага нахмурился, лицо его выразило некоторое недоумение. Но взгляд, обращенный на Санэмона, оставался величавым и грозным.

— Кадзума имел право ненавидеть м е н я , — продолжал Санэмон. — Я несправедливо судил его поединок.

Харунага нахмурился еще больше.

— Но минуту назад ты говорил о своей беспристрастности, уверял, что у тебя и в мыслях не было отдавать кому-либо предпочтение.

— Да, это верно. Я готов это повторить... — Санэмон говорил, с усилием подбирая слова, как будто стремился раскрыть всю душу. — Вот в чем моя несправедливость. Я и вправду вовсе не собирався содействовать победе Тамона или поражению Кадзумы, все это точно так, как я уже говорил вашей светлости. И все-таки этого еще мало, чтобы утверждать, будто я действовал нелицеприятно. Я заведомо возлагал больше надежды на Кадзуму, чем на Тамона. Искусство Тамона суетно. Это порочное искусство, когда все помыслы устремлены только к победе — лишь бы победить, любой ценой победить, не гнушаясь ничем, даже низостью. Не таков Кадзума — его искусство возвышенное, благородное. Это подлинное искусство, честное и прямое, готовое встретить противника лицом к лицу. Я даже думал, что года через два или три Тамон никак не сможет соперничать с Кадзумой...

— Почему же ты присудил этому Кадзуме поражение?

— В том-то и дело... По чести, я хотел, чтобы победа досталась не Тамону, а Кадзуме. Но ведь я был судьей. А судья должен забыть свои личные симпатии. Когда с веером в руке становишься между противниками, вооруженными бамбуковыми мечами, надо следовать только законам неба. Таково мое убеждение, и потому во время поединка Кадзумы и Тамона я помышлял только о высокой справедливости. Но все-таки, как я уже имел честь вам сказать, в душе я желал победы Кадзуме. Весы в моем сердце склонялись в его пользу. И вот вышло так, что, стремясь выровнять эти чаши, я опустил маленькую гирию в чашу Тамона... Только потом я понял, что она была лишней, — я был слишком мягок по отношению к Тамону и, напротив, чересчур суров с Кадзумой.

Речь Санэмона снова прервалась. Молчал и князь, ожидая продолжения рассказа.

— И вот они встали друг против друга и изготовились, не спуская глаз с кончиков мечей, но никто не начинал первым. И тут, улучив момент, Тамон попытался коснуться головы Кадзумы. Издав воинственный клич, Кадзума блестяще отразил этот удар и в то же мгновение коснулся запястья Тамона. Моя несправедливость началась с этой минуты. Я, несомненно, расценил этот удар Кадзумы как победу. Но чуть только я мысленно сказал себе: «Это победа!» — как тут же подумал — а не был ли удар слишком слаб?.. Моя решимость притупилась. И я не поднял веер над головой Кадзумы, хотя именно так надлежало бы поступить... Противники снова некоторое время стояли неподвижно, следя друг за другом. На этот раз Кадзума сделал выпад, стараясь коснуться мечом запястья Тамона. Тамон отразил удар, и, в свою очередь, коснулся руки Кадзумы. Удар Тамона был, пожалуй, слабее, чем тот, который нанес ему ранее Кадзума. И уж во всяком случае этот удар не мог бы считаться более удачным... Но в ту же секунду я поднял веер над головой Тамона. Иными словами, победа в первой схватке была присуждена Тамону. «Что я наделал!» — пронеслось в моей голове, но в то же время какой-то голос словно шепнул мне: «Нет, судья ошибиться не может. И если сейчас мне кажется, будто я совершил ошибку, то лишь потому, что я слишком благоволю к Кадзуме...»

— Что же было дальше? — не без некоторой досады осведомился князь Харунага, потому что Санэмон снова погрузился в молчание.

— Противники опять встали в позицию. На этот раз выдержка была самой долгой. Внезапно Кадзума скрестил свой меч с мечом Тамона и вдруг молниеносным движением коснулся горла противника. Удар был сильным и точным. Но в следующую секунду меч Тамона коснулся головы Кадзумы. Я поднял веер совершенно прямо, чтобы провозгласить ничью. Однако в действительности, кто знает, возможно, тут не было настоящей ничьей... Возможно, я затруднился определить, чей выпад был сделан раньше... Но нет — меч коснулся горла, пожалуй, раньше, чем другой меч — головы... Так или иначе, после провозглашения ничьей противники в третий раз изготовились к схватке и снова встали в позицию, следя друг за другом. И опять первым начал Кадзума. Он попытался еще раз коснуться горла Тамона. Однако на этот раз он слишком высоко поднял кончик меча, и Тамон сделал попытку достать грудь противника, целясь ниже... Еще минут десять после этого продолжался яростный поединок. Но под конец Тамон достал мечом голову Кадзумы...

— И этот удар?..

— Был блестящим и точным. Теперь действительно каждый мог ясно видеть преимущество Тамона. Эта неудача распалила Кадзуму. Видя его волнение, я стал еще сильнее желать ему победы. Но чем больше я ее хотел, тем сильнее, говоря честно, колебался, не решаясь поднять веер над головой Кадзумы. Противники снова обменялись ударами. И вдруг Кадзума — не могу понять, что он задумал, — попытался придвинуться вплотную к Тамону. Я говорю, что не понял его намерений, потому что обычно Кадзума никогда не применял прием сближения... Я затаил дыхание. И не удивительно — Тамон приоткрыл грудь и в ту же секунду блестящим ударом коснулся головы Кадзумы... Этот последний тур был поистине пустым и бесплодным... И в конце концов я в третий раз поднял веер над головой Тамона... В этом и состоит та небеспристрастность, о которой я говорил вам. Возможно, я добавил одну-единственную лишнюю пушинку на чашу моих душевных весов... Но равновесие нарушилось, и Кадзума проиграл столь важный для него поединок. И сейчас мне кажется, что гневался он, в сущности, справедливо...

— Значит, по этой причине ты и догадался, что напал на тебя Кадзума?

— Не уверен, ваша светлость. Но сейчас, перебирая все в памяти, я готов думать, что сознание вины жило где-то в глубине моей души. И теперь, пожалуй, я склонен считать, что именно чувство вины и подсказало мне правильную догадку: это Кадзума!

— Значит, ты сожалеешь о его смерти?

— Да, ваша светлость. А главное, как уже доложил вам, считаю непростительным, что так жестоко отнял жизнь у самурая, вассала вашей светлости... — И Санэмон, оборвав речь, снова опустил повинную голову. На лбу его, несмотря на декабрьскую стужу, выступили капельки пота. Князь Харунага, настроение которого между тем незаметно исправилось, несколько раз энергично кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями.

— Так, так... Я понимаю, что у тебя на сердце. Возможно, что ты дурно поступил. Но тут уж ничего не поделаешь... Однако впредь смотри, чтобы... — Не договорив, Харунага бросил быстрый взгляд на Санэмона. — Когда ты наносил первый удар, ты уже знал, что перед тобой — Кадзума. Почему же ты все-таки убил его?

В ответ Санэмон решительно вскинул голову. В глазах его, сверкавших на смуглом лице, зажглось прежнее непреклонное выражение.

— Я был обязан убить его! Санэмон — слуга вашей светлости. И кроме того, самурай. И как ни жаль мне Кадзуму, бандита я пожалеть не мог!

Декабрь 1923 г.

КОМ ЗЕМЛИ

Когда у О-Суми умер сын, началась пора сбора чая. Скончавшийся Нитаро последние восемь лет был калекой и не поднимался с постели. Смерть такого сына, о которой все кругом говорили «слава богу», для О-Суми была не таким уж горем. И когда она ставила перед гробом Нитаро ароматическую свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного туннеля на свет.

После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки О-Таи. У О-Таи был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только

пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже просуществовать. О-Суми надеялась, что по истечении сорокадевятидневного траура она подыщет О-Тами мужа и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять зятем Ёкити, который приходился Нитаро двоюродным братом.

И поэтому, когда на следующее утро после первых семи дней траура О-Тами занялась уборкой, О-Суми испугалась чрезвычайно. О-Суми в это время играла с внуком Хиродзи на наружной галерее у задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе.

— Слушай, О-Тами, может, это плохо, что я до сих пор молчала... Но как же так?.. Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти?

Голос О-Суми звучал скорей жалобой, чем упреком. Однако О-Тами, даже не оглянувшись, весело произнесла:

— Что ты, матушка!

И этого было довольно, чтобы О-Суми вздохнула с облегчением.

— Вот как... Конечно, разве ты можешь так поступить...

О-Суми без конца ворчала, повторяя свои жалобы. Но ее слова звучали все более растроганно. Наконец по ее морщинистым щекам потекли слезы.

— Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша!

С полными слез глазами О-Тами взяла Хиродзи к себе на колени. Почему-то застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые циновки.

О-Тами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитаро. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала О-Суми. О-Тами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. О-Суми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако О-Тами каждый раз отделялась ответом: «Ладно, до следующего года!» Это, несомненно, и беспокоило О-Суми, и радовало ее. Беспокоясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года.

Но и в следующем году О-Таами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. О-Суми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговор о ее замужестве. Отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды.

— Слушай, О-Таами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины.

— Нельзя, да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хиро жалко, и тебе неудобно, а уж мне каково?

— Так вот и возьмем Ёкити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты.

— Тебе-то он родственник, а для меня — совсем чужой. Ничего, если я терплю...

— Да ведь терпеть-то не год и не два.

— Ладно! Это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно, зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком...

— Так-то так, О-Таами (дойдя до этого места, О-Суми всегда многозначительно понижала голос), только очень уж поговаривают кругом. Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим...

Такие беседы повторялись много раз. Но это только укрепило, а отнюдь не поколебало решения О-Таами. И в самом деле, О-Таами работала еще усерднее, чем раньше; не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест против того, чтобы ввести в дом «чужого». В конце концов О-Суми совсем бросила разговоры о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно.

О-Таами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делалось с единственной мыслью: ради Хиро. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиций. О-Таами была «чужая», она переселилась в эту местность из суровых горных областей. О-Суми часто приходилось слышать от соседок: «У твоей О-Таами сила не по росту. Вот недавно она таскала по четыре связки рису сразу!»

О-Суми выказывала невестке свою благодарность одним — работой: ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стирала, ходила по сосед-

ству за водой — хлопот по дому было немало; но сторбленая О-Суми делала все с веселым видом.

Однажды осенью О-Тами вернулась поздно вечером с охачкой сосновых веток. В это время О-Суми с внуком Хиродзи на спине растапливала ванну в узкой каморке с земляным полом.

— Холодно! Что так поздно?

— Сегодня работы было больше.

О-Тами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных варадзи, подошла к очагу. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. О-Суми хотела было сейчас же встать. Но с Хиродзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бадьи.

— Иди сейчас же купаться!

— Купаться? Я проголодалась! Лучше сначала поем картошки. Пожарила? А, матушка?

О-Суми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом — печеным сладким картофелем.

— Давно готова — наверно, уж остыла.

Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню.

— Хиро уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель.

— Ничего, сегодня ужасный холод, внизу никак нельзя спать.

С этими словами О-Тами сунула в рот дымящуюся картошку. Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина с вертела целиком падала О-Тами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, О-Суми по-прежнему держала картофель на огне.

— Проголодаешься от такой работы!

О-Суми время от времени поглядывала на невестку глазами, полными восхищения. Но О-Тами при свете головешки только молча запиховала в рот картофелины, одну за другой.

О-Тами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчине, О-Суми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме

работ в поле и в горах, О-Тами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но О-Суми, не жалуясь,гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась не покладая рук. Больше того, при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку: «О-Тами у меня молодец! Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет...»

Но «хозяйственную жажду» О-Тами не так-то легко было утолить. Еще через год она заговорила о том, чтобы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в пять тан всего за десять иен глупо во всех смыслах. Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк-сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по полтора ста иен. Но хотя О-Суми и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотливое.

Ворчливым тоном она возразила невестке:

— Смотри, О-Тами! Я, конечно, от тебя не сбегу. Сбежать не сбегу, но подумай: мужских рук у нас нет, в доме маленький ревун. И так уж работы невпроворот. Это ты зря говоришь, где уж тут справиться с шелковичными червями! Подумай немножко и обо мне!

Когда О-Тами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводить шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада.

— Да уж ладно! С садом я ведь сама справлюсь, — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь.

С этого времени О-Суми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и добавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше.

Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, О-Суми, сидя на скамеечке под лампой и глядя поверх очков, которые она надевала по вече-

рам, осторожно навела речь на этот предмет. Но О-Тами, сидевшая, скрестив ноги, у очага и жевавшая соленый горох, только уронила:

— Опять ты о муже! Слышать об этом не хочю! — и не обнаружила никакого желания продолжать разговор.

Прежде О-Суми этим бы удовлетворилась. Но теперь — теперь О-Суми упорно принялась ее убеждать:

— Нет, ты так не говори! Вот на завтрашние похороны как раз нашей семье назначено рыть могилу. Тут без мужчины...

— Ладно! Я сама пойду рыть.

— Как? Ты, женщина?!

О-Суми хотела нарочно рассмеяться. Но, взглянув в лицо невестки, не отважилась.

— Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инкё?

О-Тами, обняв колени скрещенных ног, насмешливо отпустила эту шпильку. Неожиданно задетая за живое, О-Суми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила — этого она и сама не понимала.

— Еще что выдумашь!

— Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? «Делить нашу землю — грех перед предками...»

— Да, да! Я это говорила. Но как подумаешь — все-му свое время. Тут уж ничего не поделаешь...

О-Суми всеми силами доказывала необходимость иметь в доме работника-мужчину. Но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения — желание пожить в покое.

Заметив это, О-Тами, не перестававшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недо-ступная О-Суми бойкость языка.

— Тебе-то что! Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне невесело так сохнуть. Я не из хвастовства остаюсь вдовой. Иной раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так, да видишь... Вспомнишь, что все это ради семьи, ради Хиро... а все равно плачешь и плачешь.

О-Суми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно: сколько ни старайся, не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговори-лась до конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так:

— Видишь, О-Тами, в жизни не все делается по рас-

судку, подумай-ка об этом! А я ничего больше не стану тебе говорить.

Минут двадцать спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, вполголоса напевая песенку: «Молодая тетушка // Нынче вышла на покос. // Эй, ложись-ка, травушка, // Срежу я тебя серпом». Когда песня замерла вдаль, О-Суми еще раз поверх очков кинула взгляд на невестку. Но О-Тами только зевала, вытянув ноги.

— Ну, давай спать! Завтра вставать рано.

С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага.

После этого О-Суми молча страдала три-четыре года. Это было страдание старой, выбившейся из сил клячи, на которую надели хомут. О-Тами по-прежнему без устали работала в поле. О-Суми по-прежнему не покладая рук исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры от резкой О-Тами: то за то, что не согрела ванну, то за то, что забыла подсушить ячмень, то за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти потому привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Хиродзи привязался к ней больше, чем к матери.

С виду О-Суми почти не изменилась. А если и изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней: «О-Суми? Она, слава богу...»

Однажды в летний солнечный полдень О-Суми судачила с соседками в тени виноградных лоз, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты: это были окурки сына, которые она усердно подбирала.

— А что О-Тами? Верно, косит? Такая молодая, а все делает сама!

— Что уж! Для женщины домашняя работа куда лучше.

— Нет, видно, ей больше по душе работа в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже семь лет ни разу в поле не выходила — ну, хоть бы пополоть. Цельми днями только и знает, что на детей стирать да одежду чинить.

— Оно и лучше! Чтобы на детей приятно было посмотреть, да и самой принарядиться — хоть перед людьми не стыдно.

— Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло?

— Это? Это бык стрельнул.

— Бык? Здорово!.. Да, полоть в такую жару да под солнцем и молодой-то трудно.

Так мирно беседовали старухи соседки.

Больше восьми лет после смерти мужа О-Тами одна держала на своих женских плечах всю семью.

За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь снедает «хозяйственная лихорадка». И конечно, не была больше для деревенской молодежи «молодой тетушкой». Зато она стала примерной невесткой. Образцом женской добродетели. «Посмотри на О-Тами-сан!» — можно было услышать от всякого, как поговорку. О-Суми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей и в голову не приходило жаловаться. Но в глубине души, может быть и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Хиродзи. О-Суми сосредоточила на двенадцатилетнем мальчике всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой последней опоры.

Однажды в ясный осенний день Хиродзи со связкой книг под мышкой стремглав прибежал из школы. В это время О-Суми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Хиродзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и, сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом ни с того ни с сего серьезно спросил:

— Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек?

О-Суми невольно придержала нож и взглянула на внука.

— Почему?

— Это сказал учитель на уроке морали. «Мать Хиродзи — самый замечательный человек во всей округе».

— Учитель?

— Да, учитель. Это правда?

О-Суми сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи! Для О-Суми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, О-Суми принялась ругать О-Тами так, что сама на себя стала непохожа.

— Это ложь, это сплошная ложь! Твоя мать до одури работает в поле, вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабушку то туда, то сюда, она грубая.

Хиродзи испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А О-Суми, может быть испытывая раскаяние, вдруг заплакала.

— Поэтому-то у бабушки одна надежда — ты. Ты этого не забывай! Как только тебе будет семнадцать лет, сразу женись, дай бабушке вздохнуть! Твоя мать терпелива, она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабушке и за себя и за отца. Если ты так поступишь, и бабушка тебе дурного не сделает. Все тебе отдает.

— Когда сливы поспеют, ты мне их дашь?

Хиродзи перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды.

— Да, да! Как же не дать? Ты хоть годами мал, а все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала...

О-Суми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту...

На другой вечер после этого маленького происшествия О-Суми из-за пустяка жестоко поссорилась с О-Тами. Все началось с того, что О-Суми съела картофель, предназначенный для невестки. Но, слово за слово, ссора разгорелась, и О-Тами с насмешливой улыбкой сказала: «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». О-Суми сильно обозлилась — еще больше, чем накануне. Хиродзи в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушке на колени. Но О-Суми даже растолкала внука и долго бранилась.

— Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать! Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько: при твоей матери денег у нас немного прибавилось, это правда, но наша земля, целое тѐ и три тан, все это было пахано в первый раз еще де-

дом и бабкой. Как же так? Мать говорит, чтобы я поми- рала, если я хочу на покой. Хорошо, О-Тами, я умру! Я не боюсь смерти! Но тебя, О-Тами, я слушаться не стану! Да, я умру! Конечно, умру! Но после смерти не дам тебе житья...

О-Суми громко бранилась, бранилась и обнимала плачущего внука. Но О-Тами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала.

Однако О-Суми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Доё, О-Тами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же перед болезнью О-Тами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. «Там ты, наверно, и заразилась», — со скрытым упреком говорила О-Суми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом.

В день похорон О-Тами шел дождь. Но в деревне все до единого, во главе со старостой, собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся О-Тами и выражали сочувствие Хиродзи и О-Суми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоится официальное засвидетельствование заслуг О-Тами. При этих словах О-Суми оставалось только склонить голову. «Что ж, такая судьба, надо примириться. Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайства о признании заслуг О-Тами-сан, мы пять раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать, мы с этим примирились, примиритесь и вы», — так, по обычаю, говорил О-Суми добрый лысый староста.

В ночь после похорон невестки О-Суми с Хиродзи легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте. Но в эту ночь на алтаре горел свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны неприятным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому О-Суми долго не могла заснуть. Смерть О-Тами, безусловно, принесла ей большое счастье.

Теперь она могла не работать. Могла не бояться выговоров. Сбережений у нее было три тысячи иен, земли одно тэ три тан. Теперь они с внуком могли каждый день вволю есть рис. Могли вволю, целыми мешками, покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения О-Суми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения... Но в памяти ясно встала одна ночь девять лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух, — все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука.

О-Суми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, О-Суми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек. Что и сын Нитаро, так злосчастно женившийся, и невестка О-Тами, — тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившиеся за девять лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшее ее предчувствие будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. «О-Тами, зачем ты умерла?» — не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы...

Только около четырех часов О-Суми, усталая, наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря...

Декабрь 1923 г.

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

(Или «Любовь — превыше всего»)

Приемная в редакции одного из женских журналов.

Главный редактор — толстый господин лет сорока. Хорикава Ясукичи — лет тридцати, очень худой, особенно рядом с толстым редактором; в двух словах его не опишешь. Во всяком случае, бесспорно одно: господином его назовешь с трудом.

Главный редактор. Вы бы не могли в ближайшее время написать для нашего семейного журнала роман? Видите ли, читатель сейчас становится все тре-

бовательнее, и обычные любовные романы его уже не удовлетворяют... Я прошу, конечно, чтобы вы написали серьезный любовный роман, глубоко раскрывающий человеческие характеры.

Я сукити. Напишу, разумеется. По правде говоря, у меня задуман роман для женского журнала.

Главный редактор. В самом деле? Это прекрасно. Если вы напишете, мы широко разрекламируем его в газетах. Можно дать, например, такую рекламу: «Принадлежащий перу господина Хорикавы любовный роман неисчерпаемой любви и грусти».

Я сукити. «Неисчерпаемой любви и грусти»? Но мой роман называется «Любовь — превыше всего».

Главный редактор. Значит, он воспевает любовь. Что же, это еще лучше. Ведь с тех пор как появилась «Современная любовь» профессора Куриягавы, юноши и девушки склоняются к тому, что любовь превыше всего... Вы имеете в виду, конечно, современную любовь?

Я сукити. Это еще вопрос. Современный скепсис, современное воровство, современная окраска седых волос — все это действительно существует. Однако любовь, думаю я, не особенно изменилась с древних времен Идзанаги и Идзанами.

Главный редактор. Это только так говорится. Ведь любовный треугольник — один из примеров современной любви. Во всяком случае, в японской действительности.

Я сукити. Что, любовный треугольник? В моем романе тоже есть любовный треугольник... Может быть, кратко рассказать содержание?

Главный редактор. Сделайте одолжение.

Я сукити. Героиня — молодая жена. Муж — дипломат. Снимают квартиру, разумеется, в Токио, в районе Яманотэ. Она стройная. С прекрасными манерами, волосы всегда... Кстати, какая прическа нравится читателям?

Главный редактор. Видимо, «мимикакуси».

Я сукити. Ну что ж, пусть «мимикакуси». Итак, прическа «мимикакуси», лицо — белое, глаза лучистые, на губах привычная... В общем, в кино такая женщина могла бы играть роли, которые исполняет Курисима Сумико. Муж — дипломат, юрист новой формации и уж никак не похож на болванов, которых выводят в новой драме. Это смуглый красавец, в бытность свою студентом игравший в бейсбол, ради удовольствия пописывающий

рассказики. Молодожены счастливо живут в своем доме в Яманотэ. Иногда они посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндзе...

Главный редактор. До великого землетрясения, разумеется?

Ясукиги. Да, задолго до землетрясения... Иногда посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндзе. Либо сидят под лампой в комнате, обставленной по-европейски, и молча обмениваются улыбками. Героиня называет эту комнату «наше гнездышко». На стенах репродукции Ренуара, Сезанна. Сверкает черная крышка рояля. Развесила листья кокосовая пальма в горшке. Все это достаточно изящно, но, вопреки ожиданиям, платят они за квартиру мало.

Главный редактор. Ну, об этом можно и не говорить. Во всяком случае, в самом романе.

Ясукиги. Нет, нужно. Ведь жалованье молодого дипломата мизерно.

Главный редактор. В таком случае сделайте его сыном аристократа. Ну, а если он аристократ, то пусть будет графом или виконтом. Почему-то князья и маркизы появляются в романах не особенно часто.

Ясукиги. Ну, пусть будет сыном графа. Но хорошо бы оставить комнату, обставленную по-европейски. Дело в том, что и комнату, обставленную по-европейски, и Гиндзу, и концерты я ввожу впервые... Однако Таэко — так зовут героиню — после знакомства с музыкантом Тацуо начинает ощущать некоторое беспокойство. Тацуо любит Таэко — героиня инстинктивно чувствует это. Мало того, беспокойство ее растет день ото дня.

Главный редактор. А что собой представляет этот Тацуо?

Ясукиги. Тацуо гениальный музыкант. Его талант под стать таланту Жан-Кристофа, о котором написал Роллан, таланту Ноотхафта, о котором написал Вассерман. Но из-за его бедности или еще из-за чего-то никто его не признает. В качестве прототипа я собираюсь взять моего приятеля-музыканта. Мой приятель, правда, красавец, а Тацуо совсем не красив. Лицом он на первый взгляд напоминает дикаря — уроженца района Тохоку, похожего на гориллу. И только глаза светятся гениальностью. Его глаза, как пылающий уголь, излучают непреходящий жар. Такие у него глаза.

Главный редактор. Гений — это пойдет.

Я сукити. Но Таэко вполне удовлетворена своим мужем-дипломатом. Нет, она любит мужа еще сильнее, чем раньше. Муж верит Таэко. Это само собой разумеется. Потому-то мужи Таэко становятся все сильнее.

Главный редактор. Именно такую любовь я и называю современной.

Я сукити. Ежедневно, как только зажигается свет, Тацуо непременно появляется в комнате, обставленной по-европейски. Когда муж дома, особого беспокойства это не доставляет, но даже если мужа нет и Таэко дома одна, Тацуо все равно приходит. Тогда Таэко не остается ничего другого, как просить его играть на рояле. Да и при муже Тацуо обычно сидит за роялем.

Главный редактор. В эти минуты и родилась любовь?

Я сукити. Нет, она полюбила не так просто. Однажды февральским вечером Тацуо начинает неожиданно играть «К Сильвии» Шуберта. Песню, вобравшую в себя страсть, точно льющееся пламя. Таэко, сидя под огромными листьями пальмы, задумчиво слушает. Постепенно женщина начинает осознавать, что любит Тацуо. И в то же время начинает осознавать возникшее у нее искушение. Еще пять минут... Нет, если бы прошла еще хоть минута, Таэко, может быть, бросилась бы в объятия Тацуо. Но тут... Как раз, когда должны прозвучать последние аккорды, возвращается муж.

Главный редактор. Ну, а потом?

Я сукити. Потом не прошло и недели, как Таэко, не в силах больше страдать, решает покончить с собой. Но она беременна и поэтому не находит в себе силы осуществить задуманное. Тогда она рассказывает мужу, что ее любит Тацуо. Правда, о своей любви к Тацуо, чтобы не огорчать его, умалчивает.

Главный редактор. Потом, значит, дуэль?

Я сукити. Нет, просто в очередной приход Тацуо муж холодно отказывает ему от дома. Тацуо, молча закусив губу, смотрит на рояль. Таэко стоит за дверью и с трудом сдерживает рыдания... Не проходит и двух месяцев, как муж неожиданно получает назначение в Китай, в консульство в Ханькоу, и отправляется туда.

Главный редактор. Таэко едет вместе с ним?

Я сукити. Разумеется, едет с ним. Но перед отъездом пишет письмо Тацуо. «В душе я сочувствую Вам. Но сделать ничего не могу. Примиримся — такова судьба».

Вот примерно смысл этого письма. С тех пор Таэко ни разу не виделась с Тацуо.

Главный редактор. Этим и заканчивается роман?

Я сукити. Нет, но осталось совсем немного. И после приезда в Ханькоу Таэко часто вспоминает Тацуо. Больше того, начинает в конце концов думать, что на самом деле любит его сильнее, чем мужа. Ясно? Таэко окружает тихий ханькоуский пейзаж. Пейзаж, который воспел танский поэт Цуй Хао: «Страна прозрачных рек и легких красных сосен, страна душистых трав, цветущих зарослей и попугаев». Наконец Таэко — прошел всего лишь год — снова пишет письмо Тацуо. «Я люблю Вас. Люблю Вас и сейчас. Так пожалейте женщину, которая сама себя обманула», — таково содержание письма, которое она пишет. Тацуо, получивший это письмо...

Главный редактор. Немедленно отправляется в Китай.

Я сукити. Этого он никак не может сделать. Дело в том, что Тацуо ради пропитания играл на рояле в одном из кинотеатров Асакусы.

Главный редактор. Фу, какая проза!

Я сукити. Проза, но ничего не поделаешь. Тацуо вскрывает письмо от Таэко за столиком кафе на окраине города. За окном — затуманенное дождем небо. Тацуо, точно мысли его далеко, задумчиво смотрит на письмо. Ему кажется, что между строк проглядывает обставленная по-европейски комната Таэко. Кажется, что проглядывает «наше гнездышко» с отражением лампы на крышке рояля...

Главный редактор. Я испытываю некоторую неудовлетворенность, но тем не менее это шедевр. Обязательно напишите.

Я сукити. По правде говоря, осталось еще немного.

Главный редактор. Как, разве это еще не конец?

Я сукити. Нет. Тут Тацуо начинает смеяться. И вдруг с досадой вопит: «Скотина!»

Главный редактор. Ага, сошел с ума?

Я сукити. Да что вы, просто вышел из себя из-за идиотской ситуации. Ему не оставалось ничего иного, как выйти из себя. Дело в том, что Тацуо несколько не любил Таэко...

Главный редактор. Но тогда...

Ясукити. Тацуо ходил в дом Таэко только ради того, чтобы играть на рояле. Просто он любил рояль. Бедный Тацуо не имел денег, чтобы купить его, — вот в чем дело.

Главный редактор. Ну, знаете, Хорикава-сан.

Ясукити. Но то время, когда Тацуо имел возможность играть на рояле в кинотеатре, было для него еще счастливым. После недавнего землетрясения Тацуо стал полицейским. А когда вспыхнуло движение в защиту конституции, он был избит добропорядочными токийскими гражданами. Лишь совершая обход своего участка в Яманотэ, он в редкие минуты слышит, как из какого-нибудь дома доносятся звуки рояля, и тогда он останавливается и грезит о своем коротком счастье.

Главный редактор. В общем, этот горестный роман...

Ясукити. Ну, послушайте дальше. Таэко и сейчас у себя в Ханькоу по-прежнему думает о Тацуо. Нет, не только в Ханькоу. Каждый раз, когда муж-дипломат получает новое назначение, переезжая с места на место — в Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, — она по-прежнему думает о Тацуо. К моменту землетрясения у нее было уже много детей. Да... После погодков она родила двойню, и у нее стало сразу четверо. Ко всему еще муж пристрастился к водке. Поэтому разжиревшая, как свинья, Таэко думает, что любил ее один лишь Тацуо. Любовь действительно превьше всего. Иначе просто не удалось бы стать счастливой, как Таэко. Во всяком случае, нельзя не испытывать отвращения к грязи жизни... Ну как вам такой роман?

Главный редактор. Хорикава-сан, вы это серьезно?

Ясукити. Разумеется, серьезно. Посмотрите на современные любовные романы. Героиня если не Мария, то непременно Клеопатра. Разве не так? Но героиня в жизни совсем не обязательно девственница и в то же время не обязательно распутница. Найдите хоть одного серьезного читателя, который бы серьезно воспринимал подобные романы. Конечно, если есть согласие в любви, — это вопрос особый, но в тот день, когда паче чаяния сталкиваются с безответной любовью, то идут на дурацкое самопожертвование или же бросаются в еще более дурацкую крайность — в мстительность. И все потому, что, вовлеченные

в это, сами преисполняются самодовольством, будто совершают героический поступок. В моем же любовном романе нет ни малейшей тенденции популяризировать подобные дурные примеры. Вдобавок в конце превозносится счастье героини.

Главный редактор. Вы, видимо, шутите?.. Во всяком случае, наш журнал этого ни в коем случае не напечатает...

Я сукити. В самом деле? Ничего, напечатают где-нибудь еще. Ведь должен же быть на свете хоть один женский журнал, который согласится с моими рассуждениями.

Доказательством, что Ясукити не ошибся, может служить опубликованная здесь беседа.

Март 1924 г.

МОМОТАРО

1

Давным-давно, давным-давно в глухой чаще росло огромное персиковое дерево. Нет, сказать просто «огромное» — этого, пожалуй, недостаточно. Его ветви простирались за облака, его корни доходили до Страны мрака на самом дне земли. В предании говорится, что еще при сотворении мира бог Йдзанаги, чтобы отогнать от себя восемь громов на равнине между Страной мрака и Миром живых, швырнул в них персиком — вот из этого-то персика Века богов и выросло огромное персиковое дерево.

С тех пор как существует Вселенная, это дерево цветет раз в десять тысяч лет и раз в десять тысяч лет приносит плоды. Цветы его похожи на алые зонты, обрамленные золотой бахромой. Плоды — нужно ли говорить, что и плоды вырастают огромные. Но самое удивительное то, что каждый плод несет в себе вместо косточки младенца.

Давным-давно, давным-давно персиковое дерево, раскинув над горами и долинами свои ветки, сплошь покрытые плодами, купалось в лучах солнца. Плоды, появлявшиеся раз в десять тысяч лет, зрели тысячу лет и не

падали на землю. Но однажды тихим утром судьба в облике священного ворона опустилась на одну из ветвей дерева. Ворон стал клевать только начавший краснеть самый маленький персик, и тот полетел вниз. Он пролетел сквозь густые облака и упал в далекую горную речку. Рассыпая белые брызги, речка текла между утесами, разумеется, в Страну людей.

Как попал к людям персик с младенцем после того, как он покинул глухую чашу далеко в горах? Вряд ли стоит подробно об этом рассказывать. Это знает каждый японский ребенок: старуха полоскала в горной речке белье старика, который ушел в лес за дровами...

2

Родившийся из персика Момотаро задумал покорить Онигасиму — Остров Чертей. Почему он это задумал? Да потому, что ему было противно работать в лесу, на реке или в поле, как это делали старик и старуха. Услыхав о его решении, старики, которым порядком надоел этот своенравный, вздорный мальчишка, чтобы поскорее избавиться от него, сразу же стали собирать его на войну — дали ему знамя, меч, походный плащ. Мало того, по требованию Момотаро в дорогу ему напекли еще просяных лепешек.

Итак, Момотаро с победоносным видом отправился в поход на Онигасиму. Ему повстречалась огромная бродячая собака, которая заговорила с ним, сверкая голодными глазами.

— Момотаро-сан. Момотаро-сан. Что это висит у тебя на поясе?

— Это просяные лепешки, лучшие из всех лепешек в Японии, — гордо ответил Момотаро. По правде говоря, он и сам сомневался, действительно ли его лепешки — лучшие в Японии. Но собака, услышав о просяных лепешках, тут же подбежала к нему.

— Дай мне лепешку, и я пойду с тобой.

Момотаро прикинул.

— Нет, целой лепешки я тебе дать не могу. Дам половину.

Собака продолжала скулить: «Дай целую». Но Момотаро не отступал от своего: «Дам половину». Сколько ни торгуйся, тот, кто ничем не владеет, подчиняется тому,

кто чем-то владеет. Так и собака, тяжело вздохнув, пошла с Момотаро за половину просяной лепешки.

За половину просяной лепешки Момотаро, кроме собаки, взял в услужение еще обезьяну и фазана. Но, к несчастью, слуги Момотаро не ладили между собой. Собака, обладавшая мощными клыками, постоянно оставляла в дураках беспомощную обезьяну. Обезьяна, ловко считавшая просяные лепешки, постоянно оставляла в дураках простодушного фазана. Фазан, сведущий в сейсмологии и других науках, постоянно оставлял в дураках глупую собаку. Ссоры между ними не прекращались ни на минуту — в общем, Момотаро, взяв в услужение собаку, обезьяну и фазана, не нашел в них надежных помощников.

А тут еще обезьяна, почувствовав тяжесть в желудке, вдруг взбунтовалась. Она заявила, что надо еще хорошенько подумать, стоит ли за половину просяной лепешки сопровождать Момотаро в походе на Онигасиму. Собака с лаем бросилась на обезьяну и чуть не загрызла ее. Если бы фазан не унял собаку, обезьяна наверняка погибла бы тут же, на месте, еще до того, как ей отомстил краб. Но фазан кое-как утихомирил собаку, а обезьяну стал обучать принципам верности господину и убеждать ее подчиняться приказам Момотаро. Однако обезьяна, избежав клыков собаки, влезла на дерево, росшее у дороги, и не обращала внимания на увещевания фазана. И только благодаря ловкости Момотаро все же удалось наконец уговорить обезьяну. Глядя на нее и обмахиваясь веером, на котором было изображено восходящее солнце, он спокойно сказал ей:

— Ну что ж, не хочешь — не иди со мной. Но когда Онигасима будет покорен, ты не получишь своей доли сокровищ.

Алчная обезьяна вытаращила глаза:

— Сокровищ? А разве на Онигасиме есть сокровища?

— Еще какие! Там есть такое чудесное сокровище — молоточек счастья, — достаточно постучать им, и у тебя будет все, что пожелаешь.

— Значит, с помощью этого молоточка можно будет добыть сколько угодно таких же молоточков, и тогда у каждого из нас будет все, что мы пожелаем. Это хорошо. Прошу вас, возьмите меня с собой.

Момотаро, сопровождаемый собакой, обезьяной и фазаном, снова пустился в путь, чтобы поскорее покорить Онигасиму.

Онигасима — остров, затерявшийся далеко в море. Но на нем были не только голые скалы, как думали люди. На самом деле остров был очаровательным райским уголком, где росли кокосовые пальмы и щебетали райские птички. Черти, родившиеся в таком раю, больше всего на свете любили, естественно, мирную жизнь. Или лучше сказать так: те, кого называли чертями, были расой, возвращенной в радости гораздо большей, чем та, которая досталась людям. Черти, о которых рассказано в повести об избавлении от горба, танцевали ночи напролет. Черти, о которых рассказано в повести о маленьком монахе, тоже, не ведая о грозившей им опасности, любовались девушками, направлявшимися в храм. Сютэн-додзи, промышлявший в горах Оэяма, или Ибараги-додзи, промышлявший у ворот Расёмон, считаются редкостными злодеями. Но, может быть, Ибараги-додзи нежно любит тракт Судзаку, как мы любим Гиндзу, и поэтому время от времени появлялся у ворот Расёмон, которые стоят на этом тракте? А Сютэн-додзи, я в этом убежден, преспокойно распивал свою водку в какой-нибудь пещере в горах Оэяма. Слухи же о том, что он похищал женщин (я не собираюсь судить о том, справедливы они или нет), распускали сами женщины, вот и все. Но можно ли безоговорочно утверждать, что женщины всегда рассказывают о себе правду — уже двадцать лет я в этом сомневаюсь. Что же касается Райко и четырех знаменитых героев, то, может быть, они просто питали чрезмерную слабость к женщинам.

В буйных тропических зарослях черти играли на кото и танцевали, читали стихи древних поэтов — жили в мире и покое. Жены и дочери чертей ткали, варили сакэ, плели венки — в общем, жили так, как живут наши жены и дочери. А седые, с выпавшими клыками ведьмы нянчили внуков и рассказывали о том, как страшны мы, люди:

— Если будете баловаться, вас отправят на Остров Людей. Всех чертей, которые попадают на Остров Людей, там обязательно убивают, как убили в старые времена Сютэн-додзи. Что? Кто такие люди? Люди — это страшные существа, безрогие, с белыми руками и ногами. А женщины у них мажут лица, руки и ноги белилами. Уже этим все сказано. Мужчины и женщины у людей

всегда врут, они алчные, ревнивые, самодовольные, убивают своих друзей и единомышленников, совершают поджоги, воруют, беспробудно невежественны...

4

Момотаро нагнал на ни в чем не повинных чертей такой ужас, какого им не приходилось переживать со дня основания своего государства. С криками: «Человек! Человек!» — черти бросились врассыпную.

— Вперед! Вперед! Перебьем всех чертей до единого!

Это командовал своими слугами — собакой, обезьяной и фазаном — Момотаро, размахивая флагом с изображением персика и веером с изображением восходящего солнца. Собака, обезьяна и фазан, как мы знаем, не были образцовыми слугами. Но, пожалуй, на всем свете не сыскать солдат доблестнее, чем голодные животные. Они вихрем помчались за разбегающимися чертями. Собака своими мощными клыками загрызала молодых чертей. Фазан острым клювом убивал чертенят. Обезьяна — она сродни лю д я м , — прежде чем задушить юную ведьму, насилвала ее...

После того как все мыслимые и немыслимые преступления были совершены, вождь и несколько оставшихся в живых чертей сдались на милость Момотаро. Но действительно ли мог торжествовать Момотаро? Онигасима уже не был раем, где щебетали райские птицы, как это было еще вчера. Кокосовая роща была усыпана трупами чертей. Момотаро в сопровождении трех слуг, размахивая флагом, вышел к распростершемуся ниц вождю чертей и возвестил:

— Движимый чувством сострадания, дарую вам жизнь. Но за это вы должны преподнести мне все без остатка сокровища Онигасимы.

— Согласны, преподнесем...

— Кроме того, вы дадите мне в заложники своих детей.

— Слушаемся, исполним и это.

Вождь чертей снова уткнулся лбом в землю, а потом с опаской обратился к Момотаро:

— Мы знаем, что наказаны за нанесенное вам оскорбление. Но ни я, ни черти с нашего острова Онигасимы не имеем понятия, какое именно оскорбление мы нанесли

вам. Не будете ли вы столь любезны объяснить, чем мы вас оскорбили?

Момотаро невозмутимо кивнул.

— Лучший из всех японцев, Момотаро, нанял трех верных слуг: собаку, обезьяну и фазана — вот почему он пришел покорять Онигасиму.

— Понятно, но зачем вы наняли этих трех слуг?

— Я уже давно задумал покорить Онигасиму и поэтому с помощью просяных лепешек нанял слуг. Ну как? Если ты скажешь, что и теперь не понимаешь, я всех вас переблю.

Вождь чертей испугался и, отскочив на почтительное расстояние, согнулся в поклоне.

5

Лучший из всех японцев, Момотаро, и его слуги — собака, обезьяна и фазан — впрягли в повозки с сокровищами чертенят, взятых в заложники, и с триумфом возвратились на родину... Это хорошо известно каждому японскому ребенку. И все же жизнь Момотаро не была сказочной. Чертенята, осмелев, убили сторожившего их фазана и сбежали обратно на Онигасиму. Но этого мало. Оставшиеся на острове черти время от времени переправлялись через море и то пытались убить спящего Момотаро, то поджигали его дворец. Во всяком случае, обезьяну, как утверждают, убили по ошибке. Момотаро лишь тяжело вздыхал, когда на него обрушивалось очередное несчастье.

— Как я страдаю от мстительности этих чертей!

— Действительно, негодяи, — забыть о благодеянии хозяина, даровавшего им жизнь, — причитала собака, участливо глядя на скорбное лицо Момотаро.

А в это время на побережье Онигасимы молодые черти, облитые светом прекрасной тропической луны, делали из кокосовых орехов бомбы, чтобы добиться независимости своего острова. Они забыли даже о любви к прекрасным юным ведьмам и работали молча, мрачно сверкая огромными, как плоски, глазами...

В неведомой людям глухой чаще далеко в горах и теперь, как и в старину, растет вознесшееся в заоблачную высь огромное персиковое дерево, сплошь усыпанное плодами. В горную реку упал и уплыл по ней, как известно,

только тот, один персик, в котором был Момотаро. Но в растущих на дереве плодах спит несметное множество будущих героев. Когда же на ветке персикового дерева снова появится огромный священный ворон? Да, в растущих на дереве плодах спит несметное множество будущих героев...

Июль 1924 г.

ДЕСЯТИИЕНОВАЯ БУМАЖКА

Однажды в начале лета пасмурным утром Хорикава Ясу-кити уныло поднимался по каменным ступенькам на платформу. Ничего сверхъестественного не произошло. Просто ему было грустно оттого, что в кармане у него всего-навсего шестьдесят сэн. В то время Хорикава Ясу-кити постоянно страдал от безденежья. Жалованье преподавателя английского языка исчислялось мизерной суммой в шестьдесят иен. И даже когда в журнале «Тюокорон» печаталась его новелла, написанная в свободное от преподавания время, ему платили не более девяноста сэн за страницу. Впрочем, этих денег вполне хватало, чтобы платить пять иен в месяц за квартиру и еще по пятьдесят сэн в день за завтрак, обед и ужин. Ведь он не столько любил роскошествовать, сколько заботился о собственном реноме, и лишь поэтому придавал большое значение своим доходам. Правда, помимо всего прочего ему необходимо было читать книги. Необходимо было курить египетские сигареты. Необходимо было ходить в концерты. Необходимо было встречаться с товарищами. И еще с женщинами — в общем, раз в неделю ему необходимо было ездить в Токио. Движимый жаждой жизни, он без конца брал авансы под свои рукописи, выпрашивал деньги у родителей и братьев. Когда же и этих денег не хватало, нес в заклад свою большую коллекцию картин в один похожий на амбар дом с красным фонарем над входом, куда редко кто заглядывал. Но на этот раз никаких надежд на аванс не было, к тому же Хорикава Ясу-кити поссорился с родителями и братьями, так что положение его было из рук вон плохо. Ему пришлось расстаться даже со своим атласным цилиндром, который он купил за восемнадцать иен и пятьдесят сэн ко Дню основания империи.

И пока Ясукити шагал по запруженной людьми платформе, образ прекрасного блестящего цилиндра буквально преследовал его. Этот глянec вызывал в памяти освещенные окна дома-амбара. В цилиндре отражались цветы горной вершины, росшей под окнами того дома... Но шестьдесят сэн на дне кармана, которых коснулись пальцы Хорикавы, миг разрушили это видение. Сегодня только тринадцатое. Целых две недели до двадцать восьмого числа, когда он получит жалованье в конверте с надписью: господину преподавателю Хорикаве. А долгожданное воскресенье, когда можно наконец съездить в Токио, уже завтра.

Ясукити собирался поужинать с Хасэ и Отомо. Кроме того, он собирался купить в Токио кисти, краски и холсты, которых здесь не было. И еще собирался пойти на концерт фрейлейн Мёллендорф. Но с шестьюдесятью сэнами в кармане нечего было и думать о поездке в Токио.

— Итак, прощай мое завтра.

Чтобы рассеять тоску, Ясукити решил закурить. Но в карманах, которые он тщательно обыскал, не осталось ни единой сигареты — вот досада. Все сильнее и сильнее чувствуя, с какой жестокостью смеется над ним злая судьба, он подошел к стоявшему у зала ожидания уличному торговцу. Торговец в зеленой охотничьей шляпе, с лицом, обсыпанным редкими оспинами, с обычным скучающим видом смотрел на газеты и карамель, разложенные в ящичке, висевшем у него на шее. Он не просто торговец. Он символ, мешающий нашей жизни. Сегодня, или, лучше сказать, особенно сегодня, Ясукити испытывал к этому уличному торговцу глухое раздражение.

— Дай мне «Асахи».

— «Асахи»? — не поднимая глаз, сурово спросил торговец. — Газету или сигареты?

Ясукити почувствовал, что у него от напряжения дрожит переносица.

— Пива!

Торговец удивленно уставился на Ясукити.

— Пива «Асахи» у меня нет.

С чувством облегчения Ясукити отошел от торговца. Но как же «Асахи»? Ведь он подошел специально, чтобы купить их... Ничего, можно и не выкурить «Асахи». Зато он как следует проучил отвратительного уличного торговца, а это, пожалуй, даже приятнее, чем выкурить сига-

рету. И забыв, что у него в кармане жалкие шестьдесят сэн, Ясукити гордо зашагал по платформе. С видом Наполеона, одержавшего блистательную победу под Ваг-рамом...

* * *

На фоне затянутого тучами неба высится холм — не поймешь, скала это или огромная куча грязи. Вершина холма покрыта коричневатой зеленью — не поймешь, трава это или деревья. Ясукити медленно бредет вдоль подножия холма. После получасовой тряски в поезде еще полчаса тащиться по пыльной дороге — тяжело. Тяжко? Вовсе нет. Он шел по инерции и на какой-то момент перестал ощущать, как тяжело идти. Каждый день он покорно брел вдоль подножия этого холма, нагонявшего тоску. Наша трагедия в том, что мы обречены на адские муки. Наша трагедия в том, что адские муки мы не воспринимаем как муки. Раз в неделю он избавлялся от этой трагедии. Но сегодня, когда в кармане оставалось всего шестьдесят сэн...

— Доброе утро, — неожиданно окликнул его старший преподаватель Авано-сан.

Авано-сану перевалило за пятьдесят. Смуглый, чуть сутуловатый господин в очках. Преподаватели военной школы, где служил Ясукити, позволяли себе носить лишь давно вышедшие из моды синие саржевые пиджаки — никаких других они никогда не носили. Авано-сан тоже был в саржевом пиджаке и новой соломенной шляпе. Ясукити вежливо поклонился.

— Доброе утро.

— Ужасная духотища.

— Как ваша дочь? Я слышал, она больна...

— Спасибо. Вчера ее наконец выписали из больницы.

Отдавая Авано-сану дань уважения, Ясукити пропустил его вперед. Причем уважение его отнюдь не было показным. Он беспредельно восхищался лингвистическим талантом Авано-сана. Авано-сан — он умер в возрасте шестидесяти лет — учил латынь на произведениях Цезаря. Кроме того, он знал, разумеется, английский, а также много других современных языков. Ясукити поражало, что Авано читал по-итальянски книгу под названием «Асино»¹, хотя сам не был дураком.

¹ «Дурак» (ит.).

Но Ясукиги восхищался не только его лингвистическим талантом. Авано-сан обладал великодушием старшего. Всякий раз, натолкнувшись в учебнике английского языка на трудное место, Ясукиги непременно консультировался с Авано-саном. Трудные места... они возникали потому, что, экономя время, Ясукиги нередко шел на урок, не заглянув в словарь. В таких случаях, правда, он изо всех сил старался изобразить не только почтительность, но и смущение. И лишь в тех случаях, когда Ясукиги задавал вопрос настолько легкий, что и сам мог бы на него ответить, Авано-сан изображал на лице глубокую задумчивость — Ясукиги до сих пор отчетливо помнит, как это происходило. Держа в руках учебник Ясукиги, Авано-сан, с потухшей трубкой в зубах, ненадолго погружался в размышления. Потом вдруг, точно его осенило, вскрикивал: «Это значит вот что», — и одним духом объяснял непонятное Ясукиги место. Как же почитал Ясукиги Авано-сана за такие представления... за такие уроки не столько талантливого лингвиста, сколько талантливого притворщика...

— Завтра воскресенье. Вы опять отправитесь в Токио?

— Да... Нет. Завтра я решил не ехать.

— Почему?

— Честно говоря... из-за бедности.

— Вы шутите, — сказал Авано-сан со смехом. Он конфузился, когда смеялся, потому что из-под темно-рыжих усов у него торчали выдающиеся вперед зубы. — Ведь, кроме жалованья, у вас есть и гонорары, так что в общей сложности вы получаете вполне прилично.

— Вы шутите... — Теперь эти слова уже произнес Ясукиги. Но произнес их гораздо серьезнее, чем Авано-сан. — Как вам известно, мое жалованье — пятьдесят иен, а гонорар — девяносто сэн за страницу. Если даже писать пятьдесят страниц в месяц, то получится — пятью девять — сорок пять иен. А в мелких журналах вообще платят сэн шестьдесят, так что...

Ясукиги стал разглагольствовать о том, как трудно живется литературному поденщику. И не просто разглагольствовать. Обладая прирожденным поэтическим даром, он с ходу расцветчивал свои слова самыми причудливыми красками. Японские драматурги и писатели — особенно его друзья — вынуждены мириться с ужасающей нуждой. Хасэ Масао приходится вместо сакэ пить

всякое пойло. Отомо Юкити с женой и ребенком снимать крохотную комнатку на втором этаже. Мацумото Ходзё тоже... правда, он недавно женился, и теперь ему живется полечче. А до этого он ходил только в дешевую закусочную.

— Arrerances are deceitful¹, что говорить, — не то в шутку, не то всерьез поддакнул Авано-сан.

Пустынная дорога незаметно перешла в улицу с убогими домишками, тянувшимися по обеим сторонам. Запыленные витрины, оборванные объявления и афиши на телеграфных столбах — одно только название, что город. Ни с чем не сравнимый трепет вызывал прочерчивающий небо над черепичными крышами огромный подъемный кран, который выбрасывал в небо клубы черного дыма и белого пара. Наблюдая эту картину из-под полей соломенной шляпы, Ясукити испытывал глубокое волнение при мысли о трагедии литературных поденщиков, которую он сам нарисовал такими яркими красками. И точно забыв о своем правиле терпеть, но не подавать вида, проболтался о содержимом своего кармана, где по-прежнему покоилась его рука.

— Честно говоря, у меня всего шестьдесят сэн, не разгуляешься, так что в Токио я не поеду.

В преподавательской Ясукити подсел к столу и, раскрыв учебник, стал готовиться к занятиям. Но ему не доставляло особой радости читать статью о ютландском морском бое. Особенно сегодня, когда он полон желания поехать в Токио. Держа в руке английский словарь морских терминов, Ясукити пробежал глазами всего одну страницу и тут же с тоской принялся думать о том, что в кармане у него всего шестьдесят сэн...

В половине двенадцатого голоса в преподавательской смолкают. Десять преподавателей уходят на занятия, остается один Авано-сан. Он скрыт за стоящим напротив столом... точнее, за безвкусной книжной полкой, отделяющей его стол от стола Ясукити. И лишь синеватый дымок от трубки, как свидетельство существования Авано-сана, время от времени медленно поднимается вверх на фоне белой стены. За окном тоже безмолвие. Покрытые молодой листвой верхушки деревьев, уходящие в об-

¹ Внешность обманчива (англ.).

лачное небо, серое здание школы за ними, а еще дальше сверкающая гладь залива — все погружено в знойную, унылую тишину...

Ясукити вспомнил о сигарете. И тут обнаружил, что, проучив неприветливого торговца, совсем забыл купить сигареты. Когда нечего курить — это тоже трагедия. Трагедия?.. А может быть, не трагедия? Страдания Ясукити, разумеется, не шли ни в какое сравнение со страданиями умирающего с голоду бедняка, для которого шестьдесят сэн целое состояние. Но страдал Ясукити так же, как бедняк. Даже сильнее. Ибо обладал более тонкой нервной организацией. Бедняка совсем не обязательно называть бедняком. Талантливый лингвист Авано-сан совершенно равнодушен и к «Подсолнухам» Ван-Гога, и к «Песне» Вольфа, и даже к урбанистской поэзии Верхарна. Лишить Авано-сана искусства — все равно что лишить травы собаку. Лишить же искусства Ясукити — все равно что лишить травы верблюда. Мизерная сумма в шестьдесят сэн заставила Хорикаву Ясукити страдать от духовного голода. Авано Рэнтаро, пожалуй, отнесся бы к этому равнодушно.

— Хорикава-кун...

Ясукити не заметил подошедшего к нему Авано-сана. В том, что он подошел, не было ничего удивительного. Удивительным было то, что и от его залысины на лбу, и от глаз за сильными стеклами очков, и от коротких усов... а если прибегнуть к некоторой гиперболе, то и от поблескивающей никотином трубки веяло необычным, поистине очаровательным, почти женским смущением. Пораженный Ясукити, не спросив даже: «У вас ко мне дело?» — уставился на старого преподавателя, такого простого и близкого сейчас.

— Хорикава-кун, это очень мало, но...

Скрывая за улыбкой смущение, Авано-сан протянул Ясукити сложенную четверо десятииеновую бумажку.

— Это, конечно, мало, но на билет до Токио хватит,

Ясукити растерялся. Занять у Рокфеллера — об этом он часто мечтал. Но взять в долг у Авано-сана — такое не могло прийти ему в голову. К тому же он сразу вспомнил, что лишь сегодня утром разглагольствовал о трагедии литературных поденщиков. Ясукити покраснел а стал запинаясь отказываться.

— Нет, что вы, честно говоря, карманных денег... карманных денег у меня действительно нет, но... стоит мне

сездить в Токио, и я все улажу... кроме того, я передумал и не поеду, так что...

— Ну что вы, берите, все же лучше, чем ничего.

— Мне в самом деле не нужно. Благодарю вас...

Авано-сан вынул трубку изо рта и растерянно посмотрел на сложенную вчетверо десятииеновую бумажку. А когда поднял глаза, спрятанные за стеклами очков в золотой оправе, в них все еще сквозила смущенная улыбка.

— Вам виднее. Ну что ж... простите, что оторвал вас от дела.

И Авано-сан, с таким видом, будто это ему отказались дать в долг, быстро спрятал десятииеновую бумажку в карман и заспешил к своему столу, скрытому полкой, уставленной словарями и справочниками.

Наступившая тишина окончательно лишила Ясукити покоя. Он даже взмок и, вынув из кармана никелированные часы, стал рассматривать свое лицо, отражавшееся в крышке. Привычка смотреться в зеркало всякий раз, когда он терял душевный покой, появилась у Ясукити лет десять назад. Правда, отраженное в маленьком кружке крышки часов лицо расплылось, нос разросся до огромных размеров. К счастью, и этого оказалось достаточно, чтобы в его сердце постепенно начал воцаряться покой. И одновременно он все острее испытывал сожаление, что отверг дружелюбие Авано-сана. Авано-сана, конечно, несколько не волновало, вернут ему десять иен или нет, он лишь предвкушал наслаждение при мысли о том, с какой радостью они будут приняты. И очень невежливо отвергнуть его предложение. Мало того...

Ясукити почувствовал, что не в силах устоять перед этим «мало того», как перед сильным порывом ветра. Мало того, после мольбы о помощи отклонить благодеяние — непростительное малодушие. Чувство долга — на него можно наплевать. Главное, сделать все, чтобы не стать трусом. Хорошо, он возьмет в долг... предположим, возьмет, — но до двадцать восьмого, пока не получит жалованья, никак не сможет их вернуть. Он спокойно брал авансы под свои будущие произведения. Но две с лишним недели не возвращать долг Авано-сану — это, пожалуй, хуже, чем стать нищим...

Минут десять Ясукити колебался, затем спрятал часы в карман и с воинственным видом направился к столу Авано-сана. Тот, окутанный клубами табачного дыма, в

своей обычной позе сидел за столом, где в строгом порядке были расставлены коробка табака, пепельница, журнал учета посещений, бутылка с клеем, и читал детектив Мориса Леблана. Увидев Ясукиги, Авано-сан отложил книгу, полагая, что у того какой-то вопрос по учебнику, и спокойно посмотрел ему прямо в лицо.

— Авано-сан. Одолжите мне, пожалуйста, деньги, которые вы только что предлагали. Я все хорошенько обдумал и решил взять их.

Ясукиги выпалил это одним духом. Он смутно помнит, что Авано-сан встал из-за стола, но ничего не сказал. Какое у него было при этом лицо — этого он, видимо, не заметил. Теперь, когда уже прошло лет семь или восемь, Ясукиги помнил только огромную правую руку Аваносана, протянутую прямо к его лицу. Помнил, как тот смущенно, дрожащими пальцами (ноготь на толстом втором пальце — желтый от никотина) протягивал ему сложенную вчетверо десятииеновую бумажку...

Ясукиги твердо решил вернуть Авано-сану долг послезавтра, в понедельник. Для верности скажем: именно эту десятииеновую бумажку. И совсем не потому, что у него был какой-то тайный умысел. Теперь, когда не оставалось никакой надежды на новый аванс и он поссорился с родителями и братьями, ясно, что денег он не достанет, если даже отправится в Токио. Следовательно, чтобы вернуть долг, он должен сберечь именно эту десятииеновую бумажку. А чтобы сберечь эту десятииеновую бумажку... Ожидая гудка отправления в уголке полутемного вагона второго класса, Ясукиги еще неотступнее, чем утром, думал о десятииеновой бумажке, лежавшей в кармане вместе с мелочью — несчастными шестьюдесятью сэнами.

Неотступнее, чем утром, но не унылее, чем утром. Утром он с горечью думал лишь о том, что у него нет денег. А сейчас он испытывал помимо этого и нравственную муку, связанную с необходимостью вернуть десять иен. Нравственную?.. Ясукиги невольно поморщился. Нет, никакая не нравственная. Просто он не хочет ронять своего достоинства в глазах Аваносана. Другого же способа сохранить честь, кроме как вернуть одолженные деньги, не существует. Если бы и Авано-сан любил искусство или по крайней мере литературу, — писатель Хорикава Ясукиги попытался бы сохранить честь, выпустив

блестящее произведение. Или, если бы Авано-сан был заурядным, как все мы, лингвистом, преподаватель Хорикава Ясукиги мог бы сохранить честь, продемонстрировав свою элементарную лингвистическую подготовку. Но ни один из этих способов не годился, когда речь шла о совершенно равнодушном к искусству лингвистическом гении Авано-сана. В общем, хочешь не хочешь, Ясукиги должен был сохранить свое достоинство, как это делают обычные воспитанные люди. А именно, вернуть одолженные деньги. Возможно, это выглядит немного комично — причинять себе столько хлопот, преодолевать столько трудностей лишь ради того, чтобы сохранить честь. Но Ясукиги по какой-то непонятной причине хотел не вообще сохранить честь, а именно в глазах Авано-сана, этого пожилого, благородного, чуть сутуловатого человека в очках с золотой оправой...

Поезд тронулся. Дождь, полосующий обложенное тучами небо, затянул пеленой военные корабли, замершие в сине-зеленом море. Ясукиги, испытывая какую-то непонятную легкость, обрадовался, что у него всего несколько попутчиков, и с наслаждением вытянулся на диване. Ему сразу же вспомнился один журнал в Хонго. Всего месяц назад он получил оттуда длинное письмо с предложением сотрудничать. Но, презирая этот журнал, он не откликнулся на предложение. Продать свои произведения такому журналу почти то же, что отдать собственную дочь в проститутки. Но теперь везде, где только можно, он получил авансы, остался один этот журнал. Если бы удалось добыть хоть небольшую сумму...

Поезд нырнул из тоннеля в тоннель, и, следя за смелой светом и тьмой, Ясукиги представлял себе, какую радость приносит ему даже самый маленький аванс. Радость человека искусства зависит от случая. Воспользоваться таким случаем несколько не стыдно. Сегодня этот случай — экспресс, прибывающий в Токио в два часа тридцать минут. Чтобы получить хоть какой-нибудь аванс, нужно прежде всего добраться до Токио. Если бы удалось достать иен пятьдесят или, на худой конец, тридцать, можно было бы поужинать с Хасэ и Отомо. Можно было бы пойти на Концерт фрейлейн Мёллендорф. Можно было бы купить холсты, кисти и краски. Мало ли что можно было бы. Да и стоит ли прилагать такие невероятные усилия, чтобы сохранить десятииеновую бумажку? А вдруг не удастся получить аванс — что ж, то-

гда он и, подумает как быть. В самом деле, во имя чего он так стремится сохранить честь в глазах Авано Рэнтаро? Авано-сан, пожалуй, человек благородный. Но к судьбе самого Ясукиги, к огню искусства, пылающему у него в груди, Авано-сан не имеет ни малейшего отношения. И не воспользоваться таким случаем ради этого чужого человека... Черт возьми, подобная логика опасна!

Вздвогнув, Ясукиги вдруг садится на диване. Вырвавшийся из тоннеля поезд, выбрасывая клубы дыма, с печальным видом бежит по ущелью, поросшему мокрым от дождя зеленым мискантом, шелестящим на ветру...

Это произошло на следующий день, в воскресенье, под вечер. Ясукиги сидел на старом плетеном стуле в своей комнате и нетерпеливо подносил огонь к сигарете. Его сердце было переполнено удовлетворением, какого он давно уже не испытывал. И это не случайно. Во-первых, ему удалось сохранить десятииеновую бумажку. Во-вторых, в только что полученное им от одного издательства письмо был вложен гонорар за пятьсот экземпляров его книги — пятьдесят сэн за каждый экземпляр. В-третьих, — самым неожиданным было именно это событие, — так вот, в-третьих, квартирная хозяйка подала ему на ужин печеную форель!

Лучи летнего вечернего солнца заливали свисавшие над карнизом ветви вишни. Заливали и землю в саду, усыпанную кое-где вишнями. Заливали и десятииеновую бумажку, лежавшую у Ясукиги на коленях, обтянутых саржевыми брюками. Он внимательно смотрел на сложенную бумажку в лучах этого вечернего солнца. Серая десятииеновая бумажка с напечатанными на ней виньетками и шестнадцатилепестковой хризантемой была удивительно хороша. Хорош был и овальный портрет: лицо туповатое, но совсем не вульгарное, как ему прежде казалось. Еще прекрасней была оборотная сторона, зеленовата-коричневая и на редкость изящная. Хоть в рамку вставляй, не будь она захватана руками. Но она не только захватана руками. Над крупной цифрой 10 что-то мелко написано чернилами. Ясукиги двумя пальцами взял бумажку и прочел надпись: «Может, сходить в «Ясукэ»?»

Ясукиги снова положил бумажку на колени. Потом выпустил сигаретный дым вверх, к озаряющим сад лучам вечернего солнца. Эта десятииеновая бумажка, возможно, навела автора надписи всего лишь на мысль схо-

дить поестъ суси. Но какие трагедии возникают в бескрайнем мире вот из-за такой десятииеновой бумажки! Да и сам он еще накануне вечером готов был заложить душу за эту бумажку. Но все обошлось. Во всяком случае, ему удалось сохранить свою честь в глазах Аваносана. А на мелкие расходы ему вполне хватит до жалованья гонорара за пятьсот экземпляров!

— Может, сходить в «Ясукэ»? — шепчет Ясуцити и пристально смотрит на десятииеновую бумажку. Как Наполеон — на Альпы, которые он только вчера перевалил.
Сентябрь 1924 г.

ЛОШАДИНЫЕ НОГИ

Героя этого рассказа зовут Осино Хандзабуро. К сожалению, человек он ничем не замечательный. Он служащий пекинского отделения компании «Мицубиси», лет ему около тридцати. Через месяц после окончания коммерческого училища Хандзабуро получил место в Пекине. Товарищи и начальство отзывались о нем не то чтобы хорошо, но и нельзя сказать, что плохо. Заурядность, бесцветность — вот что определяет внешность Хандзабуро. Добавлю, что такова же его семейная жизнь.

Два года назад Хандзабуро женился на одной барышне. Звали ее Цунэко. И это, к сожалению, не был брак по любви. Это был брак, устроенный родственниками Хандзабуро, пожилыми супругами, через свата. Цунэко нельзя было назвать красавицей. Правда, нельзя было назвать ее безобразной. На ее пухлых щечках всегда трепетала улыбка. Всегда — за исключением той ночи по пути из Мукдена в Пекин, когда в спальном вагоне ее кусали клопы. Но с тех пор ей больше не приходилось бояться клопов: в казенной квартире на улице N у нее было припасено два флакона «Пиретрума» — средства от насекомых, изготовленного фирмой «Комори».

Я сказал, что семейная жизнь Хандзабуро совершенно заурядна, бесцветна, и действительно, так оно и было. Он обедал с Цунэко, слушал с ней граммофон, ходил в кинематограф — и только; словом, вел такую же жизнь, как и всякий другой служащий в Пекине. Однако и при таком образе жизни им не уйти было от предначертаний судьбы. Однажды после полудня судьба оборвала одним ударом мирный ход этой заурядной, бесцветной жизни.

Служащий фирмы «Мицубиси» Осино Хандзабуро скоропостижно скончался от удара.

В это утро Хандзабуро, как обычно, усердно занимался бумагами за своим служебным столом в здании Дундуань-пайлоу. Говорили, что сослуживцы, сидевшие напротив него, не заметили в нем ничего необычного. Однако в тот миг, когда он, видимо, закончив одну из бумаг, сунул в рот папироску и хотел было чиркнуть спичкой, — он вдруг упал лицом вниз и умер. Скончался он как-то слишком внезапно. Но, к счастью, не принято строго судить о том, кто как умер. Судят лишь о том, кто как живет. Благодаря этому и в случае с Хандзабуро дело обошлось без особых пересудов. Мало того что без пересудов. И начальство и сослуживцы выразили вдове Цунэко глубокое сочувствие.

По заключению профессора Ямаи, директора больницы Тунжэнь, смерть Хандзабуро последовала от удара. Но сам Хандзабуро, к несчастью, не думал, что это удар. Прежде всего он не думал даже, что умер. Он только изумился тому, что вдруг оказался в какой-то конторе, где никогда раньше не бывал.

Занавески на окнах конторы тихо колыхались от ветра в сиянии солнечного дня. Впрочем, за окном ничего не было видно... За большим столом посредине комнаты сидели друг против друга два китайца в белых халатах и перелистывали гроссбухи. Одному было всего лет двадцать, другой, с длинными пожелтевшими усами, был постарше.

Пока Хандзабуро осматривался, двадцатилетний китаец, бегая пером по страницам гроссбуха, вдруг обратился к нему, не поднимая глаз:

— Are you mister Henry Ballet, ar'nt you? ¹

Хандзабуро изумился. Однако он постарался по мере возможности спокойно ответить на чистом пекинском наречии.

— Я служащий японской компании «Мицубиси» Осино Хандзабуро, — сказал он.

— Как! Вы японец? — почти испуганно спросил китаец, подняв наконец глаза. Второй — пожилой китаец, — начав было что-то записывать в гроссбук, остановился и тоже озадаченно посмотрел на Хандзабуро,

— Что же нам делать? Перепутали!

¹ Вы мистер Генри Бэллет, не так ли? (англ.).

— Вот беда! Вот уж подлинно беда! Да этого со времени революции никогда не случалось.

Пожилой китаец казался рассерженным, перо у него в руке дрожало.

— Ну что ж, живо верни его на место.

— Послушайте... э-э... господин Осино! Подождите немного.

Молодой китаец раскрыл новый толстый гроссбух и стал что-то читать про себя, но сейчас же, захлопнув гроссбух, с еще более испуганным видом обратился к пожилому китайцу:

— Невозможно... Господин Осино Хандзабуро умер три дня назад.

— Три дня назад?

— Да... И ноги у него разложились. Обе ноги разложились, начиная с ляжек.

Хандзабуро снова изумился. Судя по их разговору, во-первых, он умер, во-вторых, со времени его смерти прошло три дня. В-третьих, его ноги разложились. Такой ерунды не может быть! В самом деле, вот его ноги... Но едва он взглянул на ноги, как невольно вскрикнул. И не удивительно: обе его ноги в безупречно отглаженных белых брюках и белых ботинках колыхались от ветра, дувшего из окна. Увидев это, он не поверил своим глазам. Потрогал — действительно, трогать его ноги от бедер и ниже было все равно, что хватать руками воздух. Хандзабуро так и сел. В ту же секунду его ноги — вернее, брюки — вяло опустились на пол, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух.

— Ничего, ничего, что-нибудь придумаем! — сказал пожилой китаец и прежним раздраженным тоном обратился к молодому служащему:

— Это ты виноват! Слышишь? Ты виноват! Надо немедленно подать рапорт. Вот что: где сейчас Генри Бэллет?

— Я только что выяснил. Он срочно выехал в Ханькоу.

— В таком случае пошли телеграмму в Ханькоу и добудь ноги Генри Бэллета.

— Нет, это невозможно. Пока из Ханькоу придут ноги, у господина Осино разложится все тело.

— Вот беда! Вот уж подлинно беда!

Пожилой китаец вздохнул. Даже усы его как будто свесились еще ниже.

— Это ты виноват! Нужно немедленно подать рапорт. К сожалению, из пассажиров вряд ли кто остался?

— Только час, как отбыли. Вот лошадь одна есть, но...

— Откуда она?

— С конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь. Только что околела.

— Ну так приставим ему лошадиные ноги. Все лучше, чем не иметь никаких. Принеси-ка ноги сюда.

Двадцатилетний китаец встал из-за стола и плавно удалился. Хандзабуро изумился в третий раз. Судя по этому разговору, похоже, что ему собираются приставить лошадиные ноги. Оказаться человеком с лошадиными ногами — какой ужас! Все еще сидя на полу, он умоляюще обратился к пожилому китайцу:

— Прошу вас, избавьте меня от лошадиных ног! Я терпеть не могу лошадей. Пожалуйста, молю вас во имя всего святого, приставьте мне человеческие ноги. Ну, хоть ноги Генри-сана или кого-нибудь еще — все равно. Пусть даже немножко волосатые — я согласен, лишь бы это были человеческие ноги!

Пожилой китаец сочувственно посмотрел на Хандзабуро и закивал.

— Если бы только нашлись — приставили бы, но человеческих ног как раз нет, так что... Что ж делать, слушайтесь несчастье, примиритесь с судьбой! Но с лошадиными ногами вам будет хорошо. Только время от времени меняйте подковы, и вы спокойно одолеете любую дорогу, даже в горах.

Тут опять откуда-то плавно появился молодой китаец с парой лошадиных ног в руках. Так мальчик в отеле приносит сапоги. Хандзабуро хотел убежать. Но увы — без ног подняться ему было не так-то просто. Тем временем молодой китаец подошел к нему и снял с него белые ботинки и носки.

— Нет, нет! Только не лошадиные ноги! Да, наконец, кто имеет право чинить мне ноги без моего согласия?!

Пока Хандзабуро кричал и протестовал, молодой китаец всунул одну лошадиную ногу в отверстие правой штанины. Лошадиная нога точно зубами впилась в правое бедро. Тогда он вставил другую ногу в отверстие левой штанины. Она тоже накрепко вцепилась в бедро.

— Ну вот и хорошо!

Двадцатилетний китаец, удовлетворенно улыбаясь, по-

тер пальцы с длинными ногтями. Хандзабуро растерянно посмотрел на свои ноги. Из-под белых брюк виднелись две толстые гнедые ноги, два рядышком стоящих копыта.

Хандзабуро помнил лишь то, что произошло до этой минуты. По крайней мере, дальнейшее сохранилось у него в памяти уже не с той отчетливостью. Он помнил, что как будто подрался с обоими китайцами. Затем как будто скатился с крутой лестницы. Но все это представлялось ему но вполне ясно. Как бы то ни было, когда он после скитания в мире смутных видений пришел в себя, он лежал в гробу, установленном в казенной квартире на улице N. Мало того, прямо перед гробом молодой миссионер из храма Хонгандзи читал заупокойную молитву.

Само собой разумеется, воскресение Хандзабуро стало предметом всевозможных толков. Газета «Дзюнтэн ниппон» поместила большой его портрет и напечатала корреспонденцию в три столбца. Согласно этой корреспонденции Цунэко в своем траурном платье больше, чем обычно, сияла улыбкой; несколько человек из начальства и сослуживцев, отнеся расходы на теперь уже ненужные поминальные приношения за счет компании, устроили банкет в честь воскресшего. Конечно, авторитет профессора Ямаи оказался под ударом. Но профессор, спокойно пуская колечки папиросного дыма, искусно восстановил свой авторитет. Он заявил, что это тайна природы, недоступная медицине. То есть вместо авторитета лично своего, профессора Ямаи, он поставил под удар авторитет медицины.

У одного только виновника событий, самого Хандзабуро, даже на банкете в честь его воскресения не было на лице и признака радости. И не удивительно. Его ноги с момента воскресения превратились в лошадиные. В гнедые лошадиные ноги с копытами вместо пальцев. Каждый раз при виде этих ног он испытывал невыразимое отчаяние. Если кто-нибудь случайно увидит эти его ноги, его в тот же день, несомненно, уволят из компании. Сослуживцы, безусловно, уклонятся от всяких дальнейших сношений с ним. И Цунэко — о, слабость, женщина имя твое! — и Цунэко последует их примеру; она не захочет иметь мужем человека с лошадиными ногами. Чем больше Хандзабуро думал об этом, тем сильнее укреплялось в нем решение во что бы то ни стало скрыть свои ноги. Он отказался от японской одежды. Стал носить высокие

сапоги. Наглухо закрывал окна и дверь ванной. И тем не менее им беспрестанно владела тревога. Разумеется, не напрасно. Почему? А вот почему...

Больше всего Хандзабуро остерегался навлечь на себя подозрение сослуживцев. Может быть, поэтому он, при всех своих страданиях, держался сравнительно непринужденно. Но, судя по его дневнику, ему постоянно приходилось бороться с разного рода опасностями.

«...июля. Право же, молодой китаец приставил мне отвратительные ноги. Их можно назвать рассадником блох. Сегодня на службе ноги у меня чесались до сумасшествия. Во всяком случае, надо на время отдать все свои силы изгнанию блох...»

«...августа. Сегодня ходил по одному делу к управляющему. Во время разговора управляющий все время потягивал носом. Кажется, запах моих ног пробивается и сквозь сапоги...»

«...сентября. Свободно управлять лошадиными ногами куда труднее, чем ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом меня послали по срочному делу, и я быстро побежал вниз по лестнице. Всякий в такую минуту стал бы думать только о деле. И я на миг забыл о своих лошадиных ногах. Не успел я ахнуть, как мои ноги скользнули на семь ступенек...»

«...октября. Понемногу научился управлять своими лошадиными ногами. Если разобраться, все дело в том, чтобы сохранять равновесие бедер. Сегодня потерпел неудачу. Правда, тут не только моя вина. В девять часов утра поехал на рикше на службу. И вот рикша вместо двенадцати сэнов стал требовать двадцать. К тому же он вцепился в меня и не давал войти в дверь. Я очень рассердился и изо всех сил отпихнул его ногой. Рикша взлетел в воздух, как футбольный мяч. Понятно, я раскаивался. И в то же время я невольно фыркнул. Во всяком случае, двигать ногами нужно гораздо осторожнее».

«...июля. Самый злейший мой враг — Цунэко. Под предлогом необходимости жить культурно нашу единственную японскую комнату я в конце концов обставил по-европейски: таким образом, я могу в присутствии Цунэко оставаться в сапогах. Цунэко, кажется, очень недовольна тем, что убрали татами. Но даже в таби такими ногами ходить по японскому полу для меня просто немислимо».

«...сентября. Сегодня продал двуспальную кровать.

Когда-то я купил ее на аукционе у одного американца. Возвращаясь с аукциона, я шел по аллее сеттльмента. Деревья были в полном цвету. Красиво блестела вода в Императорском канале. Но... теперь не время предаваться воспоминаниям. Вчера ночью опять слегка лягнул Цунэко в бок...»

«...ноября. Сегодня сам снес в стирку свое грязное белье: к трусам, кальсонам и носкам всегда прилипают конские полосы».

«...декабря. Носки рвутся отчаянно. А платить за носки без ведома Цунэко — поистине задача не из легких...»

«...декабря. Даже на ночь не снимаю ни носков, ни кальсон. Кроме того, весьма нелегкое дело прятать от Цунэко ступни. Вчера, ложась спать, Цунэко сказала: «Какой вы зябкий! Что это? Вы даже поясницу кутаєте в меха?» Кто знает — не близок ли час, когда мои лошадиные ноги будут обнаружены?..»

Помимо этих, Хандзабуро подстерегали еще и другие опасности. Перечислять их все слишком утомительно. Но больше всего меня поразила в его дневнике следующая запись:

«...декабря. Сегодня во время обеденного перерыва пошел к букинисту у храма Луньфусы. Перед входом в лавку стоял экипаж, запряженный лошадей. Впрочем, это был не европейский экипаж, а китайская пролетка с поднятым темно-синим верхом. На козлах дремал кучер. Я не обратил на все это особого внимания и хотел было войти в лавку. И в эту самую минуту кучер, щелкнув кнутом, крикнул: «Цо! Цо!» «Цо» — это слово, которое китайцы употребляют, когда хотят осадить лошадь. Не успел кучер договорить, как лошадь попятилась. И вот в этот миг — не ужасно ли? — я тоже, стоя все еще лицом к лавке, стал шаг за шагом отступать по тротуару. Что я испытывал в эту минуту — какой страх, какое изумление, — этого пером не описать! Напрасно силился я сделать хоть шаг вперед — под властью страшной, непреодолимой силы я продолжал отступать. Между тем мне еще повезло, что кучер сказал «цо». Едва экипаж остановился, я тоже перестал пятиться. Но странности на этом не кончились. Облегченно вздохнув, я невольно оглянулся на экипаж. И вот лошадь — серая кобыла, запряженная в экипаж, — как-то непонятно заржала. Не

понятно? Нет, не так уж непонятно! В этом пронзительном ржанье я отчетливо различил хохот. И не только у лошади — у меня самого к горлу подступило что-то похожее на ржанье. Издать этот звук было бы ужасно. Я обеими руками зажал уши и со всех ног пустился бежать...»

Однажды днем в конце марта он вдруг заметил, что его ноги совершенно произвольно скачут и прыгают. Но судьба приготовила Хандзабуру последний удар. Отчего же его лошадиные ноги вдруг взволновались? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы заглянуть в дневник Хандзабуру. Но, к сожалению, его дневник кончается как раз за день до того, как его постигла новая беда. Только на основании предшествующих и последующих обстоятельств можно высказать некоторые общие предположения. Прочитав «Записи о лошадях», «Собрание сведений о быках, лошадях и верблюдах годов Гэнкё» и другие труды, я пришел к убеждению, что его ноги так сильно взволновались по следующей причине.

Это был сезон желтой пыли. «Желтая пыль» — это мелкий песок, приносимый весенним ветром в Пекин из Монголии. Судя по статьям в газете «Дзюнтэн ниппон», в тот год желтая пыль достигла небывалой за десятки лет густоты. «В пяти шагах от ворот Дэшэнь-мынь не видео башни на воротах», — говорилось тогда, и по одному этому видно, что пыль действительно была страшная. Между тем лошадиные ноги Хандзабуру принадлежали павшей лошади с конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь, а эта павшая лошадь, без сомнения, была кунлуньским скакуном из Монголии, привезенным через Калган и Цзиньчжоу. И разве не естественно, что, почуввав монгольский воздух, лошадиные ноги Хандзабуру вдруг прыгали и заскакали? Кроме того, это было время случки, когда те лошади, которые не заперты в конюшне, носят-ся на воле как бешеные... Учитывая все это, приходится признать одно: то обстоятельство, что его лошадиные ноги не могли оставаться в покое, заслуживает всяческого сочувствия.

Верно это объяснение или нет — только, как говорят, Хандзабуру в те дни даже на службе все время прыгал, точно пританцовывая. Говорят, что на пути домой он на протяжении трех кварталов опрокинул семерых рикш. Наконец, уже вернувшись домой, он, по словам Цунэко,

вошел в комнату, пошатываясь и задыхаясь, как собака в жару, и, повалившись на стул, сразу же приказал ошеломленной жене принести веревки. По его виду Цунако сразу сообразила, что случилось нечто ужасное. Он был чрезвычайно бледен. Кроме того, он все время взволнованно и словно не в силах сдержать себя переступал ногами в высоких сапогах. Цунэко, позабыв из-за этого даже о своем обыкновении улыбаться, спросила, зачем ему веревки. Но муж, страдальчески вытирая со лба пот, только повторял:

— Скорей, скорей!.. Иначе — ужас!..

Цунэко волей-неволей дала мужу связку веревок, предназначенных для упаковки корзин. Он стал обвязывать этими веревками свои ноги в сапогах. Мысль, что ее муж сошел с ума, мелькнула у нее именно в эту минуту. Не сводя с него глаз, Цунэко дрожащим голосом предложила пригласить профессора Ямаи. Но Хандзабуро старательно обматывал ноги веревками и не поддавался на ее уговоры.

— Что этот шарлатан понимает? Это разбойник! Мошенник! Лучше придержи меня.

Обнявшись, они тихо сидели на диване. Желтая пыль, заволакивавшая весь Пекин, стучалась все больше. Даже заходящее солнце за окном казалось мутным, лишенным блеска, красным шаром. И ноги Хандзабуро, разумеется, не могли оставаться в покое. Опутанные веревками, они беспрестанно двигались, точно нажимая на какие-то невидимые педали. Цунэко, жалея его и стараясь ободрить, говорила то об одном, то о другом.

— Почему... почему вы так дрожите?

— Ничего! Ничего!

— Но вы весь мокрый! Этим летом мы поедем в Японию. Мы так давно не были дома!

— Непременно поедем! Поедем и останемся там.

Пять минут, десять минут, двадцать минут... время тихими шагами проходило над ними. Цунэко говорила корреспонденту «Дзюнтэн нишпон», что в эти минуты она чувствовала себя узницей, закованной в цепи. Но полчаса спустя наступил наконец миг, когда цепи разорвались. Правда, разорвалось не то, что Цунэко назвала своими цепями. Разорвались человеческие узы, привязывавшие Хандзабуро к дому. Окно, сквозь которое струился мутный красный свет, вдруг с шумом распахнулось от порыва ветра. И в тот же миг Хандзабуро что-то

громко крикнул и подскочил на три сяку вверх. Цунэко увидела, как веревка лопнула, точно разрезанная. А Хандзабуро... но это уже не рассказ Цунэко. Увидев, как муж подскочил, она тут же упала на диван и лишилась чувств. Но китаец-бой из казенной квартиры так рассказывал тому же корреспонденту: словно спасаясь от преследования, Хандзабуро выскочил из вестибюля, мгновение он стоял у входа, затем задрожал всем телом и, издав жуткий вопль, напоминавший ржание, ринулся прямо в застилавшую улицы желтую пыль...

Что стало с Хандзабуро потом? Это до сих пор остается тайной. Впрочем, корреспондент «Дзюнтэн ниппон» сообщает, что в тот день, около восьми часов вечера, при тусклом свете луны, затуманенной желтой пылью, по полотну знаменитой железнодорожной линии Падалинь, откуда смотрят на Великую стену, бежал какой-то человек без шляпы. Но эта корреспонденция не вполне достоверна. В самом деле, другой корреспондент той же газеты сообщает, что в тот самый день, тоже около восьми часов вечера, под дождем, прибывшим желтую пыль, какой-то человек без шляпы бежал по дороге Шисаньлин, вдоль которой стоят каменные изображения людей и лошадей. Таким образом, куда скрылся Хандзабуро, выбежав из вестибюля дома компании на улице N., сказать с уверенностью невозможно.

Разумеется, бегство Хандзабуро, так же как и его воскресение, стало предметом всевозможных толков. Но Цунэко всем — и управляющему, и сослуживцам, и профессору Ямаи, и редактору «Дзюнтэн ниппон» — объясняла его бегство сумасшествием. В самом деле, несомненно, легче было объяснить это сумасшествием, чем лошадиными ногами. Избегать трудного и прибегать к легкому — таков обычный путь на свете. Представитель этого пути, редактор «Дзюнтэн ниппон», господин Мадагути, на другой день после бегства Хандзабуро поместил в газете нижеследующую статью, произведение своего блестящего пера:

«Господин Осино Хандзабуро, служащий компании «Мицубиси», вчера вечером, в пять часов пятнадцать минут, по-видимому, внезапно потерял рассудок и, не слушая увещаний своей супруги Цунэко, бежал неведомо куда. Согласно мнению директора больницы Туньжэнь профессора Ямаи, господин Осино прошлым летом перенес апоплексический удар, трое суток пролежал без со-

знания и с тех пор стал обнаруживать известные странности. Судя по дневнику господина Осино, найденному госпожой Цунэко, господин Осино страдал странной навязчивой идеей. Однако нам хотелось бы спросить, как назвать болезнь господина Осино? Где чувство ответственности мужа госпожи Цунэко, господина Осино? Мощь нашей империи, ни разу не запятнанной вторжением внешнего врага, покоится на принципе семьи. Коль скоро она покоится на принципе семьи, излишне спрашивать, как велика ответственность тех, кто является главой семьи. Вправе ли такой глава семьи самочинно сходить с ума? На такой вопрос мы решительно отвечаем: нет! Допустим, что мужья получают право сходить с ума. Тогда они, всецело забросив семью, обретут счастье либо ходить и распевать по большим дорогам, либо скитаться по горам и лесам, либо получать кров и пищу в лечебнице для душевнобольных. Но в таком случае двухтысячелетний принцип семьи, которым мы гордимся перед всем светом, неминуемо рассыплется в прах. Мудрец изрек: надлежит ненавидеть преступление, но не следует ненавидеть преступника. Мы не хотим быть жестокими по отношению к господину Осино. Но мы должны бить тревогу и судить преступление, состоящее в том, что человек позволяет себе сходить с ума. И не только преступление господина Осино. Мы, если этого не делает само небо, должны осудить недосмотр всех прежних кабинетов, которые не сочли нужным издать запрещение сходить с ума!

Из разговора с госпожой Цунэко нам известно, что она по меньшей мере на год останется на казенной квартире на улице N. и будет ждать возвращения господина Осино. Мы выражаем свое глубокое сочувствие верной супруге и вместе с тем надежду, что просвещенная компания «Мицубиси» не преминет позаботиться о госпоже Цунэко».

Но через полгода Цунэко вновь пережила нечто такое, что не позволило ей оставаться в прежнем заблуждении. Это произошло октябрьским вечером в сумерки, когда с пекинских ив осыпались желтые листья. Цунэко сидела на диване у себя дома, погруженная в воспоминания. На ее губах больше не трепетала привычная улыбка.

ка. Ее щеки потеряли былую округлость. Она думала то о своем сбежавшем муже, то о проданной двуспальной кровати, то о клопах. И вот у входа кто-то неуверенно позвонил. Цунэко не обратила на это внимания, предоставив открыть дверь бою. Но бой, видимо, куда-то ушел, и никто дверь не открывал. Тем временем звонок прозвучал еще раз. Цунэко наконец поднялась с дивана и медленно подошла к двери.

За дверью на пороге, усыпанном опавшей листвой, в слабом свете сумерек стоял человек без шляпы. Без шляпы... не только без шляпы! Он был совершенно оборван и весь в пыли. Цунэко почувствовала перед ним почти страх:

— Что вам нужно?

Человек не ответил. Его давно не стриженная голова была низко опущена. Вглядываясь в него, Цунэко боязливо повторила:

— Что... что вам нужно?

Наконец человек поднял голову.

— Цунэко...

Одно слово. Но слово, которое, точно свет луны, озарило его, озарило истинный облик этого человека. Затаив дыхание, словно лишившись голоса, Цунэко не сводила глаз с его лица. У него отросла борода, и он исхудал до неузнаваемости. Но глаза, смотревшие на нее, — это, несомненно, были те самые долгожданные глаза.

— Вы?!

С этим криком Цунэко хотела было прильнуть к груди мужа. Но, едва сделав шаг вперед, отскочила, словно ступив на раскаленное железо. Из-под разорванных в клочья штанов мужа виднелись мохнатые лошадиные ноги — даже в сумерки ясно различимые по масти гнедые лошадиные ноги.

— Вы?!

Цунэко почувствовала к этим лошадиным ногам неопишное отвращение. Но она почувствовала и то, что этот раз — последний, что больше она не встретится с мужем никогда. Муж печально смотрел ей в лицо. Цунэко еще раз хотела прижаться к его груди. Но отвращение опять подорвало ее решимость.

— Вы?!

Когда она вскрикнула так в третий раз, муж круто повернулся и стал медленно спускаться с лестницы. Цу-

нэко собрала все свое мужество и в отчаянии хотела побежать за ним. Но не успела она ступить и шагу, как до ее ушей донесся стук копыт. Бледная, не в силах остановить мужа, Цунэко, не двигаясь, смотрела ему вслед. И потом... упала без чувств на порог, усыпанный опавшей листвой.

Со времени этого происшествия Цунэко начала вести дневнику мужа. Но сослуживцы, профессор Ямаи, редактор Мудагути и прочие все еще не верят, что у господина Хандзабуро оказались лошадиные ноги. Больше того, даже то, что Цунэко видела эти ноги, они тоже считают галлюцинацией. Во время моего пребывания в Пекине я встречался с профессором Ямаи и с редактором Мудагути и несколько раз старался рассеять их заблуждение. Но каждый раз только сам подвергался насмешкам. Впоследствии — нет, совсем недавно — писатель Окада Сандзабуро, видимо услышав от кого-то об этой истории, написал мне, что, право же, немыслимо поверить, чтобы у человека могли появиться лошадиные ноги. Как писал господин Окада, если только допустить, что это правда, «ему, по всей вероятности, были приставлены передние ноги лошади. И если это был рысак, способный на высший класс езды, как, например, испанский аллюр, то он, пожалуй, мог проделывать и такие кунштуки, как лягаться передними ногами. Но могла ли лошадь научиться этому сама, без такого наездника, как лейтенант Юаса, — в этом я сильно сомневаюсь!». Понятно, и я не могу не питать на этот счет некоторых сомнений. Но разве отрицать на одном этом основании дневник Хандзабуро и рассказ Цунэко — не легкомыслие? В самом деле, как я установил, в газете «Дзюнтэн ниппон», сообщавшей о его воскресении, на той же самой странице, несколькими столбцами ниже, помещена следующая заметка:

«Председатель общества трезвости Мэй-хуа господин Генри Бэллет скоропостижно скончался в поезде на Ханькоу. Поскольку он умер со склянкой в руках, возникло подозрение о самоубийстве, но результаты анализа жидкости показали, что в склянке находился спиртной напиток».

Январь 1925 г.

В СТРАНЕ ВОДЯНЫХ

Это история, которую рассказывает всем пациент номер двадцать три одной психиатрической больницы. Ему, вероятно, уже за тридцать, но на первый взгляд он кажется совсем молодым. То, что ему пришлось испытать... Впрочем, совершенно не важно, что ему пришлось испытать. Вот он неподвижно сидит, обхватив колени, передо мной и доктором С., директором больницы, и утомительно длинно рассказывает свою историю, время от времени обращая взгляд на окно, где за решеткой одинокий дуб протянул к хмурым снеговым тучам голые, без единого листа, ветви. Иногда он даже жестикулирует и делает всевозможные движения телом. Например, произнося слова «я был поражен», он резким движением откидывает назад голову.

По-моему, я записал его рассказ довольно точно. Если моя запись не удовлетворит вас, поезжайте в деревню Н., недалеко от Токио, и посетите психиатрическую больницу доктора С. Моложавый двадцать третий номер сначала, вероятно, вам вежливо поклонится и укажет на жесткий стул. Затем с унылой улыбкой тихим голосом повторит этот рассказ. А когда он закончит... Я хорошо помню, какое у него бывает при этом лицо. Закончив рассказ, он поднимется на ноги и закричит, потрясая сжатыми кулаками:

— Вон отсюда! Мерзавец! Грязная тварь! Тупая, завистливая, бесстыжая, наглая, самодовольная, жестокая, гнусная тварь! Прочь! Мерзавец!

1

Это случилось летом три года назад. Как и многие другие, я взвалил на спину рюкзак, добрался до горячих источников Камикоти и начал оттуда восхождение на Хотакаямю. Известно, что путь на Хотакаямю один — вверх по течению Адзусагавы. Мне уже приходилось раньше подниматься на Хотакаямю и даже на Яригатакэ, поэтому проводник мне был не нужен, и я отправился в путь один по долине Адзусагавы, утопавшей в утреннем тумане. Да... утопавшей в утреннем тумане. Причем этот туман и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все плотнее и плотнее. После часа ходьбы я начал подумывать о том, чтобы отложить восхождение и вер-

нуться обратно, в Камикоти. Но если бы я решил вернуться, мне все равно пришлось бы ждать, пока рассеется туман, а он, как назло, с каждой минутой становился плотнее. «Эх, подниматься так подниматься», — подумал я и полез напролом через заросли бамбука, стараясь, впрочем, не слишком удаляться от берега.

Единственное, что я видел перед собой, был плотный туман. Правда, время от времени из тумана выступал толстый ствол бука или зеленая ветка пихты, или внезапно перед самым лицом возникали морды лошадей и коров, которые здесь паслись, но все это, едва появившись, вновь мгновенно исчезало в густом тумане. Между тем ноги мои начали уставать, а в желудке появилось ощущение пустоты. К тому же мой альпинистский костюм и плед, насквозь пропитанные туманом, сделались необыкновенно тяжелыми. В конце концов я сдался и, угадывая направление по плеску воды на камнях, стал спускаться к берегу Адзусагавы.

Я уселся на камень возле самой воды и прежде всего занялся приготовлением пищи. Открыл банку солонины, разжег костер из сухих веток... На это у меня ушло, наверное, около десяти минут, и тут я заметил, что гнусный туман начал потихоньку таять. Дожевывая хлеб, я рассеянно взглянул на часы. Вот так штука! Было уже двадцать минут второго. Но больше всего меня поразило другое. Отражение какой-то страшной рожи мелькнуло на поверхности круглого стекла моих часов. Я испуганно обернулся. И... Вот когда я впервые в жизни увидел своими глазами настоящего живого каппу. Он стоял на скале позади меня, совершенно такой, как на старинных рисунках, обхватив одной рукой белый ствол березы, а другую приставив козырьком к глазам, и с любопытством глядел на меня.

От удивления я некоторое время не мог пошевелиться. Видимо, каппа был поражен. Он так и застыл с поднятой рукой. Я вскочил и кинулся к нему. Он тоже побежал. Во всяком случае, так мне показалось. Он метнулся в сторону и тотчас же исчез, словно сквозь землю провалился. Все больше изумляясь, я оглядел бамбуковые заросли. И что же? Каппа оказался всего в двух-трех метрах от меня. Он стоял пригнувшись, готовый бежать, и смотрел на меня через плечо. В этом еще не было ничего странного. Что меня озадачило и сбilo с толку, так это цвет его кожи. Когда каппа смотрел на

меня со скалы, он был весь серый. А теперь он с головы до ног сделался изумрудно-зеленым. «Ах ты дрянь этакая!» — заорал я и снова кинулся к нему. Разумеется, он побежал. Минут тридцать я мчался за ним, продираясь сквозь бамбук и прыгая через камни.

В быстроте ног и проворстве капша не уступит никакой обезьяне. Я бежал за ним сломя голову, то и дело теряя его из виду, скользя, спотыкаясь и падая. Капша добежал до огромного развесистого конского каштана, и тут, на мое счастье, дорогу ему преградил бык. Могучий толсторогий бык с налитыми кровью глазами. Увидев его, капша жалобно взвизгнул, вильнул в сторону и стремглав нырнул в заросли — туда, где бамбук был повыше. А я... Что ж, я медленно последовал за ним, потому что решил, что теперь ему от меня не уйти. Видимо, там была яма, о которой я и не подозревал. Едва мои пальцы коснулись наконец скользкой спины капши, как я куврыком покатился куда-то в непроглядный мрак. Находясь на волосок от гибели, мы, люди, думаем подчас об удивительно нелепых вещах. Вот и в тот момент, когда у меня дух захватило от ужаса, я вдруг вспомнил, что неподалеку от горячих источников Камикоти есть мост, который называют «Мостом Капш» — «Капша-баси». Потом... Что было потом, я не помню. Перед глазами у меня блеснули молнии, и я потерял сознание.

2

Когда я наконец очнулся, меня большой толпой окружали капши. Я лежал на спине. Возле меня стоял на коленях капша в пенсне на толстом клюве и прижимал к моей груди стетоскоп. Заметив, что я открыл глаза, он жестом попросил меня лежать спокойно и, обернувшись к кому-то в толпе, произнес: «Quax, quax». Тотчас же откуда-то появились двое капш с носилками. Меня переложили на носилки, и мы в сопровождении огромной толпы медленно двинулись по какой-то улице. Улица эта ничем не отличалась от Гиндзы. Вдоль буковых аллей тянулись ряды всевозможных магазинов с тентами над витринами, по мостовой неслись автомобили.

Но вот мы свернули в узкий переулок, и меня внесли в здание. Как я потом узнал, это был дом того самого капши в пенсне, доктора Чакка. Чакк уложил меня в чистую постель и дал мне выпить полный стакан какого-то

прозрачного лекарства. Я лежал, отдавшись на милость Чакка. Да и что мне оставалось делать? Каждый сустав у меня болел так, что я не мог шелохнуться.

Чакк ежедневно по несколько раз приходил осматривать меня. Раз в два-три дня навещал меня и тот кашпа, которого я увидел впервые в жизни, — рыбак Багг. Каппы знают о нас, людях, намного больше, чем мы, люди, знаем о кашпах. Вероятно, это потому, что люди попадают в руки кашп гораздо чаще, чем кашпы попадают в наши руки. Может быть, «попадать в руки» — не совсем удачное выражение, но, как бы то ни было, люди не раз появлялись в стране кашп и до меня. Причем многие так и оставались там до конца дней своих. Почему? — спросите вы. А вот почему. Живя в стране кашп, мы можем есть, не работая, благодаря тому только, что мы люди, а не кашпы. Такова привилегия людей в этой стране. Так, по словам Багга, в свое время к кашпам совершенно случайно попал молодой дорожный рабочий. Он женился на самке кашпа и прожил с нею до самой смерти. Правда, она считалась первой красавицей в стране водяных и поэтому, говорят, весьма искусно наставляла рога дорожному рабочему.

Прошла неделя, и меня, в соответствии с законами этой страны, возвели в ранг «гражданина, пользующегося особыми привилегиями». Я поселился по соседству с Чакком. Дом мой был невелик, но обставлен со вкусом. Надо сказать, что культура страны кашп почти не отличается от культуры других стран, по крайней мере Японии. В углу гостиной, выходящей окнами на улицу, стоит маленькое пианино, на стенах висят гравюры в рамах. Только вот размеры всех окружающих предметов, начиная с самого домика и кончая мебелью, были рассчитаны на рост аборигенов, и я испытывал некоторое неудобство.

Каждый вечер я принимал в своей гостиной Чакка и Багга и упражнялся в языке этой страны. Впрочем, посещали меня не только они. Как гражданин, пользующийся особыми привилегиями, я интересовал всех и каждого. Так, в гостиную ко мне заглядывали и такие кашпы, как директор стекольной фирмы Гэр, ежедневно вызывавший к себе доктора Чакка специально для того, чтобы тот измерял ему кровяное давление. Но ближе всех в течение первых двух недель я сошелся с рыбаком Баггом.

Однажды душным вечером мы с Баггом сидели в

моей гостиной за столом друг против друга. Вдруг ни с того ни с сего Багг замолчал, выпучил свои и без того громадные глаза и неподвижно уставился на меня. Мне, конечно, это показалось странным, и я спросил:

— Quax, Bag, quo quel quan?

В переводе на японский это означает: «Послушай, Багг, что с тобой?» Но Багг ничего не ответил. Вместо этого он вдруг вылез из-за стола, высунул длинный язык и раскорячился на полу, словно огромная лягушка. А вдруг он сейчас прыгнет на меня! Мне стало жутко, и я тихонько поднялся с кресла, намереваясь выскочить за дверь. К счастью, как раз в эту минуту в гостиную вошел доктор Чакк.

— Чем это ты здесь занимаешься, Багг? — спросил он, строго взирая на рыбака через пенсне.

Багг застыдил и, поглаживая голову ладонью, принялся извиняться:

— Прошу прощения, господин доктор. Я не мог удержаться. Уж очень потешно этот господин пугается... И вы тоже, господин, простите великодушно, — добавил он, обращаясь ко мне.

3

Прежде чем продолжать, я считаю своим долгом сообщить вам некоторые общие сведения о каппах. Существование животных, именуемых каппами, до сих пор ставится под сомнение. Но лично для меня ни о каких сомнениях в этом вопросе не может быть и речи, поскольку я сам жил среди капп. Что же это за животные? Описания их внешнего вида, приведенные в таких источниках, как «Суйко-коряку», почти полностью соответствуют истине. Действительно, голова капп покрыта короткой шерстью, пальцы на руках и на ногах соединены плавательными перепонками. Рост кашпы в среднем один метр. Вес, по данным доктора Чакка, колеблется между двадцатью и тридцатью фунтами. Говорят, впрочем, что встречаются изредка и кашпы весом до пятидесяти фунтов. Далее, на макушке у кашпы имеется углубление в форме овального блюдца. С возрастом дно этого блюдца становится все более твердым. Например, блюдце на голове стареющего Багга и блюдце у молодого Чакка совершенно различны на ощупь. Но самым поразительным свойством кашпы является, пожалуй, цвет его кожи. Де-

до в том, что у кашпы нет определенного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения — например, когда животное находится в траве, кожа его становится под цвет травы изумрудно-зеленой, а когда оно на скале, кожа приобретает серый цвет камня. Как известно, таким же свойством обладает и кожа хамелеонов. Не исключено, что структура кожного покрова у кашп сходна с таковою у хамелеонов. Когда я узнал обо всем этом, мне вспомнилось, что наш фольклор приписывает кашпам западных провинций изумрудно-зеленый цвет кожи, а кашпам северо-востока — красный. Вспомнил я также и о том, как ловко исчезал Багг, словно проваливался сквозь землю, когда я гнался за ним. Между прочим, у кашп имеется, по-видимому, изрядный слой подкожного жира: несмотря на сравнительно низкую среднюю температуру в их подземной стране (около пятидесяти градусов по Фаренгейту), они не знают одежды. Да, любой кашпа может носить очки, таскать с собой портсигар, иметь кошелек. Но отсутствие карманов не причиняет кашпам особых неудобств, ибо кашпа, как самка кенгуру, имеет на животе свою сумку, куда он может складывать всевозможные предметы. Станным мне показалось только, что они ничем не прикрывают чресла. Как-то я спросил Багга, чем это объясняется. Багг долго ржал, откидываясь назад, а затем сказал:

— А мне вот смешно, что вы это прячете!

4

Мало-помалу я овладел запасом слов, который кашпы употребляли в повседневной жизни. Таким образом, я получил возможность ознакомиться с их нравами и обычаями. Больше всего меня поразило у них необычное и, я бы сказал, даже перевернутое представление о смешном и серьезном. То, что мы, люди, считаем важным и серьезным, вызывает у них смех, а то, что у нас, людей, считается смешным, они склонны рассматривать как нечто важное и серьезное. Так, например, мы очень серьезно относимся к понятиям гуманности и справедливости, а кашпы, когда слышат эти слова, хватаются за животы от хохота. Короче говоря, понятия о юморе у нас и у кашп совершенно разные. Однажды я рассказал доктору Чакку об ограничении деторождения. Выслушав меня, он разинул пасть и захохотал так, что у него свалилось пенсне.

Я, разумеется, вспыллил и потребовал объяснений. Возможно, я не уловил некоторых оттенков в его выражениях, ведь тогда я еще не очень хорошо понимал язык капп, но, насколько я помню, ответ Чакка был примерно таков:

— Разве не смешно считаться только с интересами родителей? Разве не проявляется в этом эгоизм и себялюбие?

Зато нет для нас, людей, ничего более нелепого, нежели роды у капшы. Через несколько дней после моего разговора с Чакком у жены Багга начались роды, и я отправился в хибарку Багга посмотреть, как это происходит. Роды у капп происходят так же, как у нас. Роженице помогают врач и акушерка. Но перед началом родов каппа-отец, прижавшись ртом к чреву роженицы, во весь голос, словно по телефону, задает вопрос: «Хочешь ли ты появиться на свет? Хорошенько подумай и отвечай!» Такой вопрос несколько раз повторил и Багг, стоя на коленях возле жены. Затем он встал и прополоскал рот дезинфицирующим раствором из чашки на столе. Тогда младенец, видимо стесняясь, едва слышно отозвался из чрева матери:

— Я не хочу рождаться. Во-первых, меня пугает отцовская наследственность — хотя бы его психопатия. И кроме того, я уверен, что капшам не следует размножаться.

Выслушав такой ответ, Багг смущенно почесал затылок. Между тем присутствовавшая при этом акушерка миглом засунула в утробу его жены толстую стеклянную трубку и впрыснула какую-то жидкость. Жена с облегчением вздохнула. В ту же минуту ее огромный живот опал, словно воздушный шар, из которого выпустили водород.

Само собой разумеется, что детеныши капп, коль скоро они способны давать такие ответы из материнского чрева, самостоятельно ходят и разговаривают, едва появившись на свет. По словам Чакка, был даже младенец, который двадцати шести дней от роду прочел лекцию на тему «Есть ли бог?». Правда, добавил Чакк, этот младенец в двухмесячном возрасте умер.

Раз уж речь зашла о родах, не могу не упомянуть о громадном плакате, который я увидел на углу одной улицы в конце третьего месяца моего пребывания в этой стране. В нижней части плаката были изображены кап-

пы, трубящие в трубы, и кашпы, размахивающие саблями. Верхняя же часть была испещрена значками, принятыми у кашп в письменности, — спиралевидными иероглифами, похожими на часовые пружинки. В переводе текст плаката означал приблизительно следующее (здесь я опять не могу поручиться, что избежал каких-то несущественных ошибок, но я заносил в записную книжку слово за словом так, как читал мне один кашпа, студент Рапп, с которым мы вместе прогуливались):

«Вступайте в ряды добровольцев по борьбе против дурной наследственности!!

Здоровые самцы и самки!!

Чтобы покончить с дурной наследственностью, берите в супруги больных самцов и самок!!»

Разумеется, я тут же заявил Раппу, что такие вещи недопустимы. В ответ Рапп расхохотался. Заготовали и все другие кашпы, стоявшие возле плаката.

— Недопустимы? Да ведь у вас же делается то же самое, что и у нас, это явствует из ваших же рассказов. Как вы думаете, почему ваши барчуки влюбляются в горничных, а ваши барышни флиртуют с шоферами? Конечно, из инстинктивного стремления избавиться от дурной наследственности. А вот возьмем ваших добровольцев, о которых вы на днях мне рассказывали, — тех, что истребляют друг друга из-за какой-то там железной дороги, — на мой взгляд, наши добровольцы по сравнению с ними гораздо благороднее.

Рапп произнес это совершенно серьезно, только его толстое брюхо все еще тряслось, словно от сдерживаемого смеха. Но мне было не до веселья. Я заметил, что какой-то кашпа, воспользовавшись моей небрежностью, украл у меня автоматическую ручку. Вне себя от возмущения, я попытался схватить его, но кожа у кашпы скользкая, и удержать его не так-то просто. Он выскользнул у меня из рук и во всю прыть кинулся наутек. Он мчался, сильно наклоняя вперед свое тощее, словно у комара, тело, и казалось, что он вот-вот во всю длину растянется на тротуаре.

5

Рапп оказал мне много услуг, не меньше чем Багг. Но главным образом я обязан ему тем, что он познакомил меня с Токком. Токк — поэт. Кашпы-поэты носят

длинные волосы и в этом не отличаются от наших поэтов. Время от времени, когда мне становилось скучно, я отправлялся развлечься к Токку. Токка всегда можно было застать в его узкой каморке, заставленной горшками с высокогорными растениями, среди которых он писал стихи, курил и вообще жил в свое удовольствие. В углу каморки с шитьем в руках сидела его самка. (Токк был сторонником свободной любви и не женился из принципа.) Когда я входил, Токк неизменно встречал меня улыбкой. (Правда, смотреть, как капша улыбается, не очень приятно. Я, по крайней мере, первое время пугался.)

— Рад, что ты пришел, — говорил он. — Садись вот на этот стул.

Токк много и часто рассказывал мне о жизни капш и об их искусстве. По его мнению, нет на свете ничего более нелепого, нежели жизнь обыкновенного капшы. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры — все они видят единственную радость жизни в том, чтобы свирепо мучить друг друга. И уж совершенно нелепа, по словам Токка, система отношений в семье. Как-то раз Токк, выглянув в окно, с отвращением сказал:

— Вот полюбуйся!.. Какое идиотство!

По улице под окном тащился, с трудом переставляя ноги, совсем еще молодой капша. На шее у него висели несколько самцов и самок, в том числе двое пожилых: видимо, его родители. Вопреки ожиданиям Токка, самоотверженность этого молодого капшы восхитила меня, и я стал его расхваливать.

— Ага, — сказал Токк, — я вижу, ты стал достойным гражданином и в этой стране... Кстати, ты ведь социалист?

Я, разумеется, ответил qua.

(Это на языке капш означает «да».)

— И ты без колебаний пожертвовал бы гением ради сотни посредственностей?

— А каковы твои убеждения, Токк? Кто-то говорил мне, что ты анархист.

— Я? Я — сверхчеловек! — гордо заявил Токк. (В дословном переводе — «сверхкапша».)

Об искусстве у Токка тоже свое оригинальное мнение. Он убежден, что искусство не подвержено никаким влияниям, что оно должно быть искусством для искусства, что художник, следовательно, обязан быть прежде всего

сверхчеловеком, преступившим добро и зло. Впрочем, это точка зрения не одного только Токка. Таких же взглядов придерживаются почти все его коллеги-поэты. Мы с Токком не раз хаживали в клуб сверхчеловеков. В этом клубе собираются поэты, прозаики, драматурги, критики, художники, композиторы, скульпторы, дилетанты от искусства и прочие. И все они — сверхчеловеки. Когда бы мы ни пришли, они всегда сидели в холле, ярко освещенном электричеством, и оживленно беседовали. Время от времени они с гордостью демонстрировали друг перед другом свои сверхчеловеческие способности. Так, например, один скульптор, поймав молодого капшу между огромными горшками с чертовым папоротником, у всех на глазах усердно предавался содомскому греху. А самка-писательница, забравшись на стол, выпила подряд шестьдесят бутылок абсента. Допив шестидесятую, она свалилась со стола и тут же испустила дух.

Однажды прекрасным лунным вечером мы с Токком под руку возвращались из клуба сверхчеловеков. Токк, против обыкновения, был молчалив и подавлен. Когда мы проходили мимо маленького освещенного окна, Токк вдруг остановился. За окном сидели вокруг стола и ужинали взрослые самец и самка, видимо супруги, и трое детенышей. Токк глубоко вздохнул и сказал:

— Ты знаешь, я сторонник сверхчеловеческих взглядов на любовь. Но когда мне приходится видеть такую вот картину, я завидую.

— Не кажется ли тебе, что в этом есть какое-то противоречие?

Некоторое время Токк стоял молча в лунном свете, скрестив на груди руки, и смотрел на мирную трапезу пятерых капш. Затем он ответил:

— Пожалуй. Ведь что ни говори, а вон та яичница на столе гораздо полезнее всякой любви.

6

Дело в том, что любовь у капш очень сильно отличается от любви у людей. Самка, заметив подходящего самца, стремится немедленно овладеть им. При этом она не брезгует никакими средствами. Наиболее честные и прямодушные самки просто без лишних слов кидаются на самца. Я своими глазами видел, как одна самка словно помешанная гналась за удиравшим возлюбленным. Мало

того, вместе с молодой самкой за беглецом нередко гоняются и ее родители и братья... Бедные самцы! Даже если счастье им улыбнется и они сумеют улизнуть от погони, им наверняка придется недели две-три отлежаться после такой гонки.

Как-то я сидел дома и читал сборник стихов Токка. Неожиданно в комнату влетел студент Рапп. Упал на пол и, задышавшись, проговорил:

— Какой кошмар!.. Меня все-таки изловили!

Я отбросил книжку и запер дверь на ключ. Затем поглядел в замочную скважину. Перед дверью слонялась низкорослая самочка с физиономией, густо напудренной серой. Рапп несколько недель пролежал в моей постели. В довершение всего у него сгнил и начисто отвалился клюв.

Впрочем, иногда бывает и так, что самец очертя голову гоняется за самкой. Но и в этих случаях все подстраивается самкой. Она делает так, что самец просто не может не гнаться за нею. Однажды мне пришлось видеть самца, который как сумасшедший преследовал самку. Самка старательно убегала, но то и дело останавливалась и оглядывалась, дразнила преследователя, становясь на четвереньки, а когда заметила, что дальше тянуть нельзя, сделала вид, что выбилась из сил, и с удовольствием дала себя поймать. Самец схватил ее и повалился с нею на землю. Когда некоторое время спустя он поднялся, вид у него был совершенно жалкий, лицо изображало не то раскаяние, не то разочарование. Но он еще дешево отделался. Мне пришлось наблюдать и другую сцену. Маленький самец гнался за самкой. Самка, как ей и полагается, на бегу его соблазняла. Тут им навстречу, громко сопя, из переулка вышел самец огромного роста. Самка мельком взглянула на него и вдруг, бросившись к нему, завопила пронзительным голосом: «На помощь! Помогите! Этот негодяй гонится за мной и хочет меня убить!» Огромный самец, не долго думая, схватил маленького и повалил на мостовую. И малыш, судорожно хватая воздух своими перепончатыми лапками, тут же испустил дух. А что же самка? Она уже висела на шее огромного самца, крепко-накрепко вцепившись в него, и завлекательно хмылялась.

Все капшы-самцы, которых я знал, подвергались преследованиям со стороны самок. Самки гонялись даже за Баггом, имевшим жену и детей. Его даже неоднократно

догоняли. И только один философ по имени Магг (он жил по соседству с поэтом Токком) не попался ни разу. Отчасти это, пожалуй, объясняется тем, что трудно было найти самца более безобразной наружности. С другой стороны, Магг, в отличие от других самцов, очень редко появлялся на улице. Иногда я заходил к нему, и мы беседовали. Магг всегда сидел в своей сумрачной комнате, освещенной фонариком с разноцветными стеклами, за высоким столом и читал какие-то толстые книги. Однажды я заговорил с ним о проблемах любви.

— Почему ваше правительство не применит к самкам, преследующим самцов, строгие санкции? — спросил я,

— Прежде всего потому, — ответил Магг, — что в правительственном аппарате очень мало самок. Известно ведь, что самки гораздо ревнивей самцов. И если число самок в правительственных органах увеличить, самцы, вероятно, вздохнули бы свободнее. А впрочем, я уверен, что подобные меры не дали бы никаких результатов. Почему? Да хотя бы потому, что самки-чиновники принялись бы гоняться и за самцами-коллегами.

— Что ж, тогда, пожалуй, лучше всего вести такой образ жизни, какой ведете вы, Магг.

Магг встал со стула и, сжимая обе мои руки в своих, сказал со вздохом:

— Вы не каппа, и вам не понять этого. Мне иногда очень хочется, чтобы эти ужасные самки меня преследовали.

7

Нередко мы с поэтом Токком ходили на концерты. Особенно запомнился мне третий концерт. Концертный зал в стране капп почти ничем не отличается от концертного зала в Японии. Такие же ряды кресел, возвышающиеся один над другим, и в креслах, обратившись в слух, сидят три-четыре сотни самцов и самок с непременными программами в руках. На третий концерт, о котором я хочу рассказать, меня, кроме Токка и его самки, сопровождал еще и философ Магг. Мы занимали места в первом ряду. Было исполнено соло на виолончели, а затем на сцену поднялся, небрежно помахивая нотами, каппа с необычайно узкими глазами. Как указывалось в программе, это был знаменитый композитор Крабак. В программе... Впрочем, мне не было нужды заглядывать в

программу. Крабак состоял в клубе сверхчеловеков, к которому принадлежал Токк, и я знал его в лицо. «Lied-Craback»¹ (в этой стране даже программы печатались главным образом на немецком языке).

Слегка поклонившись в ответ на бурные аплодисменты, Крабак спокойно направился к роялю и с тем же небрежным видом принялся играть песню собственного сочинения. По словам Токка, таких гениальных музыкантов, как Крабак, никогда не было и никогда больше не будет в этой стране. Крабак меня очень интересовал — я имею в виду и его музыку, и его лирические стихи, — и я внимательно вслушивался в звуки рояля. Токк и Магг, вероятно, были захвачены музыкой еще сильнее чем я. Лишь одна прекрасная (так, во всяком случае, считали кашпы) самка нетерпеливо сжимала в руках программу и время от времени презрительно высовывала длинный язык. Как мне рассказал Магг, лет десять назад она гонялась за Крабаком, не сумела его изловить и с тех пор ненавидела этого гениального музыканта.

Крабак продолжал играть, распаяясь все больше, словно борясь с роялем, как вдруг по залу громом прокатился возглас:

— Концерт запрещаю!

Я вздрогнул и испуганно обернулся. Сомнений не могло быть. Голос принадлежал великолепному полицейскому огромного роста, сидевшему в последнем ряду. Как раз когда я обернулся, он спокойно, не вставая с места, прокричал еще громче:

— Концерт запрещаю!

А затем...

Затем поднялся ужасный шум. Публика взревела: «Полицейский произвол!», «Играй, Крабак!», «Играй!», «Идиоты!», «Сволочи!», «Убирайся!», «Не сдавайся!». Падали кресла, летели программы, кто-то принялся швыряться пустыми бутылками из-под сидра, камнями и даже огрызками огурцов... Совершенно ошеломленный, я попытался было выяснить у Токка, что происходит, но Токк был уже вне себя от возбуждения. Вскочив на сиденье кресла, он беспрерывно вопил: «Играй, Крабак! Играй!» И даже красавица, забыв о своей ненависти к Крабаку, визжала, заглушая Токка: «Полицейский произвол!» Тогда я обратился к Маггу:

¹ «Песня-Крабак» (нем.).

— Что случилось?

— А, это у нас в стране бывает довольно часто. Видите ли, мысль, которую выражает картина или литературное произведение... — Магг говорил, как всегда, тихо и спокойно, только слегка втягивая голову в плечи, чтобы уклониться от пролетающих мимо предметов. — Мысль, которую выражает, скажем, картина или литературное произведение, обычно понятна всем с первого взгляда, поэтому запрета на опубликование книг и на выставки у нас в стране нет. Зато у нас практикуются запреты на исполнение музыкальных произведений. Ведь музыкальное произведение, каким бы вредным для нравов оно ни было, все равно непонятно для капп, не имеющих музыкального слуха.

— Значит, этот полицейский обладает музыкальным слухом?

— Ну... Это, знаете ли, сомнительно. Скорее всего эта музыка напомнила ему, как у него бьется сердце, когда он ложится в постель со своей женой.

Между тем скандал разгорался все сильнее. Крабак по-прежнему сидел за роялем и надменно взирал на нас. И хотя надменности его сильно мешала необходимость то и дело уклоняться от летящих в него метательных снарядов, в общем, ему удавалось сохранять достоинство великого музыканта, и он только яростно сверкал на нас узкими глазами. Я... Я тоже, конечно, всячески старался избежать опасности и прятался за Токка. Но любопытство меня одолевало, и я продолжал расспрашивать Марга:

— А не кажется ли вам, что такая цензура — варварство?

— Ничего подобного. Напротив, наша цензура гораздо прогрессивнее цензуры в какой-либо другой стране. Возьмите хотя бы Японию. Всего месяц назад там...

Но как раз в этот момент Маггу в самую макушку угодила пустая бутылка. Он вскрикнул «quack» (это просто междометие) и повалился без памяти.

8

Как это ни странно, но директор стекольной фабрики Гэр вызывал у меня симпатию. Гэр — это капиталист из капиталистов. Пожалуй, не приходится сомневаться, что ни у одного каппы в этой стране нет такого огромного

брюха, как у Гэра, и тем не менее, когда он восседает в глубоком удобном кресле в окружении своей жены, похожей на устрицу, и детей, похожих на огурцы, он представляется олицетворением самого счастья. Время от времени я в сопровождении судьи Бэша и доктора Чакка бывал в доме Гэра на банкетах. Посещал я с рекомендательным письмом Гэра и различные предприятия, принадлежавшие как самому Гэру, так и лицам, связанным с его друзьями. Среди этих различных предприятий меня особенно заинтересовала фабрика одной книгоиздательской компании. Когда я с молодым инженером-каппой оказался в цехах и увидел гигантские машины, работающие на гидроэлектроэнергии, меня вновь поразило и восхищало высокий уровень техники в этой стране. Как выяснилось, фабрика производила до семи миллионов экземпляров книг ежегодно. Но поразило меня не количество экземпляров. Удивительным было то, что для производства книг здесь не требовалось ни малейших затрат труда. Оказывается, чтобы создать книгу, в этой стране нужно только заложить в машину через специальный воронкообразный приемник бумагу, чернила и какое-то серое, порошкообразное вещество. Не проходит и пяти минут, как из недр машины начинают бесконечным потоком выходить готовые книги самых разнообразных форматов — в одну восьмую, одну двенадцатую, одну четвертую печатного листа. Глядя на водопад книг, извергаемый машиной, я спросил у инженера, что представляет собой серый порошок, который подается в приемник. Инженер, неподвижно стоявший перед блестящими черными механизмами, рассеянно ответил:

— Серый порошок? Это ослиные мозги. Их предварительно просушивают, а затем измельчают в порошок, только и всего. Сейчас они идут по два-три сэна за тонну.

Подобные технические чудеса, конечно, имеют место не только в книгоиздательских компаниях. Примерно теми же методами пользуются и компании по производству картин, и компании по производству музыки. По словам Гэра, в этой стране ежемесячно изобретается от семисот до восьмисот новых механизмов, а массовое производство уже отлично обходится без рабочих рук. В результате по всем предприятиям ежемесячно увольняются не менее сорока — пятидесяти тысяч рабочих. Между тем в газетах, которые я в этой стране аккуратно просматривал каждое утро, мне ни разу не попало слово

«безработица». Такое обстоятельство показалось мне странным, и однажды, когда мы с Бэппом и Чакком были приглашены на очередной банкет к Гэру, я попросил разъяснений.

— Уволенных у нас съедают, — небрежно ответил Гэр, попыхивая послеобеденной сигарой.

Я не понял, что он имеет в виду, и тогда Чакк в своем неизменном пенсне на клюве взял на себя труд разрешить мое недоумение.

— Всех этих уволенных рабочих умерщвляют, и их мясо идет в пищу. Вот поглядите газету. Видите? В этом месяце было уволено шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рабочих, и точно в соответствии с этим понизились цены на мясо.

— И они покорно позволяют себя убивать?

— А что им остается делать? На то и существует закон об убое рабочих.

Последние слова принадлежали Бэппу, с кислой физиономией сидевшему позади горшка с горным персиком. Я был совершенно обескуражен. Однако же ни господин Гэр, ни Бэпп, ни Чакк не видели во всем этом ничего противоестественного. После паузы Чакк с усмешкой, показавшей мне издевательской, заговорил опять:

— Таким образом государство сокращает число случаев смерти от голода и число самоубийств. И право, это не причиняет им никаких мучений — им только дают понюхать немного ядовитого газа.

— Но все же есть их мясо...

— Ах, оставьте, пожалуйста. Если бы вас сейчас услышал наш философ Магг, он лопнул бы от смеха. А не в вашей ли это стране, простите, плебеи продают своих дочерей в проститутки? Странная сентиментальность — возмущаться тем, что мясо рабочих идет в пищу!

Гэр, слушавший наш разговор, спокойно сказал, подвигая ко мне блюдо с бутербродами, стоявшее на столике рядом:

— Так как же? Может быть, попробуете? Ведь это тоже мясо рабочих...

Я совсем растерялся. Мне стало худо. Провожаемый хохотом Бэппа и Чакка, я выскочил из гостиной Гэра. Ночь была бурная, в небе не сверкала ни одна звезда. Я возвращался домой в полной темноте и блевал без передышки. И моя рвота белела пятнами даже в крошечном ночном мраке.

И все же директор стекольной фирмы Гэр был, вне всякого сомнения, весьма симпатичным каппой. Мы с Гэром часто посещали клуб, членом которого он состоял, и приятно проводили там время. Дело в том, что клуб этот был гораздо уютнее клуба сверхчеловеков, в котором состоял Токк. И кроме того, наши беседы с Гэром — пусть они не были так глубоки, как беседы с философом Маггом, — открывали передо мною совершенно новый, беспредельно широкий мир. Гэр с охотой и удовольствием разглагольствовал на самые различные темы, помешивая кофе ложечкой из чистого золота.

Как-то туманным вечером я сидел среди ваз с зимними розами и слушал Гэра. Помнится, разговор этот происходил в комнате, отделанной и обставленной в новейшем стиле, — тонкие золотые линии прорезали белизну стен, потолка и мебели. Гэр с усмешкой, еще более самодовольной чем обычно, рассказывал о кабинете министров партии «Куоракс», вставшей недавно у кормила государства. Слово «куоракс» является междометием, не имеющим никакого особенного смысла, и иначе, чем «ого», его не переведешь. Впрочем, как бы то ни было, партия действует под лозунгом «В интересах всех капп».

— Партией «Куоракс» управляет известный политический деятель Роппэ. Бисмарк когда-то сказал: «Честность — лучшая дипломатия». А Роппэ возвел честность и в принцип внутренней политики...

— Да ведь речи Роппэ...

— Не прерывайте, выслушайте меня сначала. Да, все его речи — сплошная ложь. Но поскольку всем хорошо известно, что его речи — ложь, то в конечном счете это все равно, как если бы он говорил сущую правду. И только такие предубежденные существа, как вы, люди, могут называть его лжецом. Мы, каппы, вовсе не так... Впрочем, это не суть важно. Мы говорили о Роппэ. Итак, Роппэ управляет партией «Куоракс». Но и у Роппэ есть хозяин. Это Куикуи, владелец газеты «Пу-Фу» («пу-фу» тоже междометие, которое можно перевести примерно как «ох»). Однако Куикуи тоже имеет своего хозяина. И этот хозяин — некий господин Гэр, сидящий сейчас перед вами.

— Однако... Простите, возможно, я не совсем понял... Но ведь газета «Пу-Фу», насколько мне известно, защи-

щает интересы рабочих. И если, как вы утверждаете, владелец этой газеты подчиняется вам...

— Что касается сотрудников газеты «Пу-Фу», то они действительно являются защитниками интересов рабочих. Но распоряжается ими не кто иной, как Куикуи. А Куикуи шагу ступить не может без поддержки вашего покорного слуги Гэр.

Гэр, по-прежнему ухмыляясь, играл своей золотой ложечкой. Я глядел на него и испытывал не столько ненависть к нему, сколько сочувствие к несчастным сотрудникам «Пу-Фу». Видимо, Гэр разгадал мои мысли и, выпячивая огромное брюхо, сказал:

— Да нет же, далеко не все сотрудники «Пу-Фу» защищают интересы рабочих. Ведь каждый кашпа прежде всего защищает свои собственные интересы, так уж мы устроены... И кроме того, положение осложняется еще одним обстоятельством. Дело в том, что и я, Гэр, не свободен в своих действиях. Как по-вашему, кто руководит мною? Моя супруга. Прекрасная госпожа Гэр.

Гэр загоготал.

— Выполнять повеления госпожи Гэр — большое счастье, — любезно сказала я.

— Во всяком случае, я доволен. Но говорить обо всем этом так откровенно я могу, конечно, только с вами — поскольку вы не кашпа.

— Итак, в конечном счете кабинетом «Куоракса» управляет госпожа Гэр?

— Гм... Право, не знаю, можно ли так сказать... Впрочем, война, которую мы вели семь лет назад, началась действительно из-за самки.

— Война? Значит, у вас тоже были войны?

— Конечно, были. И сколько их еще будет! Знаете, пока существуют соседние государства...

Так я впервые узнал, что страна водяных не является единственным в своем роде государством в этом мире. Гэр рассказал мне, что испокон веков потенциальными противниками кашп были выдры. Вооружение и оснащение выдр ни в чем не уступает вооружению и оснащению, которыми располагают кашпы. Этот разговор о войнах между кашпами и выдрами очень заинтересовал меня. Действительно, тот факт, что кашпы имеют в лице выдр сильного противника, не был известен ни автору «Суйко-коряку», ни тем более господину Янагиде Кунио, автору «Сборника народных легенд Ямасимы».

— Само собой разумеется, — продолжал Г э р , — что до начала войны обе стороны непрерывно шпионили друг за другом. Ведь мы испытывали панический страх перед выдрами, а выдры точно так же боялись нас. И вот в такое время некий выдра, проживавший в нашей стране, нанес визит одной супружеской чете. Между тем самка в этой чете как раз замышляла убийство мужа. Он был изрядным распутником, и, кроме того, жизнь его была застрахована, что тоже, вероятно, в немалой степени искушало самку.

— Вы были знакомы с ними?

— Да... Впрочем, нет. Я знал только самца, мужа. Моя супруга считает его извергом, но, на мой взгляд, он не столько изверг, сколько несчастный сумасшедший с извращенным половым воображением, ему вечно мерещились преследования со стороны самок... Так вот, жена подсыпала ему в какао цианистого калия. Не знаю, как уж это получилось, но только чашка с ядом оказалась перед гостем-выдрой. Выдра выпил и, конечно, издох. И тогда...

— Началась война?

— Да. К несчастью, этот выдра имел ордена.

— И кто же победил?

— Разумеется, мы. Ради этой победы мужественно сложили головы триста шестьдесят девять тысяч пятисот капш! Но эти потери ничтожны по сравнению с потерями противника. Кроме выдры, у нас не увидишь никакого другого меха. Я же во время войны, помимо производства стекла, занимался доставкой на фронт каменноугольного шлака.

— А зачем на фронте каменноугольный шлак?

— Это же продовольствие. Мы, капшы, если у нас подведет животы, можем питаться чем угодно.

— Ну, знаете... Не обижайтесь, пожалуйста, но для капш, находившихся на полях сражений... У нас в Японии такую вашу деятельность заклеямили бы позором.

— И у нас тоже заклеямили бы, можете не сомневаться. Только раз я сам говорю об этом, никто больше позорить меня не станет. Знаете, как говорит философ Магг? «О содеянном тобою зле скажи сам, и зло исчезнет само собой...» Заметьте кстати, что двигало мною не одно лишь стремление к наживе, но и благородное чувство патриотизма!

В эту минуту к нам приблизился клубный лакей. Он поклонился Гэру и произнес, словно декламируя на сцене:

— В доме по соседству с вашим — пожар.

— По... Пожар!

Гэр испуганно вскочил на ноги. Я, разумеется, тоже встал. Лакей бесстрастно добавил:

— Но пожар уже потушен.

Физиономия Гэра, провожавшего взглядом лакея, выражала нечто вроде смеха сквозь слезы. И именно тогда я обнаружил, что давно ненавижу этого директора стекольной фирмы. Но предо мною был уже не крупнейший капиталист, а самый обыкновенный каппа. Я извлек из вазы букет зимних роз и, протянув его Гэру, сказал:

— Пожар потушен, но ваша супруга, вероятно, переволновалась. Возьмите эти цветы и отправляйтесь домой.

— Спасибо...

Гэр пожал мне руку. Затем он вдруг самодовольно ухмыльнулся и произнес шепотом:

— Ведь этот соседний дом принадлежит мне. И теперь я получу страховую премию.

Эта ухмылка... Я и сейчас еще помню эту ухмылку Гэра.

10

— Что с тобой сегодня? — спросил я студента Раппа. — Что тебя так угнетает?

Это было на другой день после пожара. Мы сидели у меня в гостиной. Я курил сигарету, а Рапп с расстроенным видом, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что не видно было его сгнившего клюва, глядел в пол.

— Так что же с тобой, Рапп?

Рапп наконец поднял голову.

— Да нет, пустяки, ничего особенного, — печально отозвался он гнусавым голосом. — Стою я это сегодня у окна и так, между прочим, говорю тихонько: «Ого, вот уже и росянки-мухоловки расцвели...» И что вы думаете, сестра моя вдруг взъярилась и на меня набросилась: «Это что же, мол, ты меня мухоловкой считаешь?» И пошла меня пилить. Тут же к ней присоединилась и мать, которая ее всегда поддерживает.

— Позволь, но какое отношение цветущие мухоловки имеют к твоей сестре?

— Она, наверно, решила, что я намекаю на то, что она все время гоняется за самцами. Ну, в ссору вмешалась тетка — она вечно не в ладах с матерью. Скандал разгорелся ужасный. Услыхал нас вечно пьяный отец и принялся лупить всех без разбора. В довершение всего мой младший братишка, воспользовавшись суматохой, стащил у матери кошелек с деньгами и удрал... не то в кино, не то еще куда-то. А я... Я уже...

Рапп закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Само собой разумеется, что мне стало жаль его. Само собой разумеется и то, что я тут же вспомнил, как презирает систему семейных отношений поэт Токк. Я похлопал Раппа по плечу и стал по мере своих сил и возможностей утешать его.

— Это случается в каждой семье, — сказал я. — Не стоит так расстраиваться.

— Если бы... Если бы хоть клюв был цел...

— Ну, тут уж ничего не поделаешь. Послушай, а не пойти ли нам к Токку, а?

— Господин Токк меня презирает. Я ведь не способен, как он, раз навсегда порвать с семьей.

— Тогда пойдем к Крабаку.

После концерта, о котором я упоминал, мы с Крабаком подружились, поэтому я мог отважиться повести Раппа в дом этого великого музыканта. Крабак жил гораздо роскошнее, чем, скажем, Токк, хотя, конечно, не так роскошно, как капиталист Гэр. В его комнате, битком набитой всевозможными безделушками — терракотовыми статуэтками и персидской керамикой, — помещался турецкий диван, и сам Крабак обычно восседал на этом диване под собственным портретом, играя со своими детишками. Но на этот раз он был почему-то один. Он сидел с мрачным видом, скрестив на груди руки. Пол у его ног был усыпан клочьями бумаги. Рапп вместе с поэтом Токком неоднократно, должно быть, встречался с Крабаком, но сейчас, увидев, что Крабак не в духе, перетрусил и, отвесив ему робкий поклон, молча присел в углу.

— Что с тобой, Крабак? — осведомился я, едва успев поздороваться.

— Ты еще спрашиваешь! — отозвался великий музыкант. — Как тебе нравится этот кретин критик? Объявил, будто моя лирика никуда не годится по сравнению с лирикой Токка!

— Но ведь ты же музыкант...

— Погоди. Это бы еще можно вытерпеть. Но ведь этот негодяй, кроме того, утверждает, что в сравнении с Рокком я ничто, меня нельзя даже назвать музыкантом!

Рокк — это музыкант, которого постоянно сравнивают с Крабаком. К сожалению, он не состоял членом клуба сверхчеловеков, и я не имел случая с ним побеседовать. Но его характерную физиономию со вздернутым клювом я хорошо знал по фотографиям в газетах.

— Рокк, конечно, тоже гений, — сказал я. — Но его произведениям не хватает современной страстности, которая льется через край в твоей музыке.

— Ты действительно так думаешь?

— Да, именно так.

Крабак вдруг вскочил на ноги и, схватив одну из та-нагрских статуэток, с размаху швырнул ее на пол. Перепуганный Рапп взвизгнул и бросился было наутек, но Крабак жестом предложил нам успокоиться, а затем холодно сказал:

— Ты думаешь так потому, что, как и всякая посредственность, не обладаешь слухом. А я — я боюсь Рокка.

— Ты? Не скромничай, пожалуйста!

— Да кто же скромничает? С какой стати мне скромничать? Я корчу из себя скромника перед вами не больше, чем перед критиками! Я — Крабак, гений! В этом смысле Рокк мне не страшен.

— Чего же ты тогда боишься?

— Чего-то неизвестного... Может быть, звезды, под которой родился Рокк.

— Что-то я тебя не понимаю.

— Попробую выразиться иначе, чтобы было понятнее. Рокк не воспринимает моего влияния. А я всегда, незаметно для себя, оказываюсь под влиянием Рокка.

— Твоя восприимчивость...

— Ах, оставь, пожалуйста! При чем здесь восприимчивость? Рокк работает спокойно и уверенно. Он всегда занимается вещами, с которыми может справиться он один. А я вот не таков. Я неизменно пребываю в состоянии раздражения и растерянности. Возможно, с точки зрения Рокка, расстояние между нами не составляет и шага. Я же считаю, что нас разделяют десятки миль.

— Но ваша «Героическая симфония», маэстро! — робко проговорил Рапп.

— Замолчи! — Узкие глаза Крабака сузились еще больше, и он с отвращением поглядел на студента. — Что

ты понимаешь? Ты и тебе подобные! Я знаю Рокка лучше, чем все эти собаки, которые лизут ему ноги!

— Ну, хорошо, хорошо. Успокойся.

— Если бы я мог успокоиться... Я только и мечтаю об этом... Кто-то неведомый поставил на моем пути этого Рокка, чтобы глумиться надо мною, Крабаком. Философ Магт хорошо понимает все это. Да-да, понимает, хотя только и делает, что листает растрепанные фолианты под своим семицветным фонарем...

— Как так?

— Прочитай его последнюю книгу — «Слово идиота».

Крабак подал, вернее швырнул, мне книгу. Затем он вновь скрестил на груди руки и грубо сказал:

— До свидания.

И снова мы с окончательно приунывшим Раппом оказались на улице. Как всегда, улица была полна народу, в тени букowych аллей тянулись ряды всевозможных лавок и магазинов. Некоторое время мы шли молча. Неожиданно нам повстречался длинноволосый поэт Токк. Завидев нас, он остановился, вытащил из сумки на животе носовой платок и принялся вытирать пот со лба.

— Давно мы с вами не виделись, — сказал он. — А я вот иду к Крабаку. У него я тоже давно не бывал...

Мне не хотелось, чтобы между этими двумя деятелями искусства возникла ссора, и я кое-как, намеками, объяснил Токку, что Крабак сейчас немного не в себе.

— Вот как? — сказал Токк. — Ну, что же, визит придется отложить. Да ведь Крабак — неврастеник... Между прочим, я тоже в последнее время мучаюсь от бессонницы.

— Может быть, прогуляешься с нами?

— Нет, лучше не надо... Ай!

Токк вдруг судорожно вцепился в мою руку. Он весь, с ног до головы, покрылся холодным потом.

— Что с тобой?

— Что с вами?

— Мне показалось, что из окна вон той машины выснулась зеленая обезьяна...

Обеспокоенный, я посоветовал Токку на всякий случай показаться доктору Чакку. Но как я ни настаивал, он и слушать не хотел об этом. Ни с того ни с сего он стал подозрительно к нам приглядываться и в конце концов заявил:

— Я никогда не был анархистом. Запомните это и никогда не забывайте... А теперь прощайте. И простите, пожалуйста, не нужен мне ваш доктор Чакк.

Мы стояли в растерянности и смотрели в спину удаляющемуся Токку. Мы... Впрочем, нет, не мы, а я один. Студент Рапп вдруг очутился на середине улицы. Он стоял нагнувшись и через широко расставленные ноги разглядывал непрерывный поток автомобилей и прохожих. Решив, что и этот кашпа свихнулся, я поспешил выпрямить его:

— Что еще за шутки? Что ты делаешь?

Рапп, протирая глаза, ответил неожиданно спокойно:

— Ничего особенного. Просто так гадко стало на душе, что я решил посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое.

Вот некоторые выдержки из книги философа Магга «Слово идиота».

*

Идиот убежден, что все, кроме него, — идиоты.

*

Наша любовь к природе объясняется, между прочим, и тем, что природа не испытывает к нам ни ненависти, ни зависти.

*

Самый мудрый образ жизни заключается в том, чтобы, презирая нравы и обычаи своего времени, тем не менее ни в коем случае их не нарушать.

*

Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет.

*

Никто не возражает против того, чтобы разрушить идолов. В то же время никто не возражает против того, чтобы самому стать идолом. Однако спокойно пребывать на пьедестале могут только удостоенные особой милости богов — идиоты, преступники, герои. (Это место Крабак отчеркнул ногтем.)

*

Вероятно, все идеи, необходимые для нашей жизни, были высказаны еще три тысячи лет назад. Нам остается, пожалуй, только добавить нового огня.

*

Наша особенность состоит в постоянном преодолении собственного сознания.

*

Если счастье невысказимо без боли, а мир невысказим без разочарования, то?..

*

Защищать себя труднее, нежели защищать постороннего. Сомневающийся да обратит взгляд на адвоката.

*

Гордыня, сластолюбие, сомнение — вот три причины всех пороков, известные по опыту последних трех тысяч лет. Вероятно, и всех добродетелей тоже.

*

Обуздание физических потребностей вовсе не обязательно приводит к миру. Чтобы обрести мир, мы должны обуздать и свои духовные потребности. (Здесь Крабак тоже оставил след своего ногтя.)

*

Мы, каппы, менее счастливы, чем люди. Люди не так развиты, как каппы. (Читая эти строки, я не мог сдержать улыбку.)

*

Свершить — значит мочь, а мочь — значит свершить. В конечном итоге наша жизнь не в состоянии вырваться из этого порочного круга. Другими словами, в ней нет никакой логики.

*

Став слабоумным, Бодлер выразил свое мировоззрение одним только словом, и слово это было — «женщина». Но для самовыражения ему по следовало так говорить. Он слишком полагался на свой гений, гений поэта, который обеспечивал ему существование. И потому он забыл другое слово. Слово это — «желудок». (Здесь тоже остался след ногтя Крабака.)

*

Полагаясь во всем на разум, мы неизбежно придем к отрицанию собственного существования. То обстоятельство, что Вольтер, обожествивший разум, был счастлив в своей жизни, лишний раз доказывает отсталость людей по сравнению с каппами.

12

Однажды, в довольно прохладный день, когда мне наскучило читать «Слово идиота», я отправился к философу Маггу. На углу какого-то пустынного переулка я неожиданно увидел тощего, как комар, каппу, стоявшего, лениво прислонившись к стене. Ошибки быть не могло, это был тот самый каппа, который когда-то украл у меня автоматическую ручку. «Попался!» — подумал я и медленно позвал проходившего мимо громадного полицейского.

— Задержите, пожалуйста, вон того каппу, — сказал

я. — Около месяца назад он украл мою автоматическую ручку.

Полицейский поднял дубинку (в этой стране полицейские вместо сабель имеют при себе дубинки из тиса) и окликнул вора: «Эй ты, поди-ка сюда!» Я ожидал, что вор кинется бежать. Ничего подобного. Он очень спокойно направился к полицейскому. Мало того, скрестив на груди руки, он как-то надменно глядел нам прямо в лицо. Это, впрочем,нисколько не рассердило полицейского, который извлек из сумки на животе записную книжку и тут же приступил к допросу:

— Имя?

— Грук.

— Чем занимаешься?

— До недавнего времени был почтальоном.

— Отлично. Вот этот человек утверждает, что ты украл у него автоматическую ручку.

— Да. Это было около месяца назад.

— Для чего?

— Дал ее поиграть моему ребенку.

Полицейский вперил в Грука острый взгляд.

— И что же этот ребенок?

— Неделю назад умер.

— Свидетельство о смерти при тебе?

Тощий каппа вытащил из сумки на животе лист бумаги и протянул полицейскому. Тот пробежал его глазами, улыбнулся и, похлопав Грука по плечу, сказал:

— Все в порядке. Прости за беспокойство.

Совершенно ошеломленный, я уставился на полицейского. Тощий каппа, что-то бурча себе под нос, удалился. Придя наконец в себя, я спросил:

— Почему вы его отпустили?

— Он невиновен, — ответил полицейский.

— Но ведь он украл мою ручку...

— Украл, чтобы дать поиграть своему ребенку, а ребенок умер. Если вы в чем-либо сомневаетесь, прочтите статью номер одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.

Полицейский повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Что мне оставалось делать? Я торопливо направился к Маггу, твердя про себя: «Статья тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса».

Философ Магг любил гостей. В тот день в его полутемной комнате собрались судья Бэпп, доктор Чакк и

директор стекольной фирмы Гэр. Все они курили, и дым от их сигар поднимался к семицветному фонарю. Самой большой удачей для меня было то, что явился судья Бэпп. Едва успев сесть, я обратился к нему, но вместо вопроса о статье тысяча двести восемьдесят пять задал другой вопрос:

— Тысяча извинений, господин Бэпп. Скажите, наказывают ли преступников в вашей стране?

Бэпп не спеша выпустил дым от сигары с золотым ободком и со скучающим видом ответил:

— Разумеется, наказывают. Практикуется даже смертная казнь.

— Дело в том, что месяц назад...

Изложив подробно всю историю с авторучкой, я осведомился о содержании статьи одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.

— У г у, — сказал Б э п п. — Статья эта гласит: «Каково бы ни было преступление, лицо, совершившее это преступление, наказанию не подлежит, после того как причина или обстоятельство, побудившие к совершению этого преступления, исчезли». Возьмем ваш случай. Совершена кража, этот каппа был отцом, но теперь он больше не отец, и потому преступление его само собой перестало существовать.

— Какая нелепость!

— Ничего подобного. Нелепостью было бы приравнять каппу, который был отцом, к каппе, который является отцом. Впрочем, простите, ведь японские законы не видят в этом никакого различия. Но нам это, простите, кажется смешным. Хо-хо-хо-хо-хо...

И бросив сигару, Бэпп разразился пронзительным смехом. Тогда в разговор вмешался доктор Чакк, лицо весьма далекое от юриспруденции. Поправив пенсне, он задал мне вопрос:

— В Японии тоже существует смертная казнь?

— Конечно, существует. Смертная казнь через повешение.

Меня разозлило равнодушие Бэппа, и я поспешил добавить язвительно:

— Но в вашей стране, несомненно, казнят более просвещенным способом, не так ли?

— Да, у нас казнят более просвещенным способом, — по-прежнему спокойно подтвердил Б э п п. — В нашей стране казнь через повешение не практикуется. Иногда для

этого используется электричество. А вообще и электричество нам не приходится применять. Как правило, у нас просто провозглашают перед преступником название преступления.

— И преступник умирает от этого?

— Совершенно верно, умирает. Не забудьте, что у нас, у капп, нервная организация гораздо тоньше, чем у вас, людей.

— Такой вот метод применяется не только для смертных казней, но и для убийства, — сказал директор стекольной фирмы Гэр. Он был весь сиреневый от падающих на него разноцветных бликов и благодушно мне улыбался. — Совсем недавно один социалист обозвал меня вором, и я чуть не умер от разрыва сердца.

— Это случается гораздо чаще, чем мы полагаем. Недавно вот так умер один мой знакомый адвокат.

Это заговорил философ Магг, и я повернулся к нему. Магг продолжал, ни на кого не глядя, с обычной своей иронической усмешкой:

— Кто-то обозвал его лягушкой... Вы, конечно, знаете, что в нашей стране обозвать лягушкой — это все равно что назвать подлецом из подлецов... И вот он задумался, и думал дни и ночи напролет, лягушка он или не лягушка, и в конце концов умер.

— Это, пожалуй, самоубийство, — сказал я.

— И все же его назвали лягушкой с намерением убить. С вашей, человеческой, точки зрения, это, может быть, можно рассматривать как самоубийство...

В этот самый момент за стеной, там, где находилась квартира поэта Токка, треснул сухой, разорвавший воздух пистолетный выстрел.

13

Мы немедленно бросились туда. Токк лежал на полу среди горшков с высокогорными растениями. В правой его руке был зажат пистолет, из блюда на голове текла кровь. Рядом с ним, прижимаясь лицом к его груди, навзрыд плакала самка. Я взял ее за плечи и поднял. (Обыкновенно я избегаю прикасаться к скользкой коже кашпы.) Я спросил ее:

— Как это случилось?

— Не знаю. Ничего не знаю. Он сидел, что-то писал и вдруг выстрелил себе в голову... Что теперь будет со мной?.. Qur-r-r... Qur-r-r... (Так каппы плачут.)

Директор стекольной фирмы Гэр, грустно качая головой, сказал судьбе Бэппу:

— Вот к чему приводят все эти капризы.

Бэпп ничего не ответил и закурил сигару с золотым ободком. Доктор Чакк, который осматривал рану, присев на корточки, поднялся и произнес профессиональным тоном, обращаясь ко всем нам:

— Все кончено. Токк страдал заболеванием желудка, и одного этого было достаточно, чтобы он совершенно расклеился...

— Смотрите, однако, — проговорил, словно пытаясь оправдать самоубийцу, философ Магг, — здесь лежит какая-то записка.

Он взял со стола лист бумаги. Все (за исключением, впрочем, меня) сгрудились позади него, вытягивая шеи, и через его широкие плечи уставились на записку.

Вставай и иди. В долину, что ограждает наш мир.
Там священные холмы и ясные воды,
Благоухание трав и цветов.

Магг повернулся к нам и сказал с горькой усмешкой:

— Это плагиат. «Миньона» Гете. Видимо, Токк пошел на самоубийство еще и потому, что выдохся как поэт.

Случилось так, что именно в это время у дома Токка остановился автомобиль. Это приехал Крабак. Некоторое время он молча стоял в дверях, глядя на труп Токка. Затем он подошел к нам и заорал в лицо Маггу:

— Это его завещание?

— Нет. Это его последние стихи.

— Стихи?

Волосы на голове Крабака встали дыбом. Магг, невозмутимый как всегда, протянул ему листок. Ни на кого не глядя, Крабак впился глазами в строчки стихов. Он читал и перечитывал их, почти не обращая внимания на вопросы Магга.

— Что вы думаете по поводу смерти Токка?

— «Вставай...» Я тоже когда-нибудь умру... «В долину, что ограждает наш мир...»

— Ведь вы были, кажется, одним из самых близких друзей Токка?

— Друзей? У Токка никогда не было друзей. «В доли-

ну, что ограждает наш мир...» К сожалению, Токк... «Там священные холмы...»

— К сожалению?..

— «Ясные воды...» Вы-то счастливы... «Там священные холмы...»

Самка Токка все еще продолжала плакать. Мне стало жаль ее, и я, обняв ее за плечи, отвел к дивану в углу комнаты. Там смеялся ничего не подозревавший детеныш двух или трех лет. Я усадил самку, взял на руки детеныша и немного покачал его. Я почувствовал, как на глаза мои навернулись слезы. Это был первый и единственный случай, когда я плакал в стране водяных.

— Жаль семью этого бездельника, — заметил Гэр.

— Да, таким нет дела до того, что будет после них, — отозвался судья Бэпп, раскуривая свою обычную сигару.

Громкий возглас Крабака заставил нас вздрогнуть. Размахивая листком со стихами, Крабак кричал, ни к кому не обращаясь:

— Превосходно! Это будет великолепный похоронный марш!

Блестя узкими глазами, он наспех пожал руку Маггу и бросился к выходу. В дверях тем временем уже собралась, конечно, изрядная толпа соседей Токка, которые с любопытством заглядывали в комнату. Крабак грубо и бесцеремонно растолкал их и вскочил в свою машину. В ту же минуту автомобиль затарахтел, сорвался с места и скрылся за углом.

— А ну, а ну, разойдитесь, нечего глазеть, — прикрикнул на любопытных судья Бэпп.

Взяв на себя обязанности полицейского, он разогнал толпу и запер двери на ключ. Вероятно, поэтому в комнате воцарилась внезапная тишина. В этой тишине — и в душной смеси запахов цветов высокогорных растений и крови Токка — мы стали обсуждать вопрос о похоронах. Только философ Магг молчал, рассеянно глядя на труп и о чем-то задумавшись. Я похлопал его по плечу и спросил:

— О чем вы думаете?

— О жизни кашпы.

— И что же?

— Для того, чтобы наша жизнь удовлетворяла нас, мы, кашпы, что бы там ни было... — Магг как-то стыдливо понизил голос, — как бы там ни было, должны поверить в могущество того, кто не является кашпой.

Слова Магга напомнили мне о религии. Будучи материалистом, я никогда, разумеется, не относился к религии серьезно. Но теперь, потрясенный смертью Токка, я вдруг задумался: а что представляет собой религия в стране водяных? С этим вопросом я немедленно обратился к студенту Раппу.

— У нас есть и христиане, и буддисты, и мусульмане, и огнепоклонники, — ответил он. — Наибольшим влиянием, однако, пользуется все же так называемая «современная религия». Ее называют еще «религией жизни».

(Возможно, «религия жизни» — не совсем точный перевод. На языке капп это слово звучит как «куэмуча». Окончание «ча» соответствует английскому «изм». Корень же «куэмал» слова «куэму» означает не просто «жить», «существовать», но «насыщаться едой», «пить вино» и «совокупляться».)

— Следовательно, в этой стране тоже есть общины и храмы?

— В этом нет ничего смешного. Великий храм современной религии является крупнейшей постройкой в стране. Хотите пойти поглядеть?

И вот в один душный туманный день Рапп гордо повел меня осматривать Великий храм. Действительно, это колоссальное здание, раз в десять грандиознее Николаевского собора в Токио. Мало того, в этом здании смешались самые разнообразные архитектурные стили. Стоя перед этим храмом и глядя на его высокие башни и круглые купола, я ощутил даже нечто вроде ужаса. Они, словно бесчисленные пальцы, тянулись к небу. Мы стояли перед парадными воротами (и как ничтожно малы мы были по сравнению с ними!), мы долго смотрели, задрвав головы, на это странное сооружение, похожее скорее на нелепое чудовище.

Залы храма тоже были громадны. Между коринфскими колоннами во множестве бродили молящиеся. Все они, как и мы с Раппом, казались здесь совсем крошечными. Вскоре мы повстречались с согбенным пожилым каппой. Рапп, склонив голову, почтительно заговорил с ним:

— Весьма рад видеть вас в добром здравии, почтенный настоятель.

Старец тоже отвесил нам поклон и так же учтиво отозвался:

— Если не ошибаюсь, господин Рапп? Надеюсь, вы тоже... — Тут он, видимо, обнаружил, что у Раппа сгнил клюв, и запнулся. — Э-э... Да. Во всяком случае, я надеюсь, что вы не очень страдаете. Чему обязан?..

— Я привел в храм вот этого господина, — сказал Рапп. — Как вам, вероятно, уже известно, этот господин...

И Рапп принялся пространно рассказывать обо мне. Кажется, этими своими объяснениями он старался, помимо всего прочего, дать понять старцу, что от посещения храма в последнее время его отвлекали сугубо важные обстоятельства.

— ...И вот, кстати, я хотел бы вас попросить показать этому господину храм.

Милостиво улыбаясь, настоятель поздоровался со мною, а затем молча повел нас к алтарю в передней части зала.

— Я с удовольствием покажу вам все, — заговорил он, — но боюсь, что не смогу быть вам особенно полезен. Мы, верующие, поклоняемся «древу жизни», которое находится здесь, в алтаре. Как изволите видеть, на «древе жизни» зреют золотые и зеленые плоды. Золотые плоды именуются «плодами добра», а зеленые — «плодами зла»...

Я слушал его, и мне становилось невыносимо скучно. Любезные объяснения настоятеля звучали как старая, заезженная притча. Разумеется, я делал вид, что стараюсь не пропустить ни единого слова, но при этом не забывал время от времени украдкой озираться, чтобы разглядеть внутреннее устройство храма.

Коринфские колонны, готические своды, мозаичный мавританский пол, молитвенные столики в модернистском стиле — все это вместе создавало впечатление какой-то странной, варварской красоты. Больше всего внимание мое привлекали каменные бюсты, установленные в нишах по сторонам алтаря. Мне почему-то казалось, что мне знакомы эти изображения. И я не ошибся. Закончив объяснения относительно «древа жизни», согбенный настоятель подвел меня и Раппа к первой справа нише и сказал, указывая на бюст:

— Вот один из наших святых — Стриндберг, выступавший против всех. Считается, что этот святой много и долго страдал, а затем нашел спасение в философии Сведенборга. Но в действительности он не спасся. Как и мы, он исповедовал «религию жизни». Вернее, ему

пришлось исповедовать эту религию. Возьмите хотя бы «Легенды», которые оставил нам этот святой. В них он сам признается, что покушался на свою жизнь.

Мне стало тоскливо, и я обратил взгляд на следующую нишу. В следующей нише был установлен бюст густоусого немца.

— А это Ницше, бард Заратустры. Этому святому пришлось спасаться от сверхчеловека, которого он сам же и создал. Впрочем, спастись он не смог и сошел с ума. Если бы он не сошел с ума, попасть в святые ему, возможно, и не удалось бы...

Настоятель немного помолчал и подвел нас к третьей нише.

— Третьим святым является у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой все силился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно. А ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно, ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед перекладной на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал — это видно хотя бы из того, что его сделали святым.

В четвертой нише красовался бюст японца. Разглядев лицо этого японца и узнав его, я, как и следовало ожидать, ощутил грусть.

— Это Куникада Д о п п о, — сказал настоятель. — Поэт, до конца понявший душу рабочего, погибшего под колесами поезда. Думаю, говорить вам о нем что-либо еще не имеет смысла. Поглядите на пятую нишу...

— Это, кажется, Вагнер?

— Да. Революционер, казавшийся другом короля. Святой Вагнер на склоне лет читал даже застольные молитвы. И все же он был скорее последователем «религии жизни», чем христианином. Из писем, оставшихся после Вагнера, явствует, что мирские страдания не раз подводили этого святого к мысли о смерти.

Настоятель все еще говорил о Вагнере, когда мы остановились перед шестой нишей.

— А это друг святого Стриндберга, француз-художник. Он бросил свою многодетную жену и взял себе четырнадцатилетнюю таитянку. В широких жилах этого

святого текла кровь моряка. Но взгляните на его губы. Они изъедены мышьяком или чем-то вроде этого. Что же касается седьмой ниши... Но вы, кажется, уже утомились. Извольте пройти сюда.

Я действительно устал. Вслед за настоятелем я и Рапп прошли по коридору, пронизанному ароматом благовоний, и очутились в какой-то комнате. Комната была мала, в углу возвышалась черная статуя Венеры, у ног статуи лежала кисть винограда. Я ожидал увидеть строгую монашескую келью безо всяких украшений и был несколько смущен. Видимо, настоятель почувствовал мое недоумение. Прежде чем предложить мне сесть, он сказал с состраданием:

— Не забывайте, пожалуйста, что наша религия — это «религия жизни». Ведь наш бог... наше «древо жизни» учит: «Живите всюю». Да, господин Рапп, вы уже показывали этому господину наше Священное писание?

— Нет! — ответил Рапп и честно признался, почесывая блюдце на голове: — По правде говоря, я и сам толком его не читал.

Настоятель, по-прежнему спокойно улыбаясь, продолжал:

— Тогда, разумеется, вам еще не все понятно. Наш бог создал вселенную за один день. («Древо жизни» хоть и дерево, но для него нет ничего невозможного.) Мало того, он создал еще и самку. Самка же, соскучившись, принялась искать самца. Наш бог внял ее печали, взял у нее мозг и из этого мозга изготовил самца. И сказал наш бог этой первой паре капп: «Жрите, совокупляйтесь, живите всюю...»

Слушая настоятеля, я вспоминал поэта Токка. К своему несчастью, поэт Токк, так же как и я, был атеистом. Я не каппа и потому понятия не имел о «религии жизни». Но Токк, родившийся и проживший всю жизнь в стране водяных, не мог не знать, что такое «древо жизни». Мне стало жаль Токка, не принявшего такого учения, и я, перебив настоятеля, спросил, что он думает об этом поэте.

— А-а, этот поэт достоин всяческого сожаления, — сказал настоятель, тяжело вздохнув. — Что определяет нашу судьбу? Вера, обстоятельства, случай. Вы, вероятно, присовокупите сюда еще и наследственность. К несчастью, господин Токк не был верующим.

— Наверное, Токк завидовал вам. Вот и я тоже завидую. Да и молодежь, как, например, Рапп.

— Если бы клюв у меня был цел, я, быть может, и стал бы оптимистом.

Выслушав нас, настоятель снова глубоко вздохнул. Глаза его были полны слез, он неподвижно глядел на черную Венеру.

— Сказать по правде... — вымолвил он. — Только не говорите об этом никому, это мой секрет... Сказать по правде, я тоже не в состоянии верить в нашего бога. Когда-нибудь мои моления...

Настоятель не успел закончить. Как раз в этот момент дверь распахнулась, в дверь ворвалась огромная самка и набросилась на него. Мы попытались было остановить ее, но она в одно мгновение повергла настоятеля на пол.

— Ах ты дрянной старикашка! — вопила она. — Опять сегодня стащил у меня из кошелька деньги на выпивку!

Минут через десять, оставив позади настоятеля и его супругу, мы почти бегом спускались по ступеням храма. Некоторое время мы молчали, затем Рапп сказал:

— Теперь понятно, почему настоятель тоже не верит в «древо жизни».

Я не ответил. Я невольно оглянулся на храм. Храм по-прежнему, словно бесчисленными пальцами, тянулся в туманное небо высокими башнями и круглыми куполами. И от него веяло жутью, какую испытываешь при виде миражей в пустыне...

15

Примерно через неделю я неожиданно услышал от доктора Чакка необычайную новость. Оказывается, в доме покойного Токка завелось привидение. К тому времени сожительница нашего несчастного друга куда-то уехала и в доме открылась фотостудия. По словам Чакка, на всех снимках, сделанных в этой студии, позади изображения клиента непременно запечатлевается неясный силуэт Токка. Впрочем, Чакк, будучи убежденным материалистом, не верил в загробную жизнь. Рассказав обо всем этом, он с ядовитой усмешкой прокомментировал: «Надо полагать, сие привидение так же материально, как и мы с вами». Я тоже не верил в привидения и в этом отношении не слишком отличался от Чакка. Но я очень любил Токка, а потому немедленно бросился в книжную

лавку и скупил все газеты и журналы со статьями о призраке Токка и с фотографиями привидения. И в самом деле, на фотографиях, за спинами старых и молодых капп, туманным силуэтом выделялось нечто, напоминающее фигуру каппы. Еще больше, нежели фотографии привидения, меня поразили статьи о призраке Токка — особенно один отчет спиритического общества. Я перевел для себя эту статью почти дословно и привожу ее здесь по памяти.

«Отчет о беседе с призраком поэта Токка («Журнал спиритического общества», № 8274).

Специальное заседание комиссии нашего общества имело место в бывшей резиденции покончившего самоубийством поэта Токка, ныне фотостудии господина имярек — в доме 251 по улице НН. На заседании присутствовали члены общества (имена опускаю).

Мы, семнадцать членов общества, во главе с председателем общества господином Пэкком, 27 сентября в десять часов тридцать минут утра собрались в одной из комнат названной фотостудии. В качестве медиума нас сопровождала госпожа Хопп, пользующаяся нашим безграничным доверием. Едва оказавшись в названной студии, госпожа Хопп немедленно ощутила приближение духа. У нее начались конвульсии, и ее несколько раз вырвало. По ее словам, это было вызвано тем, что покойный господин Токк при жизни отличался сильной приверженностью к табаку, и теперь дух его оказался пропитанным никотином.

Члены комиссии и госпожа Хопп в молчании заняли места за круглым столом. Спустя три минуты двадцать пять секунд госпожа Хопп внезапно впала в состояние глубокого транса, и дух поэта Токка вошел в нее. Мы, члены комиссии, в порядке старшинства по возрасту задали духу господина Токка, овладевшему госпожой Хопп, следующие вопросы и получили следующие ответы.

Вопрос. Для чего ты вновь посетил этот мир?

Ответ. Чтобы познать посмертную славу.

Вопрос. Ты и остальные господа духи — разве вы жаждете славы и после смерти?

Ответ. Я, во всяком случае, не могу не жаждать. Но один поэт, японец, которого я как-то случайно встретил, — он презирает посмертную славу.

Вопрос. Ты знаешь имя этого поэта?

Ответ. К сожалению, я его забыл. Помню только одно его любимое стихотворение.

Вопрос. Что же это за стихотворение?

Ответ.

Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине¹.

Вопрос. И ты считаешь, что это выдающееся произведение?

Ответ. Разумеется, я не считаю его плохим. Только я заменил бы слово «лягушка» на «каппа», а вместо слова «прыгнула» употребил бы выражение «блистательно взлетела».

Вопрос. Почему?

Ответ. Нам, каппам, свойственно в любом произведении искусства настойчиво искать каппу.

Здесь председатель общества господин Пэкк прерывает беседу и напоминает членам комиссии, что они находятся на спиритическом сеансе, а не на литературной дискуссии.

Вопрос. Каков образ жизни господ духов?

Ответ. Ничем не отличается от вашего.

Вопрос. Сожалеешь ли ты в таком случае о своем самоубийстве?

Ответ. Разумеется, нет. Если мне наскучит жизнь призрака, я снова возьму пистолет и покончу самовоскрешением.

Вопрос. Легко ли кончать самовоскрешением?

Этот вопрос призрак Токка парирует вопросом. Такая манера Токка известна всем, кто знал его при жизни.

Ответ. А легко ли кончать самоубийством?

Вопрос. Духи живут вечно?

Ответ. Относительно продолжительности нашей жизни существует масса теорий, и ни одна из них не внушает доверия. Не следует забывать, что и среди нас есть приверженцы различных религий — христиане, буддисты, мусульмане, огнепоклонники.

Вопрос. А какую религию исповедуешь ты?

Ответ. Я всегда скептик.

Вопрос. Но в существовании духов ты, по-видимому, все же не сомневаешься?

¹ Перевод В. Марковой.

Ответ. В существовании духов я убежден меньше чем вы.

Вопрос. Много ли у тебя друзей в этом твоём мире?

Ответ. У меня не меньше трехсот друзей во всех временах и народах.

Вопрос. Все твои друзья — самоубийцы?

Ответ. Отнюдь нет. Правда, например, Монтень, оправдывавший самоубийства, является одним из моих наиболее почитаемых друзей. А с этим типом Шопенгауэром — этим пессимистом, так и не убившим себя, — и зняться не желаю.

Вопрос. Здоров ли Шопенгауэр?

Ответ. В настоящее время он носится со своим новым учением о пессимизме духов и выясняет, хорошо или плохо кончать самовоскрешением. Впрочем, узнав, что холера тоже инфекционное заболевание, он, кажется, немного успокоился.

Затем мы, члены комиссии, задали вопросы о духах Наполеона, Конфуция, Достоевского, Дарвина, Клеопатры, Сакья Муни, Демосфена, Данте и других выдающихся личностей. Однако ничего интересного о них Токк, к сожалению, не сообщил и, в свою очередь, принялся задавать нам вопросы о самом себе.

Вопрос. Что говорят обо мне после моей смерти?

Ответ. Какой-то критик назвал тебя «одним из заурядных поэтов».

Вопрос. Это один из обиженных, которому я не подарил сборника своих стихов. Издано ли полное собрание моих сочинений?

Ответ. Издано, но, говорят, почти не раскупается.

Вопрос. Через триста лет, когда исчезнет понятие об авторском праве, мои сочинения будут покупать миллионы людей. Что стало с моей самкой и подружкой?

Ответ. Она вышла замуж за господина Ракка, хозяйина книжной лавки.

Вопрос. Бедняга, она, должно быть, еще не знает, что у Ракка вставной глаз. А мои дети?

Ответ. Кажется, они в государственном приюте для сирот.

Некоторое время Токк молчит, затем задает следующий вопрос.

Вопрос. Что с моим домом?

Ответ. Сейчас в нем студия фотографа такого-то.

Вопрос. А что с моим письменным столом?

Ответ. Мы не знаем.

Вопрос. В ящичке стола я тайно хранил некоторые письма... Но вас, господа, как занятых людей, это, к счастью, не касается. А теперь в нашем мирке наступают сумерки, и я вынужден проститься с вами. Прощайте, господа, прощайте... Прощайте, мои добрые господа.

При этих последних словах госпожа Хопп внезапно вышла из состояния транса. Мы все, семнадцать членов комиссии, перед лицом бога небесного клятвенно подтверждаем истинность изложенной беседы. Примечание: наша достойная всяческого доверия госпожа Хопп получила в качестве вознаграждения сумму, которую она выручала за день в бытность свою актрисой».

16

После того как я прочитал эту статью, мною постепенно овладело уныние, я больше не хотел оставаться в этой стране и стал думать о том, как вернуться в наш мир, в мир людей. Я ходил и искал, но так и не смог найти яму, через которую когда-то провалился сюда. Между тем рыбак Багг однажды рассказал мне о том, что где-то на краю страны водяных живет в тишине и покое один старый каппа, который проводит свои дни в чтении книг и игре на флейте. «Что, если попробовать обратиться к тому каппе? — подумал я. — Может быть, он укажет мне путь из этой страны?» И я тут же отправился на окраину города. Но там, в маленькой хижине, я увидел не старика, а каппу-юношу, двенадцати или тринадцати лет, с еще мягким блюдцем на голове. Он тихонько наигрывал на флейте. Разумеется, я решил, что ошибся домом. Чтобы проверить себя, я обратился к нему по имени, которое мне назвал Багг. Нет, это оказался тот самый старый каппа.

— Но вы выглядите совсем ребенком... — пробормотал я.

— А ты разве не знал? Волею судеб я покинул чрево матери седым старцем. А затем я становился все моложе и моложе и вот теперь превратился в мальчика. Но на самом деле, когда я родился, мне было, по крайней мере, лет шестьдесят, так что в настоящее время мне что-то около ста пятидесяти или ста шестидесяти лет.

Я оглядел комнату. Может быть, у меня было такое

настроение, но мне показалось, что здесь, среди простых стульев и столиков, разлито какое-то ясное счастье.

— Видимо, вы живете более счастливо, чем все остальные капшы?

— Вполне возможно. В юности я был старцем, а к старости стал молодым. Я не высох от неутоленных желаний, как это свойственно старикам, и не предаюсь плотским страстям, как это делают молодые. Во всяком случае, жизнь моя если и не была счастливой, то уж наверняка была спокойной.

— Да, при таких обстоятельствах жизнь ваша должна быть спокойной.

— Ну, одного этого для спокойствия еще недостаточно. У меня всю жизнь было отличное здоровье и состояние достаточное, чтобы прокормиться. Но, конечно, самое счастливое обстоятельство в моей жизни — это то, что я родился стариком.

Некоторое время мы беседовали. Говорили о самоубийце Токке, о Гэре, который ежедневно вызывает к себе врача. Но почему-то лицо старого капшы не выражало никакого интереса к этим разговорам. Я наконец спросил:

— Вы, наверное, не испытываете такой привязанности к жизни, как другие капшы?

Глядя мне в лицо, старый капша тихо ответил:

— Как и другие капшы, я покинул чрево матери не раньше, чем мой отец спросил меня, хочу ли я появиться в этом мире.

— А вот я оказался в этом вашем мире совершенно случайным образом, — сказал я. — Так будьте добры, расскажите, как отсюда выбраться.

— Отсюда есть только одна дорога.

— Какая же?

— Дорога, которой ты попал сюда.

Когда я услышал это, волосы мои встали дыбом.

— Мне не найти эту дорогу, — пробормотал я.

Старый капша пристально поглядел на меня своими чистыми, как ключевая вода, глазами. Затем он поднялся, отошел в угол комнаты и потянул свисавшую с потолка веревку. Сейчас же в потолке открылся круглый люк, которого я раньше не замечал. И за этим люком, над ветвями сосен и кипарисов, я увидел огромное ясное синее небо. А в небо, подобно гигантскому наконечнику стрелы, поднимался пик Яригатакэ. Я даже подпрыгнул от радости, словно ребенок при виде аэроплана.

— Ну в о т , — сказал старый к а п п а . — Можешь уходить.

С этими словами он указал мне на веревку. Но это была не веревка, как мне показалось вначале. Это была веревочная лестница.

— Что ж , — сказал я . — С вашего разрешения я пойду.

— Только подумай прежде. Как бы тебе не пожалеть потом.

— Н и ч е г о , — сказала я . — Жалеть не буду.

Я уже поднимался по лестнице, цепляясь за перекладины. Поглядывая вниз, я видел далеко под собою блюдец на голове старого капшы.

17

Вернувшись из страны водяных, я долго не мог привыкнуть к запаху человеческой кожи. Ведь капшы необычайно чистоплотны по сравнению с нами. Мало того, я так привык видеть вокруг себя одних только капш, что лица людей представлялись мне просто безобразными. Вам, вероятно, этого не понять. Ну, глаза и рты еще туда-сюда, но вот косы вызывали у меня чувство какого-то странного ужаса. Естественно, что в первое время я старался ни с кем не встречаться. Затем я понемногу стал, видимо, привыкать к людям и уже через полгода смог бывать где угодно. Неприятности доставляло лишь то обстоятельство, что в разговоре у меня то и дело вырывались слова на языке страны водяных. Получалось примерно так:

— Ты завтра будешь дома?

— Qua.

— Что ты сказал?

— Да-да, буду.

Через год после возвращения я разорился на одной спекуляции и поэтому...

(Тут доктор С. заметил: «Об этом рассказывать не стоит». Он сообщил мне, что, как только больной начинает говорить об этом, он впадает в такое буйство, что с ним не могут справиться несколько сторожей.)

Хорошо, об этом не буду. Словом, разорившись на одной спекуляции, я захотел снова вернуться в страну водяных. Да, именно вернуться. Не отправиться, не поехать, а вернуться. Потому что к тому времени я уже ощущал страну водяных как свою родину.

Я потихоньку ушел из дому и попытался сесть на поезд Центральной линии. К сожалению, я был схвачен полицией и меня водворили в эту больницу. Но и здесь я некоторое время продолжал тосковать по стране водяных. Чем сейчас занят доктор Чакк? А философ Магг? Наверное, он по-прежнему размышляет о чем-нибудь под своим семицветным фонарем. А мой добрый друг студент Рапп со сгнившим клювом? Однажды в такой же туманный, как сегодня, день я, по обыкновению, погрузился в воспоминания о своих друзьях и вдруг чуть не закричал от изумления, увидев рыбака Багга. Не знаю, когда он проник ко мне, но он сидел передо мной на корточках и кланялся, приветствуя меня. Когда я немного успокоился... не помню, плакал я или смеялся. Помню только, с какой радостью я впервые после долгого перерыва заговорил на языке страны водяных.

— Послушай, Багг, зачем ты пришел сюда?

— Проведать вас. Вы, говорят, заболели.

— Откуда же ты узнал?

Багг засмеялся. Он был доволен.

— Услыхал по радио.

— А как ты сюда добрался?

— Ну, это дело нетрудное. Реки и рвы в Токио для нас, капш, все равно что улицы.

И я вспомнил, словно только что узнал об этом, что капшы относятся к классу земноводных, как и лягушки.

— Но ведь здесь поблизости нигде реки нет.

— Нет. Сюда я пробрался по водопроводным трубам. А здесь приоткрыл пожарный кран...

— Открыл пожарный кран?

— Вы что, забыли, господин? Ведь и среди капш есть механики.

Капшы стали навещать меня раз в два-три дня. Доктор С. считает, что я болен *dementia praecox*¹. Но вот доктор Чакк (простите за откровенность) утверждает, что никакого *dementia praecox* у меня нет, что это вы сами все, начиная с доктора С., страдаете *dementia praecox*. Само собой разумеется, что раз уж доктор Чакк приходит ко мне, то навещают меня и студент Рапп, и философ Магг. Впрочем, если не считать рыбака Багга, никто из них не является в дневное время. Они приходят по двое, по трое, и всегда ночью... в лунные ночи. Вот и вчера ночью при

¹ Раннее слабоумие (лат.).

свете луны я беседовал с директором стекольной фирмы Гэром и философом Маггом. А композитор Крабак играл мне на скрипке. Видите на столе этот букет черных лилий? Это мне принес в подарок вчера ночью Крабак...

(Я обернулся. Конечно, никаких лилий па столе не было. Стол был пуст.)

Вот эту книгу мне принес философ Магг. Прочтите первые стихи. Впрочем, нет. Вы же не знаете их языка. Давайте я сам прочту. Это один из томов полного собрания сочинений Токка, которое недавно вышло из печати.

(Он раскрыл старую телефонную книгу и громким голосом прочел такие стихи:)

В кокосовых цветах, среди стволов бамбука
Давно почует Будда.

И под иссохшею смоковницею старой
Почил Христос усталый.

Так не пора ль и нам вкусить отдохновенье,
Хотя бы только здесь, на театральной сцене?

(Но если заглянуть за декорации — ведь там мы увидим лишь заплатаанные холсты?)

Но я не такой пессимист, как этот поэт. И пока ко мне будут приходиться капшы... Да, совсем забыл. Вы, вероятно, помните моего приятеля судью Бэппа. Так вот, этот капша потерял место и в самом деле сошел с ума. Говорят, что сейчас он находится в психиатрической лечебнице в стране водяных. Если бы мне только разрешил доктор С., я охотно навестил бы его...

Февраль 1927 г.

ТРИ ОКНА

1. Крысы

Было самое начало июня, когда броненосец первого класса ** вошел в военный порт Йокосука. Горы, окружавшие порт, были окутаны пеленой дождя. Не бывает такого случая, чтобы военный корабль стал на якорь, а количество крыс не увеличилось, ** не являлся исключением. И под палубой броненосца водоизмещением в

двадцать тысяч тонн, полоскавшего флаг в бесконечном дожде, крысы начали лезть в сундучки, в мешки с одеждой.

Не прошло и трех дней, как корабль стал на якорь, и, чтобы выловить крыс, был издан приказ помощника капитана, гласивший, что каждому поймавшему крысу будет разрешено на день сойти на берег. Как только был издан приказ, матросы и кочегары стали, конечно, с усердием охотиться на крыс. И благодаря их усилиям количество крыс таяло буквально на глазах. Поэтому матросам приходилось бороться за каждую крысу.

— Крыса, которую теперь приносят, вся растерзана. Это потому, что ее тянут в разные стороны.

Так со смехом говорили между собой офицеры, собираясь в кают-компанию. Одним из них был лейтенант А., с виду совсем еще юноша. Он вырос, не зная забот, и мало что смыслил в жизни. Но даже он отчетливо понимал состояние матросов и кочегаров, жаждавших сойти на берег. Дымя сигаретой, он обычно говорил:

— Да, это верно. Я бы сам на их месте не остановился перед тем, чтобы хоть кусок урвать от крысы.

Такие слова мог произнести только холостяк. Его товарищ, лейтенант У., у которого были короткие рыжие усы, женился с год назад и поэтому обычно подсмеивался над матросами и кочегарами. Здесь сказывалось также, разумеется, его постоянное стремление ни в чем не проявлять собственной слабости. Но даже он, захмелев от бутылки пива, опускал голову на руки, покоившиеся на столе, и говорил иногда лейтенанту А.:

— Ну как, может, и нам поохотиться на крыс?

Однажды утром после дождя лейтенант А., бывший вахтенным офицером, разрешил матросу S. сойти на берег. Это за то, что он поймал крысу, притом целую крысу. Могучего телосложения, крупнее остальных матросов, S., залитый лучами солнца, спускался вниз по узкому трапу. А в это время его приятель-матрос, легко взбежавший вверх, поравнявшись с ним, шутливо бросил:

— Эй, импорт?

— Угу, импорт.

Этот диалог не мог пройти мимо ушей лейтенанта А. Он позвал S., заставил его вернуться на палубу и спросил, что означает их диалог.

— Что такое импорт?

S. вытянулся, глядя прямо в лицо лейтенанта А., — он явно приуныл.

— Импорт — это то, что приносят из города.

— А зачем приносят?

Лейтенант А. понимал, конечно, зачем приносят. Но, поскольку S. не отвечал, он сразу же разозлился на него и наотмашь ударил по щеке. S. пошатнулся, но тут же снова вытянулся.

— Кто принес это из города?

S. опять ничего не ответил. Лейтенант А, пристально глядя на него, представлял себе, как он снова влепит ему пощечину.

— Кто?

— Моя жена.

— Принесла, когда приходила повидаться с тобой?

— Так точно.

Лейтенант А. не мог не усмехнуться про себя.

— В чем она его принесла?

— В коробке с печеньем принесла.

— Где твой дом?

— На Хирасакасите.

— Родители твои живы?

— Никак нет. Мы живем вдвоем с женой.

— А детей нет?

— Никак нет.

Во время этого разговора вид у S. оставался растерянным. Лейтенант А., не скомацдовав «вольно», перевел взгляд на Йокосуку. Город высился среди гор грязными пятнами крыш. В лучах солнца он являл собой удивительно жалкое зрелище.

— Не пойдешь на берег.

— Слушаюсь.

S. заметил, что лейтенант А. молча стоит, в замешательстве не зная что делать.

А лейтенант в это время подбирал в уме слова, чтобы отдать следующий приказ. И некоторое время молча ходил по палубе. «Он боится наказания», — сознавать это, как и всякому старшему по чину, лейтенанту было приятно.

— Ну ладно. Иди, — сказал наконец лейтенант А.

Отдав честь, S. повернулся кругом и пошел было к люку. Но когда он отошел на несколько шагов, лейте-

нант А., стараясь подавить улыбку, неожиданно окликнул его:

— Эй, постой!

— Слушаюсь.

С. резко повернулся. Волнение снова разлилось по всему его телу.

— Мне нужно тебе кое-что сказать. На Хирасакасите есть магазин, где продается крекер?

— Так точно.

— Кули мне пачку этого крекера.

— Сейчас?

— Да. Прямо сейчас.

От лейтенанта А. не укрылось, что по вспыхнувшей огнем щеке С. бежит слеза...

Через два-три дня, сидя за столом в кают-компании, лейтенант А. пробегал глазами письмо, подписанное женским именем. Оно было написано неуверенной рукой на желтоватой почтовой бумаге. Прочитав письмо, лейтенант закурил и протянул его находившемуся рядом лейтенанту У.

— Что это? «...Во вчерашнем виновен не муж — все случилось из-за моего легкомыслия. Простите, пожалуйста, у меня и в мыслях не было обидеть вас... Вашу доброту я никогда, никогда не забуду...»

На лице лейтенанта У., продолжавшего держать письмо, постепенно всплывала презрительная гримаса. Он с неприязнью посмотрел на лейтенанта А. и холодно спросил:

— Тебе что, нравится делать добрые дела?

— Почему же, иногда можно, — парировал лейтенант А., глядя в иллюминатор. За иллюминатором было лишь бесконечное море в дымке дождя. Но через некоторое время, будто устыдившись чего-то, он вдруг сказал лейтенанту У.:

— Знаешь, он ужасно тихий. Но, дав ему оплеуху, я ни жалости, ничего подобного не испытывал...

Лейтенант У. всем своим видом показал, что ему чужды сомнения и колебания. Ничего не ответив, он принялся читать газету, лежавшую на столе. В кают-компании, кроме них, не было никого. На столе стояло несколько вазочек с цветами. Глядя на их прозрачные лепестки, лейтенант А. по-прежнему дымил сигаретой. Как ни странно, продолжая испытывать к этому резкому лейтенанту У. дружеские чувства...

2. Трое

После одного из боев броненосец первого класса ** в сопровождении пяти кораблей медленно шел к бухте Чэнхэ. На море уже опустилась ночь. С левого борта над горизонтом висел большой красный серп луны. На броненосце водоизмещением в двадцать тысяч тонн покой еще, конечно, не наступил. Но это было возбуждение после победы. И только малодушный лейтенант К. даже среди этого возбуждения нарочно слонялся по кораблю, с усталым лицом, будто был чем-то очень озабочен.

В ночь перед боем, проходя по палубе, он заметил тусклый свет фонаря и сразу же пошел на него. Он увидел молодого музыканта из военного оркестра, который лежал ничком и при свете фонаря, поставленного так, чтобы его не мог видеть противник, читал Священное писание. Лейтенант К. был тронут и сказал музыканту несколько теплых слов. Музыкант вначале вроде испугался. Но, поняв, что старший командир не ругает его, сразу же заулыбался, точно девушка, и стал робко отвечать ему... Однако сейчас этот молодой музыкант лежал, убитый снарядом, попавшим в основание грот-мачты. Глядя на его тело, лейтенант К. вдруг вспомнил фразу: «Смерть успокаивает человека». Если бы жизнь самого молодого лейтенанта К. была оборвана снарядом... Из всех смертей такая представлялась ему самой приятной.

И все же сердце впечатлительного лейтенанта К. до сих пор хранило все, что случилось перед этим боем. Броненосец первого класса **, закончив подготовку к бою, в сопровождении тех же пяти кораблей шел по морю, катившему огромные волны. Но у одного из орудий правого борта с жерла почему-то не была снята заглушка. А в это время на горизонте показались далекие дымки вражеской эскадры. Один из матросов, заметивший эту оплошность, быстро уселся верхом на ствол орудия, проворно дополз до жерла и попытался обеими ногами открыть заглушку. Неожиданно это оказалось совсем не просто. Матрос, повиснув над морем, раз за разом, точно лягаясь, бил обеими ногами. И время от времени поднимал голову и еще улыбался, показывая белые зубы. Вдруг броненосец начал резко менять курс, поворачивая вправо. И тогда весь правый борт оказался накрытым огромной волной. Вмиг матрос, оседлавший орудие, был смыт. Упав в море, он

отчаянно махал рукой и что-то громко кричал. В море вместе с проклятиями матросов полетел спасательный круг. Но, конечно же, поскольку перед броненосцем была вражеская эскадра, о спуске шлюпки не могло быть и речи. И матрос в мгновение ока остался далеко позади. Его судьба была решена — рано или поздно он утонет. Да и кто бы мог поручиться, что в этом море мало акул...

Смерть молодого музыканта не могла не воскресить в памяти лейтенанта К. это происшествие, случившееся перед боем. Он поступил в морскую офицерскую школу, но когда-то мечтал стать писателем-натуралистом. И даже окончив школу, все еще увлекался Мопассаном. Жизнь часто представлялась ему сплошным мраком. Придя на броненосец, он вспомнил слова, высеченные на египетском саркофаге: «Жизнь — борьба», и подумал, что, не говоря уже об офицерах и унтер-офицерах, даже сам броненосец как бы воплотил в стали этот египетский афоризм. И перед мертвым музыкантом он не мог не почувствовать тишины всех окончившихся для него боев. И не мог не ощутить печали об этом матросе, собиравшемся еще так долго жить.

Отирая пот со лба, лейтенант К., чтобы хоть остыть на ветру, поднялся через люк на шканцы. Перед башней двенадцатидюймового орудия в одиночестве вышагивал, заложив руки за спину, гладко выбритый палубный офицер. А немного впереди унтер-офицер, опустив скуластое лицо, стоял навытяжку перед орудийной башней. Лейтенанту К. стало немного не по себе, и он суетливо подошел к палубному офицеру.

— Ты что?

— Да вот хочу перед поверкой в уборную сходить.

На военном корабле наказание унтер-офицера не было каким-то диковинным событием. Лейтенант К. сел и стал смотреть на море, на красный серп луны с левого борта, с которого сняли пиллерсы. Кругом не было слышно ни звука, лишь постукивали по палубе каблуки офицера. Лейтенант К. почувствовал некоторое облегчение и стал наконец вспоминать свое состояние во время сегодняшнего боя.

— Я еще раз прошу вас. Даже если меня лишат награды за отличную службу — все равно, — подняв вдруг голову, обратился унтер-офицер к палубному офицеру.

Лейтенант К. невольно взглянул на него и увидел, что его смуглое лицо стало серьезным. Но бодрый палубный

офицер, по-прежнему заложив руки за спину, продолжал спокойно прохаживаться по палубе.

— Не говори глупостей.

— Но стоять здесь — да ведь я своим подчиненным в глаза смотреть не могу. Уж лучше бы мне задержали повышение в чине.

— Задержка повышения в чине — дело очень серьезное. Лучше стой здесь.

Палубный офицер, сказав это, с легким сердцем стал снова ходить по палубе. Лейтенант К. разумом был согласен с палубным офицером. Больше того, он не мог не считать, что унтер-офицер слишком честолюбив, слишком чувствителен. Но унтер-офицер, стоявший с опущенной головой, чем-то растрожил лейтенанта К.

— Стоять здесь — позор, — продолжал причитать тихим голосом унтер-офицер.

— Ты сам в этом виноват.

— Наказание я понесу охотно. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне здесь не стоять.

— Если считать позором, то ведь, в конце концов, любое наказание — позор. Разве не так?

— Но потерять авторитет у подчиненных — это для меня очень тяжело.

Палубный офицер ничего не ответил. Унтер-офицер... унтер-офицер, казалось, тоже махнул рукой. Вложив всю силу в «это», он замолчал и стоял неподвижно, не произнося ни слова. Лейтенант К. начал испытывать беспокойство (в то же время ему казалось, что он может остаться в дураках из-за чувствительности унтер-офицера) и ощутил желание замолвить за него слово. Но это «слово», сорвавшись с губ, превратилось в обыденное.

— Тихо как, верно?

— Угу.

Так ответил палубный офицер и продолжал ходить, поглаживая подбородок. В ночь перед боем он говорил лейтенанту К.: «Еще давным-давно Кимура Сигэнари...» — и поглаживал тщательно выбритый подбородок...

Однажды, уже отбыв наказание, унтер-офицер исчез. Поскольку на корабле было установлено дежурство, утопиться он никак не мог. Не прошло и полдня, как стало ясно, что его нет и в угольной яме, где легко совершить самоубийство. Но причиной исчезновения унтер-офицера была, несомненно, смерть. Он оставил прощальные письма матери и брату. Палубный офицер, наложивший на

него взыскание, старался никому не попадаться на глаза. Лейтенант К. из-за своего малодушия ужасно ему сочувствовал, чуть ли не силой заставлял его бутылку за бутылкой пить пиво, которое сам не брал в рот. И в то же время беспокоился, что тот опьянеет.

— Все из-за своего упрямства. Но ведь можно и не умирать, верно?.. — без конца причитал палубный офицер, с трудом удерживаясь на стуле. — Я и сказал-то ему только — стой. И из-за этого умирать?..

Когда броненосец бросил якорь в бухте Чэнхэ, кочегары, занявшиеся чисткой труб, неожиданно обнаружили останки унтер-офицера. Он повесился на цепочке, болтавшейся в трубе. Но висел лишь скелет — форменная одежда, даже кожа и мясо — все сгорело дотла. Об этом, конечно же, узнал в кают-компании и лейтенант. И он вспомнил фигуру унтер-офицера, замершего перед оружейной башней, и ему почудилось, что где-то еще висит красный серп месяца.

Смерть этих трех человек навсегда оставила в душе лейтенанта К. мрачную тень. Он начал понимать даже, что такое жизнь. Но время превратило этого пессимиста в контр-адмирала, пользующегося прекрасной репутацией у начальства. Хотя ему и советовали стать каллиграфом, он редко брал в руки кисть. И лишь когда его вынуждали к этому, писал в альбомах:

В твоих глазах, смотрящих на меня
Без слов, я вижу — нет печали.

3. Броненосец первого класса **

Броненосец первого класса ** ввели в док военного порта Йокосука. Ремонтные работы продвигались с большим трудом. Броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн, на высоких бортах которого, снаружи и внутри, копошились бесчисленные рабочие, все время испытывал необычайное нетерпение. Ему хотелось выйти в море, но, вспоминая о прилипших ко дну ракушках, он ощущал противный зуд.

В порту Йокосука стоял на якоре приятель броненосца, военный корабль ***. Этот корабль водоизмещением в двенадцать тысяч тонн был моложе броненосца. Иногда они беззвучно переговаривались через морской простор.

*** сочувствовал, естественно, возрасту броненосца, сочувствовал тому, что по оплошности, допущенной кораблестроителями, руль его легко выходит из строя. Но, сочувствуя, он ни разу не заговаривал с ним об этом. Больше того, из уважения к броненосцу, много раз участвовавшему в боях, всегда употреблял в разговоре с ним самые вежливые выражения.

Однажды в пасмурный день из-за огня, попавшего в пороховой склад на ***, раздался вдруг ужасающий взрыв, и корабль наполовину ушел под воду. Броненосец был, конечно, потрясен (многочисленные рабочие объяснили, разумеется, вибрацию броненосца законами физики). Не участвовавший в боях *** мгновенно превратился в калеку — броненосец просто не мог в это поверить. Он с трудом скрыл свое потрясение и попытался подбодрить ***. Но ***, накренившись, окутанный пламенем и дымом, лишь жалобно ревел.

Через три-четыре дня у броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, из-за того, что на его борта перестала давить вода, начала трескаться палуба. Увидев это, рабочие ускорили ремонтные работы. Но в какой-то момент броненосец сам махнул на себя рукой. *** еще совсем был молод, но утонул на его глазах. Если подумать о судьбе ***, в жизни его, броненосца, уж во всяком случае, были не только горести, но и радости. Он вспомнил один бой, теперь уже давний. Это был бой, в котором и флаг был разорван в клочья, и даже мачты сломаны...

В доке, высохшем до белизны, броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн гордо поднял свой нос. Перед ним сновали крейсера и миноносцы. А иногда показывались подводные лодки и даже гидропланы. Они лишь заставляли броненосца чувствовать эфемерность всего сущего. Осматривая военный порт Йокосука, над которым то светило солнце, то собирались тучи, броненосец терпеливо ждал своей судьбы. В то же время испытывая некоторое беспокойство оттого, что палуба все больше коробится...

Эссе

Миниатюры



ЛЯГУШКА

Я лежу у старого пруда, в нем полно лягушек.

Пруд по краям густо зарос тростником и рогозом. На берегу, склонившись над тростником и рогозом, приятно шелестят на ветру высокие ивы. А над ними — летнее голубое небо, и в нем поблескивают, точно осколки стекла, редкие кружевные облака. И отражение всего этого в пруду выглядит намного красивее, чем в реальности.

Лягушки, живущие в пруду, целый день без усталости квакают: ква-ква, ква-ква. Невнимательный слушатель может уловить только: ква-ква, ква-ква. Но на самом деле между лягушками идут ожесточенные споры. Было бы неверно утверждать, что лягушки разговаривали лишь во времена Эзопа.

Одна из лягушек, устроившись на листе тростника и вообразив себя университетским профессором, заявляет:

— Для чего существуют букашки? Для того, чтобы мы, лягушки, могли ими питаться.

— Правильно, правильно, — кричат лягушки, сидящие в пруду. Вся поверхность пруда, в которой отражались небо, трава и деревья, почти сплошь усеяна лягушками, и поэтому их возгласы одобрения весьма внушительны.

Тут проснулась спавшая у ствола ивы змея, которую разбудили надоедливые ква-ква, ква-ква. Приподняв голову, она посмотрела в сторону пруда и сонно облизнулась.

— Для чего существует земля? Для того, чтобы на ней росли деревья и трава. А для чего деревья и трава?

Для того, чтобы создавать тень для нас, лягушек. Следовательно, можно утверждать, что вся земля существует для нас, лягушек.

— Правильно, правильно.

Второй раз услышав возгласы одобрения, змея напрыглась как хлыст. Она бесшумно сползла в тростник и, сверкая черными глазами, стала внимательно приглядываться к тому, что происходило в пруду.

Лягушка, восседавшая на листе тростника, по-прежнему широко раскрывая свой огромный рот, ораторствовала:

— Для чего существует небо? Для того, чтобы на нем висело солнце. Для чего существует солнце? Для того, чтобы сушить наши лягушачьи спины. Следовательно, можно утверждать, что все небо существует для нас, лягушек. Итак, и вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце существуют для нас, лягушек. Таким образом, неопровержимым является тот факт, что вся вселенная существует для нас. Разъясняя вам этот факт, я вместе с тем хотела бы от всей души возблагодарить всевышнего за то, что всю вселенную он создал для нас, лягушек. Да святится имя твое, господи...

Устремив взгляд в небо и неистово вращая глазами, лягушка снова широко раскрыла свой огромный рот и возвестила:

— Да святится имя твое, господи...

Не успела она кончить, как к ней метнулась голова змеи и красноречивая лягушка в мгновение ока оказалась в змеиной пасти.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ква-ква, это ужасно.

— Ужасно, ква-ква, ква-ква.

Пока потрясенные обитатели пруда кричали, змея спокойно проглотила лягушку и спряталась в зарослях тростника. Тут начался такой переполох, которого еще свет не видывал, во всяком случае с тех пор, как существует этот пруд. Я сам слышал, как юный лягушонок с плачем вопрошал:

— И вода, и трава, и деревья, и букашки, и земля, и небо, и солнце существуют для нас, лягушек. А как же тогда змеи? Змеи тоже существуют для нас?

— Совершенно верно. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Если бы змеи не ели нас, лягушек, нас бы расплодилось великое множество. А если бы мы так расплодились, то тесно стадо бы в пруду — в нашем мире.

Вот почему и приползают змеи, чтобы есть нас, лягушек. Нужно исходить из того, что съеденная лягушка — жертва, принесенная для счастья большинства. Ты совершенно прав. Змеи тоже существуют для нас, лягушек. Все в мире, все без исключения, существует для нас, лягушек. Да святится имя твое, господи.

Это был услышанный мной ответ пожилой лягушки.

Сентябрь 1917 г.

ЖЕНЩИНА

Облитая лучами щедрого летнего солнца, паучиха притаилась в глубине красной розы и о чем-то думала.

Неожиданно на цветок с жужжанием опустилась пчела. Паучиха мгновенно впиалась в нее взглядом. В тихом полуденном воздухе еще плыло, затухая, тихое жужжание.

Паучиха бесшумно поползла вверх. Пчела, обсыпанная цветочной пылью, погрузила свой хоботок в нектар, скопившийся у основания пестика.

Прошло несколько секунд мучительной тишины. На лепесток красной розы за спиной опьяневшей от нектара пчелы медленно выползла паучиха. И тут же стремительно бросилась на нее. Бешено заработав крыльями, пчела делала отчаянные попытки ужалить врага. Пыльца, покрывшая ее крылья, плясала в лучах яркого солнца. Но паучиха не разжимала челюстей.

Сражение было коротким.

Крылья сразу же перестали слушаться пчелу. Потом у нее отнялись лапки. Последним несколько раз конвульсивно дернулся вверх длинный хоботок. Это был конец трагедии. Конец ужасной трагедии, под стать смерти человека. Спустя секунду пчела, вытянув хоботок, лежала в глубине красной розы. Ее крылья и лапки были обсыпаны душистой пылью...

Паучиха, не шевелясь, бесшумно высасывала кровь пчелы.

Не ведающие стыда солнечные лучи, нарушая вновь вернувшееся к розе безмолвие, освещали победно-самодовольную паучиху, убившую пчелу. Брюшко точно серый атлас, похожие на черные бусинки глаза, сухие,

с безобразными суставами, будто пораженные проказой лапки — паучиха, воплощение зла, кровожадно восседала на мертвой пчеле.

Такая же до предела жестокая драма повторялась неоднократно и впоследствии. А красная роза, ничего не подозревая, день за днем лила в знойной духоте одуряющий аромат...

И вот однажды в полдень паучиха, будто вспомнив о чем-то, побежала между листьями и цветами розового куста и добралась до конца тоненькой веточки. Там, издавая сладковатый запах, засыхал бутон, лепестки которого скрутила жара. Паучиха начала проворно сновать между ним и веточкой. И скоро бесчисленные блестящие нити заткали полуувядший бутон и обвили кончик веточки.

Через некоторое время на летнем солнце до боли в глазах засверкал белизной, будто сотканный из шелка, кокон.

Соткав кокон, паучиха отложила на дно этого хрупкого мешочка бесчисленное множество яиц. Отверстие мешочка она заткала толстыми нитями и, усевшись на эту подстилку, натянула тонкий полог, соорудив еще один купол. Полог отгородил жестокою серую паучиху от синего полуденного неба. А паучиха, отложившая яйца, распластав исхудалое тело в своих белоснежных покоях, забыв и о розе, и о солнце, и о жужжании пчелы, лежала неподвижно, погруженная в думы.

Прошло несколько недель.

В коконе, сотканном паучихой, начали просыпаться новые жизни, дремавшие в бесчисленных яйцах. Первой заметила это одряхлевшая паучиха-мать, которая лежала в своих белоснежных покоях, не позволяя себе даже есть. Паук, почувствовав под подстилкой рождение новой жизни, с трудом подполз и прогрыз кокон, в котором укрывалась мать с детьми. Бесчисленные паучата битком набили белоснежные покои. Или, лучше сказать, сама подстилка задвигалась, превратившись в неисчислимое множество крупинок.

Паучки сразу же пролезли через окошечко купола и рассеялись по веткам розы, залитой солнцем и обдуваемой ветром. Одни из них толклись на обжигающе горячих листьях. Другие, как до этого их родители, нырнули в цветы, полные нектара. Третьи — между ветками розы, прочерчивающими вдоль и поперек синее небо, стали ткать нити, такие тонкие, что их даже невозможно было

различить глазом. Если бы роза не была нема, то в этот ясный летний день она, несомненно, горестно заплакала бы тонким голоском и показалось бы, что это поет от ветра висящая на ее ветвях крохотная скрипка.

А в это время у окошечка в куполе, исхудавшая как тень, сидела в одиночестве паучиха-мать, не выказывая ни малейшего желания даже пошевелить лапками. Безмолвие белоснежных покоев, запах увядшего бутона розы — под тонким пологом, где соединилась воедино родильная комната и могила, паучиха, произведя на свет бесчисленных паучат, с сознанием беспредельной радости матери, выполнившей свое небесное предназначение, приняла смерть. Приняла смерть жившая в разгар лета и воплощающая зло женщина, которая убила пчелу.

Апрель 1920 г.

КАК Я ДУМАЮ

Больше всего жаждет воды сидящий на верблюде путешественник, не имея бурдюка с водой. Больше всего жаждет справедливости живущий в условиях капитализма революционер, не находя социальной справедливости. Больше всего нам, людям, недостает того, что нам больше всего необходимо. Вряд ли кто-либо может сомневаться в этом.

Но если сказанное мной верно, то тогда больше всего жаждет иметь ноги солдат, у которого их оторвало. Больше всего жаждет любви влюбленный, потерявший возлюбленную. Больше всего жаждут серьезности — я не могу не следовать логике, — жаждут серьезности писатели, жаждут серьезности критики, жаждут серьезности драматурги, которым внутренней серьезности недостает. Во всяком случае, не им говорить о том, что все люди испокон веку несерьезны. Тем более было бы оскорблением, если бы они обрушили обвинения на тех, кто обладает юмором.

История учит, что истинно серьезные художники никогда не щеголяли серьезностью. В их произведениях, чаще или реже, но всегда присутствует непринужденный смех. Даже известный своей ироничностью Ибсен никогда не был вознесенным над людьми чудовищем, выставляющим напоказ свою серьезность. Вскоре после «Пер Гюнта» появилась «Дикая утка», из которой хлынули

громовые раскаты смеха. То же можно сказать и о Достоевском, продемонстрировавшем свою любовь к шутке в «Крокодиле» и «Дядюшкином сне». Толстой изобразил женщину, которая, целуясь с мужем, беспокоится, что у нее помнется платье. Стриндберг изобразил мужчину ограниченного, но без конца рассуждающего о морали.

Сама логика говорит о несомненности того факта, что у так называемых серьезных писателей, критиков и драматургов недостает серьезности. Было бы неверно утверждать, что к такому выводу никто еще не приходил. В глубине души многие это чувствуют...

По словам Паскаля, человек — думающий тростник. Думает тростник или нет — сказать определенно я не могу. Но то, что тростник не смеется, как человек, — это несомненно. Не видя смеющегося лица, я не могу представить себе не только серьезность этого человека, но и вообще наличие в нем человеческих качеств. Вряд ли нужно доказывать, что я не питаю никакого уважения к писателям, критикам, драматургам, стремящимся во что бы то ни стало сохранять серьезность.

Июнь 1923 г.

В СВЯЗИ С ВЕЛИКИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 1 СЕНТЯБРЯ 1923 ГОДА

...Я благонамеренный гражданин. Но Кикуги Кану, на мой взгляд, этого качества недостает.

Уже после того как было введено чрезвычайное положение, мы с Кикуги Каном беседовали о том о сем, покурили сигареты. Я говорю «беседовали о том о сем», но, естественно, наш разговор вертелся вокруг недавнего землетрясения. Я сказал, что, как утверждают, причина пожаров — мятеж взбунтовавшихся корейцев. «Послушай, да это же вранье», — закричал в ответ Кикуги. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться с ним: «Да, видимо, и в самом деле вранье». Но потом, одумавшись, я сказал: «Говорят, что эти корейцы — агенты большевиков». — «Послушай, да это же в самом деле чистое вранье», — опять стал ругаться Кикуги. И я снова отказался от своего предположения: «Может, и в самом деле вранье».

На мой взгляд, благонамеренный гражданин — это тот, кто безоговорочно верит в существование заговора большевиков и взбунтовавшихся корейцев. Если же, паче чаяния, он не верит, то обязан сделать вид, будто верит. А этот неотесанный Кикиути Кан и не верит, и не делает вида, что верит. Такое поведение следует рассматривать как полную утрату качеств благонамеренного гражданина. Являясь благонамеренным гражданином и в то же время членом отряда самозащиты, я не могу не сожалеть о позиции, занятой Кикиути.

Да, быть благонамеренным гражданином — нелегкое дело.

1923

РОЯЛЬ

Однажды в осенний дождливый день я шел по улице Яматэ в Йокохаме, направляясь по делу к одному человеку. Хаос в этом районе был почти таким же, как и в дни землетрясения. Если что и изменилось, так только то, что среди валявшегося на земле шифера с крыш и разрушенных кирпичных стен кое-где вырос бурьян. В развалинах какого-то дома я вдруг увидел влажно блестящий клавишами, наполовину погребенный под остатками стены, искалеченный рояль с открытой крышкой. А рядом в бурьяне мокли разбросанные ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия произведений.

Мы переговорили с тем человеком по делу. Разговор был неприятный. И я поздно вечером покинул его дом, условившись, что мы вскоре встретимся еще раз.

К счастью, дождь кончился. Временами сквозь разрывы туч, которые гнал по небу ветер, выглядывала луна. Чтобы не опоздать на поезд (разумеется, электричка государственной железной дороги, в которой запрещено курить, мне не подходила), я старался идти как можно быстрее.

Неожиданно я услышал звуки, будто кто-то играет на рояле. Пожалуй, лучше сказать не играет, а слегка касается клавиш. Я непроизвольно замедлил шаги и стал всматриваться в развалины. И в свете луны увидел

клавиши рояля — того самого рояля, который валялся в зарослях бурьяна. Но нигде ни живой души.

Я услышал одну-единственную ноту. Но это был несомненно звук рояля. Мне стало немного не по себе, и я снова пошел быстрее. И тут опять за моей спиной отчетливо раздался звук рояля. Не оборачиваясь, я все ускорял шаги, чувствуя, как в спину мне бьет горячий ветер...

Я был слишком большим реалистом, чтобы давать какое-то оккультное объяснение услышанному мной звуку. Там действительно не было ни души, но, возможно, у разрушенной стены притаилась кошка. А если не кошка, то колонок или жаба — перечислял я в уме возможных обитателей развалин. Но все-таки было странно, что рояль заиграл без прикосновения человеческих рук.

Не прошло и пяти дней, как я снова по тому же делу шел по той же улице Яматэ. Рояль по-прежнему лежал в бурьяне. Как и в прошлый раз, вокруг него валялись ноты, на обложках которых розовыми, голубыми, коричневыми буквами были выведены названия. Все это, в том числе и кучи кирпича и шифера, было залито яркими лучами осеннего солнца. Стараясь не наступать на ноты, я подошел к роялю. Теперь я увидел, что слоновая кость клавиш потеряла любой блеск, лак на крышке облез. Вокруг ножек обвилось какое-то ползучее растение, похожее на дикий виноград. Стоя перед роялем, я испытывал нечто близкое разочарованию.

— Будет он играть наконец или нет? — подумал я вслух. И в тот же момент рояль издал тихий звук. Кажется, он ругнул меня за неверие. Но меня это не поразило. Более того, на моем лице появилась улыбка. Как и тогда. Но сегодня белые клавиши сверкали в лучах солнца. Однако теперь на них валялся одинокий каштан — когда он упал, не знаю.

Вернувшись на мостовую, я обернулся и еще раз бросил взгляд на развалины. Ствол каштана, который я наконец рассмотрел, придавленный обвалившейся шиферной крышей, стоял наклонившись, прикрыв собой рояль. Я не мог оторвать глаз от искаленного рояля, валявшегося в густом бурьяне. От рояля, хранившего неведомые никому звуки со времени того самого землетрясения.

Апрель 1925 г.

ДЕНЬ В КОНЦЕ ГОДА

...Я шел по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни. Но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее...

Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трем журналам, — все три не удовлетворяли меня. Но тем не менее сегодня перед рассветом я закончил последний.

На сёдзи рядом с постелью четко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошел в уборную. «Пожалуй, похолодало», — подумал я.

Тетка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходящую на веранду. Отсюда и шел дребезжащий звук. Тетка, в безрукавке поверх кимоно, с подвязанными тесемкой рукавами, выжимая в ведерке тряпки, сказала мне с легкой издевкой:

— Знаешь, а ведь уже двенадцать часов.

И правда, было уже двенадцать. В столовой, у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто еще утро, пошел умываться на кухню, где не было ни души.

Покончив с завтраком, который был одновременно и обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение мое не улучшилось. Каждый раз, закончив работу, я испытывал странную опустошенность. Как после близости с женщиной — и с этим уж ничего не поделаешь...

К. пришел около двух часов. Я пригласил его к жаровне и решил сначала поговорить о делах. Одетый в полосатый пиджак К. — в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене — сейчас работал в самой редакции.

— Ну как? Если есть время, может, пройдемся? — предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома.

— Да, если часов до четырех... Вы уже заранее реши-
ли, куда мы пойдем? — спросил К. застенчиво.

— Нет, мне все равно куда.

— Может, пойдем на могилу?

Могила, о которой говорил К., была могилой Нацумэ.

С полгода назад я обещал К. показать могилу На-
цумэ — любимого его писателя. Идти на могилу под Но-
вый год — это, пожалуй, вполне соответствовало моему
настроению.

— Ну что ж, пойдемте.

Быстро накинув пальто, я вместе с К. вышел из дому.

День холодный, но ясный. На узенькой Додзака было
оживленнее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сос-
ны и бамбука почти касались небольшого домика под
тесовой крышей, именовавшегося помещением молодеж-
ной организации Табата. При виде этой улицы у меня
воскресло памятное с детства ощущение близости Нового
года.

Подождав немного, мы сели па электричку в сторону
Гококудзимаэ. В электричке было не очень много на-
роду. Так и не опуская воротника пальто, К. рассказы-
вал мне, как недавно ему наконец удалось достать ру-
копись стихов сэнсэя.

Когда мы проехали Фудзимаэ, одна из лампочек в
центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие ку-
сочки. Там стояла женщина лет двадцати пяти, она была
дурна собой. В одной руке женщина держала огромный
узел, а другой ухватилась за ремень. Падая на пол, лам-
почка слегка задела прядь волос у нее на лбу. Женщина
сделала удивленное лицо и стала оглядывать пассажиров.
У нее было такое выражение, будто она ждет сочувствия
или, уж во всяком случае, хочет привлечь к себе внима-
ние. Но все, будто сговорившись, оставались совершенно
равнодушными. Продолжая беседовать с К., я смотрел на
обескураженную женщину, и лицо ее казалось мне испол-
ненным отчаяния и, уж разумеется, не смешным.

На конечной остановке мы вышли из электрички и по
улице, где было множество лавок, торговавших гирлянда-
ми, направились к кладбищу Дзосикая.

На кладбище, засыпанном листьями огромных гинкго,
как всегда, стояла тишина. На широкой центральной ал-
лее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди
К., я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки за жи-
вой изгородью боярышника, а иногда за ржавой желез-

ной оградой выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Но сколько мы ни шли, могилу сэнсэя не могли найти.

— Может быть, на той дорожке.

— Возможно.

Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сэнсэя даже девятого декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верилось, что можно за-быть, где его могила.

Но и на другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того, чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы все не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалеку от его могилы.

— И спросить не у кого... Ну что ты будешь делать!

В словах К. мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести к могиле, так что злиться мне не приходилось.

Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромные гинкго. Все напрасно. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под пальто тепло собственного тела — меня бросало в жар, — я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира и я бежал домой, сдерживая слезы.

Мы ходили до тех пор, пока наконец я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиция, и все-таки привел К. к могиле сэнсэя.

Могила обветшала еще больше даже по сравнению с прошлым разом. Да к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали, — на ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесенные, видимо, девятого числа. К. снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с К.

— Сколько лет прошло?

— Ровно девять.

Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Гококудзимаэ.

В электричку мы сели вместе с К., а у Фудзимаэ я сошел один. Навестив приятеля в библиотеке Тоёбунко, я возвратился к вечеру на Додзаку.

Наступил самый оживленный час на Додзаке. Но когда я миновал храм Косиндо, прохожих стало попадаться все меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шел по ветреной улице, упорно глядя под ноги.

Под горкой Хатимандзака, что за кладбищем, опершись о ручки тележки, отдыхал ее владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись: «Токийская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повозку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, грязной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю свое состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону. И тогда голые ветви деревьев на кладбище стонали. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих ступающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой...

Декабрь 1925 г.

НЕКИЙ СОЦИАЛИСТ

Он был молодой социалист. Его отец, мелкий чиновник, хотел выгнать его за это из дому. Но он не сдавался. Отчасти потому, что его увлечение было горячо, отчасти потому, что его воодушевляли товарищи.

Они организовали общество, выпускали брошюрки в десять страничек, устраивали вечера с речами. Он, конечно, постоянно бывал на их собраниях и, кроме того, иногда печатал в этих брошюрах свои статьи. Его статей, кроме членов общества, по-видимому, никто специально не читал. Но с одной из них — под названием «Вспоминаю Либкнехта» — у него было связано чувство какого-то удовлетворения. Пусть она не являлась тонким исследованием, зато была исполнена поэтического жара.

Тем временем он окончил училище и поступил в редакцию одного журнала. Однако он не переставал посещать их собрания. Они по-прежнему горячо обсуждали

свои вопросы. Больше того, потихоньку, как вода точит камень, они переходили к практической работе.

Отец больше не вмешивался в его дела. Молодой человек женился и поселился в маленьком домике. Жилище и в самом деле было маленькое. Но он не испытывал недовольства — напротив, он чувствовал себя счастливым. Жена, собачка, тополь в палисаднике — все это придавало его жизни какую-то неведомую ему прежде теплоту.

Из-за семьи, а также из-за того, что он был завален работой в редакции, где нельзя было терять ни минуты, он все реже посещал собрания Общества. Но его увлечение нисколько не остыло. По крайней мере, он был убежден, что он, теперешний, нисколько не отличается от того, каким он был несколько лет назад. Но они — его товарищи — думали иначе. Особенно молодежь, недавно вступившая в их организацию, нисколько не стеснялась осуждать его пассивность.

Это неизбежно приводило к тому, что он все больше и больше отдалялся от Общества. А тут он стал отцом и еще сильнее привязался к семье. Но предметом его увлечения по-прежнему был социализм. Он не бросал своих занятий поздней ночью при электрическом свете. В то же время в брошюрках в десять страниц, которые он написал несколько лет назад, в том числе и в брошюре «Вспоминаю Либкнехта», что-то перестало его удовлетворять.

Товарищи тоже совсем к нему охладели. Он потерял для них интерес даже как объект осуждения. Оставив его в покое — оставив в покое так много похожих на него людей, — они шаг за шагом продвигали свою работу. Встречаясь со старыми товарищами, он каждый раз принимался жаловаться. Но на самом деле он просто нашел удовлетворение в обывательском покое.

Потом, через несколько лет, он поступил на службу в одну фирму и заслужил доверие начальства. Тогда он поселился в доме, который был гораздо больше прежнего; у него росло несколько детей. Но его увлечение — где оно теперь, известно, пожалуй, одному богу! Иногда, сидя в кресле и покуривая папиросу, он вспоминал свои молодые годы. Нельзя сказать, чтобы это как-то странно не омрачало его сердца. Но восточная «покорность судьбе» всегда спасала его.

Конечно, он отступник. Но его брошюрка «Вспоминаю Либкнехта» послужила стимулом для другого человека.

Это был юноша из Осаки, который, играя на бирже, лишился имущества, доставшегося ему в наследство от родителей. Этот юноша прочел его брошюру и под ее влиянием сделался социалистом. Но обо всем этом он, конечно, ничего не знал. Он и теперь, сидя в кресле и покуривая папиросу, вспоминает свои молодые годы — по-человечески, пожалуй, слишком по-человечески.

Человеческое, слишком человеческое — это всегда нечто животное («Слова пигмея»).

1926

ИЗ «СЛОВ ПИГМЕЯ»

Предисловие

«Слова пигмея» не всегда служат выражением моих мыслей. Они только дают иногда представление о том, как мои мысли меняются день ото дня. Из одного стебелька может развиться несколько побегов — кто знает, сколько побегов.

Нос

Известно изречение Паскаля, гласящее, что, если бы нос Клеопатры был кривым, история могла бы пойти иначе. Однако влюбленный редко видит истинные черты лица предмета своей любви. Когда нас охватывает любовь, мы обманываем себя искуснейшим образом.

Антоний не исключение: будь нос Клеопатры кривым, Антоний вряд ли увидел бы это. А если бы и увидел, то нашел бы другое достоинство, восполняющее этот недостаток. Во всем мире не сыщешь женщины со столькими достоинствами, как наша возлюбленная. Антоний, как и мы у своей возлюбленной, нашел бы в глазах или губах Клеопатры нечто такое, что с лихвой восполняло бы изъян. Вдобавок обычное «а ее душа!». В самом деле, наша возлюбленная во все времена обладала безгранично прекрасной душой. К тому же одежда, состояние или общественное положение тоже входят в число ее достоинств. Наконец, бывали даже случаи, когда к достоинствам причисляли факт или слух, что некогда ее любила какая-то знаменитость. И разве Клеопатра не была по-

следней египетской царицей, окруженной роскошью и тайной? Когда, в облаке благоуханий, она восседала, сверкая драгоценной короной с лотосом или другим цветком в руках, неужели кто-нибудь заметил бы легкую кривизну ее носа? Тем более — Антоний.

Такой самообман распространяется не только на любовь. Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона, что нам хочется. Взять, например, хоть вывеску зубного врача — мы не столько видим саму вывеску, сколько хотим ее видеть, потому что ощущаем зубную боль. Разумеется, наша зубная боль не имеет к мировой истории никакого отношения. Но подобному самообману подвержены, как правило, и политики, которые хотят знать настроения народа, и военные, которые хотят знать положение противника, и деловые люди, которые хотят знать состояние финансов. Я не отрицаю, что разум должен это корректировать. Но в то же время признаю и существование управляющего всеми людскими делами «случая». И может быть, самообман есть вечная сила, управляющая мировой историей.

Короче говоря, двухтысячелетняя история не зависела от того, каким был нос промелькнувшей в ней Клеопатры. Она скорее зависела от вездесущей на земле нашей глупости. От заслуживающей смеха, но высокой нашей глупости.

Этика

Правящая нами мораль — это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний.

*

Мораль — другое название удобства. Нечто вроде «левостороннего движения».

*

Совесть не появляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт.

*

Совесть — строгое искусство.

Может быть, совесть источник морали. Но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром.

Свободная воля и рок

Как бы то ни было, если верить в рок, преступления не существует, а значит, теряется смысл наказания, следовательно, наше отношение к преступнику должно быть великодушным. В то же время, если верить в свободу воли, возникает представление об ответственности, и чтобы избежать паралича совести, нужно к себе самому быть строгим. Чему же верить?

Отвечу хладнокровно. Надо верить и в свободу воли, и в рок. Или сомневаться и в свободе воли, и в роке. Разве не взяли мы жену в силу довлеющего над нами рока? И разве не покупали мы по требованию жены платья и пояса благодаря свободе воли?

Не только свобода воли и рок, но бог и дьявол, красота и безобразие, смелость и трусость, разум и вера — отношение ко всему этому должно уравниваться, как чаши весов. Древние называли это золотой серединой — «тюдё». В переводе на английский это — *good sense*¹. Я уверен, что без здравого смысла нельзя достичь счастья. А если и достигнешь, такое счастье обернется злом, как если в жаркий день поддерживать огонь или в холод обмахиваться веером.

Творчество

Может быть, художник всегда создает свое произведение сознательно. Но если взять произведение как такое, то часть его красоты или безобразия находится в мире мистики, стоящем выше сознания художника. Часть? Не следует ли сказать: большая часть?

Отвечу сразу, не дожидаясь вопроса. Невозможно, чтобы наш дух не проявился в произведении. Разве старинное обыкновение «одного удара и трех поклонов» не говорит о страхе на пороге бессознательного?

¹ Здравый смысл (*англ.*).

Творчество всегда риск. После того как исчерпаны все человеческие силы, остается лишь положиться на волю неба.

«Когда я был молод и учился писать, то страдал оттого, что не получалось гладко. Скажу одно: старания только полдела, ими одними не достигнешь совершенства. Когда состарюсь, тогда только пойму, что силой не берут: три части — дело человека, семь частей — дар неба». Эти строфы автора «Луныши» говорят о том же. В искусстве кроется бездонный ужас. Если бы мы не любили денег, если бы не стремились к славе и, наконец, не страдали почти болезненной жадной творчества, может быть, у нас не хватило бы смелости вступить в борьбу с этим страшным искусством.

Классики

Счастье писателей-классиков в том, что они как-никак мертвы.

О том же

Наше — или ваше — счастье тоже в том, что они как-никак мертвы.

Признание

Признаться во всем до конца никто не может. В то же время без признаний выразить себя никак нельзя.

Руссо любил признания. Но найти признание во всей наготе в «Исповеди» нельзя. Мериме не любил признаний. Но разве «Коломба» в скрытом виде не говорит о нем самом? Провести черту между литературой признания и любой другой — невозможно.

Человеческая жизнь

Если бы не научившемуся плавать приказали: «Плыви!» — всякий счел бы это глупостью. Если бы не тренированному в беге приказали: «Беги!» — это тоже было бы неразумно. Но все мы с самого рождения получаем такие глупые приказы.

Разве во чреве матери мы учились жить? А не успели мы родиться, как должны вступить в жизнь, очень напо-

минающую арену борьбы. Конечно, кто не учился плавать, не может быть хорошим пловцом. Кто не тренирован в беге, будет отставать от настоящих бегунов. Так и мы не можем уйти с арены жизни без ран.

О том же

Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — смешно. Обращаться несерьезно — опасно.

О том же

Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает многих страниц. Трудно сказать, что это полный экземпляр. И все же, как бы то ни было, она составляет полный экземпляр.

Любовь сильнее смерти

«Любовь сильнее смерти» — название романа Мопассана. Но сильнее смерти на свете не только любовь. Например, больной брюшным тифом съедает бисквит, зная, что непременно умрет, — это доказывает, что и желание лакомиться бывает сильнее смерти. Можно назвать и многое другое — патриотизм, религиозный экстаз, человечность, корыстолюбие, честолюбие, преступные инстинкты, — несомненно, многое сильнее смерти (разумеется, жажда смерти — исключение). В какой мере любовь сильнее смерти, чем все остальное, я затрудняюсь сказать. Даже в тех случаях, когда нам кажется, что любовь сильнее смерти, на самом деле нами движет то, что французы называют боваризмом. Сентиментализм, существующий со времен Бовари, при котором мы воображаем себя любовниками из романа.

Скандал

Публика любит скандалы. Инцидент с Белым Лотосом, инцидент с Арисимой, инцидент с Мусьякодзи — эти инциденты принесли публике огромное удовлетворение. Почему же публика любит скандалы, особенно если замешаны лица, пользующиеся известностью? Реми де Гурмон на это отвечает:

«Потому что их скандалы напоминают нам о наших собственных скандалах».

Ответ Гурмона правилен. И не только правилен. Те обыкновенные люди, которые сами не способны на скандал, находят в скандалах знаменитостей превосходное оправдание своей трусости. И в то же время превосходный пьедестал, на который можно возвести свое несуществующее превосходство. «Я не так красива, как Белый Лотос. Зато я целомудренней». «Я не так талантлив, как Арисима. Зато я лучше знаю жизнь». «Я не так...» Обыватели, сказав это, счастливо спят, как свиньи.

Сильный и слабый

Сильный человек не боится врагов, зато боится друзей. Повергая одним ударом врага, он не чувствует никакого огорчения, но невольно ранить друга боится, как женщина.

Слабый не боится друзей, зато боится врагов. И поэтому в каждом видит врага.

Мелочи

Чтобы сделать жизнь счастливой, надо любить повседневные мелочи. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо находить наслаждение.

Чтобы сделать жизнь счастливой? Но любить мелочи — значит и страдать из-за мелочей. Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью. Жизнь Басё была жизнью наслаждений. Но на любой взгляд — и жизнью страданий. Чтобы, улыбаясь, наслаждаться, надо, улыбаясь, страдать.

Чтобы сделать жизнь счастливой, надо из-за повседневных мелочей страдать. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо чувствовать муки попавшего в ад.

Боги

Из всего, что свойственно богам, наибольшее сожаление вызывает то, что они не могут совершить самоубийства.

Каибара Эккэн

И я в школьные годы учил историю про Каибару Эккэна. Каибара Эккэн как-то на судне оказался вместе с одним студентом. Студент, видимо гордясь своими познаниями, разглагольствовал о разных науках и искусствах. Эккэн, ни словом не вмешиваясь, просто слушал. Тем временем судно подошло к берегу. Пассажирам перед выходом полагалось сообщать свое имя. Только тут студент узнал Эккэна и, смутившись перед великим конфуцианцем, попросил прощения за свою давешнюю неучтивость. Такой эпизод я учил.

В то время в этом эпизоде я разглядел красоту скромности. По крайней мере, старался разглядеть. Но, к несчастью, теперь я не могу почерпнуть в нем ничего поучительного. Этот эпизод представляет для меня теперь некоторый интерес лишь по таким соображениям:

Как язвительно было презрение, с которым Эккэн слушал, не произнося ни слова!

Как вульгарны аплодисменты пассажиров, радовавшихся тому, что студент пристыжен!

Как живо трепетал в разглагольствованиях студента дух нового времени, незнакомый Эккэну!

Ограничение

Талант тоже строго ограничен рамками. Ощущение этих рамок навевает легкую грусть. И в то же время как-то непроизвольно вызывает умиление. Это как если поймешь, что бамбук — это бамбук, а дикий виноград — дикий виноград.

Марс

Спрашивать, есть ли люди на Марсе, все равно что спрашивать, есть ли люди, которых мы можем обнаружить с помощью пяти чувств. Но жизнь не ограничивается рамками, которые можно различить с помощью пяти чувств. Если допустить, что форма существования людей на Марсе находится вне сферы восприятия наших пяти чувств, то не исключено, что и сегодня вечером они толпой, вместе с осенним ветерком, под которым желтеют кантонские платаны, проходят по Гиндзе.

Заурядность

Заурядное произведение, даже крупное по объему, всегда похоже на комнату без окон. Оно не открывает широкого вида на человеческую жизнь.

Находчивость

Отвращение к находчивости коренится в усталости людей.

Политики

Политическая осведомленность, которой политики гордятся больше нас, профанов, — это знание всевозможных фактов. В конечном счете эта осведомленность зачастую не идет дальше знания того, какую шляпу носит такой-то лидер такой-то партии.

О том же

Так называемые «трактирные политики» не имеют подобных знаний. Что же касается их взглядов, то тут они не уступают настоящим политикам. А за их бескорыстный пыл они всегда заслуживают больше уважения, чем настоящие политики.

Флобер

Чему Флобер меня научил — это красивой скуке.

Мопассан

Мопассан похож на лед. А временами на леденец.

По

Прежде чем создать сфинкса, По изучал анатомию. Тайна, которая привела в содрогание следующие поколения, таится в этом изучении.

Теория капиталистов

«Продает ли художник произведение искусства или я продаю консервированных крабов, особой разницы тут нет. Но художники думают, что искусство — величайшее

сокровище мира. Подражая им, я бы тоже должен гордиться своими консервами стоимостью шестьдесят сэнов за банку. Но за шестьдесят календарных лет я еще ни разу не страдал таким глупым самомнением, как художники».

Родители и дети

Соответствуют ли родители своей роли воспитателей детей, это вопрос. Конечно, быков и лошадей воспитывают их родители. Но защищать этот обычай ссылкой на природу — произвол родителей. Если бы ссылкой на природу можно было защитить любой обычай, нам следовало бы защищать свойственный дикарям брак умыканием.

О том же

Родительская любовь — любовь самая бескорыстная. Но бескорыстная любовь не так уж годится для воспитания детей. Под влиянием такой любви — по крайней мере, главным образом под влиянием такой любви — ребенок становится либо деспотом, либо слабовольным.

О том же

Издавна большинство родителей повторяет такие слова: «Я, в конце концов, неудачник. Но мой ребенок должен добиться успеха».

Крупное произведение

Считать крупное произведение шедевром — значит оценивать его с материальной точки зрения. Когда говорят, что произведение крупное, то имеют в виду только оплату. Гораздо больше, чем фреску «Страшный суд» Микеланджело, я люблю «Автопортрет» старика Рембрандта.

Мои любимые произведения

Мои любимые произведения, я имею в виду литературные, — это те, в которых чувствуется, что автор — человек. Человек — с мозгом, сердцем и настоящими чув-

ствами. Однако, к несчастью, писатели в большинстве своем калеки с каким-нибудь изъяном. (Правда, иногда нельзя не склониться перед великим калекой.)

Опыт

Полагаться только на опыт — значит полагаться только на пищу, не думая о пищеварении. В то же время, пренебрегая опытом, полагаться только на способности — все равно, что, не думая о пище, полагаться только на пищеварение.

Ахиллес

Говорят, что у греческого героя Ахиллеса уязвимой была только пятка. Значит, для того чтобы знать Ахиллеса, надо было знать и его пятку.

Ленин

Больше всего я был поражен тем, что Ленин — великий и в то же время такой простой человек.

Счастье художника

Самый счастливый художник тот, который приобрел славу в пожилых годах. Куникида Doppo, если об этом подумать, отнюдь не несчастный художник.

Хороший человек

Женщина не всегда хочет иметь мужем хорошего человека. Но мужчина всегда хочет иметь другом хорошего человека.

Величие

Народ любит слушать рассуждения о величии личностей и дел. Но чтобы жаждать встречи лицом к лицу с величием — такого в истории еще не бывало.

Искусство

Воздействие картины длится триста лет, воздействие письма — пятьсот лет, воздействие литературного произ-

ведения нескончаемо — так сказал Ван Шанчжэн. Но, судя по раскопкам в Дуньхуане, воздействие письма и картины длится дольше чем пятьсот лет. Более того, вечно ли воздействие литературного произведения — это вопрос. Идеи не в силах выйти из-под власти времени. Нашим предкам при слове «бог» представлялся человек в иконе и сокутаё. А нам при том же слове представлялся европеец с длинной бородой. И надо полагать, что так же может обстоять со многим другим, а не только с идеей бога.

О том же

Я как-то вспомнил виденный мною портрет Тосю Сяраку. Человек, изображенный на портрете, держал у груди раскрытый веер с зеленым рисунком волн в стиле Корины. Это усиливало прелесть колорита всей картины. Но, посмотрев в лупу, я увидел, что то, что мне показалось зеленым, было золото, покрытое патиной. В этой картине Сяраку я почувствовал красоту — это факт. Но не ту красоту, которая была схвачена Сяраку, — это тоже факт. Такая перемена может возникнуть и в литературном тексте.

О том же

Искусство подобно женщине. Чтобы выглядеть как можно красивее, оно должно быть окутано духовной атмосферой своего времени или облачено в одежду по моде своего времени.

О том же

К тому же искусство испытывает и давление пространства. Чтобы любить искусство народа, надо знать жизнь этого народа. Полномочный посланник Англии сэр Рутерфорд Элькок, подвергшийся в храме Тодзэндзи нападению ронинов, нашу японскую музыку воспринимал просто как шум. В его книге «Три года в Японии» содержатся такие строки: «Подъмаясь по склону, мы услышали пенье камышовки, похожее на пенье соловья. Говорят, что японцы научили камышовку песням. Если это правда, то поистине удивительно. Ведь искони японцы сами не могли научиться музыке» (том 2, глава 29).

Талант

От таланта нас отделяет едва один шаг. Но чтобы понять, что это за шаг, надо постигнуть высшую математику, в которой половину ста ри составляют девяносто девять ри.

О том же

От таланта нас отделяет всего один шаг. Современники никогда не понимают, что это шаг длиной в тысячу ри. Потомки слепы и тоже этого не понимают. Современники из-за этого убивают талант. Потомки из-за этого курят перед талантом фимиами.

О том же

Трагедия таланта в том, что его наделяют «миленькой уютной славой».

Азартная игра

Закон запрещает азартные игры не из-за того; что осуждает такой способ распределения богатства. А из-за того, что осуждает экономический дилетантизм этого способа.

Терпение

Терпение — романтическая грусть.

Замысел

Делать — не всегда трудно. Трудно желать. По крайней мере, желать того, что стоит делать.

Японцы

Полагать, что мы, японцы, вот уже две тысячи лет верны монарху и почтительны к родителям, все равно что думать, будто Сарутахико-но Микото употреблял косметику. Не пересмотреть ли потихоньку подряд все исторические факты, как они есть?

Симптом

Один из симптомов любви — это мысль, что «она» в прошлом кого-то любила, желание узнать, кто он, тот, кого «она» любила, или что он был за человек, и чувство смутной ревности к этому воображаемому человеку.

О том же

Еще один симптом любви — это болезненное стремление находить лица, похожие на «нее».

Любовь и смерть

То, что любовь наводит на мысль о смерти, возможно, подтверждает эволюционную теорию. У пауков и пчел самки сразу же после оплодотворения жалят и убивают самца. Когда гастролирующая итальянская труппа ставила оперу «Кармен», в каждом действии и движении Кармен я остро чувствовал пчелу.

Брак

Брак полезен для успокоения чувственности. Для успокоения любви он бесполезен.

Занятость

Нас спасает от любви не столько рассудок, сколько занятость. Любовь... Для идеальной любви прежде всего нужно время. Вспомните любовников прошлого — Вертера, Ромео, Тристана: все они были люди праздные.

Мужчина

Мужчина искони больше любви ценит работу. Если кто-либо усомнится в этом факте, пусть почитает письма Бальзака. Бальзак писал графине Ганской: «Если б это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы!»

Свобода

Либерализм, свободная любовь, свобода торговли — к сожалению, в чашу каждой «свободы» подлито много воды. Причем большей частью воды из лужи.

О том же

Свободы всякий хочет. Но так кажется со стороны. На самом же деле в глубине души свободы никто ни-сколько не хочет. Вот доказательство: негодяй, который без колебаний готов лишить жизни любого, даже он го-ворит, будто убил такого-то ради безопасности и процве-тания государства. Однако свобода означает, что наши действия не связаны ничем, то есть ниже нашего досто-инства нести общую ответственность за что-либо, идет ли речь о боге, морали или общественных обычаях.

О том же

Свобода — как воздух горных вершин — для слабых людей непереносима.

Литературное произведение

Слова литературного произведения должны обладать красотой, которой они лишены в словаре.

Лицо женщины

Когда женщина охвачена страстью, лицом она почему-то делается похожа на девочку. Правда, эта страсть мо-жет быть обращена и на зонтик.

Житейская мудрость

Тушить не так легко, как поджигать. Сторонником такой житейской мудрости является герой «*Bel ami*»¹. Каждый раз, заводя любовницу, он уже загодя обдумы-вал разрыв.

Младенец

Почему мы любим маленьких детей? Да хотя бы по-тому, что ребенок никогда не обманет, этого можно не опасаться.

¹ «Милый друг» (фр.).

О том же

Мы не стыдимся вашей холодности и глупости, когда имеем дело с ребенком, с собакой или с кошкой.

Писатель

Многоножка. Попробуй походить на ногах.
Бабочка. Ха, попробуй полетать на крыльях.

О том же

Возвышенность духа писателя помещается у него в затылке. Сам он видеть ее не может. Если же попытается увидеть во что бы то ни стало, то лишь сломает шею.

О том же

Все таланты с давних пор вешали шляпу на гвоздь в стене так высоко, что нам, простым смертным, не достать. Конечно, не потому, что нет подставки.

О том же

Ведь такие подставки валяются в лавке любого старьевщика.

О том же

Каждому писателю свойственно чувство чести столяра. Ничего позорного в этом нет. Каждому столяру свойственно чувство чести писателя.

О том же

Мало того, каждый писатель в известном смысле держит лавку. Я не продаю своих произведений? Это когда нет покупателей. Или когда можно не продавать.

О том же

Не без оснований можно считать, что счастье актеров и певцов в том, что произведения их искусства не сохраняются.

Защита

Защищать себя труднее, чем защищать других. Кто сомневается, пусть посмотрит на адвокатов.

Женщина

Здравый ум приказывает: «Не приближайся к женщинам».

Но здоровый инстинкт приказывает совсем обратное: «Не избегай женщин».

Природа

Причина нашей любви к природе — по крайней мере, одна из причин — это то, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди.

Судьба

Судьба неизбежнее, чем случайность. «Судьба заключена в характере», — эти слова родились отнюдь не зря.

Искусство

Самое трудное искусство — это всю жизнь оставаться свободным. Только словом «свободный» не надо бездумно щеголять.

Свободный мыслитель

Слабость свободного мыслителя состоит в том, что он лишь свободно мыслит. Сражаться же яростно, как фанатик, он не может.

Стриндберг

Он знал все. Но он не открывал беззастенчиво все, что знал. Беззастенчиво все... Нет, он, как и мы, был немного расчетлив.

О том же

Стриндберг в «Легендах» рассказывает, что он пробо-вал, мучительна ли смерть. Но такую пробу нельзя сделать играя. Он один из тех, кто «хотел умереть, но не мог».

Некий идеалист

Он сам несколько не сомневался в том, что он реалист. Однако, думая так, он в конечном счете был идеалистом.

Любовь

Любовь — это половое чувство, выраженное поэтически. По крайней мере, не выраженное поэтически половое чувство не заслуживает названия любви.

Самоубийство

Единственное общее для всех людей чувство — страх смерти. Не случайно нравственно самоубийство не одобряется.

Судьба

Наследственность, окружение, случайность — вот три вещи, управляющие нашей судьбой. Кто радуется, пусть радуется. Но судить других — самонадеянно.

Насмешники

Кто насмехается над другими, сам боится насмешек других.

Некий талант

Он был уверен, что может стать негодяем, но не идиотом. Но прошли годы, он не стал негодяем, а стал идиотом.

Гордость

Больше всего мы гордимся тем, чего у нас нет. Например, Т. владел немецким, но на столе у него всегда лежали только английские книги.

Идол

Никто не возражает против низвержения идолов. Вместе с тем никто не возражает и против того, чтобы его самого сделали идолом.

О том же

Но превратить кого бы то ни было в настоящего идола никто не может. Разве что судьба.

Наказание

Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Но поручатся ли боги, что ты останешься ненаказанным, это другой вопрос.

Я

Я был равнодушен к деньгам. Конечно, потому, что па еду их хватало.

Народ

И Шекспир, и Гете, и Ли Тайбо, и Тикамацу Мондзаэмон погибнут. Но искусство оставит семена в народе. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». В этом своем убеждении я и поныне ничуть не поколебался.

О том же

Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет. (Первый день первого года Сёва.)

О том же

Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева — частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне.

1923—1926

ИЗ ЗАМЕТОК «ТЁКОДО»

Генерал

В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты командирами, мы только трамплин для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и т. п. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых властям не под силу.

Кроме того, власти, не думая о будущем, запретили произведения, призывающие не хранить [верность императорской армии]. [Верность], как и любовь, не может зиждиться на лжи. Ложь — это вчерашняя правда, нечто вроде клановых кредиток, ныне не имеющих хождения. Власти, навязывая ложь, призывают хранить верность. Это все равно что, всучивая клановую кредитку, требовать взамен нее монету.

Как наивны власти.

Искусство выше всего

Вершина принципа «искусство выше всего» — творчество Флобера. По его собственным словам, «бог является во всем им созданном, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника к своему творчеству должно быть таким же». Вот почему в «Мадам Бовари» хоть и разворачивается микрокосм, но наших чувств он не затрагивает.

Принцип «искусство выше всего» — по крайней мере, в литературном творчестве, — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту.

Ничего не отбрасывать

Некто скверно одетый носил хорошую шляпу. Многие считали, что ему лучше обойтись без такой шляпы... Но дело в том, что, за исключением шляпы, он не носил ничего хорошего. И вид у него был обшарпанный.

У одного рассказы сентиментальны, у другого драмы интеллектуальны, это то же самое, что случай со шля-

пой. Если хороша только шляпа, то, вместо того чтобы обходиться без нее, лучше постараться надеть хорошие брюки, пиджак и пальто. Сентиментальным писателям следует не подавлять чувства, а стремиться вдохнуть жизнь в интеллект.

Это не только вопрос искусства, это вопрос самой жизни. Я не слыхал, чтобы монах, который только и делает, что подавляет в себе пять чувств, стал великим монахом. Великим монахом становится тот, кто, подавляя пять чувств, загорается другой страстью. Ведь даже Унсё, услышав об оскотлении монахов, вразумляет учеников: «Мужское начало должно полностью выявляться».

Все, что в нас имеется, надо развивать до предела. Это единственный данный нам путь к тому, чтоб достигнуть совершенства и стать буддью.

Исторические рассказы

Поскольку рассказ исторический, то и обычаи и чувства людей изображаемой эпохи обычно более или менее правдивы. Но хорошо бы иметь произведения, где главной темой была бы какая-нибудь одна особенность эпохи — например, моральная особенность. Так, в период Хэйан представления об отношениях мужчины и женщины сильно отличались от теперешних. Пусть бы писатель описал это объективно, так, будто сам был другом Идзуми Сикибу. Подобный исторический рассказ по контрасту с современностью, естественно, вызывал бы у нас множество мыслей. Такова Изабелла у Мериме. Таков пират у Франса.

Однако среди японских исторических рассказов ничего подобного пока нет. Японские рассказы — это, в общем, наброски, где в душе древнего человека светится нечто общечеловеческое, общее с людьми нынешнего времени. Но пойдет ли кто-нибудь из молодых талантов по новому пути?

Фанатики, ступающие по огню

Правота социализма не подлежит дискуссиям. Социализм — просто неизбежность. Тот, кто не чувствует, что эта неизбежность неизбежна, как, например, фанатики, ступающие по огню, — вызывает во мне чувство изумления. «Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями» как раз хороший тому пример.

Признание

Вы часто поощряете меня: «Пиши больше о своей жизни, не бойся откровенничать!» Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы толкаете меня на другое: «Делай самого себя героем рассказа, пиши без стеснения о том, что приключилось с тобой самим». Вдобавок вы говорите: «И в конце рассказа приведи в таблице рядом с вымышленными и подлинными именами всех действующих лиц рассказа». Нет уж, увольте!

Во-первых, мне неприятно показывать вам, любопытствующим, всю обстановку моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой таких признаний приобретать лишние деньги и имя. Например, если бы я, как Исса, написал «Кого-кироку» и это было бы помещено в новогоднем номере «Тюо-корон» или другого журнала — все читатели заинтересовались бы. Критики хвалили бы, заявляя, что наступил поворот, а приятели — за то, что я оголился... при одной мысли я покрываюсь холодным потом.

Чаплин

Всех социалистов, не говоря уже о большевиках, некоторые считают опасными. Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды. Но если говорить о социалистах, то Чарли Чаплин тоже социалист. И если преследовать социалистов, то надо преследовать и Чаплина. Вообразите, что Чаплин убит жандармом. Вообразите, как он идет вразвалочку и его закалывают. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не сможет удержать справедливого негодования. Но попробуйте перенести это негодование в действительность, и вы сами, наверное, попадете в черный список.

Суета сует

И я, как большинство литературных работников, завален работой. И занятия не идут, как хочется. Книги, которые я решил прочесть еще два-три года назад, лежат непрочитанными. Я думал, что такие неприятные обстоятельства бывают только у нас, в Японии. Но недавно я

прочел о Реми де Гурмоне. Он даже в преклонные годы ежедневно писал статью для газеты «Ля Франс» и раз в две недели интервью для журнала «Меркюр де Франс». Значит, и писатель, родившийся во Франции, где ценят искусство, почти лишен спокойного досуга. То, что я, уроженец Японии, выражаю недовольство, может быть, и несправедливо.

Капитан

По дороге в Шанхай я разговорился с капитаном «Тикуго-мару». Разговор шел о произволе партии Сэйюкай, о «справедливости» Ллойд Джорджа и т. п. Во время беседы капитан, взглянув на мою визитную карточку, в восхищении склонил голову набок.

— Вы господин Акутагава — удивительно! Вы из газеты «Осака майнити»? Ваша специальность — политическая экономия?

Я ответил неопределенно.

Немного спустя мы говорили о большевизме, и я процитировал статью, помещенную в только что вышедшем номере «Тюо-корон». К сожалению, капитан не принадлежал к читателям этого журнала.

— Право, «Тюо-корон» не так уж плох, — недовольным тоном добавил капитан, — но слишком много помещает беллетристики, мне и расхотелось его покупать. Нельзя ли с этим покончить?

Я принял по возможности безразличный вид.

— Конечно. К чему она — беллетристика? Я и то думаю — лучше б ее не было...

С тех пор я проникся к капитанам особым доверием.

Кошка

Вот толкование слова «кошка» в словаре «Гэнгай».

Кошка... небольшое домашнее животное. Хорошо известна. Ласкова, легко приручается; держат ее, потому что хорошо ловит мышей. Однако обладает склонностью к воровству. С виду похожа на тигра, но длиной менее двух сажу.

В самом деле, кошка может украсть рыбу, оставленную на столе. Но если назвать это «склонностью к воровству», ничто не мешает сказать, что у собак склонность к разврату, у ласточек — к вторжению в жилища,

у змей — к угрозам, у бабочек — к бродяжничеству, у акул — к убийству. По-моему, автор словаря «Гэнкай» Оцуки Фумихико — старый ученый, имеющий склонность к клевете, по крайней мере, на птиц, рыб и зверей.

Будущая жизнь

Я не жду, что получу признание в будущие времена. Суждение публики постоянно бьет мимо цели.

О публике нашего времени и говорить нечего. История показала нам, насколько афиняне времен Перикла и флорентинцы времен Возрождения были далеки от идеала публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то легко предположить, каким будет суждение публики завтрашнего дня. Как ни жаль, но я не могу не сомневаться в том, сумеет ли она и через сотни лет отделить золото от песка.

Допустим, что существование идеальной публики возможно, но возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это всего лишь сегодняшние глаза, отнюдь не мои завтрашние. И мои глаза — это глаза японца, а никак не глаза европейца. Почему же я должен верить в существование красоты, стоящей вне времени и места? Правда, пламя дантовского ада и теперь еще приводит в содрогание детей Востока. Но ведь между этим пламенем и нами, как туман, стелется Италия четырнадцатого века — разве не так?

Тем более я, простой литератор. Пусть и существует всеобщая красота, но прятать свои произведения на горе я не стану. Ясно, что я не жду признания в будущие времена. Иногда я представляю себе, как через пятнадцать, двадцать, а тем более через сто лет даже о моем существовании уже никто не будет знать. В это время собрание моих сочинений, погребенное в пыли, в углу на полке у букиниста на Канде, будет тщетно ждать читателя. А может быть, где-нибудь в библиотеке какой-нибудь отдельный томик станет пищей безжалостных книжных червей и будет лежать растрепанным и обгрызенным так, что и букв не разобрать. И однако...

Я думаю — и однако...

Однако, может быть, кто-нибудь случайно заметит мои сочинения и прочтет какой-нибудь короткий рассказец или несколько строчек из него? И может быть, если уж

говорить о сладкой надежде, может быть, этот рассказ или эти строчки навеют, пусть хоть ненадолго, неведомому мне будущему читателю прекрасный сон?

Я не жду признания в будущие времена. Поэтому понимаю, насколько такие мечты противоречат моему убеждению.

И все-таки я представляю себе — представляю себе читателя, который в далекое время, через сотни лет, возьмет в руки собрание моих сочинений. И как в душе этого читателя туманно, словно мираж, предстанет мой образ...

Я понимаю, что умные люди будут смеяться над моей глупостью. Но смеяться я и сам умею, в этом я не уступлю никому. Однако, смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за собственную душевную слабость, цепляющуюся за эту глупость. Не могу не жалеть вместе с собой и всех других душевно слабых людей...

ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ

1

Голос. Ты оказался совсем другим человеком, чем я думал.

Я. Я за это не в ответе.

Голос. Однако ты сам ввел меня в заблуждение.

Я. Я никогда этого не делал.

Голос. Однако ты любил прекрасное — или делал вид, что любишь.

Я. Я люблю прекрасное.

Голос. Что же ты любишь? Прекрасное? Или одну женщину?

Я. И то и другое.

Голос (*с холодным смехом*). Похоже, что ты не считаешь это противоречием.

Я. А кто же считает? Тот, кто любит женщину, может не любить старинного фарфора. Но это просто потому, что он не понимает прелести старинного фарфора.

Голос. Эстет должен выбрать что-нибудь одно.

Я. К сожалению, я не столько эстет, сколько человек, от природы жадный. Но в будущем я, может быть, выберу старинный фарфор, а не женщину.

Голос. Значит, ты непоследователен.

Я. Если это непоследовательность, то в таком случае больной инфлюэнцей, который делает холодные обтирания, вероятно, самый последовательный человек.

Голос. Перестань притворяться, будто ты силен. Внутренне ты слаб. Но, естественно, ты говоришь такие вещи только для того, чтобы отвести от себя нападки, которым ты подвергаешься со стороны общества.

Я. Разумеется, я и это имею в виду. Подумай прежде всего вот о чем: если я не отведу нападки, то в конце концов буду раздавлен.

Голос. Какой же ты бесстыжий малый!

Я. Я ничуть не бесстыден. Мое сердце даже от ничтожной мелочи холодеет, словно прикоснулось ко льду.

Голос. Ты считаешь себя человеком, полным сил?

Я. Разумеется, я один из тех, кто полон сил. Но не самый сильный. Будь я самым сильным, вероятно, спокойно превратился бы в истукана, как человек по имени Гете.

Голос. Любовь Гете была чиста.

Я. Это — ложь. Ложь историков литературы. Гете в возрасте тридцати пяти лет внезапно бежал в Италию. Да. Это было не что иное, как бегство. Эту тайну, за исключением самого Гете, знала только мадам Штейн.

Голос. То, что ты говоришь, — самозащита. Нет ничего легче самозащиты.

Я. Самозащита — нелегкая вещь. Если б она была легкой, не появилась бы профессия адвоката.

Голос. Лукавый болтун! Больше никто не захочет иметь с тобой дело.

Я. У меня есть деревья и вода, волнующие мое сердце. И есть более трехсот книг, японских и китайских, восточных и западных.

Голос. Но ты навеки потеряешь своих читателей.

Я. У меня появятся читатели в будущем.

Голос. А будущие читатели дадут тебе хлеба?

Я. И нынешние не дают его вдоволь. Мой высший гонимый — десять иен за страницу.

Голос. Но ты, кажется, имел состояние?..

Я. Все мое состояние — участок в Хондзэ размером в лоб кошки. Мой месячный доход в лучшие времена не превышал трехсот иен.

Голос. Но у тебя есть дом. И хрестоматия новой литературы...

Я. Крыша этого дома меня давит. Доход от продажи хрестоматии я могу отдать тебе, потому что получил четыреста — пятьсот иен.

Голос. Но ты составитель этой хрестоматии. Этого одного ты должен стыдиться.

Я. Чего же мне стыдиться?

Голос. Ты вступил в ряды деятелей просвещения.

Я. Ложь. Это деятели просвещения вступили в наши ряды. Я принялся за их работу.

Голос. Ты все же ученик Нацумэ-сэнсэя!

Я. Конечно, я ученик Нацумэ-сэнсэя. Ты, может быть, знаешь того Сосэки-сэнсэя, который занимался литературой. Но ты, вероятно, не знаешь другого Нацумэ-сэнсэя, гениального, похожего на безумца.

Голос. У тебя нет идей. А если изредка они и бывают, то всегда противоречивы.

Я. Это доказательство того, что я иду вперед. Только идиот до конца уверен, что солнце меньше кадушки.

Голос. Твое высокомерие убьет тебя.

Я. Иногда я думаю так: может быть, я не из тех, кто умирает в своей постели.

Голос. Похоже, что ты не боишься смерти? А?

Я. Я боюсь смерти. Но умирать не трудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после двадцати секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство. Я всегда готов без колебаний умереть, когда встречаюсь не столько со смертью, сколько с чем-либо неприятным.

Голос. Почему же ты не умираешь? Разве в глазах любого ты не преступник с точки зрения закона?

Я. С этим я согласен. Как Верлен, как Вагнер или как великий Стриндберг.

Голос. Но ты ничего не делаешь во искупление.

Я. Делаю. Нет большего искупления, чем страдание.

Голос. Ты неисправимый негодяй.

Я. Я скорее добродетельный человек. Будь я негодяем, я бы так не страдал. Больше того, пользуясь любовью женщин, я вымогал бы у них деньги.

Голос. Тогда ты, пожалуй, идиот.

Я. Да. Пожалуй, я идиот. «Исповедь глупца» написал идиот, по духу мне близкий.

Голос. Вдобавок ты не знаешь жизни.

Я. Если бы знание жизни было самым главным, деловые люди стояли бы выше всех.

Голос. Ты презирал любовь. Однако теперь я вижу, что с начала и до конца ты ставил любовь выше всего.

Я. Нет, я и теперь отнюдь не ставлю любовь выше всего. Я поэт. Художник.

Голос. Но разве ты не бросил отца и мать, жену и детей ради любви?

Я. Лжешь. Я бросил отца и мать, жену и детей только ради самого себя.

Голос. Значит, ты эгоист.

Я. К сожалению, я не эгоист. Но хотел бы стать эгоистом.

Голос. К несчастью, ты заражен современным культом «эго».

Я. В этом-то я и есть современный человек.

Голос. Современного человека не сравнить с древним.

Я. Древние люди тоже в свое время были современными.

Голос. Ты не жалеешь своей жены и своих детей?

Я. Разве найдется кто-нибудь, кто бы их не жалел? Почитай письма Гогена.

Голос. Ты готов оправдывать все, что ты делал.

Я. Если бы я все оправдывал, я не стал бы с тобой разговаривать.

Голос. Значит, ты не будешь себя оправдывать?

Я. Я просто примиряюсь с судьбой.

Голос. А как же с твоей ответственностью?

Я. Одна четверть — наследственность, другая четверть — окружение, третья четверть — случайности, на моей ответственности только одна четверть.

Голос. Какой же ты мелкий человек!

Я. Все такие же мелкие, как я.

Голос. Значит, ты сатанист.

Я. К сожалению, я не сатанист. Особенно к сатанистам зоны безопасности я всегда чувствовал презрение.

Голос (*некоторое время безмолвен*). Во всяком случае, ты страдаешь. Признай хоть это.

Я. Не переоценивай! Может быть, я горжусь тем, что страдаю. Мало того, «бояться утратить полученное» — такое с сильными не случается.

Голос. Может быть, ты честен. Но, может быть, ты просто шут.

Я. Я тоже думаю — кто я?

Голос. Ты всегда был уверен, что ты реалист,

Я. Настолько я был идеалистом.

Голос. Ты, пожалуй, погибнешь.

Я. Но то, что меня создало, — создаст второго меня.

Голос. Ну и страдай сколько хочешь. Я с тобой расстаюсь.

Я. Подожди. Сначала скажи мне: ты, непрестанно меня вопрошавший, ты, невидимый для меня, — кто ты?

Голос. Я? Я ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.

2

Голос. У тебя замечательное мужество.

Я. Нет, я лишен мужества. Если бы у меня было мужество, я не прыгнул бы сам в пасть ко льву, а ждал бы, пока он меня сожрет.

Голос. Но в том, что ты сделал, есть нечто человеческое.

Я. Нечто человеческое — это в то же время нечто животное.

Голос. Ты не сделал ничего дурного. Ты страдаешь только из-за нынешнего общественного строя.

Я. Даже если бы общественный строй изменился, все равно мои действия непременно сделали бы кого-либо несчастным.

Голос. Но ты не покончил с собой. Как-никак у тебя есть силы.

Я. Я не раз хотел покончить с собой. Например, желая, чтобы моя смерть выглядела естественной, я съедал по десятку мух в день. Проглотить муху, предварительно ее искрошив, — пустяк. Но жевать ее — противно.

Голос. Зато ты станешь великим.

Я. Я не гонюся за величию. Чего я хочу — это только мира. Почитай письма Вагнера. Он пишет, что, если бы у него было достаточно денег на жизнь с любимой женщиной и двумя-тремя детьми, он был бы вполне доволен, и не создавая великое искусство. Таков даже Вагнер. Даже такой яркий индивидуалист, как Вагнер.

Голос. Во всяком случае, ты страдаешь. Ты — человек, не лишенный совести.

Я. У меня нет совести. У меня есть только нервы.

Голос. Твоя семейная жизнь была несчастлива.

Я. Но моя жена всегда была мне верна.

Голос. В твоей трагедии больше разума, чем у иных людей.

Я. Лжешь! В моей комедии меньше знания жизни, чем у иных людей.

Голос. Но ты честен. Прежде чем что-то открылось, ты во всем признался мужу женщины, которую ты любишь.

Я. И это ложь. Я не признавался до тех пор, пока у меня хватало на это сил.

Голос. Ты поэт. Художник. Тебе все позволено.

Я. Я поэт. Художник. Но я и член общества. Не удивительно, что я несу свой крест. И все же он еще слишком легок.

Голос. Ты забываешь свое «я». Цени свою индивидуальность и презирай низкий народ.

Я. Я и без твоих слов ценю свою индивидуальность. Но народа я не презираю. Когда-то я сказал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр.

Голос. То, что ты написал, оригинально.

Я. Нет, отнюдь не оригинально. Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времен, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал.

Голос. Однако ты и учишь.

Я. Я учил только невозможному. Будь это возможно, я сам сделал бы это раньше, чем стал учить других.

Голос. Не сомневайся в том, что ты сверхчеловек.

Я. Нет, я не сверхчеловек. Мы все не сверхчеловеки. Сверхчеловек только Заратустра. Но какой смертью погиб Заратустра, этого сам Ницше не знает.

Голос. Даже ты боишься общества?

Я. А кто не боялся общества?

Голос. Посмотри на Уайльда, который провел три года в тюрьме. Уайльд говорил: «Покончить с собой — значит быть побежденным обществом».

Я. Уайльд, находясь в тюрьме, не раз замыслил самоубийство. И не покончил он с собой только потому, что у него не было способа это сделать.

Голос. Растопчи добро и зло.

Я. А я теперь больше всего хочу стать добродетельным.

Голос. Ты слишком прост.

Я. Нет, я слишком сложен.

Голос. Но можешь быть спокоен. У тебя всегда будут читатели.

Я. Только после того, как перестанет действовать авторское право.

Голос. Ты страдаешь из-за любви.

Я. Из-за любви? Поменьше любезностей, годных для литературных юнцов. Я просто споткнулся о любовь.

Голос. О любовь всякий может споткнуться.

Я. Это только значит, что всякий легко может соблазниться деньгами.

Голос. Ты распят на кресте жизни.

Я. Этим не приходится гордиться. Убийца своей любовницы и похититель чужих денег тоже распяты на кресте жизни.

Голос. Жизнь не настолько мрачна.

Я. Известно, что жизнь темна для всех, кроме «избранного меньшинства». А «избранное меньшинство» — это другое название для идиотов и негодяев.

Голос. Так страдай сколько хочешь. Ты знаешь меня? Меня, который пришел нарочно, чтобы утешить тебя?

Я. Ты пес. Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту под видом пса.

3

Голос. Что ты делаешь?

Я. Я только пишу.

Голос. Почему ты пишешь?

Я. Только потому, что не могу не писать.

Голос. Так пиши. Пиши до самой смерти.

Я. Разумеется — да мне ничего иного и не остается.

Голос. Ты, сверх ожидания, спокоен.

Я. Нет, я ничуть не спокоен. Если б ты был из тех, кто меня знает, то знал бы и мои страдания.

Голос. Куда пропала твоя улыбка?

Я. Вернулась на небеса к богам. Для того, чтобы дарить жизни улыбку, нужен, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых — деньги, в-третьих, более крепкие нервы, чем у меня.

Голос. Но у тебя, кажется, стало легко на сердце.

Я. Да, у меня стало легко на сердце. Но зато мне пришлось возложить на голые плечи бремя, целой жизни.

Голос. Тебе не остается ничего иного, как на свой лад жить. Или же на свой лад...

Я. Да. Не остается ничего, как на мой лад умереть.

Голос. Ты станешь новым человеком, отличным от того, каким был.

Я. Я всегда остаюсь самим собой. Только кожу меняю. Как змея...

Голос. Ты все знаешь.

Я. Нет, я не все знаю. То, что я сознаю, — это только часть моего духа. Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. На свету чудовища не живут. Но в бескрайней тьме еще что-то спит.

Голос. И ты тоже мое дитя.

Я. Кто ты — ты, который меня поцеловал? Да, я тебя знаю.

Голос. Кто же я, по-твоему?

Я. Ты тот, кто лишил меня мира. Тот, кто разрушил мое эпикурейство. Мое? Нет, не только мое. Тот, из-за кого мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец Древнего Китая. Твои жертвы — повсюду. И в истории литературы, и в газетных статьях.

Голос. Как же ты меня назовешь?

Я. Я... как тебя назвать, не знаю. Но если воспользоваться словами других, то ты — сила, превосходящая нас. Ты — владеющий нами демон.

Голос. Поздравь себя самого. Я ни к кому не прихожу для разговоров.

Я. Нет, я больше, чем кто-либо другой, буду остерегаться твоего прихода. Там, где ты появляешься, мира нет. Но ты, как лучи рентгена, проникаешь через все.

Голос. Так будь впредь настоroje.

Я. Разумеется, впредь я буду настоroje. Но вот когда у меня в руке перо...

Голос. Когда у тебя в руке будет перо, ты скажешь: приходи!

Я. Кто скажет — приходи! Я один из мелких писателей. И хочу быть одним из мелких писателей. Иначе мира не обрести. Но когда в руке у меня будет перо, я, может быть, попаду к тебе в плен.

Голос. Так будь всегда внимателен. Может быть, я воплощу в жизнь, одно за другим, все твои слова. Ну, до свидания. Я ведь приду еще когда-нибудь опять.

Голос (*один*). Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рю-

носкэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь.

Декабрь 1926 г. (Опубликовано посмертно.)

СОН

Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. А в тех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что «цветные сны — свидетельство нездоровья». Сны же, которые я видел, — может быть, этому способствовала профессия художника, — как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом — железнодорожный переезд с ивой, пустившей молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки.

Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм...

Этот сон тоже был явно цветным.

Мой дом находился в одном из предместий Токио, в нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гиндза или Асакуса. «Клин клином вышибают», — так думал я иногда, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой.

Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем утратил бодрость, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что, даже путешествуя, все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года три-четыре назад на меня напала тос-

ка, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекий Нагасаки. Приехал я в Нагасаки, но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио...

Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было и еще что-то, отчего вспыхнуло желание работать. Я решил тут же, не заходя домой, пойти к М. и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда прибодряло меня, даже когда одолевала тоска. «Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать», — подобная мысль у меня действительно была.

Лицо натурщицы, присланной из дома М., красотой не отличалось, зато тело, а главное грудь — были, несомненно, прекрасны. И волосы, уложенные в пучок, — несомненно, пушисты. Я остался доволен и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, обращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что обгорели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее рефлекторно вздрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя, — ведь я даже не смог купить настоящую печку. И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью.

— Где твой дом?

— Мой дом? Мой дом на улице Сансаки в Янаке.

— Ты живешь одна?

— Нет, мы снимаем жилье вдвоем с подругой.

Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть, отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами слова женщины казались монотонными. Это навело меня даже на мысль, что такова

эта женщина от рождения. Я почувствовал облегчение и с тех пор оставлял ее позировать сверх установленного времени. Но в какой-то момент фигура женщины, у которой глаза и те были неподвижными, начинала действовать на меня угнетающе.

Картина моя подвигалась плохо. Закончив работу, намеренную на день, я обычно валился на розовый ковер, массировал шею и голову и рассеянно оглядывал комнату. Кроме мольберта, в ней стоял лишь плетеный, из тростника, стул. Иногда стул, возможно, из-за перемены влажности воздуха, слегка поскрипывал, даже если на нем никто не сидел. В такие минуты мне делалось жутко, и я тут же отправлялся куда-нибудь погулять. Хотя я и говорю, «отправлялся погулять», это означало лишь, что я выходил на деревенскую улицу, параллельную дамбе позади моего дома, где было множество храмов.

И все же ежедневно, не зная отдыха, я обращался к мольберту. Натурщица тоже приходила ежедневно. Через некоторое время тело женщины стало действовать на меня еще более угнетающе, чем прежде. Я просто завидовал ее здоровью. Глядя без всякого выражения в угол комнаты, она неизменно лежала на розовом ковре.

«Эта женщина похожа скорее на животное, чем на человека», — думал я иногда, водя кистью на холсту.

Однажды теплым ветренным днем я, сидя у мольберта, старательно работал кистью. Натурщица была, кажется, мрачнее обычного. Мне вдруг почудилась в теле этой женщины дикая сила. Больше того, почудился какой-то особый запах, исходящий у нее из-под мышек. Он напоминал запах кожи негра.

— Где ты родилась?

— В префектуре Гумма, в городе **.

— В городе **? Там ведь у вас много ткацких фабрик.

— Да.

— А ты ткачихой не была?

— Была в детстве.

Во время этого разговора я вдруг заметил, что у женщины набухли соски. Они напоминали теперь два ростка капусты. Я, разумеется, как обычно, продолжал работать кистью. Но меня странно тянуло к грудям женщины, к их отталкивающей прелести.

В ту ночь ветер не прекращался. Я внезапно проснулся и пошел в уборную. Хотя сёдзи были отодвинуты, я обнаружил себя шагающим по комнате. Невольно я оста-

новился и стал осматривать комнату, особенно розовый ковер под ногами. Потом погладил его босой ногой. Неожиданное ощущение, будто трогаешь мех. «Какого, интересно, цвета ковер с изнанки?» Это тоже почему-то меня беспокоило. Но посмотреть я как-то не решался. Возвратившись из уборной, я быстро нырнул в постель.

На следующий день, закончив работу, я почувствовал, что расстроился больше чем обычно. И пребывание в комнате меня ничуть не успокаивало. Поэтому я решил пойти на дамбу за домом. Уже темнело. Но, как ни странно, деревья и электрические столбы все еще ясно вырисовывались на фоне неба. Идя по дамбе, я все время испытывал искушение громко крикнуть. Но, естественно, надо было подавить это искушение. Мне почудилось, что я двигаюсь лишь мысленно, и я спустился на одну из деревенских улиц, идущих параллельно дамбе.

На этой улице по-прежнему было пустынно. Только к одному из электрических столбов была привязана корова. Вытянув шею, корова по-женски смотрела на меня затуманившимися глазами. В глазах этой коровы я увидел подспудное желание напасть на меня. «Когда ее поведут на бойню, у нее будет точно такой же взгляд». Это чувство вселило в меня тревогу. Постепенно мной овладела тоска, и я, чтобы не пройти мимо коровы, свернул в переулок.

Дня через два или три я стоял у мольберта и работал. Натурщица, лежавшая на розовом ковре, даже бровью не шевелила. Прошло полмесяца, а работа ничуть не двигалась. Ни я, ни натурщица не открывали друг другу того, что было у нас на сердце. Скорее наоборот, я все острее ощущал страх перед этой женщиной. Даже во время перерывов она ни разу не надела сорочки. К тому же на все мои вопросы отвечала нехотя. Но сегодня, продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной (я заметил, что на правом плече у нее родинка), она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной:

— Сэнсэй, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, правда?

— Угу...

— Это могила последа?

— Могила последа?

— Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен послед.

— Почему ты так решила?

— Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано. — Женщина через плечо посмотрела на меня, выражение лица у нее было почти насмешливое. — Все рождаются с последом. Верно ведь?

— Глупости какие-то говоришь.

— А если рождаются с последом...

— ?..

— То это все равно что щенок, а?

Работа не двигается. Не двигается?.. Но это не значит, что у меня пропало желание. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но выразить это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание выразить это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать такого выражения, используя холст, кисти, — в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать — тут, работая кистью, я вспоминал выставляемые иногда в музеях каменные палки и каменные мечи.

Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время повторяю про себя фразу: «Так и должно быть!» Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова. Но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное.

Проснулся я уже около десяти часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину (причем сам прекрасно понимал, что это сон). Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухала, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь, с едва заметными прожилками. Я не чувствовал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина наконец совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла... Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил две чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение,

я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась, ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты — даже такой пустяк был невыносим для моих нервов.

Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицу, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем двенадцать — тринадцать лет назад. Я, в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на террасе деревенского дома, где жили мать с отцом. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край террасы. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигаю лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста... Дыма сигаретой, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько беспокоили меня, сколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну, а если не во сне?..

Натурщица не пришла и на следующий день. И я решил наконец пойти в дом М. узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янаке. Но, судя по словам хозяйки М., — на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасикату, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубашках старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся о нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них:

— ** -сан дома?

— ** -сан с позавчерашнего дня не возвращалась.

Эти слова обеспокоили меня. Но я собирался спросить у него еще кое-что. И в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать их подозрений, если что-то случилось.

— Да что там, она иногда уйдет из дому в целую неделю не возвращается.

Это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое презрению и, сам начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне. И прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым лицом, и уют, сверкающий огнем, — нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев (а может быть, лет) назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я так же шел один по той же тихой улице. Потом... потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне...

1927

ГЛЯДЯ НА ПАРОВОЗ

Наши дети часто подражают паровозу. Разумеется, не стоящему на месте. Они двигают руками, пыхтят, подражая мчащемуся вперед паровозу. И это делают не только мои дети. Почему же они подражают паровозу? Наверно, потому, что в нем они ощущают мощь. Или потому, что хотят, чтобы и у них была такая же бурная жизнь, как у паровоза. Подобное желание испытывают не только дети. И взрослые тоже.

Только паровоз взрослых — не паровоз в буквальном смысле этого слова. Правда, по тому, как он стремительно мчится вперед и сколь четко очерчена его колея, он подобен паровозу. Колея — это либо деньги, либо слава, либо, наконец, женщины. Мы, будь то дети или взрослые — безразлично, полны желания мчаться вперед к нашей свободе, но одно то, что мы желаем этого, означает потерю свободы. Это не парадокс. Это парадоксальная жизненная реальность. Однако заключенные в нас бесчисленные предки, социальные условия определенной эпохи определенной страны в той или иной мере играют роль тормоза наших желаний. Но все равно эти желания обитают в нас еще со времен глубокой древности...

Я не мог не подумать об этом, когда, стоя на высокой насыпи, смотрел, вместе с детьми, как мимо мчатся паровозы. Перед насыпью, где я стоял, была еще одна насыпь, и на ней криво рос уже начавший засыхать каштан. А вот тот паровоз 32-71 — это Муссолини. Колея, по которой он мчится, сейчас ярко сверкает. Но если вспомнить, что любая колея в конце, где не ходят поезда, проржавела, то, возможно, и жизнь Муссолини закончится так же, как кончаются жизни таких же простых смертных, как мы. Более того...

Более того, мы полны желания мчаться вперед, не ограничивая себя ничем, и в то же время движемся по колее. Этого противоречия никогда не следует упускать из виду. Вот тут-то и зарождается то, что именуется нашей трагедией. Макбет — здесь сомнений нет, — но даже и такие персонажи, как Кохару и Дзихэй, в конце концов превратились в паровозы. Возможно, Кохару и Дзихэй не обладали столь могучим характером, как Макбет. Но во имя своей любви они очертя голову помчались вперед. (Принципы трагедии, как ее понимают на Западе, здесь, как ни прискорбно, неприменимы. Трагедии создаются людьми. А не эстетиками). Эта трагедия из-за неясности мотивов, которыми руководствуются герои (не исключено, что выяснение мотивов нежелательно и для непосредственных участников трагедии), в глазах непосвященных будет выглядеть так, словно они бесполезно мчатся вперед, бесполезно останавливаются или же терпят крушение. И тогда трагедия превращается в комедию. Таким образом, комедия — это трагедия, не вызвавшая сочувствия непосвященных.

В общем, мы, и взрослые и дети, все без исключения — паровозы. Я, например, ощущаю себя устаревшим паровозом 32-36 с высоченной трубой. Паровозом 32-36, установленным на поворотном круге.

Однако как тормозит движение этих паровозов общество определенной эпохи определенной страны и наши предки? Я все время ощущаю тормоз и в то же время не могу не ощущать работы машины, гудения пламени, бушующего в топке. Мы не просто сами по себе. Мы, как паровозы, заключаем в себе многовековую историю. Более того, состоим из бесчисленного количества поршней и зубчатых колес. А колея, по которой мы мчимся вперед, неведома нам так же, как и паровозу. Возможно, она проляжет через туннели и мосты. Колея запрещает

нам всякую свободу, любое, даже малейшее, отклонение в сторону. Пожалуй, факт этот страшен. Но хотим мы того или нет, он несомненно существует.

Каким бы решительным ни был машинист, это не даст свободы паровозу. Того или иного машиниста сажает на тот или иной паровоз прихотливая воля богов. Однако почти каждый паровоз, пока весь насквозь не проржавеет, не отказывается от стремления мчаться вперед. В этом и состоит внешняя величавость паровоза.

Каждый из нас — паровоз. Наша работа — не более чем дым и искры, которые мы выбрасываем в небо. Люди, идущие у железнодорожной насыпи, по дыму и искрам узнают, что мчится паровоз. Или что он только что промчался. Дым и искры, если речь идет об электровозе, можно заменить грохотом. Вот почему мне близки слова Флобера: «Человек — ничто, работа — все». Религиозный деятель, деятель искусств, общественный деятель — самые разные паровозы, каждый, следуя своей колеей, неизбежно стремительно движется куда-то вперед. Как можно быстрее — вот единственное, что их волнует.

Ощущать самого себя всякий раз, когда видишь паровоз, — такое присуще, разумеется, не мне одному. Сайто Рёку писал о вздохах паровоза, с трудом переваливающего через горы Хаконэ: «Ух ты, что за горы, ух ты, что за горы». А паровоз, спускающийся вниз с утеса Усуитогэ, полон радости. Он всегда бодро поет: «Как высоко Такасаки, как высоко Такасаки». Если первый — паровоз трагедии, то второй, возможно, паровоз комедии.

Июль 1927 г.

КОММЕНТАРИИ

Ворота Расёмон

Стр. 29. *Итимэгаса* — старинная женская соломенная шляпа. *Момизбоси* — старинный мужской головной убор.

Стр. 30. ...этого хэйанского слуги. — Хэйан — старинное название Киото периода японской истории с 794 по 1192 г.

Час Обезьяны — в соответствии со старинным счислением времени по знакам Зодиака — с 3 до 5 часов дня.

Стр. 32. *Хиноки* — дерево, имеющее кору светло-коричневого цвета.

Нос

Стр. 35. *Найдодзёгубу* — сан монаха, служившего в дворцовой часовне.

Будда Амида (санскр. Амитабха) — один из самых почитаемых в Японии будд.

Стр. 36. *Сутра «Каннон-кё»* — один из разделов «Сутры священного лотоса» («Садхармапундарика»), посвященной бодисатве Каннон.

Мандгалаяна, Шарипутра — ученики Будды.

Нагарджуна — основатель Махаяны, главного направления буддизма.

Асвагхоша — буддийский проповедник, автор «Жизни Будды».

Стр. 37. ...у шуханьского князя Лю Сюаньдэ... — Шухань — одна из трех частей Древнего Китая. Лю Сюаньдэ (160—213) — сын императора, военачальник.

Стр. 40. *Вишвабhadра* — бодисатва, изображаемый восседающим на слоне.

Стр. 41. *Гинкго* — цветущее дерево.

Ад одиночества

Стр. 41. *Токугава* — третья династия сёгунов, военно-феодалных правителей Японии (1603—1867).

Каватакэ Мокуами (1816—1893) — японский драматург, прославившийся своими фарсами (кёгэн).

Рюка Тэйтанэкадзу (1807—1858) — японский писатель.

Дзэндзай Анэйки (1822—1893) — знаменитый японский актер. Известен как составитель первого Собрания сочинений великого японского поэта Басё.

Тозэй — японский актер.

Дандзуро-девятый (1837—1903) — знаменитый актер театра Кабуки.

Удзи Сибун (1791—1858), *Мияко Сэнтю*, *Кэнкон Борюсай* — японские актеры.

Стр. 42. *Кинокуния Бундзаэмон* (1672—1734) — богатый торговец, послуживший прототипом героя пьесы «Эдодзакура киёмидзу сэйгэн», поставленной театром Кабуки в 1858 г.

Ёсивара — квартал веселых домов в Эдо (ныне Токио).

Дзэнский храм. — Дзэн — одна из широко распространенных в XII—XIII вв. сект японского буддизма.

Стр. 44. «*Под тем миром, где обитает все живое, на пятьсот ри простирается ад*» — фраза из «Кусярон» — канонов секты Куся, учение которой в VII в. проникло в Японию.

Четвертый год Ансэй — 1857 г.

Отец

Новелла носит автобиографический характер. Экскурсия, о которой рассказывает Акутагава, состоялась 26—28 октября 1909 г., когда он учился в последнем классе третьей токийской городской средней школы.

Стр. 46. *Чойс* («Choice reader») — распространенный в то время школьный учебник английского языка.

Стр. 47. *Карл Пятый* (1500—1558) — король Испании.

«*Панч*» — английский юмористический журнал, существующий и поныне.

Стр. 48. *Хикагэтё* — улица в Токио, где во времена Акутагавы размещались лавки старьевщиков.

Бататова каша

Стр. 49. ...*в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна*. — Годы Гэнкэй — 877—884, годы Нинна — 884—888.

Гои — низший придворный ранг.

Стр. 59. *Час Змеи* — с 9 до 11 часов утра.

Стр. 60. *Час Пса* — с 7 до 9 часов вечера.

Стр. 62. *Час Зайца* — с 5 до 7 часов утра.

Носовой платок

Стр. 66. *Фонарь-гифу* — бумажный фонарь, изготавливавшийся в префектуре Гифу.

Стр. 68. «*Марумагэ*» — прическа замужней женщины.

Табак и дьявол

Стр. 73. *Годы Кэйтё* — 1596—1615 гг.

Годы Тэммон — 1532—1555 гг.

Годы Бунроку — 1592—1596 гг.

Святой Франциск — Франциск Ксавье (1506—1552), первый проповедник христианства в Японии; причислен к лику святых.

Стр. 74. *Южные Варвары*. — В те годы Южными Варварами в Японии называли европейцев.

...*тут я ссылаюсь на рассказ Анатоля Франса*. — См. рассказ Франса «Резеда господина кюре».

Черный корабль. — Так называли в то время военные корабли европейцев, появлявшиеся у берегов Японии.

Стр. 75. *Парайсо* — рай (португ. *paraíso*).

Стр. 76. ...*вид у красноволосого*... — Красноволосыми в те годы называли европейцев.

Стр. 77. *Эсу Курисутто* — Иисус Христос (искаж. португ. *Jesu Cristo*).

Стр. 79. *Бирудзэн Мария* — Дева Мария (искаж. португ. *Virgem Maria*).

Стр. 80. *Храм Намбандзи* — католический храм; в дословном переводе «Храм Южных Варваров».

Касин Кодзи (ум. 1617) — прославленный в Японии мастер чайной церемонии.

Мацунага Дандзё (1510—1577) — японский военачальник.

Лефкадио Хёрн (1850—1904) — в течение пятнадцати лет жил в Японии. Написал ряд книг о Японии, главным образом очерков.

...*Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру*... — Христианство было запрещено в Японии в 1587 г. Тоётоми Хидэёси (1536—1598), Токугава Иэясу (1542—1616) — военные правители Японии.

После Мэйдзи. — Имеется в виду революция Мэйдзи 1867 г.

Mensura Zoili

Стр. 80. *Киносита Мокутаро* (1885—1945) — поэт и драматург.

Стр. 83. *Кумэ* — Кумэ Масао (1891—1952), писатель, друг Акутагавы.

Стр. 84. *Ст. Джон Эрвин* (1833—?) — ирландский писатель и драматург.

Счастье

Стр. 85. *Каннон-сама* — буддийское божество, в Японии — богиня милосердия.

Епископ Тоба (1053—1140) — прославился как художник.

Стр. 89. *...обменялись чарками...* — Обмен чарками — часть свадебной церемонии.

Барсук

В Японии существует поверье о барсуке-оборотне, способном превращаться в человека.

Стр. 92. *«Анналы Японии»* («Нихонги») — собрание исторических легенд и преданий. Записаны и составлены в VIII в.

Тридцать пятый год правления императрицы Суйко. — Императрица Суйко (554—628) правила тридцать шесть лет; следовательно, описываемое событие относится к 627 г.

Стр. 92. *«Записи о годах правления императора Суйнин»* содержится в шестом томе «Анналов Японии».

Магатама — выточенный в виде боба драгоценный камень, чаще всего яшма или изумруд.

Яхобикунни мётин — красавица, в которую с помощью магатамы превратился барсук.

Кёкутэй Бакин (1767—1848) — известный японский писатель, прославившийся своим 106-томным романом «Восемь псов». Восемь псов — восемь самураев, каждый из которых олицетворяет одну из конфуцианских добродетелей.

Стр. 93. *...со времен восточного похода императора Дзимму.* — Согласно японской мифологии, император Дзимму — основатель японской империи, потомок богини солнца Аматаэрасу; в 660 г. до н. э. предпринял поход с острова Кюсю в Центральную Японию с целью покорения коренного населения японских островов.

По европейскому летоисчислению 1288 г. со дня основания империи — 628 г. Годом основания империи считается 660 г., когда был предпринят поход императором Дзимму.

Стр. 94. *Дандзабуро из Садо* — персонаж сказок острова Садо.

Йитс У.-Б. (1865—1939) — ирландский поэт и драматург. «Кельтские сумерки» были переведены Акутагавой на японский язык и опубликованы в журнале «Синситё» в апреле 1914 г.

Безответная любовь

Стр. 95. ...ездил в И. — Имеется в виду: в Йокохаму.

Генерал Ноги (1849—1912) — командовал японскими войсками при взятии Порт-Артура во время русско-японской войны; в 1912 г. покончил с собой после смерти императора Мэйдзи, чем завоевал широкую популярность в националистически настроенных кругах Японии: его самоубийство рассматривалось как акт феодальной верности — смерть вслед за господином.

Стр. 96. В комментарии к «Восьми псам»... — См. коммент. к стр. 92.

Стр. 97. «*Миятодза*», «*Токивадза*» — второразрядные театры в Токио в районе парка Асакуса.

Стр. 99. «*Вожделенные деньги*» — многосерийный американский фильм режиссера Френсиса Форда.

«*Зигмар*» — французский фильм из жизни преступного мира; после непродолжительной демонстрации в Японии был запрещен как «портящий нравы молодежи».

Стр. 100. Во времена Акутагавы чтец-сопроводитель рассказывал о происходящем на экране, а также произносил реплики героев, поскольку немые фильмы, демонстрировавшиеся в Японии, не имели субтитров. Он же по окончании фильма давал свисток.

Одержимый творчеством ¹

Стр. 100. *Второй год Тэмпо* — 1831 г.

Сикитэй Самба (1776—1822) — японский писатель, автор ряда юмористических произведений (так называемых «коккэйбон»), в том числе «Общественной бани».

«*Бабий пучок*» — модная в начале XIX в. в среде горожан мужская прическа: волосы надо лбом и на темени выбривались, а нижние пряди стягивались на затылке в пучок, складываемый пополам. Концы волос в пучке оставлялись распущенными.

Утадзаймон — популярные в народе и распространенные в то время песенки.

«*Тёммагэ хонда*» — мужская прическа: волосы надо лбом и на темени выбривались, а на затылке связывались в пучок.

«*Ооитё*» — распространенная в то время в среде самураев мужская прическа: волосы на затылке стягивались в плотный пучок, который складывался вдвое и перевязывался шнурком. Кончики волос в пучке укладывались в форме листа дерева итё (гинкго), по виду напоминающего веер.

¹ К новелле «Одержимый творчеством» комментарии Т. Редько-Добровольской.

«*Ёсибэй якко*» — мужская прическа: волосы на темени завязывались плотным пучком, часть которого низко опускалась на затылок.

...прической, похожей не то на летящую пчелу, не то на стрекозу... — Имеется в виду традиционная прическа мальчика: оставленные по бокам пряди волос связывались на макушке, напоминая крылья летящей пчелы или стрекозы.

Стр. 102. «*Мэриясу*» — лирические песни, исполнявшиеся в театре Кабуки, как правило, без аккомпанемента. Были широко известны в народе. «*Ёсиконо*» — народная любовная песенка.

Фунамуси, *Кобунго*, *Соскэ* — персонажи романа «Восемь псов».

«*Ёмихон*» — один из жанров японской повествовательной прозы конца XVIII — первой половины XIX в.; соответствует жанру авантюрно-героического или рыцарского романа в европейской литературе.

Стр. 103. *Ло Гуаньчжун* — крупнейший китайский писатель XIV в., создатель героической эпопеи «Троецарствие».

Стр. 106. «*Речные заводи*» — роман китайского писателя Ши Найяня, созданный в XIV в. Бакин использовал материал этого произведения в «Восьми псах».

Санто Кёдэн (1761—1816) — известный японский писатель, автор многих комических повестей и авантюрно-героических романов, *Четверокижисе и Пятикнижисе* — книги конфуцианского канона.

Осомэ и *Хисамацу* — персонажи многочисленных драматических и беллетристических произведений первой половины XIX в., повествующих о любви и гибели дочери осакского купца Осомэ и приказчика Хисамацу. К этому сюжету обратился и Бакин в названном сочинении.

Стр. 107. *Дзиппанся Икку* (1765—1831) — известный японский писатель, создатель комических повестей и романов. Лучшим его произведением считается роман «На своих двоих по дороге Токайдо».

Сарюкэн Индзя (букв.: «Странник, домом которому служат соломенная накидка и соломенная шляпа») — один из литературных псевдонимов Бакина.

Стр. 109. *О-Хяку* — жена Бакина.

О-Мити — невестка Бакина.

Стр. 110. «*Цзинь, Пин, Мэй*» (полное название: «Новое изложение книги о Цзинь, Пин, Мэй») — произведение Бакина, написанное им в подражание одноименному китайскому роману XVI в.

Стр. 113. *Рютэй Танэхико* (1783—1842) — японский писатель, современник Бакина.

Тамэнага Сюнсуй (1789—1844) — японский прозаик, создатель любовных романов (так называемых «ниндзёбон»).

Стр. 115. *Провинция Сагами* — ныне префектура Канагава.

«*Записки о путешествиях по островам*» — один из авантюрно-героических романов Бакина, написанный в 1814—1826 гг.

Стр. 116. ...*где рассказывалось, как Линь Чун Барсоголовый...* — эпизод содержится в главе десятой романа «Речные заводы».

Стр. 117. «*Путь прежних правителей*». — Имеется в виду «путь» идеального правления мифических совершенномудрых государей Китая — Яо и Шуня.

«*Гэсаку*» (букв.: «Легкая развлекательная литература») — термин, по традиции применяемый ко всей повествовательной прозе конца XVIII — первой половины XIX в.

Ватанабэ Кадзан (1793—1841) — известный японский художник.

Стр. 118. *Ван Моцзе* (Ван Вэй; 669—759) — знаменитый китайский поэт и художник.

Стр. 120. *Сожжение книг и казнь просвещенных людей*. — Во времена китайской династии Цинь (221—206 гг. до н. э.) по приказу императора Ши Хуана (259—210 гг. до н. э.) было сожжено множество конфуцианских текстов, а также книг по медицине, ботанике и другим отраслям знаний и казнено несколько сотен ученых-конфуцианцев.

Стр. 122. «*Лунный серп*» (полное название: «Удивительные рассказы, или Лунный серп») — произведение Бакина в авантюрно-героическом жанре, представляющее собой жизнеописание знаменитого японского полководца XII в. Минамото Тамэтомо.

«*Сон о государстве Нанькэ*» — произведение Бакина, написанное в 1808 г.

Настольная ширмочка — ставилась на столе рядом с тушечницей, чтобы предохранить тушь от ветра и пыли.

Паутинка

По мнению японских литературоведов, сюжет этой новеллы восходит к басенке Грушеньки из романа Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 133. *Игольная гора* — по мифологическим представлениям гора в аду.

Река Сандзу — по мифологическим представлениям река, которую переходили грешники, до того как попасть в ад.

Муки ада

Стр. 137. *Святой Дайтоку* — один из пяти хранителей буддизма.

Ши Хуан-ди и Ян-ди — китайские императоры; первый правил в III в. до н. э.; второй — в VI в. н. э.

...дух самого садайдзина Тору... — Минамото Тору (822—895) — политический деятель, получивший один из высших придворных чинов — чин садайдзина.

Стр. 138. ...отдал «в сваи» своего любимого отрока. — В Японии в то время существовал обычай при начале крупных работ приносить человеческие жертвы.

Стр. 139. ...неся ветку сливы с письмом... — По этикету полагалось прикладывать к письму цветущую ветку (по сезону).

Стр. 141. *Киссётэн* — одна из богинь буддийского пантеона.

Фудо — буддийский святой, карающий грешников.

Стр. 142. *Каванари Кудара* (782—853) — японский художник, *Канаока* (Косэ-но Канаока) — японский художник конца IX в.

Стр. 143. *Мондзю* — буддийское божество.

Стр. 144. *Мандзи* — древний индийский символ счастья и добродетели.

Стр. 162. ...не понимает он закона пяти извечных отношений... — Имеются в виду пять принципов морали, которые должен соблюдать человек: человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность, правдивость.

Учитель Мори

Стр. 163. *Симадзаки Тосон* (1873—1943) — классик японской литературы.

Стр. 170. «*A Psalm of Life*» — стихотворение Лонгфелло.

Осикава Сюнро (1877—1914) — японский писатель.

Стр. 172. *Канда* — район в Токио, где расположено большинство книжных магазинов и букинистических лавок.

Просвещенный супруг

Стр. 177. *Хиросигэ Андо* (1797—1858) — крупный японский художник-пейзажист.

...где висели гравюры *укиёэ*, созданные *Тайсо Ёситоси*. — *Укиёэ* — жанр гравюры на дереве, получивший большое распространение в XVIII—XIX вв. *Тайсо Ёситоси* (1839—1892) — один из последних художников, писавших в этом жанре.

...*Кикугоро* и *Хансиро* в парике *стиля итёгаэси*... — *Кикугоро* (1845—1903) и *Хансиро* (1829—1882) — знаменитые актеры театра Кабуки. *Итёгаэси* — прическа девушек из простонародья.

...когда древняя столица *Эдо*... — *Эдо* — старое название Токио; была переименована в 1867 г.

Стр. 178. ...в клубе *Рокумэйкан*. — Клуб, членами которого состояли японские аристократы и высокопоставленные иностранные дипломаты; был построен в 1883 г. в районе Тиёда.

Стр. 180. *Мятеж Симпурэн* — мятеж, вспыхнувший 24 октября 1887 г. в префектуре Кумамото. Он был поднят феодалами, недоброжелательными реформами правительства; в течение двух дней был подавлен.

Оно Тэппэй — персонаж пьесы, в которой под его именем выведен главарь мятежа Симпурэн Ода Куротомо (1835—1876).

Стр. 182. *Кэйдзэ* — Сеул.

Нио — статуи «стражи врат», стоят у входа в буддийский храм.

Басё (1644—1694) — великий японский поэт; писал преимущественно трехстишия хокку.

...идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой». — Выражение взято из заглавия романа Токая Санси (1852—1922) «Удивительная встреча прекрасной девушки», вышедшего в 1885 г. и получившего большую популярность.

Стр. 183. ...заказал художнику *Годзэте Хобаю портрет жены*. — Такой художник не известен. Предполагается, что Акутагава имел в виду известного художника Годзэту Хогё (1827—1892).

Стр. 185. ...на пьесу «*Одэн-но Кавабуми*». — Акутагава имеет в виду пьесу Каватакэ Мокуами (1816—1893), сюжетом которой послужило преступление Такахаси Одэн, отравившей своего мужа; в 1879 г. была казнена.

Стр. 186. *Садандзи* — знаменитая династия актеров театра Кабуки.

Стр. 189. *Саньютэй Энгё*. — Акутагава имеет в виду знаменитого актера-рассказчика Саньютэя Энтё (1839—1900).

Стр. 191. *Хэ Щучжан* — посол Китая в Японии с 1876 по 1879 г. *Ся и Чжоу* — древние китайские государства.

Ведьма

Стр. 198. *Годы Тайсё* — 1912—1926 гг.

Погребок Ауэрбаха. — Имеется в виду погребок из «Фауста» Гете.

Стр. 199. *Симбаси, Миякобаси* — торговые улицы в Токио, между которыми находится Гиндза.

Тиёгами — бумага с цветными узорами.

Красный и синий трамвай — последние ночные трамваи в Токио.

Стр. 200. *Собор святого Николая* — православный собор в Токио, в районе Тиёда.

Кокугикан — спортивный зал в Токио.

Цуруя Намбоку (1755—1820) — японский драматург. Когда разыгрывали сцены, в которых участвовали привидения, использовались светильники, заправленные дешевым сакэ.

Стр. 201. *Тосазмон*. — Так в просторечии называют утопленника.

Стр. 210. *Касури* — хлопчатобумажная ткань в белый горошек.

Стр. 211. ...*высекал из огнива огонь и посыпал землю солью*. — В прежние времена в Японии существовал обычай, согласно которому, выходя из дому, высекали огонь и посыпали землю солью, чтобы отогнать нечистую силу.

...*не прошло и ста дней...* — Имеется в виду срок траура.

Стр. 212. *Тэнгу* — сказочное человекоподобное существо с крыльями и длинным носом.

Лисица — в японских сказках — оборотень.

Выдра с человеческим лицом — в японских сказках — оборотень, заманивающий людей в омут.

Янагидабаси — квартал чайных домиков в Токио.

Стр. 215. *Томобунэ* — лодка с навесом из циновок.

Стр. 217. *Ёсидо* — решетчатая камышовая дверь.

Стр. 218. ...*справиться о расположении своего дома...* — Гадатель по расположению дома в отношении сторон света определял, благосклонна ли будет судьба к его обитателям.

Стр. 221. *Сидзими* — бабочка-голубянка.

Чудеса магии

Стр. 236. ...*Ивасаки или Мицуи...* — крупнейшие представители финансово-промышленной олигархии Японии.

Как верил Бисэй

Сюжет заимствован Акутагавой из «Шицзы» Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.). Имя Бисэй стало нарицательным для человека, верного своему слову, но в то же время до глупости простодушного.

Ду Цзычунь

Стр. 240. ...*в столице Танского государства*. — Имеется в виду Китай периода Тан (618—907).

Стр. 242. *Сюаньцзун* (713—756) — китайский император.

Стр. 244. *Даос* — последователь даосизма, религиозно-философского учения, возникшего в Китае в первом тысячелетии до н. э. Его основателем считается Лао-цзы.

Стр. 246. *Сиванму* — в китайской мифологии женское божество, обладательница снадобья бессмертия.

Стр. 248. *Царь Яньло* — владыка ада, вершащий суд над грешниками.

Бал

Стр. 251. *Вечер 3 ноября 1886 г.* — Имеется в виду прием, устроенный министром иностранных дел Японии по случаю дня рождения императора, на котором присутствовали члены императорской фамилии, министры, послы иностранных государств.

Стр. 252. *...обсажена тремя рядами крупных хризантем...* — Хризантема — символ Японии.

Стр. 255. *Шестнадцатилепестковая хризантема* — герб Японии.

Стр. 257. *Жюльен Вио* (1850—1913) — настоящее имя известного французского писателя Пьера Лоти, посетившего Японию дважды, в 1886 и 1900 г. Наибольшую известность получили его роман из жизни Японии «Госпожа Хризантема» и книга очерков «Осенняя Япония».

Мадонна в черном

Стр. 259. *...годы Каэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урагу.* — Годы Каэй — 1848—1854. В 1853 г. американские корабли под командованием коммодора Перри подошли к берегам Японии и потребовали открытия страны.

Тень

Стр. 268. *...с волосами, расчесанными на прямой пробор...* — прическа незамужней женщины во времена Акутагавы,

О-Рицу и ее дети

Стр. 279. *Китахара Хакусю* (1885—1943) — известный японский поэт. Пользовался большой популярностью среди японской молодежи в 10—20 е гг.

Стр. 281. *...сложенный четверо листок бумаги, на котором была написана единица.* — Один из видов гадания, заключающийся в том, что на написанной человеком на листке единице гадатель определяет его судьбу.

Стр. 287. *«Мэйдзидза»* — существующий поныне театр, в котором ставились современные японские и европейские пьесы.

Иноуэ (1881—1950) — известный японский актер.

Стр. 288. *И с этими часами я расстанусь навсегда.* — Имеются в виду огромные часы на Гиндзе, которые во времена Акутагавы были одной из достопримечательностей столицы.

Стр. 295. *...сильный тохокусский акцент.* — Имеется в виду диалект, распространенный на северо-востоке Японии.

Стр. 299. *Тайсяку* — в буддийском пантеоне бог-хранитель буддизма.

Стр. 304. *Посвящая М...ко.* — Большинство женских имен в Японии оканчивается на «ко».

Странная встреча

Стр. 310. *Первая белая звезда* — одна из девяти звезд, по которым в сочетании с годом рождения предсказывается судьба.

Год Зайца — по японскому летосчислению 1856 г.

Стр. 311. *Фу-си, Вэнь-ван, Чжоу-гун и Кун-цзы* — четыре великих философа Древнего Китая.

Школа Кано — одно из главных направлений японской живописи XV—XVII вв.; основатель школы — Кано Масанобу (1434—1530).

Стр. 815. *«Забыты давно тысячи гор и холмов исхоженных».* — Начальная строфа стихотворения малоизвестного японского поэта Сайто Иттоку.

Стр. 316. *...эпизоды японо-китайской войны.* — Имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 гг.

«Свист хлыстов, тихая ночная переправа». — Строфа из стихотворения японского историка и поэта Рая Сангё (1780—1832).

Стр. 321. *Хотя к воротам и был прикреплен бамбук...* — На Новый год ворота домов в Японии украшают ветками сосны и бамбука, символизирующих здоровье и долголетие.

Стр. 324. *...в праздник «семи трав»...* — 7 января, празднуя Новый год, варят кашу, в которую добавляют семь весенних трав.

Стр. 329. *Бодисатва Якуси.* — Согласно буддийской мифологии, бодисатва — существо, добившееся просветления, но во имя спасения всех живущих на земле отказавшееся от вечного покоя — нирваны.

В чаще

Стр. 342. *В часы первой стражи* — в восемь часов вечера.

Стр. 343. *Биндзуру* — первый из шестнадцати учеников Будды.

Генерал

Стр. 359. *Акагаки Гэндзо* — один из сорока семи самураев, отомстивших за гибель господина и совершивших затем харакири.

Токури-но вакарэ — прощание за бутылочкой саке.

...князя *Мито* и *Като Киёмаса*. — Князь Мито (Токугава Мицуюки; 1628—1700) — правитель одного из кланов, прославляемый националистической пропагандой как просвещенный правитель. Като Киёмаса (1562—1611) — военачальник, служащий образцом верности господину.

Стр. 360. «*Послушай меня, Мадлен*» — из стихотворения «Мадлен» В. Гюго.

Седьмой год Тайсё — 1918 г.

Сад

Стр. 368. *Лет десять после революции...* — Имеется в виду революция Мэйдзи 1867 г.

Стр. 369. *Инкё* — глава семьи, юридически отречшийся от своих прав и передавший их старшему сыну.

Кугэ — название придворной аристократии.

Стр. 370. *Фукудзава Юкити* (1834—1901) — японский ученый, много сделавший для знакомства японцев с достижениями мировой науки.

Стр. 371. *Нэйсан* — фамильярное обращение к горничной, официантке и т. д.

Стр. 372. *Ойран* — так именовались самые дорогие проститутки.

Стр. 375. *Момоварэ* — прическа молодой девушки.

Чистота О-Томи

Стр. 375. *...военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тозёдзан.* — Имеется в виду подавление мятежа правительственными войсками в 1898 г. Отряд мятежников носил название сёгитай.

Аваби — съедобный моллюск.

Стр. 383. *Двадцать третий год Мэйдзи* — 1890 г.

Маэда Масада, Тогутти Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзо, Гэдзё Масао — видные деятели революции Мэйдзи 1867 г.

О-Гин

Стр. 384. *Годы Гэнна* — 1615—1624 гг.

Годы Канъэй — 1624—1644 гг.

Дзёан Батиста — Иоанн Креститель.

Стр. 385. *Сагурамэнто* — крещение, причастие.

Стр. 386. *Натара* — рождество.

Вакагимми-сама — старинное почтительное обращение.

Из записок Ясукити

Новелла носит автобиографический характер.

Стр. 399. *Токи Дзэнмаро* (р. 1885) — японский поэт.

Стр. 400. *...Исав продал брату право первородства за чечевичную похлебку.* — Эпизод из Ветхого завета.

Стр. 404. *Ламарк* (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создатель теории эволюции.

Поклон

Стр. 412. *Жан Ришпен* (1849—1926) — французский писатель и драматург.

Сара Бернар (1845—1923) знаменитая французская актриса.

А-ба-ба-ба-ба

Стр. 413. *«Кинсэн-сайда»* — название сидра.

Стр. 415. *...девушка во вкусе «Кэньюся».* — Группа «Кэньюся» («Друзья Тушечницы»), созданная в 1885 г., сыграла большую роль в становлении реалистической литературы в Японии. Акутагава иронизирует над склонностью создателей группы Одаки Коё (1867—1903) и Ямада Бимё (1868—1910) к романтической возвышенности.

«Сверстники» — роман известной японской писательницы Хигути Итиё (1872—1896).

Стр. 417. *Де Хуг* — голландский художник: XVII в.

Стр. 418. *Спарзо Джон* (1876—?) — английский социалист; в начале нашего века эмигрировал в Америку.

Удивительный остров

Новелла писалась Акутагавой как сатира на правые и псевдолевые тенденции в японской литературе и искусстве, на поборников идеи чистого искусства и бездарных критиков-конъюнктурщиков.

Стр. 420. *Хогарт* (1697—1764) — знаменитый английский художник.

Стр. 421. *Susanrap* — прочтенное наоборот Parnasus (Парнас). ...в *стиле secession*... — стиль в английском искусстве, распространенный в конце прошлого века.

Стр. 422. *Сато Харуо* (1892—1964) — известный поэт, писатель и критик.

Преступление Санэмона

Стр. 427. ...на четвертом году Бунсэй — в 1821 г.

Ком земли

Стр. 444. *Доё* — название четырех народных праздников: 18 января, 17 апреля, 20 июля, 20 октября.

Любовный роман

Стр. 446. «*Современная любовь*» профессора Куриягавы — модная в то время книга Куриягавы Тацуо (1880—1923).

Идзанаги и *Идзанами* — в японской мифологии родоначальники всех божеств синтоистского пантеона.

«*Мимикакуси*» — прическа, прикрывающая уши.

Курисима Сумико — популярная в те годы киноактриса.

Стр. 447. ...до великого землетрясения. — Имеется в виду крупное землетрясение в районе Токио 1 сентября 1923 г.

Вассерман Якоб (1873—1934) — крупный немецкий писатель.

Стр. 449. *Асакуса* — район Токио, где сосредоточено множество развлекательных заведений.

Момотаро

Акутагава использовал сюжет известной японской сказки о родившемся из персика чудо-мальчике Момотаро, совершившем завоевательный поход на Остров чертей. Пародируя сказку, Акутагава развенчивает культ японца-завоевателя.

Стр. 451. *Страна мрака* — место, куда, согласно японской мифологии, отправляются души умерших.

Идзанаги. — См. коммент. к стр. 446.

Век богов. — Согласно японской мифологии, Япония ведет свою историю с так называемого «века богов», которые якобы являются прародителями японских императоров.

Стр. 453. *Фазан, сведущий в сейсмологии...* — Согласно преданию, фазан предсказывает землетрясение.

...погибла бы тут же, на месте, еще до того, как ей отомстил краб. — Имеется в виду известная японская сказка «Мечь краба», в которой рассказывается, как краб с помощью своих друзей — каштана, осы, морской капусты и ступки — отомстил обезьяне, убившей его отца.

...изображено восходящее солнце... — Красный диск солнца на белом фоне — государственный флаг Японии.

Стр. 454. *Повесть об избавлении от горба* — повесть из «Удзи-сюи-моногатари», т. 1.

Сютэн-додзи — знаменитый в средневековой Японии вор, который, отправляясь на грабежи, наряжался чертом.

Ибараги-додзи — его подручный.

Райко (наст. имя: Минамото Ёримицу; ?—1021) — полководец, герой многих известных преданий.

Десятипенная бумажка

Новелла носит автобиографический характер. Относится к тому времени, когда Акутагава, окончив в 1916 г. университет, в течение трех лет преподавал английский язык в военно-морской школе.

Стр. 457. *Журнал «Тюокорон»* — существующий поныне популярный литературно-художественный и общественно-политический журнал, основанный в 1899 г.

День основания империи (Кигэнсэцу) — празднуется 11 февраля.

Стр. 458. *Хасэ Масао*. — Имеется в виду писатель Кумэ Масао (1891—1952), друг Акутагавы.

Отомо Юкити. — Имеется в виду писатель Кикичи Кан (1888—1948), друг Акутагавы.

Мёллендорф — известная немецкая скрипачка, гастролировавшая в Японии в 1913 г.

Стр. 459. *Ваграм* — селение в Австрии, где в 1809 г. произошло сражение между австрийской и французской армиями.

Стр. 461. *Мацумото Ходзэ*. — Имеется в виду писатель Мацуока Юдзуру (1891—?).

Стр. 462. «Подсолнухи» — известная картина голландского художника Ван-Гога (1853—1890). *Вольф Х.* (1860—1903) — немецкий композитор, *Эмиль Верхарн* (1885—1916) — бельгийский поэт, драматург.

Стр. 464. *Морис Леблан* (1864—1941) — французский писатель.

Стр. 465. *Хонго* — район Токио.

Стр. 466. «*Ясукэ*» — название известного ресторана, где подавались суси — рисовые колобки с начинкой из рыбы или овощей.

Лошадиные ноги

Стр. 474. *Годы Гэнкё* — 1321—1324 гг.

Стр. 479. *Окада Сандзабуро* (1890—1954) — японский писатель.

В стране водяных

Стр. 481. *Каппа* — мифическое существо, живущее в воде; заманивает в воду людей и топит их.

Стр. 484. «*Суйко коряку*» — сочинение Кога Доана (1788—1847), где даны описания капп.

Стр. 497. *Янагида Кунио* (1875—1962) — крупнейший японский этнограф.

Стр. 512. *Сведенборг Эммануил* (1688—1772) — шведский ученый, философ, теолог.

Стр. 513. *Француз-художник.* — Имеется в виду Гоген.

Стр. 517. *Ты знаешь имя этого поэта?* — Имеется в виду Басё.

Три окна

Стр. 529. *Кимура Сигэнари* (?—1615) — военачальник, отличавшийся легендарной храбростью.

Стр. 530. *В твоих глазах, смотрящих на меня...* — строка из стихотворения, помещенного в сборнике средневековой поэзии «Дзэнрин-кусю».

В связи с великим землетрясением 1 сентября 1923 года

Стр. 537. *Кикүти Кан* (1888—1948) — известный японский писатель, ближайший друг Акутагавы.

Роль

Стр. 538. *...в дни землетрясения...* — См. коммент. к стр. 447.

День в конце года

Новелла носит автобиографический характер.

Стр. 541. *Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука...* — См, коммент. к стр. 321.

Из «Слов пигмея»

Стр. 547. ...обыкновение «одного удара и трех поклонов». — Когда ваялась фигура будды, после каждого удара резца мастер делал три поклона будде.

Стр. 548. «*Луньши*» — древний китайский трактат о поэзии.

Стр. 549. «*Любовь сильнее смерти*». — Имеется в виду роман Мопассана «Сильна, как смерть».

Инцидент с Белым Лотосом, инцидент с Арисимой, инцидент с Мусякодзи. — Белый Лотос — сценическое имя модной певицы, жены промышленника, которая сбежала с молодым человеком. Известный писатель Арисима Такэо (1878—1923) совершил совместное самоубийство со своей возлюбленной. Писатель Мусякодзи Санэацу (1885—1979) — в 1922 г. развелся с женой и стал открыто жить с другой женщиной.

Стр. 550. ...*лягушка, прыгнувшая в старый пруд...* — Пересказ хокку Басё: «Старый пруд. Прыгнула лягушка — всплеск воды».

Стр. 551. *Каибара Эккэн* (1630—1714) — известный ученый-конфуцианец.

Стр. 554. *Куникида Doppo* (1871—1908) — известный японский писатель.

Стр. 555. *Ван Шанчжэн* (1526—1590) — китайский теоретик искусств.

Тосю Сяраку — знаменитый мастер портретной живописи; писал главным образом актеров. Его деятельность художника длилась всего десять месяцев — с середины 1794 г.

...*в стиле Корина.* — Огата Корин (1658—1716) — известный японский художник; особенно прославился в разрисовке ширм.

Стр. 556. *Сарутахико-но микото* — японское божество, отличавшееся уродством.

Стр. 562. *Ли Тайбо, Тикамацу Мондзаэмон.* — Ли Тайбо (701—762) — крупнейший китайский поэт, Тикамацу Мондзаэмон (1653—1724) — знаменитый японский драматург.

Первый день первого года Сёва — 26 декабря 1925 г.

Из заметок «Тёкодо»

Стр. 563. *Клановые кредитки* — кредитные билеты, выпускавшиеся до революции Мэйдзи кланами и имевшие хождение лишь внутри клана.

Стр. 564. *Идзуми Сикибу* (X в.) — японская писательница.

Стр. 565. *...если бы я, как Исса, написал.* — Кобаяси Исса (1763—1827) — знаменитый японский поэт.

Стр. 566. *Сэйюкай* — буржуазная партия так называемых конституционалистов.

«*Гэнкай*» — фундаментальный толковый словарь японского языка.

Стр. 567. *...прятать свои произведения на горе...* — У древнекитайского историка Сыма Цяня есть рассказ о человеке, который, чтобы его сочинения не пропали, положил их в каменный ящик и спрятал на горе.

Диалог во тьме

Стр. 569. *Мадам Штейн* — Шарлотта Штейн (1742—1827), возлюбленная Гете.

Стр. 571. *Сатанист.* — Сатанизм — течение в японской литературе, главным образом поэзии, получившее распространение под влиянием Бодлера и Гюисманса.

Стр. 572. *...ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.* — Эпизод из Ветхого завета.

Глядя на паровоз

Стр. 583. *Кохару и Дзихай* — главные персонажи пьесы Тикамацу Мондзаэмона «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Не имея возможности соединиться, они вместе покончили жизнь самоубийством.

Стр. 584. *Сайто Рёку* (1867—1904) — известный японский критик и публицист.

В. Гривнин

**СЛОВАРЬ
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ЯПОНСКИХ СЛОВ**

- Акомэ** — старинная женская одежда.
Асида — деревянная обувь на высоких подставках.
- Бу** — мера длины, равная 3 мм.
Бу — старинная монета в четверть рё.
Бусидо — кодекс поведения самурая.
- Варадзи** — соломенные сандалии.
Вариго — небольшая перегородчатая коробочка для еды.
- Го** — японская игра типа шашек.
Гэта — японская национальная обувь в виде деревянной дощечки на двух поперечных подставках.
- Дзабутон** — плоская подушечка для сидения на полу.
Дзё — мера длины, равная 3,8 м.
Дзори — сандалии из соломы или бамбука.
- Икан** — старинная придворная одежда.
Имаё — одна из форм японского стиха, состоит из двух четверостиший.
- Какэмоно** — картина или каллиграфическая надпись, выполненная на полосе шелка или бумаги. Вешается вертикально.
- Кан** — мера веса, равная 3,75 кг.
Каригину — короткое кимоно.
Кимоно — японская национальная одежда в виде халата.
Косодэ — шелковое кимоно, подбитое ватой.
Котацу — прямоугольная жаровня, вделанная в углубление в полу и накрываемая одеялом.
- Кото** — национальный японский музыкальный инструмент.
- Кун** — суффикс, присоединяемый к именам при фамильном обращении.
- Кэн** — мера длины, равная 1,8 м.
- Мукабаки** — короткие кожаные или меховые штаны,
- Наоси** — старинная придворная одежда.
Норэн — полог, часто бамбуковый, завешивающий вход.
Оби — длинный широкий пояс на женском кимоно.

Рё	— старинная золотая монета высокого достоинства.
Ри	— мера длины, равная 3,9 км.
Саке	— японская рисовая водка.
Сан (сама)	— суффикс, присоединяемый к именам при вежливом обращении.
Сасинуки	— вид коротких штанов.
Сёдзи	— внешняя раздвижная стена в японском доме.
Сокутай	— старинная придворная одежда.
Суйкан	— короткое кимоно.
Сун	— мера длины, равная 3,3 см.
Суци	— колобки из вареного риса, начиняемые рыбой или овощами.
Сэнсэй	— дословно «учитель». Почтительное обращение к учителю, врачу и т. д.
Сяку	— мера длины, равная 30,3 см.
Сямисэн	— трехструнный ципковый инструмент.
Таби	— японские носки. Шьются из плотной белой материи, большой палец отделен.
Тан	— мера площади, равная 0,099 га.
Танка	— японские пятистишья. Одна из самых распространенных форм японской классической поэзии.
Тагами	— толстые маты из рисовой соломы, которыми застилается пол в японском доме.
Тё	— мера площади, равная 0,99 га.
Тян	— суффикс, прибавляемый к имени при обращении к ребенку.
Фундоси	— мужская набедренная повязка.
Фуру	— бассейн с горячей водой в традиционной японской бане.
Фусума	— внутренняя раздвижная перегородка в японском доме.
Хайку (хокку)	— японские трехстишья.
Хакама	— широкие штаны, часть официального мужского костюма.
Хантэн	— рабочая куртка свободного покроя.
Хаори	— накидка, принадлежность мужского и женского туалета.
Хирагана	— японская слоговая азбука.
Хифу	— короткое женское кимоно.
Эбоси	— мужской головной убор, его носили знатные японцы.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Стругацкий. Три открытия Рюноске Акутагавы</i>	8
* <i>Р. Акутагава. Предисловие к сборнику переводов на русский язык. Перевод В. Гривнина</i>	25

Новеллы

<i>Ворота Расёмон. Перевод Н. Фельдман</i>	29
<i>Нос. Перевод А. Стругацкого</i>	35
<i>Ад одиночества. Перевод В. Гривнина</i>	41
<i>Отец. Перевод В. Гривнина</i>	45
<i>Багатая каша. Перевод А. Стругацкого</i>	49
<i>Носовой платок. Перевод П. Фельдман</i>	65
<i>Табак и дьявол. Перевод В. Сановича</i>	73
<i>Mensura Zoili. Перевод Н. Фельдман</i>	80
<i>Счастье. Перевод Н. Фельдман</i>	85
<i>Барсук. Перевод В. Гривнина</i>	92
<i>Безответная любовь. Перевод В. Гривнина</i>	95
<i>Одержимый творчеством. Перевод Т. Редько-Добровольской</i>	100
<i>Кэса и Морито. Перевод Н. Фельдман</i>	126
<i>Паутинка. Перевод В. Марковой</i>	133
<i>Муки ада. Перевод Н. Фельдман</i>	137
<i>Учитель Мори. Перевод Я. Фельдман</i>	163
<i>Просвещенный супруг. Перевод В. Раскина</i>	176
<i>Мандарины. Перевод Н. Фельдман</i>	195
<i>Ведьма. Перевод Г. Ронской</i>	198
<i>Чудеса магии. Перевод В. Марковой</i>	231
<i>Как верил Бисэй. Перевод Н. Фельдман</i>	239
<i>Ду Дзычунь. Перевод В. Марковой</i>	240
<i>Бал. Перевод В. Гривнина</i>	251
<i>Мадонна в черном. Перевод И. Львовой</i>	257
<i>Тень. Перевод В. Гривнина</i>	262
<i>Кончина праведника. Перевод И. Львовой</i>	274
<i>О-Рицу и ее дети. Перевод В. Гривнина</i>	278
<i>Странная встреча. Перевод В. Гривнина</i>	307

Мать. Перевод В. Гривнина	332
В чаще. Перевод И. Фельдман	341
Генерал. Перевод Н. Фельдман	350
Вагонетка. Перевод И. Фельдман	363
Сад. Перевод И. Фельдман	368
Чистота О-Томи. Перевод Н. Фельдман	375
О-Гин. Перевод Н. Фельдман	384
Три сокровища. Перевод В. Гривнина	390
Из записок Ясукити. Перевод В. Гривнина	399
Поклон. Перевод А. Рябкина	409
А-ба-ба-ба-ба. Перевод Н. Фельдман	413
Удивительный остров. Перевод И. Вардуля	420
Преступление Санэмона. Перевод И. Львовой	427
Ком земли. Перевод Н. Фельдман	435
Любовный роман. Перевод В. Гривнина	445
Момотаро. Перевод В. Гривнина	451
Десятииеновая бумажка. Перевод В. Гривнина	457
Лошадиные ноги. Перевод Н. Фельдман	467
В стране водяных. Перевод А. Стругацкого	480
Три окна. Перевод В. Гривнина	523

Эссе, миниэпюры

* Лягушка. Перевод В. Гривнина	532
* Женщина. Перевод В. Гривнина	534
* Как я думаю. Перевод В. Гривнина	536
* В связи с великим землетрясением 1 сентября 1923 го- да. Перевод В. Гривнина	537
* Рояль. Перевод В. Гривнина	538
День в конце года. Перевод В. Гривнина	540
Некий социалист. Перевод Н. Фельдман	543
Из «Слов пигмея». Перевод Н. Фельдман	545
Из заметок «Тёкодо». Перевод Н. Фельдман	563
Диалог во тьме. Перевод Н. Фельдман	568
Сон. Перевод В. Гривнина	576
* Глядя на паровоз. Перевод В. Гривнина	582
Комментарии В. Гривнина	585

Акутагава Р.
А44 Новеллы; Эссе; Миниатюры: Пер. с яп. / Вступ.
статья А. Стругацкого; Коммент. В. Гривнина; Ху-
дож. Д. Б и с т и. — М.: Худож. лит., 1985. — 607 с., ил.

Акутагава — классик японской литературы (1892—1927).
Сборник включает наиболее значительные произведения, автора,
как уже публиковавшиеся на русском языке, так и издающиеся
впервые, в которых нашла отражение японская действительность
первых трех десятилетий XX века, произведения, свидетельствующие
о неприятии писателем буржуазной морали современного ему
общества, о ненависти к милитаризму.

4703000000-033
А **028(01)-85** **189-85**

ББК 84.5Я
И(Яп)

АКУТАГАВА



Новеллы

Эссе

Миниатюры



Редактор *И. Ким*

Младший редактор *Е. Чевкина*

Художественный редактор *С. Гераскевич*

Технические редакторы *Л. Зайцева,*

Л. Витушкина

Корректор *Г. Ганапольская*



ИБ 4100

Сдано в набор 12.04.84. Подписано в печать 10.12.84. Формат
84 X 108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная
новая». Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отг. 32,34. Уч.-изд. л. 33,56.
Тираж 100 000 экз. Изд. № VIII-1686. Заказ № 4—1418. Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художествен-
ная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Главное предприятие республиканского производственного объеди-
нения «Полиграфкнига». 252057, Киев, ул. Довженко, 3

